

**ДМИТРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ГРИГОРОВИЧ**

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ
МАЛЬЧИК (СБОРНИК)

Дмитрий Васильевич Григорович Гуттаперчевый мальчик (сборник)

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173233
Гуттаперчевый мальчик: Эксмо; М.; 2006
ISBN 5-699-18785-5*

Аннотация

Дмитрий Васильевич Григорович – русский писатель, видный представитель дворянской литературы 40-х годов девятнадцатого столетия. Его творчество высоко ценили В. Г. Белинский и Л. Н. Толстой. С таким искренним участием и с такой скорбью Григорович описывал горькую судьбу крестьянства и городской бедноты, что современники плакали над его повестями «Антон-Горемыка» и «Гуттаперчевый мальчик». Подробно и с любовью Григорович показывает крестьянский быт, немалый интерес в творчестве писателя представляет богатый этнографический материал: народные обряды, обычаи и суеверия. **Содержание сборника:** Деревня Антон-Горемыка Рыбаки Гуттаперчевый мальчик

Содержание

| | |
|----------------|-----|
| Деревня | 6 |
| I | 6 |
| II | 14 |
| III | 22 |
| IV | 34 |
| V | 43 |
| VI | 56 |
| VII | 70 |
| VIII | 88 |
| IX | 96 |
| Антон-Горемыка | 108 |
| I | 108 |
| II | 119 |
| III | 139 |
| IV | 157 |
| V | 174 |
| VI | 188 |
| VII | 198 |
| VIII | 223 |
| IX | 245 |
| X | 268 |
| Рыбаки | 276 |
| Часть первая | 276 |

| | |
|-----------------|-----|
| I | 276 |
| II | 288 |
| III | 299 |
| IV | 307 |
| V | 318 |
| VI | 333 |
| VII | 348 |
| VIII | 366 |
| IX | 385 |
| Часть вторая | 402 |
| X | 402 |
| XI | 414 |
| XII | 434 |
| XIII | 447 |
| XIV | 459 |
| XV | 471 |
| Часть третья | 488 |
| XVI | 488 |
| XVII | 505 |
| XVIII | 517 |
| XIX | 546 |
| Часть четвертая | 578 |
| XX | 578 |
| XXI | 602 |
| XXII | 638 |
| XXIII | 655 |

| | |
|-----------------------|-----|
| XXIV | 674 |
| XXV | 688 |
| XXVI | 706 |
| XXVII | 726 |
| XXVIII | 741 |
| XXIX | 768 |
| XXX | 791 |
| Гуттаперчевый мальчик | 806 |
| I | 806 |
| II | 820 |
| III | 829 |
| IV | 841 |
| V | 850 |
| VI | 864 |
| VII | 874 |

Дмитрий Григорович Гуттаперчевый мальчик (сборник)

Деревня

I

*Далеко в глухой сторонюшке
Вырастала тонка белая береза,
Что тонка береза, кудревата,
Где не греет ее солнышко, ни месяц
И не частые звезды усыпают;
Только крупными дождями уливает,
Еще буйными ветрами поддувает.*
Русская народная песня

В одном богатом селении, весьма значительном по количеству земли и числу душ, в грязной, смрадной избе на скотном дворе у скотницы родилась дочь. Это обстоятельство, в сущности весьма незначительное, имело, однако, следствием то, что больная и хилая родильница, не быв в состоянии вынести мучений, а может быть, и просто от недостатка бабки

(что очень часто случается в деревнях), испустила последний вздох вскоре после первого крика своей малютки.

Рождение девочки было ознаменовано бранью баб и новой скотницы, товарки умершей, деливших с свойственным им бескорыстием обношенные, дырявые пожитки ее. Ребенок, брошенный на произвол судьбы (окружающие были заняты делом более важным), без сомнения, не замедлил бы последовать за своими родителями (и, конечно, не мог бы сделать ничего лучшего), если б одно из великодушных существ, наполнявших избу, не приняло в нем участия и не сунуло ему как-то случайно попавшийся под руку рожок. Услуга пришлась очень кстати и была, можно сказать, настоящею причиною, определившею судьбу младенца, которая до того времени весьма нерешительно колыхала его между жизнью и смертью. Дележ, совершаемый по всем законам справедливости между однокашницами бывшей скотницы, не успокоил, однако, шумного их сборища; хотя тетка Фекла и уступила скотнице Домне полосатую понёву¹ покойницы за ее изношенные коты² (главную причину криков и размирья); хотя завистливая Домна перестала кричать на Голиндуху, завладевшую повязкою и чулками умершей, но наступившая тишина продолжалась недолго и была только предвестницею новой бури.

Теперь каждая из этих достойных женщин с жаром приня-

¹ Понёва – домотканая полосатая юбка.

² Коты – старинная женская обувь.

лась защищать права свои в рассуждении того, на чью горькую долю должен достаться ребенок, как будто назло им родившийся. Но сколько ни спорили горемычные, ничего не могли решить (чувство справедливости было в них сильно), и потому положили с общего голоса предоставить все судьбе и бросить жребий – способ, как известно, решающий в деревнях всякого рода недоразумения. Жребий, в благодарность за такое доверие, не замедлил, по обыкновению, показать собою пример безукоризненного беспристрастия и справедливости: сиротка пришлась на долю скотницы, которая, не в пример другим бабам, была наделена полдюжиною собственных своих чад.

Домна (так звали новую скотницу), хотя баба норова твердого, или, лучше сказать, ничем не возмутимого, не могла, однако, вынести равнодушно определения судьбы и тут же, зная наперед, сколько бесполезно роптать на нее, внятно проголосила, что жутко будет проклятому пострелу, невесть как несправедливо навязавшемуся ей на шею.

Маленькая Акулина (таким именем окрестили малютку) сделалась на скотном дворе с первого же дня своего существования предметом всеобщего нерасположения.

Да и какая, в самом деле, нужда была бабам знать, были ли младенец виною своей докучливости? Довольно того, что он досаждал им поминутно. «Добро бы своя была, – говорили они, – добро бы родная, а то невесть по какого лешего смотришь за нею, словно от безделья». Но хуже всего прихо-

дилось терпеть сиротке от самой скотницы. Нельзя сказать, чтоб Домна была женщина злая и жестокая, но день бывал у ней неровен: иной раз словечка поперек не скажет, что бы ни случилось; в другое время словно дурь какая найдет на нее; староста ли заругается или подерется, дело ли какое не спорится в доме – осерчает вдруг и пойдет есть и колотить сиротку. Сором таким лается на нее, что хоть вон из избы беги; все припомнит, ничего не пропустит; усопшую мать не оставит даже в покое и при каждом ударе такого наговорит дочери на покойницу, чего и вовсе не бывало.

Впрочем, необходимо сказать в оправдание Домны, что в грубом обхождении и побоях, которыми угощала она свою питомицу, скрывалась иногда весьма уважительная, добрая цель. В доказательство можно привести собственные слова ее. Однажды жена управляющего застала Домну на гумне в ту самую минуту, когда она безмилосердно тузила Акулю. «За что бьешь ты, дурища, девчонку?» – спросила жена управляющего. «Да вины-то за нею нету, матушка Ольга Тимофеевна, – ответила Домна, – а так, для будущности пригодится». Если найдутся люди, которые, по свойственному им человеколюбию или сострадательности, не захотят видеть в этом доброго намерения, а припишут нападки на сиротку частию жестокости скотницы, то смею уверить их, что даже и тогда нельзя вполне обвинять ее.

Страсть к «битью, подзатыльникам, пинкам, нахлобучникам, затрещинам» и вообще всяким подобным способам по-

лирования крови не последняя страсть в простом человеке. Уж врожденная ли она или развилась чрез круговую поруку – бог ее ведает: вернее, что чрез круговую поруку...

В одном только можно было упрекнуть Домну, именно в излишнем пристрастии, которое уже чересчур ясно обнаружила она к собственным своим детям. Можно даже сказать, что слепая эта любовь часто заглушала в ней чувство справедливости и всякого рода добрые намерения, оправдывавшие почти всегда пинки и побои, которыми наделяла она сиротку. Случалось ли ребятам напроказить: разбить горшок или выпить втихомолку сливки – разгневанная Домна накидывалась обыкновенно на Акульку, видя в ней если не виновницу, то по крайней мере главную зачинщицу; забредет ли свинья в барский палисадник, и за свинью отвечала бедняжка. Когда муж скотницы, проживавший по оброку в соседней деревне на миткалевой фабрике, возвращался домой в нетрезвом виде (что приключалось нередко), всегда почти старалась Домна натолкнуть на него сиротку, чтоб отклонить от себя и детей своих первые порывы его дурного расположения, – словом, все, что только могло случиться неприятного в домашнем быту скотного двора, – все вызывало побои на безответную Акульку. Вне этих отношений с жителями избы сиротка проводила детство свое, как и все остальные дети села, в совершенном забвении и пренебрежении. Слово «авось» играет у нас, как известно, и поныне весьма важную роль и прикладывается русским мужиком не только к соб-

ственному его житью-бытью, но даже к житью-бытью детей его. Самый нежный отец, самая заботливая мать с невыразимо беспечною предоставляют свое детище на волю судьбы, нисколько не думая даже о физическом развитии ребенка, которое считается у них главным и в то же время единственным, ибо ни о каком другом и мысль не заходит им в голову. Не успеет еще ребенок освободиться от пелен, как уже поручают его сестре, девчонке лет четырех или пяти, которая нянчится с ним по-своему, то есть мнет и теревит его, во сколько хватает силенки, а иногда так пристукнет, что и через двадцать лет отзовется.

Мать ли плетется с коромыслом на реку стирать белье – и дочка тащится вслед за нею вместе с драгоценною своею ношею; развлеченная каким-нибудь камешком или травкою, она вдруг покидает питомца на крутом берегу или на скользком плоте... Бегут ли под вечер ребята навстречу несущемуся с поля стаду – нежная головка младенца уже непременно мелькает в резвой, шумливой толпе; когда наступает сырая, холодная осень, сколько раз бедняжка, брошенный на собственный произвол, заползает на середину улицы, покрытой топкою грязью и лужами, и платится за такое удовольствие злыми недугами и смертию! А весною, когда отец и мать, поднявшись с рассветом, уходят в далекое поле на работу и оставляют его одного-одинехонького вместе с хилою и дряхлою старушонкой-бабушкой, столько же нуждающейся в присмотре, сколько и трехлетние внучата ее, – о! тогда,

выскочив из избы, несется он с воплем и криком вслед за ними, мчится во всю прыть маленьких своих ножек по взбороненной пашне, по жесткому, колючему валежнику; рубашонка его разрывается на части о пни и кустарники, а он бежит, бежит, чтоб прижаться скорее к матери... и вот сбивается запыхавшийся, усталый ребенок с дороги; он со страхом озирается кругом: всюду темень лесная, все глухо, дико; а вот уже и ночь скоро застигнет его... он мечется во все стороны и все далее и далее уходит в чащу бора, где бог весть что с ним будет... Поминутно слышишь, что там-то утонул ребенок в ушате, что тут-то забодал его бык или проехала через него отцовская телега, что сын десятского отморозил себе ногу, трехлетняя внучка старостихи разрешила серпом щеку двухлетней сестре своей и тому подобное.

Конечно, крестьянская натура крепка, и если ребенок уцелеет, то к зрелому возрасту он превращается почти всегда в дюжего и плечистого парня с железным здоровьем или в свежую, красную девку, во сто крат здоровее иной барышни, с колыбели воспитанной в неге и роскоши; но ведь не всякому посчастливится уцелеть: сколько их и гибнет! сколько остается на всю жизнь уродами! Трудно найти деревню, где бы не было жертвы беспечности родителей; калеки, слепые, глухие и всякие увечные и юродивые, служащие обыкновенно предметом грубых насмешек и даже общего презрения, — в деревнях сплошь да рядом! Притом между крестьянскими детьми нередко встречаются нежные натуры, которые если и

выдерживают детство, зато сохраняют во всем существе своем пагубные следы его надолго – на всю жизнь.

Обремененные наследственными недугами, больные и слабые, они считаются в родной семье за лишнюю тягость и с первых лет до того дня, когда оканчивают тихое, бездейственное поприще свое на земле в каком-нибудь темном углу избы, испытывают одно только горе, приправляемое ропотом окружающих и горьким сознанием собственной своей бесполезности.

К счастью, Акулина не принадлежала к последней категории, и Домна могла употреблять ее с пользой в многочисленных занятиях скотного двора. Едва сиротке минул седьмой год, тотчас же приставила она ее смотреть за барскими гусями и утками.

II

*Как чужие-то отец с матерью
Безжалостливы уродились:
Без огня у них сердце разгорается,
Без смолы у них гнев раскипается;
Насижусь-то я у них, бедная,
По конец стола дубового,
Нагляжусь-то я, наплачуся.*

Русская песня

Осень. На дворе холодно; частый дождь превратил улицу в грязную лужу; густой туман затянул село, и едва виднеются сквозь мутную сквознину его ветхие лачуги и обнаженные нивы. Резкий ветер раскачивает ворота и мечет по поляне с каким-то заунывным, болезненно хватающим за сердце воем груды пожелтевших листьев. Улица пуста – ни живой души. Сизый дымок, выющийся из низеньких труб избышек, свидетельствует, что никого нет в разброде, что все хозяева дома и расправляют на горячей печке продрогшие члены. Все живущее прячется кто куда может, лишь бы укрыться от холода и ненастья. Куры и голуби приютились на своих жердочках под навесом, завернув голову под тепленькое крылышко; воробей забился в мягкое гнездо свое; даже неугомонные шавки и жучки комком свернулись под телегами. Каждому готов приют, каждому и хорошо и тепло...

Изба скотницы Домны жарко-нажарко натоплена; вся семья дома; даже теленок, которого откармливают для барского стола, привязан заботливою Домною к печке и опустился на мокрую свою солому. Двое парнишек ее, вместе с бабушкою и любимую кошкою, давно забрались на полати. Другие два шумно возятся под лавками. Дождь стучит в узкие стекла окон, ветер свищет на дворе и улице, и по временам все стихает в избе, прислушиваясь к дребезжащему, протяжно-му вою. Одной только Акули что-то не видно: ее послали на реку стеречь уток.

Возвращается она наконец к обеду домой. Издали виднеется ей почерневшая от воды лачуга, но сиротка не спешит укрыться от холода под теплую ее кровлю; она со страхом и смущением приближается к ней. Дело в том, что одного утенка унесло течением реки в колесо мельницы.

Между тем как подходила она к дому, на скотном дворе, как нарочно, затеялся жаркий спор между Домною и Голиндухою. Здесь дело было уже вот в чем: кто-то из ребят скотницы стянул лапоть Голиндухи, прислоненный к печке для просушки, и, привязав к нему бечевку, стал возить его по полу. Голиндуха, занимавшаяся в то время выпариванием квасной кадушки, неоднократно кричала на ребенка, приказывая ему тотчас же поставить обувь на прежнее место; ребенок не слушался и, как бы назло, начал колотить лаптем во все углы избы. Выведенная наконец из терпения баба бросила работу, отвесила озорнику добрую затрещину и, вырвав

обувь, положила ее на печку.

Домна, все видевшая и еще прежде чем-то раздосадованная, не вынесла выходки Голиндухи.

– Куда лапоть-то поганый свой ставишь? – сказала она, выглянув вдруг из-за перегородки. – Места ему небось нету?.. Эка нашлась какая пряткая... словно барыня – драть-ся еще вздумала...

– А что, невидаль, что ли, какая?.. Барские дети-то твои, что ль? Вестимо бить стану, коли балуются...

– А ну-тка, сунься...

– Тебя, небось, послушалась?..

– Ах ты, собака этакая...

– Сама съешь...

– Чтоб тебе подавиться лаптями-то...

– Эй, Домна, не доводи до греха; у тебя уста, у меня другие.

– Плевать мне... А вот только тронь еще раз Ванюшку, так посмотришь...

– Да ты, в самом-то деле, что ты тычешь мне своими ребятами-то?..

– А ты что?..

– Да...

– Побирушка проклятая!.. И мать-то твоя чужой хлеб весь век ела, да и тебя-то Христа ради кормят, да еще артачится, да туда же лезет... Ах ты, пес бездомный! Ну-ткась, сунься, тронь, тронь...

Домна и Голиндуха, с раскрасневшимися лицами, выльпившимися глазами и поднятыми кулаками, подступали уже друг к другу, когда в избу вбежала вдруг Машка, старшая дочь скотницы.

– Мамка! Мамка! – голосила девочка. – Глядь, глядь... Акулька-то одного утенка загнала... одного утенка нетути.

– Как! – вскричала исступленная Домна, мгновенно обращая свою ярость на только что вошедшую сиротку. – Ах ты, проклятая! Сталось, тебе неслюбно смотреть за ними?.. Поймай, вот я те поразогрею...

И она пошла на помертвевшую от страха девчонку с готовыми кулаками.

Страх, в котором держала скотница свою питомицу, часто даже исчезал в ребенке от избытка горя. Так случалось почти всякий раз, когда Домна, смягчившись после взрыва необузданной ярости, начинала ласкать и нежить собственных детей своих. Громко раздавались тогда за печуркою рыдания и всхлипывания одинокой, заброшенной девочки...

Много слез и горя стоило также Акулине новое назначение, определенное ей скотницею. Выгоняя утром гусиное стадо, проходила ли она по улице – всюду встречались веселые ребятишки, беззаботно игравшие под навесами и на дороге, всюду слышались их веселые песни, крики; одна она должна была проходить мимо, не смея присоединиться к ним и разделить общую радость. А уж как страшно-то было ей, боязливой девочке, напуганной разными дивами, прово-

дить целые дни одной-одинешенькой, далеко от села, в каком-нибудь глухом болоте или темном лесу! В первое время она часто не могла вынести своего одиночества и, бросив тут же гусиное стадо свое, возвращалась одна на скотный двор, позабывая и побои скотницы, и все, что могло ожидать ее за такой своевольный поступок.

Кроме этого, сколько приходилось терпеть безответному ребенку в самом доме. Вернется, бывало, вместе со стадом в избу – на дворе стужа смертная, вся она окоченела от холода, – ноги едва движутся; рубашонка забрызгана сверху до низу грязью и еле-еле держится на посиневших плечах; есть хочется; чем бы скорее пообедать, закутаться да на печку, а тут как раз подвернется Домна, разгневанная каким-нибудь побочным обстоятельством, снова ушлет ее куда вздумается или, наконец, бросит ей в сердцах кусок хлеба, тогда как другие все, спустившись с полатей, располагаются вокруг стола с дымящимися щами и кашею. Забьется Акуля в любимый уголок свой у печки, между лукошками и сором, закроет личико исхудавшими пальчиками и тихо, тихо плачет.

Но прошел год, другой, и свыклась Акулька со своей тяжкою долею. Какое-то даже радостное чувство наполняло грудь девочки, когда, встав вместе с зарею, раным-рано, вооружась хворостиною, выгоняла она за околицу свое стадо. Теперь, уже не ожидая намека, спешила она убраться со своими гусями и утками в поле, лишь бы только скорее вырваться из избы. Как птичка, встрепенется она тогда; все изменя-

лось в ней: движения делались развязнее, стан выпрямлялся, – словом, трудно было узнать в сиротке одну и ту же девочку. Робкий и жалкий вид, так резко отличавший ее дома от прочих детей, как бы мгновенно исчезал. Бывало даже на Акулю находил в эти минуты вдруг какой-то припадок веселости, резвости.

Она особенно любила загонять свое стадо в густую осиную рощу, находящуюся почти на самой границе земель, принадлежащих селу. Ей невыразимо легко, весело, привольно было просиживать тут с утра до вечера. Тут только запуганный, забитый ребенок чувствовал себя на свободе.

Перед нею широко стлался зеленый луг; медленно и плавно расхаживали по нем белые, как снег, гуси; селезни и пестрые утки, подвернув голову под сизое крылышко, лежали там и сям неподвижными группами. Далее сверкала река со своими обрывистыми берегами, обросшими лопухом и кустарниками, из которых местами выбивались длинные сухие стебли дикого щавеля и торчали фиолетовые верхушки колючего репейника. За рекою виднелось черное взбороненное поле; далее, вправо, местность подымалась горою. По главным ее отлогостям, изрезанным промоинами и проточинами, разрастался постепенно все выше и выше сосновый лесок; местами рыжее, высохшее дерево, вырванное с корнем весеннею водою, перекидывалось через овраг висячим мостом. Влево тянулось пространное болото; камыш, кочки и черные кустарники покрывали его на всем протяжении; по

временам целые вереницы диких уток с криком поднимались из густой травы и носились над водою. Там и сям синевшая холмистая даль перемежалась снова серебристыми блестками реки.

Бесконечная сереющая даль, в которой двигались почти незаметными точками телега или спутанная лошадь, постепенно синела, синела, и, наконец, все более и более суживавшиеся планы ее сливались мутною линиею со сквознотою голубого неба.

Но природа нимало не пленяла деревенской девочки; неведомо приятное чувство, под влиянием которого находилась она, было в ней совершенно безотчетно. Случайно ли избрала она себе эту точку зрения, лучшую по всей окрестности, или инстинктивно почувствовала обаятельную ее прелесть — неизвестно; дело в том, что она постоянно про-сизивала тут с рассвета до зари.

Разве выводили ее из раздумья однообразное кукованье кукушки, крик иволги или коршуна, который, распластав широкие крылья свои, вдруг, откуда ни возмись, кружась и вертясь, появлялся над испуганным ее стадом. Акуля вскакивала тогда, бледное личико ее покрывалось ярким румянцем; она начинала бегать и суетиться, хмурила сердито узенькие свои брови и, размахивая по сторонам длинною хворостиною, казалось, готовилась с самоотвержением защищать слабых своих питомцев.

Наступал вечер. Поля, лощина, луг, обращенные рососою

и туманом в бесконечные озера, мало-помалу исчезали во мгле ночи; звезды острым своим блеском отражались в почерневшей реке, сосновый лес умолкал, наступала мертвая тишина, и Акуля снова направлялась к околице, следя с какою-то неребяческой грустью за стаями галок, несшихся на ночлег в теплые родные гнезда.

С возрастом, по мере того как сиротка становилась разумнее, постоянное это одиночество обратилось не только в привычку, но сделалось для нее потребностью. Оно было единственным средством, избавлявшим ее от побоев скотницы и толчков встречного и поперечного. Всеобщее отчуждение, которое испытывала она со стороны окружающих, как круглая сирота, и которое с некоторых пор как-то особенно тяготило ее, также немало способствовало подобному расположению.

III

*Вьюги зимние,
Вьюги шумные
Напевали нам
Песни чудные!
Наводили сны,
Сны волшебные,
Уносили в край
Заколдованный!*

Кольцов

Постоянное отдаление Акули от жителей скотного двора и одинокая жизнь производили на ее детство сильное влияние. Прежде еще, когда неотлучно оставалась она при людях, приластится, бывало, к тому, к другому или вымолвит ласковое слово, невзирая на толчки, которыми часто отвечали ей на ласки; теперь же едва успеет вернуться с поля, как тотчас забьется в самый темный угол, молчит, не шевельнется даже, боясь обратить на себя внимание. Каждый раз, когда достойные всякого сострадания гуси, продрогнув от холода, располагали идти восвояси, а следовательно, доставляли и сиротке случай погреться, она входила в избу с каким-то страхом, смущением, трепетом – чувствами, проявлявшимися прежде не иначе как вследствие приключавшегося с нею несчастья.

Ребенок одичал наконец до того, что раз без особенной причины целых трое суток кряду не возвращался домой со своим стадом; голод только мог вынудить его покинуть поля и рощу.

Первое зазимье и морозы возвращали, однако, волею-неволею полуодичалую сиротку на скотный двор.

В это время года, когда все, от мала до велика, не исключая даже домашних животных, столпляются вместе под одною и тою же кровлею, — она снова сближалась несколько с семейством скотницы.

Зимою образ жизни в избе как-то всегда собирает разбредшихся поселян воедино.

Многочисленность семьи, тесное, неудобное помещение, работа, делающаяся в эту пору более общею, домашнею, — все это, вынуждая каждого входить теснее в отношения другого, невольно сродняет их между собою.

Хотя Акуля действительно сблизилась зимою с жителями скотного двора, однако сближение это у ней было более внешнее, нежели нравственное.

Робкий и тихий нрав девочки, притом постоянно грубое обхождение, которому она подвергалась, — все это должно было отталкивать ее от задушевных с ними сношений.

Одни рассказы и каляканье, на которые год тому назад не обращала она ни малейшего внимания и которые теперь, с двенадцатилетним возрастом, как-то особенно начали возбуждать любопытство, присоединяли иногда ее к общему

кругу.

В длинные зимние вечера изба скотницы Домны, как почетной гражданки села, наполнялась соседками и кумушками, заходившими покалякать о том о сем, о делах того или другого.

Усядутся, бывало, в кружок, кто на лавке, кто попросту – наземь, каждая с каким-нибудь делом, прялкою, гребнем или коклюшками³, и пойдут и пойдут точить лясы да баить про иное, бывалое время.

Сначала все сидят молча – никто не решается перекинуться словом. В избе стихнет. Веретена гудят, трещит лучина, сверчок скрипит за подполищею, или тишина прерывается плачем которого-нибудь из малолетних ребят скотницы, проснувшегося внезапно на полатях от тяжелого сновидения.

Но потом мало-помалу гости оживляются, всё в избе принимает участие в рассказнях, и каждый в свою очередь старается вставить красное словцо. Даже девяностолетняя мать Домны изменяет вечно лежачему своему положению и, свесясь с печки, прислушивается одним ухом к диковинным рассказам соседок.

Чем далее, тем речи становятся бойчее и бойчее. То Кондратьевна, старуха бывалая, слышшая по деревне лекаркою и исходившая на веку своем много – в Киев на богомолье и в разные другие города, – приковывает внимание слушателей; то тетка Арина, баба также не менее прыткая и которая, как

³ Коклюшка – палочка для плетения кружев.

говорили ее товарки, «из семи печей хлеба едала», строчит сказку свою узорчатую; то, наконец, громкий, оглушающий хохот раздается вслед за прибаутками другой, не менее то-ропливой кумы. Много разных разностей говорилось на за-сидках у Домны. Бабий язык, как известно, и смирно лежит, а уж как пойдет вертеться, как придет ему пора, – так что твои три топора – и рубит, и колет, и лыки дерет! Примерно, хоть тетка Арина уж как начнет раздобаривать, так нагоро-дит такого, что и ввек речи ее в забыть нейдут. Иной раз так настрашает, что все только и знают – крестятся да исподло-бья на стороны поглядывают; про девок и говорить нечего: мертвецы мертвецами сидят – хоть в гроб клади! Куда ма-стерица была всякое диво размазать. Да вот, раз речь зашла о том, что значит в добрый час молвить, а что в худой; так она такое приплела, что сколько ни слушало народу – так вот и повскакало с лавок.

– Вот, – говорит, – бывают такие неразумные бабы из на-шего брата, что за пустое корят да хаот детей своих самы-ми недобрыми словами, «анафема» скажут, или «провались ты», или «возьми тебя нечистый». Оно, кажется, – ничего, ан глядь – и во вред ребенку ложится такое злое слово; долго ли накликать беду!

«Так-то прилучилось у нас с Дарьей, снохою Григорья. Пришла она с поля, сердечная; устамши, что ли, была или другое что, господь ее ведает, только и завались она прямо на полати. Мальчишка-то у ней дома в люльке лежал; вот, как

словно назло, расплакался на ту пору. Зачала Дарья унимать его. Унимала, унимала – нет, ревет себе знай; куда осерчала наша Дарья; встать, вестимо, не хочется – поясницу больно поразломило, – тут недобрый стих и найди на нее: „Непутный, говорит, возьми тебя нечистая сила“. Парнишка как будто к слову такому вдруг и затих; Дарья обрадовалась, повернулась на другой бок, подкинула под себя мужнину овчину, да и завалилась спать. И молитвы даже не сотворила она над младенцем после такого слова – уж так, верно, дрема взяла ее, сердечную.

А слово-то, видно, сказано было не в добрый час.

Спит Дарья. Вдруг стало ей что-то неладно; так вот к самому сердцу и подступает, инда в пот кинуло. Она обернулась от стены к люльке, взглянула вполглаза на ребенка, – смотрит... подполица расступилась надвое, и, отколь ни возьмись, выходит большущая женщина, вся в белом закутана... вышла, да прямо к люльке, и протягивает руки к парнишке, норовит взять его...

Дарья испугалась, не зная куда и сон девался; и вскрикнуть-то ей хочется, не может, вся словно окоченела; а белая женщина все ближе да ближе протягивает руки... видит Дарья, что достала она парнишку-то, да и взяла к себе на руки...

Месяц в ту пору вышел и светит к ней в избу – словно днем, – видным-виднешенько.

Вспомнила Дарья свой великий грех; так в голове все и

завозилось у ней; как взвизгнет!.. Враг его знает, как это сталося, – все сгнуло разом; Дарья вскочила с полатей да прямо к люльке; глядь – а парнишка-то лежит себе мертвешенек; головка просунута в веревку, на которой висит люлька, и ручонками-то ухватился за нее; весь посинел – знать, уж нечистая сила больно вздосадовала на Дарью да и удавила его. Вздудли лучину, – и так и сяк, и туда и сюда, и отец-то прибежал, и все-то в доме, кто был, подскочили – нет, ничем не помогли. Как ни убивалася Дарья, да, видно, не на шутку стряхнулось на нее горе – пришлось хоронить парнишку!»

Акуля более всего напрягала внимание, когда речь заходила о том, каким образом умерла у них в селе Мавра, жена бывшего пьяницы-пономаря, – повествование, без которого не проходила ни одна засидка и которое тем более возбуждало любопытство сиротки, что сама она не раз видела пономариху в поле и встречалась прежде с нею часто на улице. Кончину Мавры объясняли следующим образом.

Однажды пономариха отправилась было за грибами в дремучий бор (которого, между прочим, вовсе и не было в селе или окрестностях). Не успела она поднять трех рыжиков, вдруг слышится ей, что кто-то перекликается между деревьями. Вот она и стала прислушиваться: все словно как будто опять стихло, лист не шелыхался. Мавра снова стала искать грибы, набрала их без малого до верху котомки да идет на дорогу, чтоб скорее к дому; ан не тут-то было. Леший и перекинсь ей поперек пути... Ходила, ходила пономариха, плу-

тала, плутала: куда ни ступит, куст да трава, а проселка-то и не видать, словно сгинул; а ауканье-то в лесу все сильнее да сильнее... Что далее было, то неизвестно; а вот на другой день раным-рано, с рассветом, Гаврюшка-конторщик, возвращаясь из города с барскими письмами, видит, на самой меже белеется что-то: пень не пень, камень не камень; глядь, ан Мавра-то и лежит навзничь; и руки посинели, и тело-то все избито, и понёва разодрана... Думал, думал Гаврюшка, да делать, видно, нечего было; не оставить же так тела христианского на съедение волкам: он взвалил его на телегу, да и привез в село прямо к мужу. Мавра очнулась только к вечеру, да будто язык у нее отнялся, слова не молвит. Пономарь был в ту пору буявый, навеселе: давай выпытывать по-своему жену. Уж он ее колотил, колотил, бил, бил куда ни попа-ло, в голову, и в грудь, и в спину, лишь бы не мимо; Мавра все ни гугу; а на третий-то день, глядь, и душу отдала – померла, родимая; знать, уж так суждено ей было, сердечной, али сама в чем виновата была, что подпустила к себе нечистую силу. Вестимо, коли душа чиста, так и злой дух тебя не тронет.

Далее словоохотливая рассказчица распространялась обыкновенно о том, как вообще мертвецы ненавидят живых людей за то, что последние остаются на земле как бы взамен их и пользуются всеми мирскими благами и удовольствиями. Она присовокупляла, тут же в доказательство справедливости слов своих, что всем известный кузнец Дрон вско-

ре после смерти стал являться в селе, пугал всех, и что кума Татьяна сама, своими глазами, видела его раз за барским овином.

Акулина притаивала дыхание, и сердце ее стучало сильно-сильно, когда Кондратьевна, старая лекарка, подтверждала все это, уверяя даже, что Дрон, злобствовавший на нее еще при жизни, действительно являлся в селе, бывал у ней в избе, переходил из окна в окно, из ворот в ворота, шарил по всем углам и аккуратно выпивал у ней каждую ночь в погребке сливки. Она рассказала, что вскоре после того, как пали у нее две коровы, рыжонка и белянка, кузнец Дрон перестал таскаться по деревне, и объясняла чудо тем, что брат тогдашнего старосты, Силантий, раздосадованный, вероятно, ночными проказами кузнеца и желая вконец отвести беду, раскопал его могилу, положил тело грешника ничком и вбил ему в спину длинный-предлинный осиновый кол.

Слушая все эти чудеса, Акуля едва от страха переводила дух; то замирало в ней сердце, то билось сильно, и не раз в вечер личико ее покрывалось холодным потом. По временам ослабевший свет лучины вдруг угасал от невнимания присутствующих, развлекаемых интересными повествованиями и рассказами, и тогда бедному ребенку казалось, что вот-вот выглядывает из-за печурки домовой, или, как называют его в простонародье, «хозяин», или всматривается в нее огненными глазами какое-то рогатое, безобразное чудовище; все в избе принимало в глазах ее страшные образы, пробуждав-

шие в ней дрожь. Засидки баб длились иногда за полночь. Истомленная Акуля, несмотря на возрастающее любопытство и усилия избавиться от дремоты, более и более покорялась, однако, ее влиянию; русая головка ее медленно склонялась на плечо, глаза смыкались, и она засыпала, наконец, крепким сном. Часто слух ее как будто прояснялся, между тем как вся она оставалась в том расслабленном состоянии, похожем на летаргию, и внятно слышались ей тогда отрывистые речи гостей скотницы, долго еще за полночь толковавших о деяниях одноглазого лешего, чужого домового, мургуньи-русалки, ведьмы киевской и сестры ее муромской, бабы-яги костяной ноги и птицы-гаганы...

Все эти диковины, которые с таким любопытством выслушивала Акуля в продолжение зимы, сильно распяляли ее воображение. Но робкий нрав ребенка, притом всегдашний гнет, под влиянием которого находился он, и, вдобавок, грубые насмешки, с которыми встречены первые его попытки высказать окружающим все, что лежало на сердце, невольно заставили его хоронить в себе самом свои впечатления и не выбрасывать их наружу. Такое сосредоточивание в себе своих мыслей и ощущений, какого бы они ни были свойства, должно было развить рассудок девочки несравненно скорее, нежели бы это могло случиться при других обстоятельствах. Впрочем, в жизни сиротки являлись случаи, когда она разом высказывала все, что по целым месяцам мало-помалу накоплялось в голове ее. Это бывало не иначе, однако, как

когда удавалось ей попасть в кружок людей совершенно сторонних, не принадлежащих даже к вотчине.

Калики и побирušки перехожие, заносимые иногда бог знает каким ветром в их деревню, чаще всего доставляли Акуле подобные случаи.

Когда две или три такие старушонки, преследуемые с остервенением по всей улице воем и лаем собак, останавливались перед окнами скотного двора, затягивая тощим голосом обычную свою стихиру:

Семь, семь кралей,
Семь кесарей
Пошли, пришли поклониться
Христу-спасителю...
Подайте, отцы родные, милостинку
Во имя Христово...

Акуле уже не сиделось на месте, так ее и подмывало. Всегда почти находила она случай выбежать вон из избы. Она пряталась сначала в куриный хлев, чтоб отстранить подозрения скотницы, потом потихоньку проползала в узкое отверстие между плетнем и землею и вырывалась на свободу. Она пускалась тогда во всю прыть по задним дворам, перескакивала гряды капусты и огурцов, огибала огороды, господскую ригу и, наконец, вся впопыхах останавливалась за околицею. Тут Акуля, прислонившись к старой высокой рябине, с трепетом ожидала минуты, когда нищенки выйдут из села.

Осмотревшись кругом и убедившись, что никто не следует за нею, решалась она присоединиться к ним. Тогда между каликами и Акулею завязывался разговор. Те, как водится, начинали с расспросов о том, есть ли в селе барин, строг ли с мужиками, есть ли барыня и барчонки, о том, кто староста, стар ли, молод ли он; потом мало-помалу объясняли Акуле, что вот-де они ходят из села в село, собирают хлебец да копеечки во имя Христово, заходят в монастыри, бывают далеке, в Киеве и Иерусалиме, на богомолье и что, наконец, жутко приходится им иногда жить на белом свете. Акуля внимательно следила за каждым словом старушек: ей так редко удавалось слышать ласковую речь! И вот, обрадовавшись случаю, она спрашивала их и о Иерусалиме, и о городах, и о том, так ли живут там, как в селе, есть ли также церковь и будет ли она в вышину равняться с большим вязом, разросшимся вон там, далече-далече у них на погосте, и т. д. Расспросам не было конца.

Сиротка вспомнила наконец, что зашла далеко; села не было видно; побои и ругательства тотчас же мелькали в голове ее. Скрепя сердце она прощалась со своими спутницами и снова пускалась во всю прыть по дороге. Между тем сколько новых впечатлений волновали душу бедного ребенка! Как часто останавливалась она в нерешимости, сама не зная, бежать ли ей вперед, к дому, или назад вернуться и не разлучаться более с добрыми каликами переходжими... Но страх брал обыкновенно верх, и сиротка принималась снова

бежать к старой рябине, осенявшей околицу села.

Трудно сказать, о чем могла думать тогда деревенская девочка, но дело, однако, в том, что при постоянном одиночестве и самозабвении рассудок ее не мог никоим образом оставаться в совершенном бездействии...

IV

*Так и рвется душа
Из груди молодой!
Хочет воли она,
Хочет жизни другой!*

Кольцов

Муж Домны, являвшийся домой только по праздникам, неизвестно отчего оставил вдруг миткалевую фабрику, на которой работал несколько лет сряду, и переселился с своим станом к жене на скотный двор.

Обстоятельство это сильно озадачило Домну: она предвидела все хлопоты и заботы, которые упадут на нее с такою переменою.

Карп начал с того, что потребовал себе помощницу; потом, волею-неволею, должны были уступить ему чуть ли не половину избы, без того уже загроможденную корчагами, лагунами, крынками, кадками и лукошками; далее предчувствия Домны также не обманули ее: Карп на следующий же день натянулся сивухи, должно быть, припасенной им заранее, и задал таску всем, кто только попадался ему на глаза; досталось и самой хозяйке дома. А отвадить беду, избежать всех этих неприятностей не было возможности, ибо, как выражалась сама скотница, Карп не терпел ни в чем супротив-

ности. «Ладно, – говорила она бабам, упрекавшим ее в слабости, – поди-тка, сунься перечить ему, так, кажись, только и жил; закажу другу-недругу». Домна не упала, однако, духом; она как можно скорее, чтоб только усадить мужа за работу, назначила ему помощницу. Такая завидная доля, разумеется, могла пасть не иначе как на Акулину, девку самую безответную, смирную и притом более других приученную к повиновению.

Карп был мужик крутой и несговорчивый. Некоторые барыши, получаемые им сверх оброка, и разгульная фабричная жизнь сделали из него, особенно в последнее время, горького пьяницу и еще более расположили к буйству. И трезвый-то никому добром не промолвит – лает, словно собака, а как почнет пить – так лучше беги из дому вон. Сам сознавался Карп, что бывал во хмелю куда неугомонен. Уж чего ни делали с ним: и знахаря-то призывали заговорить его против хмеля, и Кондратьевна не раз изошряла свои знания в лекарском деле, и управляющий секал Карпа, больно секал, – нет, встряхнет, бывало, Карп забубенною, непутною своей головошкой, когда окончится экзекуция, да вымолвит: «Покорно благодарю, Андрей Андреевич, что дурака учить изволите», и снова принимается за косушку. Ничто не помогало!

С первых же дней житья от него в доме не стало; заходит ли кто из соседей или соседок в избу – подымались брань, ссоры, нередко кончавшиеся даже дракой, так что вскоре никто и не стал заглядывать к скотнице. Сама она, подвержен-

ная беспрерывно буйным выходкам мужа, сделалась как-то еще сварливее, заносчивее и с большим еще остервенением взъелась на все окружающее.

Трудно выразить отчаяние горемычной сиротки; новое назначение не только лишало ее свободы, но даже неотлучно подчиняло Карпу, к которому еще сызмала чувствовала она особенный страх.

Вначале старалась она всеми силами угодить ему; но усердие ее оставалось решительно незамеченным. Иногда без всякой причины (и это случалось всего чаще) приходилось терпеть; нитка ли порвется, защемит ли Карп челноком палец или просто случится повздорить ему с женою – колотит ее, благо она под рукою! Молча покорилась наконец бедная девушка горькой своей участи. Прошло несколько месяцев, и Акулина, как бы накануне своего заточения, не переставала тосковать по прежней своей беззаботной одинокой жизни. С наступлением лета изба и ее жители становились сиротке еще нестерпимее. Все оживало вокруг нее, все как будто радовалось. Едва заблестают первые лучи солнца в окнах избы, зазолотятся свежие, подернутые росой поля и раздастся звонкое чиликанье воробьев на кровле, все, от мала до велика, спешили вырваться из душной избы. Бабы шли в огороды, ребята и девки целыми ватагами отправлялись в только что опушившийся лес за первыми ягодами – одна она не смела шевельнуться с места и должна была сиднем сидеть за пряжею и шпулями. К вечеру или обеду вернутся веселые

толпы на дом, наташат полную избу венков да молодых ветвей; разольется по всей избе запах свежей зелени... Сколько грусти ложилось тогда на душу сиротки, сколько тайных, никому не известных страданий теснило ее, бедную!..

Иногда удавалось Акулине вырваться под каким-нибудь предлогом на минуту из дому; не нарадуется, бывало, своему счастью, не утерпит – выбежит за ворота, и грусть как бы исчезнет, и тоска сойдет с сердца.

И вправду, хорош и упоителен божий день в ведреное, теплое лето; какое ликование во всей природе, во всем мире! Все трепещет жизнью, все проникнуто ею; каждая травка, каждое растение издает какой-то шелест, сливающийся в стройную, нежную гармонию; все, на что устремляются взоры, наполняет душу радостным, непостижимо прекрасным чувством. С жадностью вдыхала Акулина в расширяющуюся грудь свою пахучие струи воздуха, приносимые с поля; всматривалась она тогда в зеленеющий луг, забрызганный пестрыми цветами, в эту рощу, где беззаботно, счастливо даже просиживала она когда-то по целым дням, с красной утренней зари до минуты, когда последние бледные лучи заходящего солнца исчезали за сельским погостом. Но непродолжительны были такие минуты: как раз грубый голос Карпа возвращал ее к горькой действительности. Скрепя сердце подходила она к воротам; а между тем вдалеке, по улице, с веселыми песнями и кликами неслись купаться целые рои молодых девок: все, кто только был молод из них по дерев-

не, спешили присоединиться к веселой толпе, и одна только Акулина-сиротинка утирала слезу да спешила запереть за собою дверь тесной, душной лачуги...

Бывают случаи в жизни человека – к какому бы ни принадлежал он классу общества, – которые хотя и кажутся с первого взгляда ничтожными, не стоящими внимания, но со всем тем они часто решают судьбу его или же производят в нем сильные перевероты нравственные. Иногда так нечувствительно бывает их действие, что само лицо, на которое они стряхиваются, не замечает его.

Раз как-то (это было в самую страдную пору лета) большая часть жителей села Кузьминского отправилась в соседнюю деревню праздновать, как водится между соседями, приходский праздник. На всем скотном дворе осталась одна только Акулина. День был невыносимо зноен; душно было ей сидеть под навесами, и она вышла за ворота. Деревня словно вымерла, все было тихо, нигде живой души. Акулина перелезла через околицу и почти машинально своротила на проселок, огибавший бесконечное поле ржи, только что золотившейся от цвета. Солнце горело высоко и знойно. Пот градом катился по исхудавшим щекам сиротки, а между тем она все шла да шла вперед, влекомая каким-то странным чувством. В поле, в роще, в воздухе царствовало безмолвие; ничто не шелыхалось, не отзывалось жизнью; кузнечик приутих и не трещал в тесной траве; даже гибкие длинные стебли дикого чеснока с их тучною верхушкою стояли неподвижно на за-

краине дороги. Густой пар подымался от земли и растений, и душно было в переливающихся струях воздуха.

Акулина миновала поле и почти незаметно очутилась близ церкви, на погосте. Вырытая свежая яма, на которую она случайно набрела, вывела ее из раздумья. Дрожь пробежала по всем членам сиротки; ей стало страшно; безотчетное чувство, которого, впрочем, никак никогда не могла она победить в себе, обдало ее холодом. Акулина бросилась бежать. Она уже была на самом почти конце кладбища и вдруг как вкопанная остановилась перед одною заросшею могилкою, едва выглядывавшею из-за плетня, ограждавшего церковь. Акулина вспомнила, что давно, много лет назад, на Фоминой неделе, во время поминок, кто-то сказал ей, что тут погребена ее мать.

Была ли она задолго еще перед тем под влиянием грустного чувства, тяготило ли ее, более чем когда-нибудь, одиночество или была другая какая причина, но только вся жизнь, все горести, вся судьба ее прояснились, пробудились и разом отозвались в ее сердце; в эту минуту с мыслью о матери как бы впервые сознала она всю горечь тяжелой своей доли. Она долго стояла в каком-то оцепенении; слезы ручьями текли по бледным щекам ее и капали на руки, на грудь, на рубашку... Наконец горе Акулины разразилось и как бы сломило ее... болезненное рыдание вырвалось из груди; она грохнулась грудью на тощую могилку и, судорожно обхватив ее руками, осталась на ней без движения...

Вечерело. Домна вместе с ребятами и работниками возвратилась домой после соседней пирушки. Входя в избу, крайне удивлены были они, не видя Акулины, ибо ни на дворе, ни подле амбаров, ни даже под навесами ее также не встречали. Изба была пуста. Только куры, как видно, уже влетевшие давно в растворенные настежь двери, бегали по столам и лавкам. Скотница и работницы начали шарить по всем углам избы, как вдруг совершенно неожиданно услышали за печкою вздохи. Домна взгромоздилась на ушат и чуть не вскрикнула от изумления. Акулина, закутав голову овчинным тулупом и как-то сверхъестественно скомкавшись, лежала навзничь в тесном, неуклюжем углу между печкою и стеною. Это обстоятельство тем более удивило Домну, что никогда не случалось ей видеть, чтоб с сироткою было что-нибудь подобное.

Скотница подошла ближе и стала толкать ее что есть мочи. Ее старания оставались, однако, без всякого действия. Удивление присутствующих возрастало с каждою минутой. Домна, выведенная наконец из терпения, вытащила Акулину на середину пола, прислонила ее к скамье и раскутала ей голову.

– Что буркалы-то выпучила? – сказала она, принимаясь снова тормошить девку. – Столбняк нашел, что ли? Ну, чего смотришь, как шальная какая?.. Встань, говорят тебе... эхма! Ишь как ревет, полоумная... словно махонькая какая... право-ну... Ах ты, дура, дура!.. Вишь, как рубашку вымочи-

ла слезами-то своими глупыми... Пошла, просушись... скотина ты этакая... право-ну...

Акулина, очнувшись совершенно, вскочила с земли, закрыла лицо руками и как угорелая, качаясь из угла в угол, потащилась вон из избы.

Несколько дней спустя после этой сцены обыватели скотного двора заметили большую перемену в сиротке. «Что с ней? Эка расторопная вдруг стала! – говорили они. – Отколе прыть взялась? Словечка не вымолвит, а работает куды против прежнего – словно приохотилась к делу». Они единогласно утверждали, что впрок пошли девке побои, что наконец-то обратили они ее на путь истинный. И действительно, что-то странное произошло во всем существе Акулины.

Действия и движения ее стали обозначать более сознания и обдуманности, нежели случайности; она как бы разом обрела и силу воли, и твердость характера. Преимущества, которыми пользовались перед нею остальные жители избы и которые прежде, можно сказать, были единственным источником ее огорчений, перестали возмущать ее. Она, казалось, поняла настоящее свое положение.

Акулина заметнее стала отделяться от общего круга живших с нею людей, и одна из самых главных забот ее состояла уже в том, чтоб безукоризненным, точным исполнением работы и обязанностей отклонять от себя всякого рода отношения, которые могли бы возникнуть между ними и ею в противных обстоятельствах.

Внутреннее отчуждение, чувствуемое ею еще с детства к Домне, проявилось теперь сильнее, чем когда-нибудь: в этом, впрочем, она решительно не могла дать себе ясного отчета. Замечательны также были старания Акулины скрывать от окружающих впечатления, производимые на нее их насмешками и оскорблениями. Когда уже чересчур переполнялось сердце горем, она старалась всегда почти скрыться из вида; затискается куда-нибудь подальше, в амбар или самую скрытную клеть, и там уже дает полную волю слезам своим. И в эти-то горькие минуты стала представляться Акулине с некоторых пор возможность иной, лучшей жизни; перед нею являлся с раздирающею сердце ясностью родной кров, родная семья и посреди всего этого мать, добрая мать, которую невыразимо сильно любила она... Грустны, грустны казались ей тогда сиротство и одиночество!

Мало-помалу бедная девка решительно перестала принимать нравственно участие во всем том, что делалось вокруг нее; происходило ли то на скотном дворе, в селе или соседстве – ей было все равно.

V

*Господи! что плотник – что захочет, то и
вырубит.*

Русская простонародная пословица

Прошло три года. В жизни деревенской, как известно, переворотов немного: все та же изба, то же поле из двух, много-много из трех нив; те же вечно неизменные заботы и суеты. На скотном дворе точно так же не могло произойти никаких особенных перемен. Дни и месяцы протянулись обычным своим порядком, не принося ни радостей, ни горя, за исключением разве редких, незначительных потасовок, которыми награждал Карп того или другого, когда находила на него дурь рвать лишнюю косушку с сватом или кумом. Акулина просиживала подле хозяина за станком с пряжею и мотками, а бабы по-прежнему не переставали дивиться ее грусти и неотвязчивому раздумью. Конечно, этим только и ограничивалось их участие; каждая готова была раздобаривать вдоволь, между тем как ни одна не подошла бы к сиротке, не сказала бы ей: что с тобою? о чем кручинишься? о чем тоскуешь?.. Впрочем, такое равнодушие относится собственно к работницам, лицам совершенно сторонним; что ж касается Домны – она, неведомо почему, с некоторых пор стала принимать необыкновенное участие в судьбе своей питомицы. Она беспрерывно повторяла соседкам, что Акульку пора

бы и замуж, хоть бы в другое какое село отдать, что ли; что Акулька уже давно на возрасте, давно в поре и только сохнет, как порошинка.

Несмотря, однако, на всю справедливость подобных замечаний, свахи и не думали заглядывать на скотный двор, и если та или другая кумушка, исправлявшая на деревне такую должность, завертывала в избу скотницы, то это случалось не иначе как в качестве простой гостьи или соседки. Никому на ум не приходила сиротка-невеста: ее как будто не было, как будто вовсе не существовала она на свете.

И протекла бы молодость Акулины, протекла бы до конца печальная жизнь ее так же тихо, без треволнений и переворотов, если б в селе Кузьминском не случилось одного обстоятельства, разом изменившего всю судьбу ее.

Приехал барин.

Барин этот, отлучавшийся летом из Петербурга не иначе как куда-нибудь на воды, за границу, конечно, и на этот раз предпочел бы чужие края скучной своей деревне, если б управляющий, собравшись наконец с духом, не решился доложить ему о плохом состоянии финансов и вообще о постепенном уменьшении доходов с имений. Известие это, как следует, привело барина в глубокое огорчение.

Все обрушилось на управляющего. Считая доклады его чистою ложью, подозревая его в плутнях и мошенничестве (так водится обыкновенно в подобных случаях), решился он сам объездить многочисленные свои поместья, чтоб убе-

даться лично в их расстройстве.

Ему уже, правда, давно приходила мысль заглянуть туда хоть раз, посмотреть, все ли шло там должным порядком, да как-то все не удавалось: то, как назло, одолеют ревматизмы, и надо было покориться воле врача, предписавшего непременно поездку в Баден или Карлсбад, а оттуда в Париж, где, по словам врача, только и можно было ожидать окончательного выздоровления; то опять являлись какие-нибудь домашние обстоятельства: жена родила, или общество, в котором барин был одним из любезнейших членов, переселялось почти на все лето в Петергоф или на Каменный остров, на дачи; или же просто не случалось вдруг, ни с того ни с сего, денег у нашего барина. С кем не бывает подобных грехов в настоящее время?

Твердо решившись на этот раз пожертвовать двумя-тремя месяцами весны и лета, барин поспешил сообщить свой план молодой супруге. Та, несмотря на трогательные филантропические цели, под предлогом которых супруг старался расположить ее к скучной поездке, хотя несравненно более симпатизировала даче на Каменном острове, однако после многих толков и нежных убеждений кончила тем, что согласилась на предложение.

Так как поездка эта все же некоторым образом была вынужденною со стороны супругов, то положено было вознаграждать себя по крайней мере всем, что только могла доставить приятного сельская жизнь. На этом основании избрали

они для своего местопребывания село Кузьминское, как самое богатое, привольное, живописное и притом заключающее в себе довольно комфортабельный господский дом.

Хотя рассказчик этой повести чувствует неизъяснимое наслаждение говорить о просвещенных, образованных и принадлежащих к высшему классу людей; хотя он вполне убежден, что сам читатель несравненно более интересуется ими, нежели грубыми, грязными и вдобавок еще глупыми мужиками и бабами, однако ж он перейдет скорее к последним, как лицам, составляющим – увы – главный предмет его повествования.

Он, к глубочайшему своему прискорбию, не имеет здесь достаточно времени и места, чтоб войти в подробности касательно приезда помещика, первых его действий и распоряжений; ни слова не скажет о домашнем его быте, а прямо перескочит на то место, где помещик выступает уже как действующее лицо рассказа.

Прошли целых два длинных-длинных месяца. Барин и барыня давно соскучились и думали только, как бы поскорее вырваться из Кузьминского и уехать в Петербург.

Полные таких мыслей, сидели они однажды утром на балконе перед палисадником. День был прекрасный; легкий ветерок колыхал полосатую маркизу⁴ балкона и навевал прохладу; палисадник, облитый горячими лучами полуденного солнца, блистал всею своею красотою.

⁴ *Маркиза* – навес из бумажной материи, защищающий от солнца.

Но помещик, которому пригляделись даже берега Рейна, Тироль и Италия, не обращал решительно никакого внимания на все это. Он машинально глядел на скучную, сухую местность, расстилавшуюся за садом.

– Посмотри, – сказал он, наконец, жене, указывая пальцем на пыльную дорогу, – как ошибаемся мы, думая, что уж русский простолоудин непременно должен быть дюжий и здоровый: взгляни хоть вон на эту девку... вон, вон, что идет по дороге с коромыслом, еле-еле в ней душонка держится... какая худая и желтая!

– Знаешь ли, Jean, несмотря на то, она довольно интересна.

– Да, пожалуй, если хочешь... Но воля твоя... elle a l'air bien bate'⁵ Пстой, я подзову ее сюда...

– Ну, вот еще; бог с ней!

– Ничего; я ужасно люблю говорить с ними; ты не поверишь, ma vonne⁶, как люди эти бывают иногда забавны! Эй, девка! Девка! – закричал барин. – Подойди сюда!

Девка до того была занята своими ведрами, что не только не слышала голоса барина, но, казалось, даже совсем позабыла, что шла мимо господского дома.

– Эй, девка! Девка! – продолжал кричать помещик.

Она подняла голову.

Первое движение ее ясно обнаруживало намерение бро-

⁵ Она имеет глупый вид (франц.).

⁶ Моя хорошая (франц.).

сидеть тут же, на месте, ведра и коромысло и пуститься в бегство; но, рассудив, вероятно, что уже было поздно, ибо всего оставалось несколько шагов до балкона, где сидели господа, она поспешила отвесить низкий-пренизкий поклон.

– Подойди сюда, милая, не бойся.

Девушка подошла с видимым страхом и смущением.

– Ты чья? – спросил барин.

– Домнина... – едва внятно прошептала она.

– Кто такая Домна?

– Скотница.

– Что же, она тебе мать, что ли?

– Нет.

– А мать где?

– Померла.

– Ну, а отец-то жив?

– Помер.

– Ты, значит, круглая сирота?

– Да...

– Не бойся, – продолжал барин, – ну, чего же ты испугалась? А сколько тебе лет?

– Не знаю.

– Как тебя звать?

– Акулиной.

– Ну что же, Акулина, тебе, чай, замуж пора? Небось замуж-то хочется? А?

Акулина стояла как вкопанная и только переминала крас-

ными руками своими пестрядинную свою юбку.

– Ну, отвечай же, когда спрашивают тебя господа... Чего боишься? Говори: замуж хочешь?

Акулина не прерывала молчания.

– Je vous avais bien dit, qu'elle'utait stupide⁷, – произнес барин, обращаясь к жене.

– Mais aussi vous lui faites des questions... Cette pauvre fille!⁸
– отвечала супруга.

– Ну, ступай, – сказал он, слегка улыбнувшись, – ступай, Акулина, бог с тобою... Знаешь ли, ma bonne amie⁹, – продолжал он, когда сиротка скрылась из вида, – сделаем доброе дело: пристроим бедную эту девку к месту, выдадим ее замуж...

– Ах! И в самом деле! Мне давно хочется посмотреть на деревенскую свадьбу; говорят, обряд этот у них чрезвычайно оригинален...

– О, удивительно! Я непременно доставлю тебе это удовольствие и завтра же прикажу старосте навести справки...

Но на другой день, как назло, приехало к ним несколько соседей, и барин, вместо того чтоб приказать старосте навести справки о деревенских женихах, отправил его в город для закупки разных съестных припасов, провизии и шампанского.

⁷ Я вам уже говорил, что она глупа (*франц.*).

⁸ Но и вопросы же вы ей задаете... Бедная девочка! (*франц.*).

⁹ Мой добрый друг (*франц.*).

Несколько дней прошло в пирах и охоте.

Соседи наконец разъехались.

В скором времени сам владетель села Кузьминского стал готовиться в дорогу. За всеми этими хлопотами он, конечно, не мог не забыть сиротки и, без сомнения, вернулся бы в Петербург, не вспомнив даже о намерении пристроить бедную сиротку, если б один совершенно неожиданный случай не навел его опять на прежнюю мысль. Доложили, что мужички пришли и просят позволения лично поговорить с его милостью. Барин отправился в прихожую, где крестьяне в молчании ожидали его появления.

Старый кузнец Силантий, его жена, брат и старший сын, парень превзродный, рыжий, как кумач, полинявший на солнце, вооруженные, как водится, яйцами, медом, караваем и петухом, повалились на пол, едва завидели господина.

– Встаньте, встаньте! – проговорил с достоинством помещик. – Вы знаете, я этого не люблю... встаньте, говорят вам...

Семейство кузнеца медленно и как бы нехотя приподнялось с пола.

Одна жена Силантия противилась исполнить приказание и с заметным упрямством продолжала валяться по земле, так что барин вынужден был на нее наконец вскрикнуть.

– Что вам надо? – спросил помещик.

– Вот, батюшка, – начал Силантий, – не побрезгай, отец ты наш... Вы, вы отцы наши, мы ваши дети, прими хлеб-соль.

– Какие вы глупые, право; сколько раз говорено было не носить ко мне ничего!.. Ну, куда мне все это?

– Уж так водится у нас, батюшка Иван Гаврилыч, не обидь нас, кормилец...

– Ну, ну... отдайте людям.

Вручив принесенное близ стоявшим лакеям, старый кузнец снова повалился наземь и, как бы почувствовав себя теперь облегченным от огромной тяжести, сказал гораздо развязнее и бойчее прежнего:

– К твоей милости пришли, Иван Гаврилыч.

– Что такое?

– Заставь, батюшка, за себя вечно богу молить...

– Ну, ну, ну...

– Да вот, отец ты наш... парню-то моему не то двадцатый годок пошел, не то более, так пришли просить твоей милости, не пожалуешь ли ему невесты?..

– Пускай, братец, парень твой выберет себе какую ему угодно невесту... из любка любую выбирает; я не прочь, отнюдь не прочь.

– Дело-то, батюшка Иван Гаврилыч, такое приспело, что вот что хошь делай: нет на деревне у нас ни одной девки, да и полно, и не знать, куда это подевались они... мы на тебя и надеялись, отец наш... Заставь вечно бога молить...

– Откуда же мне взять невесту, братец, когда сам ты говоришь, что их нет у нас?

– Дело знакомое; оно, вестимо, так, батюшка... Да мы чаяли,

буде твоей милости заугодно буде... вот в соседнем-то селе – Посыпкино... так ему кличка, – вот есть девка, добрая, куда какая... Летось еще, батюшка Иван Гаврилыч, смотрели мы ее и сваху засылали, да отец с матерью дорого больно просят... а девка знатная, спорая... Вот, батюшка, мы на ту пору и понадеялись на тебя, чаяли, буде господь бог даст, пожалуешь ты к нам, да не будет ли твоей милости... не запла тишь ли выводного за девку... а уж он, Иван Гаврилыч, куда парень гораздый, на всяко дело такой, что и!.. Батюшка! Сделай божеску милость, не откажи нам...

– Постой, постой! – прервал барин. – Как же, братец, говоришь ты: нет у нас невест... постой... да я знаю одну... Эй! Кликнуть старосту.

Староста, стоявший в это время за дверью и, по обыкновению своему или, лучше сказать, по обыкновению всех старост, не пропустивший ни единого слова из того, что говорилось между мужиками и барином, не замедлил явиться в переднюю.

– Что, Демьян, есть у нас в Кузьминском невеста?

– Есть, батюшка Иван Гаврилыч.

– Где?.. В какой семье?

– Вот, сударь, примерно хошь на скотном дворе у скотницы есть работница...

– Ах, да, да! Я и забыл... как бишь ее зовут-то?

– Акулиною, сударь...

– Да, Акулина, Акулина...

Кузнец и жена его заметно смутились; барин продолжал:

– Так что же ты врешь, Силантий, а? Что ж ты приходишь меня беспокоить по пустякам!

– Помилуй, отец ты наш! – сказал Силантий; голос его дрожал и понизился целою октавою, не то что вначале, где он думал, что барин-де не смекает ничего в крестьянском деле и что, следовательно, легко будет обмишурить, надуть такого барина. – Помилуй, – продолжал он, – не обижай ты нас, кормилец. Вы... вы ведь отцы наши, мы ваши дети... батюшка Иван Гаврилыч; какая же то невеста?

– Что ж?

– Сирота, батюшка, бездомная, и девка-то совсем хвора... Опричь того, батюшка, позволь слово молвить, больно ломлива, куды ломлива! Умаешься с нею... Ни на какую работу не годна... рубахи состебать не сможет... А я-то стар стал, да и старуха моя тож... перестарились, батюшка... Вестимо, мы твои, Иван Гаврилыч, из воли твоей выступить не можем, а просим только твоей милости, не прочь ты ее моему парню.

– Ах ты, старый дуралей! – сказал барин, сердито топнув ногою. – Если уж сирота, так, по-твоему, ей и в девках оставаться, а для олуха твоего сына искать невест у соседей... Что ты мне белендрысы-то пришел плесть?.. А?.. Староста! Девка эта дурного поведения, что ли?

– Кажись, ничего не слышать про нее на деревне... девка хорошая.

Нет сомнения, что староста жил не в ладу с кузнецом Силантием.

– Так что ж ты? А?..

– Не гневись...

– Молчать!.. Слушай, Силантий! Сейчас же, сию ж минуту сватай Акулину за твоего сына... слышишь ли?..

– Слушаю, батюшка Иван Гаврилыч...

– Отправляйся же на скотный двор... Смотри, брат... да чтоб свадьбу сыграть у меня в нынешнее же воскресенье... Вот еще вздор выдумал, если сирота, так и пренебрегать ею... а?..

Старуха Силантия не выдержала. С плачем и воплем бросилась она обнимать ноги своего господина.

– Батюшка! – вопила баба. – Отец ты наш! Не губи парня-то... Девка совсем негодная, кормилец; на всей деревне просвету нам с нею не дадут, кажинный чураться нас станет; чем погрестили мы перед тобою, касатик ты наш?.. Весь свет осуду на нас положит за такую ахаверницу...

– Что ты врешь, глупая баба? Встань, встань, говорят тебе... Пошла вон... А ты, Силантий, понял мой приказ? Ну, чтоб все было исполнено, да живо, слышишь ли?

– Слушаю, батюшка Иван Гаврилыч, – отвечал кузнец, кланяясь в пояс.

– Ну, ступай же! – продолжал барин. – Ах, да! Я и забыл... Силантий!..

Кузнец вернулся в переднюю.

– Тебе говорил Петр Иванов осмотреть коляску? Там, кажется, шина лопнула.

– Сказывал, Иван Гаврилыч.

– Ну так распорядись же как можно лучше; я еду во вторник на будущей неделе... ступай!..

Когда дверь передней затворилась за кузнецом, Иван Гаврилович отправился во внутренние покои. Проходя мимо большой залы, выходявшей боковым фасом на улицу, он подошел к окну. Ему пришла вдруг совершенно бессознательно мысль взглянуть на мину, которую сделает Силантий, получив от него такое неожиданное приказание касательно свадьбы сына.

Иван Гаврилович, к крайнему своему удивлению, заметил, что все члены семейства кузнеца шли, понуря голову и являя во всех своих движениях признаки величайшего неудовольствия.

– Что ты здесь делаешь, Жан? Что тебя так занимает? – сказала барыня, подкравшись к нему на цыпочках и повиснув совершенно неожиданно на шею своему мужу.

Иван Гаврилович молча указал ей на удалявшихся мужиков, покачал сначала головою и пожал плечами...

VI

*Что без ветра, что без вихоря
Воротишки отворилися.
Как въезжал на широкий двор
Свет Григорий, господин,
Свет Силантич, сударь.
Увидела Акулина-душа,
Закричала громким голосом:
«Сберегите вы, матушки, меня!
Вот идет погубитель мой!..»*

Русская песня

Быстро летит время! Не успели мужички села Кузьминского и двух раз сходить на барщину после описанной нами сцены, как глядь – уж и воскресенье наступило. В этот день, как вообще во все праздничные дни, деревня заметно оживлялась.

Только что раздались первые удары благовеста, во всех концах улицы загремели щеколды, заскрипели ворота и прикалитки, и жители забегали, засушались.

Кто выходит из дома и, крестясь, остановился посреди улицы, на лужайке, против бадьи, с намерением выждать жёну или свата; кто прямо шел к околице. Из окон беспрестанно зачали высовываться головы. «Эй! Тетка Феклуха! Погоди маненько! Пойдем вместе: дай управиться – куда те

несет!..» или: «Кума, а кума! Авдотья, а Авдотья! Выжди у коноплей... ишь, только заблаговестили...» Бабы, которые позажиточнее, в высоких «кичках», обшитых блестками и позументом, с низаными подзатыльниками, в пестрых котах и ярких полосатых исподницах или, кто победнее, попросту повязав голову писаным алым платком, врозь концы, да натянув на плечи мужнин серый жупан, потянулись вдоль усадьбы, блистая на солнце, как раззолоченные пряники и коврижки. Мерно и плавно выступали за ними мужья и парни. Толпы девчонок и мальчишек неслись, как стаи воробьев, то сбиваясь в кучку, то снова разбиваясь в рассыпную, оглушая всю улицу своим визгом и криком. Пестрая ватага из женщин, мужиков и ребят тянулась за околицу движущуюся узорчатую каймою, огибала бесконечное поле ржи, исчезала потом за косогором, пропадала вовсе и уже спустя немалое время появлялась, как сверкающее пятно, на белешей вдалеке церковной паперти.

Дорога к церкви мало-помалу пустела; кое-где разве проезжала телега, наполненная приходскими мужиками, или ковыляла, подпираясь клюкою, дряхлая старушонка, с трудом поспевавшая за резвою внучкою, которой страх хотелось послушать вблизи звонкий благовест.

В селе уже давно водворился покой. Воз заезжего купца-торгаша с красным товаром, запонками, наместьями, ва-режками, стеклярусом, тавлинками¹⁰ со слюдою, свертками

¹⁰ *Тавлинка* – берестяная табакерка.

кумача, остановившийся у высокого колодца, оживлял один опустевшую улицу.

Посреди движения, произведенного в Кузьминском благовестом, оставались две только избы, которых обыватели, казалось, не хотели принимать участия в общей суматохе. Одна из таких изб принадлежала кузнецу Силантию, другая скотнице Домне. Судя по некоторым наружным признакам, как в той, так и в другой должно было происходить что-нибудь да особенное.

Невзирая на пору и время, труба в избе Силантия дымилась сильно, и в поднятых окнах блистала широким пламенем жарко топившаяся печь. Кроме того, на подоконниках появлялись беспрестанно доски, унизанные ватрушками, гибанцами¹¹, пирогами, или выставлялись горшки и золоченые липовые чашки с киселем, саламатою¹², холодничком и кашею.

Вторая изба хотя не представляла ничего подобного, однако тишина (как известно, весьма не свойственная мирному этому крову) могла служить ясным доказательством, что и у Домны дело также шло не обычным порядком.

И действительно, то, что происходило в избе скотницы, отнюдь не принадлежало к числу сцен обыденных.

Толпа баб, разных кумушек, теток, золовок и своячениц, окружала Акулину. Сиротка сидела на лавочке посередь из-

¹¹ Гибанцы – крендели.

¹² Саламата – мучная кашлица.

бы, с повязкою на голове, в новой белой рубашке, в новых котях, и разливалась-плакала. Собравшиеся вокруг бабы, казались, истощили все свое красноречие, чтоб утешить ее.

– Не плачь, – говорила какая-то краснощекая старуха, – ну, о чем плакать-то? Слезами не поможешь... знать, уж господу богу так угодно... Да и то грех сказать: Григорий парень ловкий, о чем кручинишься? Девка ты добрая, обижать тебя ему незачем, а коли по случай горе прикатит, коли жустрить начнет... так и тут что?.. Бог видит, кто кого обидит...

– Вестимо, бог до греха не допустит, – перебила Домна. – Полно тебе, Акулька, рюмить-то; приставь голову к плечам. И вправду Савельевна слово молвила, за что, за какую надобу мужу есть тебя, коли ты по добру с ним жить станешь?.. Не люб он тебе? Не по сердцу пришелся небось?.. Да ведь, глупая, неразумная девка! вспомни-ка, ведь ни отца, ни матери-то нет у тебя, ведь сирота ты бездомная, и добро еще барин вступился за тебя, а то бы весь век свой в девках промаячилась. Полно... полно же тебе...

– Эх, бабы, бабы! – подхватила третья, не прерывавшая еще ни разу молчания. – Ну, что вы ее словами-то закидываете?.. Нешто она разве не знала замужнего житья? Хоть на тебя небось, Домна, было ей время наглядеться, а ты же еще и уговариваешь ее... Эх! Знамая песня: чужую беду руками разведу, а к своей так ума не приложу... век с мужем-то изжить не поле перейти... она, чай, сама это ведает...

– А разве всем быть таким, как твой Борис? Небось не за

доброего человека она идет, что ли?.. Григорий забубенный разве какой парень?.. Полно же, Акулька! В семью идешь ты богатуе... У Силантия-то в доме всякого жита по лопате... чего рюмишься?.. Коли уж быть тебе за Григорьем, так ступай; что вой, что не вой – все одно.

– И то правда, – подхватила какая-то близ стоявшая ку-ма, – вестимо, полно грустить... Не надсаживай, Акулина, своего здоровьица некрепкого по-пустому... брось кручину; авось бог милостив...

Но все эти увещания, в сущности способные убедить каждого здравомыслящего человека, что-то плохо действовали на Акулину.

Она была безутешна.

«Эка, право, девка-то чудная какая! – думали бабы. – Как узнала ономясь, что велено замуж идти, так ничего, слезинки не выронила, словно еще обрадовалась; да и все-то остальные дни, бог ее ведает, нимало не кручинилась. Уж на что Домна, кажись, не больно ее жалует, а третья дня, как запели девки песни да зачали расплетать ей косу, так и та благим матом завыла, да и всех-то нас нешто слеза прошибла, а ей одной нипочем – словно, право, каменное сердце у человека тогда было. Ну, думали, обрадовалась больно, сердечная, ан не тут-то было: вот теперь, в самый-то день свадьбы, отколь и горе привалило... ревет, и не уймешь еще... что бы за притча, примерно, такая?..»

Бабы решительно становились в тупик: им невдомек было

поведение Акулины. Недоумение кумушек возрастало, главное, оттого, что горе невесты последовало внезапно после нескольких дней, проведенных ею с самым невозмутимым равнодушием. Дело в том, что ни одна из них не замечала – конечно, и не могла заметить – тех тонких признаков душевной скорби, того немого отчаяния (единственных выражений истинного горя), которые, между прочим, сильно обозначались во все то время в каждой черте лица, в каждом движении сиротки.

Известие о разговоре барина с мужиками повергло ее в такое отчаяние, что, если б не надежда переменить дело, не выходить замуж, она кончила бы, без сомнения, чем-нибудь трагическим.

Надежда, вкравшись раз в душу Акулины, укрепила ее. Она ждала только удобного случая, чтоб броситься к ногам барина. Полная уверенности в том, что он не откажет ей своею милостью, она принялась караулить Ивана Гавриловича.

Но странно, необъяснимо странно было, что каждый раз, как показывался барин, ее охватывала такая робость, такой страх овладевал всем существом ее, что она не смела даже шевельнуться, боясь обратить на себя его внимание.

Необходимо здесь заметить, что чувство это было в ней совершенно бессознательно, ибо Иван Гаврилович был, как уже известно, человек добрый, благонамеренный и отнюдь не давал своим подчиненным повода трепетать в его присутствии. Приписать опять чувство это врожденной робости

Акулины, тому, что она была загнана, забита и запугана, или «идее», которую составляют себе о власти вообще все люди, редко находящиеся с нею в соприкосновении и по тому самому присваивающие ей какое-то чересчур страшное значение, — было бы здесь неуместно, ибо отчаяние бедной девки могло не только победить в ней пустые эти страхи, но легко даже могло вызвать ее на дело несравненно более смелое и отважное. А между тем, где бы ни встретилась Акулина с баринoм, решимость в ту ж минуту ее покидала; затаив дыхание, дрожа как осиновый лист, пропускала она его мимо, дав себе слово в следующий же раз без обиняков броситься в ноги к нему и прямо рассказать, в чем дело. Но много раз на день являлись такие случаи, и тысячу раз результат выходил один и тот же; мало того, в решительную минуту Акулина мирилась даже с горькою своею долею.

А барин тем временем шел себе спокойно, слегка покуривая сигару, беспечно поглядывая на стороны и не подозревая даже, чтоб за соседним плетнем или обвалившеюся перегородкою могло происходить что-либо подобное.

Надежда не покидала, однако, Акулину; еще накануне своей свадьбы всю ночь провела она на коленях, умоляя святых угодников защитить ее, укрепить ее духом. Но, как на беду, в воскресенье утром Иван Гаврилович ни разу не вышел из хором, и Акулина, выжидавшая его за сараем, могла только видеть, как коляска помчала его вместе с барынею по дороге в церковь.

Тут, ввиду исчезнувшей надежды, гибели неминуемой и неизбежной, почувствовала она, что не в силах бороться долее с своим горем; сердце ее перестало биться, глаза подернулись темною пеленою, и, как подрубленная молодая береза, покатила бедная на землю.

Случайно натолкнулась на нее баба; ее принесли в избу, привели в чувство и, как мы видели, немало заботились успокоить. Мало-помалу бабы начали достигать своей цели; невеста уже несколько поддавалась на их красноречивые убеждения, как вдруг крики: «Едут! Едут!», раздавшиеся со всех концов избы, снова испортили все дело.

Пока Домна (посажена мать сиротки), соседки и кумушки суетились вокруг невесты, ворота с надворья скрипнули, и на дворе послышался шум, говор и звук бубенчиков, свидетельствовавшие о приезде жениха.

Вскоре Пахомка (старший сын скотницы и дружка невесты) появился на пороге; за ним, крестясь и кланяясь, вошли по порядку жених, его отец, мать, дружка и родственники. Все они казались не слишком-то радостными; один дружка жениха скалил зубы, подмигивал близ стоявшим бабам да весело встряхивал курчавую своею головою.

После обычных приветствий как с той, так и с другой стороны Григория и Акулину поставили на колени на разостланный дружками на полу зипун. Домна взяла тогда образ и подошла к ним; начался обряд благословения.

Акулина как бы успокоилась, и только судорожно стисну-

тые губы и смертная бледность лица свидетельствовали, что не все еще стихло в груди ее; но потом, когда дружка невесты произнес: «Отцы, батюшки, мамки, мамушки и все добрые соседюшки, благословите молодого нашего отрока в путь-дорогу, в чистое поле, в зеленые луга, под восточную сторону, под красное солнце, под светлый месяц, под часты звезды, к божьему храму, к колокольному звону», и особенно после того, как присутствующие ответили: «Бог благословит!», все как бы разом окончательно в ней замерло и заглохло. Она машинально, с отсутствием всякого чувства и мысли, влезла в повозку и уселась подле жениха своего.

Поезд тронулся.

Обедня только что кончилась, когда свадебные повозки остановились перед церковью. Иван Гаврилович, его супруга и еще кой-какие помещики того же прихода стояли на паперти.

Первые, как жители столицы, с заметным любопытством ожидали начала брачной церемонии добрых мужичков.

Так как невеста была круглая сирота, то, по принятому обыкновению в подобных случаях, ей следовало еще отправиться до венца на кладбище, чтобы помолиться над могилою родителей, или, как выражаются в простонародье, «поплакать голосом».

Едва начался обряд венчанья, как супруга Ивана Гавриловича почувствовала уже тоску и сильный позыв к зевоте; крестьянская свадьба, заинтересовавшая ее дня три тому на-

зад, казалась ей весьма скучным удовольствием; невеста была глупа и выглядывала настоящим уродом, жених и того хуже – словом, она изъявила желание как можно скорее ехать домой. Иван Гаврилович, разделявший с женою одни и те же мысли, не замедлил сесть в коляску, пригласив наперед к себе некоторых из соседей.

Вскоре все обыватели Кузьминского вернулись домой, и улица села снова загремела и оживилась.

Мужики Ивана Гавриловича были народ исправный, молодцы в работе и не ленивцы; но греха таить нечего, любили попить в денечек господень. Приволье было на то большое: в пяти верстах находился уездный город **... да что в пяти! в двух всего дядя Кирила такой держал кабак, что не нужно даже было и уездного города для их благополучия. Уж зато как настанет праздник, так просто любо смотреть: крик, потасовки, пляс, песни, ну, словом, такая гульня пойдет по всей улице, что без малого верст на десять слышно.

Но на этот раз, – конечно, говоря относительно, – во всей деревне не было такого раздолья, как в одной избе кузнеца Силантия; немудрено: сыновей женить ведь не бог знает сколько раз в жизни прилучится, а у Силантия, как ведомо, всего-то был один. Несмотря на то что старику больно не по нраву приходилась невеста, однако он, по-видимому, не хотел из-за нее ударить лицом в грязь и свадьбу решил сыграть на славу.

И то сказать, угощенье затеялось лихое! Что душе угод-

но, всего было вдоволь. Василиса и Дарья – сестры кузнеца, старые девки, и старуха его только и делали, что таскали из печи на стол разные яства: мисы щей, киселя горохового, киселя овсяного, холодничка и каши, большущие чашки, наполненные доверху пирогами с морковью, пирогами с кашею, ватрушками пресными и сдобными и всякими другими, поочередно появлялись перед многочисленными гостями. О напитках и говорить нечего: штофики с сивухой, настойками, более или менее подслащенными медом, погуливали из рук в руки без устали; что же касается до сусла и браги, они просто стояли в больших ведрах близ каждого стола, гостю стоило только нагнуться, чтоб черпать. Силантий, казалось, совсем распоясался и чествовал гостей своих не на шутку. Много оставались довольны и гости; отовсюду неслись крики и приветствия радушному хозяину. Мало-помалу и сам он расходился.

Он сидел, обнявшись с кумом Иваном и сватом Гаврилою, и беспрестанно подносил им то из одного штофика, то из другого.

– Сват Гаврило! Еще стаканчик, ну, чего отнекиваешься?.. Пей!

– Так и быть, – отвечал сват Гаврило, глаза которого уже казались плавающими в масле, – так и быть, обижу свою душу, согрешу, выпью...

– Кум, а кум! Без опаски пей, чего боишься?..

– Спасибо те на ласковом слове, Силантий Васильевич,

много довольны без того... много благодарствуем...

– Молодая!.. Что же ты!.. – кричал Силантий, обращаясь к Акулине, которая молча и неподвижно сидела на месте и, несмотря на увещания соседок, не выпивала своего стакана. – Эй! Гришка! Что ж! Оба словно пни сидите... Сноха! Что не пьешь?.. Аль оглохла?.. Экие дурни!.. Да поцелуйтесь же... небось при людях-то не любо... Тетка Арина, еще винца... милости просим, не побрезгай... Дядя Пахом! Во здравие молодым!.. Кум Иван... ты... ты... ведь брат мне родной... ну, и пей!.. Левон Трифоныч! А ты что прикорнул? Небось, носи в ворота, где ус да борода!.. Кума! Домна Карповна, дай тебе господь бог много лет здравствовать и деткам твоим всяческа благополучия от царя небесного... Да... Эй! Во саду ли в огороде... эй, братцы!.. Ну!..

Гам, чавканье, стук ложек, неистовые крики подымались все сильнее да сильнее; вскоре слышались они не только в сенях, но даже на дворе, под корытами и колодами, куда успели забраться, неизвестно каким образом, некоторые из гостей Силантия.

Как ни весело было, однако пирушке должен же быть конец. Уж вечерело, когда стали расходиться. Кто, придерживаясь к плетню, побрел к себе домой; кто помощью рук и ног соседей и своих собственных карабкался вон, сам не зная куда; кто присоединился к общей массе народа, толкавшейся с песнями перед барскими хоромами.

Силантий, молодые и домашние его последовали примеру

последних. Тут веселье было уже совсем другого рода.

У самого палисадника вертелись хороводы, словно немазаные колеса какие, с их несвязною и нескончаемою песнью; в другом месте толпа окружала молодого парня, который, по желанию Ивана Гавриловича, выплясывал с бабой трепака. Заломив высокую свою шапку в три деньги, запрокинув голову, выделявал он с самою серьезною миною свои па, между тем как господские люди разносили обступившим его подносы с штофами пенника и ломтиками хлеба; ребятишки и девчонки бегали кругом балкона и с визгом кидались на-земь каждый раз, как барин или барыня бросали в них пригоршню жемков и орехов. Старики и старухи также имели свою долю в общем веселье: они стояли у решетки и тешились, глядя на забаву.

Разгулявшиися гости Силантия еще более оживили толпу; окружили молодых, втискали их силою в хоровод – и пошла потеха еще лучше прежней. Иван Гаврилович и супруга его казались на этот раз очень довольными; они спустились с балкона и подошли к хороводу.

– Что же она у тебя невесела, Силантий?.. – сказал Иван Гаврилович, указывая ему на Акулину.

– А вот, вишь ты, отец наш... она... молодая... а вот парень-то мой... Вы ведь отцы наши, мы ваши дети... батюшка Иван Гаврилыч... много благодарны... Вот те, ей-ей, много благодарны... не погневись ты на нас, мы ведь слуги твои...

– Ну, хорошо, хорошо, – прибавил барин, видя, что Си-

лантей едва держится на ногах, – хорошо, ступай...

Долго продолжалось в этот день веселье в селе Кузьминском. Уж давно село солнце, уже давно полночь наступила, на небе одни лишь звездочки меж собою переглядывались да месяц, словно красная девка, смотрел во все глаза, – а все еще не умолкали песни и треньканье балалайки, и долго-долго потом, после того как все уж стихло и смолкло, не переставали еще кое-где мелькать в окнах огоньки, свидетельствовавшие, что хозяйкам немало стоило труда уложить мужей, вернувшихся со свадебной пирушки кузнеца Силантия.

VII

*Ах, раскройся, мать сыра земля,
Поглоти меня, несчастную!!.*

Русская песня

Еще солнышко вихра не думало выставлять, как уже Григорий, муж Акулины, выбрался из каморы, куда накануне положили его с женою, и ушел в поле. Само собою разумеется, что такое усердие не могло проявиться в нем без особенной причины; он наверняка об эту пору думал поймать соседей, взявших с некоторого времени повадку пускать лошадей своих на его гречиху и овес. «Добро, – молвил он, украдкою приближаясь к своим нивам, – добро! Вы, чай, мыслите: бабится Григорий с женою да лыка не вяжет со вчерашнего похмелья? Погодите-тка, дружки! Я вам покажу свата Кузьму... Недаром с весны скалю зубы-то... постой...» Но Григорий, должно быть, нес чистую напраслину на соседей своих, ибо сколько ни обходил поля, сколько ни высматривал его, нигде не было заметно ни истоптанного места, ни даже следа конского или человеческого: овес и гречиха были невредимы. Бодро, словно ратники в строю, торчали мощные их стебли; один только ветер, потянувший к рассвету, бугрил и колыхал злачные их верхушки. «Ишь, лешие! – сказал он, оглянув еще раз поле. – Как барин-то здесь, так небось и дорогу узнали... по чужому, знать, не шляндаете... не то что

прежде... Ах, кабы попался кто из вас, мошенников... во, как бы оттаскал!.. да еще и к барину бы свел...» Ободрив себя такими мыслями, Григорий повернулся спиной к полю и отправился по меже к проселку. Ступив на проселок, он остановился, поглазел направо и налево, почесал затылок, потом оба бока и спину. «А что? – подумал он. – Ведь вот коли все прямо по дороге идти, так, вестимо, оно будет дальше... в полях-то, чай, еще никого нет!.. Э!..»

Григорий махнул рукой и без дальних рассуждений пошел отхватывать по соседней ржи. Уж начали было мелькать перед ним верхушки ветл, ограждавших барский сад, мелькнула вдалеке и колокольня, как вдруг рожь в стороне заколыхалась, и, отколе ни возьмись, глянула сначала одна шапка, потом другая и третья; не успел Григорий присесть наземь, как уже увидел себя окруженного тремя мужиками.

– Э-ге-ге!.. Так это, брат, ты? – вскричал самый дюжий из них, в котором Григорий узнал дядю Сыся. – Так вот оно как! Нет, знай, не отбоярись... не пущайте его, ребята...

Петруха Бездомный и Федос Простоволосый пододвинулись.

– Что, словно черти, обступили?.. Что надо?..

– Небось чужое-то не свое – не жаль...

– Да ты чего лезешь?.. Нешто твое?

– А то чье же?..

– Ну, твое так твое... и черт с тобою!..

– Вот мы те покажем черта...

– А что ты мне покажешь?..

– Да... а помнишь, как летось батька твой поймал на своих горохах мою кобылу да слупил целковый-рубль?.. Этого ты не помнишь?

– А что мне помнить?..

– То-то, воронье пугало! Теперь и тебе не уйти...

– Да чего те надо? Леший!

– Э, брат! Ты еще куражишься... Хватай его, ребята!..

Мужики бросились на Григорья; тот, парень азартный, изворотливый, видя, что дело дошло до кулаков, мигом вывернулся, засучил рукав, и дядя Сысой не успел отскочить, как уже получил затрещину и облился кровью.

– А! Так вяжи ж его, ребята! Вяжи его, разбойника! – закричали что было мочи мужики, уж не на шутку принимаясь комкать Григорья. Тут сила перемогла его: дядя Сысой, Федос и Петруха связали его кушаками, не потерпя даже на этот раз малейшего ущерба, разве только что гречиха первого была решительно вся вымята во время возни, – а она ведь все же чего-нибудь да стоила, ибо у Сысои, его жены и детей всего-то было засеяно ею полнивы.

– Тащи его, братцы, прямо к барину, тащи!.. – кричал дядя Сысой, размазывая себе, как бы невзначай, скулы кровью и, вероятно, желая тем произвести больший эффект перед барином. – Там те покажут, собаке, как драться... тащи... тащи!..

– Что, взял? – говорил Петруха Бездомный. – Не хотел по

добро ладить... вот те бока-то вылушат... погоди.

– А! Мошенник! – продолжал дядя Сысой, не забывая мазнуть себя по носу. – Я ж покажу!.. Разбойник! Тащи... тащи, ребята... тащи его!..

– Что, брат Гришка, – подхватывал Петруха, – якшаться с нами небось не хотел: и такие, мол, и сякие, и на свадьбу не звал... гнушаться, знать, только твое дело; а вот ведь прикрутили же мы тебя... Погоди-тка! Барин за это небось спасибо не скажет: там, брат, как раз угостят из двух полenceв яичницей... спину-то растрарафетят...

– А что, дядя Сысой, – молвил Федос, – вестимо, чай, жутко ему будет?.. Так выпарят... и!.. и!.. и!.. Господи упаси!..

Рассуждая таким образом, мужики заметно придвинулись к околице; тут Григорий, не показавший во все время смущения или робости, стал вдруг крепиться и упираться ногами. Дядя Сысой, заметив это, перемигнулся с Петрухой и, как бы почувствовав прилив вдохновения, произнес:

– Стой, ребята! Стой!.. Гришка! Вот те Христос, отдерут, не на живот, а на смерть отдерут... Слушай! Ну... хошь аль не хошь?

– Ну что?.. Ну, хочу...

– Братцы! Уговор лучше денег, – продолжал тем же восторженным тоном дядя Сысой, – бог с ним... обидел он меня... уж вот как обидел... ну да плевать... выпустим его...

– Выпустите, братцы! Ну, за что вы меня тащите? Выпустите! Ей-богу, скажу спасибо...

– Э-ге!.. Даром кафтан-то у те сер, а ум-то, верно, не лукавый съел... ишь чего! А ты думаешь, спасибо, да и отбо-
ярился?

– Чего ж вам еще?..

– Что больно дешево?.. Нет... ты, брат, вот что... Ну, да что с тобою толковать! Давай целковый!

– А отколе возьму его?..

– Не хошь?.. Тащи его, ребята, тащи!..

– Гришка, полно тебе артачиться! – сказал Петруха. – Хуже будет, шкурою ведь заплатишь... вот те Христос, такого срама нахлебаешься, что и!..

– Толком говорят тебе, откуда мне взять его?.. Ну...

– Врешь, чертов сын! У вас с бачкой денег много... недаром всю деревню вчерась угощали... Ну, хошь, что ли, говори?

– Ей-богу, дядя Сысой, провалиться мне сквозь землю, если есть такие деньги...

– Э! Ну, черт с тобой! Давай полтинник.

– Да нету, тебе, чай, говорят!

– Нету?.. Ну так тащи его, ребята... тащи, тащи, тащи!..

– Погодите... дядя Сысой... стойте... дайте вымолвить слово... пять алтын, по-моему, бери!

– Эж, ловок больно! Нет, этим обиды, брат, не вышибешь... Тащи его, знай, ребята, тащи...

– Ну, двугривенный... Вот как бог свят, больше нет ни полушки!..

– Ребята! – крикнул снова дядя Сысой. – Была не была! Возьмем с него двугривенный да магарычи в придачу... Идет, что ли?

– Отсохни руки и ноги, если у меня есть больше, – всего двугривенный...

– О! Еще скалдырничает... Так ты не хочешь?

– Не замай его, дядя Сысой, сам напоследях спокается...

– Вестимо! – вымолвил Федос.

– Черт же бы вас подрал! – сказал Григорий. – Ну, развязывай руки-то, что ль...

– Двугривенник и магарычи – слышишь?

– Ну, слышу!

– Идет?

– Ну, идет!

– Развязывай его, ребята! Давно бы так: кобениться еще вздумал... эх, жила, жила!..

– Да куда мы пойдём-то?..

– Вестимо, куда! Река, чай, не больно далече...

– К свату Кириле, что ли?

– А то куда же? Сегодня, кажись, еще базар...

– И то, ребята...

– Ступайте, братцы! – сказал Федос.

– А ты что?

– Я не пойду...

– Да куда те приспичило, на барщину разве гонят, черт?

– Свой пар, дядя Сысой, не пахан стоит...

– А у одного тебя не пахан он, что ли? Простоит ведро, спахаешь...

– Вестимо, простоит ведро; давно ли был дождь?..

– Полно, кум, пойдём!

– Идемте, что ли?

– Идемте...

– Погодите, куда вас несет?

– А что?

– Обогнуть, чай, надо дорогу...

– А пес велит нам идти по ней?.. – сказал дядя Сысой.

– А то как же?

– Что тут долго болтать... вот так всё прямо и пойдём...

полем, как раз на реку выйдем...

– Э! Полем! А рожь, не видишь?

– Э! Рожь... Что, ребята, чего стали?

– Оно, вестимо, короче, дядя Сысой, полем-то, чай, выйдешь на забродное...

– Ну так что?

– А овсы господские...

– Овсы господские! А какой леший увидит нас? День, что ли? Ишь, только светает. И много помнем мы небось овсов-то господских... Да ну, ступайте, что ли!

– Пойдемте, братцы!

– Пойдемте!..

И все четверо свернули с дороги.

Дядя Сысой не ошибся; избранная им дорога сокращала

путь по крайней мере целыми десятью минутами, что, впрочем, в ожидании магарыча не было безделицей. Вскоре путники наши миновали барский овес, расстилавшийся за ним ельник и вышли на берег.

Солнце только что показалось из-за темных гор, ограждавших противоположную сторону реки; ровная, тихая, как золотое зеркало, сверкала она в крутых берегах, покрытых еще тенью, и разве где-где мелькали по ней, словно зазубрины, рыбачьи лодки, слегка окаймленные огненными искрами восхода. Песчаный берег, по которому ступали мужички, незаметным, ровным почти склоном погружался в воду. Внизу, у самой подошвы его, возвышалась серая высокая изба, обнесенная с одной стороны плетнем, с другой сушившимся бреднем. На дощатой, заплесневевшей кровле этого здания возносился длинный шест с пучком соломы и елка, столь знакомая жителям Кузьминского и вообще всему околотку. Кругом по песку валялись без всякого порядка обручи и торчали порожние бочки, брошенные, вероятно, хозяином для просушки.

Несмотря на раннюю пору, перед крылечком здания уже толкалось немало народа, и товарищам дяди Сыся надо было выждать, прежде нежели войти под гостеприимный кров.

Тут стояли мужики с возами, мельники из соседних деревень с мукою и рожью, высывались кое-где даже бабы; виден был и купчик с своею бородкою и коновал с своими блестящими на ремennom поясе доспехами, но более всех

бросался в глаза долговязый рыжий пономарь с его широкою шапкою, забрызганною восковыми крапинами, который, взгромоздившись, бог весть для чего, на высокий воз свой, выглядывал оттуда настоящею каланчою.

На пороге кабака находился сам хозяин; это был дюжий, жирный мужчина с черною, как смоль, бородою и волосами, одетый в красную рубаху с синими ластовицами и в широкие плисовые шаровары. Он беспрерывно заговаривал с тем или другим, а иногда просто, подмигнув кому-нибудь в толпе, покрикивал: «Эй, парень! А что ж хлебнуть-то? Ась?.. Эге-ге, брат! Да ты, как я вижу, алтынник!»

Григорий, дядя Сысой и другие вошли наконец в кабак и, не снимая шапок, как это принято в таких местах, уселись рядышком в углу на лавке. Внутренность избы не представляла ничего особенно нового и замечательного. Тот же порядок, как и во всех кабаках, усеивающих большие и малые дороги, пристани, базарные сходки и приречья обширной России. Те же закопченные сосновые бревна, та же печь исполинского размера с полатями и выступами. В одном углу – бочка с прицепленным к краю ковшом, в другом – конторка, устроенная из досок, положенных на козла; на ней штофы, полуштофы, косушки и стаканы, расположенные шеренгами с необыкновенною симметриею, как-то странно бросающиеся в глаза посреди окружающего хлама и беспорядка. У самых дверей на лавке пыхтел и шипел неуклюжий самовар (сват Кирила также держал чай и закуску); подле него поды-

малась целая гряда позеленевших, поистертых сухарей и ба-
ранок; далее тянулся косвенный, наподобие бюро, прилавок,
покрытый чашками, мисками и блюдами с разною потребою
для крестьянского брюха.

На безлюдье нельзя было жаловаться; мало того, что изба
была полным-полнешенька, в дверях беспрестанно появля-
лись новые лица, так что сам Кирила едва поспевал управ-
ляться.

– Маюкончику на гривенничек – трое пьют! – кричал
мельник, вводя двух мужиков, купивших у него муки.

– Эй, дядя Кирила, давай перемену!

– Аль рыбу-то поснедали? Что больно скоро?

– Малый, косушку!

– Эй, целовальник, а целовальник! или Максим, что ли,
как те звать! – полуштоф на одного – вот и деньги...

Но Кириле не в диковинку были такие хлопоты; он не
упускал даже случая перекинуться словом то с тем, то с дру-
гим из гостей своих.

– Эй, Ванюха! Что рыло-то не мочишь?.. Полно тебе гла-
зеть по сторонам-то; спроси – дадут... чего прикорнул?

– Да что, брат, денег нету.

– Ой ли? Аль все пропил?

– Пропил не пропил, а был грех!..

– Давно ли? Вот то-то оно и вышло: мужик простоволос
год не пьет, два не пьет, а как бес прорвет, так и все пропьет!

– Эй, Трифон, опохмелиться, чай, надо – чего зеваешь?

Коли алтын не хватает, так муки, чай, привез?

– И то привез.

– Ну, давай ее сюда! Что будешь делать? Надо уважить кума... тащи!

– Да ты сколько даешь?

– Вестимо, ни твоей, ни своей души обижать не стану.

– А сколько?

– Ты пуд, а я косушку.

– Э! Косушку! Что, больно тороват?

– Ну, не одну, так две.

– Давай!

– Э! ге, ге, ге!.. Дорофей, а Дорофей! Что, брат, приуныл?

Аль кручина какая запала?

– Да что, брат Кирила! Беда прилучилась, за свою же кобылу приплатился.

– Как так?

– А вот как: увели у меня на прошлой неделе кобылу.

– Не гнедую ли?

– Нет, саврасую. Я и туда и сюда – и след простыл, что ты будешь делать?.. Захожу к свату Ивану, а тот и надоумил меня: «Ступай, говорит, в Пурлово – знаешь Пурлово?» – говорит он мне – это сват-то Иван говорит. Знаю, говорю, Пурлово, как не знать! «Ну, так коли знаешь, так ступай, отыщи там Онисима-коновала; я знаю, – говорит сват Иван, – это его ребята балуют». Что ты станешь делать? Беда, да и только; взял красную, прихожу. «Ну, что?» – говорит. Да вот, мол,

кобыла саврасая пропала; так не поможешь ли беде? «Как не помочь, говорит, ступай в осинник на завалишинский выгон, знаешь завалишинский выгон?» Знаю, говорю. «Ну, когда так, так и кобылу свою найдешь: она там траву, вишь, щиплет». Отдал деньги, прихожу: и вправду стоит моя кобыла!.. Так вот какая прилучилась беда – красную ни за что ни про что отдал.

– О, брат! Добро еще красную, видали и больше; счастлив, что дешево отбаярился.

– Такая, право, беда! Хорошо, что деньги были, а то просто и кобылу поминай как звали... право-ну!

– Что, деньги, брат, не боги, дядя Дорофей, да, видно, много милуют.

Каляканье не мешало, однако, нашим мужичкам пропустить чарку за чаркою; вскоре почувствовали они сами, что уже сильно нагрузились. Всего страннее в этом деле было то, что мирный и тихий Федос проявил такую прыть и смелость, что многих трудов стоило Григорию и Сысою удержать его, чтоб он не вцепился в бороду долговязому пономарю, к которому получил он, ни с того ни с сего, непреодолимую ненависть. Наконец кое-как угомонили они его и уложили под навесом подле Петрухи, давно заснувшего сном богатырским. Расплатившись как следует, наши приятели (я говорю: приятели, ибо дядя Сысой и Григорий шли теперь, обнявшись крепко-накрепко, и не переставали лобызать друг друга в ус и бороду) вышли из кабака и, как ни покачивались на сторо-

ны, благополучно достигли дороги. Неизвестно, о чем толковали они; разумеется, много было всяких сердечных излияний как с той, так и с другой стороны. Дядя Сысой и Григорий пойдут-пойдут, да и остановятся – остановятся да обнимутся. «Во как люблю, Гриша!.. Ей-бо... право...» – «Больно ты мне полюбился, дядя Сысой... Во... те... Христ...» – и опять продолжают путь тем же порядком.

Но счастье скоротечно; вскоре очутились они посреди улицы и волею-неволею должны были расстаться.

Нередко попадают дни в жизни человека, которые как бы исключительно пользуются правом наделять его неприятностями и неудачами. Точно такой же день, должно быть, пал на долю Григорью, ибо не успел он отворить ворота, как уже неприятно был поражен криком и бранью, раздававшимся у него в доме. Григорий остановился, обтер рукавом пот, капавший с лица, и стал прислушиваться; так! голосили Дарья и Василиса, но на кого? – бог их ведает! – Он поднялся по шаткому крылечку, выходящему на двор, и вступил в избу. Василиса и Дарья стояли, каждая по концам стола, с поднятыми кулаками; перед ними близ окна сидела Акулина; она, казалось, не старалась скрывать своего горя и, закрыв лицо руками, рыдала на всю избу... Слезы ручьями струились между сухощавыми, грязными ее пальцами. Зрителем этой сцены была старуха, мать Григория; свесив с печи седую голову, как-то бессмысленно глядела она на все, происходившее перед ее глазами.

– Чего горланите?.. Что еще? Ну?.. – закричал Григорий, бросая с сердцем кушак и шапку наземь.

– Да то же, что вот навязал нам на старости лет дьявола... Поди-тка сам теперь и ломайся с ним! – отвечала Василиса, указывая костлявою своею рукою на Акулину.

– Да, – подхватила Дарья, вся дрожа от злобы, – небось и руки-то понадсодишь – сунься только...

– Покою не дает, проклятая, – продолжала Василиса, – воеет, знай, себе на всю избу. Послали было за хворостиной печь истопить, прошляндала без малого все утро... велели хлебы замесить – куды те!.. Ничего не смыслит – голосит себе, да еще: пойду, говорит, к барину...

Василисе и Дарье, по известным причинам, более, нежели остальной родне, ненавистна была женитьба Григория; тетки, как видно из слов их, решились даже прибегать в иных случаях к клевете, чтоб только навлекать на Акулину гнев мужа, парня, как ведали они, крутого и буйного.

– Да, – подхватила Дарья, приступая к племяннику, – к барину, говорит, пойду... он, говорит...

Но Григорию и этого было довольно; он оттолкнул тетку и подошел к жене.

– Что, окаянная? – произнес хмельной Григорий, страшно поваживая очами. – Что? Артачиться еще вздумала, а?

– Да, как бы не так! – голосила Василиса. – Много возьмешь словами.

– Вестимо, что ей даешь потачку... разве не видишь, она

с умыслом воет? Думает: услышит...

– Э! Толковать еще тут! – бормотал сквозь зубы Григорий, хватая Акулину за волосы и повергая ее одним движением руки на пол.

– Вот так-то! – сказала Дарья. – Да здесь не замай ее, Гриша; стащи лучше в сени... неравно еще горшки побьешь...

Бешенство, казалось, обуяло Григория; тут все разом завозилось в голове его: и неволя, с которою он женился, и посторонние неприятности, и хмель, происшествие утра, – кровь путала его; сначала долго возил он бедную женщину взад и вперед по избе, сам не замечая, что беспрерывно стучался по углам и прилавкам, и, наконец, потащил ее вон...

– Эй, черти! – послышалось тогда в сеничках. – Чего расходились? Эй! Григорий, Гришка, а Гришка! – произнес тем же голосом седой как лунь мужик, входя в избу. – Э-э-э!.. Эхва! Как рано пошло размирье-то! Вчера свадьбу играли, а сегодня, глядишь, и побои... эхва!.. Что?.. Аль балует?.. Пестуй, пестуй ее, пусть-де знает мужа; оно добро...

– Чего, леший, надо?.. Проваливай, проваливай... черт, дьявол, собака!..

Это обстоятельство, казалось, еще больше остервенило Григория, и бог знает, что могло бы случиться с Акулиною, если б в ту самую минуту не раздалось в дверях звонкого хохота и вслед за тем не явился бы на пороге Никанор Никанорович, барский ловчий.

Василиса и Дарья мгновенно исчезли за печуркою; Григо-

рий тотчас же выпрямился, стяхнулся и подошел к нему.

– Добро здравствовать, Никанор Никанорыч, – произнес он, – зачем пожаловали?

– Ох!.. Дай, брат, Христа ради, душеньку отвести... О!.. О!.. Ай да молодые!.. Чем бы целоваться, а они лупят друг друга. Эх вы, простой народец!.. Хе, хе, хе...

– Балуется больно, Никанор Никанорыч.

– И куды, кормилец ты наш, ломлива! И не ведает господь, что за баба такая... – сказала Василиса, показывая голову из своей прятки.

– Ну, ну... ну, а я вот что: барин вас зачем-то спрашивает... Эй, тетка!.. Вынь-ка крыночку молочка – смерть хочется... Не могу сказать зачем, а только приказал кликнуть вместе с женою... Что ж ты, тетка, коли молока нет, так простокваши давай – не скупись... ну!

Григорий бросился сломя голову вон из избы; тетка не замедлила последовать его примеру.

Пока почетный гражданин барской дворни хлебал простоквашу, в каморе и в сенях происходила страшная суматоха.

– Зачем это барин-то кличет?

– Что такое прилучилось?..

– Эх, нелегкая его дергает!..

– А вот что: хочет, видно, на молодых поглядеть...

– Что, что?.. Ну, ты... рожу-то всплесни водой...

– Рубаху-то новую вынь. Долго, что ли, чертова дочь, возиться станешь?.. У! Как пойду...

– Гриша, я чай, полотенце надо для поклона?..

– Давай, тетка Дарья... хошь свое давай... Ишь, леший!

Ничего не принес!..

– Вот ты покажи у меня только вид какой, только поморщись... я с те живой тогда сдери шкуру...

– Все, что ли?

– Кажись, все...

– Ну, ступай!

Григорий и Акулина вышли из ворот и вскоре очутились в барской передней.

– Поздравляю вас! – сказал Иван Гаврилович, подходя к молодым вместе с женою. – Поздравляю! Смотрите же, живите ладно, согласно, не ссорьтесь.

– Mon Dieu, qu'elle a e'air malheureuse!..¹³ – сказала барыня.

– Comment! Vous ne saviez pas que chez eux la jeune mariée doit pleurer pendant une semaine? Mais c'est de rigueur...¹⁴

– Вот, возьмите, – продолжал он, подавая Григорию белевскую бумажку, – это вам жалует барыня... Мирно у меня жить, дружно... Ты во всем слушайся мужа своего... работай... Ну – бог с вами, ступайте.

Дорогою молодые повстречались с Никанором Никаноровичем.

¹³ Боже мой, какой несчастной она выглядит!.. (франц.)

¹⁴ Как! Вы не знаете, что у них молодая новобрачная должна плакать в течение недели? Но это обязательно... (франц.)

– Зачем барин-то звал?

– Да вот пожаловал, вишь, денег...

– Покажи... Ах ты, черт этакий!.. Вашему, знать, брату мужику только и счастье... Нам небось никогда не перепадет... Э! Поди тут разбери: иной и службой не выслужит, а то другой шуткой вышутит... А что, брат Григорий, ведь угостить надо, ей-богу, надо... Погоди, мы придем sprыснуть.

– Приходите.

– Сегодня и придем... а?..

– Ну, хоть сегодня... а что?

– Да завтра, чем свет, мы уезжаем в Питер с барином; так тут не до того... Смотри же, жди нас...

– Добро...

Утро и полдень протекли тихо и смирно в избе Григория, и если б не визит Никанора Никаноровича и еще двух лакеев, которые подняли ввечеру изрядную суматоху, можно было бы сказать, что водворившаяся так внезапно тишина не прерывалась ни разу и в остальную часть дня.

VIII

*Тяжелей горы,
Темней полночи
Легла на сердце
Дума черная!*

Кольцов

Но семейство Силантия не могло прожить долее одного дня в ладу и согласии; знать уж под такую непокойною звездою родились почтенные члены, его составлявшие. С следующею же зарею пошли опять свалки да перепалки. Нечего и говорить, что Акулина была главным их предлогом. Трогательные убеждения Ивана Гавриловича при последнем свидании его с Григорием, казалось, произвели на последнего то же действие, что к стене горох, — ни более ни менее.

Но прежде, нежели приступлю к дальнейшему описанию житья-бытья горемычной моей героини, не мешает короче ознакомить читателя с новой ее роднею. Это будет недолго; она состоит всего-навсего из четырех главных лиц: Дарьи, Василисы, старухи, жены Силантия, и Григория. Первые две уже некоторым образом известны читателю из первой главы; прибавить нечего, разве то, что они считались еще с самых незапамятных времен ехиднейшими девками околотка.

Мать Григория была не менее их несносна, в другом толь-

ко отношении. Брюзгливая, хворая, она никому не давала покоя своими жалобами, слезами и беспрестанным хныканьем; старуха вечно представляла из себя какую-то несчастную, обиженную и не переставала плакаться на судьбу свою, хотя не имела к тому никакого повода. Она постоянно проводила время лежа на печке; изменяла своему положению, залезая иногда в самую печку, когда уж невмочь подступало к пояснице. В этом да в оханье состояла вся деятельность ее жизни. «Хоть бы прибрал ее господь... ну ее... всем тягость только; провались она совсем...» – говаривали частенько тетки; но господь, видно, их не слушал: старуха жила, наполняя по-прежнему дом жалобами и канюченьем.

Силантия незачем присчитывать к семье; подобно большей части крестьян Ивана Гавриловича, он работал по оброку и являлся домой из Озерок, деревни в тридцати верстах от Кузьминского, не иначе как только в большие праздники или же в дни торжественные, как то: свадьбы, мирские сходки, крестины и тому подобное. Остается, значит, сказать несколько слов о его сыне.

Григорий принадлежал сполна к числу тех молодцов, которых в простонародье именуют «забубёнными головушками». Статься может, он не удостоился бы такого прозвища, если б судьбе угодно было наделить Силантия не одним детищем, а целою дюжиною.

Сызмала еще во всем давали ему потачку. Залезал ли Гришка в соседний огород, травил ли кошек, топил ли со-

бак (утехи, к которым с первых лет обнаруживал он большую склонность) – все сходило ему с рук, как с гуся вода. «Что с него взять? – говорил Силантий. – Малехонек еще, ничего не смыслит; побалуется, побалуется, да и перестанет...» Если случалось соседу поймать парнишку в какой-нибудь проказе и постегать его, Силантий тотчас же заводил с соседом ссору, брань, часто оканчивавшуюся дракой, не помышляя даже о том, происходило ли то в глазах озорника сына. «Скинь-ка шапку да постучи-ка себя в голову-то, не пуста ль она, – твердили Силантию, – что ты его добру-то не наставишь?.. Пес ли в нем будет, коли таким вырастет». – «А тебе что? – отвечал обыкновенно кузнец. – Знай своих; про то мое дело ведать, будет ли в нем прок; небось, не хуже твоих выйдет». Шаловливость молодого парня могла бы, конечно, пройти с годами и не возбудить в нем более дурных наклонностей, если б к зрелому возрасту не доконала его окончательно фабричная жизнь. В больших деревнях и селах Средней России, наделенной, как известно, не слишком-то плодородною почвою, мужики искони занимаются ткачеством. Занятие это дает им возможность заменять иногда с лихвою недоимки хлеба и частые неурожаи.

Силантий, как оброчный крестьянин, а следовательно, наблюдавший только за собственными своими барышами, почел выгоднейшим отослать сына в соседнюю деревню на фабрику, а для обработки тощей, плохо удобренной земли своей нанял батрака.

Нет сомнения, что Григорию было гораздо привольнее щелкать челноком в теплой, просторной избе, посреди многочисленного общества таких же, как и он, лихих ребят, чем тащиться в зной и дождь за тяжелою сохою. Дело, однако, в том, что пролетные эти головушки развили в нем окончательно дурные семена, посеянные еще смолоду. Вскоре Григорий не замедлил отличиться в разных проделках, стоивших ему не раз прогулок к становому и управляющему. Одна из таких проделок достойна даже особенного замечания. Раз как-то Григорий и другой фабричный повстречались на дороге с огородником, везшим на базар арбузы. Огородник спал мертвецки на своем возу. Молодцам приглянулся такой случай истинною находкою. Они смекнули поживу и недолго затруднялись, как спроворить дело. Григорий мигом очутился под возом с ножом в руках и принялся прорезывать отверстие в лубочном дне телеги. Проползши таким образом на карачках с версту, он благополучно довершил зачатое предприятие. По мере того как арбузы сыпались один за другим, товарищ Григория скатывал их в небольшую лошину, огибавшую дорогу. Бедный огородник, должно быть, хлебнул лишнее, ибо спал так крепко, что доехал до базара, не заметив пропажи. Между тем молодцы успели притащить из села телегу, навьючить на нее добычу и тронуться в путь. Они не откладывали дел своих в долгий ящик и потому решили немедленно ехать на базар, не сообразив в первом пылу удачи, что такая поспешность могла как раз накликать

им беду. Так и случилось. Григорий наткнулся на мужичков Кузьминского; пошли толки, намеки, пересуды; каждому казался товар подозрительным. В Кузьминском не было огородов. Тут, как на беду, пронеслись слухи, что обокрали на дороге огородника; вскоре сам он явился налицо. Тотчас и сведали дело. Молодцов схватили, скрутили по рукам и по ногам и повели к заседателю, присутствующему на базаре для наблюдения порядка; заседатель, отпотчевав, как водится, добрым порядком, отправил их к становому. Неведомо, что произошло у последнего; достоверно только то, что из рук его так же трудно выпутаться, как из рук первого. Пришлось поплатиться спиною.

Ко всем дурным наклонностям, которыми так щедро снабдила Григория фабричная жизнь, она поселила в нем еще расположение к ерофеичу – средству, без которого никак не обходится простолюдин, успевший уже нащупать в сапогах своих лишние гроши. Словом, Григорий был изрядным негодяем, когда отец вызвал его на пашню. Не понаторевшись смолоду в трудностях полевых работ, быв притом лентяем по натуре, Григорий вышел никуда не годным мужиком. «Непокой пашне, коли мужик оставил шашни», – говорит пословица; и действительно, вместо пользы принес он в дом одно размирье, ибо только и делал, что ссорился да ругался с матерью и тетками.

Акулина, переступив из дома скотницы Домны в семью кузнеца, попала, как говорится, из огня да в полымя. Есть

люди, которым как бы предназначено судьбою целую жизнь мыкать горе. Мы уже видели, что бедная женщина сильно не приходилась по нраву новой родне своей; неволя, с какою попала она замуж за Григория, имевшего в виду другую, богатую, «здоровенную» бабу, была одною из главных причин всеобщей к ней ненависти. А ведь стоит только запасть в душу человека невежественного предубеждению, стоит только раз напитаться ей злобою – и уже ничем, никакими доводами и убеждениями, никакими силами не вытеребишь их оттуда. И сострадательность и всякое другое побуждение пошло тогда к черту: все черствеет в ней и притупляется; овладевшее ею раз чувство как бы все более и более укрепляется и, укрепляясь, глушит в ней остальное. Первый день замужества Акулины, казалось, вполне выразил всю ее жизнь, все, что ожидало ее в будущем. Хотя такие побыты¹⁵ и доходили до соседей, но никто, однако, не обнаруживал явного к ней участия; каждый из них был проникнут убеждением, что, правда, худо бабе у мужа, а как без мужа, так и того было бы хуже. Зато вся деревня единодушно далась диву, когда пронесся слух, что Акулина, вместо того чтоб умереть родами (чего ожидали соседки, ведавшие домашнее житье-бытье ее), родила Григорию дочку, да еще, как рассказывал пономарь, такую крепенькую, что сам батюшка на крестинах немало нахвалился.

Если уж младенец так приглянулся попу и пономарю, то

¹⁵ Побыты – слухи.

чем же должен был он казаться бедной матери? Акулина как бы ожила; что-то похожее даже на радость мелькнуло в глазах, знавших прежде одни только слезы, и на печальном лице ее показалась небывалая дотолле улыбка. Она не обращала уже теперь никакого внимания на оскорбления Василисы и Дарьи; ей нипочем были и побои Григорья и распри всего семейства. Все, что вложено было в ней чувства, все сосредоточивалось на милом ее младенце, — далее она ничего не видела, ко всему казалась равнодушною, бесчувственною. Но это-то равнодушие и запропастило вконец голову бедной бабы. Григорий не мог сносить его. Он приходил в бешенство, видя, что слова и побои не действовали более на робкую и покорную жену; словом, жизнь Акулины стала еще хуже прежней.

Встречаются иногда люди с характером кротким и нежным в такой степени, что существование их кажется как-то неполным, неопределенным, вряд ли способным даже проявиться без подпоры или влияния другого, более мощного и твердого характера. Им не чужды самые сильные страсти, порывы самые пламенные и энергические; но все это закрыто в них под непроницаемую пеленую какой-то робости и застенчивости, которая мешает им выказываться наружу и только глушит их. Оба эти чувства у иных так сильны, что ни воспитание, ни положение в обществе, ни даже самое общество не в состоянии их исторгнуть. Жизнь такого рода людей может пройти, невзирая ни на какие обстоятельства, так же

тихо и спокойно, как песок стеклянных часов. Все способен вынести и претерпеть такой человек; терпение и смирение кажутся его уделом, его назначением.

Но являются случаи, где то же самое робкое существо, по-видимому, лишенное воли и силы, проявляет вдруг твердость воли, какую одарены только редкие, на диво сплоченные натуры. Так бывает, когда доведут до предела вложенные ему в душу кротость и терпение. Все силы, тратившиеся понемногу на пути жизни, оставшись в нем непочатыми, нетронутыми, как бы заодно пробуждаются тогда и восстают всею своею массою.

Акулине пришло невмочь терпеть долее. Видя, что ни покорность, ни труды, ни смирение – ничто не действовало, она решила идти наперекор не только мужу, но даже всей родне своей, перед которой незадолго еще так трепетала. Заметив, что злоба их усилилась от равнодушия, с каким старалась она выносить ее, Акулина употребила все свое старание, чтоб казаться еще спокойнее и равнодушнее. Мало того: она дала себе клятвенное обещание хранить молчание со всеми домашними и никогда, ни в каком случае, хотя бы такая решимость могла стоить ей жизни, не произносить перед ними ни единого слова. Она как бы вдруг онемела.

IX

*Ах, не жаль-то мне роду, племена,
Не жаль-то мне родимой
сторонюшки:
Мне жаль-то малое дитяtko;
Останется дитяtko малешенько,
Малешенько дитяtko, глупешенько.
Натерпится холода и голода.*

Русская песня

*Ах ты, гнутое деревцо, черемушка,
Куда клонишься, туда склонисься!*

То же

Прошло четыре года...

Кому бы случилось видеть Акулину прежде, в первые дни ее замужества, тот, конечно, нашел бы в ней по прошествии этих четырех лет большую перемену. Иной вряд ли даже мог бы узнать ее. Она казалась состарившеюся целыми десятью годами. Оставалась только сухая, отцветшая кожа да страшно выглядывавшие кости. Бледное лицо, изнуренное тяжкою жизнью и безвременьем, покрылось морщинами; скулы сильно выступили под мутными, впалыми глазами, и вообще по всей физиономии проскальзывала какая-то ною-

щая, неотразимая грусть, виднелось что-то столь печальное и унылое, что нельзя почти было отыскать в ней и тени былого. Поступь ее стала медленна; идучи, она беспрерывно останавливалась, прикладывала тощую свою руку к груди, и вслед за тем слышался тяжелый, жестокий, долго не прерывавшийся кашель. Она видимо чахла.

С некоторых пор чаще стали посылать Акулину на реку, выбирая для этого, как бы невзначай, сырую и ненастную погоду; заметно сваливались на нее самые трудные и утомительные хозяйственные работы; при всем том Василиса и Дарья не упускали случая раззадоривать Григория разными побытами, зная наперед, что злоба его неминуемо должна была вымещаться на плечах безответной Акулины. Последнее обстоятельство было тем менее затруднительно для теток, что Григорий, выпивавший прежде стакан-другой без всякого позова, так только, ради компанства, успел в эти четыре года уже свыкнуться, сдружиться окончательно с ерофеичем – пил мертвую и частехонько бывал пьян как стелька. Утешительная сторона всего этого была по крайней мере та, что старания теток оказались бесполезными. Акулина занемогла не на шутку. В первое время вряд ли даже предстояла ей надежда отделаться от смерти.

Рассказывать обстоятельно все то, что претерпела она в продолжение болезни, по-моему, лишнее: читателю и без того легко смекнуть, каково ей было лежать в душной камере под неутомимым надзором и ухаживанием Василисы и Да-

рьи.

Неизвестно как, откуда и чрез какие добродетельные уста, но только состояние Акулины вскоре дошло до слуха жены управляющего. К счастью, последняя была женщина добрая, простая; она поспешила к ней на помощь.

Следствием ли лекарственных разных снадобий, которыми поили больную, или просто помогла сама натура, но Акулине стало, однако, гораздо легче. Мало-помалу она начала даже поправляться, к несказанной досаде домашних, желавших ей от всей души царствия небесного и иной, лучшей жизни. Им ведомо было более, нежели кому другому, все, что терпела горемыка на белом свете. Сострадательность их не замедлила вскоре обнаружиться в полной своей силе. Распространяться не стану, ограничусь описанием одного случая, который выразит нетерпеливость теток наделить племянницу лучшею долею, в чем, как увидит читатель, они вполне успели.

Акулина не одумалась еще после болезни и находилась в том неопределенном состоянии, когда сам врач не может решить: жизнь или смерть сулит судьба пациенту. Она едва передвигала ноги.

Осень, или, как выражаются в простонародье, листопад приближался на пегой своей кобыле к концу. Деревья обнажились. Местами по улице и дворам сверкала гололедица; воздух становился сух и холоден.

В такой-то день, после обеденного времени, к Григорью

явился староста. По очереди следовало кому-нибудь из домашних его идти досушивать чечевицу, – ибо подступила пора сеять.

В выборе затруднялись недолго; что думать: Акулина и так провалялась целых два месяца; к тому же Василиса и Дарья формально объявили, что им недосуг, что и без того работают за всех и не пойдут – приходи хоть сам управляющий. Перекорять теткам было дело мудреное, притом отнюдь не касалось старосты: ему все одно, тот ли, другой ли, – был бы исполнен наказ, а там пусть себе трещат бабы сколько им взгодно; в домашние дразги никому входить не приходится.

Акулина молча поплелась вон из избы вместе с маленькою своею Дунькою. Никогда, ни в каком случае не разлучалась с нею Акулина. Сам ребенок, казалось, искал этого: где только ни встречалась мать, там уж непременно виднелась и дочка. Стояла ли стужа, шел ли дождь, пекло ли солнце – всюду тащилась девчонка, цепляясь то с той, то с другой стороны за понёву матери. Итак, взяв Дуньку за руку (она не в силах еще была поднять ее на руки, как имела обыкновение), Акулина вступила на просторный двор и уселась перед циновками, на которых сушилась чечевица.

Но не в добрый, знать, час вышла хозяйка Григория. Началось с того, что она упустила из вида курицу, забежавшую на одну из циновок, и управляющий, проходивший в то время мимо, загнул ей крепкое словцо; потом стряхнулось на нее и другое горе: она почувствовала вдруг, что не может

шепельнуться, ибо все члены и особенно ноги тряслись, как в лихорадке, от прохватившей их насквозь стужи.

Акулина поспешила закутать в дырявый жупан Дуньку и усадить ее так, чтобы не застудился младенец; сама же кой-как свернула ноги под понёву да прикуталась в сорочку: другого одеяния на ней не было (она никогда не имела кожуха или тепленького овчинного тулупчика). И то даже, в чем вышла она, глядело как-то непригоже: всюду, и на спине и на плечах, виднелись прорехи, которые то и дело ощеливали кость да посиневшее от холода тело.

Уверившись еще раз в том, что Дуньку не прошибала дрожь, Акулина принялась глядеть на двор.

Но печальная картина расстилалась перед нею.

Дощатый забор, ограждавший почти весь двор, местами покривился набок, местами совсем повалился и выказывал то поблекший кустарник, то потемневшие купы полыни с отощавшими стеблями и верхушками; с одной стороны тянулся непрерывный ряд сизых, однообразных амбаров и конюшен с высокими кровлями, осененными круглыми окнами, из которых торчало хлопьями серое дикое сено. Далее возносились над забором скирды убранного хлеба, покрытые бледною соломой; между ровными их рядами виднелась речка, какого-то синего, мутного цвета, за нею стлалось неоглядное, словно пустырь, поле; на нем ни сохи, ни птицы — чернела одна только гладко взбороненная почва. Остальную часть двора занимали барский сад и палисадник с выгляды-

вавшими из-за них бельведерами и крышами флигелей. Листья с деревьев осыпались и темными горами лежали в аллеях и близ ограды. Кое-где мелькала разве березка с сохранившеюся на ней зеленью, казавшеюся издалека как бы забрызганной золотистою, рыжеватою охрою. Сучья, стволы растений, кровли и все окрестные предметы как-то резко, бойко вырезывались на бледном, почти белом небе, что придавало картине вид холодный и суровый. Воздух был неподвижен, сух и прохватывал члены нестерпимым ознобом.

Время от времени раздумье Акулины прерывалось проходящими мимо конюхом или дворовою бабою; застывшая земля издавала какой-то металлический звук под их стопами; и далеко отдавались шаги в опустевшем пространстве. Иной раз она поднимала голову и смотрела пристально в ясное, бледное небо; там, в беспредельной вышине, проносились к востоку длинные вереницы диких журавлей и жалобным, чуть внятным криком своим возмущали на миг безжизненность, всюду царствовавшую. Неведомо, какие мысли занимали тогда Акулину; сердце не лукошко, не прошибешь окошко, говорит русская пословица. Она недвижно сидела на своем месте, по временам вздрагивала, тяжело-тяжело покашливала да поглядывала на свою дочку – и только... Впрочем, из этого следует, что бабе было холодно, что болела у нее слабая грудь, а наконец и то, что ее беспокоило состояние собственного ребенка – чувство весьма обыкновенное, понятное каждому.

Раздумье Акулины было внезапно прервано чьим-то знакомым голосом; она обернулась.

Перед нею стояла жена управляющего.

– Как! Акулина! – сказала она с заметным удивлением. – Зачем ты здесь?.. Ведь я же говорила твоим, чтоб не выпускать тебя раньше трех недель... Как это можно!.. Кто послал тебя?..

– Староста...

– Староста! Ах он, бездельник!.. Да чего же смотрели твои-то?.. А? Мужа разве не было дома?..

Акулина молчала.

Жена управляющего повторила вопрос.

Акулина не прерывала молчания.

– Разве ты чувствуешь себя лучше?.. Ну, что? Где теперь болит?

– Тут... все тут, – произнесла хрипло Акулина, прикладывая окоченевшие пальцы к тощей, посиневшей груди своей; вслед за тем послышался, длинный, прерывистый кашель.

– Ай, ай!.. Нет, нет, сиди-ка дома. Как это можно! – говорила жена управляющего, глядя на Акулину пристально и с каким-то жалостным выражением в лице. – А, да какая у тебя тут хорошенькая девочка! – продолжала она, указывая на Дуньку и думая тем развеселить больную. – Она, кажись, дочка тебе?.. То-то; моли-ка лучше бога, чтоб дал тебе здоровье да сохранил тебя для нее... Вишь, славненькая какая, просто чудо!..

Она подошла к ребенку и погладила его по голове.

Рыдание, раздирающее, ужасное, вырвалось тогда из груди Акулины; слезы градом брызнули из погасавших очей ее, и она упала в ноги доброй барыни...

– Что ты?.. Что ты?.. Что с тобою?.. – говорила та, силясь приподнять бабу. – Успокойся, милая! О чем кручиниться?.. Бог даст, здорова будешь... перестань...

– Матушка!.. Матушка... ты... ведь ты одна... одна приголубила мою сиротку... – И она снова повалилась в ноги доброй барыни.

Жена управляющего каждодневно наведывалась в избу Григория. Истинно добрая женщина эта употребляла все свои силы, все свои слабые познания в медицине, чтобы только помочь Акулине. Она не жалела времени. Но было уже поздно: ничего не помогало. Больной час от часу становилось хуже да хуже.

Наступившая зима, морозы, растворяемые непрерывно на холод двери, против которых лежала Акулина, сильно к тому способствовали. Наконец ей совсем стало невмочь. Григорий сходил за попом. После обычного обряда отец Петр объявил присутствующим, что божьей воли не пересилить, а больной вряд ли оставалось пережить ночь. Ее так и оставили.

В избе смеркалось. Кругом все было тихо; извне слышались иногда треск мороза да отдаленный лай собаки. Дерев-

ня засыпала... Василиса и Дарья молча сидели близ печки; Григорий лежал, развалившись, на скамье. В углу против него покоилась Акулина; близ нее, свернувшись комочком, спала Дунька. Стоны больной, смолкнувшие на время, вдруг прервали воцарившуюся тишину. Вздуги огня и подошли к ней.

– Что тебе?.. Аль прихватило?.. – сказала Дарья.

Но Акулина ничего не отвечала и только вперила угасавшие очи на мужа; долго смотрела она на него и, наконец, произнесла прерывающимся голосом: «Григорий...» Василиса и Дарья перемигнулись и вышли на двор.

– Ну, что?.. – отвечал тот, подходя ближе к жене...

– Григорий!.. – продолжала Акулина тем же замирающим голосом. – Григорий... Григорий... – У нее не хватало сил сказать больше.

– Ну, слышу; что же надо?

Она положила руку на спавшего возле нее ребенка и произнесла протяжно:

– Не бей... ее... не бей... за что?!

Видно было, что она хотела что-то еще сказать, но речь ее стала уже мешаться и вышла нескладна; мало-помалу звуки ее голоса слабели, слабели и совсем стихли; смутные, полуоткрытые глаза не сходили, однако, с мужа и как бы силились договорить все остальное; наконец и те начали смежаться... Григорий взглянул на нее еще раз, потом подошел к полатам, снял с шеста кожух, набросил его на плечи и вышел из избы.

Дарья и Василиса попались ему в сеничках.

– Ну, что? – произнесли тетки почти в одно и то же время.

– Отходит, – отвечал Григорий, натягивая узкий рукав на мощную свою руку.

Когда они вступили в избу, Акулины уже не было на свете.

На другой день рано утром отец Петр явился к Григорию в сопровождении дьячка, чтоб совершить панихиду над грешным телом жены его. Когда панихида была окончена, тело Акулины снесли в каморку, где назначено ему было пролежать еще до похорон.

...Вьюга не утихала; резкий морозный ветер не переставал наметывать груды снега и, казалось, еще усиливался с каждым часом; но Григорию нипочем была стужа и вялица: он никак не соглашался отложить похорон. Немало твердили ему домашние: «Выжди немного; ишь какая посыпала погода, зги не видно. Эй, в сугробе засядешь!..» Григорий не слушался и норовил лишь, как бы скорее спровадить покойницу. По колени в снегу, он уже припрягал тощую клячу к оглоблям розвальней, на которых лежал длинный, живьем сколоченный гроб Акулины. Василиса и Дарья глядели с крылечка на его приготовления. Из избы слышались время от времени чьи-то стоны и вопли...

– Что не уймете пострела-то? – сказал наконец Григорий. – Ишь как воеет...

– И то в каморку заперли, не унимается, – отвечала Дарья. Когда все было готово, кляча взнуздана, а гроб привязан

веревками к розвальням, Григорий замотал поводья к перекладине навеса и поплелся в избу. Вступив в нее, он снял с полки небольшой штоф, заткнутый грязною ветошью, и принялся цедить из него себе в горло; натянувшись вдоволь, он поспешил возвратиться к делу.

– Что ты, Гриша, пораскраснелся? – заметила Василиса, не покидавшая с сестрою прежнего своего места. – Выпил, что ли, для куража?..

– Маленько было, – отвечал тот, – ну, отворяйте же ворота...

Он приладился на край гроба, нахлобучив на глаза шапку, гаркнул: «Эй вы, поваливай!!», махнул вожжами и понесся по улице.

Вьюга злилась по-прежнему, дорогу заметало, целые горы снега рассыпались ему на голову. Григорий, ошеломленный вином, ни на что не обращал внимания и знай только хлестал и стегал несчастную свою клячу, которая то и дело вязла в оврагах... Вдруг, посреди завывания ветра и шума метелицы, ему послышались крики; он оглянулся: в мутных волнах между сугробами бежала сломя голову Дунька. Григорий приподнялся на облучке и погрозил ей. «Пошла, пострел, домой... пошла домой!.. Замерзнешь! Пошла домой!» – кричал он, принимаясь с большим еще остервенением колотить свою клячу. Хмель, благо морозно было, успел уже обуять его; удары сыпались за ударами, лошадь несла его во всю мочь; изредка оборачивался Григорий назад... «По-

шла домой, пострел!.. Пошла домой!» – горланил он; но ребенок не переставал бежать за ним с тем же криком и воплем. «Пошла домой! Вот я те... окаянную!» – продолжал отец. Дунька все бежала да бежала...

А вьюга между тем становилась все сильнее да сильнее, снежные вихри и ледяной ветер преследовали младенца, и забивались ему под худенькую его рубашонку, и обдавали его посиневшие ножки, и повергали его в сугробы... но он все бежал, все бежал... вьюга все усиливалась да усиливалась, вой ветра становился слышнее и слышнее; то взрывал он снежные хребты и яростно крутил их в замутившемся небе, то гнал перед собою необозримую тучу снега и, казалось, силился затопить в нем поля, леса и все Кузьминское со всеми его жителями, амбарами, угодьями и господскими хорами...

Антон-Горемыка

Живи, коли можется;

Помирай, коли хочется.

Народная пословица

I

Дядя и племянник

В самой глухой, отдаленной чаще троскинского осинника работал мужик; он держал обеими руками топор и рубил сплеча высокие кусты хвороста, глушившие в этом месте лес непроходимую засекой. Наступала пора зимняя, холодная; мужик припасал топливо. Шагах в пяти от него стояла высокая телега, припряженная к сытенькой пегой клячонке; поодаль, вправо, сквозь обнаженные сучья дерев виднелся полунагой мальчишка, карабкавшийся на вершину старой осины, увенчанную галочьими гнездами. Судя по опавшему лицу мужика, сгорбившейся спине и потухшим серым глазам, смело можно было дать ему пятьдесят или даже пятьдесят пять лет от роду; он был высок ростом, беден грудью, сухощав, с редкою бледно-желтою бородою, в которой нередко проглядывала седина, и такими же волосами. Одежда на нем соответствовала как нельзя более его наружности: все

было до крайности дрябло и ветхо, от низенькой меховой шапки до коротенького овчинного полушубка, подпоясанного лыковой тесьмой. Стужа была сильная; несмотря на то, пот обильными ручьями катился по лицу мужика; работа, казалось, приходилась ему по сердцу.

Кругом в лесу царствовала тишина мертвая; на всем лежала печать глубокой, суровой осени: листья с деревьев попадали и влажными грудами устилали застывавшую землю; всюду чернелись голые стволы деревьев, местами выглядывали из-за них красноватые кусты вербы и жимолости. В стороне яма с стоячею водою покрывалась изумрудною плесенью: по ней уже не скользил водяной паук, не отдавалось кваканья зеленой лягушки; торчали одни лишь мшистые сучья, облепленные слизистой тиной, и гнилой, недавно свалившийся ствол березы, перепутанный поблекшим лопушником и длинными косматыми травами. Вдалеке ни птичьего голоса, ни песни возвращающегося с пашни батрака, ни бляения пасущегося на пару стада; кроме однообразного стука топора нашего мужичка ничто не возмущало спокойствия печального леса.

...Время от времени за лесом подымался пронзительный вой ветра; он рвался с каким-то свирепым отчаянием по замирающим полям, гудел в глубоких колеях проселка, подымал целые тучи листьев и сучьев, носил и крутил их в воздухе вместе с попадавшимися навстречу галками и, взметнувшись наконец яростным, шипящим вихрем, ударял в тощую грудь осинника... И мужик прерывал тогда работу. Он опу-

кал топор и обращался к мальчику, сидевшему на осине:

– Эй, Ванюшка! ишь куда забрался! того и гляди ветром снесет, ступай наземь!..

– Не замай, дядя Антон, – откликнулся парнишка, – небось, не снесет!

Дядя Антон, успокоенный каждый раз таким увещанием, брал топор, нахлобучивал поглубже на глаза шапку и снова принимался за работу. Так повторялось неоднократно, пока наконец воз не наполнился доверху хворостом. Внимание мужика исключительно обратилось тогда к племяннику; его упорное неповиновение как бы впервые пришло ему в голову, и он не на шутку рассердился.

– Ах ты, баловень! – закричал он, стучая обухом топора в осину. – Долго ли говорить тебе? Слезай! Вот я те, озорника, поартачишься у меня, погоди!..

– А вот же не слезу, коли так, – отвечал мальчуган, взбираясь все выше и выше.

– Не слезешь?.. ладно же, оставайся один в лесу, пусть те едят волки... проклятого!..

Угроза, казалось, подействовала на ребенка; он обхватил ручонками коренастый ствол дерева, приготавливаясь спуститься наземь при первой попытке дяди исполнить обещание.

– А бить станешь? – вымолвил он, наклонив из-за ветки кудрявую свою головку и глядя пристально на дядю.

– Ну, ну, слезай, знай слезай!..

– Взаправду не станешь?..

– Говорят, не стану, ступай скорей!

Ванюшка спустился сажени на две и опять повис на сучке.

– И на лошадь, дядя Антон, посадишь?

– Ладно, ладно, ступай только.

– Не обманешь?

– Экой пострел, прости господи! Говорю, посажу – чего еще?

Последнее обстоятельство окончательно успокоило парнишку; с быстротою и ловкостью белки проскользнул он между верхними сучьями и в одно мгновение ока очутился на земле подле дяди.

Вскоре воз, навьюченный красноватым и сизым хворостом, медленно выезжал из лесу, скрипя и покачиваясь из стороны в сторону, как бы изловчаясь сбросить с себя при первом косогоре лишнюю тяжесть. Ванюшка сидел верхом на пегашке; он был вполне счастлив. Русые его кудряшки, развеваясь по ветру, открывали поминутно круглое, свежее личико, сияющее восторгом. Антон шел подле, запустив одну руку за пазуху, другой упираясь в оглоблю. Проколесивши добрый час по глинистым кочковатым полям, стлавшимся за лесом, путники наши выехали наконец на проселок и немного погодя услышали отдаленный шум мельницы. Воз приближался к троскинской лощине. Незаметная издалека и терявшаяся в волнистых линиях местности, лощина эта принимала вблизи довольно широкие размеры: на дне ее, по-

росшем конятникком и ветельникком, заваленном плитняком и громадными угловатыми каменьями, шумела и пенилась река; вместо моста через нее перекидывалась узкая плотина, упиравшаяся одним концом в старую водяную мельницу. С той стороны, откуда приближалась телега, мельница освобождалась совершенно от ветл, ограждавших ее с других трех частей, так что амбары, клетки, двор, толчея, навесы виднелись как на ладони. Шлюзы были опущены: все три постава работали без устали; главное здание, обдаваемое с одного бока белою шипящею пеной, тряслось словно в лихорадке; мука, покрывавшая его кровлю, сыпалась в воду и крутилась в воздухе. Гул был страшный. Прежде чем спуститься с уступистой кручи на берег, Антон остановил лошадь и указал племяннику на мельницу.

– Поглядь-кась, Ваня, не видать ли где мельника?

– Аксентия Семеныча? – спросил ребенок.

– Экой дурень! нешто у нас, кроме него, другой какой есть...

– Нет, дядя Антон, нету... а кто-то стоит... вон в белой-то рубахе... вон, вон руками-то размахивает!..

– Ладно, не будь только он; того и смотри, с ярманки вернется, встренется да денег станет просить, беда! Ох-хо, хо! Ну, Ванюха, трогай, да смотри, не больно круто спущай!..

Миновав благополучно шаткую плотину, пегашка взнесла воз на противоположный берег, поднялась на косогор и приостановилась; она вздохнула свободнее и замотала хвостом,

что делала обыкновенно, когда была довольна. Дорога опять пошла ровная и гладкая. Когда соломенная кровля мельницы с осенявшими ее скворечницею и ветлами скрылась за горою, перед глазами наших мужичков снова открылась необозримая гладь полей, местами окутанная длинными полосами тумана, местами сливающаяся с осенним облачным небом, и снова ни былинки, ни живого голоса, одна мертвая дорога потянулась перед ними. Наконец вправо начал показываться господский дом, ближе – и вот он весь выглянул словно из земли. Все в нем обозначало не только отсутствие хозяина, но даже давнее запустение; ставни заколочены наглухо: некоторые из них, сорванные ветром, качались на одной петле или валялись подле треснувшего и обвалившегося основания; краска на кровле, смытая кое-где дождем, обнаруживала гниль и червоточину; стекла в покосившейся вышке почти все были выбиты; обветшала наружность этого здания, или, лучше сказать, этой развалины, облеплялась повсюду неровными рядами ласточьих гнезд; они виднелись в темных углах, вдоль желоба, под карнизами. Казалось, одни ласточки не покидали старого барского дома и оживляли его своим временным присутствием, когда темные купы акаций и лип, окружавшие дом, покрывались густою зеленью; в палисаднике перед балконом алели мак, пион, и сквозь глушившую их траву высовывала длинную верхушку свою стройная мальва, бог весть каким-то странным случаем сохранившаяся посреди всеобщего запустения; но теперь даже и ласто-

чек не было; дом глядел печально и уныло из-за черных безлиственных деревьев, поблекших кустарников и травы, прибитой последними ливнями к сырой земле дорожек.

Проходя мимо, Антон не замедлил, однако, снять шапку; так прошел он вдоль старого сада, флигелей, пчельника, пока наконец не поравнялся с помещичьими ригою и овином. Тут он не только надел шапку, но даже остановился: за плотным забором возносилось такое несметное множество скирд убранного хлеба, что невольно разбежались глаза и вчуже забирала зависть. Уже несколько лет сряду стояли они таким образом неприкосновенными, непочатыми, приглашая каждого любоваться ими вдоволь. Поговаривали в околотке, будто огромным этим запасам хлеба суждено было выждать здесь благоприятной и счастливой минуты всеобщего неурожая в губернии, на что, как утверждали, были у владельца их свои особые соображения, не совсем чуждые корысти; но слухам, известно, верить нельзя: чего не выдумают! Дело в том, что чем далее глядел наш мужик на скирды, тем более потуплял голову, и, наконец, господь знает отчего, совсем загрузил. Раздумье одолело его так сильно, что он стал даже пропускать без внимания груды хвороста, валившиеся у него с воза, тогда как прежде тщательно собирал сторонние веточки, попадавшиеся на окраине дороги.

Между тем деревня все еще не показывалась. Темные тучи, сгустившиеся над нею, окутывали ее сизой непроницаемой тенью; струйки белого дыма, косвенно поднимавшие-

ся в сизом горизонте, давали, однако, знать о близости избушек. Прежде всего попалась на пути маленькая кузница с дюжим кузнецом Вавилою на пороге, который, приветливо кивнув Антону головою, вымолвил: «Отколе?» и на ответ: «А из осинника», зевнул, перекрестив рот; там глянули высокие «магазеи», за ними крестьянские густые огороды, а там потянулось и самое село Троскино, расположенное по скату лощины. Толпа чумазых ребятишек, игравших в бабки, стояла на улице подле колодца. Они, казалось, нимало не замечали стужи и еще менее заботились о том, что барахтались, словно утки, в грязи по колени; между ними находилось несколько девчонок с грудными младенцами на руках. Семи– или восьмилетние нянюшки дули в кулаки, перескакивали с одной ножки на другую, когда уже чересчур забирал их холод, но все-таки не покидали веселого сборища; некоторые из них, свернувшись комочком под отцовским кожаном, молча и неподвижно глядели на игравших.

Проезжая мимо, Ванюшка, начинавший было корчиться от стужи на своей кляче, вдруг вытянулся, приосанился и крикнул, во сколько хватило силенки:

– Эй! пошли прочь!.. Раздавлю!.. Ишь лошадь едет!..

Толпа дала дорогу, окидывая седока завистливыми взглядами. Одна девчонка, рыженькая, курносая, взъерошенная и вдобавок еще хромая, пустилась догонять воз, прыгая и вертясь на одной ножке.

– Дядя Антон, дядя Антон, посади на воз! – кричала она. –

Посади, голубчик, на воз... золотой, посади, право-ну, посади!..

– Пошла прочь, – вымолвил Антон, грозя хворостиной, – чего привязалась! Вот я те!..

Девчонка остановилась, дала ему проехать несколько шагов и потом снова поскакала; только теперь, как бы назло, она коверкалась и ломалась несравненно более, кричала звонче, приступала настойчивее, пока, наконец, выбившись из сил, поневоле должна была отказаться от своего преследования, но и тут не упустила случая высунуть Антону язык и поднять рубашонку.

Изба Антона стояла у самой околицы и завершала собой правую линию села, выдавшуюся в этом месте несколько вперед. Она бросалась в глаза своею ветхостью: один бок ее, примыкавший к околице, почти сгнил дотла, отчего остальная часть здания покачнулась и села на ту сторону. Кровля, от тяжести давившей ее когда-то соломы, приняла совершенно другое направление; она сползла наперед и грозила ежеминутным падением. Трубы не было; ее заменял глиняный горшок с выбитым дном для дыму. Деревянный петушок, красовавшийся, вероятно, в лучшие времена на макушке крыши, принял также свое направление во время всеобщего обвала и уныло свесился влево. Единственное оконце, заткнутое лохмотьями и обмазанное кругом глиною, глядело невыразимо кисло. Изба со всех сторон подпиралась сучковатыми плахами, уподоблявшими ее согбенному старику

нищему, наступившему на костыли свои; словом, все на ней, как говорится, было и валко, и шатко, и на сторону. Невыразимо тяжело и грустно становилось на сердце, глядя на это жилище; даже Степан Бичуга, сосед, вообще равнодушный ко всему житейскому, за исключением одной разве косушки, и тот не проходил мимо без того, чтобы не оглянуть Антонову избенку со всех сторон и не покачать заботливо лысою головою.

Несмотря на то, хозяева лачужки заметно ускоряли шаг, и лица их, по мере приближения к ней, просветлялись приветливой улыбкой. Ванюшка никак даже не мог удержаться, чтобы не крикнуть в порыве восторга несколько раз сряду: «Дядя Антон, домой приехали! Ишь, дядя Антон, ишь, дом-то, вон он!.. вон он какой!..» При въезде на двор навстречу им выбежала девочка лет шести; она хлопала в ладоши, хохотала, бегала вокруг телеги и, не зная, как бы лучше выразить свою радость, ухватила ручонками за полы Антонова полушубка и повисла на нем; мужик взял ее на руки, указал ей пальцем на воз, лукаво вытащил из середины его красный прутик вербы, подал его ребенку и, погладив его еще раз по голове, снова пустил на свободу. Девочка была в неопisanном восторге от роскошного подарка.

– Ну, Ваня, будет! Слезай-ка с лошади да ступай скорее с сестренкой в избу, на печку, – сказал дядя. – Небось оба поесть хотите?

– Дядя Антон, голубчик, золотой ты мой! Дай распрячь

лошадку, я опосля поем, – кричал мальчишка.

– И то замерз совсем, куды те справиться!

– Ничаво, дядя, голубчик, ничаво, право слово ничаво...

Ты, Аксюшка, ступай в избу, ишь, озябла ты... а я приду.

Не все же понукать да драться: дядя покорился; вскоре все трое взошли на крылечко, а оттуда и в избу.

II

Гольш

Хозяйка Антона была не одна: против красного угла избы, почерневшего так, что едва можно было различить в нем икону, сидела гостья, старуха лет пятидесяти. Свет из единственного светлого оконца падал прямо на нее. Сморщенное, желтоватое лицо старухи, осененное космами седых волос, кой-как скомканных под клетчатый платок, ее карие глаза, смотревшие из впадин своих зорко и проницательно, острый тоненький нос, выдавшийся подбородок, лохмотья и клюка – все это напоминало как нельзя лучше сказочную бабу-ягу или по крайней мере деревенскую колдунью-знахарку. Но в сущности ничего этого не было: старуха принадлежала просто-напросто к тем жалким побирушкам без семьи, роду и племени, которые таскаются из села в село, из деревни в деревню и кормятся мирским подаянием, или, как выражаются в простонародье, «грызут окна».

– Здорово, Архаровна, – произнес Антон, видимо довольный присутствием гостьи.

– Здравствуй, кормилец ты мой, – отвечала, вздыхая, старуха и тотчас же наклонила голову и явила во всей своей наружности признаки величайшей немощи и скорби.

– Что те давно не видать в нашей стороне, – заметил мужик с явной иронией, – мы уж думали, ты и вовсе не пожа-

луешь...

– Асинька?..

– Аль оглохла, старая?

– Не слышу, кормилец...

– Что те давно не видать? – крикнул Антон.

– Пришла по хлебушко, родимый ты мой, – простонала она жалобно, – не дадут ли на старость люди добрые...

– Да что говорить, – продолжал мужик, пристально на нее глядя, – что говорить, хлебца-то небось и всякому хочется... иной вот и не так чтобы больно нуждается, а глядишь, туда же канючит, словно и взаправду с голоду...

– С голоду, касатик, о-ох! с голоду, – отвечала она, принимая последнее слово как исключительно до нее относящееся. – На старости лет куды те горько, и помереть так негде...

– И-их, бабка, кажись, уж ты много больно берешь бедности на свою душу, – вымолвил с досадою хозяин, – ишь вон сказывают, будто ты даром что ходишь в оборвышах да христарадничаешь, а богаче любого из нашего брата... нагдысь орешкинские ребята говорили, у тебя, вишь, и залежные денежки водятся... правда, что ли?..

Он недоверчиво посмотрел ей в лицо.

– Ась?.. не слышу, родимый, – произнесла недвижно старуха.

– Да полно, так ли? погоди, дай-ка разуться, авось тогда услышишь.

Сказав это, Антон подошел к печке и стал раздеваться.

Слова его, казалось, однако, произвели на глухую старушонку не совсем обыкновенное действие; лицо ее как бы внезапно оживилось, глаза, которые держала она постоянно опущенными, быстро поднялись и окинули избу. Хозяин подошел к ней и сел на лавочку; лицо Архаровны выражало по-прежнему скорбь и уныние.

– Что ты баял, кормилец?

Антон повторил побирушке слухи, носившиеся о ней на деревне.

– И-и-и! – проговорила она, качая седою головою. – Невесть чего не скажут злые люди, на злую речь слово купится...

– А что им, прибыль, что ли, какая?.. Ишь ты сколько лет слоняешься по белу свету да окна грызешь! Куды девать деньги – вестимо, хоронишь про черный день...

– В чужой руке ломоть велик, касатик, ину пору и хлебушка нетути, не токма что денег, по миру пойдешь, тестом возьмешь... ох-хо-хо!..

– Ладно, толкуй, – отвечал, смягчаясь, Антон, – ну, да что тут, я только так к слову молвил; если и водятся деньжонки, так известно, кому до того дело... Варвара! чего нахохлилась? Собери обед, смерть есть хоцца, да, чай, и ребята проголодались.

Это обращалось к хозяйке дома, невзрачной бабенке, молчаливо сидевшей в углу на скамейке поодаль от старухи. Она не принимала до сих пор никакого участия в разговоре и

только изредка поглядывала на мужа. Услыша слова его, она повернула к нему изнуренное, бледное лицо свое, вздохнула и сказала:

– Чего я тебе дам, Антонушка... ох, ничего-то у нас нету...

– Кажись, намедни лучку осталось?

– Нет, не осталось – нагдысь ребята весь поели... – И она снова вздохнула.

– Ну, давай хлеба, кваску... да полно тебе день-деньской хохлиться-то... инда тоска берет, на тебя глядя...

Варвара поднялась, сняла с полки чашку, нацедила в кувшинчик кваску, потом вынула из столового ящика остаток ржаного каравая, искалеченную солоницу, нож и молча устала все это перед мужем. После чего она тотчас же уселась на прежнее свое место, скрестила руки и стала смотреть на него с каким-то притупленным вниманием.

– Эй, ребятишки! – крикнул Антон. – Вы и взаправду завалились на печку – ступайте сюда... а у меня тюрят-то славная какая... э! постойте-ка, вот я ее всю съем... слезайте скорее с печки... Ну, а ты, бабка, что ж, – продолжал он голосом, в котором незаметно уже было и тени досады, – аль с хозяйкой надломила хлебушка? Чего отнекиваешься, режь да ешь, коли подкладывают, бери ложку – садись, – человек из еды живет, что съешь, то и поживешь.

– Спасибо, отец родной, и то хозяйюшка твоя накормила, дай ей господь бог много лет здравствовать...

В это время Аксюшка подбежала к дяде, всползла к нему на колени и обняла смуглую его шею тоненькими своими ручонками.

– Эка девчонка-то у меня баловливая какая, бабушка, – вымолвил мужик, целуя ребенка. – Эка озорливая девчонка-то, – продолжал он, глядя ее по головке. – Сядь-ка ты сюда, плут-девка, сядь-ка поближе к своему дядьке-то да поешь... ну, а Ванюшка где?..

– А он, дядя Антон, на улицу ушел к ребятам.

– Ишь, пострел какой, прости господи, только и норовит, как бы ему из дому прочь; погоди, Аксюшка, дай ему вернуться, вот мы ему с тобой шею-то наkostenяем... Слышь, бабка, озорник-ат мой от дому все отбивается.

– А господь с ним, не замай его, – молвила Архаровна, – пушай его балует, пока невеличек...

– Какой невеличек!.. Поглядела бы ты на него: парнишка куды на смысле, такой-то шустрый, резвый, все понимает, даром от земли не видать; да я ведь посмеялся, я не потачлив, что греха таить, а бить не бью... оба они дороги мне больно, бабка, даром не родные, во как, – продолжал он, лаская Аксюшку, – во! не будь их, так, кажись, и мне, и хозяйке моей скорее бы жизнь опостыла; с ними все как бы маленечко повеселее, право-ну!

– Вестимо, они теперь махочки, смыслу нет, а как подрастут, так тебе же спасибо скажут, родимый, за добро твое...

– Э! бабка, было бы им ладно, а там что останется от моей

бедности, то и им достанется...

– Что ж, родимый, – спросила вдруг старуха, – брат небось весточку посылает?..

– Нет, с той самой поры, как в солдаты взяли, ни слуху ни духу; и жена и муж – словно оба сгинули; мы летось еще посылали к ним грамотку да денег полтинничек; последний отдали; ну, думали, авось что и проведедем, никакого ответу: живы ли, здоровы ли – господь их ведает. Прошлый год солдаты у нас стояли, уж мы немало понаведывались; не знаем, говорят, такого, – что станешь делать... Ну, а ты, старуха, кажись, сказывала нам, также не ведаешь ничего про сына-то своего с того времени, как в некруты пошел...

– Нет, родимый, ничего не ведаю, – произнесла жалобно старуха и отвернулась...

Антон и жена его принялись утешать побирушку.

– Да, – начал мужик, – на старости лет, вестимо, одной-то горько: неравно помрешь, и похоронить-то некому.

– Ох, некому, кормилец, родимый ты мой, некому...

– А вот нам, коли молвить правду, не больно тошно, что брата нету: кабы да при теперешнем житье, так с ним не наплакаться стать; что греха таить, пути в нем не было, мужик был сплошной, неработающий, хмельным делом почал было напоследях-то заниматься; вестимо, какого уж тут ждать добра, что уж это за человек, коли да у родного брата захребетником жил, – вот разве бабу его так жаль: славная была баба, смиренная, работающая... ну да, видно, во всем бог... на

то его есть воля... ох-хо-хо...

Антон прислонил ложку к закраине чашки, уперся спиною в стену и перестал есть; долго сидел он таким образом, пригорюнясь и не произнося ни слова. Только изредка ласкал он Аксющку, которая, положив русую головку свою на грудь дяди, забавлялась медным крестиком, висевшим у него за пазухой. Мало-помалу добродушное, кроткое лицо мужика нахмурилось; вытянувшиеся черты его уже ясно показывали, что временная веселость и спокойствие исчезли в душе бедняка; в них четко проглядывало какое-то заботливое, тревожное чувство, которого, по-видимому, старался он не обнаруживать перед женою, потому что то и дело поглядывал на нее искоса. Наконец Антон облокотился на стол, взглянул еще раз на жену и сказал старухе голосом, который ясно показывал, что он приготовлялся вымолвить ей совсем другое.

– Вот, бабушка, – так начал мужик, – было времечко, жилал ведь и я не хуже других: в амбаре-то, бывало, всего насторожено вволюшку; хлеб-то, бабушка, родился сам-шост да сам-сём, три коровы стояли в клети, две лошади, – продавал почитай что кажинную зиму мало что на шестьдесят рублей одной ржицы да гороху рублей на десять, а теперь до того дошел, что радешенек, радешенек, коли сухого хлебушка поснедаешь... тем только и пробавляешься, когда вот покойник какой на селе, так позовут псалтырь почитать над ним... все гривенку-другую дадут люди...

Он оглянулся на Варвару; та сидела, закрыв лицо руками и несколько отвернувшись от него; заметив, что слезы струились между ее пальцами, Антон замялся.

– Да, – подхватил он громче прежнего, – да, бабушка, так во како дело-то – во оно дело-то какое... а ты все на свою долю плачешься, того, мол, нет, да того не хватает... а вот мы и тут с хозяйкой не унываем (он посмотрел на Варвару), не гневим господа бога... грешно! Знать, уж на то такая его воля; супротив ее не станешь...

– О-о-ох, вестимо, кормилец ты мой, бог дал, бог и взял...

– Да, не знаешь, где найдешь, где потеряешь, – сказал мужик, стараясь принять веселый вид, – день дню розь; пивал пьяно да ел сладко, а теперь возьмешь вот так-то хлебушка, подольешь кваску – ничаво, думаешь, посоля схлебается! По ком беда не ходила!.. Эх! Варвара, полно тебе, право; ну что ты себя понапрасну убиваешь; говорю, полно, горю не пособишь, право-ну, не пособишь...

– Вестимо, касатка, – отозвалась старуха, – веку только убавишь себе... ох, что ваша бедность! У вас хошь вот поплакать-то есть где... а вот у меня, горькой сироты, так и поплакать-то негде...

– Ну, в том не больно велика утеха; что вой, что не вой – все одно – живи, коли можется, помирай, коли хочется... Э, старушка, горько жить на белом свете нашему брату!..

– О-о-ох, горько, родимый, так-то горько, что и сказать мудрено...

Варвара быстро приподнялась и вышла из избы.

– Вот, – сказал Антон, посмотрев на дверь, – она-то, бабушка, крушит меня добре слезами-те своими; вишь, баба плошная, квелая... долго ли до греха!.. Теперь, без нее, скажу тебе по душе... по душе скажу... куды!.. пропали мы с нею и с ребятенками, совсем пропали!.. Вот ведь и хлебушко, что ешь, и тот – сказать горько – у Стегней-соседа вымолил! Спасибо еще, что помог... ох... а такое ли было житье-то мое...

– Сказывают, – заметила Архаровна, по-видимому, не принимавшая до сих пор никакого почти участия в том, что говорил Антон, – сказывают, Стегней-то богат добре!..

– Богат-то он богат... да ведь иной и богатый хуже нашего брата голыша...

– Мне, кормилец, Савельевна говорила, что у него три лошади... да и медку, вишь, сказывают, продавал по осень... и денег-то, чай, много...

– Ну, господь с ним, – отвечал откровенно Антон, – я тебе про свое горе говорю... эх, доля моя, доля!.. Вот, почитай, пятый год так бьюсь, и что ни день, то плоше да плоше...

– Все небось управляющий, касатик, не жалует?

– Не жалует?.. Ох! Это бы еще ништо; кого он жалует? Живут же люди... нет, он, злодей, мне напался, весь мой век заедает! С бела света долой гонит! – А что наше дело, вестимо, какое, терпишь да терпишь; мы ведь на то и родились, бабушка!.. Да!.. Вот хоть теперь – пришло время подушные

платить, где я их возьму? Отколе? Он же разорил меня да пустил по миру, а страшает теперь: в солдаты, говорит, да на поселенье сошлю, не погляжу, говорит, что у те жена есть, вон он что толкует... Ох, бабка, бабка, кабы был один я, ну бы еще ништо, одна голова не бедна, а то с ними-то что станется?.. Да... прогневил, знать, я чем господа бога!..

Вошла Варвара – муж замолчал. Почти в то же время в воротах послышался стук. Антон подошел к светлому оконцу, выходявшему на двор, и крикнул:

– Кто там?

Отклика не было.

– Кто там? – повторил мужик, подняв окно.

– Это я, дядя Антон, – отозвался тоненький серебристый голосок в сенях, и в избу вбежала девочка лет двенадцати.

На бледном, чрезвычайно продолговатом личике этого ребенка и вообще во всей его наружности было что-то такое, что невольно обращало на себя внимание; этот тоненький нос с легким, едва приметным погибом на середине, узенькие губы, приятно загнутые по углам, чистый, правильный очерк головы, нежные черты прозрачного личика и тоненькие тщедушные члены отличали его сразу от известного уже типа коренастых, грубо обточенных детей крестьянских. Особенно поражали в ней эти черные выразительные глаза, которым необыкновенная бледность и худоба щек придавали еще более блеску и величины. Черные волосы смоляного отлива, небрежно обстриженные когда-то в кружок, рассу-

пались неровными прядями вокруг ее нежной, утиной шейки. Одежда ее отличалась также от крестьянской. Она состояла из неуклюжего платья синей домотканой полосухи, прорванного на локтях, с заплатками из белой холстины, – платья, которое снизу едва прикрывало босые ноги девочки до колен; вверху от шеи до перехвата оно ниспадало угловатыми, широкими складками, обтягивало и обтирало ей грудь и плечи. Девочка остановилась посередине избы, раскрыв губы и прижимая грудь ручонками: она едва переводила дух от усталости. Между тем хозяин и хозяйка подошли к ней.

– Что ты, Фатимушка? – спросил первый с заметным смущением. – А? Не хочешь ли тюрки, на, поди...

– Нет, дядя Антон, нет, Никита Федорыч прислал, – отвечал скороговоркою ребенок, приправляя каждое слово быстрыми, живыми движениями рук, – приказал кликнуть тебя – ступай скорей – сам наказывал...

И она откинула назад голову, чтобы поправить волосы, которые заслонили ей лицо.

Варвара присела на скамейку и зарыдала на всю избу. У Антона захолонуло в сердце.

– Ну! – вскричал он, отчаянно ударяя себя кулаками об полы. – Пришла беда, отворяй ворота! Верно, опять за подушными! Полно тебе, Варвара, душу мне только мутишь слезами-те... Эко дело... эко дело... как тут быть!..

Смущение бедного мужика было так велико, что он несколько времени ходил как угорелый по избе, заглядывал

без всякой нужды во все углы, поправлял то крышку кадки, то солоницу, то кочергу и, наконец, вышел из дому, позабыв даже накинуть на плечи полушубок. Вой Варвары сопровождал его до самой улицы. Вступив на барский двор, где находился старый флигель, помещавший контору и квартиру управляющего, Антон увидел Никиту Федорыча, который уже ожидал его на пороге. Приближаясь к крыльцу, мужик почувствовал, что колени его тряслись и дыхание спиралось у него в горле: озноб прошибал его до костей. Опустив голову, подошел он медленным, робким шагом к управляющему. Это был человек средних лет, то есть от сорока до пятидесяти, средней полноты и среднего роста; шарообразная голова его, покрытая белокурыми волосами с проседью, обстриженными ниже, чем под гребенку, прикреплялась почти непосредственно к плечам, что делало Никиту Федорыча издали весьма похожим на бульдога. К этому сходству немало также способствовали густые черные брови, серые глаза навывкате, широкие калмыцкие скулы, пышный трехъярусный подбородок и коротенькие ноги наподобие обруча, или, как говорится, «кибитки». Несмотря на все эти мелочные недостатки, которые между прочим не представляли в общем ничего особенно отвратительного, фигура управляющего нимало не теряла важности и той спокойной гордости, сияющей всегда в чертах человека, сознающего в себе чувство собственного достоинства. Фигура его имела, напротив того, какую-то приятную соразмерность, стройность даже,

и была чрезвычайно характерна. Но если всмотреться хорошенько, нельзя было не прочесть в этих серых бойких глазах, в этой толстой круглой голове, важно закинутой назад, в этих толстых раздувшихся губах что-то столь наглое, дерзкое и подлое, что невольно напоминало любимца-камердинера, или дворецкого, или вообще члена многочисленной семьи мерзавцев богатой избалованной дворни или аристократической передней. В настоящую минуту на нем был серый нанковый однобортный архалук, подбитый мерлушками и застегнутый доверху, пестрая шерстяная ермолка и синие, непомерно широкие шаровары. Из верхней петли архалука висела толстая золотая цепочка с ключиком для часов. Он стоял в дверях, растопыбив ноги, запустив одну руку в карман шаровар, другою поддерживал длинный чубук, из которого, казалось, высасывал вместе с дымом все более и более чувство собственного достоинства.

– Что ж ты, шутить, что ли, думаешь? – сказал он Антону. – Все внесли подушные, ты один ухом не ведешь, каналья! А? Говорил я тебе, а? Сказывай, говорил или не говорил – худо будет?..

И управляющий закинул еще выше голову.

– Сказывали, Никита Федорыч...

– Ну!

– Докладывал вашей милости, – отвечал мужик, потупляя голову, – как будет угодно... у меня подушных нет... взять неоткуда... извольте делать со мною что угодно: на то есть

власть ваша... напишите барину, пушай наказать прикажет, а мне взять, как перед богом, неоткудова...

– Ах ты плут, bestия этакая... из-за тебя стану я беспокоить барина... вас только секи, да подушных не бери... ну, да что тут толковать... не миру платить за тебя... знаю я вас, мошенников... Лошадь жива?..

Антон обомлел; дрожь пробежала по всем его членам; он быстро взглянул на Никиту Федорыча и произнес дрожащим голосом:

– Никита Федорыч! Никак уж ты и совсем погубить меня хочешь?..

– Что?

– Никита Федорыч! Батюшка! – продолжал мужик. – Пожалей хоть ребяенок-то махоньких... и то, почитай, пустил ты нас по миру...

– А вот потолкуй-ка еще у меня, потолкуй, – перебил управляющий, делая движение вперед, – я тебя погублю! Завтра же веди лошадь в город на ярманку, теперь пора зимняя, лошади не надо, – произнес он лукаво, – да смотри, не будет у меня через два дня подушных в конторе, так я не погляжу, что ты женат, – лоб забрею; я и так миловал тебя, мерзавца!..

– Никита Федорыч, а Никита Федорыч, – сказал Антон, едва удерживаясь от слез, – батюшка!..

И он повалился в ноги.

– Э! Меня этим не разжалобишь, пошел! Чтоб было, как

приказываю, вот и все! Ступай! – прибавил он, топнув ногой.

– Что ж у меня-то останется, – говорил отчаянно мужик, – как последнюю-то лошаденку продам?.. И так по миру, почитай... .

– Ну, ну, ну... разговаривай, разговаривай... кабы не ярманка, так я бы не так еще с тобой разделался...

В это время дверь из квартиры управляющего растворилась; из нее выглянуло вполовину желтое женское лицо, перевязанное белою косынкой.

– Никита Федорыч, а Никита Федорыч! – крикнула женщина пискливо. – Ступай чай пить; что тебя не дождешься, ступай скорее...

Управляющий повернулся в ту сторону и, не дожидаясь дальнейших возражений мужика, поспешил к самовару.

Домогаться милости Никиты Федорыча было делом совершенно лишним; по крайней мере в этом нимало не сомневались троскинские крестьяне; Антон знал это еще лучше других. Медленно покинул он двор и вышел на улицу. Сумерки, или «сутисочки», как называют их в деревне, начинали уже ложиться на землю; бледные дымчатые полосы тумана там и сям окутывали поля и распускались по окрестности; в воздухе заметно похолодело. Антон, сам не зная почему, не пошел по улице, а, обогнув ближние за флигелем избы и крестьянские огороды, поплелся задами...

Приближаясь к крайним амбарам села, то есть тем, кото-

рые стояли уже подле околицы, Антон увидел совершенно неожиданно в нескольких шагах от себя клетчатый платок, висевший на кусте репейника. Это обстоятельство и, вдобавок, измятые и сломанные стволы растений, показывавшие, что на том самом месте кто-то своротил с дороги в рощу, чрезвычайно удивило его. Он невольно забыл на минуту свое горе; поосмотревшись кругом, пошел он к кустам, снял платок и начал пристально рассматривать. Не доискавшись, разумеется, ничего, Антон бережно свернул его, сунул за пазуху и пошел далее. Но не успел он сделать двух шагов, как увидел бегущих навстречу соседей, Степана Бичугу и старшего сына его, Пантелея. Оба казались сильно встревоженными; они бежали сломя голову по дороге, без шапки, без полушубка и сильно размахивая в воздухе руками. Поравнявшись с Антоном, они остановились.

– Сват! – сказал ему торопливо Степан. – Не встрел ли кого на дороге?.. А?..

– Нет... сват... никого... – отвечал Антон.

– Эко дело... и никого не видал?

– Никого...

– Эко дело! Что за черт! – вскричал Степан. – Бабы, вишь, лен мяли... слышат, как словно кто шевелится в клетки... они глядь... ан человек сидит... да как пырснет вон... э! ты дьявол! Что за притча... Они кричат... хватъ... ан трех кур как не бывало!.. они к нам... мы с Петрухой бегом... нагонять! Бегали, бегали, никого... что за леший... Ты, сват, никого не

встрел?..

– Никого, – отвечал удивленный Антон, – хоть бы живого человека встрел... а вот кусты... больно вымяты...

Мужички покинули соседа и снова пустились в погоню по дороге...

Такое обстоятельство не могло не привлечь внимания Антона; в Троскине, и особенно с некоторых пор, только и слуху было, что о разных проказах: то уводили лошадей, то подползали в клетки и каморы, выбирали деньжонки, холсты и всякое домашнее снадобье. Поговаривали даже, будто в соседнем селе Орешкове мужик Дормидон, идучи по лесу, наткнулся на двух бродяг, которые наказывали ему передать их старосте, чтоб берег лошадей, не то уведут, и что, несмотря на все принятые предосторожности, лошадей все-таки увели в первую ночную сторожку. Все это разом прихлынуло в голову Антона; он невольно забыл на мгновение свое горе. Сумерки уже совсем омрачили небо, когда он вступил к себе в избу. Тут все уже давным-давно успокоилось. Варвара, свесив голову на стол и обняв обеими руками остаток каравая, спала крепко-накрепко; свет от догоравшей лучины отражался лишь в углу на иконе; остальная часть избы исчезла в темноте; где-где блистала кочерга или другая домашняя утварь; с печки слышалось едва внятное легкое храпенье обоих ребятишек. Антон поправил лучину, оглянул кругом стены и сел подле жены на лавочку. Движение это мгновенно пробудило Варвару.

– Ну что, Антонушка? – сказала она, отводя от лица волосы и придвигаясь проворно к мужу. – Зачем звал тебя злодей-то наш?.. Да что ж ты не баешь? – прибавила она, нетерпеливо дергая его за полу.

– Что тут баять, – отрывисто отвечал муж; он тяжело вздохнул и, как бы собравшись с духом, промолвил: – Велел пегашку вести... на ярманку!.. Не надоть ее, говорит... теперь дело зимнее: проживешь без лошади... Ну, вот, сказал тебе сдуру, а ты... Эх, Варюха, Варюха! Полно тебе рюмиться-то, ведь говорю, слезами-те пуще мутишь мне душу! Эка ты, право, неразумная баба какая... нешто горю этим пособишь?.. Знать, погрешил я, право, чем перед господом богом!..

– Касатик ты мой! – говорила, рыдая, баба. – Нешто я о своем горе убиваюсь... ох, рожоной ты мой... мне на тебя смотреть-то горько... ишь заел он тебя... злодей, совсем... как погляжу я на тебя... индо сердечушко изнывает... и не тот ты стал... ох... – И тут она, опустившись на лавку, затынула нараспев: – Ох, горькая наша долюшка... и пошла-то я за тебя горькой сиротинушкой, на беду-то, на кручину лютую...

– Послушай, Варюха, а Варюха... слушай, что я тебе скажу, – твердил мужик, силясь приподнять ее, – не убивайся так-то, наше дело еще не пропащее, вот ономясь встретился мне Федотов из Выселок, сказывал... сулил, что, коли, мол, хошь, Антон, я тебя возьму в работники... пять десятков в

год, вишь, дает... не убивайся, пойду в работники, отпрошусь на оброк...

– Ох, не верти меня, родимый; я все провела: у Федотова давнешенько батрак нанялся... ох, горькая, горькая наша-то долюшка...

И баба снова повалилась на лавку, залилась пуще прежнего слезами.

– Эх я, дурень! – вскричал мужик. – Эй, Варюха, я, бишь, и забыл, вот поглядь-кось, поглядь – ишь, какую штуку поднял я на дороге... погляди... – Сказав это, он выложил на стол платок, стараясь утешить бабу. – Иду по задам, гляжу, никого нет, а он вот висит на кусте, как словно зацепился...

– Родной ты мой, да ведь это, знать, старуха обронила...

– Какая старуха?

– Да вот нищенка-то, что к нам заходила...

– Ой ли?.. Полно, так ли, Варвара?.. Не обмолвилась ли ты спросонья?

– Что ты, касатик! Я сама видела, как она, сердешная, платок-от повязывала.

– Тут, Варюха, мотри, что-то непутное, – вымолвил Антон раздумчиво, – старуха-то... Э! То-то люди сказывают, будто и вчастую заставляли ее за такими делами. И как это она скоро улизнала... Нет, не пушай ты ее к нам, долго ли до греха!.. Гость и немного гостит, да много видит; ишь, я было сдуру-то разговорился с нею, а кто ее знает, может, и вправду зло какое замышляет... в чужой разум не влезешь...

Я давно приметил, она только и норовит, как бы выведать, что у нас в деревне делается... У кого, вишь, сколько скота, лошадок, как живет... Вот и нынче про Стегнея Борисова тоже выведывала, до всего ей дело! Э, нет, не пущай ее к нам в избу, ни за что не пущай, господи упаси!..

– Ее платок, точно ее, – заметила Варвара, утирая слезы, – вот и прореха на самой серединке.

– То-то, – отвечал мужик, заботливо качая головою, – ишь на старости лет какой грех принимает на свою душу, и бесстыжая ведь какая! Так вот и лезет, а поглядишь, словно и взаправду нищенка... Недаром говорят; у ней деньга-то водится, да... о-ох!..

Антон помолился перед иконою, разулся и, вздохнув несколько раз сряду, полез к ребятишкам на печку. Варвара затушила лучину и последовала за мужем. Вскоре все затихло в избе. Неизвестно, однако, скоро ли заснул бедный ее хозяин; быть может, он даже вовсе не смыкал глаз...

Верно только то, что не спал сверчок; унылая песня его потянулась мерно и тихо, потом стала чаще, звончее, наконец мало-помалу заглушила храпенье ребятишек и наполнила собою избушку.

III

Дорога

В избышке царствовал еще глубокий, непроницаемый мрак, когда Антон приподнял потихоньку голову и начал прислушиваться... Убедившись, что жена и ребята крепко-накрепко спали, он осторожно, чуть дыша, спустился с печи и стал приготавливаться в дорогу. Отыскать ощупью полушубок и шапку, намотать наскоро в потемках онучи, отрезать краюху хлеба, завернуть ее в тряпицу и засунуть за пазуху – мужику дело привычное. Он перекрестился наобум перед углом, где стояла икона, и выбрался на крыльцо. Заря еще не занималась; на дворе только что проглядывали первые повиднушки. Антон припер как можно плотнее дверь из крылечка в избу.

– Ну, теперь спите вволю, – вымолвил он, – господь с вами, спите... Слезами-те только душу мутите, а мне и без них куда тошно...

Он вошел в клеть, где стояла пегашка. Почуяв хозяина, она тотчас же повернула к нему кудластую свою голову, насторожила уши и замотала хвостом.

– Ну, пегашка, полно, полно те хвостом-то вилять, – произнес мужичок не совсем твердым голосом, – небось из дому-то не хочешь? Ступай-ка, ступай, не кобенься; супротив воли и люди идут, не токмо что ты... Ступай; знать, и тебе

пришла пора делить хозяйское горе...

Антон взнуздal ее и вывел на двор. Бедная кляча словно предугадывала свою участь: всегда смиренная и покорная, она в этот раз фыркала, упорно мотала головою и беспрестанно озиралась на стороны, как бы прощаясь навсегда с двором и клетью, посреди которых выросла и вскормилась. Антон также глядел на дряблую избушку свою; бог весть о чем он думал: чужая голова – темный лес. Наконец махнул он рукой, взял лошадь под уздцы и вышел на улицу. Он сел на лошадь. Но пегашка никак не хотела идти к околице, куда направлял ее Антон; несмотря на все усилия его, она пустилась сначала вскачь к колодцу, потом дала круг по всей улице и все-таки остановилась у избушки. Видя, что сила не берет, хозяин принужден был слезть наземь, снова взять ее под уздцы и вывести за околицу. Ворота закрипели и затворились. Темнота уже заметно рассеялась; но не ясный, ведренный день обещало утро; там, с востока, не багрянилось небо, не ложились алые, золотистые полосы света, предвестницы теплого солнышка; небо было серо, пасмурно; сизые тучи облегли его отовсюду, суля ненастье и сиверку.

Дорога от околицы шла в гору; по мере того как Антон подымался, местность, окружавшая деревню, постепенно ограждалась возвышенностями и принимала вид лощины. Там, словно из земли, выступали поминутно – то крестьянский овин с пригнувшеюся к нему рябиною, то новый дощатый забор, то часть барского сада, о существовании ко-

торых нельзя было и подозревать с улицы. Мало-помалу показалась речка с угловатыми своими загибами, потом ветлы и кровля мельницы, еще выше – потянулись поля с знакомым осинником, потом снова все это попряталось одно за другим; вот уже исчезли мельница, господский дом, село, а вот и избушка Антона начала уходить за горою... Хозяин ее еще раз обернулся в ту сторону, прищурился, протер глаза и вдруг хлестнул пегашку и пустился рысцою по дороге. Миновав троскинские земли, Антон притянул поводья и поехал шагом. Гора уже давным-давно закрыла собою дорогу села; во все стороны на необозримый кругозор открывались черные поля, смоченные дождями; редко-редко мелькала вдалеке полоса соснового леса или деревушка; дорога то и дело перемежалась проселками.

Антон давно уже не ездил в город. Никита Федорыч не любил отпускать часто мужиков из деревни; особенно строго держался он этого правила с теми из них, с которыми находился в неприязненных отношениях. По его мнению, не отпустить мужика в город считалось хорошою и вместе с тем очень действительной мерой наказания. Так, например, накоплялось ли гороху у мужичка – где бы свезти его на базар, благо цена красна, а нет: как ни бьется сердечный, Никита Федорыч ни за что не отпустит; подумает крестьянин: плетью обуха не перешибешь, да и продаст горох соседу за сущий бесценок – не лежать же стать житу да гнить в закроме. Другому господь бог залишнюю телушку послал; вот

и бредет он к управляющему: «Деньги, мол, понадобились, батюшка, соблаговолите отпустить в город кой-что продать; надо, вишь, обзавестись тем да другим по хозяйству». – «Ах ты, такой-сякой, – молвит ему управляющий, – небось, как соты-то ломал прошлую осень, так не принес мне медку? Сиди-ка дома; все бы вам только шляться...» Что, – думает проситель, – господ наших нетути, а он у нас сила, не стать перечить, зарежет телку, да и поснедает ее с божьей помощью. Так же точно было и с Антоном, если еще не хуже.

Но теперь дело в том, что на шестнадцатой или семнадцатой версте наш мужик решительно стал в тупик; очнувшись внезапно от раздумья, которое овладело им с того самого времени, как покинул он Троскино, Антон никак не мог припомнить ни места, где находился, ни даже сколько верст оставалось приблизительно до города. Он только и помнил, что проехал Киясавку и Выселки да свернул влево от Екиматовской слободы. На пегашку же положиться не было никакой возможности; Антон знал, что, будучи лошадюю незаметною, то есть лишенною способности припоминать дорогу, она могла очень легко завести его бог весть куда. Он задумывал было свернуть в сторону, к видневшейся влево за перелеском деревушке, когда один совершенно неожиданный случай навел его снова на путь истинный. Оглядывая местность, он увидел на распутье полуразвалившийся деревянный крест, водруженный в небольшой бугорок.

– Эхва, у меня из памяти-то вышла могилка дяди Ан-

дрея! – воскликнул он, снимая шляпу и крестясь набожно. – Дорога-то вот тут же и сворачивает в город... на Закуряево... Эх, совсем запамятовал, чуть было с пути не сбился!

Дорогою Антон невольно принялся припоминать происшествие, связывавшееся с дядею Андреем.

Года три тому назад на этом самом распутье стояла мазанка, принадлежавшая монастырскому сборщику, одинокому старичку. Редкий из окрестных жителей не знал его; бывало, кто бы ни плелся, кто бы ни ехал в город, мужик ли, баба ли, седой старичишка тут как тут, стоит на пороге да потряхивает своей книжонкой, к которой привязан колокольчик. И редкий говорил ему: «Бог подаст!», редкий не отдавал ему копеечку на построение господнего храма. Все попривыкли к нему с самого детства. И вдруг не стало дяди Андрея, как словно никогда его здесь и не бывало. Толковали, толковали мужички окрестные и наконец вот что узнали. Однажды в самую глухую зимнюю полночь входят к Андрею два незнакомые человека, скручивают его по рукам и по ногам и требуют денег. Долго допытывались они, – стоит на одном старик: три гроша всего, вишь, у него, остальные вечер в монастырь отослал, а больше, видит бог, нетути! Они пуще пытаться. Уж он им молился, молился, нет! уходили-таки старика обухом и сами принялись искать. Как перешарили все до ниточки, тут только и спохватились, что даром потеряли человека: в тряпице за печью всего-на-все было три гроша. Наехали со всех сторон земские да понятые, закопали дядю

Андрея на самом распутье, мазанку снесли на другую дорогу, ибо никто не соглашался поселиться в ней, а на ее месте воздвигли крестик, тот самый, что так часто напоминал мужичкам дорогу в город.

Антон не успел еще перебрать в голове все подробности этого происшествия, наделавшего в свое время много шума в околотке, как увидел вдалеке телегу, которая медленно приближалась к нему навстречу. Сначала показалось ему, будто в ней никого не было, но потом, когда она поравнялась, он разглядел на дне ее мужика, лежавшего враспяжку. Антон несказанно обрадовался.

– Эй! Послушай, брат, – крикнул он, – а, примерно, далеко ли отсель до столбовой дороги?

Тот, к кому обращался вопрос, лениво и как бы нехотя приподнял голову, подперся локтем, поглядел пристально на Антона, зевнул протяжно и, не отвечая ни слова, улегся в телегу.

– Эй, сват, эй! – крикнул Антон. – Что ж ты? Эй, далече ли до столбовой?..

Мужик снова приподнял голову, поглядел на Антона, опять зевнул и, опять не ответив ни слова, опустил на дно своей телеги; только на этот раз он хлестнул лошадь, которая мигом унесла его из виду.

Антон опять остался один-одинешенек посреди полей: пегашка плетется дробным шагком, а он то и дело посматривает вправо да влево, то прищурится, то раскроет глаза, при-

нимая каждый пень, каждую кочку за живого человека. И вот снова чудится ему, что кто-то едет навстречу. Глядит, и впрямь несется тележка; вороная лошадь в наборной шлее с медными бляхами, на облучке подскакивает не то мещанин, не то помещик, а только не мужик: на нем картуз и синий кафтан. На этот раз, однако, встреча, казалось, не порадовала нашего мужичка; он круто осадил пегашку, смутился, сделал даже движение, ясно выразившее намерение кинуться в сторону, но тотчас же остановился; было поздно – Антон узнал в синем кафтане троскинского мельника, которого так усердно избегал несколько месяцев сряду. Мельник остановился; Антон слез с лошади.

– Здравствуй, Аксентий Семеныч! – произнес он, переминая в руках шапку.

– Здорово, брат, куда?

– В город, Аксентий Семеныч, лошадь продавать... подушных платить нечем; такая-то беда сталась со мною...

– Ну, а мне-то когда заплатишь? Я, кажись, и то немало ждал...

Антон замаялся.

– То-то, брат, – продолжал мельник, переменив тон, – ведь так промеж добрых людей делать не приходится; летом еще осталось получить с тебя за помол, а ты с той поры и глаз не кажешь: сулил отдать ко Второму Спасу, а я хоть бы грош от тебя видел... так делать не показано вашему брату... на то есть правота: как раз пойду в контору... я давно заприметил,

ты от меня отлыниваешь...

– А что мне от тебя отлынивать... нешто я коли отлынивал...

– Видно, так.

– Ину пору и рад бы отдал, да коли нечем; сам ведаешь, отколе скоро-то взять нашему брату хрестьянину... был нынче недород, с корки на корку почитай что весь год перемогались... Аксентий Семеныч... тут вот подушные еще платить надо...

– Про то не мое дело ведать... вам подушные платить, а мне небось по миру идтить... делай, как быть следно, знай честь, счетом взял, счетом и отдавай; что тут баить...

– Что ты опасаясь?.. – сказал Антон, смягчая по возможности голос. – Разве я отнекиваюсь от долга, говорю, отдам, обожди маненько, твое дело не пропащее, право, скажу спасибо...

– На какой мне леший твое спасибо? Из него шубы-то не сошьешь...

– Кажись, Аксентий Семеныч, мне не впервые с тобою ведаться.

– Точно не впервые, что говорить; зачем же молоть-то на чужой мельнице? Ась?

– На Емельяновке-то?

– А хоть бы и на Емельяновке...

– Сходнее, Аксентий Семеныч...

– Как сходнее?.. За восемнадцать-то верст сходнее?..

– Оно, что баить, далече, да на Емельяновке-то за помол берут с нас хлебом, а ты, вишь, требуешь деньгами... да еще пятак с воза набавил... сам порассуди, откуда их взять... наше дело знамо какое...

– Ладно, ладно... ну, а зачем же подзадоривал Федосея да Ивана Галку ездить на Емельяновку?..

– Да когда я их подзадоривал?.. Что ты?..

– А то кто же? Ты первый из троскинских поехал...

– Знать, сами проведали...

– Сами проведали! То-то, шишковато больно говоришь; ты говори, да не ври, не вечор я родился, – что, думаешь, не знаю!

– Чтоб мне век от добрых людей добра не видать, Аксентий Семеныч, коли я им хошь слово какое сказал...

– Ладно, брат, толкуй дьяковой кобыле; я думал по чести вести с тобой дело, а ты вот на что пустился! Других еще стал подзадоривать... Ладно же, – вскричал мельник, мгновенно разгорячаясь, – коли так, отколе хошь возьми, а деньги мои подай! Подай мои деньги!.. Не то прямо пойду в контору... Никита Федорыч не свой брат... как раз шкуру-то вылушит! Погоди, я ж те покажу!

Сказав это, мельник дернул вожжи и поехал далее. Смущение и досада, овладевшие Антоном при этой встрече, уступили место тяжкому горю. Обстоятельство это показывало ему в самых резких и сокрушительных чертах и без того уже горькую его долю. Он уже не глазел теперь по сторо-

нам; понутив голову, смотрел он печально на бежавшую под его ногами дорогу, и не раз тяжкий вздох вырывался из груди бедного мужика. Таким-то образом, сам почти не замечая этого, выехал он на большую дорогу. Тут Антон невольно должен был оставить свои думы и заботиться исключительно о настоящем своем положении.

Дорога, размытая осенними ливнями, обратилась в сплошную топь; стада волов, которых прогоняют обыкновенно без разбора, где ни попало, замесили ее и делали решительно непроходимую; стоило только зазеваться раз, чтобы окончательно посадить и лошадь и воз или самому завязнуть. Сколько ни оглядывался Антон, не замечал ни верст, ни вала, ни ветелок, которые обозначили бы границу: просто-попросту тянулось необозримое поле посреди других полей и болот; вся разница состояла только в том, что тут по всем направлениям виднелись глубокие ямы, котловины, «черторои», свидетельствовавшие беспрестанно, что здесь засел воз или лошадь; это были единственные признаки столбовой дороги. Местами, впрочем, заметны были следы чьего-то заботливого попечения: целые груды хвороста и мелкого леса воздвигались, как бы предохраняя путника от трясины или топи; но путники, в числе их, разумеется, и Антон, старались по возможности объезжать их; даже кляча последнего с необыкновенною тщательностью обходила эти поправки, догадываясь, вероятно, глупым своим инстинктом, что тут-то легче всего сломить ногу или шею.

Спустя немного времени Антон встретил длинную вереницу баб в белых платках и таких же балахонах, делавших их владелиц издали похожими на привидения. Они тянулись одна за одной гуськом по дороге. У каждой была клюка и берестовая котомка с прицепленной к ней парюю лаптей за плечами. Все от первой до последней шли босиком.

– А что, бабушка, вы небось из города? – спросил Антон у старушки, сгорбленной и едва передвигавшей от стужи ноги.

– Из города, касатик.

– Что, много небось на ярманке нашего брата с лошадыми?..

– А не знаю, кормилец, – отвечала она, кланяясь, – кто их знает: мы не здешние...

– Да вы отколе?

– Сдалече, родимый: мы каширские... идем в Воронеж на богомолье...

– По своей охоте... идете? – спросил рассеянно мужик.

– По своей.

Антон вздохнул и почесал затылок.

– Э! – произнес он, махнув рукою.

– О чем спрашиваешь, касатик? – сказала другая богомолка, помоложе первой.

– Далече ли до города? – вымолвил он отрывисто.

– А сколько? – продолжала она, обращаясь к третьей. – Тетка Арина, сколько до города? Верст десяток станет?..

– Что ты, – отвечала нерешительно Арина, – много, много,

коли пяток...

Не дожидаясь спора, который, без сомнения, должен был возникнуть вследствие этого недоразумения между бабами, Антон поехал далее; отъехав версты две, он услышал песню и немного погодя различил двух человек, которые шли по окраине дороги и, как казалось, направлялись к стороне города. Вскоре он нагнал их. Это были два молодых парня веселой и беспечной наружности. Один из них, тот, который казался постарее, был с черною как смоль бородою, такими же глазами и волосами; белокурая бородка другого только что начинала пробиваться. Мещанский картуз с козырьком, обвитый внизу у залома лентой, из-под которой торчали корешки павлиньих перьев, украшал голову каждого из них, спустившись с макушки набекрень; белые как мел полушубки с иголки составляли их одежду, отличавшуюся вообще каким-то особенным щегольством. Смазные сапоги с алою сафьянною оторочкою болтались у них за плечами; коротенькая трубочка, оправленная медью, дымилась в губах того и другого. Не успел поравняться с ними Антон, как уже оба они остановились, и черный крикнул ему, оскалив свои белые как кипень зубы:

– Здорово, брат крестьянин! Эй! Не берешь ли попутчиков? Посади нас на лошадь, мы бы с тебя дешево взяли...

– Нет, братцы, спасибо... и одного-то насилу везет... – нехотя отшутился Антон.

– А мы, ей-богу, дешево бы с тебя взяли. Севка! Сколько

даешь?

Севка вынул изо рта чубучок, отплюнул сажени на три и залился звонким хохотом.

– А что, братцы, много ли еще осталось до города?

– Да вот как, – отвечал без запинки черный, – пойдешь – близко, думаешь, а придешь – скажешь, дорога дальняя!..

– Полно вам чудить, ребята, – произнес мужик, – э! – он махнул рукой, – ишь лошадь совсем умаялась...

– Что с тобой станешь делать... изволь, скажу... мотри только... чур не обгоняй, спроси у Севки, он те скажет...

– Как раз пять верст, – сказал Севка.

– Что ты! Эк махнул! – вскричал черный. – Пять!.. И в десять не вопрешь! Что больно близко?..

– Ан пять!

– Ан десять!

– Ан пять!

– Ан десять!

– Врешь! Эк ты, Матюшка, спорить горазд; сейчас за горою будет село Бубрино, а от него всего четыре версты до заставы...

– Эка шалава, пра шалава, – отвечал ему на это Матюшка потихоньку, – нешто не видишь, я хотел было мужика повертеть... пра, шалава...

Севка снова залился смехом.

– Отколе тебя бог несет, Христов человек? – начал Матюшка.

– Мы из троскинских... знаете село Троскино?.. – отвечал со вздохом Антон.

– Ну, вестимо, как не знать.

– А вы, братцы, отколе?

– Отколе? А из сельца Дубиновки, слободы Хворостиновки, вотчины Колотиловки, – отвечал серьезно черный.

– Ишь, черти балясники! – вымолвил Антон.

– Аль не веришь? – продолжал Матюшка. – Ей-богу, правда; а коли знать хочешь, так по деревням шлялись, зипуны да поневы шили... Эй, земляк, нет ли табачку: смерть нюхнуть хоцца.

– Нет, нету... ну, а, примерно, какая ваша служба?

– А вот какая: пришел в деревню, брякнул дубиной в окно: «Эй вы, тетки, бабы, девки да хозяева с чечеревятами, нет ли шитва?», а нет шитва, так бражки подавай удалому Кондрашке!..

– Стало, вы портные?

– Портные, ребята удалые!.. Эй, Севка, что ж ты прикорнул, собачья голова, аль сноху нажил? Ну, запевай: «Эй, вдоль по улице, да мимо кузницы»... ну!..

И оба затянули лихую, забубенную песню. Антон слушал, слушал и не мог надивиться удали молодцов.

– Что, много оброку платите? – спросил он задумчиво, когда песня была окончена и парни закурили свои трубки.

– Ровно ничего, – отвечали они в один голос.

– Как так?..

– Да так же: мы, брат, вольные, живем не тужим, никому не служим!..

Тут Матюшка приложил коренастую ладонь к правой щеке своей и запел тоненьким, пронзительным дискантом:

Ты зачем, зачем, мальчишка,
С своей родины бежал?

Никого ты не послушал,
Кроме сердца своего...

Вскоре все три путника достигли высокой избы, осененной елкой и скворечницей, стоявшей на окраине дороги при повороте на проселок, и остановились.

– Вот мы шутя, а алтын на сороковину отмахнули, – сказал Матюшка Антону. – Ну что ж, слезай, пора духу перехватить; вот, гляди, и казенная аптека перед нами...

– Нет, спасибо, братцы, – отвечал тот, – пра, спасибо, – прибавил он, озираясь на стороны и почесывая затылок.

– Э, полно мирыком-то прикидываться, пойдем, сорвем косяку при спопутности...

– Неколи... вам дело досужное, а мне в город пора...

Антон вздохнул.

– Ну вот еще, поспеешь.

– Денег нету.

– Эка беда, ступай, оставь что-нибудь в закладе, как назад поедешь, отдашь...

Видно было, что наш мужик сильно колебался; наконец он собрался с духом и сказал решительно:

– Ей-богу, не пойду!

– Что ж ты, глотку опозорить боишься, что ли? Не пьешь?..

– Пить-то пью... эх, нет, не пойду!..

Антон повернул лошадь к городу.

– Ну, да черт те дери... эй, земляк, выпей хошь для миру... хошь для миру-то выпей...

– Господь с вами, – сказал Антон, пуская рысью пегашку.

– Экой черт! – кричали ему вслед молодцы. – Прямая шалава!.. Погоди, обронил хвост у лошади... Эй!.. Цапля!..

Но Антон ничего не слышал; он давно уже был за горою. Погода между тем как будто собиралась разгуляться; свинцовое небо прояснилось; это делалось особенно заметным вправо от дороги к селу Бабурину. Белый господский дом и церковь, расположенные на горе, вдруг ярко засияли посреди темных, покрытых еще густою тенью деревьев и избушек; в свою очередь сверкнуло за ними дальнейшее озеро; с каждой минутой выскакивали из мрака новые предметы: то ветряная мельница с быстро вращающимися крыльями, то клочок озими, который как бы мгновенно загорался; правда, слева все еще клубились сизые хребты туч и местами косая полоса ливня сливала сумрачное небо с отдаленным горизонтом; но вот и там мало-помалу начало светлеть... Сквозь туманную мглу просияла пестрая радуга, ярче, – и вот она обогну-

ла собою половину неба; луч солнца, неожиданно пробившись сквозь облако, заиграл в бороздах, налитых водою, и вскоре вся окрестность осветилась белым светом осеннего солнышка. В то же время и самая дорога как бы немножко повеселела. Чем ближе придвигалась она к городу, тем более было заметно на ней оживления. Нередко начинали уже попадаться тучные, укутанные веретьями возы с мукою, рожью, огурцами, горшками и разными другими хозяйственными принадлежностями. Кое-где встречались бабы, тащившие за веревку хилую, костлявую коровенку с высохшим выменем, которую, вероятно в награду за ревностную службу многих лет, влачили продавать кошатникам на шкуру. Из проселков то и дело сворачивали телеги, наполненные мужиками и бабами, горланившими песни. Нарядные поярковые шляпы, кафтаны и сапоги у мужчин, алые повойники и коты пестрые у женщин давали знать о происходившей в городе ярмарке. Проехав еще версты две, Антон увидел длинную, бесконечную фуру с высоким верхом, покрытым войлоком; на передке сидел, нахохлившись, седой сутуловатый старик и правил изнуренною, едва переводившею дух тройкою; подле него на палке, воткнутой в облучок, развевался по воздуху пышный пучок ковыля. Из кузова, завешенного кое-как рогожею, высовывалось несколько ног, смуглых, черных, а между ними виднелась кудластая, взъерошенная голова, державшая во рту трубку с медною оковкою. Из фуры слышался живой разговор на каком-то странном, диком

языке. К задней части экипажа, переплетенной веревками, была привязана целая дюжина разношерстных лошадей, тавренных по бедрам. Словом, по всему узнать можно было цыган-барышников. Далее попался слепой нищий, упирившийся одной рукой на сучковатую палку, другую на плечо худощавого оборванного мальчика, с трудом вытаскивавшего изнуренные больные ноги из грязи. Оба они, как видно, также поспешали на ярмарку в надежде выгодной добычи. Наконец-то заблестали вдалеке маковки церквей, глянули кровли, здания, а там выставилась из-за горизонта и вся гора, по скату которой расползлся город. На песчаных отмелях широкой реки, огибавшей гору, белелся монастырь; паром, нагруженный подводами, медленно спускался по течению реки; на берегу чернелось множество народу, возов, лошадей. Шум слышался еще издали.

Сердце почему-то сильно забилося в груди Антона, когда он подъехал к заставе. Он словно впервые почувствовал себя на чужбине и безотчетно вспомнил о жене и ребятишках. Вслед за тем пришел ему в голову Никита Федорыч, горькая доля, ожидавшая семью в случае неудачи, потом встреча с мельником... Он быстро соскочил с пегашки и, приблизившись к мужику, торговавшему ободьями, спросил отрывисто, как бы проехать короче на конную. Получив ответ, Антон вступил за заставу и вскоре, подобно зерну, попавшемуся раз под порхающий жернов, был затерт толпою и исчез вместе с своей клячонкой.

IV

Ярмарка

Городишко, где происходит ярмарка, принадлежал к самым ничтожным уездным городам губернии. Глядя на него в обыкновенное время, нельзя даже подумать, чтоб он мог служить целью какой бы то ни было поездки; он являлся скорее на пути как *средство* ехать далее; куда ни глянешь: колеса, деготь, оглобли, кузницы, баранки – и только; так разве перехватить кой-чего на скорую руку, подмазать колеса сесть, и снова в дорогу. Но в ярмарочную пору, и особенно осенью, он принимал такую оживленную, разнообразную наружность, что трудно даже было узнать его. И немудрено: сколько ни находится в околотке мужичков с залежными гривнами и пятаками, с припасенными про случай ржицею, гречею, мукою и сеном, все окрестные купцы, барышники, мещане, промышленники всякого рода и сброда – все стекалось сюда, кто для барышей и дела, а кто, как водится, погулять, поглазеть да мошну повытрясти. Впрочем, и то сказать надо: есть на что посмотреть, есть что и купить в «коренную ярмарку»¹⁶. Сколько одних навесов, яток, строек, шатров понаставлено не только на площадке, но даже по всем переулкам, закоулкам, по всему скату горы, вплоть до

¹⁶ Так называются вообще в Средней России осенние ярмарки. (Прим. автора.)

самого берега! И чего уж нет-то под ними, какого надо еще добра и товара? Тут пестрыми группами возносятся кубышки, крыночки, ложки кленовые, бураки берестовые, чашки липовые золоченые суздальские, жбанчики и лагунчики березовые, горшки, и горшки-то все какие – муравленые коломенские! Там целые горы жемков, стручьев, орехов, мякушек, сластей паточных-медовых, пряников, писанных сушальным золотцем... Здесь мечутся в глаза яркую рябизною своею полосушки, набойки, холстинки, миткали всякие... А сколько платков, и сизых, и желтых, и алых, с разводами и городочками, развеваются по воздуху! Сколько александровки, кумачу, ситцев московских, стеклярусу!.. А сколько костромского товару: запонок, серег оловянных под фольгою и тавлинок под слюдою! – Кажись, на весь бы свет с залишком стало.

Поглядите-ка теперь, сколько, посреди всего этого, народу движется, толкается и суетится! Какая давка, теснота! То прихлынут в одну сторону, то в другую, а то и опять сперлись все на одном месте – хоть растаскивай! Крик, шум, разнородные голоса и восклицания, звон железа, вой, бляенье, топот, ржание, хлопанье по рукам, и все это сливается в какой-то общий нестройный гам, из которого выхватываешь одни только отрывчатые, несвязные речи... Прислушайтесь: «Ой, батюшки, давят! Ой, голубчики, давят!» – пронзительно взвизгивает толстая мещанка в мухояровой душегрейке на заячьем меху. «Ой, родимые, отпустите! Проклятый – че-

го лезешь!..» – и вслед за тем раздается подле густой бас: «А сама чего топыришься... Ну, ну, не больно пихайся, я и сам горазд...» – «Ах ты, такой-сякой, общипанец...» Но тут голос мешанки покрывается рассыпчатым дребезжаньем торговли: «Купчиха! Голубушка! На баранки, на баранки, сама пекла! На сайку, на горячу, сама пекла, на сайку...» – «По лук, по лук!» – слышится вслед за этим. «Э! лачи грай! тавмар у девел, течурасса ман!» (Э! добрая лошадь! Убей меня бог, украл бы!) – «Авен, авен-те кинас!» (Пойдемте торговать!) – кричат в отдалении цыгане. «Что покупаете? Ситцы-с, канифасы, нанки, выбойки!.. У нас брали, пожалуйста!..» – «Эх, солнышко садится, а у меня в мошне ничего не шевелится!» – раздается где-то в стороне. «Иван Трофимыч! Иван Трофимыч! где, вы говорили, гребенки продают?.. Ой! Ой! Давят!.. Иван Трофимыч, не отставайте!» – и толпа дворовых девок, разряженных в пух и в прах, кидается сломя голову к высокому лакею со встрепанной манишкой. «Сюда, сюда, Анна Андреевна, не опасайтесь-с, ничего-с... Марфа Васильевна, не отставайте, город помещенье большое-с, долго ли потеряться...» – «По клюкву, по ягоду по клюкву!» – «Помилуй, Христов ты человек, сам гляди, нынешнее!» – «Черно больно...» – «Како черно, где оно черно? Ну, где? Сено что ни есть свежее, звонкое сено, духовитое...» – «Спиридоныч, а Спиридоныч! Купи девке-те коты-те, ишь воеет, ажно душу дерет». Звуки гармоники и удалая песня заглушают на мгновение все голоса. «Севка, а Севка! При-

прем-ка вон ту купчиху-то, что больно топырится...» – «И то, и то, напирай сильнее, Митюха, ну, не робей!» – «Ой, батюшки, давят! Ой, голубчики, давят!» – снова вопиет на всю ярмарку мещанка в душегрейке на заячьем меху. «Ишь, чертова кукла, как воеет; а ну-кась, Севка, катнем-ка еще...» – «Ну, черт с ней! Знаешь что, Матюшка, пойдём-ка, брат, на конную, нашлялись здесь вволюшку...» – «На нашу долюшку! Ну, Севка, пойдём... Эй, стой! Вон, кажись, сцепились – драка; ступай сюда!» Долговязый белокурый парень стоит, оскалив зубы, перед седым стариком, увешанным кнутами, варежками, кушаками, который ругается на все бока и чуть не лезет парню в бороду.

– Эй, дядя, чему оскаляешься, али рад, что дожил до лысины? Что таришь парня-то? – крикнул Матюшка.

– Вестимо, что у вас? Что? – раздалось в сдвинувшейся толпе.

– Братцы! – прохрипел старик. – Он мошенник, хлыновец окаянный!.. Почитай что вот с самого утра прикидывается у меня к кушаку; торгует, торгует, а, словно на смех, ничего не покупает... Ах ты, в стекляночной те разбей!.. Ах ты!..

– Господа, а господа, полно вам! – говорит городской польского происхождения, инвалид с подбитым глазом, выступая вперед и толкая ссорившихся. – Полно, господа, начальство узнает, ей-богу, начальство... полно... вон (он указал на острог) туда как раз на вольный хлеб посадят... Полно, господа!..

– Эки дьяволы, право! – произнес Матюшка, отходя прочь. – Хошь бы маленько-то почесали друг друга, а то ишь чего испужались... Ну, леший с ними! Пойдем, брат Симеон, на конную, ишь, солнце того смотри сядет!

Конная площадь составляет главную точку ярмарочной промышленности. Там, правда, не встретишь ни офеней¹⁷, увешанных лубочными картинами, шелком-сырцом, с ящиками, набитыми гребешками, запонками, зеркальцами, ни мирных покупателей – баб с задумчивыми их сожителами; реже попадаются красные девки, осанистые, сытые, с стеклярусными на лбу поднизями; тут, по обеим сторонам широкой луговины, сбился сплошною массою народ, по большей части шумливый, задорный, крикливый, охочий погулять или уже подгулявший. Одна сторона поля загромождена возами сена, дегтем, ободьями, лесом, колесами; также торгуют тут коровами и всяким скотом; другая почти вплотную заставлена ятками, харчевнями, кабаками и навесами со всяким харчем и снedyю. Здесь-то теснятся кружки играющих в свайку и орлянку, разгуливают шумными ватагами песельники, хлыновцы, барышники и цыгане. По полю там и сям носятся всадники, пробующие лошадей, или летят иноходцы в беговых дрожках и легоньких тележках. Кое-где виднеются группы конских любителей, продавцов и покупателей.

Приятели – портной Матюшка и товарищ его Севка – не успели еще прорваться сквозь толпу, составлявшую ограду

¹⁷ *Офеня* – коробейник, мелкий торговец.

площади, как первый закричал что есть мочи:

– Эй, Севка! Поглядь-кась, никак вон тот самый мужик, что встретя с нами на дороге... Ну, так так, он и есть... вон и пегая его кляча. Должно быть, не продал... Эй, Старбей! – продолжал он, обращаясь к Антону. – Как те звать, добрый человек?... Знакомый, аль знать не хочешь?... Ну что, как бог милует?..

– Здравствуйте, братцы, – вымолвил Антон, подходя к портным вместе с другими двумя мужиками.

Новые товарищи Антона были приземистые рыженькие люди, очень похожие друг на друга; у обоих остроконечные красные бородки и плутовские серые глазки; синий дырявый армяк, опоясанный ремнем, вокруг которого болтались доспехи коновала, баранья черная шапка и высокие сапоги составляли одежду того и другого.

– Что невесел, словно мышь на крупу надулся, ась? – произнес Матюшка насмешливо.

– Како тут веселье, – отвечал печально Антон, рассеянно глядя в поле.

– Что ж, опять небось алтын не хватает?... Знамо, без денег в город – сам себе враг; жаль, брат, прохарчились мы больно, а то бы, вот те Христос, помогли, ей-богу, хоть тысячу рублей, так сейчас бы поверили... А то, вишь, на косуху не осталось, словно бык какой языком слизнул... право...

В толпе раздался хохот. В это время к Антону подошли два мужика: мука, обсыпавшая их шапки и кафтаны, давала

тотчас же знать, что это были мельники.

– Послушай, братец ты мой, – сказал старший из двух, – что ж, говори последнее слово: продашь лошадь-то али нет?..

Рыженькие приятели перемигнулись между собою, дернули Антона потихоньку сзади и сказали шепотом: «Мотри, земляк, не отдавай, надуть хотят, не отдавай!»

– Да побойся хоть ты бога-то, – отвечал Антон мельнику, – побойся бога; Христов ты человек аль нет? Ну, что ты меня вертишь, словно махонького; ишь за какую цену хочешь лошадь купить...

– Оставь его, дядя Кондрат, – отозвался с сердцем товарищ мельника, – оставь, говорю; с ним и сам сатана, возившись, упарится; вишь, как он кобенится, часов пять и то билась, лошадь того не стоит; пойдем, авось попадем на другую, здесь их много...

– Вестимо, – отвечали в одно время рыженькие, – знамо, свет не клином сошелся; ступайте, вы лошадь найдете, а мы покупщика.

Старый мельник, казалось, с сожалением расставался с мыслию приобрести пегашку; он еще раз обошел вокруг нее, потом пощупал ей ноги, подергал за гриву, качнул головой и пошел прочь.

– Ишь, ловкие какие, – произнес один из рыженьких, – чего захотели, «атусбеш»¹⁸, то бишь... тридцать пять рублей,

¹⁸ Тридцать пять рублей на языке конских барышников и конокрадов. (Прим. автора.)

за лошадь дают... да за эвдаку животину и семьдесят мало...

– Эй, земляк, давай я лошадь-то куплю! – снова закричал Матюшка. – Не грусти; что голову повесил? Сколько спросил? Сколько хошь, столько и дам: чур, мотри, твои могоарычи, а деньги за лошадь, как помру.

– Чего вы привязались ко мне? Ну, чего вам от меня надуть? – сказал с сердцем Антон и сделал шаг вперед. По всему видно было, что бедняга уже давным-давно вышел из себя и выжидал только случая выместить на ком-нибудь свою досаду.

Севка и Матюшка сделали вид, как будто испугались, и отскочили назад; толпа, расположенная к ним прибаутками, которые рассыпал Матюшка, заслонила их и разразилась громким, продолжительным хохотом. Ободренный этим, Матюшка высунул вперед черную кудрявую свою голову и заорал во все горло:

– Гей! Земляк всех избил в один синяк!.. Братцы, ребята, это, вишь, наш бурмистр, ишь какой мигач, во всем под стать пегой своей кобыле, молодец к молодцу... ворон, вишь, приехал на ней обгонять... Эй, эй! Фалалей, мотри, мотри, хвост-ат у клячи оторвался, ей-богу, право, оторвался... ей, го... го... го... го...

Антон в это время следовал за рыженькими своими приятелями, которые почти против воли тащили его на другой конец поля. К ним тотчас же подскочили три цыгана.

– Что, добрый человек, лошадь твоя?

– Моя.

– Продаешь?

– Мотри не продавай, – снова шепнули Антону рыженькие, – народ бедовый, как раз завертят.

– Продаю, – отвечал нерешительно Антон и в то же время поглядел с беспокойством на приятелей.

Тогда один из цыган, дюжий, рослый мужчина в оборванных плисовых шароварах и синем длинном балахоне с цветными полотняными заплатами, подбежал к пегашке, раздвинул ей губы, потом поочередно поднял ей одну ногу за другой и, ударив ее в бок сапогом, как бы для окончательного испытания, сказал товарищам:

– Лачи грай, ян таранчинас, шпал, ды герой лачи! (Добрый конь, давайте, братцы, торговать, смотри: ноги хороши больно!)

– Мычынав курано (как будто старенька), – отвечали те, – а нанано – пробине, пробине (а все попробуем).

И все трое принялись осматривать лошадь. Разумеется, удары в бок, как необходимейшее условие в таком деле, не заставили себя дожидаться.

– Что стоит? – спросил первый цыган.

– Семьдесят рублей, – отвечали равнодушно и как бы из милости рыженькие спутники Антона, отводя его в сторону и принимаясь нашептывать ему на ухо.

Цыгане засмеялись.

– А саранда рубли крууг, де гаджо лове ватопаш, сытуте

лове? (А сорок рублей стоит, да мужик отдаст за половину: деньги у вас есть?) – сказал первый.

– Сы (есть), – отвечали те.

– Лачи (ладно). Ну, братцы, и ты, добрый человек, – про-должал тот, указывая на лошадь с видом недовольным, – до-рого больно просишь; конь-то больно изъезжен, стар; вот и ребята то же говорят...

– Да чуть ли еще не с норовом, – подхватил цыган, глядя пегашке в зубы, – ишь, верхний-то ряд вперед выпучился... а ты семьдесят рублей просишь... нет, ты скажи нам цену по душе; нынче, брат, не то время, – корм коня дороже... по душе скажи...

– Сколько же, по-вашему? – спросил Антон.

– Да что тут долго толковать, мы в деньгах не постоим, надо поглядеть сперва ходу, как бежит... был бы конь доб-рый, цену дадим необидную... веди!

Рыженькие отвели Антона в сторону.

– Экой ты, брат... мотри не поддавайся... не купят, право слово, не купят, попусту только загоняешь лошадь и сам из-маешься... говорим, найдем завтра покупателя... есть у нас на примете... вот уж ты сколько раз водил, не купили, и те-перь не купят, не такой народ; тебе, чай, не первинка... – твердили они ему.

– Спасибо, родные, за доброе, ласковое ваше слово, да, вишь, дело-то мое захожее.

– Вот по той причине мы те и толкуем, на волоку и по

волоку – надо дело рассуждать.

– Господь их ведает, может, и по честности станут цену давать; мне, братцы, така-то, право, тоска пришла, что хошь бы сбыть ее с рук скорей.

– Пожалуй, ступай себе; а только, право, попусту сходишь.

Антон взял пегашку под уздцы и, сопровождаемый цыганами, повел ее к стороне харчевен, откуда должен был, по обыкновению, начаться бег. Рыженькие пошли за ними. Пройдя шагов двадцать, они проворно обернулись назад и подали знак двум другим мужикам, стоявшим в отдалении с лошадьми, чтобы следовали за ними; те тотчас же тронулись с места и начали огибать поле; никто не заметил этих проделок, тем менее Антон. Видно было по всему, что он уже совсем упал духом; день пропал задаром: лошадь не продана, сам он измучился, измаялся, проголодался; вдобавок каждый раз, как являлся новый покупатель и дело, по-видимому, уже ладилось, им овладевало неизъяснимо тягостное чувство: ему становилось все жальче и жальче лошаденку, так жаль, что в эту минуту он готов был вернуться в Троскино и перенести все от Никиты Федорыча, чтобы только не разлучаться с нею; но теперь почему-то заболело еще пуще по ней сердце; предчувствие ли лиха какого или что другое, только слезы так вот и прошибали ресницы, и многих усилий стоило бедному Антону, чтобы не зарыдать вслух.

– Эх, каман чорас грай, томар у девел чорас ме! (Эх, вот бы украл лошадь, убей меня бог, украл бы!) – сказал кто-то

из цыган, когда пришли на место.

Тут стояли уже несколько человек с лошадьми; между ними находились и те, которым подали знак рыженькие.

– Ну, брат хозяин, садись на коня, – вымолвил первый цыган Антону, – поглядим, как-то он у тебя побежит... садись!..

Антон медленно подошел к пегашке, уперся локтями ей в спину, потом болтнул в воздухе длинными, неуклюжими своими ногами и начал на нее карабкаться; после многих усилий с его стороны, смеха и прибауток со стороны окружающих он наконец сел и вытянул поводья. Толпа, состоящая преимущественно из барышников, придвинулась, и кто молча, кто с разными замечаниями окружили всадника-мужика. В числе этих замечаний не нашлось, как водится, ни одного, которое бы не противоречило другому; тот утверждал, что конь «вислобокий», другой, напротив того, спорил, что он добрый, третий бился об заклад, что «двужильный», четвертый уверял, что пегая лошадь ни более ни менее как «стогодовалая», и так далее; разумеется, мнения эти никому из них не были особенно дороги, и часто тот, кто утверждал одно, спустя минуту, а иногда и того менее, стоял уже за мнение своего противника.

– Ну, теперь пушай ее... пушай! – закричало несколько голосов, и толпа ринулась в сторону.

Но усталая, измученная и голодная пегашка на тот раз, к довершению всех несчастий Антона, решительно отказывалась повиноваться пруканью и понуканью своего хозяина;

она уперлась передними ногами в землю, сурово потупила голову и не двигалась с места.

– Конь с норовом... ан нет... ан да... О! Чего смотрите, черти!.. Она, вишь, умаялась: дай ей вздохнуть, вздохнуть дай!.. – слышалось отовсюду.

А Антон между тем употреблял все усилия, чтобы раззадорить пегашку: он то подавался вперед к ней на шею, то спускался почти на самый хвост, то болтал вдоль боков ногами, то размахивал уздечкой и руками; нет, ничего не помогало: пегашка все-таки не подавалась.

– Э... ге... ге... ге! – заметил цыган. – Да она, брат, видно, у тебя опоена, видно, на кнуте только и едет.

Антон удвоил усилия; пот выступил у него на лбу.

– Ну, ну, – бормотал он, метаясь на лошади как угорелый, – ну, дружок! Ну, дурачок!.. Э!.. Ну... эка животина... ну... ну... э!..

– Эй, брат!.. Ребята! Да вы проведите ее.

– Нет, зачем проводить... оставь... она и сама пойдет... дайте ей вздохнуть...

– А долго будет она так-то стоять? – сказал кто-то и без дальних рассуждений, подбежав к лошади, ударил ее так сильно в брюхо, что сам Антон чуть было не слетел наземь.

Толпа захохотала, а пегашка тем временем брыкнула, взвизгнула и понеслась по полю.

– Э! Взяла, взяла! Э! Пошла, пошла, пошла! Гей! Гей! Го-го-го! – слышалось со всех сторон.

Один из зрителей пришел в такой азарт, что тут же снял с себя кожух и, размахивая им с каким-то особенным остервенением по воздуху, пустился догонять лошадь.

– Ишь, прямо с копыта пошла, хорошо пошла, – произнес цыган, обращаясь к толпе.

– Николко, проста лашукр (ведь хорошо бежит).

– Урняла, целдари урняла! (Знатно скачет!) – отвечали те в один голос, глядя ей вслед, и закричали Антону: – Эй! Пусти ее во весь дух, пусти, небось... дыкло! дыкло! Посмотрим!

Рыженькие, казалось, того только и ждали, чтобы отъехал Антон; они подошли к двум мужикам-товарищам и переговорили.

Когда Антон вернулся назад, они уже стояли на прежнем своем месте, а товарищи их пододвинулись со своими лошадьми к цыганам.

– Ну, вот что, брат, – сказал первый цыган Антону, – семьдесят рублей деньги большие, дать нельзя, это пустое, а сорок бери; хошь, так хошь, а не хошь, так как хошь; по рукам, что ли? Долго толковать не станем.

Антон поглядел нерешительно на рыженьких. Те замотали головами.

– Нет, – сказал он печально, – нельзя, несходно...

– Братцы, что вам, лошадь, что ли, надо? – заговорили тотчас приятели рыженьких. – Пойдемте, поглядите у нас... уж такого-то подведем жеребчика, спасибо скажете... что вы

с ним как бьется, ишь ломается, и добро было бы из чего... ишь, вона, вона как ноги-то подогнула... пойдете с нами, вон стоят наши лошади... бойкие лошади! Супротив наших ни одна здесь не вытянет, не токмо что эта...

– А чего вы лезете! – перебил один из близ стоявших мужиков. – Нешто это дело – отбивать? Экие бесстыжие, совести нет; вишь, он продает, а вы лезете; завидно, что ли?.. Право, бесстыжие...

– А черт ли велит ему отмалчиваться? Коли продаешь, так продавай, что кобенишься? Да! Что буркалы-то выпучил, словно пятерых проглотил да шестым поперхнулся... отдавай за сорок... небось несходно?.. Отдавай, чего надседаешься...

– Нет, за сорок не отдам.

– Твоя воля, конь твой, – отвечал цыган, – ну, слушай последнее слово: сорок рублей и магарычи... хошь?

– Что мне магарычи? На кой мне их леший!..

– Узду в придачу!

– И узды не надуть.

– Эх вы, ребята, словоохотливые какие, право, – начали опять те, – видите, не хочет продавать – и только; и что это вы разгасились так на эвту лошадь? Мотрите, того и гляди, хвост откинёт, а вы сорок даете; пойдете, вам такого рысачка за сорок-то отвалим, знатного, статного... четырехлетку... как перед богом, четырехлетку...

– Соле саракиресса, накамыл тебыкнел, авен, пшалы, не

каман. (Ну, что с ним взаправду толковать, пойдёмте, братцы; не хочет.) Ну, прощай, добрый человек, – сказал первый цыган. – Авен, авен, пшалы. (Пойдёмте, пойдёмте, братцы.)

Рыженькие тотчас же повели Антона в другую сторону.

– Ну вот, говорили мы тебе... как бишь те звать?

– Антоном.

– Э! Да у меня, брат, свояка зовут Антоном. Ну, ведь говорили мы тебе, не ходи, не продашь лошади за настоящую цену; э! захотел, брат, продать цыгану! Говорят, завтра такого-то покупщика найдем, барина, восемьдесят рублей как раз даст... я знаю... Балай, а Балай, знаешь, на кого я мечу?..

Балай кивнул головою, искоса поглядел на Антона и значительно подмигнул товарищу.

– Спасибо, братцы, за ваши добрые речи, – отвечал мужик, уныло потупляя голову, – да, вишь, дело-то мое захожее; куды я теперь пойду? Ночь на дворе.

– Куды пойдешь! Об эвтом, земляк, не сумлевайся... а мы-то на что ж?.. вот брат пойдет домой в деревню, а я остаюсь здесь: пожалуй, коли хочешь, пойдём вместе, я тебе покажу, где заночевать.

– У меня, братцы, ведь денег нету... вот беда какая! Думал лошадь продать, так...

– Эхва, беда какая! Мало ли у кого не бывает денег, не ночуют же в поле... я тебя поведу к такому хозяину, который в долг поверит: об утро, как пойдешь, знамо, оставь что-нибудь в заклад, до денег, полушубок или кушак, придешь,

рассчитаешься; у нас завсегда так-то водится...

– Когда ваше такое доброе слово, – отвечал Антон, – пойдемте, братцы, авось господь милостив, завтра удастся продать лошаденку...

– Не сумлевайся, брат Антон, говорю, покупатель у нас есть знатный для тебя на примете; ты, вишь, больно нам полюбился, мужик-ат добре простой, неприквельный... хотим удружить тебе... бог приведет, встренемся, спасибо скажешь...

И все трое покинули площадь. Только что своротили они в переулок, как Балай распрощался с Антоном и, перемигнувшись еще раз с товарищем, исчез в толпе.

V

Ночлег

«Ох, горе, мое горе, кручинное житье! – думал Антон, следуя медленным, нетвердым шагом за товарищем. – День прошел, да, видно, до нас не дошел, ишь вечеряет, а лошаденка все с рук не сошла; что станешь делать!.. Нет, знать, так уж господу богу угодно... погрешился я чем перед ним... охо, хо... Дома-то, дома у меня, чай, ждут, сердешные, не дождутся; не наболится у родимых сердечушко... Правда, напался человек добрый, сулил покупщика хорошего, да это когда еще, завтра!.. Заночевать, вишь, пришлось в чужой стороне промеж чужих людей, денег ни полушки, а дело захожее... Ну, а как завтра да опять не выйдет на мою долю счастья, лошади опять не продашь, а только пуще бед наживешь, и с тем домой вернешься... Никита просвету не даст тогда, долой с бела света сгонит, совсем беда! Пропадем ни за что и я, и Варюха, да и ребятенки-то тож... охо... хо, горе мое, горе, кручинное житье!..»

День между тем зримо клонился к вечеру; солнце село; золотистые хребты туч, бледнея на дальнем горизонте, давали знать, что скоро и совсем наступят сумерки. Подошва горы, плоские песчаные берега, монастырь и отмели окутались уже тенью; одна только река, отражавшая круглые облака, обагранные последними вспышками заката, вырезыва-

лась в тени алой сверкающей полосой. Осенний ветер повеял холодом и зашипел в колеях дороги. Время от времени он изменял свое направление, и тогда слышались с реки отрывистые крики народа, толпившегося на берегу и ожидавшего парома, который чуть видимую точкой чернелся на более и более бледневшей поверхности воды, влача за собою огненную, искристую полосу света. Шум ярмарки умолкал; толпа в городе постепенно редела; скидывались ятки, запирались лари, лавки; купцы и покупатели расходились во все стороны, и все тише да тише становилось на улицах, на площади, между рядами телег, подвод, укутанных и увязанных на ночь в рогожи. Вниз по горе тишина делалась еще заметнее; тут исчезли уже почти все признаки ярмарки; кое-где разве попадался воз непроданного сена и его хозяин, недовольное лицо которого оживлялось всякий раз, как кто-нибудь проходил мимо, или встречалась ватага подгулявших мужиков и баб, которые, обнявшись крепко-накрепко, брели, покачиваясь из стороны в сторону и горланя несвязную песню.

Антон и рыженький его товарищ достигли уже подошвы горы, когда на одном из поворотов дороги должны были остановиться по случаю стечения народа. Они подошли ближе. На самом крутом уступе лежал замертво пьяный мужик; голова его, седая как лунь, скатилась на дорогу, ноги оставались на возвышении; коротенькая шея старика налилась кровью, лицо посинело... Присутствующие, которых было очень много, не помышляли, однако ж, поднимать его; иные, про-

ходя мимо, замечали только: «Эк его раздуло!» или: «Ишь те как налился!» Большая часть зрителей не делали, впрочем, никаких замечаний: они глядели на него с каким-то притупленным любопытством, почесывали затылки и качали головами, как бы в душе соболезнуя о злополучном землячке; но помощи никто решительно не подавал, никто даже не трогался с места. Антон принадлежал, должно быть, к последней категории; он постоял, покачал головою и готовился уже кликнуть своего товарища; но в эту самую минуту из толпы выскочил полный кудрявый детина в синем кафтане и с радостным восклицанием бросился обнимать его.

– Эхва!.. Антон! Как тебя бог милует? Подобру ли, поздорову? Вот не чаяли встретиться...

– Здорово, Митроха, – вымолвил Антон, ошеломленный несколько неожиданным приветствием, – как можешь...

Они обнялись и поцеловались. Встреча эта сильно озадачила рыженького; он суетливо подошел к Антону, дернул его за полу и шепнул: «Земляк, пора до фатеры, поздно, того и гляди, места не станет...»

– Шутка, дело какое! – продолжал Митроха. – Почитай что целый год не видались; ну что, брат Антон, как тебя перевертывает? Как поживаешь с хозяйкою и с ребятишками?..

– Ох, лучше и не спрашивай, плоше моего житья, кажись, на свете нет... мое житье самое последнее...

– Неужто все Никита проклятый досаждает?..

– Да, – отвечал печально Антон, – да; вот и теперь пришел,

брат, сюда последнюю лошадь продавать, – велел!.. не знаю, что и будет; совсем, знать, пришло мое разоренье...

– Ой ли? Ну, брат, жаль, больно жаль мне тебя!.. А я, брат, на фабрике-то поперился маненько; живу верстах в трех отсель на миткалевой фабрике... и хозяин такой-то, право, добрый достался, не в обиде живешь... Ну, расскажи-ка, братец ты мой, как поживают Стегней с женою? Он ведь свояк мне...

– А что им делается – хлебушка есть, живут ладно, по милости господней.

– Новую избу, говорят, поставили?

– Поставили.

– Так; ну, брат Антон, где ж ты остановился здесь?

– Вот тут... близехонько, – отвечал скороговоркою рыженький, – у самого перевоза на постоялом...

– Дай ему господь бог здоровья, – продолжал Антон, указывая земляку на рыженького, – встрелся добрый человек... хочет провести на ночлег.

– Пойдем, Антон, – сказал тот, – пора, не опоздать бы нам, народу не подошло бы много с ярманки...

– Ну, ладно, – подхватил Митроха, – я к тебе завтра зайду на фатеру... как бог свят, зайду; ты, я чай, не больно рано пойдешь на ярманку... а мы до того времени перемолвим слово, покалякаем про своих... так-то, брат, я тебе рад, Антон, право, словно родному... инда эвдак сердце радуется, как случай приведет с земляком повидаться... Ну, прощай,

брат, и мне пора ко двору, а завтра непременно найду...

– Прощай, Митроха, заходи же, мотри...

– Ладно, ладно...

– Ну, братец, куда же нам теперь идти? – спросил Антон, когда земляк исчез за поворотом.

– Сойдем вниз, а там пойдем все по берегу, все по берегу, до самых кузниц.

– Далече?

– Эко ты наладил одно: далече да далече? Видишь перевоз?

– Вижу...

– Ну, коли видишь, так ладно; тут как раз будет тебе и постоянный двор... он прямо стоит за кузнями...

Движения, походка, лицо товарища Антона мгновенно изменились: теперь все уже показывало в нем человека довольного, даже торжествующего; серенькие плутовские глазки его насмешливо суживались и поочередно устремлялись то на мужика, то на пегашку; он стал разговорчивее; но в речах его уже не было той заботливости, той вкрадчивости, с какими прежде подъезжал он к Антону. Все произошло, однако, так, как говорил рыженький: вскоре они достигли перевоза, там поднялись по скользкому грязному берегу и вышли на пустынное поле, огражденное с одной стороны рядом черных, мрачных кузниц, которые неровною линиею спускались почти к самой воде.

Миновав кузницы, рыженький молча указал Антону на

высокую избу, одиноко стоявшую на дороге и окруженную длинными навесами. Тем временем, как они к ней приближались, ночь окончательно обхватила небо и окрестности. Месяц вышел из-за туч и весело проглянул на небе. Антон обернулся назад и бросил взгляд к стороне города; там все уже стихло; редко, редко долетала отдаленная песня или протяжное понуканье запоздалого мужика, торопившего лошадь. Где-то в стороне, далеко-далеко за рекою, слышался стук в чугунную доску деревенского караульщика. Он увидел реку, исчезающую после многих изгибов в темноте, крутые берега, отделявшиеся от нее белым туманом, и черные тучи, облегавшие кругом горизонт. Луна скрылась; воцарился глубокий, непроницаемый мрак; подходя к избе, Антон едва-едва различил подводы, стоявшие у ворот. Шумный говор и свет, выходявший длинною полоскою из окна, давали знать, что на постоялом дворе было довольно народу.

– Ну, вот и пришли, – сказал рыженький Антону, – веди лошадь в ворота; ладно; ставь ее вот сюда, под навес, да пойдем ужинать...

– Послушай, добрый человек, – произнес Антон, оглядывая с беспокойством постоялый двор и навесы, – послушай, мотри, не было бы лиха... не обидели бы меня... не увели бы лошаденки; я слышал, народ у вас в городах на это дело добре податлив...

– Эх ты! – воскликнул тот, ударив мужика по плечу. – Прямой ты, брат, деревенщина, пра, деревенщина; борода у

те выросла, а ума не вынесла; ну, статочно ли дело? Сам порассуди, кому тут увести? Ведь здесь дворник есть, ворота на ночь запирают; здесь не деревня, как ты думаешь. Знамо дело, долго ли до греха, коли не смотреть, на то, вишь, и двор держат, а ты думаешь, для чего?..

– Оно так, – отвечал мужик, продолжая озираться на стороны, – вестимо так, а все словно думается...

– Что говорить, – начал рыжий, переменив вдруг насмешливый тон на серьезный, – кто против того? Животину водить, не разиней ходить, это всякий знает... полно, земляк, полно; а ты взаправду опасаясь, что ли?..

– Как перед богом, боюсь... добрый человек.

– Ну, коли так, привяжи ее пока здесь к столбу, а потом приходи сюда спать; я и сам с тобою лягу... пойдем выпьем по чарке винца, смерть прозяб... а там подкинем соломы да всхрапнем... ладно, что ли?..

– Ладно, коли твоя добрая душа будет...

– Привязал?

– Привязал...

– Мотри, привязывай крепче, чтоб не отвязалась неравно да не ушла...

– Нет, не уйдет...

– Пойдем.

Изба, в которую рыженький ввел Антона, была просторна; по крайней мере так показалась она последнему при тусклом свете сального огарка, горевшего на столе в железном коря-

вом подсвечнике; один конец перегородки, разделявшей ее на две части, упирался в исполинскую печь с уступами, стремешками и запечьями, другой служил подпорою широким полатам, с которых свешивались чьи-то длинные босые ноги и овчина. За столом, под образами, сидели четыре человека и ужинали; подле них хлопотала хозяйка, рябая, встрепанная, заспанная баба.

– Хлеб да соль, братцы, – вымолвил рыженький, запирая дверь, – здравствуй, хозяйка!

– Хлеб да соль, – проговорил, в свою очередь, Антон, крестясь перед образами.

– Спасибо, – отозвались сидевшие мужики.

– Вам постоять, что ли? – грубо спросила дворничиха.

– И то тебя, вишь, не обходим, вот и товарища привел... ну, а хозяин где?

– Кто там?.. – слышалось сверху, и в то же время длинные ноги, висевшие с полатей, перевернулись и показали, что принадлежащее им туловище перевалилось на спину.

– Что там развалился, черт? – закричала сиповатым голосом хозяйка. – Ступай! Вишь, народ подошел...

На полатах слышалась зевота.

– О-о-о! Господи, господи, о-о! – бормотал хозяин, сползая по стремешкам печи вниз. – А! – воскликнул он, оставиваясь. – А! Здорово, рыжая борода!

Рыженький подал ему из-за спины Антона выразительный знак рукою. Хозяин тотчас же замолчал; закинув обе руки за

шею, он потянулся, зевнул и продолжал лениво:

– Эк вы поздно как таскаетесь, люди спать давно полеглись; ну, а мужичок с тобой пришел?

– Со мной.

– Лошадь есть?

– Есть.

– Сенца надуть, что ли? – спросил хозяин Антона. – У меня сено знатное...

– Нет, – отвечал простодушно Антон, – сена не надо, я лошадь-то продавать привел: и так простоит, сердешная...

– Твоя на то воля... ужинать небось станете?

– Давай!..

– Такая-то беда у меня... малого своего отослал в Зименки... до сих пор не вернулся; сам за все и про все, – говорил хозяин, слезая наземь.

– А почему ужин? – рассеянно спросил рыженький.

– Известно, что тут толковать, лишнего не берем, что в людях, то и у нас: шесть гривен с хлебом.

– Ладно... Эй, хозяйка! Собирай скорей, смерть проголодались.

– Вам чего? Щей плехнуть, аль гороху вальнуть, аль лепеху с семенем? – спросила хозяйка.

– Давай что ни есть... Хозяин, а хозяин, нет ли, брат, винца?

– Как не быть... вам сколько?

– Что, Антон, голову-те повесил, вино есть, аль не слы-

пишь? Выпьем, говорю, завтра знатный будет день. Хозяин, давай штоф!..

Когда дворник вышел, рыженький повертелся еще несколько минут подле печки и шмыгнул в двери. Это было сделано так ловко, что Антон ничего не заметил; он снял с себя полушубок, повесил его на шесток, помолился богу, сел за стол и в ожидании ужина принялся рассматривать новых своих товарищей. Двое из них немного погодя встали, перекрестились и молча улеглись на нары, занимавшие целую стену избы. Антон увидел, что тут спало еще несколько человек мужиков. Из оставшихся двух за столом один особенно привлек внимание нашего мужика. Это был толстенький, кругленький человек, с черною окладистой бородкой, плоскими маслястыми волосами, падавшими длинными космами по обеим сторонам одутловатого, багрового лица, отличавшегося необыкновенным добродушием; перед ним на столе стояла огромная чашка каши, деревянный кружок с рублевой говядиной и хрящом и миска с лапшой; он уписывал все это, прикладываясь попеременно то к тому, то к другому с таким рвением, что пот катился с него крупными горошинками; слышно даже было, как у него за ушами пищало. Антон первый прервал молчание.

– Вы отколе? – спросил он.

Мужик встряхнул головою, устремил на него оловянные глаза и, проглотив кашу, мешавшую ему закрыть рот, отвечал:

– Сдалече: ростовские.

– Господские?

– Барские...

– Больша вотчина?

– Большая...

Тут хозяйка поставила перед ним чашку тертого гороху; мужичок принялся за него с тем же ничем не сокрушимым аппетитом и уже ничего не отвечал на вопросы Антона. Скоро вернулся рыженький с штофом вина, сел подле товарища, и оба принялись ужинать. Немного погодя явился и сам хозяин.

– А ты ехать собрался, что ли? – спросил он у мужичка, сидевшего рядом с ярославцем.

– Да, мне пора, – отвечал тот, подтягивая кушак, – до свету надо быть дома.

Антон мгновенно поднял голову, поглядел на него, вздохнул и перестал есть. Хозяин снял с полки счеты и подошел к отъезжавшему вместе с хозяйкой.

– Щи хлябал?

– Хлябал.

– Кашу ел?

– Ел.

– Масло лил?

– Лил.

– Сорок копеек, – произнес отрывисто хозяин, шелкнув костями.

Мужик расплатился, помолился перед образами и, поклонившись на все четыре стороны, вышел из избы. В то время толстоватый ярославец успел уже опорожнить дочиста чашку тертого гороху. Он немедленно приподнялся с лавки, снял с шеста кожух, развалил его подле спавшего уже товарища и улегся; почти в ту ж минуту изба наполнилась его густым, протяжным храпением. Дворничиха полезла на печь. В избе остались бодрствующими рыженький, Антон и хозяин.

– Хозяин! – начал первый, прислушавшись прежде к шуму телеги отъехавшего мужика. – Подсядь-ка, брат, к нам, не спесився; вот у меня товарищ-ат что-то больно приуныл, есть не ест и пить не пьет; что ты станешь с ним делать...

– Ой ли? – произнес хозяин, подходя к столу. – Ну, давай... как бишь звать-то тебя?.. Пантелеем, что ли?

– Антоном...

– Давай, брат Антон, я выпью... да ты-то что? Э! полно, чего кобенишься, пра, выпей, вино у меня знатное, хошь пригубь...

Антон выпил.

– Не то, братцы, на разуме у меня; так разве со стужи, – произнес он, крякнув и обтирая бороду.

– Пей, не робей, – вскрикнул рыженький, перемигиваясь с хозяином... – Ну-кась, брат, со стужи-то еще стаканчик...

– Спасибо... много доволен...

– Э! Что за спасибо! Пей, сколько душа примет... знамо, первая чарка колом, вторая соколом, а третью и сам позо-

вешь; пей; душа меру, брат, знает... а там и спать пойдем...

– Под навес? – спросил Антон, глаза которого начинали уже разгораться.

– Вестимо, что под навес... вот добрый хозяин и соломки даст... да пей же, брат, пей без опаски... хлеб ешь?

– Ем.

– Ну, а разве вино не тот же хлеб! Маненько только пожиже будет... валяй! Ну, экой, право, приквельной какой, долго думать, тому же быть...

– Для ча не выпить, когда добрый человек подносит, – подхватил хозяин. – От эвтого, брат Антон, зла не будет... пей за столом, говорят добрые люди, да не пей, мотри, только за углом...

Антон выпил еще стакан.

– Братцы! – произнес он вяло и принимаясь тереть лицо, лоб и щеки, с которых катился крупными каплями пот. – Братцы, пра, пора... вот те Христос... домой пора бы. Варвара-то... э! Варвара... братцы...

– Погоди... поспеешь еще... – отвечал рыженький, наливая еще стакан, – вот выпей наперед, выпей, слышь, последний выпей... на стужу идешь...

– Пейте скорее, ребята, и мне пора спать... чай, полночь давно на дворе... – вымолвил хозяин, зевая и потягиваясь.

Антон осушил стакан бычком и почти в ту же минуту повалился, как сноп, на лавку...

– Спит? – спросил поспешно хозяин у рыженького, кото-

рый уже нагнулся к Антону и слушал.

– Хоть кол на голове теши, не услышит! – отвечал тот, выпрямляясь и махнув рукою.

Оба засмеялись. Рыженький подошел к столу, выпил оставшуюся в штофе водку, взял шапку и стал поочередно оглядывать спавших на нарах; убедившись хорошенько, что все спали, он задул свечу и вышел из избы вместе с хозяином...

VI

Пегашка

Время подходило уже к самому рассвету, когда толстоватый ярославец был внезапно пробужден шумом в избе. Открыв глаза, он увидел стол опрокинутым; из-под него выползал на карачках Антон, крестясь и нашептывая: «Господи благослови, господи помилуй, с нами крестная сила...»

– Что, брат, с тобою?.. Эй, что ты? – спросил мужичок, соскакивая с нар и принимаясь трепать Антона по плечу. – Эк ты меня испужал; словно «комуха»¹⁹, вот так и трясет меня всего...

– Господи благослови... ох!.. Насилу отлегло... – выговорил Антон, вздрагивая всем телом, – ишь, какой сон пригрелся... а ничего, ровно ничего не припомню... только добре что-то страшно... так вот к самому сердцу и подступило; спасибо, родной, что подсобил подняться... Пойду-ка... ох, господи благослови! Пойду погляжу на лошаденку свою... стоит ли она, сердешная...

Антон снова перекрестился и поспешно вышел из избы. Мужик сел на нары и начал мотать онучи.

Шум, произведенный Антоном, разбудил не одного толстоватого ярославца; с полатей послышались зевота, оханье,

¹⁹ Лихорадка, по-ярославски. (Прим. автора.)

потягиванье; несколько босых ног свесилось также с печки. Вдруг на дворе раздался такой пронзительный крик, что все ноги разом вздрогнули и повскакали наземь вместе с туловищами. В эту самую минуту дверь распахнулась настежь, и в избу вбежал сломя голову Антон... Лицо его было бледно, как известь, волосы стояли дыбом, руки и ноги дрожали, губы шевелились без звука; он стоял посередь избы и глядел на всех страшными, блуждающими глазами.

– Что там? – отозвалась хозяйка, просовывая голову между перекладинами полатей.

– Что ты?.. Эй, сват!.. Мужичок... дурманом прихватило, что ли?.. Эк его разобрало, – заговорили в одно время мужики, окружая Антона.

– Что ты всех баламутишь? – произнес грубо хозяин, оттолкнув первого стоявшего перед ним мужика и хватая Антона за рубаху. – Да ну, говори!.. Что буркалы-то выпучил...

– Увели!.. – мог только вскрикнуть Антон. – Лошаденку... ей-богу... кобылку пегую увели!..

– Ой ли?.. Братцы... ишь, что баит... долго ли до греха... э-э-э!..

И все, сколько в избе ни было народу, не исключая даже Антона и самого хозяина, все полетели стремглав на двор. Антон бросился к тому месту, куда привязал вечор пегашку, и, не произнося слова, указал на него дрожащими руками... оно было пусто; у столба болталась одна лишь веревка...

– Взаправду увели лошадь! Ишь вот, вот и веревка-то раз-

резана, ножом разрезана... и... и... и... – слышалось ото-
всюду.

Антон ухватился обеими руками за волосы и зарыдал на
весь двор.

– Братцы, – говорил бедный мужик задыхающимся голо-
сом, – братцы! Что вы со мною сделали?.. Куды я пойду те-
перь?.. Братцы, если в вас душа есть, отдайте мне мою лоша-
денку... куды она вам?.. Ребятишки, вишь, у меня махонь-
кие... пропадем мы без нее совсем... братцы, в Христа вы
не веруете!..

Ничто не совершается так внезапно и быстро, как пере-
ходы внутренних движений в простом народе: добро ряд об-
ряд с лихом, и часто одно венчается другим почти мгновен-
но. Почти все присутствующие, принявшие было горе Ан-
тона со смехом, теперь вдруг как бы сообща приняли в нем
живейшее участие; нашлись даже такие, которые кинулись к
хозяину с зардевшими, как кумач, щеками, со сверкающими
глазами и сжатыми кулаками. Толстоватый ярославец горя-
чился пуще всех.

– Ты, хозяин, чего глядел! – вскричал он, подступая к
нему. – Разве так делают добрые люди? Нешто у тие постоя-
лый двор, чтобы лошадей уводили?.. нет, ты сказывай нам
теперь, куда задевал его лошадь, сказывай!..

– Да ты-то, тие, тие... охлестыш ярославский пузатый, –
возразил не менее запальчиво хозяин, – мотри, не больно пу-
зырься... что ко мне приступаешь? Мотри, не на таковского

наскочил!..

– Вестимо, вестимо, – заговорили в толпе, – он тебе дело баит; сам ты, мотри, не скаль зубы-те! Нешто вы на то дворы держите? Этак у всех нас, пожалуй, уведут лошадей, а ты небось останешься без ответа.

– Да что вы, ребята, – отвечал хозяин, стараясь задобрить толпу, – что вы, взаправду: разве я вам сторож какой дался! Мое дело пустить на двор да отпустить, что потребуется... А кто ему велел, – продолжал он, указывая на Антона, – не спать здесь... Ишь он всю ночь напролет пропил с таким же, видно, бесшабашным, как сам; он его и привел... а вы с меня ответа хотите...

– Братцы! – закричал Антон, отчаянно размахивая руками. – Братцы, будьте отцы родные... он, он же и поил меня... вот как перед богом, он, и тот парень ему, вишь, знакомый... спросите хошь у кого... во Христа ты, видно, не веруешь!..

– Ребята, – вымолвил ярославец, – я сам видел, как он вечер поил его... право слово, видел...

– А нешто я отнекиваюсь? Пил с ними; да, позвал меня товарищ, сам подносил; ну и пил...

– Да ты его знаешь... того, рыженького-то? Что прикиды-ваешься!

– А отколь мне знать его? Эка леший! Нешто у меня здесь мало всякого народу перебивает! Так мне всех и знать... я его впервинку и в глаза-то вижу... да что вы его, братцы, слушаете? Может, лошадь-то у него крадена была... вы бы

наперед эвто-то разведали.

– Братцы, кобылка, как перед господом богом, девятый год у меня стоит... спросите у кого хотите...

– Да, ишь, ловок больно! А у кого они спросят? Экой прйткой какой! – заметил хозяин.

– Что мне теперь делать? Что делать, братцы? – воскликнул снова бедный мужик, ломая руки.

– Слушай, брат, как бишь тебя?..

– Антон, родимый... как перед господом богом, Антон.

– Ну, хорошо; слушай, Антон, – сказал ярославец, выступая вперед, – коли так, вот что ты сделай: беги прямо в суд, никого не слушай, ступай как есть в суд; ладно; сколько у те денег-то?..

– Ни полушки нетути, касатик, то-то и горе мое; кабы деньги были, так разе стал бы продавать последнюю лошаденку... Нужда!..

– Как! У тебя денег нету? – возразил хозяин, разгорячаясь. – Ах ты, мошенник! так как же ты приходишь на постой?.. Ты, видно, надуть меня хотел... Братцы! Вот вы за него стояли, меня еще тазать²⁰ зачали было... вишь он какой! Он-то и есть мошенник...

– Тебе, я чай, сказывал рыженький... ах он... Господи! Чем погрешился я перед тобою? – произнес Антон, едва-едва держась на ногах.

– Да, теперь отвертываться да на другого сваливать ста-

²⁰ Тазать – бранить.

нешь... Ах ты, бездельник! Да я сам пойду в суд, сам потащу тебя к городничему; мне и приказные-то все люди знакомые и становой!..

– Полно, хозяин, ты, может, напраслину на него взводишь, ишь он какой мужик-ат простой, куды ему чудить! И сам, чай, не рад, бедный; может, и сам он не ведал, с каким спознался человеком... – слышалось в толпе.

Но хозяин и слышать не хотел; сколько ни говорили ему, сколько ни увещевал его толстоватый ярославец, принимавший, по-видимому, несчастье Антона к сердцу, он стоял на одном. Наконец все присутствующие бросили дворника, осыпав его наперед градом ругательств, и снова обратились к Антону, который сидел теперь посередь двора на перекладине колодца и, закрыв лицо руками, всхлипывал пуще прежнего.

– Слушай, брат Антон, – начал один из них, – не печалься добре; гореваньем лошади не наживешь; твоему горю можно еще пособить; этакое дело не впервинку случается; слушай: ступай-ка ты прямо, вот так-таки прямо и беги в Заболотье... знаешь Заболотье?

– Нет, кормилец, не знаю: я не здешний.

– Ну, да нешто... ступай все прямо по большой дороге; на десятой версте, мотри, не забудь, – на десятой, сверни вправо, да там спросишь... Как придешь в Заболотье-то, понаведйся к Ильюшке Степняку... там тебе всякий укажет...

– Полно, кум, что баишь пустое! Ну, зачем пойдет он в За-

болотье? Тут вот, может статья, и ближе найдешь свою лошадь... Послушай, брат Антон, ступай помимо всех в Спас-на-Журавли, отсель всего верст двадцать станет... я знаю, там спокон века водятся мошенники... там нагдысь еще накрыли коноводов... ступай туда...

– А как туда пройти-то, касатик?..

– Как выйдешь за заставу, бери прямо по проселку влево; там тебе будет село Завалье; как пройдешь Завалье-то, спроси Селезнев колодезь...

– Эка, а Кокино-то и забыл... – заметил кто-то.

– Да, как пройдешь Завалье, спроси Кокинску слободу; обмолвился было маненько, ну, да нешто... а из Селезнева колодца пройдешь прямо в Спас-на-Журавли... вотчина будет такая большая...

– Дядя Михека, а дядя Михека, – перебил высокий и плешивый мужик, придвигаясь медленно к говорившему.

– Ну, что?

– А вот послушай ты меня, старика, что я тебе скажу...

– Ну...

– Право слово, ему податнее будет сходить в Котлы... вот как бог свят, податнее... Антон, право слово, ступай в Котлы; оно, что говорить, маненько подалье будет, да зато, брат, вернее; вот у нас наемни у мужичка увели куцега мерина, и мерин-ат такой-то знатный, важнейший, сказывали, в Котлах, вишь, нашли...

– Э! Эка ты проворный какой! Ну куда ты его за семье-

сят-то верст посылаешь...

– А что? Пойдет и за двести, коли лошади не отыщет, – ответил тот с чувством оскорбленного самолюбия.

– Полно, Антон, ступай, говорю, в Спас-на-Журавли; там как раз покончишь дело...

– И то ступай в Спас-на-Журавли! – закричали многие, – в Спас-на-Журавли ступай!

– Да, как бы не так, – возразил сурово хозяин, – я небось так вот и отпущу его вам в угоду... он у меня пил, ел, а я его задаром отпущу; коли так, ну-ткась, ты хорохорился за него пуще всех, ну-кась заплати... Что?.. А! Нелюбо?..

– Что?..

– А вот то-то – теперь что? Что?..

– Что мне тебе дать... – сказал Антон, поспешно вставая, – бери что хочешь, бери, не держи только...

– Давай полушубок!

– Бери, господь с тобою...

– Так-то сходнее; придешь опять – отдам, не то пришли из деревни девять гривен... за постой да за ужин...

– Ах ты, алочный человек! Пра, алочный! Жалости в тие нет... – сказал ярославец. – Ишь, на дворе стужа какая... того и смотри, дождь еще пойдет... ишь, засиверило, кругом обложило; ну, как пойдет он без одежды-то? Ему из ворот, так и то выйти холодно...

– А мне что, он пил, ел...

– Тебе что! Эх ты...

– Да ты-то что! Отдай ему свой полушубок, коли жалешь...

– А я в чем пойду?

– Ну, вот то-то и есть; и всякой хлопочет, себе добра хочет...

– Куда же мне идти теперь? – перебил Антон, отдавая полушубок хозяину.

– Ступай в Спас-на-Журавли! – закричало несколько голосов.

– Как выйдешь за заставу, бери прямо по проселку вправо... не забудь, Завалье, так Кокино...

– Спасибо... отцы мои... спасибо... – бормотал Антон, выбегая без оглядки на улицу.

– Ступай все прямо... ступай!.. – кричали ему вслед мужики, выходя также за ворота. – Ступай, авось лошадь найдешь...

– А вряд ли ему найти, – заметил кто-то, когда Антон был уже довольно далеко, – ведь денег у него нету...

– Ой ли? И то, и то... где ж тут найти! Попусту только измается, сердешный...

– Ну, да пушай его поищет, авось как-нибудь и набредет на след... без денег, вестимо, плохо... да во всем милость божия...

– Дядя Федосей, найдет он лошадь аль нет?

– Как тут найдешь, черта с два найдешь; слышь, денег нету... напрасно набегаются...

В это время Антон остановился у берега и крикнул:

– А куды пройти к заставе?

– Ступай, ступай все прямо по горе, мимо острога... ступай на гору, ступай вверх по горе... – отвечали мужички в один голос...

И долго еще продолжали они таким образом кричать ему вслед; Антона и вовсе не было видно; уже давным-давно закрыла его гора, а они все еще стояли на прежнем месте, не переставая кричать и размахивать на все стороны руками.

VII

Росказни

Наконец-то мало-помалу мужички успокоились; кто сел на лавочку подле ворот, а кто на завалинку. Пошли толки да пересуды о случившемся. Хозяин присоединился к ним как будто ни в чем не бывало; сначала, однако, не принимал он ни малейшего участия в росказнях, сидел молча, время от времени расправлял на руках полушубок Антона, высматривая на нем дырья и заплаты, наконец свернул его, подложил под себя и сел ближе, потом слово за словом вмешался незаметно в разговор, там уже и заспорил. Кончилось тем, что не более как через полчаса все присутствующие, не исключая и тех, которые более других бранили дворника, согласились с ним во всем и чуть ли даже не обвинили кругом бедного Антона. Сам толстоватый ярославец, принявший было так горячо сторону обиженного, и тот начал понемногу поддаваться...

– Знамо, что говорить, – сказал он примирительным тоном хозяину, – кто его знает, что он за человек? В чужой разум не влезешь... да ведь разве я тебя тазал когда?.. Когда я тебя тазал?.. Я к слову только молвил, к полушубку; мужика-то жаль добре стало... ишь, стужа... а я тебя не тазал, за что мне тебя тазать?..

– Известно, братец ты мой, надо настоящим делом рас-

суждать, – отозвался седой старик, – за что ему на тебя злобу иметь, за что? (Он указал хозяину на ярославца.) Он ему не сват, не брат... может статься, так, слово какое в пронос сказал, а ты на себя взял; что про то говорить, может, и взаправду конь-то у него краденый, почему нам знать? Иной с виду-то таким-то миряком прикидывается, а поглядишь – бядовый! вор какой али мошенник...

– Как не быть! Всяк случается, братец ты мой, – начал опять ярославец, – ты не серчай... Вот, примерно, – прибавил он после молчка, – у нас по соседству, верстах этак в пяти, и того не станет, жил вольный мужик, и парень у него сын, уж такой-то был знатный, смирный, работающий, что говорить, на все и про все парень!.. С достатком и люди-те были... Об лето хаживали, вишь, они по околотку, и у нашего барина были, крыши да дома красили, тем и пробавлялись; а в зимнее дело либо в осенину ходили по болотам, дичину всякую да зайцев стреляли; кругом их такие-то всё болота, и, и, и! страсти господни! пешу не пройтить! Вот какие болота! Ну, хорошо; и говорю, мужички богатые были, не то, примерно, голыши какие... К ним господа езжали, и наш барин бывал, другой день поохотиться приедет, знамо, дело барское, ину пору позабавиться... Старик-ат куды, сказывают, горазд был знать места, где дичина водилась; куда, бывало, поедет, руками загребай; вот по этой-то причине господа-то... да, ну хорошо. Молодяк, сын-ат, слышите, братцы, такой-то парень был, что, кажись, во всем уезде супротив ни

одному не вытянуть... куды смиренный, такой-то смиренный... хорошо, вот, на бяду, спознаться ему с солдаткой из Комарева; знамо, дело молодое! а уж она такая-то забубенная, озорная баба, бяда! Ну хорошо, стакнулись, согласились, живут, то есть, выходит, примерно, по согласью живут. Вот, братцы, раз этак под утро приезжают к ним три купца: также поохотиться, видно, захотели; ну, хорошо; парнюха-то и выгляди у одного из них невзначай книжку с деньгами; должно быть, они с ярманки или базара какого к ним завернули; разгорелось у него сердце; а парень, говорю, смиренный, что ни на есть смиряющийся; скажи он сдуру солдатке-то про эвти деньги, а та и пошла его подзадоривать, пуще да и пуще, возьми да возьми: никто, мол, Петруха, не узнает... А какой не узнает! Где уж тут не узнать...

– Как не узнать!.. Вона дело-то какое... э-э! Ишь, проклятая!.. ишь, чего захотела... э! – заговорили в одно время слушатели, качая головами.

– Ну хорошо, – продолжал ярославец, – как начала она его так-то подзадоривать, а парень, знамо, глупый, дело молодое, и польстись на такое ее слово; она же, вишь, сам он опосля рассказывал, штоф вина ему принесла для куража, а может статья, и другое что в штофе-то было, кто их знает! Туман какой, что ли! Ну, поснедали купцы, запалили ружья, да и пошли в лес; взяли с собой и парня, Петруху-то; ну хорошо. Вот, братцы вы мои, и залучи он того, с деньгами, в трущобу, вестимо ради охоты... Пришли. Как закри-

чит Петруха-то на зайца, тот сердешный купец и кинулся; как кинулся-то он, а Петруха-то тем временем как потрафит да как стрельнет ему в спину, так, сказывали, лоском и положил купца, зараз потерял человека...

– Э!.. О!.. Воно оно... ишь!.. Эка грех какой!.. – отозвалось несколько голосов.

– Ну хорошо, – продолжал ярославец, – сам, братцы, сказывал опосля Петруха... самому, говорит, так-то стало жалко, ужаси, говорит, как жалко, за что, говорит, потерял я его; а как сначала-то обернулся купец-ат, говорил Петруха, в ту пору ничего, так вот сердце инда закипело у меня, в глазах замитусило... и не знать, что сталось такое... знать, уж кровь его попутала... Ну хорошо, как повалился купец, Петруха по порядку, как следно, взял у него деньги, закопал их в землю, да и зачал кричать, словно на помощь, примерно, зовет, кричит: застрелился да застрелился! Стало, уж так недобрый какой обошел его; пришли два других купца; прибежали, спрашивают Петруху... а тот и замялся, сробел, сердешный... Осмотрели они купца, видят, что спина у него опалена; глядят, дело неладно, обшарили – и денег нетути; так да сяк, взяли они Петруху, тогда сам, вишь, дался, в неправде-то бог, знамо, запинает, скрутили да в острог и посадили; в нашем остроге и сидел... Так вот, братцы, како дело вышло, а парень, говорю, что ни на есть смирнеющий, хороший парень, ловкий такой...

– Ну, а чем же, брат, дело-то покончилось? – спросили

несколько человек.

– Дело-то чем покончилось?.. А вот чем: сидит так-то год целый Петруха в остроге... ладно; а отец, старик-ат, тем временем хлопотать да хлопотать, много и денег передавал, сказывают... ну, совсем было и дело-то уладил, ан вышло и бо знает как худо. Солдатка-то Петрухина повадилась опять, вишь, к нему таскаться; уж как угодила она, леший ее знает, а только в острог к нему таскалась. Ходила, ходила, да и выведай от него, недобрая мать, про деньги-то! Простой был парень; он сдуру-то и поведай ей то место, куды закопал их; известно, может, думал, пропадут задаром, так пусть же лучше ей достанутся; хорошо; как получила она себе деньги, и пошла дурить, то есть чего уж ни делала! Что ни день, бывало, платки у нее да шелки, прикрасы всякие, то есть цвету такого нет в поле, какие наряды носила, вот как! Знамо, бабье дело: чем бы деньги-то приберечь, припрятать, а она гремит их на весь свет... Что то за диво? – думали в Комареве. – Отколь валит такое у Матрешки? Таракали, таракали, хват да хват, спросы да расспросы, туда-сюда, да и доведались: все рассказала, где взяла, откуда и как достались... Дело и спознали... тут, как уж потом ни бился старик отец, ничего не сделал; денег-то, знамо, уж не было у него в ту пору, все растуторил, роздал, кому следует... так и осталось... Закопали Петрушку в кандалы и погнали в Сибирь... Я помню, как и отправляли-то его, сердешного, довелось видеть... народу-то!.. и, и, и!.. видимо-невидимо... право, так инда жаль

его стало; парень добре хороший был...

– Ну, а отец что?

– Да, сказывают, прошлу зиму помер...

– Ишь оно дело-то какое; какой грех на душу принял: польстился на деньги, – заметил старик. – А что, братцы, он ведь это неспроста? Помереть мне на этом месте, коли спроста...

– Знамо, что неспроста, – подхватил другой глубокомысленно, – надо настоящим делом рассуждать; разве по своей воле напустит на себя человек тако лихоимство? Шуточно ли дело, человека убить! Лукавый попутал!..

Во время этого разговора к воротам постоялого двора подъехала телега; в ней сидели два мужика: один молодой, парень лет восемнадцати, другой – старик. Последний, казалось, успел уже ни свет ни заря заглянуть под елку и был сильно навеселе.

– Ребята! Эй, молодцы! – кричал он еще издали, размахивая в воздухе шапкою. – Хозяин! Можно постоять до ярманки?

– Ступайте, – откликнулся хозяин, – на то и двор держим, ступайте...

Он отворил ворота и ввел приезжих под навес.

Вскоре хмельной старичишка и молодой парень, сопровождаемые хозяином, подсели к разговаривающим.

– Про что вы тут толмачите, молодцы? – спросил старикашка, оглядывая общество своими узенькими смеющимися

глазками; тут приподнял он шапку и, показав обществу багровую свою лысину, окаймленную белыми как снег волосами, посадил ее залихватски набекрень.

Присутствующие разразились громким единодушным смехом.

– Ишь, балагур старик какой! Ай да молодец! А ну-ткась, тряхни-ка стариной! У, у! – посыпалось со всех сторон.

– Ой ли? – произнес старик, подпираясь в бока и пускаясь в пляс. – Ой ли? Аль не видали?..

– Полно, батюшка, – сказал сердито молодой парень, удерживая его, – эк на старости лет дуришь, принес свою бороду на посмешище городу; полно...

– А что ж, – отвечал тот, силясь вырваться из рук сына. – Ах ты такой-сякой... я ж те, не замай... пфу!.. Да ну те к нечистому, плюньте на него, ребятушки... давайте сядемте-ка... рассказывай ты, рыжая борода, о чем вы тут таракаете?..

– А вишь, нынешнюю ночь увели отсель у мужичка лошадь... – отвечал кто-то, думая вызвать этим известием хмельного старичка на потеху.

– Эхва! Увели... ну, а где ж он сам-ат? В кабачище, чай, косуху рвет с горя?..

– Да, как же, в кабаке... побежал, вишь, ее разыскивать...

– Эй, Ванюха, чертова кукла! – вскричал старичишка, обращаясь мгновенно к сыну, который, казалось, очень был недоволен шутками отца. – Мотри, уж не тот ли это мужик...

Вот, ребяташки, – продолжал он, оскаливая свои беззубые десны и заливаясь хриплым смехом, – не будет тому больно давно, повстречали мы за заставой мужичка... такой-то чудной... так вот и бежит и бежит по полям, словно леший его гонит... «Поглядь-ка, говорю, Ванюша, никак мужик бежит по пашне». – «И то, говорит, бежит...» Поглядели... бежит, так-то бежит, и, и, и! и давай кричать: «Эй, погоди, стой!..» Куды те, дует себе, не докличешься!.. Уж такой-то, право, мужик любопытный! Пра, любопытный!.. Должно быть, он...

– Он, он и есть... он... – отозвалось несколько голосов.

Старик ухватился под бока, и все туловище его закачалось от хриплого прерывистого хохота. Тут разговор сделался общим; несколько человек, увлеченные сочувствием к старичку-балагуру, тотчас же принялись рассказывать ему в один голос все подробности происшествия ночи.

Между тем занялось утро; окрестности мало-помалу пробудились; по скату горы снова потянулись подводы, забелели палатки, запестрел народ. Паром, нагруженный возами и мужиками, задвигался по реке, противоположный берег которой заслонялся совершенно серым мутным туманом; в кузницах подле постоянного двора загудели меха, зазвенело железо. Ярмарка снова начиналась, кому на горе, а кому и на радость. В самое короткое время двор наполнился постояльцами, приехавшими из заречья; кое-кто из пешеходов подходил и со стороны города. Последние располагались кучка-

ми подле ворот и вокруг избы; в числе их особенно много было баб-проходимок, богомолок, нищих. Между последними нельзя было не заметить Архаровны. Она, по-видимому, не принадлежала ни к какой кучке и одиноко бродила туда и сюда. Никто из присутствующих не знал побирušки; но одна ее одежда, состоящая на этот раз исключительно из лохмотьев, связанных узлами и укутывавших ее с головы до ног, так что снаружи выглядывало только сморщенное, темное лицо старухи и несколько пучков серых, желтоватых волос, в состоянии уж была обратить на себя всеобщее внимание. К тому также немало способствовали: сапоги вместо лаптей, непомерно длинная суковатая клюка, а наконец, и широкая сума, набитая вплотную и которую Архаровна держала на сгорбленной спине своей так же свободно, как любой бурлак. Три молодых парня, стоявшие у ворот, были первые, которые ее заметили.

– Ишь, – сказал один, – вот так старуха; ну уж, баба-яга, подлинно что баба-яга.

– Да, – подхватил другой, – повстречаться с такой-то ночью, так испугаешься: подумаешь, нечистого встретил...

– Ишь, старая, старая, – продолжал насмешливо третий, – а шутка каку штуку наворошила себе на спину... и нашему брату не под моготу...

Архаровна подошла, припадая с одной ноги на другую, к окну избы, постучалась легонько по раме клюкою и произнесла жалобно нараспев:

– Кормилицы наши, батюшки, подайте милостинку во имя Христо-о-во...

Окно отворилось, из него высунулось рябое лицо дворничихи.

– Бог подаст, много вас здесь шляндает... ступай-ка, ступай... – сказала она грубо и без дальних рассуждений захлопнула окно.

Архаровна перекрестилась, потупила голову и подошла тем же точно порядком, припадая и прихрамывая, к толпе, стоявшей у ворот.

– Что, бабушка, – сказал один из молодых парней, ударяя ее по плечу, – умирать пора!..

– Ась, касатик?..

– Умирать пора, что шлешься...

– По хлебушко, кормилец, хлебушка нетути...

– А вон это что у тебя в мешке? Ишь, туго больно набито, – заметил он, подходя ближе и протягивая руку, чтобы пощупать суму; но старуха проворно повернулась к нему лицом и никак не допустила его до этого.

Другой молодой парень, стоявший поблизости, ловко подскочил в это время к ней сзади, и та не успела обернуться, как уже он обхватил мешок обеими руками и закричал, надрываясь от смеха:

– Старуха, мотри, эй, крупа-то высыпалась... право, на дне прореха... дорогой, того и гляди, всю раструсишь...

– Оставь!.. Каку тут еще крупу нашел... – бормотала сер-

дито Архаровна, стараясь высвободить мешок из рук парня, – экий пропастный, полно, оставь...

Но парень одним поворотом руки бросил суму наземь, повернул старуху и указал ей на прореху, из которой в самом деле сыпалась тоненькою струею крупа.

– Ахти!.. батюшки!.. – крикнула старуха, расталкивая собравшихся зевак и поспешно нагибаясь. – Ой, касатики мои... вот люди добрые подали крупы на мою бедность... да и та растерялась... ох...

И она заплакала.

– Знать, много ты бедна, – сказал иронически парень, – что целый мешок наворочали тебе люди-то добрые... эки добрые, право; у них крупа-то, видно, что скорлупа... Да что ты пихаешься, тетенька? Небось не возьму, не съем, – продолжал он, удерживая одною рукою Архаровну, другою развертывая суму. – Ишь, ребята... эй, поглядите, какова нищенка... вона чего припасла... вон в кулечке говядинка... э! э!.. Эхва, штоф винца в тряпице... два! Братцы! два штофа и сала кусок, э! А вот и кулек с крупую... жаль только, тетка, прорвался он у тебя маленько... ай да побирושка! Да полно, уж не живешь ли ты домком... Чай, на ярманке накупила по хозяйству... что ж, в гости-то позовешь нас, что ли?.. да полно, ну, чего пузыришься, ишь огрызается как! Говорят, не съедим, не тронем, поглядеть только хотелось...

И он обхватил ее еще крепче руками.

– Ишь, взаправду, чего набрала, – заметил старик, подби-

раясь к мешку, – а еще милостинку собираешь... Эх ты... жидовина... да тебе, старой, эвтого и в год не съесть...

Все эти замечания, хохот, насмешки толпы, обступившей парня и нищенку, остервенили донельзя Архаровну; куда девались ее несчастный вид и обычное смирение! Она ругалась теперь на все бока, билась, скрежетала зубами и казалась настоящей ведьмой; разумеется, чем долее длилась эта сцена, тем сильнее и сильнее раздавался хохот, тем теснее становился кружок зрителей... Наконец кто-то ринулся из толпы к парню и, ухватив его за плечи, крикнул что было силы:

– Эй, Петруха, мотри, укусит... пусти!..

Парень отскочил; толпа завывала еще громче, услышав страшные ругательства, которыми старуха начала осыпать ее. Наконец Архаровна встала; повязка сползла с головы ее, седые волосы рассыпались в беспорядке по лохмотьям; лицо ее, искривленное бешенством, стало вдруг так отвратительно, что некоторые отступили даже назад. Она подобрала, не оправляясь, все свои покупки в суму, взяла ее в обе руки, забросила с необыкновенною легкостью на плечи и, осыпав еще раз толпу проклятиями, поплелась твердым шагом к городу. Все это исполнено было так неожиданно, что все опешили от удивления; густой, оглушительный хохот раздался уже тогда в толпе, когда старуха совсем исчезла из виду...

Хмельной старичишка, приехавший с молодым парнем, готовился было начать рассказ о встрече своей с Антоном какому-то мельнику (что делал он без исключения всякий раз,

как на сцену появлялось новое лицо), когда к кружку их подошел человек высокого роста, щегольски одетый; все в нем с первого разу показывало зажиточного фабричного мужика. На нем была розовая ситцевая рубашка, подпоясанная низехонько пестрым гарусным шнурком с привешенным к нему за ремешок медным гребнем; на плечах его наброшен был с невыразимою небрежностью длинный-предлинный синий кафтан со сборами и схватцами. Зеленые замшевые рукавицы, отороченные красной кожей, высокая шляпа, утыканная алыми цветами с кулича, и клетчатый бумажный платок, который тащил он по земле, довершали его наряд.

– Здравствуйте, братцы, – произнес он, приподымая легонько шляпу, – вот что, не здесь ли остановился троскинский мужичок Антон?.. Он сюда лошадь приехал продавать... лошаденка у него пегая, маленько с изьянцем... Обещался я его проведать, да никак не найду; по всему низовью прошел, ни на одном постоялом дворе нету...

– А какой он из виду? – спросил кто-то.

– Такой сухолядый, долговязый, лет ему под пятьдесят... с проседью...

– Э-э-э... – раздалось в толпе, – да уж не тот ли, братцы?..

– С кем я повстречался на дороге? – подхватил хмельной старичишка. – Говорю, мотри, Ванюха, мужик бежит... И то, говорит...

– Ну, брат, – живо перебил третий, – с ним неспорое дело попритчилось...

– Что ты? Какое дело?..

– Да зевуна дал: у него кобылку-то подтибрили, увели; нынче ночью и увели...

– Неужто правда? – вскричал фабричный, ударяя об полы руками.

– Не встать мне с этого места... спроси хошь у ребят, вот те Христос – правда...

– Да кто ж это? Как?..

– А бог их знает, увели, да и все тут!

– Где ж он сам-от?

– Разыскивать побежал лошадь... маненько, брат, и не захватил ты его...

– Я встретился с ним на дороге, – начал было снова старишка, – бежит, бежит, такой-то, право, мужик любопытный!..

– Эко дело! Э! – произнес с истинным участием фабричный, – да расскажите же, братцы, как беда-то случилась.

Все разом принялись кричать, рассказывать; хозяин перекричал, однако, других и с разными прибавлениями, оправдывавшими его кругом, рассказал парню обо всем случившемся.

– Ну, пропал! Совсем запропастил сердяга свою голову, – твердил тот, хмурясь и почесывая с досадою затылок, – теперь хоть смерть принять ему, все одно.

– А что, он тебе брат али сродственник какой?

– Нет, не сродственник: земляк; да больно жаль мне его,

пуще брата... то есть вот как жаль!.. Мужик-то такой добрый, славный, смиренный!.. Его совсем, как есть, заест теперь управляющий... эка, право, горемычная его доля... да что толковать, совсем он пропал без лошади...

– Знамо, в крестьянском житье лошадь дело великое: есть она – ладно, нет – ну, вестимо, плохо.

– А какой мужик-то, – продолжал земляк Антона, садясь на лавочку и грустливо качая головою, – какой мужик! Ох, жаль мне его...

– А мы, брат, не посетуй, признаться, чаяли, вот и хозяин говорил, будто он человек недобрый какой... И господь знает, отчего это нам на разум пришло.

– Хоть верьте, хоть нет, я не про то его хвалю, что земляк он мне... да вот, братцы, спросите... – С этими словами указал он на мужика в красной александринской рубаше, подходившего к их кружку. – Знаешь, Пантюха, – крикнул он ему, когда тот мог слышать, – знаешь, беда какая... подь скорей сюда...

– Ну что?

– Ведь у нашего Антона лошадь-то увели...

– Ой ли?

– Ей-богу, правда, вот здесь и молодцы все знают... а я думал, брат, на радость привести тебя к землячку, эка беда!..

И он повторил Пантюхе все слышанное им от дворника.

– Ну, пропал, совсем пропал мужик, – произнес тот после некоторого молчания, – невесть что с ним станется. Никита

заест его... эка, право, мужик-ат этот лихобойный, несчастный!..

– Да кто у вас Никита-то?

– Управляющий...

– Что ж ему заедать его? Ведь лошадь не господская, мужицкая...

– А то, что он послал его продавать ее... податей заплатить нечем...

– Э! Вот оно что... Стало, мужик добре бедный!..

– Какой бедный! Совсем разоренный; а все через него же, управляющего... этакое-то господь послал нам зверя...

– Драчлив, что ли?

– Такой-то колотырник, так-то дерется, у-у-у!.. Бяда! – отвечал Пантюха, махнув рукой и садясь на лавку подле товарища. – И не то чтобы за дело; за дело бы еще ничто, пущай себе; а то просто, здорово живешь, казнит нашего брата...

– Что и наш, верно, – перебил ярославец, молчавший все это время, – у нас вотчина-то большая, управляющий-то из немцев, такой же вот бядовый! ни богу, ни людям, ни нам, мужикам... смерть! Раз вот как-то иду я и, признаться, не заметил, шапку ему не снял; ну хорошо; как подошел он ко мне да как хватит меня вот в это само место; ну хорошо; я ему и скажи в сердцах-то: Карл Иванович, за что, мол, ты дерешься? Как он, братцы, хлысть меня в другую; ну хорошо; я опять: бога, мол, не боишься ты, Карл Иваныч... Как почел таскать, так я инда и света не взидел, такой-то здоро-

венный, даром что немец... А спроси, за что бил, я чай, и сам не знает; такое, знать, уж у него сердце... ретив, больно ретив...

– Поди ж ты, иной барин не так спесив: мужичка жалеет...

– Эти-то, что из нашего брата, да еще из немцев – хуже, – заметил старик, – особливо, как господа дадут им волю, да сами не живут в вотчине; беда! Того и смотри, начудят такого, что ввек поминать станешь... не из тучки, сказывали нам старики наши, гром гремит: из навозной кучки!.. Скажи, брат, на милость, за что ж управляющий-то ваш зло возымел такое на землячка... Антоном звать, что ли?

– Думает, он понес на него жалобу барину в Питер...

– А, вот что! Э! Ишь!.. – слышалось в толпе, которая все плотнее и плотнее окружала разговаривающих.

– А жалобу-то не он совсем и понес... коли на прямые денежки отрезать, по душе сказать. Она пошла от всего мира... он виновным только остался...

– Как так?

– Да вот как... Старый барин наш помер, тому лет пять будет; Никита и остался у нас управляющим. По настоящему делу ему не след было бы, да так уж старый барин пожелал... он, вишь, выдал за него при живности своей свою любовницу; ее-то он жаловал, она и упростила...

– Стало, любил ее барин?

– А так-то любил, что и сказать мудрено... у них, вишь, дочка была... она и теперь у матери, да только в загоне боль-

но: отец, Никита-то, ее добре не любит... Ну, как остался он у нас так-то старшим после смерти барина, и пошел тяготить нас всех... и такая-то жисть стала, что, кажись, бежал бы лучше: при барине было нам так-то хорошо, знамо, попривыкли, а тут пошли побранки да побои, только и знаешь... а как разлутуется... беда! Бьет, колотит, бывало, и баб и мужиков, обижательство всякое творит...

– Ну, а молодые-то господа?

– Молодые господа наши, сын да дочь, в Питере живут... мы их николи и в глаза-то не видали... вестимо, братцы, кабы они здесь жили или понавевывались, примерно, хошь на время, так ина была бы причина... у нас господа по отцу, добрые, хорошие, грех сказать, чтобы зла кому пожелали, дай им господь за то много лет здравствовать! Вот мой брат был в Питере и говорит: господа важные!.. Да где ж им самим до всего доходить? Вотчин у них много, и то сказать, всех не объездишь; живут они в Питенбурхе, – господа! Они рады бы, может статья, особливо барин, в чем помочь мужикам своим, да, вишь, от них все шито да крыто; им сказывают: то хорошо, другое хорошо, знатно, мол, жить вашим крестьянам, ну и ладно, они тому и верят, а господа хорошие, грех сказать; кабы они видали, примерно, что мужики в обиде живут от управляющего да нужду всяческу терпят, так, вестимо, того бы не попустили... Управляющему, знамо, какое до нас дело? Нешто мы его? Дана ему власть над нами, и творит, что ему задумается; норовит, как бы последнее оття-

нуть от мужичка... И добро бы, братцы, человек какой был, сам господин али какого дворянского роду, что ли; все бы, кажись, не так обидно терпеть, а то ведь сам такой же сермяжник, ходит только в барском кафтане да бороду бреет... а господа души, вишь, в нем не чают, они нашего мужицкого дела не разумеют, все сполняют, что ему только поволится... Ну, как почал он так-то обижать нас, видим, плохо; вот вся деревня наша и сговорилась написать жалобу молодому барину в Питер; время было к самому разговенью... а сговорившись-то, и собрались так-то ночью в ригу, все до единого вросхмель, как теперь помнится, а рига такая-то большая, за барским садом стоит... был с нами и Антон...

При этом имени в толпе произошло движение, некоторые из слушателей наклонились еще ближе к рассказчику, и почти в одно и то же время со всех концов послышалось: «Ну, ну!»

– Он, нужно сказать, – продолжал фабричный, – изо всего нашего Троскина один только грамоте-то и знал... уж это всегда, коли грамоту написать али псалтырь почитать над покойником, его, бывало, и зовут... ну, его и засадили; пиши, говорят, да пиши; подложили бумагу, он и написал, спроворили дело... Ну хорошо, послали в Питер, никто и не пронюхал; зарокон было бабам не сказывать, и дело-то, думали, споро, ан вышло не так...

У нашего управляющего, Никиты Федорыча, в Питере есть брат, такой же нравный; ходит он за баринном; ну, вести-

мо, что говорить, сила! и другие-то люди из тамошних все ему сродни, заодно; как пришло наше письмо туда, известно, не прямо к барину: к людям сначала попало; швацар какой-то, сведали мы опосля, принял; барину он уж как-то там передает... у меня брат в Питирбурге-то у господ бывал... в одной, говорит, прихожей только-то народу, и-и-и... знамо, где уж тут дойти? Народ все проворный, не то что наш брат, деревенский; ну, братцы, как получили они себе письмо, должно быть, и смекнули, с кой сторонки... бумага али другое что не ладно было; а только догадались – возьми они его, утай от барина, да и доведайся, что в нем писано... а мы, вишь, писали, что управляющий и бьет-то нас незаконно, и всякое обижательство творит. Они видят, плохо пришло Никите, возьми да и отошли письмо-то назад к нему, да еще и свое приписали... Вот раз призывает нас так-то управляющий, этому года четыре будет, эвтак об утро, такой-то осерчалый, сердитый... а нам невдомек, и в мыслях не держали, чтой-то за дело... «Ах, мол, вы такие да сякие; я вас, говорит, по-свойски! Я ж вам задам! Кто, говорит, писал на меня жалобу?» да как закричит... так вот по закожью-то словно морозом проняло: знамо, не свой брат, поди-тка, сладь с ним; маненько мы поплошали тогда, сробели: ну, а как видим, дело-то больно плохо подступило, несдобровать, доконает!.. все в один голос Антона и назвали; своя-то шкура дороже; думали, тут, того и гляди, пропадешь за всех... Ну, известно, пришло Антону куды как жутко; уж чего-то он с ним,

с сердешным, ни делал, как ни казнил, господь один знает. Был у Антона брат, Ермолай, женатый парень, того в первое рекрутство записал, а Антона на барщину да на барщину без отмены... Землица-то у него, как и у всех нас, плохая была; ну, вестимо, как рук не стало на нее, не осилил, и вовсе не пошло на ней родиться... тут, вишь, братнина семья на руках осталась, двое махоньких ребятенков, не в подмогу, а все в изъян да в изъян...

– Знамо, уж какая тут подмога – баба с ребятенками... – сказал, вздыхая, толстоватый ярославец: – Эка, мужик бедный, право...

– Это еще не все, братцы, – продолжал фабричный, постепенно воодушевляясь, – куды! Он в отместку ему и землю-то у него ту отнял...

– Как, и землю отнял, землю? – крикнули многие.

– Да, отнял и вырезал ему что ни на есть плошную во всей вотчине: суглинок... Хлеба у Антона с первого же года и не стало... а жил он, нужно сказать, прежде не хуже других... Была у него при покойном барине добрая «кулига»²¹ сена, и той не оставил ему Никита: жирно больно живешь, говорит... Видит Антон, нечем кормить скотинку, а нужда пришла, крайность; он и давай продавать, сердешный, то лошадку, то корову, то овцу... И что бы вы думали? и тут таки донял его Никита: не пукает его в город, да и полно; что ты станешь делать? Продавай, говорит, в деревне... Известно,

²¹ Кулига – частица, участок. (Прим. автора.)

какой уж тут торг, мужички же неимущие, денег нету, отдавать стал за бесценок. Пришло Антону день ото дня плоше да плоше; вестимо, мужичок не грибок: не растет под дождек... долго ли разорить его? Так-таки совсем и разорил его, довел дотолева, что не осталось у него в доме ни полщепочки, живет как бы день к вечеру, и голодную собаку нечем стало изпод лавки выманить...

– Знамо, какое уж тут житье! Проти жара и камень треснет.

– Я чай, сам-то уж не рад, что грамоте горазд.

– Эх! Бог правду-то видит, да, видно, не скоро ее сказывает! – заметил кто-то в свой черед.

– И такой-то человек этот Никита, – сказал фабричный, – что хоть бы раз забыл свою злобу. Вот нагдысь сказывал мне наш же мужик, приходит к нему нынешнюю весну Антон попросить осину – избенку поправить; уж он его корил, корил, все даже припомнил... опричь того, и осины не дал... Вестимо, одно в одно; до того дошел теперь Антон, что хошь ступай сумой тряси, то есть совсем, как есть, сгиб человек... Уж так-то, право, жаль мне его...

– Как же не жаль, – начал опять ярославец. – Охо-хо!.. Ты же, брат, говоришь, мужик-ат добрый...

– Уж такой-то добрый... простой... Бывало, как жил-то хорошо, всякого готов уважить, простыня-мужик... Через простоту свою да доброту и пострадал более... Добрая была душа...

– Ох, что-то теперь с ним станется?.. Ведь лошадь, ты, брат, говоришь, у него была последняя?..

– Последняя...

– Вот то-то... мерзлой роже да метель в глаза... Плохо ему... и вряд ему найти...

– Где, где теперь найти! И господь знает, куды загнали лошадь...

– Право, кабы знал, пособил бы ему, ей-богу бы пособил, – сказал ярославец. – Послушай, брат хозяин, полно тебе жидоморничать; ну, что ты с него возьмешь, ей-богу, грех тебе будет, отдай ему полушубок... Э! Не видал, что ли, полушубка ты крестьянского?.. Слышишь, мужик бедный, неимущий... Право, отдай; этим, брат, не разживешься; пра, отдай!..

Оба фабричные и большая часть присутствующих изъявили то же мнение. Хозяин отмалчивался. Сухощавое лицо его выражало совершенное невнимание к тому, что говорили вокруг него; ни одна черта не обозначила малейшего внутреннего движения. Наконец, он медленно приподнялся с своего места, погладил бороду, произнес с озабоченным видом: «Пустите-ка, братцы...», подошел к воротам, окинул взором небо, которое начинало уже посылать крупные капли дождя, и, бросив полушубок Антона к себе на плечи, вошел в избу. Брань и ругательства сопровождали его.

Холодный осенний дождь – «забойный», как называют его поселяне, полил сильнее и сильнее. В одно мгновение вся

окрестность задернулась непроницаемую его сетью и огласилась шумом потоков, которые со всех сторон покатались, клубясь и журча, к реке. Мужички поднялись с лавки и подошли к воротам.

– Вот тебе и ярманка, – сказал толстый мельник, выставляя свои сапоги под желоб. – Ишь какое господь посылает ненастье... Хорошо еще, что я не поторопился: того и гляди, муку бы вымочил...

– Ишь, дядя Трифон, погляди-ка, как народ-то бежит по горе, – произнес молодой парень, схватившись за бока, – вон, вон, по горе... Небось дождем-то знатно пронимает...

– Что за напасть, братцы, вот почитай месяц целый, как дождь льет бесперечь... Теперь, того и гляди, мороз, долго ли до беды, как раз озими обледенеют... вымочки пойдут...

– Да, погрешились, знать, перед господом богом: и прошлого года было куды с хлебами-те плохо, а как нынешний пойдет такой же, так и совсем бядя...

– Что-то теперь с землячком твоим станет, где-то он, сердешный? – сказал ярославец, подходя к одному из фабричных, прислонившемуся к завалинке. – Вот ему куды, чай, как плохо: ишь, чичер²², сиверца пошла какая...

– А что сталось, – перебил седой старикашка, проходя в это время мимо, – бежит себе да бежит, как когда я его встрел... так вот и дует, чай... Такой-то мужик любопытный...

²² Чичер – резкий ветер с дождем.

– Пошел, старый, не тебя спрашивают... Эх, жаль мне его, уж так-то, право, жаль! – прибавил фабричный, обращаясь к ростовцу.

– И полушубка-то на нем нет... у хозяина, у подлой души, за долг оставил... Чай, так-то иззяб, сердешный...

– Как не прозябнуть! Ишь какая пошла погода, все хуже да хуже, индо в дрожь кинуло... И ветрено как стало... так с ног и ломит...

– Чай, промок?

– Как не промокнуть! Говорят, в одной рубахе пошел, аль не слышишь?..

– Ишь, кругом, братцы, как есть обложило, надолго, знать, будет дождь.

– Пойдемте в избу... и здесь донимать начинается... смерть... Ишь золко добре...

И толпа повалила греться.

VIII

Никита Федорыч

Несмотря на раннюю пору и сильный морозный ветер, обращающий лужи в гололедь, троскинский управляющий, Никита Федорыч, был уже давно на ногах. Исполненный благодарности к молодым господам своим, которые так слепо доверяли его честности свое состояние, так безусловно поручали ему страшную обузу управления полуразоренного имения, он старался всеми силами если не вполне оправдать их доверие, то по крайней мере не употреблять его во зло. И мог ли он в таком случае щадить свои силы и здоровье? Должен ли был потакать той гнусной лени, которая, бог весть за что и почему, досталась в удел русскому человеку?.. С обязанностью управляющего соединяется всегда столько хлопот, труда, попечений, ответственности!.. Нет, Никита Федорыч не мог действовать иначе. Если б даже находился он при других обстоятельствах, то есть не пользовался бы таким безграничным доверием господ или был поставлен судьбою сам на их место, и тогда, в этом можно смело ручаться, нимало не утратил бы ни благородного своего рвения, ни деятельности, ни той ничем не сокрушимой энергии, которая так резко обозначалась в его серых, блистающих глазах; он слишком глубоко сознавал всю важность такой должности, он как будто нарочно рожден был для нее.

Иметь под надзором несколько сот бедных крестьянских семейств, входить в мельчайшие их отношения, чутя сердцем их потребности и нужды, обладать возможностью иногда словом или даже движением обращать их частные горести в радость, довольствоваться умеренно их трудами, всегда готовыми к услугам, и вместе с тем наблюдать за их благополучием, спокойствием, – словом, быть для них, бедных и безответных, отцом и благодетелем, – вот какая доля досталась Никите Федорычу! вот чему он так горячо мог сочувствовать и сердцем и головою. И, боже, как был счастлив троскинский управляющий! Как легко довелось ему стать в положение такого человека! Есть люди, которые с детства готовятся для какого-нибудь назначения, работают денно и нощно, истощают все силы и средства свои и все-таки не достигают того, чтобы обнаружить свои труды и мысли на деле, тогда как он... Стоило только Аннушке, теперешней супруге управляющего, замолвить слово старому барину – и уже Никита Федорыч стоит лицом к лицу с своей задушевной целью и действует. Впрочем, рассказывают, все это случилось перед самую кончиною барина.

Итак, Никита Федорыч, несмотря на раннюю пору и стужу, был уже на ногах. Он успел побывать на скотном дворе, заглянул в клеть, где стояли три тучные коровы, принадлежавшие супруге его, Анне Андреевне, – посмотрел, достаточно ли у них месива, погладил их, – потом прикрикнул на старую скотницу Феклу, хлопотавшую подле тощих барских

телок, жевавших по какому-то странному вкусу, им только свойственному, отлежалую солому. Далее заглянул он в ригу, где несколько мужиков обмолачивали господскую рожь. Исполнив это, Никита Федорыч направился к собственному своему «огородишку», как называл он его, то есть огромному пространству отлично удобренной и обработанной земли, на котором виднелись в изобилии яблони, груши, лен, ульи и где репа, морковь, лук и капуста терпели крайнюю обиду, ибо служили только жалким украшением. Тут он совсем захлопотался с мужиками, которые окутывали ему на зиму яблони и обносили огород плотным забором и канавой. «Экой проклятый народ, – твердил он, размахивая толстыми своими руками, – лентяй на лентяе; только вот и на уме, как бы отхватать скорее свои нивы, завалиться на печку да дрыхнуть без просыпу... до чужого дела ему и нуждушки нет... бестия народ, лентяй народ, плут народ!»

Время, вот видите ли, подходило к морозам; Никита Федорыч нарочно нагнал всю барщину, думая живее отделаться с своим огородом, чтобы потом сообща, дружнее, всем миром приняться за господскую молотьбу; но мир почему-то медленно и нехотя подвигал дело, и это обстоятельство приводило бедного управляющего в такое справедливое негодование. Пожурился, как водится, лентяев, снабдив их при случае полезными советами и поучительными истинами, Никита Федорыч поплелся через пустынный барский двор прямо к конторе. Но даже и здесь не дали ему покоя. Не успел он

сделать двух шагов, как Анна Андреевна высунула из окна больное, желтое лицо свое, перевязанное белою косынкой по случаю вечного флюса, и прокричала пискливым, недовольным голосом:

– Никита Федорыч, а Никита Федорыч, ступай чай пить! Что это тебя, право, не дожدهшься; да ступай же скорее... полно тебе переваливаться!..

– Иду, иду, барыня, успеешь еще... иду... – проговорил заботливый супруг.

Тут замахнулся он было в рассеянности на петуха, взгрозившегося на соседний забор и неожиданно продравшего горло, но, к счастью, спохватился заблаговременно: петух был его собственный; он кашлянул, плюнул и, окинув еще раз двор, вошел к себе в сени.

Квартира его занимала часть старого флигеля, построенного, как водилось в прежние годы, для помещения гостей, имеющих обыкновение приезжать в провинции на неделю, а иногда и более, нимало не заботясь о том, приятно ли это или нет хозяину. Но теперь не оставалось и тени тех крошечных, уютных комнаток с ситцевым диванчиком, постелью, загроможденною перинами, умывальником подле окна с вечно висевшим над ним пестрым полотенцем – узаконенным годичным приношением трудолюбивых деревенских баб. Следы комнаток обозначались лишь на внутренней стене всего здания желтоватыми полосами от перегородок, замененных двумя капитальными стенами, с сеничками посередине, раз-

делявшими флигель на две равные половины. Над дверьми одной стороны сеней висела черная доска с надписью: «Контора»; над дверьми другой не было никакой надписи – да и не надо было: всякий знал хорошо, что тут жил Никита Федорыч. Нельзя пропустить без внимания промежутка между двумя этими половинами, то есть сеничек; они также имели свое особое назначение, хотя также не видно было никакой надписи: здесь в летнее время Никита Федорыч производил суд, или, лучше сказать, расправу над провинившимися крестьянами, порученными его надзору, с истинно безукоризненной справедливостью.

Квартира управляющего состояла из темной прихожей, в то же время кухни, и трех больших светлых комнат. В первой из них, как прежде других бросающейся в глаза, хозяин и хозяйка старались всегда соблюдать чистоту и порядок. Предметы роскоши также имели здесь место. В самом светлом и видном углу блистал ярко вычищенный образ в богатой серебряной ризе, которым покойный барин, в качестве посаженного отца, благословил жену бывшего своего камердинера; подле него на старинной резной горке находился разрозненный фарфоровый сервиз, или, лучше сказать, несколько разрозненных сервизов, вероятно тоже подаренных в разных случаях старым барином смазливой Анне Андреевне. В остальных углах и вдоль стен были установлены в ряд разнокалиберные, разнохарактерные диваны, кресла, стулья, иные из красного дерева с позолотою, другие обтя-

нутые полинявшим штофом, которыми владел Никита Федорыч, должно быть, вследствие духовного завещания после барина или чрез излишнюю к нему благосклонность покойника. Две другие комнаты были почти вплотную заставлены пожитками, перинами, холстинами, сундуками и всяким другим добром обоих супругов, не выключая, разумеется, и широкой двуспальной постели, величественно возносившейся поперек дверей. Но туда из посторонних никто не заглядывал; Никита Федорыч почему-то не допускал этого, а следовательно, и нам нет до них никакой надобности.

– У-уф, матушка Анна Андреевна, умаялся совсем с этим проклятым народом, – произнес Никита Федорыч, садясь к окну в широкие старинные кресла. – Ну, барыня-сударыня, – продолжал он, – наливай-ка теперь чайку... смотри, покрепче только, позабористее... Эй ты, ваша милость, троскинский бурмистр, поди-ка, брат, сюда... – сказал он, обращаясь к необыкновенно толстому, неуклюжему ребенку лет пяти, сидевшему в углу под стенными часами и таскавшему по полу котенка, связанного веревочкою за задние ноги. – Экой плут, зачем привязал котенка? Брось его, того и гляди, глаза еще выцарапает...

Ребенок, страдавший английскою болезнию, согнувшей ему дугой ноги, встал на четвереньки, поднялся, кряхтя и покрывавая, на ноги и, переваливаясь как селезень, подошел к отцу.

– Ну, ну, скажи-ка ты мне, молодец, – продолжал тот, гла-

дя его с самодовольной миной по голове, – я бишь забыл, какие деньги ты больше-то любишь, бумажки или серебро?..

Это был всегдашний, любимый вопрос, который Никита Федорыч задавал сыну по нескольку раз в день.

– Бумажки! – отвечал, отдуваясь, ребенок.

– Ха, ха, ха!.. Ну, а отчего бы ты скорее взял бумажки?

– Легче носить! – отвечал троскинский бурмистр таким голосом, который ясно показывал, что уже ему надоело повторять одно и то же.

– Ха, ха, ха!.. Ну, ну, поди к матери, она тебе сахарку даст; пряничка ел сегодня?

– Нет, – сказал ребенок, глядя исподлобья на мать.

– Врешь, ел, канашка, ел... плутяга...

– Полно тебе его баловать, Никита Федорыч; что это ты, в самом деле, балуешь его, – подхватила Анна Андреевна, – что из него будет... и теперь никак не сладишь...

– Ну, ну... пошла, барыня, – вымолвил муж, громко прихлебывая чай, – будет он у меня, погляди-ка, какой молодец... ха, ха, ха!.. Ваня, – шепнул он ему, подмигивая на сахарницу, – возьми потихоньку, – ишь, она тебе не дает... Ну, матушка Анна Андреевна, – продолжал он громко, – видел я сегодня наших коровок; ну уж коровы, нечего сказать, коровы!..

– Мне кажется только, – заметила супруга, – Фекла стала что-то не радеть за ними... ты бы хоть разочек постращал ее, Никита Федорыч... даром что ей шестьдесят лет, такая-то

мерзавка, право...

– Небось, матушка, плохо смотреть не станет: еще сегодня задал ей порядочную баню... Ну, видел также, как наш огородишко огораживали... велел я канавкой обнести: надежнее; неравно корова забредет или овца... с этим народцем никак не убережешься... я опять говорил им: как только поймаю корову, овцу или лошадь, себе беру, – плачь не плачь, себе беру, не пушай; и ведь сколько уже раз случалась такая оказия; боятся, боятся неделю, другую, а потом, глядишь, и опять... ну, да уж я справлюсь... налей-ка еще чайку...

– Мне говорила наша попадья, что ярманка была очень хорошая, – начала Анна Андреевна, – и дешево, говорит, очень дешево продавали всякий скот... вот ты обещал тогда купить еще корову, жаль, что прозевали, а все через тебя, Никита Федорыч, все через тебя, впрочем, ты ведь скоро в город пошлешь, так тогда еще можно будет.

– Нет, я в город не скоро пошлю, – отвечал как можно равнодушнее супруг.

– Как! А оброк-то барский когда ж пошлешь на почту? – возразила та сердито.

– Он еще не собран; да хоть бы и весь был, торопиться нечего, подождут! Брат Терентий Федорыч пишет, что барину теперь не нужны деньги... Этак станешь посылать-то без разбору – так, чего доброго, – напляшешься с ними; повадятся: давай да давай... я ведь знаю нашего молодца: вот Терентий Федорыч пишет, что он опять стал ездить на игру;

как напишет, что проигрался, да к горлу пристало, тут ему и деньги будут, а раньше не пошлю, хоть он себе там тресни в Петербурге-то! Меня не учить, барыня-сударыня; я ведь знаю, как с ними справляться, с господами-то: «нет у меня денег, – написал ему, да и баста! – пар, мол, сударь, не запахан, овсы не засеяны, греча перепрела», вот тебе и все; покричит, покричит, да и перестанет; разве они дело разумеют; им что гречь, что овес, что пшеница – все одно, а про чечевицу и не спрашивай... им вот только шуры-муры, рюши да трюши, да знай денежек посылай; на это они лакомки... Вот с ними так куды мастера справляться; э! матушка, знаю я их, голубчиков, не в первый раз вести с ними дело... вот потому-то и оброку не пошлю... незачем!..

– Так-то ты всегда, – проговорила, ворча, хозяйка. – Когда это до нашего добра, так ты всегда кобенишься... денег небось жаль на корову... оттого и в город не посылаешь...

– Да, жаль, жаль! Оттого и не посылаю...

– Жаль, то-то... а от кого и в люди-то пошел? От кого их добыл, деньги-то?..

– Ну, ну... пошла, барыня... э! Смерть не люблю!..

Тут, без сомнения, возникла бы одна из тех маленьких домашних сцен, которые были так противны Никите Федорычу, если б в комнату не вошла знакомая уже нам Фатимка. Не мешает здесь заметить при случае, что лицо этой девочки поражало сходством с лицом жены управляющего, и особенно делалось это заметным тогда, когда та и другая находи-

лись вместе; сходство между ними было так же разительно, как между одутловатым лицом самого Никиты Федорыча и наружностью троскинского бурмистра. Те же черты, несмотря на разницу лет и всегдашний флюс Анны Андреевны, который сильно вытягивал их; разница состояла исключительно в одних лишь глазах; у жены управляющего были они серы и тусклы, у Фатимки – черны, как уголья, и сыпали искры. Впрочем, сходство между ними должно было приписывать одной игре природы, ибо Фатимка, или, как называли ее в деревне, «Горюшка», никаким образом не приходилась сродни Никите Федорычу.

– Ну, что? – спросил он ее.

– Мельник-с пришел... – отвечала она робко.

– Ах, я бишь совсем забыл... да, да... скажи, что сию минуту выйду в контору.

– Что там еще? – отозвалась Анна Андреевна.

– Должно быть, матушка, насчет помочи... – сказал супруг смягченным голосом, – мужиков пришел просить на подмогу...

Никита Федорыч хлопотливо покрыл недопитый стакан валявшимся поблизости календарем, искоса поглядел на жену, хлопотавшую подле самовара, потом как бы через силу, ворча и потягиваясь, отправился в контору. Косвенный взгляд этот и суетливость не ускользнули, однако, от Анны Андреевны, подозрительно следившей за всеми его движениями; только что дверь в комнату захлопнулась, она про-

ворно подошла к сыну и, глядя его по головке, сказала ему вкрадчивым, нежным голосом:

– Ванюша... ты умница?..

– Умница.

– Сахару хочешь... голубчик?..

– Кацу.

– Ну, слушай, душенька, я тебе дам много, много сахара, ступай потихоньку, – смотри же, потихоньку, – к тятке, посмотри, не даст ли ему чего-нибудь мельник... ступай, голубчик... а мамка много, много даст сахарку за то... да смотри только, не сказывай тятке, а посмотри, да и приходи скорее ко мне... а я уж тебе сахару приготовлю...

– Ты обманешь...

– Нет, душенька, вот посмотри... я сюда сахарок положу... как придешь, так и возьми его...

– Ты мало положила... еще...

– Экой... ну, вот еще кусочек...

– А еще положи...

– Довольно, душечка: брюшко заболит...

– Нет, еще... еще, а то не пойду, – закричал ребенок, топая ногою.

– Ну, ну... на вот тебе еще два куска... – отвечала мать, боязливо взглянув на дверь, – ступай же теперь.

Ванюшка сполз со стула и потащился из комнаты, обращаясь беспрестанно к матери, которая одной рукой указывала ему на порог, другою на кучку сахара.

– Здравствуй, брат Аксентий, – сказал управляющий, под-
ходя к мельнику и глядя ему пристально в глаза.

– Здравствуйте, батюшка Никита Федорыч, – отвечал тот,
низко кланяясь.

– Что скажешь? А?..

– Да к вашей милости, батюшка, пришел.

– Ну, ну, ну... – проговорил заботливо управляющий и
сел на лавочку.

– Что, батюшка Никита Федорыч, – начал мельник, пере-
минаясь, но со всем тем бросая плутовские взгляды на со-
беседника каждый раз, как тот опускал голову, моргал или
поворачивался в другую сторону, – признаться сказать... вы
меня маненько обижаете...

– Как так?

– Да как же, батюшка: прошлого года, как я поступил к
вам на мельницу, так вы тогда, по нашему уговору, изволили
сверх комплекта получить с меня двести пятьдесят рублей;
это у нас было по уговору, чтоб согнать старого мельника...
я про эвти деньги не смею прекословить, много благодарен
вашей милости; а уж насчет того... сделайте божескую ми-
лость, сбавьте с меня за... вино.

– Э! ге, ге, ге... так вы вот зачем, батюшка, изволили по-
жаловать! – произнес управляющий тоном человека, возму-
тившегося неблагодарностью другого. – Э! Я тебе позволил
держат вино на мельнице, беру с тебя сотню рублишков, а

ты и тут недоволен, и этого много... Да ты знаешь ли, рыжая борода, что за это беда! Вино не позволено продавать нигде, кроме кабаков, а уж я так только, по доброте своей, допустил это тебе, а ты и тут корячишься... Еще нынешнюю весною допустил тебя положить с наших мужиков лишний пятак с воза, и это ты, видно, тоже забыл, а? Забыл, что ли?..

– Нет, батюшка Никита Федорыч, мы много благодарны вашей милости за твою ласку ко мне... да только извольте рассудить, если б, примерно, было такое дело на другой мельнице, в Ломтевке или на Емельяновке, так я бы слова не сказал, не пришел бы тревожить из-за эвтого... там, изволите ли видеть, батюшка, место-то приточное, по большей части народ-то бывает вольный, богатый, до вина-то охочий; а вот здесь, у нас, так не то: мужики бедные, плохонькие... винца-то купить не на что... а мне-то и не приходится, батюшка Никита Федорыч...

– Ах ты, бестия, бестия! – говорил управляющий, качая головою. – Ну, что ты мне пришел турусы-то плесть? А? Выгод тебе нет!.. Ах ты, борода жидовская!.. Да хочешь, я тебе по пальцам насчитаю двадцать человек из троскинских мужиков, которые без просыпу пьянствуют?..

– Что говорить... батюшка, есть пьющие... да только супротив Емельяновки-то того... а я вашей милости, пожалуй, перечить не стану, готов заплатить... да только, право, маенько как будто обидно станет...

– Полно тебе, старая харя, – возразил, смеясь, Никита Фе-

дорыч, – меня, брат, не проведешь; да ну, принес, что ли, деньги-то?..

– Есть, батюшка, – отвечал тот, охорашиваясь.

– То-то, выгоды тебе, верно, нет; вот оно что; вино-то по-чем берешь?

– Да по десяти с полтиной, батюшка-с.

– А сколько воды-то подливаешь? – спросил лукаво управляющий.

Мельник улыбнулся, почесал голову и поклонился.

– Давай-ка, давай; что толковать... – продолжал Никита Федорыч, вставая и подходя ближе к мельнику.

Тот вынул из-за пазухи тряпицу, в которой были деньги, и стал считать. В это время дверь конторы скрипнула. Никита Федорыч дернул мельника, набросил на деньги его шапку и выбежал в сени. Вскоре вернулся он, однако, совсем успокоенный; за дверью никого не оказалось.

– Вот так-то лучше, – говорил он, кладя деньги в карман, – а насчет дарового леса я уж писал барину... сказывал, что плотину сшибло паводком; он непременно пришлет разрешение выдать... ну, доволен, что ли, борода?..

– Благодарствуйте, батюшка Никита Федорыч, готов и впредь служить вашей милости, как угодно...

– Ну то-то же, смотри у меня...

– Никита Федорыч, – произнес мельник, взявшись за шапку, – к вам еще просьбица есть...

– Что такое?

– Да вот, батюшка, у вас здесь мужичок находится, Антоном звать; прикажите ему отдать мне деньги; с самой весны, почитай, молол он у меня, по сю пору не отдает; да еще встретился я как-то с ним, на ярманку вы его, что ли, посылать изволили, так еще грубиянить зачал, как я ему напомнил... уж такой-то мужик пропастный... батюшка...

– А!.. Хорошо, хорошо, – вымолвил с расстановкою управляющий, – я этого еще не знал... ну, да уж заодно не миновать ему поселений! Поплатится, каналья, поплатится за все... Эй, Фатимка!.. – произнес он, отворяя дверь.

Фатимка прибежала.

– Ступай сейчас в крайнюю избу, к Антону, скажи, чтобы шел сюда...

– Да он еще не возвращался с ярманки, – возразил мельник, – я уже заходил к нему...

– Как! И нынче еще не возвращался! Вчера и третьего дня тоже! Ну, да ничего, тем лучше; ступай, да смотри ты, бегом у меня, зови сюда жену его; я ж им покажу!

Фатимка побежала.

– А ты, Аксентий, ступай пока домой, я с ним разделаюсь.

В сенях Никита Федорыч встретил Ванюшу, который сосал пальцы, выпачканные сахаром.

– А ну-ткась, бурмистр, – сказал отец, подымая сына на руки, – хошь ли быть троскинским управляющим?

– Кацу, – живо отвечал мальчишка.

– Ха, ха, ха!.. Ну, а что бы ты стал тогда делать?..

– А вот... вот... высек бы Михешку Кузнецова...

– Ха, ха, ха! Ай да бурмистр... ну, а за что бы ты его высек?

– У него, – отвечал Ваня гнусливо, – у него, вишь, бабка-свинчатка есть... он мне ее не дает...

– Ха, ха, ха... пойдём, пойдём, расскажи-ка это матери... Анна Андреевна, а Анна Андреевна! Послушай-ка, что говорит наш молодчик... ха, ха, ха!.. Ну-ка, Ваня, скажи же мамке, за что бы ты высек Михешку-то Кузнецова...

Но, к крайнему удивлению Никиты Федорыча, жена его не обнаружила на тот раз ни малейшего удивления к необыкновенной остроте любимого чада; она сердито поправила козынку, перевязывавшую больную щеку, и сухо сказала супругу:

– Полно пустяки-то врать!.. Зачем приходил к тебе нынче мельник?

– Эка тебе, барыня-сударыня, приспичило! Плотина повредилась – так мужичков просил... ведь я тебе уже сказывал...

– Ах ты, бессовестный, бессовестный! – закричала она, всплеснув яростно руками. – Так-то ты? Обманывать меня хочешь? Ты думаешь, что я не узнаю, что он тебе денег дал?.. Ты от меня прячешь, подлая душа! Разве забыл ты, через кого в люди пошел... через кого нажился?.. кто тебя человеком сделал!..

– Что ты орешь, ведьма! – вскричал, в свою очередь, Ни-

кита Федорыч, делая несколько шагов к жене. – Молчи! Теперь старого барина нет, я тебе властитель, я тебе муж! Шутить не стану; смотри ты у меня! Да, получил деньги, не показал тебе, не хотел говорить, да и не дам ни полушки, вот тебе и знай... да не кричать!

– Разбойник! – завопила Анна Андреевна, ложась на диван и ударяясь выть. – Ты меня погубить хочешь! Зарезать, обокрасть... Не жена я тебе, холопу проклятому!

– Варвара пришла-с... – произнесла Фатимка, войдя в комнату.

Услыша вопли Анны Андреевны, она быстро обернулась в ту сторону; видно было по первому ее движению, что она хотела к ней броситься, но взгляд Никиты Федорыча тотчас же осадил ее назад; она опустила глаза, в которых заблестали слезы, и проворно выбежала в сени. Управляющий вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью. Трепещущая от страха Варвара стояла в сенях и, закрыв лицо разодранным рукавом рубахи, тяжело всхлипывала. Услышав шаги Никиты Федорыча, она мгновенно открыла лицо свое, на котором изображались следы глубокого отчаяния, простерла руки и с криком повалилась к нему в ноги.

– Батюшка! Батюшка!.. не погуби! – твердила она, рыдая и орошая грязный пол и сапоги управляющего потоками слез. – Не погуби... нас... сирот горемычных...

– Ступай-ка сюда, сюда! – произнес Никита Федорыч, топнув ногою.

Он указал ей на контору. Оба вошли. Фатимка, притаившись в темном углу сеней, глядела с каким-то страхом на всю эту сцену; но только что скрылась Варвара, она, как котенок, выпрыгнула из своей прятки, подбрела к дверям конторы, легла наземь и приложила глаза к скважине. Каждый раз, как голос Никиты Федорыча раздавался громче, бледное личико ребенка судорожно двигалось; на нем то и дело пробегали следы сильного внутреннего волнения; наконец все тело ее разом вздрогнуло; она отскочила назад, из глаз ее брызнули в три ручья слезы; ухватившись ручонками за грудь, чтобы перевести дыхание, которое давило ей горло, она еще раз окинула сени с видом отчаяния, опустила руки и со всех ног кинулась на двор. Так обогнула она флигель, потом опять перелезла через забор и, очутившись в крестьянских огородах, пустилась все прямо, по задам деревни. У крайних изб, за ригами, между обвалившимися плетнями стояла толпа девчонок и ребятишек; завидя ее, все в один голос принялись кричать: «Горюшка идет! Горюшка! Горюшка!» Тут Фатимка, как бы собравшись с последними силами, пустилась как стрела и, размахивая отчаянно ручонками, прокричала задыхающимся голосом:

– Беда с Варварой! Бьют! Бьют!!

В то самое мгновение в толпе раздался детский вопль и слова: «Ой, мамка! Мамка, мамка!» В то же время из среды ребятишек выбежала рыженькая хромая девочка, уже знакомая читателю, и поскакала навстречу Фатимке, вертясь на

одной ножке и пронзительно взвизгивая: «Горюшка! Горюшка!...»

– Полно тебе, Анютка: услышат! – проговорила та, удерживая ее за руку и торопливо подбегая к Аксюшке и Ванюшке, племянникам Антона, которые ревели в два кулака. – Ну, Ваня, ну, Аксюшка, – продолжала она, обхватив их ручонками. – Беда! беда пришла тетке Варваре... беда! «Бык»-от и дядю вашего хочет, вишь, куды-то отправить... я все, все слышала... все в щелочку глядела... не кричите, неравно услышат... право, услышат...

Все это проговорила она с необыкновенным одушевлением; ее бледные щеки разгорелись, она живо при каждом слове размахивала руками, непрерывно поправляя длинные пряди черных своих волос, которые то и дело падали ей на лицо. Аксюшка положила свой кулачок в рот и, удерживая всхлипывания, еще пуще зарыдала.

– Ой, дядя Антон, дядя Антон, – бормотал, заливаясь, Ванюшка, – куда ты ушел?.. Он бы не дал бить тетку Варвару...

– Вот что! – сказала вдруг Фатимка, выпрямляясь и становясь посередь толпы. – Вот что! Ваня, Аксюшка, все, все... побежимте туда... берите все камни, швырнем ему в окно, я покажу, в какое... мы его испугаем! Кто из вас меток?..

– Я! Я! Я! – закричало несколько тоненьких голосков, и множество худеньких ручонок замахали в воздухе.

– Я! Я! Горюшка, я! – звончее всех визжала хромая Анютка, принимаясь снова кривляться вокруг Фатимки.

– Полно тебе, дура! Эка бесстыжая!.. Молчи!..

– Я пойду! Я меток! – вскричал Ванюшка, торопливо утирая слезы. – Я пойду...

И он бросился уже подымать камень; но камень пришелся не по силам; Ванюша залился снова слезами.

– Ничего, Ваня, ничего, – продолжала с тем же волнением Фатимка, – побежимте скорее... там много камней у забора... скорее, скорее, а то будет поздно... ложитесь все ползком наземь, а не то увидит; скорее, скорее...

Хромая Анютка принялась было опять за свои прыжки, но на тот раз со всех сторон посыпались на нее брань и ругательства; она поневоле легла наземь и ползком потащилась за всеми вдоль плетня на брюхе... А между тем Никита Федорыч давным-давно отпустил жену Антона. Бабы, глядевшие из окон и видевшие, как прошла она мимо деревни, перестали даже толковать об этом предмете и перешли уже совсем к другому. – Никита Федорыч один-одинешенек расхаживал теперь вдоль и поперек по конторе, заложив руки назад, опустив голову; казалось, он погружен был в горькое, тревожное раздумье. Сцена, которую сделала ему Анна Андреевна, возмущала его кроткую душу. Наконец он как будто бы принял какое-то твердое намерение, ударил себя руками по полам архалука, закинул голову назад и направился к двери. В эту самую минуту верхнее слуховое окно конторы зазвенело, разлетелось вдребезги, и несколько увесистых камней упало ему чуть-чуть не на нос. Никита Федорыч обо-

млеЛ: с минуТу стоял он как вкопанный на одном месте, потом со всех ног кинулся в сени и, метаясь из угла в угол как угорелый, закричал что было мочи:

– Эй! кто здесь? Степан! Дормидон! Эй, Фатимка! Эй, черти!..

Никто не отвечал. Никита Федорыч остановился и стал прислушиваться... Волнение его мало-помалу утихло, когда он убедился, что кругом его никого не было. Он осторожно вышел из сеней, еще осторожнее обогнул флигель и не без особенного смущения, похожего отчасти на страх, поглядел через забор. Но каково же было его изумление, когда он увидел собственное чадо.

– А, так это ты, пострел! – закричал он, грозя сыну. – погоди! Я тебя выучу бить стекла!.. Ступай сюда!..

– Нет, тятенька, нет, – отвечал троскинский бурмистр, подбегая к отцу, – это ребятишки... сейчас убежали... я их видел...

– Какие ребятишки?

– Деревенские-с... я знаю, кто камень-то бросил, тятенька... это не я-с... не я-с.

– Ну?

– Это, тятенька-с... как бишь его?.. Ванюшка... Антонов... не я, тятенька... я сам видел...

– А!.. Ну, хорошо, э-э-э... да это того самого... э!.. Хорошо, я с ним тотчас же разделаюсь... пойдем, Ванюша, холодно тебе...

Сказав это, Никита Федорыч перекинул через плетень толстые свои руки, обхватил ими сына, поднял его на плечи и с торжествующим видом направился к дому.

IX

Возвращение

...Трое суток бегал Антон, разыскивая повсюду свою ключонку; все было напрасно: она не отыскалась. В горе своем не замечал он студеного дождя, лившего ему на голову с того самого времени, как покинул он город, ни усталости, ни холоду, ни голоду... Без полушубка, без кушака и шапки, потерянных где-то ночью, метался он как угорелый из деревни в деревню, расспрашивая у встречного и поперечного о своей пегой кобылке. Никто ничего не знал; никто даже не дал ему разумного ответа. Кто молча отворачивался за недоугом, кто равнодушно отсылал его дальше, а кто попросту отзывался смешком на его оторопевшие, нескладные речи. Впрочем, и то сказать надо, что если б Антону посчастливилось даже отыскать конокрада, последствия были бы не лучше. У него не было денег. Мужички, провожавшие его за ворота постоянного двора, были совершенно правы, решив в один голос, что «не найти-де ему лошади, коли алтын нетути, попусту только измается, сердешный...».

Полный немого отчаяния, которое, постепенно возрастая в нем, жгло ему сердце и туманило голову, Антон бросил наконец свои поиски и направился к дому. Когда он ступил на троскинские земли, была глухая, поздняя ночь, одна из тех ненастных осенних ночей, в которые и под теплым кровом

и близ родимого очага становится почему-то тяжело и грустно. Ледяной порывистый ветер резал Антону лицо и поминутно посылал ему на голову потоки студеной воды, которая струилась по его изнуренным членам; бедняк то и дело попадал в глубокие котловины, налитые водою, или вязнул в глинистой почве полей, размытой ливнем. Густой туман усиливал мрак ночи; в двух шагах зги не было видно, так что иногда ощупью приходилось отыскивать дорогу. Когда ветер проносился мимо и протяжное его завывание на минуту смолкало, окрестность наполнялась неровным шумом падающего дождя и глухим журчанием потоков, катившихся по проселкам. Казалось, не было уголка на белом свете, где бы в это время могло светить солнышко и согреть человека. С каждым шагом вперед все темней и темней становилось в душе мужика. Вскоре почувствовал он под ногами покатость горы, по которой дней пять тому назад подымался на пегашке; смутно и как бы сквозь сон мелькнуло в голове его это воспоминание. Откинув дрожавшими руками мокрые волосы от лица, вперил он тогда помутившийся взор к селу и значительно прибавил шаг.

Таким образом спустя несколько времени очутился он посередь улицы. Но здесь было так же мрачно, как в поле: темнота ночи сливала все предметы в одну неопределенную, черную массу; слышно только было, как шипела вода, скатываясь с соломенных кровель на мокрую землю. Вытянув шею вперед, Антон продолжал идти, ускоряя все более и бо-

лее шаг. Вдруг посреди завывания непогоды раздалась резкая, звонкая стукотня в чугунную доску... Сердце мужика вздрогнуло. Он остановился как вкопанный и поднял голову: перед ним возносился старый флигель, вмещавший контору и квартиру управляющего. Пока он силился припомнить, каким случаем попал сюда, в стороне послышались шаги, и почти в ту ж минуту грубый, сиповатый голос прокричал: «Кто тут?» Голос показался Антону чей-то знакомый; он невольно сделал несколько шагов вперед.

– Какого тут дьявола еще носит? Кто тут?.. – произнес тот же голос ближе, и Антон увидел перед собою двух человек с дубинками.

– Что ты, леший, не откликаешься? – повторил громче прежнего один из караульчиков, стучая дубинкою по грязи. – Аль оглох? Слышь, тебя спрашивают!..

Антон молчал, потирая руками мокрую свою голову.

– Стой! – закричали в один голос караульчики и кинулись на него.

Тот без всякого сопротивления дался им в руки.

– Управляющий... дома?... – спросил он глухо.

Но едва успел он произнести это, как один из мужиков тотчас же выпустил его и, засмеявшись, сказал товарищу:

– Дядя Дорофей... поглядь-ка, да ведь это наш Антон!

– Ой ли?..

– Вот те Христос... отсохни руки и ноги...

– Эй, сват! – крикнул Дорофей, также выпуская Антона

и принимаясь его ощупывать. – Какого лешего тебе здесь надеть?.. Что с тобой?.. Аль с ума спятил?.. Без шапки, в такую-то погоду... какого тебе управляющего?.. Из города, что ли, ты?..

– Из города... – проговорил Антон, вздрагивая всем телом.

– Эхва!.. так ты теперь-то управляющего хватился!.. Ну, брат, раненько! Погоди, вот тебе ужотко еще будет... Эк его, как накатился... Федька, знать выпимши добре, ишь, лыка не вяжет... Что те нелегкая дернула, – продолжал Дорофей, толкая Антона под бок, – а тут-то без тебя что было... и-и-и...

– Что?..

– Да, теперь небось что?.. Что?.. Ишь у тебя язык-от словно полено в грязи вязнет... а еще спрашиваешь – что? Поди-тка домой, там те скажут – что! Никита-то нынче в обед хозяйку твою призывал... и-и-и... Ишь, дьявол, обрадовался городу, словно голодный Кирюха – пудовой краюхе... поставь голову-то к плечам, старый черт! Ступай домой, что на дожде-то стоишь...

– Эх, фаля! Вот погоди, погоди; что-то еще завтра будет тебе?.. Да что ж ты ничего не баишь, аль совсем те ошеломило?! Антон, а Антон! сват!..

– А?..

Дорофей и Федька залились во все горло.

– Слышь, что ли, – произнес первый, дергая его за руку, –

полно тебе зуб-то об зуб щелкать; ступай домой, пра, ступай домой, слышь, что те говорят?..

Но Антон уже ничего не слышал. С остервенением оттолкнул он наконец караульщиков и кинулся стремглав к стороне околицы.

– Антон! Эй, Антон! – кричали ему вслед мужики. – Экий леший! Что с ним, право, попритчилось?..

– А что попритчилось, – примолвил Дорофей, – запил! Вот те и все тут; экой, право, черт... должно быть, деньги-то все кончил... Поди ж ты, Федюха, а, кажись, прежде за ним такого дела не важивалось; управляющего, слышь, захотелось ему ночью... знать, уж больно он его донимает... ну, да пойдем, Федюха: я индо весь промок... так-то стыть-погода пошла...

– Пойдем, дядя Дорофей... Постучим еще в доску... да завалимся спать... смерть иззяб...

Немного погодя резкие, звучные удары в чугунную доску далеко разнеслись по окрестности, заглушая на минуту завывание ветра и шум бури, которая, казалось, усиливалась час от часу. Антон между тем продолжал бежать как полоумный. Поравнявшись с первыми избушками, он круто своротил к огородам и пустился задами деревни. Тут шаг его сделался тверже и медленнее. Когда он приближался к тому месту, где несколько дней тому назад поднял платок, ему вдруг почудилось, что кто-то мелькнул мимо него поперек дороги. Он остановился и оглянулся в ту сторону. В эту са-

мую минуту сильный порыв ветра раздвоил тучу, и бледным светом озарилась та часть поля. Антон явственно различил тогда в белом пятне неба над поверхностью межи профиль старухи. Согнувшись в три погибели, она ковыляла, размахивая сучковатою своею клюкою, которой, казалось, ощупывала дорогу... Антон тотчас же узнал Архаровну. Все рассказы и слухи о богатстве ее разом прихлынули ему в голову; ему пришло в голову, что она может пособить ему. Секунду спустя кинулся он вслед за побирушкой, несколькими прыжками нагнал ее и крикнул задыхающимся голосом:

– Помоги, коли хочешь спасти душу христианскую от греха – дай денег!

– Касатик! Касатик! – могла только проворчать побирушка. – Христос с тобой... ой... да это... ты, родной... Антон Прохорыч... какие у меня деньги!.. Христос с тобой!..

– У тебя есть!.. Все сказывают! – прибавил он.

– Что с тобой делать, – завопила старуха, – вишь ты какой странный... аль руку на себя поднять хочешь, что ли, прости господи! – Деньги... у меня в березничке... в кубышке... закрыты...

– Веди туда!.. – крикнул мужик. – Веди!.. Скорее...

Старуха оправилась, поспешно подняла клюку; он уцепился ей за полу, и оба быстрыми шагами пустились по дороге к роще.

Пока еще тянулся проселок, они шли ходко, но как только старуха свернула на пашню, Антон начал уже с трудом

поспевать за ней; ночь стала опять черна, и дождь, ослабевший было на время, полил вдруг с такой силой, что он едва мог различать черты своей спутницы. Глинистая почва пашни прилипала к их ногам тяжелыми комками и еще более затрудняла путь; время от времени они останавливались перевести дух. Наконец старуха свела его в глубокую межу, на дне которой бежал, журча и клубясь, дождевой сток; с обеих сторон поднимались черные головастые дуплы ветел; местами тянулись сплошною стеною высокие кустарники; кое-где белый ствол березы выглядывал из-за них, как привидение, протягивая вперед свои угловатые худощавые ветви. Дорога час от часу становилась затруднительнее; ноги поминутно встречали камни или скользили в тине; иногда целые груды сучьев, сломанных ветром, заслоняли межу. Подобно несметному легиону духов, ветер проносился с одного маху по вершинам дерев, срывая миллионы листьев и сучьев; потом вдруг, как бы встретив в стороне препятствие, возвращался с удвоенною силой назад, покрывая землю глыбами смоченных листьев. Тогда грохот бури смолкал на минуту, и снова слышалось журчание потоков и однообразный шум дождя, который падал полосами на деревья и скатывался на дорогу.

– Ой, погоди, касатик, дай вздохнуть... надыть еще в овраг спускаться, – сказала старуха.

Антон молча остановился. Немного погодя они, в самом деле, начали спускаться по крутому каменистому скату в

овраг. Очутившись на дне, Антон поднял глаза кверху; окраины пропасти вырезывались так высоко на небе, что едва можно было различить их очертание. Несколько раз Антону приводилось проползать под стволами дерев, опрокинутыми там и сям поперек пропасти, загроможденной повсюду камнями; старуха, по-видимому, хорошо знала дорогу; она ни разу не оступилась, не споткнулась, несмотря на то что шла бодрее прежнего и уже не упиралась более своею клюкою. Затесавшись наконец вместе с Антоном в густую чащу кустарников, из которой выход казался невероятным, она неожиданно остановилась, рванулась вперед и закричала хриплым своим голосом:

– Ребятюшки! Сюда, родимые!..

Одуматься не успел Антон, как уже почувствовал себя в руках двух дюжих молодцов. Движимый инстинктивным чувством самоохранения, он бросился было вперед, но железные руки, обхватившие его, предупредили это намерение и тотчас же осадили назад.

– Куда? – сказал один из них. – Куда? Небось не уйдешь, и здесь подождешь!..

– Ермолаюшка, касатик, – заговорила старуха, – погоди, не замай его... родимый, ведь это брат твой, Антон; ох! рожонный, уж такой-то, право, колотырный... пристаёт, вишь, пособи ему, дай ему денег.

Услыша это, Ермолай отступил назад и крикнул:

– Антошка, ты ли?..

Но так как Антон не отвечал, он быстро подошел к нему, взял его обеими руками за плечи, глянул ему в лицо и потом, упершись кулаками в бока, залился дребезжащим смехом.

– Антошка! Черт! Каким те лешим принесло сюда?.. Петруха,пусти его, небось не уйдет: он сродни!..

Петруха пристально посмотрел в лицо мужику и тотчас же выпустил его, промолвив, однако, грубо товарищу:

– Что ж, что он брат тебе... коли пришел выведать... так все одно ему...

– Да что ж ты ничего не говоришь, словно пень? – продолжал Ермолай, обращаясь к брату, который не двигался с места. – Зачем пожаловал сюда, чего те от нас надо?.. Да говори же, дьявол! Аль взаправду глотку-то заколотили тебе на деревне?..

– Дай ему опомниться, касатик ты мой, видно, запужался больно, – подхватила старуха, нагибаясь и кладя что-то на-земь, – вот иду я так-то, родной, из ихнего Троскина...

– Ну, что? – спросили в одно время Петр и Ермолай.

– Да вот, – отвечала она, понизив голос, – две курочки у мужичка сволочила... Ну, вот так-то, – продолжала она громко, – иду я, а он, окаянный, как кинется ко мне: денег, говорит, давай!.. Такой-то пропастный!..

– Э-ге-ге... так ты, видно, горемыка! – воскликнул Ермолай. – Что, брат, знать, не по вкусу пришли дубовы-то пироги с березовым маслом?.. Да что ж ты, взаправду, ничего не говоришь? Ай не рад, что встретился?..

– Рад не рад, – произнес другой, подходя к мужику, – тебе отсель не выйти...

– Братцы, – начал вдруг Антон, как бы пробудившись от сна, – мне денег надо, денег!.. Лошадь увели намедни... последнюю лошадь... оброку платить нечем, – прибавил он через силу.

– Так ли?.. Слышал я про эвто, да...

– Так, родной, – перебила старуха, – по миру, почитай, пустил его управитель-то...

– Ну, а ребята мои живы? – спросил Ермолай.

– Живы... да есть нечего, – отвечал мрачно Антон, – пособи́те, братцы, хошь сколько-нибудь дайте денег! – промолвил он голосом отчаяния.

– Мы ведь недавно, всего, кажись, три недели, сюда подошли... Вот парнюхе старуху свою хотелось проведать... да место вышло податно, так и остались зимовать... а то бы я навестил тебя... на ребяток поглядеть хотелось, мать-то их добре померла... так что ж ты, Антонушка?.. К нам, что ли?..

– Последнюю лошадь увели, – начал снова Антон, – подушных платить нечем... денег мне надо...

– Эхма! Пособить-то те можно, да вот, вишь, какое дело – деньги-то у нас не то что свои, не то что чужие. Они у нас теперь в кармане, так, стало, наши. А вот маленько прежь сего их держал у себя за пазухою купец, ехавший с ярманки; мы к нему, знашь, тово: поделись, дескать, добрый человек! Он на нас с криком, мы погрозили порядком, деньги-то с бу-

мажником он нам и швырнул в лицо, а сам давай бог ноги... Ну, ты теперь наш, все узнал; помочь-то тебе мы поможем, да только ни гугу, а то ведь беда! Купец-то ночью нас не разглядел, да и лыжи отсюда навострил далеко, так никто не узнает, коли ты не проболтаешься. Мы теперь зайдем в кабак вместе, недалеко отсюда, а там дадим тебе на разживу да разойдемся на разные стороны. А что ты, Антошка, бывал у Бориски-рыжака, пивал у него когда?

– Нет.

– Ну, стало, не знает тебя рыжий?

– Не знает.

– Ну и ладно, идем... А ты, матушка, здесь оставайся!

– Вестимо, родной... вас поджидать стану... мотри только, касатик, его-то от себя не пушайте...

– Небось не уйдет! – отвечал тот. – Ну, идемте, ребята... мотри же, Антонушка, опростоволосишься, вот те Христос, поминай как звали!..

Бродяги допили штоф, подняли кверху дубинки и, сказав еще что-то шепотом старухе, пропустили Антона вперед и начали выбираться из оврага.

Кабак, куда направлялись они, стоял одиноко на распутье, между столбовой дорогой и глубоким, узким проселком; сделав два или три поворота, проселок исчезал посреди черных кочковатых полей и пустырей, расстилавшихся во все стороны на неоглядное пространство. Ни одно деревцо не оживляло их; обнаженнее, глуше этого места трудно было

сыскать во всей окрестности.

Здание кабака соответствовало как нельзя лучше печальной местности, его окружавшей: оно состояло из старинной двухэтажной избы с высокою кровлей, исполосованной по всем направлениям темно-зеленым мохом и длинными щелями. На верхушке ее торчала откосо рыжая иссохшая сосенка; худощавые, иссохшие ветви ее, казалось, звали на помощь. Стены избы были черны и мрачны; промежутки между бревнами, серо-грязноватого цвета, показывали, что мох уже давным-давно истлел. Новенькое сосновое крылечко, прилаженное ко входу избы, еще более выказывало ее ветхость. Его гладенькие, вылущенные столбики, белый, лоснящийся навес с вычурами, тоненькие перила так резко бросались в глаза своим контрастом с остальною частью кабака, что невольно напоминали уродливое сочетание безобразного старика с свеженькой молодой девушкою. Здание, подобно многим в этом роде, было окружено с трех сторон навесами, дававшими тотчас же знать, что радушие хозяина не ограничивалось одною лишь косушкой: тут находился и постоянный двор; польза соединялась, следовательно, с приятным. Таким образом, проходимцу или извозчику предстояло чрез это истинно благодетельное соединение выпить вместо одной косушки, уже необходимой для подкрепления сил, еще две лишние: одну, как водится, после ужина, другую при расставанье, под утро.

По мере того как темнота ночи рассеивалась, черная про-

филь высокой кровли кабака и сосны, усеянной заночевавшими на ней галками, вырезывалась резче и резче на сероватом, пасмурном небе. Кругом тишина была мертвая. Несмотря, однако ж, на ранний рассвет, в одном из окон нижнего этажа, пока еще смутно мелькавшем сквозь полосы тумана, светился огонек. После некоторого внимания можно даже было довольно четко различить длинную тень человека, ходившего взад и вперед по избе. Вскоре тень эта скрылась. На крылечке показался тогда высокий мужчина в длиннополом кафтане на лисьем меху. Сначала нагнулся он на перила и, приложив ладонь ко лбу в виде зонтика, долго глядел на большую дорогу; потом, сделав нетерпеливое движение, незнакомец сошел вниз. Видно было, однако, что и здесь остался он недовольным; простояв еще несколько времени, махнул он наконец с досадою рукой и опять поднялся на крылечко. Находясь, должно быть, под влиянием нетерпеливого ожидания и не доверяя, вероятно, своей зоркости в первых двух попытках, он сел на ступеньки, подперся ладонью и снова принялся глядеть в туманную мглу, окутывавшую местность.

Но вот уже потянулся туман в вышину, глубокие колеи дороги, налитые водою, отразили восход, а он все еще не покидал своего места и не сводил глаз с дороги. Пахнёт ли ветерок по влажной земле, пронесется ли в воздухе стая галок, — он быстро подымает голову, прислушивается. Терпение его, казалось, наконец истощилось: он вскочил на ноги и провор-

но вошел в сени кабака. Тут по-прежнему увидел он рыжего целовальника, лежавшего навзничь между двумя бочками, устланными рогожей; в углу, на полу, храпели два мужика и мальчик лет тринадцати, батрак хозяина. Дверь налево, в кабак, была заперта на замок. Человек в длинном кафтане прошел поспешно сени и вступил в избу направо. Он, по-видимому, был чем-то сильно встревожен. Слабый свет догорающей свечки, смешиваясь с белым светом утра, набрасывал синевато-тусклый отблеск на лица нескольких мужиков, спавших на нарах. На лавке подле стола, покрытого скудными остатками крестьянского ужина, сидел, опустив голову на грудь, бородатый человек, которого по одежде легко можно было принять за купца. Опершись одною рукой на стол, другою на лавочку, он храпел на всю избу. Незнакомец прямо подошел к нему и дернул его за руку; потеряв равновесие, купец свалился на лавку и захрапел еще громче.

– Матвей Трофимыч, – сказал с досадою незнакомец, принимаясь будить его, – Матвей Трофимыч! Проснись, эй!.. До сна ли теперь? Да встань же... ну...

– Мм... а что, брат приехал? – отозвался купец, торопливо протирая глаза.

– Какой приехал! Слышь, Матвей Трофимыч... мне все думается, не беда ли какая случилась с братом...

– Гм! – произнес Матвей Трофимыч, приподнимаясь. – Давно бы надо здесь быть... вечер еще... сколько бишь, сказывал он, верст от города до Марина?

– Да, никак, двадцать или двадцать две, говорил...

– Эх, напрасно, право, мы с ним тогда не поехали, получка денег не бог знает сколько взяла бы времени!.. Да делать нечего, подождем еще, авось подъедет...

– Мне все думается, не прилучилось бы с ним беды какой... поехал он с деньгами... долго ли до греха... так индо сердце не на месте... Слышал ты, мужики вечор рассказывали, здесь и вчастую бывает неладно... один из Ростова, помнишь, такой дюжий, говорил, вишь, из постоялого двора, да еще в ярманку, вот где мы были-то, у мужичка увели лошадь.

– Ой ли?..

– То-то, Матвей Трофимыч, ты спал, а я слышал...

– Авось бог милостив... ох-хе-хе...

В то время в избу вошел целовальник; закинув коренастые руки свои назад за шею, он протяжно зевнул и сказал, потягиваясь:

– А что, не приезжал еще ваш товарищ?..

– Нет, брат, не едет, да и полно, – отвечал высокий, – я уж подждал, подждал, глаза высмотрел... побаиваемся мы, не случилось ли с ним беды какой... ехал ночью, при деньгах... на грех мастера нет...

– Что случится... запоздал, должно быть...

– У вас вот, говорят, на дорогах-то шалют больно... вот об эвтом-то мы и сумлеваемся...

– Что говорить, случалось, всяко бывает; да уж что-то давно не слышать; намедни вот, сказывают, бабу, вишь, какую-то

обобрали... а то не слышать... кажись, смирно стало...

– О-ох, беда, да и только... уж не съездить ли мне в Марино... далече отселева станет?

– Верст семнадцать без малого... да вы не ездите... обождите... господь милостив... О!.. о!.. (Целовальник зевнул.)

– Эй, Пахомка! что ты, косою черт... – крикнул он, выходя в сени и толкнув под бок ногою мальчика, – вставай, пора продрать буркалы-те... время кабак отпирать... день на дворе...

Матвей Трофимыч сел снова на лавочку и задремал; товарищ его вышел на крылечко и снова принялся глядеть на дорогу.

Вскоре кабак ожил. Зазвенели склянки, зашумел народ, все пришло в движение. Работница-стряпуха затопила печь, мужики завозились под навесами, и немного погодя послышались уже громкие восклицания и удалая песня. Человек в длиннополом кафтане продолжал глядеть с тем же притупленным вниманием на дорогу. Вдруг он поднялся, взбежал на крыльцо и вытянул вперед шею, как бы силясь приблизиться к увиденному им вдалеке предмету. Но лицо его, обнаружившее радость, мгновенно нахмурилось; обманутый ожиданием, он печально отошел назад. На дороге показались три пеших человека.

Когда подошли они ближе, купец невольно обратил на них внимание. Двое из них были покрыты грязными лохмотьями, лица их были тощи и изнуренны; щетинистые, взъерошенные брови и бакены придавали им вид суровый, дикий.

Наружность третьего путника особенно поразила купца. Это был высокий сгорбленный мужик лет шестидесяти, покрытый сединою, с лицом известкового, болезненного цвета, он как будто удручен был каким-то сильным недугом. Голова его несколько висела набок; огромные коренастые руки старика как-то безжизненно болтались при каждом шаге вдоль угловатых, костлявых ног, перепутанных разодранными онучами, покрытыми грязью. Он, казалось, совершенно бесчувствен был к стуже, которая багровила ему грудь и плечи, едва прикрытые лохмотьями крестьянской рубашки. Приблизившись к кабаку, товарищи старика оглянулись сначала на все стороны, потом взяли его под руки и поспешно вошли в кабак, не взглянув даже на сидевшего незнакомца. Купец, поглядев еще несколько минут на дорогу, тоже вошел в кабак. В голове его невольно мелькнуло какое-то подозрение...

Большая часть мужиков, заночевавших у целовальника, находилась уже тут; некоторые из них стояли посередь избы и о чем-то горячо спорили, другие сидели на лавочке за большим столом. В углу подле сороковой бочки, уставленной разнокалиберными медными воронками, за небольшим столиком сидели по обеим сторонам Антона брат его Ермолай и Петрушка. Перед ними стояли штоф и стаканы. Ермолай, положив локти на стол и запустив ладони в черные свои волосы, глядел беспечно в окно; но усилия, с какими расширял он глаза, непрерывное движение мускулов на узеньком лбу его и легкое наклонение головы свидетельствова-

ли, что он жадно прислушивался к тому, что говорилось во-
круг. Антон и другой его товарищ сидели насупясь и молча-
ли. Немного спустя целовальник подошел к купцу.

– Ну, что? – сказал он. – Видно, брат-от не едет...

– Нет, не едет, – отвечал тот, бросив косвенный взгляд на
угол, где сидели бродяги, – я уж, право, думаю, беда случи-
лась... он был при деньгах... поехал ночью...

Движение Ермолая и товарища его, который быстро под-
нял голову, не ускользнуло от купца; сердце его колотилось
так сильно, что он несколько секунд не мог произнести сло-
ва; оправившись, он продолжал, однако стараясь принять по
возможности спокойный вид:

– Ты же, брат, рассказывал, что у вас здесь какую-то бабу
обобрали на дороге... точно, место глухое... чего доброго,
ограбят еще...

Речь замерла у него на устах; взгляд, брошенный Ермола-
ем на дверь и на товарищей, усиливал в нем подозрение; все
говорило ему, что тут крылось что-то недоброе. Он как бы
нехотя приподнялся с своего места и, толкнув локтем цело-
вальника, вышел с ним в сени.

– Слушай, брат хозяин, – сказал он торопливо, – мне сда-
ется, беда прилучилась... видал этих трех, что сидят в углу
подле бочки?..

– Как же... а что?..

– Сделай милость, – продолжал купец убедительным го-
лосом, – ради господ бога, не пушай ты их, разведем спер-

ва, что они за люди... тебе будет не в обиду... ишь они какими недобрыми людьми выглядят... И тот, что с ними, старик-ат... в одной рубахе... точно, право, бродяги какие... не пушай ты их... я пойду разбужу товарища... мне, право, сдается, они...

И купец, не докончив речи, опрометью кинулся в избу. Целовальник, страстный охотник до всяких свалок и разбирательств и которому уже не впервые случалось накрывать у себя в заведении мошенников, тотчас же принял озабоченный вид, приободрился и, кашлянув значительно, вошел в кабак. Ермолай и его товарищи успели опорожнить в то время штоф и сбирались в путь.

– Хозяин, – сказал он, подходя бодро к целовальнику, – что с нас?

– Штоф, что ли? – спросил тот, окидывая взором стол и Антона, сидевшего недвижно, как и прежде.

– Да, брат, штоф, – отвечал Ермолай, надевая одною рукою шапку, другою подавая красную ассигнацию. – Эх, жаль, время не терпит, а то бы знатную у тебя выпивку задали.

– А вам нешто к спеху... – продолжал рыжий Борис, которому красная бумажка показалась что-то подозрительною в руках такого оборванца. – Вы отколь?..

– А мы, брат, сдалече, копальщики, идем с заработок... домой, – отвечал, нимало не смущаясь, Ермолай и в то же время подал знак Петру, указав на брата.

Но, заметив усилия, с какими Петр приподнимал Антона

на ноги, целовальник спросил:

– А что это у вас товарищ-ат... кажись, разнемогся...

– Да... на дороге из Тулы... что-то животы подвело... – отвечал Петр, подбираясь с Антоном к двери.

– Хозяин, давай-ка скорей сдачу, – сказал Ермолай нетерпеливо.

Но купец, сопровождаемый несколькими мужиками, загородил им дорогу. В числе мужиков находился и ростовец, тот самый, что встретился с Антоном на ярмарке. Увидя его, он растопырил руки и произнес радостно:

– А! Здорово, брат, как тие бог милует... Вот не чаял встретить! Ну что, нашел лошадь?

Антон вздрогнул.

– Разве ты его знаешь? – спросил удивленный купец.

– Как же! – отвечал ростовец, подходя ближе к Антону. – Да ведь это, братцы, тот самый мужичок, что сказывал я вам вечер, у кого лошадь-то увели... ну, брат... уж как же твой земляк-то убивалси!..

Несколько мужиков встали с своих мест и подошли с участием к Антону.

– Мы на другой день нашли его лошадь... – отвечал, оторопев, Петр, – насилу откупились...

– Ой ли?..

– Да тебе-то что?.. – сказал Ермолай, толкнув плечом ярославца и слясь пробиться к двери. Видно было, что ему становилось уже неловко.

– Ты, брат, мотри не пихайся, не к тебе слово идет...

– Стой, молодец! – произнес вдруг целовальник, удерживая бродягу. – Как же ты говорил мне, вы с заработок шли... а вот он его видел (тут Борис указал на ростовца и потом на Антона) с лошадьё на ярманке... и сказывал, мужик пахатный... помнится, еще из ближайшей деревни...

– Как же, из Троскина какого-то, – заметил ростовец.

– Что ж ты бабушку путаешь? – воскликнул Борис, подступая к Ермолаю. – Какой же он копальщик?..

– Да чего тебе от нас надо? – крикнул Ермолай, врываясь силою в двери.

– Нет, погоди... постой... эй, ребята! Не пущайте его... сказывай прежде, что вы за люди...

– Разбойники, разбойники! – завопил неожиданно купец, выхватывая из рук Ермолая зеленые замшевые рукавицы, которые тот не подумал второпях спрятать. – Братцы! Вяжи их! Братнины рукавицы!.. Знать, они его ограбили... крути их!..

– Эй... Держи!.. Вяжи!.. Держи!.. – раздалось со всех сторон в кабаке, и толпа мужиков обступила бродяг.

– Чего вы, дьяволы! Ну что, – кричал Ермолай, становясь в оборонительное положение, – ну, что вам надо?..

– Откуда у тебя рукавицы, разбойник?.. – произнес купец, хватая его за грудь.

– На дороге нашел!..

– Врешь, собачий сын!.. – сказал целовальник, вытаски-

вая в эту самую минуту из-за пазухи Ермолая замшевый бу-
мажник. – А это что?..

Не прошло минуты, как уже Ермолай лежал в сених, свя-
занный по рукам и по ногам; Петрушку также выводили из
кабака; проходя мимо товарища, он сказал дрожащим, пре-
рывающимся голосом:

– Братцы... отпустите меня... за что вы меня тащите...
это вот он с своим братом... мужик тот... седой-то... обо-
брали купца... отпустите!..

– Как! Убили! – завопил купец, вбегая в сени. – Обобра-
ли!.. – И он кинулся как полоумный вон из избы.

– Эй, целовальник! Хозяин! – закричал Матвей Трофи-
мыч рыжему Борису, все еще хлопотавшему подле Ермо-
лая. – Посылай скорее в их вотчину... в накладе не будешь...
скорей парня на лошади посылай в их деревню за десят-
ским... за управляющим... да ну, брат, проворней!..

Пока прикручивали Петра, в дверях кабака послышался
страшный шум; в то же время на пороге показалось несколь-
ко мужиков, державших Антона; ухватив старика кто за что
успел, они тащили его по полу с такою яростью, что даже
не замечали, как голова несчастного, висевшая набок, стука-
лась оземь. Глаза Антона были закрыты, и только судорож-
ное вздрагивание век и лба свидетельствовало о его жизни.
Сквозь стиснутые зубы и на бледных губах его проступала
кровь. Толстоватый ярославец, казалось, более других был в
бешенстве; он не переставал осыпать его ударами.

– Вяжи его, разбойника... вяжи!.. – кричал он хриплым голосом. – Вишь, надул... мошенник... надул, собака... а я-то, волк меня съешь, еще плакал было над ним... тащи его!.. разбойника!.. Вяжи его! Вяжи!..

– Эй, Степка! Бери скорей лошадь, валяй в Троскино село, – сказал целовальник вбежавшему дворнику, – ступай прямо к управляющему, зови его сюда... да скажи, чтоб слал народу, разбойников, вишь, поймали из их вотчины...

Тот опрометью кинулся под навесы. Немного погодя Степка мчался что есть духу по дороге в Троскино. Рыжий Борис, Матвей Трофимыч и еще несколько человек из мужиков стояли между тем на крылечке, махали руками и кричали ему вслед:

– Ступай, не стой... мотри, скорей... зови управляющего, зови народ... погоняй, не стой!..

Х

Заключение

Неделю спустя после происшествия в кабаке на улице села Троскина толкалась почти вся деревня; каждый, и малый и взрослый, хотел присутствовать при отправлении разбойников. Пестрая толпа из мужиков, баб, девок, ребят и даже младенцев, которых заботливые матери побаивались оставить одних-одинешеньких в качках, окружала с шумом и говором две подводы, запряженные парюю тощих деревенских кляч. В телегах покуда никого еще не было. Прислонившись к одной из них, стояли друг подле дружки два седых старика в рыжеватых коротеньких полушубках, туго подтянутых ремнем; медные восьмиугольные бляхи, пришитые к правой стороне груди каждого из них, и обритые бороды давали знать, что это были не кто иные, как наемные сотские из стана. Оба дружелюбно разговаривали с молодым парнем, которому, в качестве хозяина очередной подводы, следовало везти конвойных до ближнего острога. Поодаль от этой группы находился служивый этапной команды; опершись на ружье и повернувшись спиною к хозяину другой телеги, малому лет шестнадцати, он то и дело поглаживал щетинистый ус свой и вслед за тем лукаво подмигивал близстоявшим бабам. По другую сторону подвод сидели, прислонившись на ось, кузнец Вавила и его помощник. Последний расположился на

кожаном мешке, из которого выглядывали железные кольца и молоты; он свирепо почесывал затылок и, закинув голову назад, всматривался почему-то очень пристально в небо, покрытое густыми беловатыми тучами. К ним-то толпа и напирала сильнее всего. Каждый старался просунуть голову, чтобы только хоть вскользь да поглядеть на новые березовые колодки, лежавшие грудой у ног Вавилы. Высокий плешивый старик, стоявший впереди других, не утерпел даже, чтобы не прикоснуться к ним несколько раз ногою.

– Эки штуки!.. – произнес он наконец, проворно отдергивая ногу.

– А чего надо? – сказал сурово Вавила. – Не видал, что ли?..

– Нет, не приводилось, – отвечал тот с сожалением, – занятно больно...

– А что, дядя Вавила, я чай, куды тяжелы станут? – спросила, в свою очередь, красная, как мак, и востроносая, как птица, баба, вытягивая вперед длинную, костлявую свою шею.

– Вестимо, тяжелы... попробуй... – отвечал кузнец.

– Ну, ты что лезешь... нешто не видала? Пошла, вот как двину!.. – вымолвил высокий плешивый старик, выжимая востроносую бабу из толпы и снова устремляя круглые свои глаза на колодки – предметы всеобщего любопытства.

– Где ты их срубил, дядя Вавила, в осиннике, что ли? – вымолвила румяная курносая девка, повязанная желтым плат-

ком, высунув голову из-за плеч сторбленной, сморщенной старушонки.

– А тебе на што?..

– Эх, я чай, побредет теперь наш Антон, – заметил кто-то далее. – Вот привелось на старости лет надеть сапожки с какой оторочкою...

– Поделом ему, мошеннику!.. А разе кто велел ему на старости лет принять такой грех на душу... Шуточное дело, человека обобрать!..

– Да, братцы, не думали не гадали про него, – начал опять другой. – Далась мы диву: чтой-то у нас за воры повелись: того обобрали да другого; вот намедни у Стегнея все полотно вытащили... а это, знать, всё они чудили... Антон-от, видно, и подсоблял им такие дела править... Знамо, окромя своего некому проведать, у кого что есть...

– Поделом ему, мошеннику, поделом... Что вы его, разбойника, жалеете, братцы...

– Тетка Федосья, была ты ономясь на улице, как провели ту побирушку-то, что к нам в деревню шлялась?

– Нет, матушка, не привелось видеть; ведь она, сказывают, мать тому бедному-то?

– Мать... Трифон Борисов баил, уж такая-то, говорит, злыдная, невесть какая злыдная; руку, говорит, чуть было не прикусила ему, как вязать-то ее зачали.

– Что ты?

– Провалиться мне на этом месте, коли не сказывал... Вот,

тетка Федосья, и на уме ни разу не было, чтобы она была таковская... Поглядеть, бывало, смиренная, смиренная... еще и хлебшки подашь ей, бывало...

Словом, всюду в толпе, окружавшей подводы, раздавались толки да пересуды. Но вдруг толпа зашумела громче, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут! Ведут!»

На противоположном конце улицы показались тогда Ермолай, Петр, Архаровна и Антон; впереди их выступал с озабоченным, но важным видом Никита Федорыч, провожаемый сотскими и старостами; по обеим сторонам осужденных шли несколько человек этапных солдат в полной походной форме, с ружьем и ранцем; позади их валила толпа народу. Между нею и Антоном, который шел позади товарищей, тащилась, переваливаясь с ноги на ногу и припадая беспрестанно на колени, Варвара, сопровождаемая Ванюшей и его сестрою, ревелившими на всю деревню. В стороне от всех бежала, то тискаясь, то рассыпаясь, пискливая ватага девчонок и ребятишек. Рыженькая хромая девочка, прыгая на одной ножке и коверкаясь как бесенок, опережала всех.

– Пошли прочь! – крикнул сердито Никита Федорыч, расталкивая мужиков и баб, теснившихся вокруг телег. – Чего стали?.. Пошли, говорю. Ну, ты, вставай да набей-ка им колодки, мошенникам. А вы смотрите, братцы, – продолжал он, обращаясь ласково к старикам, сотским и солдатам, – не зевайте, держите ухо востро!

Никита Федорыч отошел несколько в сторону.

Вавила приступил немедленно к исполнению приказа. В толпе воцарилось глубокое молчание, так что с одного конца улицы в другой можно было ясно расслышать удары молотка, которым кузнец набивал колодки.

– Эх, брат Вавила, – произнес бойко Ермолай, подставляя ногу, – вот где привелось свидеться!.. Помнишь, кум, как пивали вместе? Лихой, брат, был ты парнюха!

– Садись, мошенник! – сказал ему Никита Федорыч. – Садись! Вот погоди-ка, тебе покажут парнюху.

Ермолай с помощью сотских взгромоздился на телегу подле Архаровны и Петра. Когда очередь пришла Антону и Вавила, усадив его на ось телеги, ударил в первый раз по колодке, среди смолкнувшей толпы раздался вдруг такой пронзительный крик, что все невольно вздрогнули; почти в то же мгновение к ногам Антона бросилась Варвара; мужики впихнули за ней Ваню и Аксюшу. Понёва Варвары распалась лохмотьями; волосы ее, выпачканные грязью, обсыпали ей спутанными комками лицо и плечи, еле-еле прикрытые дырявою рубахой. В беспамятстве своем она ухватилась обеими руками за ноги мужа, силясь сорвать с них колодки.

– Отец ты наш... отец, батюшка... Ой, родные, спасите... вы меня... не пущайте его, родного сиротинушку, на кручину лютую... На кого-то, отец, оставишь ты нас, горемычных!..

Далее ничего нельзя было разобрать: протяжное рыдание заглушило ее несвязную речь. Ваня и сестра его стояли непо-

движно подле дяди и обливались слезами.

– Эй, братцы! – закричал снова Ермолай. – Мотрите, по старой дружбе не давайте моих ребят в обиду, они непричастны!.. Эй вы, девки, и юбки-голубки, сорочки-белобочки, – присовокупил он, подмигивая глядевшим из толпы девушкам, – мотрите, будьте им отцами!..

Антон, сидевший по сю пору с видом совершенного онемения, медленно приподнял голову, и слезы закапали у него градом.

Он хотел что-то сказать, но только махнул рукой и обтер обшлагом сермяги глаза.

– Ну, сажай его! – сказал Никита Федорыч, указывая сотским на Антона. – А вы-то что ж стоите?.. Садись да бери вожжи; что рты-то разинули!.. Эй вы, старосты, оттащите ее... было ей время попрощаться с своим разбойником... Отведите ее... Ну!..

– Батюшка! – вскричала Варвара, судорожно протягивая руки к мужу. – Ба... тю... шка!.. Ох, Антонушка!.. Ох!..

И баба грохнулась со всех ног наземь.

– Эх-ма, тетка Варвара, – начал опять Ермолай, взмогшись на перекладину телеги. – Полно! Его не разжалобишь (он указал на Никиту Федорыча): ишь он как пузо-то выставил...

– Трогай! – закричал сердито Никита Федорыч, махнув рукою мужикам, усевшимся на облучки подвод.

Они ударили по лошадям, присвистнули, и телеги пока-

тились.

Толпа кинулась вслед за ними; впереди всех, подле самых колес, скакала, вертясь и коверкаясь на одной ножке, рыжая хромая Анютка.

– Прощайте, ребята, прощайте! – кричал Ермолай, размахивая в воздухе шапкой. – Не поминайте лихом! Прощайте, братцы, прощайте, нас не забывайте!

Телеги приближались к околице. В это время белые густые тучи, висевшие так неподвижно на небе, как бы разом тронулись, и пушистые хлопья первого снега повалили, кружась и вертясь, на землю. Вмиг забелела улица Троскина, кровли избышек, старый колодец, а наконец и поля, растянувшиеся далеко-далеко вокруг всей вотчины; холодный ветер дунул сильнее, и снежная сеть заколыхалась, как тяжелое необъятное покрывало. Никита Федорыч закутался плотнее в свой архалук и обернулся к околице; но ничего уже не увидел управляющий; даже крайние избы села едва заметно мелькали сквозь пушистые хлопья валившего отовсюду снега.

– Эки мошенники! – произнес он, отряхиваясь и продолжая путь. – Ведь вот говорил же я, что вся семья такая... Недаром не жалел я их, разбойников... Ну, слава богу, насилу-то, наконец, отделался!.. Эк, подумаешь, право, заварили дело какое... с одним судом неделю целую, почитай, провозились... Ну, да ладно... Теперь по крайней мере и в помине

их не будет!..

Размышляя таким образом, Никита Федорыч не заметил, как подошел к конторе. Голос Анны Андреевны мгновенно вывел его из задумчивости.

– Никита Федорыч, а Никита Федорыч, ступай чай пить! – прокричала она, высовывая из форточки желтое лицо свое, перевязанное белой косынкой. – Ступай чай пить, полно тебе переваливаться-то!..

– Иду, иду, барыня-сударыня, – отвечал супруг с достоинством и вошел в сени старого флигеля, не заметив Фатимки, которая стояла за дверьми и, закрыв лицо ручонками, о чем-то разливалась-плакала.

Рыбаки

Часть первая

I

Два пешехода

Северная часть Тульской губернии, которая, как известно, отделяется от уездов Московской губернии широкою лентою Оки, может назваться одною из самых живописных местностей средней России. Она подымается крутым хребтом у самой реки и представляет нескончаемую перспективу зеленеющих выпуклых холмов, долин и обрывов, которые с одной стороны смотрятся в Оку, с другой – убегают, постепенно смягчаясь, во внутренность земель. Тут на протяжении нескольких верст не встречаешь иногда гладкой, ровной десятины: холмы идут за холмами, образуя бесчисленное множество изгибов и лощин, на дне которых журчат ручьи, иногда даже маленькие речки вроде Смедвы. На каждом шагу открываются новые ландшафты; глаза не утомляются скучным однообразием степи. Но зато дороги (как и следует, впрочем, ожидать) решительно здесь непроходимы. Этому

столько же способствует почва и расположение самой местности, сколько частое сообщение между деревнями и рекою, близость которой всегда оживляет окрестность. Каждый путник, каждая кляча, соображаясь с естественными препятствиями и руководимые своим собственным соображением и опытом, проводят здесь свою тропинку. Кроме того, каждое время года обозначает еще свой путь: где по весне проходила дорога, там к лету образовался овраг, – и наоборот: где был овраг, там благодаря осеннему наносу ила открывалась ровная поверхность. Местами сосновый лес замыкает дорогу и так тесно сжимает ее, что нет ствола, на котором бы оси колес не провели царапины или не положили дегтярного знака; местами предстоит въезжать по самую ступицу в сыпучий песок или, что еще хуже, приходится объезжать на авось топкие места на дне лощин. Все это в совокупности составляет изрядный хаос, часто, впрочем, служащий преддверием наших больших рек с нагорной стороны.

В последних числах марта, в день самого Благовещения, на одной из таких дорог, ведущей из села Сосновки к Оке, можно было встретить оборванного старика, сопровождаемого таким же почти оборванным мальчиком. Время было раннее. Снежные холмистые скаты, обступившие дорогу, и темные сосновые леса, выглядывающие из-за холмов, только что озарились солнцем.

Со всем тем в воздухе начинала уже чувствоваться какая-то легкость, предвещавшая к полудню оттепель. Время

полной распутицы еще не наступило; но не было уже никакой возможности ехать на санях: снег, подогреваемый сверху мартовским солнцем, снизу – отходившей землей, заметно осаживался; дорога не держала копыта лошадей; темно-бурый цвет резко уже отделил ее от полей, покрытых тонкою ледяною коркой, сквозь которую проламывались черные засохшие стебли прошлогодних растений. По мере того как солнце подымалось выше, небосклон со стороны Оки синел и покрывался туманом, вернейшим знаком скорой оттепели, по мнению местных пахарей и рыболовов. Скаты холмов, обращенные к югу, начинали желтеть и мокнуть; лощины наполнялись водою; кое-где даже показывалась земля, усеянная камнями. Этим, впрочем, и ограничивались признаки наступавшей весны: на проталинках не видно было покуда ни жаворонка, ни грача – первого возвестника тепла, первой хлебной птицы; землей еще не пахло...

Безнадежное состояние сосновской дороги действовало различно на двух путешественников. Мальчик, бежавший в некотором расстоянии от старика, кричал, свистел, производил отчаянные скачки, умышленно заползал в лужи и радостно бил ногами в воде. Старик был не в духе. Он также приплясывал в лужах, но это приплясыванье выражало скорее явную досаду, нежели радость: каждый раз, как лаптишки старика уходили в воду (а это случалось непрерывно), из груди его вырывались жалобные сетования, относившиеся, впрочем, более к мальчику, баловливость которого бы-

ла единственной причиной, заставлявшей старика ускорять шаг и часто не смотреть под ноги. Но мальчик не обращал, по-видимому, внимания на жалобные возгласы преклонного своего товарища; казалось, напротив, он еще усерднее принимался тогда шмыгать по лужам.

– Ах ты, окаянный! – кричал старик, и всякий раз с каким-то бессильным гневом, который походил скорее на жалобу, чем на угрозу. – Ах ты, шавель ты этакая! Ступай сюда, говорят!.. Пстой, погоди ж ты у меня! Ишь те!.. Пстой! Пстой, дай срок!.. Вишь, куда его носит!.. Эхва!.. Эхва, куда нелегкая носит!.. Чтоб те быки забодали... У-у... Ах ты, господи! Царица небесная! – заключал он, ударяя руками об полы прорванной сермяги.

Мальчик останавливался, устремлял на спутника пару черных лукавых глаз и, выкинув совершенно неожиданно новую какую-нибудь штуку, продолжал бежать вперед по дороге.

Видно было по всему, что он подтрунивал над стариком и ни во что не ставил его угрозы.

И в самом деле, жалкий, плаксивый вид старика ни в ком не мог пробуждать страха. Все существо его, казалось, насквозь проникнуто было вялостью и бессилием. Свойства эти не были, однако ж, следствием усталости или преклонности лет: три-четыре версты от Сосновки до того места, где мы застали его, никого не могли утомить; что ж касается до лет, ему было сорок пять, и уж никак не более пятидесяти –

возраст, в котором наши простолюдины благодаря постоянной деятельности и простой, неприхотливой жизни сохраняют крепость и силу. Отсутствие энергии было еще заметнее на суетливом, худощавом лице старика: оно вечно как будто искало чего-то, вечно к чему-то приглядывалось; все линии шли как-то книзу, и решительно не было никакой возможности отыскать хотя одну резкую, положительно выразительную черту. Худенький нос совершенно неопределенного очертания печально свешивался над провалившимся полуоткрытым ртом, который, по привычке вероятно, сохранял такое выражение, как будто старик униженно что-нибудь выпрашивал; серенькие глазки постоянно щурились, как будто собирались плакать.

Явное намерение усилить по возможности свой и без того уже жалкий, плаксивый вид придавало всей наружности старика что-то ползчивое и униженное.

Дядя Аким (так звали его) принадлежал к числу тех людей, которые весь свой век плачут и жалуется, хотя сами не могут дать себе ясного отчета, на кого сетуют и о чем плачут. Если было существо, на которое следовало бы по-настоящему жаловаться дяде Акиму, так это, уж конечно, на самого себя. История его заключается вся в нескольких строках: у Акима была когда-то своя собственная изба, лошади, коровы – словом, полное и хорошее хозяйство, доставшееся ему после отца, зажиточного мужика, торговавшего скотом. Но не впрок пошло такое добро. Не привыкши сызмала ни к

какой работе, избалованный матерью, вздорной, взбалмошной бабой, он так хорошо повел дела свои, что в два года стал беднейшим мужиком своей деревни. Крестьянину разориться нетрудно: прогуляй недели две во время пахоты да неделю в страдную, рабочую пору – и делу конец! Детей не было у Акима: после смерти матери он остался один с женою. Жена его, существо страдальческое, безгласное, бывши при жизни родителей единственной батрачкой и ответчицей за мужа, не смела ему перечить; к тому же, как сама она говорила, и жизнь ей прискучила. Молча жила она, молча сошла и в могилу. Дела Акима пошли тогда еще плоше. Остался он наконец без крова и пристанища, или, как выразительно сказал его сосед, остался он крыт светом да обнесен ветром. Аким заплакал, застонал и заохал. До того времени он в ус не дул; обжигался день-деньской на печке, как словно и не чаял своего горя. Но убивайся не убивайся, а жить как-нибудь надо. Пошел Аким наниматься к соседям в работники. Но уживался он недолго на одном и том же месте. Этому не столько содействовала лень, сколько безалаберщина и какая-то странная мелочность его нрава. Требовалось ли починить телегу – он с готовностью принимался за работу, и стук его топора немолчно раздавался по двору битых два часа; в результате оказывалось, однако ж, что Аким искромсал на целые три подводы дерева, а дела все-таки никакого не сделал – запряг прямо, как говорится, да поехал криво! Хозяин поручает ему плетень заплести: ладно! Аким отправляется в

болото, нарубают целый воз хворосту, возвращается домой, с песнями садится за работу, но вместо плетня выплетает настилку для подводы или верши для лова рыбы. В самонужную рабочую пору он забавляется изделием скворечниц или дудочек для ребятишек. Требуется ли исправить хомуты – он идет покрывать крышу; требуется ли покрывать крышу – он прочищает колодец. Но зато в разговоре, разговоре дельном, толковом, никто не мог сравниться с Акимом; послушать его: стоя едет, семерых везет! Жаль только, что слова его никогда не соответствовали делу: наговорил много, да толку мало – ни дать ни взять, как пузырь дождевой: вскочил – загремел, а лопнул – и стало ничего!

Раз нанялся он работником у одного смедовского мельника. Мельнику встретилась надобность отлучиться недели на две из дому. Накануне отъезда приводит он Акима к плотине и говорит ему:

– Смотри, – говорит, – вот в этом месте вода начинает подсачиваться; завтра же чем свет вали сюда землю и навоз. Долго ли до греха: нет-нет да и плотину промоет...

– Как не промыть! – говорит Аким рассудительным, деловым тоном. – Тут не только промоет – все снесет, пожалуй. Землей одной никак не удержишь – сила! Я, – говорит, – весь берег плитнячком выложу: оно будет надежнее. Какая земля! Здесь камень только в пору!

Но этим еще не довольствуется Аким: он ведет хозяина по всем закоулкам мельницы, указывает ему, где что плохо,

не пропускает ни одной щели и все это обещает исправить в наилучшем виде. Обнадеженный и вполне довольный, мельник отправляется. Проходят две недели; возвращается хозяин. Подъезжая к дому, он не узнает его и глазам не верит: на макушке кровли красуется резной деревянный конь; над воротами торчит шест, а на шесте приделана скворечница; под окнами пестреет вычурная резьба...

– Ай да Аким! Вот нажил себе работника: мастак, нечего сказать! На все руки парень!

Но в это время глаза мельника устремляются на плотину – и он цепенеет от ужаса: плотины как не бывало; вода гуляет через все снасти... Вот тебе и мастак-работник, вот тебе и парень на все руки! Со всем тем, боже сохрани, если недовольный хозяин начнет упрекать Акима: Аким ничего, правда, не скажет в ответ, но уж зато с этой минуты бросает работу, ходит как словно обиженный, живет как вон глядит; там кочергу швырнет, здесь ногой пихнет, с хозяином и хозяйкой слова не молвит, да вдруг и перешел в другой дом.

В продолжение семи лет он столько переменил хозяев, что даже прозвища их не помнил.

Живал он в пастухах, нанимался сады караулить, нанимался на мельницах, на паромах, на фабриках, исходил почти все дома во всех приречных селах – и все-таки нигде не пристраивался.

Раз, однако ж, счастье как словно улыбнулось ему. Это произошло ровно за восемь лет до начала нашего расска-

за. Аким случайно как-то встретился с одинокой вдовствующей солдаткой, проживавшей в собственном домку, на собственной земле; он нанялся у нее батраком и прожил без малого лет пять в ее доме. Не следует заключать из этого, что Аким взялся наконец за ум и решился сделаться деловым мужиком: ничуть не бывало! Он остался все тем же пустопорожним работником и ни на волос не изменил своего нрава. Еще менее следует отнести такой факт к необыкновенной терпимости или сговорчивости солдатки. Новая хозяйка Акима была самая задорная, назойливая и беспокойная баба; по уверению соседок, она ела и «полоскала» своего работника с ранней утренней зари вплоть до поздних петухов. Несмотря на такое частое полосканье, Аким не думал, однако ж, расставаться с домом солдатки. Словоохотливые соседки утверждали, впрочем – положительно утверждали, что такое упорство со стороны Акима единственно происходило из привязанности его к сыну хозяйки, родившемуся будто бы год спустя после вступления батрака в дом солдатки. Не знаю, насколько верны такие доводы; положительно известно только, что привязанность Акима к ребенку была действительно замечательна. Он не выпускал его из рук, нянчился с ним как мамка; не было еще недели ребенку, как уже Аким на собственные деньги купил ему кучерскую шапку. Он, правда, немножко ошибся в расчете: шапка не только свободно входила на голову младенца, но даже покрывала его всего с головы до ног; но это обстоятельство нимало

не мешало Акиму радоваться своей покупке и выхвалять ее встречному и поперечному. Бывало, день-деньской сидит он над мальчиком и дует ему над ухом в самодельную берестовую дудку или же возит его в тележке собственного изделия, которая имела свойство производить такой писк, что, как только Аким тронется с нею, бывало, по улице, все деревенские собаки словно взбесятся: вытянут шеи и начнут выть.

– Эх их подняло!.. Знать, Аким возит своего солдатенка! – говорят бабы.

Так прожил Аким пять лет, вплоть до той самой минуты, когда солдатка его отдала богу душу.

Последующая жизнь его была преисполнена горестей и неудач всякого рода. Если б кто-нибудь из окрестных мужиков нуждался в няньке, Аким мог бы еще как-нибудь пристроиться, но дело в том, что окрестным мужикам нужен был только дюжий деловой батрак. К тому же в эти пять лет Аким окончательно уже обленился и стал негоден ни к какой работе. Поднял он себе на плечи сиротинку-мальчика и снова пошел стучаться под воротами, пошел толкаться из угла в угол; где недельку проживет, где две – а больше его и не держали; в деревне то же, что в городах, – никто себе не враг. «На тебе хлебца, да и бог с тобой!» С этого-то времени, понукаемый большею частью нуждою, и начал он набрасывать на себя жалкенький, плаксивый вид, имевший целью возбуждать сострадание ближних. Цель эта с каждым днем достигалась плоше и плоше. Жаловался он всем, да никто уже его не слу-

шал!

Не далее как накануне того самого утра Благовещения, когда мы застали Акима на дороге, его почти выпроводили из Сосновки. Он домогался пасти сосновское стадо; но сколько ни охал, сколько ни плакал, сколько ни старался разжалобить своею бедностью и сиротством мальчика, пастухом его не приняли, а сказали, чтоб шел себе подобру-поздорову.

– Знаем мы, брат, каков ты есть, – говорили сосновцы, – не дают – просишь, дадут – бросишь. Такой уж ты человек уродился... Ступай с богом!

Поставленный этим отказом в самое крайнее, почти безвыходное положение, Аким решился прибегнуть к одной дальней родственнице по матери. Родственница была замужем за рыбаком, который жил на горной стороне Оки, верстах в семи или восьми от Сосновки. Не будь мальчика на руках у Акима, он ни за что не предпринял бы такого намерения: муж родственницы смолоду еще внушал ему непобедимый страх. Рыбак был человек деятельный, расторопный – крепкий был мужик, пустыми делами не занимался, любил работать, любил также, чтоб и люди не тормозили рук. Аким знал, что муж родственницы не больно его жалует: сколько раз даже рыбак гонял его от себя. Но, с другой стороны, дядя Аким знал также, что парнишка стал в сук расти, сильно балуется и что надо бы пристроить его к какому ни на есть ремеслу. Вот это-то обстоятельство неволью подавляло в нем страх и заставило его направиться к Оке. Забота

его заключалась теперь в том только, чтобы рыбак не отка- зал взять к себе парнишку. Сокрушаясь мыслями, которые, все без исключения, зарождались по поводу парнишки, дядя Аким не переставал, однако ж, кричать на мальчика и осы- пать его угрозами.

– Ах ты, безмятежный, пострел ты этакой! – тянул он жа- лобным своим голосом. – Совести в тебе нет, разбойник!.. Вишь, как избаловался, и страху нет никакого!.. Эк его но- сит куда! – продолжал он, приостанавливаясь и следя даже с каким-то любопытством за ребенком, который бойко пе- репрыгивал с одного бугра на другой. – Вона! Вона! Вона!.. О-х, шустер! Куда шустер! Того и смотри, провалится еще, окаянный, в яму – и не вытащишь... Я тебя! О-о, погоди, по- погоди, стой, придем на место, я тебя! Все тогда припомню!

В ответ на это мальчик приподнял обеими руками высо- кую баранью шапку (ту самую, что Аким купил, когда ему минула неделя, и которая даже теперь падала на нос), под- бросил ее на воздух и, не дав ей упасть на землю, швырнул ее носком сапога на дорогу.

– Ну вот, поди ж ты! А? – вымолвил дядя Аким с таким выражением, которое ясно показывало, что он скорее удив- лялся выходке баловня, чем сердился на него. – Эй, Гришут- ка, стой! Стой! Не по той дороге пошел! Вернись назад, вер- нись, говорят! – подхватил немного погодя Аким, отчаянно размахивая оборванными рукавами, – вернись назад: не хо- ди, говорят; ступай сюда! Ну, так и есть, пошел теперь по

снегу шмыгать!.. Да ты обогни лучше дорогу-то, баловень ты этакой!.. Нет, дует себе по снегу, да и полно! Что ты станешь с ним делать? Ну, на то ли я тебе сапоги-то купил, а? – продолжал старик жалобным, плаксивым голосом. – На то ли сапожишки-то купил, чтобы ты шмыгал ими по лужам! Сам лаптишки обул – дырявые лаптишки, ему сапоги дал; а он... ах ты, безмятежный, разбойник ты этакой, пра, разбойник! – заключил он, сворачивая на едва заметную тропинку и суетливо преследуя мальчика, который продолжал бежать вперед, очевидно увлекаемый против воли непомерною тяжестью новых сапогов своих.

II

Утро Благовещения

Дорога, на которую свернул теперь дядя Аким вместе с мальчиком, служила в зимнее время единственным сообщением между домом рыбака, куда они направлялись, и Сосновкой. Так как сообщения с этой последней было вообще очень мало – рыбак сбывал по большей части свою добычу в Коломну или села, лежащие на луговой стороне Оки, – то наши путники принуждены были идти почти наобум. Единственную путеводную точкой служил старый дуб, черневшийся в отдалении, на обнаженном холме. Держась этого направления, Аким и непокорный вожак его достигли наконец подошвы горы, за которой располагалась Ока.

Солнце не успело еще обогнуть гору, и часть ее, обращенная к путешественникам, окутывалась тенью. Это обстоятельство значительно улучшало снежную дорогу: дядя Аким не замедлил приблизиться к вершине. С каждым шагом вперед выступала часть сияющего, неуловимо далекого горизонта... Еще шаг-другой, и дядя Аким очутился на хребте противоположного ската, круто спускавшегося к реке.

С этого места открывалось пространство, которому, казалось, конца не было: деревни, находившиеся верстах в двадцати за Окою, виднелись как на ладони; за ними синели сосновые леса, кой-где перерезанные снежными, блистающими линиями. Ближе тянулись озера: покрытые снегом наравне с лугами, но обозначавшиеся серою каймою лесистых берегов своих, они принимали вид небольших продолговатых кругов; многие из них имели, однако ж, версты три в окружности. Столетние дубы, одиноко возвышавшиеся между озерами, мелькали как точки. Миллионы галок кружились отдельными стаями над лугами и озерами; крики их, пропадавшие в воздухе, еще сильнее давали чувствовать всю необъятность этого простора, облитого солнцем и пропадавшего в невидимом, слегка отуманенном горизонте.

Действие оттепели делалось особенно заметным по всему скату крутого берега, целиком обращенного к солнцу. Ручьи гремели со всех сторон; каждая колея и расселина обращались в поток, кативший мутную желтую воду к Оке, которая начинала уже синеть и отделялась земляною бахромою

от снежных берегов своих. Кое-где чернели корни кустов, освобожденные от сугробов; теплые лучи солнца, пронизывая насквозь темную чашу сучьев, озаряли в их глубине свежие, глянцевиные прутьики, как бы покрытые красным лаком; затверделый снег подтачивался водою, хрустел, изламывался и скатывался в пропасть: одним словом, все ясно уже говорило, что дуло с весны и зима миновала.

– Эге, овражки-то, овражки как разыгрались! Словно к Святой время пришло! – вымолвил Аким, прикладывая ладонь к глазам и озираясь на стороны, чтоб отыскать мальчика, который, присев на корточки подле потока, швырял в воду камни. – Опять задурил! Вона!.. Вона!.. Эхва! Ах ты, господи! Да угомонись ты хоть на время-то. Ну, куда те несет? А? Куда? А... а?.. Ступай сюда, бесстыжий ты этакой!.. Куда опять побежал? Ступай сюда!.. Вон нам куда идти-то, вон куда! – промолвил старик, указывая левою рукой на подошву ската.

С той точки, где стоял Аким, дом рыбака заслонялся крутыми выступами берега. Он показался тогда лишь, когда старик подошел к краю широкой пропасти, расходившейся амфитеатром. Жилище рыбака располагалось в глубине этого амфитеатра, на возвышенной площадке, которую не затопляла вода даже и в самые сильные разливы. Оно состояло из избы и нескольких навесов, соединенных плетнями; окна избы были обращены на реку. Часть площадки, находившаяся за избыю, была занята огородом: ряды тоненьких по-

лосок, которые чернели сквозь снег, явственно обозначали гряды. За огородом, у подошвы кремнистого обрыва, высилась группа ветел; из-под корней, приподнятых огромными камнями, вырывался ручей; темно-холодную лентой сочился он между сугробами, покрывавшими подошву ската, огибал владения рыбака и, разделившись потом на множество рукавов, быстро спускался к Оке, усыпая берег мелким булыжником; плетень огорода, обвешанный пестрым тряпьем и белыми рубахами, не примыкал к избе: между ними находился маленький проулок, куда выходили задние ворота. Тропинка, протоптанная от ворот, вела к задней части огорода, перескакивала через ручей, всползала на кручу и, извиваясь между кустарником, выбегала на окраину пропасти.

Ступив на тропинку, Аким снова повернулся к мальчику; убедившись, что тот следовал за ним не в далеком расстоянии, он одобрительно кивнул головою и начал спускаться.

По мере приближения к жилищу рыбака мальчик заметно обнаруживал менее прыткости; устремив, несколько исподлобья, черные любопытные глаза на кровлю избы и недоверчиво перенося их время от времени на Акима, он следовал, однако ж, за последним и даже старался подойти к нему ближе. Наконец они перешли ручей и выровнялись за огородом. Заслышав голоса, раздавшиеся на лицевой стороне избы, мальчик подбежал неожиданно к старику и крепко ухватил его за полу сермяги.

– Э, э! Теперь так вот ко мне зачал жаться!.. Что, бало-

вень? Э? То-то! – произнес Аким, скорчивая при этом лицо и как бы поддразнивая ребенка. – Небось запужался, а? Как услышал чужой голос, так ластиться стал: чужие-то не свои, знать... оробел, жмешься... Ну, смотри же, Гришутка, не балуйся тут, – ох, не балуйся, – подхватил он увещательным голосом. – Станешь баловать, худо будет: Глеб Савиныч потачки давать не любит... И-и-и, пропадешь – совсем пропадешь... так-таки и пропадешь... как есть пропадешь!..

Аким говорил все это вполголоса, и говорил, не мешая заметить, таким тоном, как будто относил все эти советы к себе собственно; пугливые взгляды его и лицо показывали, что он боялся встречи с рыбаком не менее, может статься, самого мальчика.

– Ну, пойдем... Чего ждать?.. Пойдем, Гришутка... – произнес нерешительно дядя Аким.

– Не пойду! – воскликнул вдруг мальчик, порываясь назад.

Но Аким успел ухватить его за руку.

– Чего же ты нейдешь?.. Чего взаправду боишься?.. Пойдем, говорят...

– Не хочу, не пойду! – повторял мальчик, упираясь ногами.

– А, так ты опять за свое, опять баловать!.. Постой, постой, вот я только крикну: «Дядя Глеб!», крикну – он те даст! Так вот возьмет хворостину да тебя тут же на месте так вот и отхлещет!.. Пойдем, говорю, до греха...

Побежденный таким доводом, мальчик тотчас же замолк и еще плотнее прижался к своему спутнику.

Аким перекрестился, взял мальчика за руку и, придав наружности своей самый жалкенький вид, пошел вперед, приковыливая с ноги на ногу.

Опасения Акима ничем, однако ж, не оправдались: в настоящую минуту он не застал рыбака перед крылечком избы. Тут находилась только жена Глеба Савинова – женщина уже пожилая, сгорбленная, и подле нее младший сын, хорошенький белокурый мальчик лет восьми, державший в руках какое-то подобие птицы, сделанной из теста. Для полноты сходства в глаза и нос этой птицы воткнуты были зерна овса. Такие же точно изображения наполняли подол матери; и тогда как одна рука ее поддерживала складки подола, другая брала поочередно одну птицу за другую и высоко подбрасывала их на воздух.

– Жаворонки прилетели! Жаворонки прилетели! – радостно кричала она, забрасывая простодушные изображения первой весенней птички на соседнюю кровлю и навесы. – Жаворонки прилетели! Вон, вон, еще один! Поглядь-кась, Ванюша, поглядь, соколик! Вон еще один! – продолжала она, суется вокруг мальчика, который, успев уже отведать жаворонка, бил, смеясь, в ладоши и жадно следил за всеми движениями матери.²³

²³ Обряд этот совершается простолюдинами Тульской губернии ежегодно в утро Благовещения; в это утро (так по крайней мере уверяет народ) прилетают

Ободренный такою мирною сценою, дядя Аким выступил вперед и очутился против старухи в ту самую минуту, как она подбрасывала свой последний жаворонок.

Аким низко поклонился.

– Матушка... Анна Савельевна... касатушка... – сказал он жалобным, нищенским голосом, – дай ему, парнечку-то моему, жавороночка!.. Дай, касатушка! Оробел добре... вишь... Дай, родная, жавороночка-то...

– Батюшки! Царица небесная! Акимушка! Ты ли это?

– Я, матушка, – произнес Аким, жалостливо свешивая набок голову. – Как вас бог милует? – присовокупил он со вздохом и перевесил голову на один бок.

– Живем по милости царицы небесной... Ну, а ты как, родимый? Откуда тебя бог несет?

– А из Сосновки, матушка, из Сосновки... О-ох, вас пришел проведать. Пойду-ка, мол, погляжу, говорю...

Аким поднял глаза и тут же остановился, увидев в воротах грозную фигуру Глеба Савинова.

Солнце освещало рыбака с головы до ног и позволяло различать тончайшие морщинки на высоком лбу его. То был рослый, плечистый мужик, с открытым, румяным лицом, сохранившим энергическое, упрямое, но далеко не грозное выражение. Черты его были строги и правильны; но они как

жаворонки – первые возвестители тепла. В ознаменование такой радости домохозяйки пекут из теста их изображения и разбрасывают их на кровли домов. (Прим. автора.)

нельзя более смягчались большими светло-серыми быстрыми глазами, насмешливыми губами и гладким, необыкновенно умным лбом, окруженным пышными кудрями черных волос с проседью. Наружность его принадлежала скорее сельчаку, чем человеку сурового, несообщительного нрава. Со всем тем стоило только взглянуть на него в минуты душевной тревоги, когда губы переставали улыбаться, глаза пылали гневом и лоб нахмуривался, чтобы тотчас же понять, что Глеб Савинов не был шутливого десятка. В настоящую минуту он находился, по-видимому, в отличнейшем настроении духа. Поддерживая обеими руками новенькие верши, которые торчали у него под мышками, он весело пошел навстречу гостю.

Жена дала ему дорогу и поспешила закрыть фартуком сына, который принялся было закусывать вторым жаворонком.

– А-а-а! Здорово, сватьяшка! Добро пожаловать! – воскликнул рыбак, насмешливо потрянув головою.

– Здравствуй, Глеб Савиныч! – сказал Аким таким голосом, как будто он только что лишился отца, матери и всего имущества.

– Здравствуй, сватьяшка!.. Ну-ну, рассказывай, отколе? Зачем?.. Э, э, да ты и парнишку привел! Не тот ли это, сказывали, что после солдатки остался... Ась? Что-то на тебя, сват Аким, смахивает... Маленько покоренастее да поплотнее тебя будет, а в остальном – весь, как есть, ты! Вишь, рот-то... Эй, молодец, что рот-то разинул? – присовокупил ры-

бак, пригибаясь к Грише, который смотрел на него во все глаза. – Сват Аким, или он у тебя так уж с большим таким ртом и родился?

– Накричал, Глеб Савиныч! – простодушно отвечал Аким.

– Что ж так? Секал ты его много, что ли?.. Ох, сват, не худо бы, кабы и ты тут же себя маненько, того... право слово! – сказал, посмеиваясь, рыбак. – Ну, да бог с тобой! Рассказывай, зачем спозаранку, ни свет ни заря, пожаловал, а? Чай, все худо можется, нездоровится... в людях тошно жить... так стало тому и быть! – довершил он, заливаясь громким смехом, причем верши его и все туловище заходили из стороны в сторону.

– Нет, Глеб Савиныч, что ж мне от людей бегать... Кабы не...

– Скажешь небось: люди виноваты?

– Свет ноне не тот стал, Глеб Савиныч, вот что! – произнес со вздохом Аким. – Я ли отлынивал когда от дела? Я ли не был работником? Никто от меня и синя-пороха не видал, не токмо другого худого дела какого, – а все я во всем повинен... Нет, свет ноне не тот стал, Глеб Савиныч: молодых много очень развелось – вот что! Вот хошь бы вечер: пришел я в Сосновку, прожил там восемь ден; бился, бился – норовил ихнее стадо стеречь. «Я ли, говорю, не пастух? Я ли эвтаго дела не ведаю?..», а они все свое... Взяли да молодого и найми! О-ох, такая уж, знать, моя сиротская доля!.. Ну, как вышло у меня это дело, я и мерекаю так-то се-

бе: пойдуча, говорю, понаведаюсь к... Глебу Савинычу... с родни он мне... авось, говорю, взмилуется он надо мною... Глеб Савиныч! Будь отцом родным! – промолвил Аким, низко кланяясь и нагибая левою рукою голову Гришки, – Глеб Савиныч, пособи, кормилец!

Но рыбак сделал вид, как будто не слышал последних слов Акима: он тотчас же отвернулся в сторону, опустил на землю верши и, потирая ладонью голову, принялся осматривать Оку и дальний берег.

– Эх, какую теплынь господь создал! – сказал он, озираясь на все стороны. – Так и льет... Знатный день! А все «мокрjak»²⁴ подул – оттого... Весна на дворе – гуляй, матушка Ока, кормилица наша!.. Слава те, господи! Старики сказывают: коли в Благовещение красен день, так и рыбка станет знатно ловиться...

Во время этого монолога жена Глеба и дядя Аким не переставали моргать и подавать друг другу знаки; наконец последний сделал шаг вперед и кашлянул.

– Чего тебе? – нехотя спросил рыбак.

– Батюшка, Глеб Савиныч, пособи, кормилец!

– Экой ты, братец ты мой, какой человек несообразный! Заладил: пособи да пособи! Застала, знать, зима в летней одежде, пришла нужда поперек живота, да по чужим дворам: пособи да пособи! Ну, чем же я тебе пособлю, сам возьми

²⁴ Юго-западный ветер на наречии рыбаков и судопромышленников. (Прим. автора.)

В толк!

– Ты только выслушай, что я скажу тебе...

– А что слушать-то?

– Да выслушай только... Матушка, Анна Савельевна, хоть ты взмилуйся; скажи ты ему...

Старуха взглянула на мужа, но тотчас же понурила голову и стала перебирать складки передника.

– Ну, ступай в избу! – сказал рыбак после молчка, сопровождавшегося долгим и нетерпеливым почесыванием затылка. – Теперь мне недосуг... Эх ты! Во тоске живу, на печи лежу! – добавил он, бросив полупрезрительный-полунасмешливый взгляд на Акима, который поспешно направился к избе вместе со своим мальчиком, преследуемый старухой и ее сыном.

Глеб Савиныч проводил его глазами; наконец, когда дядя Аким исчез за воротами, рыбак сделал безнадежный жест рукой и сказал, выразительно трянуv головой:

– Пустой человек!

Затем он приподнял свои верши, сунул их под мышку и решительным шагом направился к берегу, где виднелись две-три опрокинутые лодки и развешанный, сушившийся на солнце бредень.

III

Семейство рыбака

Семейство рыбака было многочисленно. Кроме жены и восьмилетнего мальчика, оно состояло еще из двух сыновей. Старший из них, лет двадцати шести, был женат и имел уже двух детей. Дядя Аким застал всех членов семейства в избе. Каждый занят был делом.

У входа располагался второй сын, юноша лет девятнадцати. Он представлял совершеннейший тип тех приземистых, но дюжесплоченных парней с румянцем во всю щеку, вьющимися белокурыми волосами, белой короткой шеей и широкими, могучими руками, один вид которых мысленно переносит всегда к нашим столичным щеголям и возбуждает по поводу их невольный вопрос: «Чем только живы эти господа?» Парень этот, которому, мимоходом сказать, не стоило бы малейшего труда заткнуть за пояс десяток таких щеголей, был, однако ж, вида смиренного, хотя и веселого; подле него лежало несколько кусков толстой березовой коры, из которой вырубал он топором круглые, полновесные поплавки для невода. Наружность старшего сына, Петра, была совсем другого рода: исполинский рост, длинные члены и узкая грудь не обещала большой физической силы; но зато черты его отражали энергию и упрямство, которыми отличался отец. Сходства между ними было, однако ж, мало. Ли-

цо Петра сохраняло мрачное, грубое выражение, чему особенно способствовали черные как смоль волосы, рассыпавшиеся в беспорядке, вдавленные черные глаза, выгнутые густые брови и необыкновенная смуглость кожи, делавшие его похожим на цыгана, которого только что провели и надули. Петр и жена его, повернувшись спиной к окнам, пропускавшим лучи солнца, сидели на полу; на коленях того и другого лежал бредень, который, обогнув несколько раз избу, поднялся вдруг горою в заднем углу и чуть не доставал в этом месте до люльки, привешенной к гибкому шесту, воткнутому в перекладину потолка. Тонкая бечевка, привязанная одним концом к шесту, другим концом к правой руке жены Петра, позволяла ей укачивать ребенка, не прерывая работы (простой этот механизм придумал Глеб Савинов, строго наблюдавший, чтоб в доме его никто не бил попусту баклуши). Второй ребенок рыбака Петра, вооруженный ломтем хлеба, которого стало бы на завтрак тридцатилетнему батраку, валялся на неводе, в двух шагах от матери.

Петр, его брат и жена изредка перекидывались словами; все трое, особенно Петр, были как словно чем-то недовольны. Починка невода подвигалась вперед, поплавки умножались под топором Василия (так звали второго сына); но видно было, что работа шла принужденно. Василий часто опускал топор, садился на корточки и, толкнув дверь, устремлял глаза в сени, из которых можно было обозреть часть двора и ворота, выходившие на Оку. Петр реже отрывался от де-

ла; он вязал петлю за петлей и, несмотря на неудовольствие, написанное на каждой черте смуглого лица его, быстро подвигал работу. Время от времени подталкивал он локтем жену, которая, условившись, вероятно, заранее в значении этих толчков, поспешно вставала и принималась глядеть в окно. Посла этого она завертывала обыкновенно, как бы по дороге, к люльке и снова усаживалась к неводу.

Появление постороннего лица естественным образом должно было оживить присутствующих. Этому сильнейшим образом содействовала старушка Анна. Она не на шутку обрадовалась своему гостю: кроме родственных связей, существовавших между нею и дядей Акимом – связей весьма отдаленных, но тем не менее дорогих для старухи, он напоминал ей ее детство, кровлю, под которой жила она и родилась, семью – словом, все те предметы, которые ввек не забываются и память которых сохраняется даже в самом зачерствелом сердце. Оживленная воспоминаниями, она осадила дядю Акима вопросами, обласкала его и, не зная уже, чем бы выразить свою радость, принялась снаряжать для него завтрак. Между тем Петр и Василий, встречавшиеся уже не в первый раз с Акимом, вступили, слово за словом, в разговор. Сначала слышались расспросы о том, как поживают там-то и там-то, что поделывает тот-то, каковы дороги, что говорят на стороне, и проч. и проч.; наконец речь завязалась и сделалась общею. Младший сынишка Глеба, смотревший до того времени с каким-то немим притупленным

любопытством на спутника Акима, продолжавшего дико ко- ситься на все окружающее, подсел к нему ближе, начал улы- баться и даже вынул из-за пазухи дудку из муравленной гли- ны. Но все эти попытки первоначального ознакомления бы- ли вскоре прерваны старушкой, неожиданно явившейся из- за печки с горшком в одной руке, с чашкой и ложками – в другой. Суетливо перекидывая то одну ногу, то другую через невод, который шел изгибами по всему полу, она добралась наконец до стола.

– Прикушай, батюшка, прикушай, Акимушка, – промол- вила она, ставя свою ношу на стол, – я чай, умаялся с доро- ги-то? Куды-те, я чай, плохи стали ноне дороги-то! Парни- шечке-то положи кашки... потешь его... Сядь поди, болез- ный... А как бишь звать-то его?

– Гришутка, матушка Анна Савельевна, Гришутка!

– Сядь поди, Гриша, сядь, соколик!

– Ах ты, матушка ты наша! Ах, ах! Анна Савельевна, как нам за тебя бога молить! Ах ты, родная ты наша! – восклик- нул Аким, разводя руками и умиленно взглядывая на стару- ху.

Язык Акима, смазанный жирною ячменной кашей, обод- ренный ласковым, приветливым приемом, скоро развязался и замолол без усталости: дядя Аким, как уже известно, не прочь был покалякать. Не прерываясь на этот раз охами и вздоха- ми, которые, за отсутствием грозного Глеба Савинова, бы- ли совершенно лишними, он передал с поразительной ярко-

стью все свои несчастья, постигшие его чуть ли не со дня рождения. Из слов его оказалось, что свет переродился и люди стали плохи с того самого времени, как он лишился имущества и вынужден был наниматься батраком. Он ли не был работником? Он ли не старался? Нет! Не только никто не дал цены ему, но даже никто не сказал: спасибо! Затем дядя Аким перешел к воспоминаниям более современным и, пропустив почему-то житее свое у покойной солдатки, принялся пояснять настоящее свое положение. Он повторил вчерашнюю историю свою с сосновскими мужиками и объявил, что вот так и так, коли не вступится теперь Глеб Савиныч, коли не взмилуется его сиротством, придется и невесть за что приниматься.

– Да мне что! Куда бы еще ни шло! Пропадай, старая собака: туда и дорога! – примолвил он, махнув рукою. – Не о себе толкую... Вот кого жаль! – подхватил он, указывая на Гришку. – Его хотелось бы пристроить, к какому-нибудь делу произвести... И то сказать: много ли съели бы мы хлеба у Глеба Савиныча! Много ли нам надить? Ведь не то чтобы даром, братцы, не даром же, матушка Анна Савельевна! Знамо, не стал бы лежать на печи: послать куда, сделать ли что – во всем подсобил бы ему... Я ли не работник! Ну, вот и паренечек также. Вестимо, он теперь махочка: взять нечего; ну, а как подрастет, произойдет ваше рыбацкое рукомесло, так и он также подмогать станет... Я ведь не даром прошусь. Вот об этом-то более и хотел поговорить с Глебом Савины-

чем... Да вишь ты, он какой крепкий!.. А чего бы, кажись, ему отнекиваться? Я ведь не из-за денег, не из платы бьюсь: только из хлеба и хлопочу...

При этом Петр сомнительно покачал головою.

– Да поди, столкуй с ним, с отцом-то! Ты ему свое, а он те свое, – произнес он, поворачивая к гостю свое смуглое недовольное лицо, – как заберет что в голову, и не сговоришь никак! Хошь бы теперь в моем деле: уперся – нет да нет! А что нет?.. Вот теперь верстах во ста отселева звал меня хозяин – также рыбною ловлей промышляет: только куды! Богач: верст на сорок снял берега, да еще три озера нанимает; места привольные, заведение большое, и рыбы много... Тысяч на пять, сказывают, в одну Коломну рыбы-то продает!.. Ну так вот, звал он меня к себе, и деньги дает хорошие. Говорю наемдни отцу: нет да нет, только и слышал! Ну, а что нет-то? Ведь ему же стал бы носить деньги. Положим, хозяин дал бы мне полтора ста в год (сам сулил столько): ну все же в дом принес бы, по крайности, сколько-нибудь... А теперь что? Что живу я здесь, что нет меня, никакого толку: смерть прискучило! К тому же своя семья на руках, дети: мало ли нужда какая бывает!.. Скажешь отцу, бранится... «Пропьешь», говорит, либо другое что вымолвит. Живешь как словно в ту пору, когда на карачках ползал... Смерть прискучило! Вот хоть бы сама матушка: на что, кажись, тошно ей с нами расставаться, и та скажет: здесь делать мне нечего! Заведение малое – так только кормиться можно... Работа пустая, лов

плохой... Останься один брат Вася, и тот управится; а найми он работника подешевле, который... Ну, хоть бы вот возьми он тебя, так и за глаза. Нет же вот, поди! Стал на одном: нет да нет! Что хошь тут делай!

В эту самую минуту заскрипели ворота.

– Батюшка идет! – шепнула жена Петра, подсобляя старушке убрать со стола завтрак и бросаясь к неводу.

Все смолкли и усердно принялись за работу. Хозяйка, стоявшая уже у печки, гремела горшками как ни в чем не бывало.

На пороге избы показался старый рыбак.

Мы уже сказали, что Глеб Савиныч находился в отличном расположении духа; веселость его, несмотря на утро, проведенное в труде, нимало, по-видимому, не изменила ему.

– Хозяйка, – сказал он, бросая на пол связку хвороста, старых ветвей и засохнувшего камыша, – на вот тебе топлива: берегом идучи, подобрал. Ну-ткась, вы, много ли дела наделали? Я чай, все более языком выплетали... Покажь: ну нет, ладно, поплавки знатные и неводок, того, годен теперь стал... Маловато только что-то сработали... Утро, кажись, не один час: можно бы и весь невод решить... То-то, по-вашему: день рассвел – встал да поел, день прошел – спать пошел... Эх, вы!

– По сторонам не зевали, – пробормотал Петр, не подымая головы, – сколько велел, столько и сделали, коли не больше, – добавил он почти шепотом.

– Сделали, сделали! То-то сделали!.. Вот у меня так работник будет – почище всех вас! – продолжал Глеб, кивая младшему сыну. – А вот и другой! (Тут он указал на внучка, валявшегося на бредне.) Ну, уж теплынь сотворил господь, нечего сказать! Так тебя солнышко и донимает; рубаху-то, словно весной, хошь выжми... Упыхался, словно середь лета, – подхватил он, опускаясь на лавку подле стола, но все еще делая вид, как будто не примечает Акима.

– Я чай, умаялся, Глеб Савиныч, устал? – произнес дядя Аким заигрывающим голосом.

– Устал! А с чего устал-то? – полунебрежно-полупрезрительно возразил рыбак. – Нет, сват, нашему брату уставать не показано; наша кость не пареная; всякий труд на себя принимает... А и устал, не бог весть какая беда: поел, отряхнулся – и опять пошел!.. Хозяйка, ну-ткась, чем пустые-то речи говорить, пошевеливайся: давай обедать... пора... Сноха, подсоби ей... Постой, дай-ка мне наперед вон энтого парня-то, что из люльки-то кулаки показывает, – давай его сюда! Экой молодчина! Эки кулачищи-то, подумаешь! – заговорил рыбак, взяв внучка на руки и поставив его голыми ножками к себе на колени.

Во все время, как сноха и хозяйка собирали на стол, Глеб ни разу не обратился к Акиму, хотя часто бросал на него косвенные взгляды. Видно было, что он всячески старался замять речь и не дать гостю своему повода вступить в объяснение. Со всем тем, как только хозяйка поставила на стол

горячие щи со сметками, он первый заговорил с ним.

IV

За щами и кашей

– Чего ж ты, сватьяшка? Садись, придвигайся! – весело сказал Глеб, постукивая ложкою о край чашки. – Может статься, наши хозяйки – прыткие бабы, что говорить! – тебя уж угостили? А?

Старуха, находившаяся в эту минуту за спиною мужа, принялась моргать изо всей мочи дяде Акиму. Аким взял тотчас же ложку, придвинулся ко щам и сказал:

– Маковой росинки во рту не было, Глеб Савиныч!

– Ну, так что ж ты ломаешься, когда так? Ешь! Али прикажешь в упрос просить? Ну, а парнишку-то! Не дворянский сын: гляденьем сыт не будет; сажай и его! Что, смотрю, он у тебя таким бычком глядит, слова не скажет?

– Знамо, батюшка, глупенек еще, – отвечал Аким, суетливо подталкивая Гришку, который не трогался с места и продолжал смотреть в землю. – Вот, Глеб Савиныч, – подхватил он, переминаясь и робко взглядывая на рыбака, – все думается, как бы... о нем, примерно, сокрушаюсь... Лета его, конечно, малые – какие его лета! А все... как бы... хотелось к ремеслу какому приставить... Мальчишечка смысленый, вострый... куды тебе! На всякое дело: так и...

– Что говорить! Всякому свое не мыто бело! С чего ж те-

бе больно много-то крушиться? Он как тебе: сын либо сродственник приводится? – перебил рыбак, лукаво прищуриваясь.

– Нет... кормилец, приемыш... – пробормотал дядя Аким, жалобно скорчивая лицо.

– Вот как, приемыш... Слыхал я, сватьяшка, старая песня поется (тут рыбак насмешливо тряхнул головою и произнес скороговоркою): отца, матери нету; сказывают, в ненастье ворона в пузыре принесла... Так, что ли?

Тут он залился смехом, но вскоре снова обратился к гостю:

– Ну, сказывай, о чем же ты хлопочешь?

– Дядюшка Аким говорит, ему, говорит, хочется произвести, говорит, паренечка к нашему, говорит, рыбацкому делу, – неожиданно сказал Василий, высовывая вперед свежее, румяное лицо свое.

– Ох ты: говорит, говорит! – с усмешкою возразил рыбак. – Что ж, дело, дядя Аким, – подхватил он, снова обращаясь к гостю, – наше ремесло не ледащее. Конечно, рыбаку накладнее пахаря: там, примерно, всего одна десятина – ходишь да зернышко бросаешь: где бросил, тут тебе и хлеб готов... Ну, нашему брату не то... Рыбаку ли, охотнику ли требуется больше простору; к тому же и зернышко-то наше живое: где захочет, там и водится; само в руки не дается: поди поищи да погоняйся за ним! С начатия, знамо, трудненько покажется; ну да как быть! Не без этого – привыкнет! Так-

то и во всяком деле: тяжело сдвинуть только передние колеса, а сдвинул – сами покатятся!..

– Кабы твоя бы милость была, Глеб Савиныч, – жалобно начал Аким, – век бы стал за тебя бога молить!.. Взмилуйся над сиротинкой, будь отцом родным, возьми ты его – поставь к себе!..

– Куда мне его! У меня и своих не оберешься!

– Кормилец! – воскликнул Аким, подымая на рыбака слезливые глаза свои. – Вестимо, теперь он махочка! Способу не имеет, а подрастет – ведь тебе же, тебе работник будет!

– Коли в тебя уродился, так хоть сто лет проживет, толку не будет, – проговорил рыбак, пристально взглянув на мальчика.

– Батюшка, Глеб Савиныч, да что ж я такое сделал?

– А не больно много – об том-то и говорят!

Глеб окинул глазами присутствующих, посмотрел на младшего сына своего и снова устремил пристальный взгляд на Гришку.

– А который ему год? – спросил он после молчка.

– С зимнего Миколы восьмой годок пошел, батюшка, – поспешил ответить Аким.

– Стало, сверстник моему Ванюшке?

– Однолеточки, Глеб Савиныч, – отозвался Аким таким жалким голосом, как будто дело шло о выпрашивании настоящего хлеба обоим мальчикам.

– Что же? – сказал немного погодя рыбак. – Пожалуй, ма-

ЛОГО МОЖНО ВЗЯТЬ.

– Как нам за тебя бога молить! – радостно воскликнул Аким, поспешно нагибая голову Гришки и сам кланяясь в то же время. – Благодетели вы, отцы наши!.. А уж про себя скажу, Глеб Савиныч, в гроб уложу себя, старика. К какому делу ни приставишь, куда ни пошлешь, что сделать велишь...

Неожиданный могучий смех Глеба прервал дядю Акима.

– Э... э... ох, батюшка!.. Так ты, сват, ко мне в работники пришел наниматься!.. О-о, дай дух перевести... Ну, нет, брат, спасибо!

– Зарок дал...

– Ой ли?

– Как перед господом! Провалиться мне!

Рыбак залился пуще прежнего.

– Ну, нет, сватьяшка ты мой любезный, спасибо! Знаем мы, какие теперь зарок: слава те господи, не впервые встречаемся... Ах ты, дядюшка Аким, Аким-простота по-нашему! Вот не чаял, не гадал, зачем пожаловал... В батраки наниматься! Ах ты, шутник-балясник, ей-богу, право!

При этом дядя Аким, сидевший все время смирно, принялся вдруг так сильно колотить себя в голову, что Василий принужден был схватить его за руку.

– Ах я, глупый! Ах я, окаянный! – заговорил он, отчаянно болтая головою. – Что я наделал!.. Что я наделал!.. Бить бы меня, собаку! Палочьем бы меня хорошенько, негодного!.. Батюшка, Глеб Савиныч, – подхватил Аким, простирая

неожиданно руки к мальчику, мешаясь и прерываясь на каждом слове, – что ж я... как же?... Как... как же я без него-то останусь?... Батюшка!

– Твое дело: как знаешь, так и делай, – сухо отвечал рыбак. – Мы эти виды-то видали: смолоду напрял ниток с узлами, да потом: нате, мол, вам, кормильцы, распутывайте!.. Я тебе сказал: парнишку возьму, пожалуй, а тебя мне не надуть!

Аким опустил руки и повесил голову, как человек, которому прочли смертный приговор. Минуты две сидел он неподвижно, наконец взглянул на Гришку, закрыл лицо руками и горько заплакал.

Рыбак посмотрел с удивлением на свата, потом на мальчика, потом перенес глаза на сыновей, но, увидев, что все сидели понуря голову, сделал нетерпеливое движение и пригнулся к щам. Хозяйка его стояла между тем у печки и утирала глаза рукавом.

Несколько минут длилось молчание, прерываемое стуком одной только ложки.

– Вот что, Петрушка, – начал вдруг Глеб, очевидно с тою целью, чтоб замять предшествовавший разговор, – весна приходит: пора о лодках побеспокоиться... Ходил нынче смотреть – работы много: челнок вновь просмолить придется, а большую нашу лодку надо всю проконопатить. Сдаётся мне, весна будет ранняя; еще неделя либо две такие простоят, как нонешняя, глазом не смигнешь – задурит река;

и то смотрю: отставать кой-где зачала от берегов. Тогда не до «посудины»²⁵, – присовокупил он, приходя постепенно в свое шутовское расположение духа, – знай только неводок забрасывай да рыбку затаскивай! А в рыбе (коли только господь создаст ей рожденье), в рыбе недостачи, кажись, быть не должно! По приметам, лов нынче будет удачлив!

Петр, упорно молчавший во все время обеда, провел ладонью по волосам и поднял голову.

– Ты, батюшка, и позапрошлый год то же говорил, – сказал он отрывисто, – и тогда весна была ранняя; сдавалось потвоему, лов будет хорош... а наловили, помнится, немного...

– Чего ж тебе еще?.. Возами возить, что ли? – возразил отец довольно спокойно, чего никак не ожидали присутствующие, знавшие очень хорошо, что Глеб не любил противоречий, особенно со стороны детей. – Слава те господи, должны и за то благодарить... (Глеб жаловался между тем весь протекший год, что рыба плохо ловилась.) Покуда недостатка не вижу: сводим концы с концами; а что далее будет – темный человек: не узнаешь... Главное – требуется во всяком деле порядок наблюдать – вот что; дом – яма, стой прямо! Этим наш брат только и крепок!.. Вишь чего, возами возить захотел! Эх, ты, умница!.. Кабы с нашего участка, что нанимаем, рыбу-то возами возили, так с нас заломили бы тысячу, не то и другую... Сосновское общество знает счет: своего не упустит; а мы всего сто целковых за участок-то платим; каков

²⁵ Так рыбаки называют небольшие обиходные лодки. (Прим. автора.)

лов, такая и плата... А ты как думал?..²⁶

– Против этого я не спору.

– Ну, то-то же и есть! А туда же толкует! Погоди: мелко еще плаваешь; дай бороде подрасти, тогда и толкуй! – присо-вокупил Глеб, самодовольно посматривая на членов своего семейства и в том числе на Акима, который сидел, печально свесив голову, и только моргал глазами.

– Я не о том совсем речь повел, – снова заговорил Петр, – я говорю, примерно, по нашей по большой семье надо бы больше прибыли... Рук много: я, ты, брат Василий... Не по работе рук много – вот что я говорю.

– Э, Петрушка! Вижу, отселева вижу, куда норовишь багром достать! Ловок, нече сказать; подумаешь: щуку нырять выучит... Жаль только, мелки твои речи, пальцем дно доста-нешь...

– Доставай, пожалуй; я тебе правду говорю.

– Ой ли? А хочешь, я тебе скажу, какая твоя правда, – хочешь? Ноги зудят – бежать хотят, да жаль, не велят... Все, чай, туда тянет? А?

– Куда?

– Чтой-то за хитрец, право? Куда? Куда?.. Знамо, куда: в «рыбацкие слободки».

При этом веселость снова возвратилась к Глебу; лицо его

²⁶ Берега Оки, равно как и других рек, составляют собственность частных и казенных имений, к которым примыкают. Правление имений, соображаясь с местами более или менее удачными для лова рыбы, назначает им соответственную ценность и отдает их внаймы рыбакам. (*Прим. автора.*)

просияло; он зорко взглянул на сына и засмеялся.

– А хоть бы так, хоть бы и в «рыбацкие слободки»: я, чай, ведь не даром пойду, – произнес Петр отрывистым тоном.

– Что ж, много сулили? – спросил, посмеиваясь, отец.

– Я уж тебе сказывал, – нетерпеливо отвечал сын и отвернулся.

– Точно, сказывал... Слышь, сват Аким, какого я сынка возрастил?... Да полно тебе хлюпать-то! Послушай лучше наших речей... Слышь: полтора ста рублей сулят, а? А ты все плачешься да жалишься: добрыми людьми, говоришь, свет обеднел. Как нет добрых людей? Я вот, скажу тебе, одного знаю, – промолвил Глеб с усмешкою, косясь на Петра, – чарку поднесешь ему – ни за что не откажется! Такой-то, право, добрый, сговорчивый... Хозяйка, давай перемену; ставь кашу: что-то она скажет... Так как же, Петрушка, в рыбацкие слободки, ась? – продолжал, подтрунивая, отец.

– Оставь, батюшка: я с тобой не к смеху говорю, – сказал Петр, встряхивая волосами и смело встречая отцовский взгляд, – я говорю тебе толком: отпустишь на заработки – тебе лучше; и сам смекаешь, только что вот на своем стоишь.

Старый рыбак нахмурил брови; но это продолжалось одну секунду: лицо его снова засмеялось.

– Будь по-твоему, – сказал он, потешаясь, по-видимому, недовольными выходками сына, – ладно; ну, ты уйдешь, а в дому-то кто останется?

– Останутся ты да брат Василий; а когда мало, работника

наймешь – все сходнее...

– Ну, а работнику ты, что ли, из своей мошны станешь платить?

– Я на стороне добуду полтораста; работника наймешь ты за половину... другой и меньше возьмет...

Глеб провел ладонью по высокому лбу и сделался внимательнее: ему не раз уже приходила мысль отпустить сына на заработки и взять дешевого батрака. Выгоды были слишком очевидны, но грубый, буйный нрав Петра служил препятствием к приведению в исполнение такой мысли. Отец боялся, что из заработков, добытых сыном, не увидит он и гроша. В последние три дня Глеб уже совсем было решился отпустить сына, но не делал этого потому только, что сын предупредил его, – одним словом, не делал этого из упрямства.

– Ладно, – сказал он, – работник точно сходнее, коли станешь приносить в дом заработки... Ну, а где ж бы ты взял такого работника, который денег-то мало возьмет?

– А вот хошь бы дядюшка Аким; сам говорит: из-за хлеба иду. Чем он тебе не по нраву пришел? Года его нестарые...

Дядя Аким встрепенулся.

– Какие еще мои года! – произнес он, охорашиваясь.

– Полно, сват, что пустое говорить! Года твои точно не старые, да толку в том мало! С чего ж тебя никто не держит-то, а?

– Ох, Глеб Савиных, батюшка, и рад бы жил, – заговорил Аким с оживлением, какого вовсе нельзя было ожидать

от него, – и рад бы... Я ж говорил тебе: нынче старыми-то людьми гнушаются...

– Полно врать, – перебил Глеб, – человеку рабочему везде пробойная дорога...

– То-то, что нет, Глеб Савиныч, – подхватил Аким. – Придешь: «Нет, говорят, случись неравно что, старому человеку как словно грешно поперек сделать; а молодому-то и подзатыльничка дашь – ничего!» Молодых-то много добре развелось нынче, Глеб Савиныч, – вот что! Я ли рад на печи лежать: косить ли, жать ли, пахать ли, никогда позади не стану!

– Тебя послушать: как родился, так уж в дело годился! Полно молодцевать! Я ведь те знаю: много сулишь, да мало даешь! А все оттого, сам сказал: мало смолоду били!.. Эх, кабы учить тебя, учить в свое время, так был бы ты человек. Полно куражиться! Где тебе о чужих делах хлопотать, когда сам с собою не управился!.. Отцом обижен, кажись, не был, а куда пошло? Осталось ни кола ни двора, ни малого живота, ни образа помолиться, ни хлеба перекусить!.. Слоняешься, как шатун-бродяга, по белому свету да стучишь под воротами – вот до чего дошел! Куда ж ты годен после этого?

– Батюшка, Глеб Савиныч! – воскликнул дядя Аким, приподнимаясь с места. – Выслушай только, что я скажу тебе... Веришь ты в бога... Вот перед образом зарок дам, – примолвил он, быстро поворачиваясь к красному углу и принимаясь креститься, – вот накажи меня господь всякими болестями, разрази меня на месте, отсохни мои руки и ноги, коли в

чем тебя ослушаюсь! Что велишь – сработаю, куда пошлешь – схожу; слова супротивного не услышишь! Будь отцом родным, заставь за себя вечно бога молить!..

В ответ на это старый рыбак махнул только рукой и встал с места.

– Ну, ребята, – произнес он неожиданно, обращаясь к сыновьям, которые последовали его примеру и крестились перед образами, – пора за дело; бери топоры да паклю – ступай на берег!

Петр и брат его беспрекословно повиновались, взяли топоры и направились к двери. Старый рыбак проводил их глазами.

– Ну, а ты-то что ж, сват? Пойдешь и ты с нами? – принужденно сказал Глеб, поворачиваясь к Акиму, который стоял с поднятою рукой и открытым ртом. – Все одно: к ночи не поспеешь в Сосновку, придется здесь заночевать... А до вечера время много; бери топор... вон он там, кажись, на лавке.

Аким бросился без оглядки на указанное ему место, но, не найдя топора, засуетился как угорелый по всей избе. Хозяйка рыбака приняла деятельное участие в разыскании затерянного предмета и также засуетилась не менее своего родственника.

Во все продолжение этой сцены Глеб Савинов стоял у двери и не спускал с глаз жену и дядю Акима.

Наконец он выразительно потрянул головою, усмехнулся и вышел из избы.

V

Глеб Савинов

Старый рыбак, как все простолюдины, вставал очень рано. Летом и весной просыпался он вместе с жаворонками, зимою и осенью – вместе с солнцем. На другое утро после разговора, описанного в предыдущей главе, пробуждение его совершилось еще раньше. Это была первая ночь, проведенная им на открытом воздухе.

Наши мужички начинают спать на дворе с самого Благовещения. Несмотря на то что в эту пору утренники холоднее зимних, семейства покидают избу и перебираются в сени или клетки; даже грудные младенцы, и те (поневоле, впрочем) следуют за своими родителями. На печке остаются одни хворые старики и старухи. Переселение на дачу происходит, как видите, раненько: все, и малые и большие, корчатся от стужи под прорванными тулупишками, жмутся друг к дружке и щелкают зубами; но что прикажете делать! Таков уж исконный обычай!

Трудно предположить, однако ж, чтоб холод именно мог пробудить Глеба Савинова. Вот жар разве, ну, то совсем другое дело! Жар, как сам он говаривал, частенько донимал его; холод же не производил на Глеба ни малейшего действия.

«С начатия-то тебя как словно маненько и пощипывает; а там ничего, нуждушки мало! С холоду-то, знамо, человек

крепнет», – утверждал всегда старый рыбак. И что могла, в самом деле, значить стужа для человека, который в глубокую осень, в то время как Ока начинала уже покрываться салом и стынуть, проводил несколько часов в воде по пояс!

В настоящее утро лицо и одежда рыбака достаточно подтверждали всегдашние слова его: несмотря на довольно сильный мороз, он был в одной рубашке; в наружности его трудно было сыскать малейший признак принуждения или того недовольного, ворчливого выражения, какое является обыкновенно, когда недоспишь против воли. Видно было, что пробуждение его совершилось под влиянием самых приятных, счастливых мыслей. Как только приподнялся он с саней, стоявших под навесом и служивших ему ложем, первым делом его было взглянуть на небо.

Заря только что занималась, слегка зарумянивая край неба; темные навесы, обступившие со всех сторон Глеба, позволяли ему различить бледный серп месяца, клонившийся к западу, и последние звезды, которые пропадали одна за другою, как бы задуваемые едва заметным ветерком – предшественником рассвета. Торжественно-тихо начиналось утро; все обещало такой же красный, солнечный день, как был накануне.

Простояв несколько минут на одном месте и оставшись, по-видимому, очень доволен своими наблюдениями, рыбак подошел к крылечку, глядевшему на двор. Тут, под небольшим соломенным навесом, державшимся помощью двух

кривых столбиков, висел старый глиняный горшок с четырьмя горлышками; тут же, на косяке, висело полотенце, обращенное морозом в какую-то корку, сделавшуюся неспособною ни для какого употребления.

Глеб разбил пальцем ледяные иглы, покрывавшие дно горшка, пригнул горшок к ладони, плеснул водицей на лицо, помял в руках кончик полотенца, принял наклонное вперед положение и принялся тереть без того уже покрасневшие нос и щеки. После этой церемонии, не имевшей, по-видимому, никакой определенной цели, но совершенной, вероятно, по привычке или из угождения давно принятому обыкновению, рыбак повернулся к востоку и начал молиться. Лицо его, за минуту веселое, мгновенно приняло выражение строгой, задумчивой сосредоточенности.

Заря между тем разгоралась. Бледная полоса света, показавшаяся на востоке, окрасилась пурпуром и обняла весь горизонт; зарево росло и разливалось по небу. В дали, откуда еще сумрачной, но постепенно проясняющейся, стали открываться леса и деревни, кой-где задернутые волнистыми туманными полосами. Наконец и самый двор рыбака освободился от мрака. Румяный свет, проникавший сквозь щели плетня, позволял уже различать багры, кадки, старые верши и другие хозяйственные и рыбацкие принадлежности, наполнявшие темные углы. Со всем тем было все-таки очень еще рано. Тишина не прерывалась ни одним из тех звуков, какими приветствуется обыкновенно восход солнца: куры и голу-

би не думали подавать голоса; приютившись на окраине старой дырявой лодки, помещенной на верхних перекладинах навеса, подвернув голову под тепленькое, пушистое крыло, они спали крепчайшим сном. Все спало на дворе старого рыбака; сам хозяин только бодрствовал. Он принялся за дело тотчас же после молитвы. Дел, правда, больших не было: на всем, куда только обращались глаза, отражался строжайший порядок, каждая вещь была прибрана и стояла на месте. Но хороший хозяин никогда не доволен.

Посмотрите в деревнях на хлопотливых домохозяев, которых называют «затяглыми стариками». Дни целые, с утра и до вечера, проводят они у себя на дворе. Невелики, кажется, владения, имущество также не бог весть какое! Всего один навес, клеть, соха, телега, пара кляч, коровенка да три овцы – и хлопотать, кажется, не над чем! А между тем день-деньской бродит старичок по своему двору, стучит, суетится, и руки его ни на минуту не остаются праздными. Так же точно было и с нашим рыбаком: вся разница заключалась в том, может статься, что лицо его выражало довольство и радость, не всегда свойственные другим хозяевам. И то, впрочем, сказать надо: Глеб Савинов никогда еще не имел столько причин радоваться.

Весь вечер и даже часть ночи раздумывал он о вчерашней беседе. О сыне Петре Глеб, по правде молвить, помышлял не много: он давно уже решил отправить его в «рыбацкие слободы», как уже выше сказано; до сих пор одно толь-

ко упрямство мешало ему осуществить такое намерение. Все помыслы рыбака исключительно обращались на дядю Акима и его мальчика, и чем более соображал он об этом предмете, тем более приходил к счастливым выводам. По обыкновению своему, он не показал вчера только виду, но тотчас же смекнул, как выгодно оставить их у себя в доме. Недаром же весь прошлый вечер испытывал он дядю Акима, заставляя его приниматься за разные дела; недаром также оставил ночевать его. Как ни плох был дядя Аким, но все-таки легко мог таскать невод, плести сети, грести веслом. Как умом ни раскидывай, а платить за такую работу одним хлебом – дело сходное. Что Аким не станет сидеть сложа руки и даром пропускать трохи, за то ручался хозяин.

Глеб Савиныч, как и все люди, достигнувшие неусыпными трудами целой жизни некоторого благосостояния, крепко стоял за добро свое. Он, например, с трудом решился бы отрезать даром, так себе, за здорово живешь, от хлеба, испеченного для собственного семейства. Долгий опыт, научивший его, как тяжело достается хлеб, постоянный, добросовестный труд, горячая привязанность к семейству, к своим – все это невольным образом развило в нем тот грубый эгоизм, который часто встречаем мы в семьянистых мужиках. Впрочем, расчеты рыбака в особенности основывались на мальчике, которого привел женин родственник. Как бы ни велико было семейство простолюдина, лишний мальчик не бремя.

«Дочь – отрезанный ломоть, лишние зубы при хлебе; воз-

растет, прощайся с нею, выдавай ее замуж, да еще снаряжай и приданое!»

Мальчик – иное дело: лишний столб, подпора и надежда дома, – везде пригодится. В самых многолюдных зажиточных крестьянских семьях встречаешь приемыша. Многие сметливые мужики дают даже денег бедному, обремененному семейством соседу, с тем чтобы тот отдал им на «воспитание» сынишку; они обязуются платить за приемыша подати, справляют за него все повинности. Бывают примеры, что хозяин усыновляет своего приемыша, женит его на родной дочери, передает ему весь дом и все хозяйство. Но такие примеры – исключение из общего правила. По большей части участь приемыша не представляет много утешительного. «Чужой человек!» И растет он, ничьему сердцу не близкий, никем не обласканный; ни одно приветливое слово, ни один ласковый взгляд не осветят детских лет его... Сызмала привывает он к грубой речи, неправому слову и всякой неправде. Проходят годы, но время не улучшает судьбы бедного горько-одинокого сироты. Продолжает он нести свой трудный, часто непосильный крест, с тем чтобы пойти за хозяйского сына в солдаты или умереть под старость бобылем без крова и хлеба.

Такая участь, конечно, не предстояла Гришке в доме рыбака. Жена Глеба была баба добрая, богобоязливая; к тому же парнишка приходился ей сродни – обстоятельство, имеющее всегда в нашем крестьянстве сильное действие на от-

ношения людей, живущих в одной и той же избе. Сам Глеб также не был злой человек. Он был только крепковат, не любил потачки давать, любил толк во всем и дело. Что говорить, много разных соображений бродило в голове его по поводу приемыша – не без этого, но все же судьба Гришки не обещала больших горестей.

Глеб не заметил, как наступило утро, как пробудились куры и голуби и как затем мало-помалу все ожило вокруг.

Но зато при первом звуке, раздавшемся в сених, он быстро поднял голову и тотчас же обратился в ту сторону. Увидев жену, которая показалась на крыльчке с коромыслом и ведрами, он пошел к ней навстречу, самодовольно ухмыляясь в бороду.

– Что рано поднялась? Куда те несет? – сказал он с обычной своей шутливостью.

– Видишь, с ведрами, за водой иду, – неохотно отвечала Анна, спускаясь по шатким ступеням крыльца.

Тетка Анна, не мешая заметить, находилась в это утро в самом неблагоприятном настроении духа. Прием, сделанный Глебом ее родственнику, и особенно объяснение его с Акимом – объяснение, отнимавшее у нее последнюю надежду пристроить как-нибудь родственника, – все это сильнейшим образом вооружало старушку против мужа. Насмешливый вид Глеба окончательно раздражил ее, и в эту минуту она готова была ведрами и коромыслом проучить сожителя. Ничего этого не случилось однако ж; она ограничилась тем

только, что потупила глаза и придала лицу своему ворчливое, досадливое выражение – слабые, но в то же время единственные признаки внутреннего неудовольствия, какие могла только позволить себе Анна в присутствии Глеба. Дело в том, что тетка Анна в продолжение двадцативосьмилетнего замужества своего не осиливала победить в себе чувства робости и страха, невольно овладевавшие ею при муже. Чувства эти разделяли, впрочем, все остальные члены семейства. Мудреного нет: Глеб был человек нрава непреклонного, твердого как камень и вдобавок еще горячего и вспыльчивого. Жена ли, дети ли – все это в глазах его не представляло большой разницы: он всех их держал в одинаковом повиновении. В эти двадцать восемь лет он или подтрунивал над детьми и женою (когда был в духе), или же всем доставалось в равной степени, когда был в сердцах. Все бежали тогда куда могли, лишь бы на глаза не попадаться. В делах семейных и хозяйственных никто не смел подавать голоса: жена не смела купить горшка без его ведома; двадцатилетние сыновья не смели отойти за версту от дому без спросу. Замечательнее всего, что при всем том старый рыбак редко поднимал шум в доме и еще реже подымал руку; по большей части он находился в веселом, шутливом расположении духа.

Ответив мужу, что шла за водою, тетка Анна хотела пройти мимо, но Глеб загородил ей дорогу.

– Вижу, за водой, – сказал он, посмеиваясь, – вижу. Ну,

а сноха-то что ж? А? Лежит тем временем да проклажается, нет-нет да поохает!.. Оно что говорить: вестимо, жаль сердечную!.. Ну, жаль не жаль, а придется ей нынче самой зачерпнуть водицы... Поставь ведра, пойдем: надо с тобой слова два перемолвить.

Сказав это, рыбак направился к задним воротам, выходившим за огород. Старуха поставила ведра и не без некоторого смущения последовала за мужем.

– Вот что, – начал он, когда оба они очутились в проулке и ворота были заперты, – что ты на это скажешь: отпустить нам Петрушку али нет, не отпускать?

– Как знаешь, твоя воля, – отвечала жена, обнаруживая удивление в каждой черте добродушного лица своего.

Первый раз в жизни Глеб обращался к ней за советом; но это обстоятельство еще сильнее возбудило внутреннюю досаду старушки: она предвидела, что все это делается неспроста, что тут, верно, таится какой-нибудь лукавый замысел.

– Сдается мне, отпускать его незачем, – сказал Глеб, устремляя пытливый взгляд на жену, которая стояла понуря голову и глядела в землю, – проку никакого из этого не будет – только что вот набалуется... Ну, что ж ты стоишь? Говори!

– Что мне говорить, – возразила Анна, знавшая наперед: что бы она ни сказала, муж все-таки поставит на своем.

– Он, может статься, говорил тебе об этом. «Поди, мол, отца попроси!» Либо другое что сказал?

– Словечка не промолвил.

Глеб недоверчиво покосился на старуху.

– По-моему, – вымолвил он, произнося каждое слово с какою-то особенною выдержкою, – пусть лучше дома живет... Ась?

Глеб знал, что мать и дети ничего не таят друг от дружки. выпытывая мнение жены – мнение, до которого ему не было никакой нужды, он думал найти в нем прямой отголосок мыслей Петра; но, не успев в этом, он тотчас же перешел к другому предмету.

– Не видала ли ты нынче Акима? – спросил он неожиданно.

– Нет, не видала.

– Должно быть, спит еще. Ну, пушай его, пушай понежится; встанет, смотри, покорми его.

Старушка подняла голову; но лицо ее, на минуту оживившееся, снова приняло недовольное выражение, когда муж прибавил:

– А там пушай идет, куда путь лежит... Вишь, что забрал в голову: возьми его в работники!

– Не знаю, с чего так не полюбился, – пробормотала Анна, обращая, по-видимому, все свое внимание на щепки, валявшиеся подле плетня.

– Пес ли в нем! – продолжал Глеб, не отрывая от жены зоркого взгляда.

– Да что ты, в самом-то деле, глупую, что ли, нашел какую? – нетерпеливо сказала она. – Вечор сам говорил: не ча-

ял я в нем такого проку! Вчера всем был хорош, а ноне никуда не годится!.. Что ты, в самом-то деле, вертишь меня... Что я тебе! – заключила она, окончательно выходя из терпения.

Глеб не спускал с нее глаз и только посмеивался в бороду.

– Так как же, стало, по-твоему, надо взять его? – сказал он.

Тетушка Анна замялась.

– Что ж, не худой он человек какой, – проговорила она смягченным голосом, – ни табашник какой, ни пьяница.

– Главное дело, потому отказать ему как словно не придется: сродни он нам – вот что! – заметил муж, лукаво прищуриваясь.

– Вестимо, не чужак! – поспешила присовокупить старушка.

– Так-то, так! Я и сам об этом думаю: родня немалая; когда у моей бабки кокошник горел, его дедушка пришел да руки погрел... Эх ты, сердечная! – прибавил, смеясь, рыбак. – Сватьяев не оберешься, свояков не огребешься – мало ли на свете всякой шушеры! Всех их в дом пущать – жирно будет!

В ответ на это тетушка Анна только плюнула.

– Ну, так как же, по-твоему, стало, и мальчишку надо взять, а? – продолжал допытывать Глеб.

– Да что я, в самом деле, за дура тебе досталась? – воскликнула Анна. – Что ты умом-то раскидываешь, словно перед махонькой!

– Куды ты? Полно, погоди, стой, – сказал рыбак, удер-

живая за руку жену, которая бросилась к воротам, – постой! Ну, старуха, – промолвил он, – вижу: хочется тебе, добре хочется пристроить к месту своего сродственника!

– Ничего мне не надуть! Ничего не хочу! Тьфу! – возразила она, порываясь к воротам.

– Полно же, ну! – вымолвил муж, переменяв вдруг голос. – Посмеялся и шабаш! Так уж и быть: будь по-твоему! Пушай оба остаются! Мотри только, не говори об этом до поры до времени... Слышь?

Старуха взглянула на мужа и тотчас же перестала волноваться: видно было, что с последними словами Глеба у ней разошлось сердце.

– Смотри же, ни полсловечка; смекай да послушивай, а лишнего не болтай... Узнаю, худо будет!.. Эге-ге! – промолвил он, делая несколько шагов к ближнему углу избы, из-за которого сверкнули вдруг первые лучи солнца. – Вот уж и солнышко! Что ж они, в самом деле, долго проклажаются? Ступай, буди их. А я пойду покуда до берега: на лодки погляжу... Что ж ты стала? – спросил Глеб, видя, что жена не трогалась с места и переминалась с ноги на ногу.

– Ну, что ты в самом деле умом-то раскидываешь? – промолвила она полуворчливо-полуласково. – Ты говори толком... Ну, что, в самом деле...

Глеб раскрыл удивленные глаза.

– Вестимо, толком говори, – продолжала жена, – слушаешь, слушаешь, в толк не возьмешь... вертит тебя только

знает!.. Ты толком скажи: возьмешь, что ли, их в дом-от?

– Эк ее!.. Фу ты, дура баба!.. Чего ж тебе еще? Сказал возьму, стало тому и быть... А я думал, и невесть что ей втемяшилось... Ступай...

На этот раз тетушка Анна не заставила себе повторить и, отворив ворота, поспешно заковыляла в избу.

В сенях она наткнулась на дядю Акима и его мальчика. Заслышав шаги, дядя Аким поспешил скорчить лицо и принять жалкую, униженную позу; при виде родственницы он, однако ж, ободрился, кивнул головою по направлению к выходной двери и вопросительно приподнял общипанные свои брови.

В ответ на это старушка заморгала глазами, погрозила пальцем и выглянула на двор; после чего она подошла к родственнику и сказала шепотом:

– Остаешься, Акимушка!

– Что ты, матушка?

– Ей-богу, право! Сам сказал; сначала-то уж он и так и сяк, путал, путал... Сам знаешь он какой: и в толк не возьмешь, так тебя и дурит; а опосля сам сказал: оставлю его, говорит, пускай живет!

Во время этого объяснения лукавые глаза Гришки быстро перебегали от отца к тетке Анне; с последними словами старушки испуг изобразился в каждой черте плутовского лица; он ухватил дядю Акима за рукав и принялся дергать его изо всей мочи.

– Смотри только, Акимушка, – продолжала между тем старушка, – смотри, в работе-то не плошай, касатик.

– Буду, матушка, буду! Я ли когда на печи лежал, я ли...

– Ну, то-то, родимый, то-то; с тем, говорит, и беру, коли работать станет!.. Сам знаешь, человек он крепкий: что сказал, от того не отступится.

– Знаю, матушка, все знаю... Ах, ты, касатушка ты наша!.. Родная ты наша! Как нам за тебя бога молить?.. Ах!.. Что ты, Гришутка? Что на рукаве-то виснешь... Вишь его, озорник! Оставь, говорят! – заключил Аким, поворачиваясь неожиданно к парнишке.

– Пойдем! Пойдем! Не хочу я здесь оставаться! – заговорил мальчик, принимаясь теребить еще пуще рукав Акима и обнаруживая при этом столько же азарта, сколько страха.

– Куды ты?.. Ах, ты, безмятежный ты этакой!.. Пусти!

– Не хочу! Не хочу! Пойдем! – кричал мальчик.

– Полно, батюшка, полно тебе, – сказала Анна, стараясь обласкать Гришку, – а я лепешечки дам... Подь-кась в избу: лепешечки дам, соколик...

– Не хочу! Я хочу домой!.. Пойдем!.. Пойдем! – кричал Гришка, цепляясь за ворот Акима, пригибая его к себе и топая ногами.

В самую эту минуту неподалеку, почти у самого крыльца, послышались шаги Глеба Савиныча.

Старуха опрометью кинулась в избу.

– А! Сват Аким, здорово! – сказал рыбак, появляясь в се-

нях. – Что вы тут делаете?.. Чего это он у тебя, слышу я, не хочет, а? – промолвил он, взглядывая на мальчика, который остолбенел и побледнел как известь.

– Так, батюшка... Глеб Савиныч... глупенек... вести-мо... – пробормотал Аким, разводя руками.

– Да чего ж он не хочет-то? А?.. Иду, слышу: не хочу да не хочу!.. Чего не хочу? А?

– Вот, кормилец, – мешаясь, подхватил Аким, – умыться не хочет... воды боится; добре студена, знать!.. Умойся, говорю... а он и того...

– Ну-ткась, сват, возьми-ка зачерпни поди водицы... Вон в углу стоит; давай сюда: мы его умоем, когда так! – проговорил рыбак, ставя перед собою Гришку и наклоня ему вперед голову. – Лей! – заключил он, протягивая ладонь.

– Бррр... – пробормотал Гришка, мотая головою.

– Лей еще! – повторил Глеб.

Дядя Аким, лицо которого корчилось и ежилось самым жалобным образом, повиновался.

– Бр... р-р... бр-р... батюшки! – кричал Гришка.

– Ничего, врешь, не пуще холодна, лей еще!

– Бр-р...

– Ну, на здоровье; утрись поди! – произнес Глеб, выпуская Гришку, который бросился в угол, как кошка, и жалобно завопил. – А то не хочу да не хочу!.. До колен не дорос, а туда же: не хочу!.. Ну, сват, пора, я чай, и закусить: не евши легко, а поевши-то все как-то лучше. Пойдем, – довершил

рыбак, отворяя дверь избы.

Во время завтрака веселье рыбака не прерывалось ни на минуту. Со всем тем он не коснулся ни одного пункта, имевшего какое-нибудь отношение к разговору с хозяйкой; ни взглядом, ни словом не выдал он своих намерений. С окончанием трапезы, как только Петр и Василий покинули избу, а жена Петра и тетка Анна, взяв вальки и коромысла, отправились на реку, Глеб обратился к Акиму:

– Вот, сватьяшка, что я скажу тебе, – произнес он с видом простодушия. – Остайся, пожалуй, у нас еще день, коли спешить некуда. Тем временем нам в чем-нибудь подсобишь... Так, что ли? Ну, когда так – ладно! Бери топор, пойдем со мною.

Аким взял топор, подошел к двери и молодецкато нахлобучил шапку. Глеб насмешливо покосился на него, повернулся к Гришке и Ване, которые сидели по разным углам, и погрозил пальцем:

– Смотри, ребяташки, не баловать без нас! Кто забалует, быть тому без вихра на макушке!

VI Гришутка

Никогда еще во всю свою долгую, но бесполезную жизнь дядя Аким не трудился так много, как в это утро, когда, обнадуженный словами Анны, остался гостить в доме рыбака.

Наставления старушки были постоянно перед его глазами. Опасаясь, с одной стороны, не угодить в чем-нибудь Глебу, исполненный, с другой стороны, сильнее желания показать всем и каждому, что он отличнейший, примерный работник – «мастак работник», Аким не щадил рук и решительно лез из кожи. Подобно ручью, который в продолжение многих верст лениво, едва заметно пресмыкался в густой и болотистой траве и который, выбежав на крутизну, делится вдруг на бесчисленное множество быстрых, журчащих потоков, дядя Аким заходил во все стороны и сделался необыкновенно деятелен: он таскал верши, собирал камыш для топлива, тесал колья, расчищал снег вокруг лодок – словом, попевал всюду и ни на минуту не оставался без дела. Иногда, уже невмочь одолеваемый одышкой и поперхотой, он останавливался, чтобы перевести дух, но встречал всякий раз пристальный взгляд Глеба и принимался суетиться пуще прежнего. Уж зато и уходился же дядя Аким! Пот катил с него крупными горошинами, ноги подгибались как мочалы, плечи ломило, как словно их вывихнули. Такое усердие, конечно, не ускользало от внимания Глеба; но он оставался, по-видимому, совершенно к нему равнодушным. Хозяева вообще не щедры на похвалы: «Похвала – та же потачка, – рассуждает хозяин, извлекая, вероятно, это правило из наблюдений собственной природы, – зазнается еще, чего доброго! Возьмет „форс“ на себя!..» Такие мысли свойственны хозяевам, когда дело идет о работнике и труженике. Рус-

ский мужичок в деле практической хозяйственной сметливости никому не уступит. Небрежный, беспечный и равнодушный ко всему, что не имеет к нему прямого, личного отношения, он превращается у себя дома в ломовую, неутомимую лошадь и становится столько же деятелен, сколько выскателен. Нет народа, который бы так крепко отстаивал свою собственность и так сильно соблюдал свои материальные выгоды, как русский народ. «Ничего, авось, небось и как-нибудь», так часто произносимые русским мужиком, повторяются им точно так же, если хотите, когда он у себя дома; в последнем случае, однако ж, слова эти выражают, поверьте, скорее торопливость, желание сработать больше, сбыть выгоднее, чем беспечность или нерадение. Мужичок производит «кое-как» только для мира, для общества; он знает, что базар все ест: ест и говядину, коли есть говядина, ест и что ни попало, коли нет мяса. Но зато войдите-ка во двор семьянистого, делового, настоящего хозяина, взгляните-ка на работу, которую предназначает он для себя собственно: тут уж на всем лежит печать прочности и долговечности, соединенные с расчетом строжайшей, мудрой экономии; здесь каждым ударом топора управляло уже, по-видимому, сознание, что требуется сделать дело хорошо, а не кое-как! У семьянистого хозяина даром корка не пропадет. Бросил зерно в землю – давай сам-сём; счетом взял – отдавай с лихвою; взял лычко – отдай ремешок; на сколько съел, на столько сработай. Труды батрака соображаются с количеством поглощае-

мой им каши и числом копеек, следующих ему в жалованье, и потому редкий на свете хозяин остается вполне доволен батраком своим и редкий батрак остается доволен своим хозяином. Впрочем, такие свойства русского мужика издали только бросаются в глаза и кажутся достойными порицания, на самом деле они отличаются от свойств других людей только формой, которая у простолюдина немного поглубже – поглубже потому, может статься, что простодушнее...

Но перейдем к Акиму, который сидит теперь между Глебом и старшими его сыновьями и конопатит лодку.

Солнце до половины уже обогнуло небо, и работа приближалась к концу, когда к работающим подошел младший сынишка Глеба.

Заплаканное лицо его, встрепанные волосы, а рубашонка, прорванная в двух-трех местах и запачканная грязью, обратили на него тотчас же внимание присутствующих.

– Что ты, Ванюшка? – спросили в один голос отец и Василий.

– Должно быть, с моим Гришуткой... Вестимо, ребяточка еще: что с них взять! – обязательно предупредил Аким, догадавшийся с первого взгляда, что тут, конечно, не обошлось без Гришутки.

– Хорошее баловство, нечего сказать! – возразил Глеб, оглядывая сынишку далеко, однако ж, не строгими глазами. – Вишь, рубаху-то как отделал! Мать не нашьется, не настирается, а вам, пострелам, и нуждушки нет. И весь-то ты

покуда одной заплаты не стоишь... Ну, на этот раз сошло, а побалууй так-то еще у меня, и ты и Гришка, обоим не миновать дубовой каши, да и пирогов с березовым маслом отведаете... Смотри, помни... Вишь, вечер впервые только встретились, а сегодня за потасовку!

– Да я его не трогал, – сказал мальчик, утирая рукавом слезы, которые текли по его полным, румяным щекам.

– Стало, он тебя поколотил?.. Ну, полно, не плачь: дай нам прийти домой, мы ему шею-то сами намнем.

– Он меня не колотил, – поспешно сказал мальчик.

– Как же так?

Мальчик замялся и пробормотал несвязно:

– Он меня... все... вот так-то вот... все... вот... все бьет!

– Должно быть, как-нибудь невзначай, – поспешил присовокупить дядя Аким.

– Ну, хорошо, – возразил Глеб, – он тебя поколотил; ну, а ты что?

– Я ничего, – отвечал простодушно Ваня.

– И сдачи не дал?

– Нет.

Глеб и за ним все присутствующие засмеялись.

– За что же он прибил тебя? – спросил отец, очевидно, с тою целью, чтобы позабавиться рассказом своего любимого детища.

– А я и сам не знаю, за что, – отвечал со вздохом Ваня. – Я на дворе играл, а он стоял на крыльце; ну, я ему говорю: «Да-

вай, говорю, играть»; а он как пхнет меня: «Я-те лукну!» – говорит, такой серчальный!.. Потом он опять говорит: «Ступай, говорит, тебя тятка кличет». Я поглядел в ворота: вижу, ты меня не кличешь, и опять стал играть; а он опять: «Тебя, говорит, тятка кличет; ступай!» Я не пошел... что мне!.. Ну, а он тут и зачал меня бить... Я и пошел...

– Так, стало, сдачи-то ты и не дал?

– Нет.

– Ну, плохой же ты парнюха после этого! – смеясь, сказал отец. – Авось разве опосля как-нибудь посчитаетесь, а теперь пока он над тобой потешился... Эх ты, мозгляк, мозгляк, право мозгляк!.. Ну, что я стану с тобой делать? Слышь, сдачи не дал!.. Ну, где тебе быть с рыбаками! Ступай-ка лучше к бабам... вот они... ступай-кась туда... Они же, кстати, тебя и умоют! – заключил старый рыбак, подтрунивая над сыном и указывая ему рукою на отдаленную грудку камней, из-за которой раздавался дружный стук вальков и время от времени показывались головы Анны и снохи ее.

Мальчик стыдливо потупил голову и молча поплелся к матери.

– А должно быть, шустер твой мальчишка-то, сват Аким, не тебе чета! – начал Глеб, снова принимаясь за работу. – Вишь, как отделал моего парня-то... Да и лукав же, видно, даром от земли не видок: «Поди, говорит, тятка зовет!» Смотри, не напроказил бы там чего.

– И-и-и, батюшка, куды! Я чай, он теперь со страху-то за-

бился в уголок либо в лукошко и смигнуть боится. Ведь он это так только... знамо, ребятеночки!.. Повздорили за какое слово, да давай таскать... А то и мой смирен, куда те смирен! – отвечал дядя Аким, стараясь, особенно в эту минуту, заслужить одобрение рыбака за свое усердие, но со всем тем не переставая бросать беспокойные взгляды в ту сторону, где находился Гришутка.

Ванюша между тем, обмытый и обласканный матерью, успел уже забыть свое горе, и вскоре звонкий, веселый голосок его смешался со стуком вальков, которому, в свою очередь, с другого конца площадки отвечало постукиванье четырех молотков, приводивших к концу законопачиванье лодки.

Солнце приближалось уже к полудню.

– Шабаш, ребята! – весело сказал Глеб, проводя ладонью по краю лодки. – Теперь не грех нам отдохнуть и пообедать. Ну-ткась, пока я закричу бабам, чтоб обед собирали, пройдите-ка еще разок вон тот борт... Ну, живо! Дружней! Бог труды любит! – заключил он, поворачиваясь к жене и посылая ее в избу. – Ну, ребята, что тут считаться! – подхватил рыбак, когда его хозяйка, сноха и Ваня пошли к воротам. – Давайте-ка и я вам подсоблю... Молодца, сватушка Аким! Так! Сажай ее, паклю-то, сажай! Что ее жалеть!.. Еще, еще!

И четыре молотка, как бы подстрекаемые веселым смехом старого рыбака, застучали еще пуще прежнего.

Внезапно с середины двора раздался пронзительный, от-

чаянный крик. В ту же секунду из растворенных ворот выбежали Анна, жена Петра и Ваня.

– Пожар! Пожар! Горим! – кричали они, отчаянно размахивая руками.

Молотки выпали из рук четырех работников, пораженных ужасом. Глеб быстрее юноши поднялся на ноги; он был бледен как полотно.

– С нами крестная сила! – пробормотал он, крестясь дрожащею рукой, между тем как сыновья его и Аким бежали к избе.

Секунду спустя он бросился за ними.

На дворе происходила страшная суматоха. Жена Петра бегала как полоумная из угла в угол без всякой видимой цели; старуха Анна лежала распростертая посреде двора и, заломив руки за голову, рыдала приговаривая:

– О-ох, вы, мои батюшки!.. Остались-то мы, горькие... без крова, без пристанища... И куда-то мы, сиротинушки, куда приклоним головы!..

Нигде, однако ж, не было заметно признаков пожара.

– Где горит? – закричал Петр, вбежавший прежде всех на двор.

Петр, казалось, вырос на целый аршин; куда девался сонливый, недовольный вид его! Черные глаза сверкали; каждая черта дышала суровою энергиею.

– Где горит? – повторил он грозным жестом.

– В избе!

– В избе, в избе! – подхватил Ваня.

– Батюшка! – крикнул Петр, обращаясь к отцу, который бегал в эту минуту на двор, бледный и смущенный. – Ступай к завалинке и вышибай окна; я с братом в избу!

Сказав это, он бросился на крылечко и исчез в дыме, который повалил клубами из сенечек, как только отворилась дверь.

Благодаря поспешно выбитым окнам и отворенной двери дым очистился и позволил Петру осмотреться вокруг. Пламени нигде не было видно. Посреди серого, едкого смрада, наполнявшего избу, Петр явственно различил густую беловатую струю дыма, выходящую из-под лавки, прислоненной к окнам. Он бросился к тому месту, нащупал руками лукошко с тлеющими щепками и паклею, вытащил его на пол и затоптал ногами. В избе сделалось тотчас же светлее. Осмотрев затем место и убедившись, что не предстояло уже никакой опасности, Петр спокойно, как ни в чем не бывало, вернулся на двор.

– Полно, матушка, – сказал он, обратившись к старухе, – никакого нет пожара; полно тебе выть! Сама посмотри.

– Батюшки! Царица небесная! – воскликнула старушка, падая на колени, и боязливо, все еще как бы глазам не веря, принялась озираться во все стороны.

– Ступай, сама посмотри, – повторил Петр.

Затем он указал ей на крыльцо, мигнул жене и вышел к отцу, который стоял как вкопанный подле дяди Акима.

– Ничего, батюшка, – вымолвил Петр, – сошло; а только... только нас подождли, – заключил он мрачно, насупив брови.

Он рассказал ему обстоятельно причину чуть было не случившегося несчастья.

– Где Гришка? – вскричал Глеб, как бы озаренный внезапной мыслью. – Где Гришка? – повторил он, неожиданно обратившись к дяде Акиму и грозно подымая кулаки.

Аким раскрыл рот, хотел что-то сказать, затрясся всем телом и бессмысленно развел руками.

Петр и Василий бросились отыскивать мальчика.

Минут десять спустя оба вернулись к отцу.

Гришки нигде не было.

– Так и есть: он! – сказал рыбак.

– Батюшка! – отчаянно вскрикнул дядя Аким и повалился в ноги.

– Ну вот еще, будешь нам рассказывать! Он, вестимо он! Ах, он... Ребята, давай мне его сюда, давай сюда!.. Ступай, догоняй; всего одна дорога; да живо... испуган зверь, далеко бежит... Ну!

Дядя Аким быстро вскочил на ноги и кинулся уже вперед; но рыбак удержал его, сказав:

– Куда тебе! Стой здесь: ведь Васька попрытчее твоего сбегает.

Как ни ошеломлен был Глеб, хотя страх его прошел вместе с опасностью, он тотчас же смекнул, что Аким, запуганный случившимся, легко мог улизнуть вместе с мальчи-

ком; а это, как известно, не входило в состав его соображений: мальчику можно задать задачу и раз навсегда отучить его баловать, – выпускать его из рук все-таки не след. Простой народ, не только русский, но вообще все возможные народы, вероятно по недостаточному развитию нравственного чувства и совершенному отсутствию нравственного мнения, снисходительно смотрят на проступки ближнего, к какому бы роду ни принадлежали эти проступки. После первого взрыва отношения Глеба к Акиму и его мальчику ни на волос не изменились; мужики что дети: страх, ненависть, примирение, дружба – все это переходит необыкновенно быстро и непосредственно следует одно за другим.

«Парнишка балуется, чуть было не набедовал! Надо прожустерить парнишку», – вот все, о чем помышлял рыбак.

Василий, побуждаемый частью любопытством, частью перспективой зрелища, которое, по всей вероятности, доставит наказание Гришки, – перспективой, доставляющей всегда большое удовольствие всякому простолюдину, даже самому мягкосердечному, полетел без оглядки за беглецом.

Дядя Аким опустился на завалинку, закрыл лицо руками и безнадежно качал головою. Он и сам уже не рад был (куда какая радость!), что приплелся в дом рыбака. В эту минуту он нимало не сокрушался о поступке сына: горе все в том, что вот сейчас, того и смотри, поймают парнишку, приведут и накажут. Дядя Аким, выбившийся из сил, готовый, как сам он говорил, уходить себя в гроб, чтоб только Глеб Савиных

дал ему хлеб и пристанище, а мальчику ремесло, рад был теперь отказаться от всего, с тем только, чтоб не трогали Гришутку; если б у Акима достало смелости, он, верно, утек бы за мальчиком. При малейшем звуке он поднимал голову, и слезливые глазки его с беспокойством устремлялись на тропинку, изгибавшуюся к вершине ската. Впрочем, не он один убивался. Тетка Анна и сын ее Ванюша принимали также немалое участие в судьбе, ожидавшей Гришку. Старушка, у которой уже совсем прошел страх и отлегло сердце, поминутно отрывалась от дела и выбегала за ворота.

Ваня, прижавшись за плетнем, дрожа от страха и едва сдерживая слезы, не отрывал глаз от тропинки.

Наконец на вершине ската показались две точки; немного погодя можно было уже явственно различить Василия, который с усилием тащил Гришку. В то же время на дворе раздался грубый голос Петра:

– Поймали, батюшка; ведут!

Глеб, сопровождаемый всем своим семейством, кроме Ванюши, вышел к завалинке.

В чертах рыбака не отражалось ни смущения, ни суровости. Чувство радости быстро сменяет отчаяние, когда минует горе, и тем сильнее овладевает оно душою и сердцем, чем сильнее была опасность. Глеб Савинов был даже веселее обыкновенного.

Он с усмешкою посмотрел на Акима, повернулся к горе и, приложив ладони к губам, в виде трубы, закричал:

– Тащи его сюда, Васютка, тащи скорей! Так, так! Держи крепче!.. Ну уж погоди, брат, я ж те дам баню! – заключил он, выразительно изгибая густые свои брови.

– Батюшка, Глеб Савиныч, помилуй! – сказал Аким рас-
терянным голосом.

– Помиловать? Ну, нет, сват; жди, пока рак свистнет!..
Миловать не приходится. Я потачки не дам... Отжус-
терить-таки надо на порядках. Знал бы, по крайности, что ба-
ловать не дело делать!

– Отец родной... не бей его... не бей, кормилец!.. Ты толь-
ко пострадай, только... Он и с эваго перестанет...

– Полно, батюшка. Ну что ты, в самом-то деле! Он и так
бояться станет, – сказала, в свою очередь, Анна.

– И ты туда же! Ну, видно, и в твоей голове толк есть! –
отозвался Глеб.

– Нет, матушка, не дело говоришь, – перебил Петр, ли-
цо которого, как только миновала опасность, сделалось по-
прежнему мрачным и недовольным, – этак, пожалуй, невесть
что в башку заберет! Пушай его страха отведает. Небось не
убьют.

В эту минуту из-за угла избы показался Василий, тащив-
ший Гришку.

На мальчишке лица не было. Открытая грудь его тяжело
дышала; ноги подламывались; его черные, дико блуждавшие
глаза, включенные волосы, плотно стиснутые зубы придава-
ли ему что-то злобное, неукротимо-свирепое. Он был похож

на дикую кошку, которую только что поймали и посадили в клетку.

– Ага, мошенник, попался! Давай-ка его сюда! – закричал Глеб, у которого при виде мальчика невольно почему-то задрожали губы. – Пойдем-ка, я тебя проучу, как щепы подкладывать да дома поджигать... Врешь, не увернешься... Ребята, подсобите стащить его к задним воротам, – заключил он, хватая мальчика за шиворот и приподымая его на воздух.

– Батюшка, помилуй! – отчаянно закричал дядя Аким, удерживая рыбака.

– Взмилуйся, Глеб Савиныч! – завопила Анна.

– Тятка! – закричал неожиданно Ваня, вырываясь из своей засады, бросаясь к отцу и повиснув на руке его. – Тятка, оставь его!.. Пусти! Пусти!.. – продолжал он, обливаясь слезами и стараясь оторвать Гришку.

– Прочь! – сурово сказал отец. – Прочь!

И, оттолкнув от себя жену и сына, вышел к огороду.

Анна, дядя Аким и Ванюша бросились к воротам; но их снаружи придерживали Петр и Василий.

– Батюшка, Глеб Савиныч, побойся бога! – кричала старушка.

– Батюшка, взмилуйся! – кричал Аким, упав на колени.

– Тятка! Тятка! – голосил Ваня.

Но все эти крики покрылись скоро голосом Глеба и жалобными визгами Гришки.

Наконец ворота отворились, и Глеб показался с сыновья-

ми.

– Полно вам, глупые! О чем орете? Добру учат! – сказал он, проводя ладонью по высокому лбу, который снова начал проясняться. – Небось не умрет, будет только поумнее. Кабы на горох не мороз, он бы через тын перерос!.. Ну, будет вам; пойдемте обедать.

Дядя Аким хотел было юркнуть за ворота, но, встретив взгляд рыбака, не посмел и поплелся за всеми в избу.

Во все время обеда Аким не промолвил слова, хотя сидел так же беспокойно, как будто его самого высекли. Как только окончилась трапеза, он улучил свободную минуту и побежал к огороду. Увидев Гришку, который стоял, прислонившись к углу, старик боязливо оглянулся на стороны и подбежал к нему, отчаянно замотав головою.

– Безмятежный ты этакой! Что ты наделал! Ах ты, разбойник такой!.. Мало тебе, окаянному! Мало! – жалобно заговорил Аким, грозно подымая левую руку, между тем как правая рука его спешила вытащить из-за пазухи кусок лепешки, захваченный украдкою во время обеда.

Но тетка Анна успела уже предупредить Акима: в руках мальчика находилась целая лепешка и вдобавок еще горбушка пирога.

Это обстоятельство мгновенно, как ножом, отрезало беспокойство старика. Всю остальную часть дня работал он так же усердно, как утром и накануне. О случившемся не было и помину. Выходка Гришки, как уже сказано, нимало не из-

менила намерений старого рыбака; и хотя он ни словом, ни взглядом не обнадеживал Акима, тем не менее, однако ж, продолжал оставлять его каждое утро у себя в доме.

Недели полторы спустя после Благовещения Петр отправился в «рыбацкие слободы». Все сомнения исчезли при этом в душе Акима, который с той же минуты поздравил себя батраком рыбака Глеба Савинова.

К сожалению, недолго попользовался дядя Аким новым своим положением.

VII

Мастак-работник

Одного месяца не прошло с тех пор, как дядя Аким поселился у Глеба, и уже над кровлей рыбака воздвиглась скворечница. Мы будем говорить беспристрастно и тут же скажем, что скворечница дяди Акима должна была по-настоящему служить образцом всем возможным постройкам такого рода. Шутки в сторону: скворечница была действительно замечательна; ее островерхая крышечка, круглое окошечко, крылечко и даже пучок прутьев, живописно прикрепленный сбоку, невольно привлекали взгляды, показывая вместе с тем в строителе величайшего знатока и мастера своего дела. Конечно, обошлось не без хлопот; потребовались даже два воскресенья. Первый день проведен был на дворе и весь ушел на распилку и сколачиванье дощечек; второй день ис-

ключительно проведен был Акимом на крыше. Приняв в соображение усердие Акима, можно было подумать, что он сохранил в душе своей неприменную уверенность превратиться на днях в скворца и снаряжал скворечницу для себя собственноручно. Труд Акима, как и следовало ожидать, не возбуждал большого сочувствия; появление скворечницы встречено было грубыми насмешками. Глеб и сын его Василий не переставали трунить над Акимом. Но таков уже удел всех великих произведений при их зародыше! Судите сами, если Глеб и его сын были правы.

Наступило именно то время весны, когда с теплых стран возвращались птицы; жаворонки неподвижно уже стояли в небе и звонко заливались над проталинками; ласточки и белые рыболовы, или «мартышки», как их преимущественно называют на Оке, сновали взад и вперед над рекою, которая только что вступила в берега свои после недельного разлива; скворцы летали целыми тучами; грачи также показались. Можно ли было после этого обойтись без скворечницы? К тому же дядя Аким ясно, кажется, объяснил Глебу и Василию, что трудился над скворечницей единственно с тем, чтобы потешить ребятишек; но ему как словно не давали веры и все-таки продолжали потешаться. К счастью еще, дядя Аким не обращал (так казалось, по крайней мере) большого внимания на такие насмешки: гордый сознанием своих сил, он продолжал трудиться на поприще пользы и с каждым днем сильнее и сильнее обозначал свое присутствие в

доме рыбака. Вскоре весь дом и вся окрестность наполнились звуком тех дудочек, которые так искусно умел он делать. Писк и трескотня немолчно зазвучали в ушах Глеба Савинова. Куда бы еще ни шло, если б потешались только Гришка и Ванюшка: легко было отбить у них охоту к музыке, к тому же и сами они умолкали, завидя еще издали старого рыбака. Но горе в том, что дети Петра были точно так же снабжены дудками, и Глеб, не имея духу отнять у малолетних потеху, поневоле должен был выслушивать несносный визг, наполнявший избу. Глеб не обнаружил, однако ж, своего неудовольствия Акиму: все ограничилось, по обыкновению, двумя-тремя прибаутками и смехом; то же самое было в отношении к другим, более или менее полезным выдумкам работника. С некоторых пор в одежде дяди Акима стали показываться заметные улучшения: на шапке его, не заслуживавшей, впрочем, такого имени, потому что ее составляли две-три заплаты, живьем прихваченные белыми нитками, появился вдруг верх из синего сукна; у Гришки оказалась новая рубашка, и, что всего страннее, у рубашки были ластовицы, очевидно выкроенные из набивного ситца, купленного год тому назад Глебом на фартук жене; кроме того, он не раз заставлял мальчика с куском лепешки в руках, тогда как в этот день в доме о лепешках и помину не было. Встречаясь с женою, старый рыбак посмеивался только в бороду; в остальном он и виду не показывал. Тайна такого снисхождения заключалась в том, что рыбак убеждался с каждым днем, как

хорошо сделал, взяв к себе приемыша. Мальчик был, правда, озорлив, но обнаруживал необыкновенную сметливость, силу и проворство, обещавшие со временем дюжего, ловкого к работе парня. Что ж касается до Акима, Глеб Савиных и прежде еще не видел в нем проку; время показало, что дядя Аким был годен делать одни скворечницы. Странно как-то выходило всегда, что труды его ровно ни к чему не служили. Иной раз целый день хлопочет подле какого-нибудь дела, сутится до того, что пот валит с него градом, а как придет домой, так и скосится и грохнет на лавку, ног под собой не слышит; но сколько Глеб или сын его Василий ни умудрялись, сколько ни старались высмотреть, над чем бы мог так упорно трудиться работник, дела все-таки никакого не находили.

– Эх ты, сватьяшка Аким, сватьяшка Аким, высоко поднял, брат, да опустил низко; вожжи-то в руках у тебя, в руках вожжи, да жаль, воз-то под горою!.. Эх, пустой выходишь ты человек, братец ты мой! – скажет Глеб Савинов, махнет рукой да и отойдет прочь.

Со всем тем Аким продолжал так же усердно трудиться, как в первые дни пребывания своего в доме рыбака: прозвище «пустого человека», очевидно, было ему не по нутру.

Не знаю, прискучило ли наконец дяде Акиму слушать каждый день одно и то же, или уж так духом упал он, что ли, но только мало-помалу стали замечать в нем меньше усердия. Вместе с тем и нрав его как-то изменялся. Бывало, шутливый такой, грохочет с утра до вечера, с ребяташками во-

зится или выйдет за ворота скворцом позабавиться: «Эх, самец-то у меня хорош, скажет, вот разве самка бы не опростоволосилась: не сидит, шут ее знает, на яйцах! Нет, не дожидаться, знать, птенцов! Так, знать, ни во что пошли труды наши!» – и частенько выкинет при этом такое коленце, что все держатся только за бока и чуть не мрут со смеху. Ну, а теперь совсем не то: ходит – набок голову клонит, как словно кто обидел его или замысел какой на душе имеет; слова не вызовешь: все опостыло ему, опостыла даже и самая скворечница. Несмотря на то что сбылись задушевные мечты его – самка не только не опростоволосилась, но вывела даже множество птенцов, которые поминутно высовывали из окошечка желтые носочки, – дядя Аким не думал радоваться.

– Что ты, мой батюшка? – спрашивала иногда тетка Анна, единственное существо из всего семейства рыбака, с которым дядя Аким сохранял прежние отношения. – Что невесел ходишь? Уж не хвороба ли какая, помилуй бог? Недужится, може статья... скажи, родимый!

– Нет, матушка, – отвечал обыкновенно дядя Аким глубоко огорченным тоном, – господь терпит пока грехам – силы не отымает. Одним разве наказал меня, грешного...

– Да чем же, батюшка?

– А вот чем, матушка, – отвечал Аким с горькою усмешкою и всегда вздыхал при этом, – вот чем: старость насрал, матушка. Оно не то чтоб добре стар стал: какие еще мои го-

да! Да так уж, видно, для людей состарелся. И делаешь, кажись, не хуже другого, а все не угодишь, все, по-ихнему, как бы не так выходит! То не так, это не так: не в угоду, стало, пришел. И добро бы, матушка, старые люди так-то осуждали: ну, все бы как словно не так обидно! А ведь иной вот живет без году неделю, молоко на губах не обсохло, а туда же лезет тебе в бороду... Вот, примерно, теперь хошь бы твой Васька... Ну, что я ему дался за скоморох такой? Чего он привязался?.. Нет, матушка, так, видно, завелось ноне на свете: дожил до старости, нет тебе ни в чем уваженья, никуда ты не годен!.. Я и тогда говорил: нам, старикам, житья ноне от молодых не стало... Добре много развелось их, матушка, – вот что!

В последнее время дядя Аким особенно как-то не благоволил к Василию. Нерасположение это, начавшееся с того самого утра, когда парень догнал и притащил Гришку, делалось с каждым днем сильнее и сильнее. Василий, подстрекаемый примером отца, подтрунил разочка два над Акимом. Тем бы, может статья, дело и покончилось, если б Аким не показал виду; но Аким, таивший всегда недоброжелательство к молодому парню, не выдержал: он обнаружил вдруг такой азарт, что все, кто только ни находились при этом, даже Ванюша и его собственный Гришутка, – все покатались со смеху. Это, как водится всегда в подобных случаях, пуще еще раззадорило молодого парня. Сначала дядя Аким огрызался; наконец стало не под силу: он замолк и уже с этой ми-

нуты стал отворачиваться всякий раз, как встречался с Василием.

Все шло, однако ж, хорошо до тех пор, пока Аким продолжал мало-мальски трудиться. Глеб молчал. Уверившись раз навсегда, что от свата нельзя было многого требовать, он наблюдал только, чтобы сват не ел даром хлеба. Так прошло два месяца. Не знаю, может статься, Акиму показалось наконец обидным невнимание Глеба, или попросту прискучило долго жить на одном месте, или же, наконец, так уж совсем упал духом, но только к концу этого срока стал он обнаруживать еще меньше усердия. Наступил ли праздник, он уходит ни свет ни заря из дому и целый день на глаза не показывается. Несколько раз случалось даже пропадать ему дён на пяток и подолее. Никто не знал, куда он ходит и за какую надобностью. Если спрашивали его об этом, он отвечал обыкновенно с явным неудовольствием, что есть у него свои дела, что идет получать какие-то долгишки, или проведать идет такого-то, или же, наконец, что тот-то строго наказывал ему беспременно навестить жену и детей, и проч., и проч. Зная Акима, никто не сомневался, что все эти объяснения сущие выдумки. Возвращался он обыкновенно в дом рыбака измученный, усталый, с загрязненными лаптишками и разбитой поясницей, ложился тотчас же на печку, стонал, охал и так крепко жаловался на ломоту в спине, как будто в том месте, куда ходил получать долгишки, ему должны были несколько палок и поквитались с ним, вычитав даже проценты. Та-

кие проделки повторялись чаще и чаще; вместе с ними усиливался лом в пояснице, сопровождавшийся всегда долгим возлежанием на печке.

– Послушай-ка, сват, – сказал Глеб, потерявший наконец терпение, – что ж ты это, в самом деле, а? Помнится, ты не то сулил, когда в дом ко мне просился. Где ж твои зарюки?.. Лежебоков и без тебя много; кабы всех их да к себе в дом пущать, скоро и самому придется идти по миру... Ты думаешь, дал господь человеку рот да брюхо, даст и хлеб. Нет, братец ты мой любезный, жирно то будет! На это я тебе скажу вот еще какое слово: когда хочешь жить у меня, работай – дома живу, как хочу, а в людях как велят; а коли нелюбо, убирайся отселева подобру-поздорову... вот что!

Аким ничего не ответил; он тотчас же сел за дело, но весь этот день был сумрачен и ни с кем слова не промолвил.

Вечером, после ужина, он встретился с Анной в том самом переулке, где некогда высекли Гришку.

Выждав минуту, когда хозяйка подойдет к нему (видно было по всему, что дядя Аким никак не хотел сделать первого приступа), он тоскливо качнул головой и сказал голосом, в котором проглядывало явное намерение разжалобить старуху:

– Прощай, матушка Анна Савельевна!

– Что ты, мой батюшка? Куда ты? Христос с тобою! – воскликнула удивленная старуха.

– Да что, матушка, пришло, знать, время, пора убираться

отселева, – уныло отвечал Аким. – Сам ноне сказал: убирайся, говорит, прочь отселева! Не надуть, говорит, тебя, старого дурака: даром, говорит, хлеб ешь!.. Ну, матушка, бог с ним! Свет не без добрых людей... Пойду: авось-либо в другом месте гнушаться не станут, авось пригожусь, спасибо скажут.

– Полно, Акимушка, полно, касатик! Брось это! – заговорила старуха, которая хотя и знала, что родственник ее напрасно жаловался на мужа и действительно в последнее время ел даром хлеб, но со всем тем искренно жалела о нем и всячески старалась удержать его. – Брось это, говорю; тебе это, родной, так только в голову вкинулось: полно! В чужих людях хуже еще горя напринимаешься; там тебе даром и рубашонки-то никто не вымоет. По крайности, хошь я здесь: малость, малость, а все пригляжу... Вестимо, свой человек, не чужак какой.

– Спасибо тебе, матушка, на ласковом твоём слове, – перебил Аким. – Я о тебе не говорю: век буду помнить добро твоё. А только, воля твоя, мне здесь жить не приходится; так уж, видно, такая судьба моя!.. Сам сказал: ступай, говорит... И сам вижу, лишний я у вас... То не так, это не так – ну, и не надуть! Что ж, матушка, взаправду, в худого коня корм тратить!.. На всех не угодишь, матушка Анна Савельевна! Брань, да попрек, да глумление всяческое, – только я здесь у вас и слышал; спасибо не сказали! А за что? Худых каких делов за мной не было; супротивного слова никто не слышал;

не вор я, не пьяница я, не ахаверник какой: за что ж такая напраслина? Трудился я не хуже ихнего: что велят, сделаю; куды пошлют, иду; иной раз ночь не спишь, все думается, как бы вот в том либо в другом угодить... Бог видит мою работу. Я ли не старался, я ли отнекивался от работы? Ну, да не угодил, матушка, нет... Такая уж, видно, судьба моя!.. Пойду, погляжу, авось-либо в другом месте пригожусь. А здесь, матушка, сам вижу, я здесь лишний у вас. Ведь сам ноне сказал: ступай, говорит, тебя мне не надуть!

Тетка Анна принялась снова увещевать его; но дядя Аким остался непоколебим в своем намерении: он напрямик объявил, что ни за что не останется больше в доме рыбака, и если проживет еще, может статься, несколько дней, так для того лишь, чтоб приискать себе новое место.

Случай не замедлил представиться.

Около этого времени одно из самых небольших озер на луговой стороне Оки было снято каким-то вольным рыбаком, переселившимся из другого уезда. Благодаря близкому соседству Глеб и новый рыбак свели знакомство. Озеро находилось всего в двух верстах от площадки, занимаемой Глебом: стоило только переехать Оку, пройти четверть версты песками, усеянными кустами ивняка, и еще три четверти версты лугами. Новый сосед имел мало общего с Глебом Савиным. Кондратий (так звали озерского рыбака) был уже человек преклонный, самого тихого, кроткого нрава; в одном разве могли они сойтись: оба были одинаково трудолю-

бивы и опытни в своем ремесле. Кондратий с первого же разу полюбился Глебу, его жене и всему семейству. Особенно полюбил его дядя Аким. Он тут же решил, что лучшего хозяина не сыскать ему, и нимало не сомневался, что сам господь нарочно послал Кондратия ему на выручку. К сожалению, дядя Аким не мог осуществить своих намерений так скоро, как бы ему хотелось. Из разговоров Кондратия оказалось, что он занимается покуда еще стройкой, рыбную ловлю начнет с осени и до того времени не будет, следовательно, нуждаться в работнике. Делать нечего, надо было потерпеть. Хорошо еще, что терпеть приводилось недолго: осень была уже на носу, чему ясным доказательством служили длинные белые волокнистые нитки тенетника, носившиеся в воздухе, а также и дикие гуси, вереницами перелетавшие каждый день Оку. Близость цели подкрепляла Акима. Нимало не сомневаясь, что при малейшей оплошности с его стороны Глеб Савиныч вытурит его взащей из дому и тем самым, может статься, легко даже повредит ему во мнении нового хозяина, он снова принялся за работу. Надо сознаться, однако ж, что усердие Акима возбуждалось не столько последним этим соображением, сколько страхом, который наводил на него, особенно в последнее время, Глеб Савиныч. Дядя Аким хорохорился только в присутствии Гришутки, Ванюши да еще тетушки Анны – ей одной передавал свои замыслы; в присутствии же старого рыбака он сохранял постоянно свой жалкенький, сиротский вид; один взгляд Глеба обдавал его по-

том. По поводу этого страха положение дяди Акима делалось день ото дня затруднительнее. Наступила наконец осень; уже полились дожди, уже первый снег выпал, а между тем дядя Аким все еще не мог придумать средства, как бы полочеe высвободиться из когтей Глеба Савиныча. Так, попросту, сказать ему: «Не хочу, мол, у тебя оставаться!» – духу не хватает: осерчает добре, даром что сам гнал от себя. Убежать? Глеб Савиныч не токмо за две версты – и на дне океана-моря сыщет. Завалиться без просыпу на печку и дожидаться, пока не вытурят тебя взашей из дому, как словно и того страшнее. Как тут быть? Не больно, кажись, мудрое дело, ан – лих его! – не дается.

Но недолго помучился так-то дядюшка Аким: судьба сжалилась, видно, над ним и сама взялась распутать за него все затруднения.

Вот как это случилось.

Был один из тех ненастных, студеных дней, какие часто встречаются к концу осени, – один из тех дней, когда самый опытный пахарь не скажет, зима ли наступила наконец или все еще продолжается осень. Снег валил густыми, липкими хлопьями; гонимые порывистым, влажным ветром, они падали на землю, превращаясь местами в лужи, местами подымаясь мокрыми сугробами; клочки серых, тяжелых туч быстро бежали по небу, обливая окрестность сумрачным светом; печально смотрели обнаженные кусты; где-где дрожал одинокий листок, свернувшийся в трубочку; еще печальнее ви-

лась снежная дорога, пересеченная кое-где широкими пятнами почерневшей вязкой почвы; там синела холодной полосой Ока, дальше все застилалось снежными хлопьями, которые волновались как складки савана, готового упасть и окутать землю... В такой-то именно день Глебу встретилась крайняя надобность повидаться с дедушкой Кондратием: требовалось получить с соседа деньжонки за солому, взятую им на покрышку кровли. Срок платежа вышел уже неделю тому назад, и хотя Глеб нимало не сомневался в честности озерского рыбака, но считал, что все же надежнее, когда деньга в кармане; недолго гадая и думая, послал он туда дядю Акима. Он и сам бы сходил – погода ни в каком случае не могла быть ему помехой, – но пожалел времени; без всякого сомнения, плохой его работник не мог провести день с тою пользою для дома, как сам хозяин. Впрочем, дядя Аким сам охотно вызвался сходить к Кондратию.

Аким поспешно нахлобучил шапку, прикутался в сермягу и вскоре исчез за снегом.

Никто не ждал от него скорого возвращения: все знали очень хорошо, что дядя Аким воспользуется случаем полежать на печи у соседа и пролежит тем более и охотнее, что дорога больно худа и ветер пуще студен. Никто не помышлял о нем вплоть до сумерек; но вот уже и ночь давно наступила, а дядя Аким все еще не возвращался. Погода между тем становилась хуже и хуже; снег, превратившийся в дождь, ручьями лил с кровель и яростно хлестал в окна избы; ветер дико

завывал вокруг дома, потрясая навесы и раскачивая ворота.

– Что же он нейдет, в самом-то деле? Уж, помилуй бог, не прилунилось ли чего? – проговорила Анна, заботливо поправляя лучину.

– Эх ты, матушка ты моя, – подсмеиваясь, прибавил Глеб, строгавший у порога новое весло, – вестимо, прилучилось: я чай, корчится сердечный, зазуб совсем, зуб с зубом не сведет... лежа на печи у соседа.

Василий, детки и жена Петра громко захохотали.

В ответ на это за дверью сеней послышалось неожиданно глухое стенание.

Глеб стукнул кулаком в дверь и отворил ее настежь.

– Кто там?

– Я... я... о-о! – отозвался дрожащий, едва внятный голос, по которому все присутствующие тотчас же узнали дядю Акима.

Хозяйка схватила лучину, выбежала в сени и минуту спустя ввела своего родственника.

Аким действительно корчился от стужи, но только не на печи Кондратия, а в собственной сермяге, насквозь пропитанной дождем; вода лила с него, как из желоба. Он дрожал всем телом и едва стоял на ногах.

– Ну, у-у, совсем, знать, разломило, – сказал Глеб, подпираясь веслом и приподымаясь на ноги. – Принес ли, по крайности, хоть деньги-то?

– У-у-у, – отвечал Аким, прикладывая дрожащую руку к

пазухе и принимаясь трястись пуще прежнего.

– Ладно, вижу, – промолвил рыбак (взял деньги, вынул их из тряпицы и сосчитал). – Ладно, – заключил он, – ступай скорей на печку... Много трудов принял ноне, сватьяшка!.. Я чай, и завтра не переможешься: отдыхать да греться станешь?

В этот вечер много было смеху, к совершенному неудовольствию тетки Анны, которая не переставала вздыхать и ухаживать за своим родственником. Но веселое расположение Глеба превратилось, однако ж, в беспокойство, когда увидел он на другой день, что работник его не в шутку разнемогся.

«Вот скучали, хлопот не было, – думал рыбак, – вот теперь и возись поди! Что станешь с ним делать, коли он такто у меня проваляется зиму? И диковинное это дело, право, какой человек такой: маленько дождем помочило – невесть что сделалось, весь распался, весь разнедужился... Эх! Я и прежде говорил: пустой человек – право, пустой человек!»

Предчувствия не обманули Глеба. Дядюшка Аким подавал надежду пролежать если не всю зиму, так по крайней мере долгое время. Он лежал пластом на печи, не принимал пищи, и лишь когда только мучила жажда, подавал голос. Так прошло несколько дней.

Раз вечером, когда все семейство рыбака, поужинав, собиралось спать, с печки нежданно послышались раздражающие стоны.

– Чего тебе? – нетерпеливо спросил Глеб.

– Батюшка, – проговорил Аким прерывающимся голосом, – чую... ох... чую, смерть моя близко!.. Не дайте... отцы... помереть без покаяния!..

Глеб кивнул головой Василию, вышел с ним в сени и велел сходить как можно скорее в Сосновку за священником.

Минуту спустя посреди свиста ветра и шума дождя раздались шаги удаляющегося парня.

Василий возвратился с священником поздно в ночь на телеге. Исповедавшись и причастившись, больной как будто успокоился, и несколько часов не слышно было его голоса. Но в полдень стоны его раздались с новой силой. Больной стал призывать по имени то того, то другого. Семейство рыбака, не выключая Василия, который только что вернулся из Сосновки, окружило Акима, уже перенесенного на лавку под образа. Никто не плакал, но ни одно лицо не выражало равнодушия. Все молча, задумчиво смотрели на бледное, изрытое лицо больного, слегка освещенное серым осенним днем.

– Чего тебе, кормилец мой? – спросила Анна, наклоняясь к нему и едва сдерживая слезы.

– Гри... Гришутку!.. – мог только произнести умирающий.

Глеб взял мальчика и поставил напротив лавки.

Дядя Аким устремил на него мутный, угасающий взор. Долго-долго смотрел он на него, приподнял голову, хотел что-то сказать, но зарыдал как дитя и бессильно опустил го-

лову, между тем как рука его, очевидно, искала чего-то поблизости.

– Полно, касатик! Что убиваешься! Авось бог милостив... Полно! – проговорила Анна, закрывая лицо фартуком.

Дядя Аким покачал головою, повернулся лицом к мальчику и снова устремил на него потухающий, безжизненный взор.

– Смотри, Гриша, – проговорил он наконец, делая усилия, чтобы его слова внятно дошли до слуха присутствующих, – вот я скоро... Ты теперь один останешься! Смотри... слушайся во всем... Глеба Савиныча... Почитай его пуще отца... Прощай... Гриша!.. Гриша!..

Дядя Аким взял руку мальчика, положил ее к себе на грудь и, закрыв глаза, помолчал немного. Слезы между тем ручьями текли по бледным, изрытым щекам его.

В той стороне, где стояла Анна, слышались затаенные рыдания.

– Глеб, – начал снова дядя Аким, но уже совсем ослабевшим, едва внятном голосом. – Глеб, – продолжал он, отыскивая глазами рыбака, который стоял между тем перед самым лицом его, – тетушка Анна... будьте отцами... сирота!.. Там рубашонка... новая осталась... отдайте... сирота!.. И сапожишки... в каморе... все... ему!.. Гриша... о-ох, господи.

Дядя Аким хотел еще что-то сказать, но голос его стал мешаться, и речь его вышла без складу. Одни мутные, потухающие глаза все еще устремлялись на мальчика; но наконец

и те стали смежаться...

Глеб перекрестился, сложил руки покойника, снял образ и положил ему на грудь.

Дети, бледные и дрожащие от страха, побежали с плачем и воем в сени.

В избе остались сноха, Глеб, Василий и Анна, которая стояла уже на коленях и, обняв ноги покойника, жалобно причитывала.

Глеб приказал Василию сходить на озеро за дедушкой Кондратием и попросить его почитать псалтырь, а сам тотчас же отправился заняться приготовлениями к похоронам.

На крыльце встретил он Гришу и Ваню. Оба терли кулаками глаза и заливались навзрыд.

– Полно, Гриша, – сказал рыбак, глядя его по голове, – не плачь, слезами тут не пособишь... перестань... О чем плакать! Воля божья...

– Как же не плакать-то, – возразил Гришка, горько всхлипывая, – как же? Ведь вот он один сапог-то сшил, а другого не сшил... не успел... так один сапог теперь и остался!

– Ну, есть о чем крушиться! Эх ты... глупый, глупый! Ну, а ты о чем? – спросил он, поворачиваясь к сыну.

– Как же, дядюшка-то? Ведь, я чай, жаль его! – отвечал Ваня, рыдая на весь двор.

Глеб Савинов подавил вздох, провел ладонью по высокому лбу и медленно пошел сколачивать гроб для дядюшки Акима.

VIII

Детство

...Уныло воет ветер в дождливую, холодную осень. Прислушайтесь: слышите, с каким суетливым беспокойством шарит он вокруг каждого кусточка и стебля, как будто отыскивая там что-то забытое или утраченное. Он заглядывает в каждое дупло, в каждую скважину, поднимает каждый поблекший листок, каждую травку и, как путник, вернувшийся на родину, который вместо уютного крова находит всюду одну глухую пустыню, мчится далее, к темному лесу, неся на плечах своих гряды сизых туч – нажитое богатство! Но помертвелый лес, окутанный туманным своим саваном, не встречает уже его ласковой речью, не кивает ему приветливо кудрявой головой. Отчаянный рев ветра сменяется тогда тоскливым плачем и ропотом. Серые тучи нависли и нахмурились. Поля, лощины и леса окропились прощальной слезою. И вот снова, как бы негодуя на свою слабость, ветер одним махом подобрал сизые тучи, бросился к опушке и, взметнувшись вихрем, помчался далее, увлекая на пути мокрые желтые листья. Этот унылый вой, неотвязчиво надрывающий сердце, ненастье и слякоть, его сопровождающие, прискучили даже поселянину, привыкшему ко всяким непогодам. Но вот пришла наконец и «зимняя Матрена», поднялась зима на ноги; прилетели морозы с «железных гор». Река

стала. Резко зазвучали колеса на колкой, мерзлой дороге, захрустели в колесах ледяные иглы, весело блеснули на солнце длинные ледяные сосульки, облепившие бахромою окна и кровли избушек. Выпал первый снег. Шумною толпой выбегают ребятишки на побелевшую улицу; в волоковые окна выглядывают сморщенные лица бабушек; крестясь или радостно похлопывая рукавицами, показываются из-за скрипучих ворот отцы и старые деды, такие же почти белые, как самый снег, который продолжает валить пушистыми хлопьями. Наступила пора всеобщего отдыха. Работы решены: уж обмолотились. С трудом вызовешь теперь мужичка из теплой избы, окутанной соломой, припертой жердями и полузанесенной снегом. Разве приведется съездить в соседний лес за валежником, или нужда велит идти с обозом. И снова спешит он в теплую избу свою. Котко летят его пустые санишки по буграм и раскатам, нетерпеливо взглядывает он из-под рогожи в снежную даль... «Прочь с дороги!» Там сквозь сумерки уже мелькает огонек, приветливо подымается витая струя дыма над трубным горшочком. Чаще и чаще покрикивает он на клячу; но кляча сама уже почуяла стойло и во всю скачь помчалась с косогора. Сладко ведь отдохнуть и порасправить кости после тяжкого страдного лета и многозаботной осени.

Но в рыбацком ремесле совсем иное дело. Рыбак вольнее пахаря, но зато ремесло его позаботливее. Он не знает зимы. На озерах рубит он «окна» (проруби), чтоб рыба не мерла от «придухи»; на реках расчищает снег, высматривает спящую,

прижавшуюся ко льду щуку, «глушит» ее обухом, взламывает лед и тащит свою добычу. Хлебец лежит себе да лежит в закроме до красной цены, до сходного времени, – лежит, и нечего кроме добра от него чаять. Рыба – живая тварь: штука поймать ее, а сбыть еще мудренее. Поди-ка таскайся с нею по базарам, прикидывайся к ценам: сегодня берем живьем, завтра давай мерзлую, а тронуло мало-мальски теплом – пошел ни с чем. Хлебец везде и всегда надобен; рыба не то: товар временной.

И уж зато как же радовался Глеб, когда, покончив дела свои, померзнув день-деньской на стуже, возвращался к вечеру в избу и садился плесть свои сети. В эти долгие зимние вечера заходила иногда речь о покойном дяде Акиме. Мало-помалу, однако ж, воспоминания эти, сопровождавшиеся вначале печальными возгласами тетки Анны, делались реже и реже. Изредка лишь, и то при случае, Глеб и Василий расскажут какую-нибудь выходку «мастака-работника» (так, смеясь, называли всегда покойника); но, слушая их, уже редко кто нахмуривал брови, – все охотно посмеивались, не выключая даже добродушной тетки Анны и приемыша, который начинал уже привыкать к новым своим хозяевам.

Сближение Гришки с семейством рыбака происходило медленно. Он оставался на вид все тем же полудиким, загрубелым мальчиком, продолжал по-прежнему глядеть исподлобья и ни слова не произносил, особенно в присутствии Глеба. Трудно предположить, однако ж, чтоб мальчик его

лет, прожив пять зимних месяцев постоянно, почти с глазу на глаз с одними и теми же людьми, не сделался сообщительнее или по крайней мере не освободился частью от своей одичалости; это дело тем невероятнее, что каждое движение его, даже самые глаза, смотревшие исподлобья, но тем не менее пряткие, исполненные зоркости и лукавства, обозначали в нем необычайную живость. Оно в самом деле так и было. Наступившее лето показало, что только постоянное присутствие Глеба, которого боялся Гришка пуще огня, заставляло его прикидываться таким смирячком. Живой и буйный нрав Гришки развернулся вполне, как только ему и Ване предоставлена была полная волюшка рыскать по окрестности. Свобода и несколько глотков свежего, вольного воздуха превратили, казалось, кровь его в огонь: он жил как волчонок, выпущенный в поле. Новая жизнь, раздолье и простор самой местности пришлись ему, очевидно, более по сердцу, чем скучные деревушки и дымные избы, в которых провел он с Акимом первые годы своего детства. Тут уже самый страх, наводимый на него Глебом, не в силах был обуздать его резвости. Жену Петра и Василия он в грош не ставил. Над тетушкой Анной, которая иной раз бралась увещевать его, он просто смеялся. Гришка помывкал Ваней, как будто сам был любимый хозяйский сын, а тот – чужой сирота, Христа ради проживавший в доме. Он бил и колотил его часто даже без всякой причины и удержки. Раз дело зашло так далеко, что Ваня пожаловался матери; впрочем, и без этого си-

няки Вани не преминули бы уличить Гришку. Тетка Анна погрозила рассказать все отцу. К вечеру Глеб натер Гришке вихры. На другое же утро у Анны пропали нитки и ножницы. Искали, искали – все напрасно. Наконец после трех дней бесполезного шарканья по всем возможным закоулкам затерянные предметы были найдены между грядками огорода, куда, очевидно, забросила их чья-нибудь озорная рука, потому что ни тетка Анна, ни домашние ее не думали даже заходить в огород. Гришка был шибко, больно наказан. Но на другой же день голос его снова загремел на дворе, и снова начались шалости. В играх и затеях всякого рода он постоянно первенствовал: он иначе не принимался за игру, как с тем, чтобы возложили на него роль хозяина и коновода, и в этих случаях жутко приходилось всегда его товарищу, но стоило только Глебу напасть на след какой-нибудь новой шалости и потребовать зачинщика на расправу, Гришка тотчас же складывал с себя почетное звание коновода и распорядителя, сваливал всю вину на сотрудника и выдавал его обыкновенно с руками и ногами.

Со всем тем Ваня все-таки не отставал ни на шаг от приемыша; он даже терпеливо сносил толчки и подзатыльники. Такое необычайное снисхождение могло происходить частью оттого, что Гришка наводил страх на него, частью, и это всего вероятнее, Ваня успел уже привязаться к Гришке всею силою своего детского любящего сердца.

Теперь перейдем к одному обстоятельству в жизни двух

мальчиков, которое, можно сказать, решило впоследствии судьбу их.

Раз как-то, в прекрасный июльский день, Гришка и Ваня покачивались в челноке, который крепился к берегу помощью веревочной петли, заброшенной за старое весло, водруженное в песок. Но, может быть, читатель не знает, что такое рыбацкий челнок. Челнок рыбака совсем не то, что челнок обыкновенный: это – узенькая, колыхливая лодочка с палубой, посреди которой вырезано круглое отверстие, закрывающееся люком; под этой палубой может поместиться один только человек, да и то врасстяжку; в летнее время у рыбака нет другого жилища: ночи свои проводит он в челноке. С вечера забирает он «верши»²⁷, уезжает в реку, забрасывает их, завязывает концы веревок к челноку и бросает маленький якорь; после этого рыбак крестится, растягивается на дне палубы, подстлав наперед овчину, закрывает люк; тут, слегка покачиваясь из стороны в сторону в легкой своей «посудине», которая уступает самому легкому ветерку и мельчайшей зыби, засыпает он крепчайшим сном.

Гришка сидел на корме челнока и, свесив смуглые худые

²⁷ Род продолговатых корзин, сплетенных из хвороста; один конец верши сведен конусом, другой открыт для входа рыбы, которая уже не может вернуться назад, задерживаемая другим плетеным из хвороста конусом, острие которого обращено внутрь. Сбоку приделано окошечко для вынимания рыбы. К острому концу верши привязывается камень для погружения ее в воду. Верша вынимается из воды с помощью веревки, привязанной к кольцу из хвороста. (Прим. автора.)

ноги свои через борт, болтал ими в воде. Ваня сидел между тем в трюме, и наружу выглядывало только свежее, румяное личико его. Белокурая голова мальчика, освещенная палящими лучами полуденного солнца, казалась еще милевиднее и нежнее посреди черных, грубо высмоленных досок палубы.

– Знаешь что, Ванюшка? – сказал Гришка, неожиданно перебрасывая левую ногу через борт и садясь верхом на корму.

– Ну?

– Переедем на ту сторону.

– А тятка? – произнес Ваня, поворачивая испуганные глаза на собеседника.

– Да ведь его теперь дома нет: в Сосновку ушел.

– Ну, а как вернется?

– Глупый!.. Да мы к тому времени давно здесь будем.

И, не дожидаясь возражений, он быстро скакнул на берег; но руки его никак не могли перекинуть петлю через конец весла, и он принялся раскачивать его изо всей мочи.

– Тронься только с места, сойди только, так вот тебя тут и пришибу! – сказал он, показывая кулак Ванюшке, который, испугавшись не на шутку дерзости предприятия, карабкался из отверстия.

– Вишь какой! Ведь, я чай, страшно.

– Чего?

– Ну, а как нас вон туда – в омут понесет! Батя и то сказывал: так, говорит, тебя завертит и завертит! Как раз на дно

пойдешь! – произнес Ваня, боязливо указывая на противоположный берег, где между кустами ивняка чернел старый пень ветлы.

– А зачем нас туда понесет? Я чай, мы будем грести наискось... Рази ты не видал, как брат твой Василий управляет-ся? Вишь: река вон туда бежит, а мы вон туда станем грести, все наискось, вон-вон, к тому месту – к дубкам, где озеро.

– Да ты думаешь, река-то узка? Не справишься: потонем!

– А небось широка, по-твоему? Эх ты! – нетерпеливо возразил Гришка.

Ширина больших рек действительно обманывает глаз. Так бы вот, кажется, и переплыл; а между тем стоит только показаться барке на поверхности воды или человеку на противоположном берегу, чтобы понять всю огромность водяного пространства: барка кажется щепкой, голос человека чуть слышным звуком достигает слуха.

Весло, глубоко вбитое в песок, плохо уступало, однако ж, усилиям Гришки. Нетерпение и досада отражались на смуглом остром лице мальчика: обняв обеими руками весло и скрежеща зубами, он принялся раскачивать его во все стороны, между тем как Ваня стоял с нерешительным видом в люке и боязливо посматривал то на товарища, то на избу.

Наконец весло повалилось.

– Полно, Гришка! Оставь лучше.

– А вот погоди... вот! – отвечал приемыш, схватил весло, припер грудью челнок, пустил его на воду и одним прыжком

очутился на палубе.

На все это потребовалась одна секунда, и Ваня не успел опомниться, как он и его товарищ были уже далеко от берега. Но сколько Гришка ни размахивал веслом, заставляя своего товарища накренивать челнок то на один бок, то на другой, их понесло течением реки в совершенно противоположную сторону от дубков. Сердце сильно застучало в груди обоих мальчиков, когда увидели они себя так далеко от дома. Страх овладел ими еще пуще, когда челнок, вертясь и повинувшись быстрому течению, стал приближаться к черному пню старой ветлы. Гришка вскрикнул, выпустил весло и прицепился к краям борта. Ваня исчез под палубой и забился в угол. Оба заплакали. Отчаяние их не было, однако ж, продолжительно.

– Проехали! Омут проехали! – воскликнул неожиданно Гришка.

Ваня высунул голову из люка и, как бы внезапно пробуждаясь от сна, с испугом оглянулся.

Старый пенъ находился уже позади их. Челнок быстро несся к берегу. Сделав два-три круга, он въехал наконец в один из тех маленьких, мелких заливов, или «заводьев», которыми, как узором, убираются песчаные берега рек, и зашел в густых кустах лозняка. Мальчики ухватились за ветви, притащили челнок в глубину залива и проворно соскочили наземь. Страх их прошел мгновенно; они взглянули друг на друга и засмеялись.

– Ну, а как же мы назад-то поедem, без весла-то? – сказал

вдруг Ваня, и личико его снова отуманилось.

– А вот что, – возразил с живостью Гришка, – мы пойдем на озеро к дедушке Кондратию: он нас перевезет.

– И то, и то! Да куда ж идти-то? – радостно подхватил Ваня.

– Выйдем на луг: там оглянемся. Отселева, из-за кустов-то, озера не видно... Пойдем.

– А заблудимся?

– Эвось-на! Разве эти кусты-то не видал ты с нашего берега?.. Идут недалече! Сейчас луга пойдут, а там и озеро... Ну, валяй!

И оба побежали, перепрыгивая поминутно через сыпучие песчаные овражки, заросшие широкими серо-зелеными листьями лопуха. Темная зелень ежевичника и осоки, смешиваясь с глянцевитою, серебристою листвою ветлы и ивы, обступала стеною наших мальчиков. На песок выбегали, переплетаясь между собою, черные узловатые корни, кругом обмытые весеннею водою. Попад раз в этот тесный лабиринт, шалуны сами не знали уже, как выбраться. Над головами их подымались со всех сторон и высоко убегали в синее небо обнаженные ветви, покрытые кое-где косматыми пучками сухих трав, принесенных на такую высоту весеннею водою, которая затопляет луговой берег верст за семь и более. Вершины ветел усеяны были обезображенными корягами, засевшими также во время водополя. Бесчисленное множество дорожек изгибалось по всем возможным направлениям.

Изредка, впрочем, открывались ровные, гладкие площадки тонкого песку, усеянные мелкими белыми раковинами и испещренные лапками речных куликов. Близость реки всюду сказывалась. В тени чувствовалась свежесть. Запах сырого песку, смешиваясь с запахом лопуха, разливался в воздухе. Набегавшись вдоволь, запыхавшись так, что едва переводили дух, наши мальчики наконец остановились.

– Ну, где ж луга-то? Вишь, нету! – сказал Ваня, отирая рукою пот, струившийся по раскрасневшемуся лицу его.

Гришка оглядывался во все стороны. В смуглых чертах его не было ни малейшего признака смущения.

– Постой! Шт! Молчи! Я слышу чей-то голос! – произнес он, неожиданно приподняв руку.

Оба стали прислушиваться.

В самом деле, посреди слабого шелеста насекомых раздался вдруг тоненький-тоненький голосок. Голос, приближавшийся постепенно, напевал песню.

– Слышь, Ваня?

– Слышу.

– Пойдем туда! Слышь, девчонка поет! – сказал Гришка.

– Ну, пойдем.

Но не успели они сделать несколько прыжков, как уже очутились прямо против певуньи.

То была хорошенькая девочка лет восьми, с голубыми, как васильки, глазами, румяными щечками и красными смеющимися губками; длинные пряди белокурых шелковистых

волос сбегали золотистыми изгибами по обеим сторонам ее загорелого, но чистенького, как словно обточенного личика. Она собирала валежник. Связка сухих ветвей лежала на руке девочки и, свесившись немного набок, обнажала полное загорелое плечико, привлекательно круглившееся на складках белой рубашки, которая прикрывала только до колен ее тоненькие быстрые ножки. Застигнутая врасплох, певунья остановилась как вкопанная, пугливо взглянула на мальчиков и, раскрыв губки, выпустила валежник, который, ветка за веткой, посыпался на песок.

– И то девчонка! Ишь ее как распевает! – сказал Гришка, осматривая ее с любопытством.

– Ты чья? – спросил Ваня.

Девочка молчала. Валежник продолжал сыпаться к ногам ее.

– Что ж ты не говоришь ничего?

– Запужалась добре: знает, с разбойниками повстречалась! Ведь мы разбойники! – воскликнул Гришка, подпираясь в бока кулаками и страшно хмуря брови.

– Вишь... как же... разбойники! – проговорила девочка, ободренная смехом Ванюши.

– Вестимо, разбойники!

– Да ты отколе? – продолжал расспрашивать Ваня.

– А с озера, чай! – отвечала девочка.

– С какого озера?

– А вам зачем? С озера...

– Пстой, Ванюша: я вот ее... Она у меня скажет! – произнес Гришка, делая шаг к девочке.

– Тронь только! – вскрикнула она, схватывая ветку и становясь в оборонительное положение. – У меня тут вот тятка за кустами: он те даст!

– А кто твой тятка? – спросил Гришка, озираясь на стороны.

– А дядя Кондратий, чай, – вот кто!

– Эвона! Ведь мы его знаем!

– Да вы отколь? – бойко спросила девочка.

– А мы с речки: мы рыбаки!

– Уж и рыбаки! – возразила девочка, сомнительно поглядывая на мальчиков.

– Не веришь?

– Нет, вы мальчишки: рыбаки-то, я чай, с бородами.

– А рази у всех борода-то?

– У всех, – лаконически отвечала девочка, нагибаясь и принимаясь подбирать валежник.

– Ты говоришь, тятка твой близко, – произнес Ванюша, – что ж его не слышать?

– А он вот там, за кустами.

Действительно, неподалеку послышался стук топора.

– Дуня! – проговорил вслед за тем протяжный, спокойный голос. – С кем это ты там калякаешь?

Девочка подняла ветви, положила их на плечо и, не взглянув даже на мальчиков, побежала в ту сторону, откуда раз-

дался голос.

Гришка и Ваня последовали за нею, и вскоре все трое очутились у опушки кустов, где начинался уже луг, сначала желтый, редкий, перемешанный с песком, но постепенно зеленеющий и убегающий в необозримую даль, задернутую переливающимися струями раскаленного воздуха.

Тут, под синеватую тенью раскидистых ив, сидел старик лет шестидесяти. Его белые как снег волосы, волною ниспадавшие до плеч, придавали ему вид самый почтенный, патриархальный, чему немало также способствовало выражение неизъяснимого спокойствия, кротости и добродушия, разлитое во всех чертах его. Его обнаженный лоб, виски и щеки усеяны были теми мелкими, тоненькими морщинками, которые даются только тихою, спокойною жизнью. Жизнь старика отражалась, впрочем, еще яснее в светло-голубых глазах его, смотревших с какою-то детскою простотою. Это был дедушка Кондратий, озерский рыбак и отец Дуни. Подле него лежала с одной стороны начатая верша, с другой – ворох красноватых прутьев лозняка.

– Э-э! Так вот это ты с кем калякала! То-то, слышу я: та, та, та... Отколь вы, молодцы? Как сюда попали? – сказал старик, потряхивая волосами и с улыбкою поглядывая на мальчиков.

Мальчики, перебивая друг дружку, рассказали повесть первых своих неудач на мореходном поприще; оба просили дедушку перевезти их на ту сторону.

– Перевезти-то я вас перевезу, а только в другой раз, смотрите, ребятенки, одни так-то по реке не пускайтесь. Скажи на милость, баловники какие!.. А? Одни без спроса по реке ездят! Ну, долго ли до греха? Где вам еще управиться!.. Слава те, господи, в омут не попали! Что бы сказал тогда Глебо Савиныч? Ну, ступайте на озеро за веслом... Что с вами станешь делать!.. Дуня, подь-ка, матушка, с ними, укажи дорогу, а сама назад не приходи. Я только вот перевезу их, да и домой... Ну, ребятушки, в бежки! Кто попрытчее из вас! Ну-ткась, ну-ткась, я погляжу...

Проводив их глазами, старик снова уселся за свои верши.

Спустя немалое время Гришка и Ваня возвратились, таща на плечах весло и багор. Солнце высоко еще стояло в небе, когда оба очутились на берегу. Все сошло благополучно. Глеб Савиныч ничего не заметил. Но переправы через Оку и встречи с дочкой Кондратия не замедлили вскоре возобновиться. Это произошло вот по какому случаю: раз как-то в разговоре с Глебом дедушка Кондратий вызвался выучить грамоте Гришку и Ваню. Глеб долго смеялся над таким предложением: он вообще терпеть не мог всего того, что мало-мальски отклоняет работника от прямого пути и назначения. О грамоте он и слышать не хотел, называл ее самым пустячным и негодным делом.

– Наша доля невод таскать, а не в книжки читать! – говорил он. – Видал я много этих книжников-то, что разумны больно... Вот, примером сказать, знал я одного: так же, как

мы с тобою, рыбак был, – Ковычкой звали. Все книжки, какие только исписаны, вытвердил, а толку никакого: пустой был самый человек! Сначала-то, до книг, все еще, куда ни шло, работал; ну, а как далась ему эта грамота, добре стал хмельным делом зашибаться... Это первое; а хуже всего то, что зачитался: ум за разум зашел – вот что!.. Нашему брату это не годится. Бывало, заговоришь с ним – и пошел писать языком. Иной раз такое тебе сбрендит, и в толк не возьмешь. Самый пустой был человек! А все отчего? Все от эвтих книг, право так!

Дедушка Кондратий не возражал: он мерекал иначе об этом деле. Сверх того, он знал, что настаивать в этом деле – значит только заставить Глеба еще пуще крепиться и упираться. Основываясь на этом, он не пропускал случая исподволь заманивать к себе ребятишек. Гришка и Ваня очень охотно следовали за стариком. Дни, проводимые ими на озере, удаляли их от дома – обстоятельство, имеющее всегда много привлекательного для детского возраста. Глеб тотчас же смекнул, зачем Кондратий уводил мальчиков; но так как сосед не перечил ему в его мнениях касательно грамоты, он смотрел на эти проделки сквозь пальцы. Он ограничивался тем только, что подтрунивал над ребятишками, называя их «дьячками» и «грамотниками» – прозвище, которого они далеко, впрочем, не заслуживали. Грамота шла из рук вон плохо. Дедушка Кондратий, в простоте своего сердца, рассчитывал на усердие учеников: сам он не мог уделить им много

времени. Жена его умерла вскоре после родов дочки. Он да наемный работник должны были управляться и по ремеслу и по хозяйству. Доброта его также немало располагала ребят к лени и ничегонеделанью. Знали хорошо, что дедушка только вот побранит разве, и в ус себе не дули. Большую часть дня играли они с Дуней или рыскали по берегам озера. В три года оба едва-едва разбирали склады.

К концу этого срока Ваня начал, однако ж, чаще сидеть в доме дедушки Кондратия; внимательнее следил он за дрожавшим, сморщенным пальцем старика, когда тот водил по ветхим страничкам букваря. Гришка между тем продолжал повесничать. Он готов был десятки раз взлезть на макушку самого высокого дуба, чем посидеть минутку за букварем дедушки Кондратия. Сидячая жизнь не отвечала его живому, буйно-неукротимому нраву. В то время как Ваня и Дуня проводили вечера неразлучно с дедушкой, Гришка пропадал на лесистых берегах озера, снимал галочки гнезда, карабкался на крутых обрывах соседних озер и часы целые проводил, повиснув над водою, чтобы только наловить стрижей (маленькие птички вроде ласточек, живущие в норках, которыми усеяны глинистые крутые берега рек и озер). Ведь, кажется, легче было бы ему сидеть со стариком, чем висеть над обрывом и целые часы, не переводя духу, караулить какого-нибудь стрижа; однако ж он предпочитал последнее. По тринадцатому году он уже управлял веслом не хуже Василия, переплывал Оку взад и вперед без одышки, нырял как

рыба. Любимым занятием его было преследовать караваны барок, которые показывались на реке, и перебраниваться с лоцманами и бурлаками. Стоя на палубе вертлявого челночка и управляясь одним веслом, он как вьюн вилял между узенькими промежутками быстро несущихся расшив, всех удивляя своей смелостью и удалью. Мало-помалу Глеб начал приучать Гришку и Ваню к ремеслу. Тут удаль приемыша несколько поугомонилась; он был, однако ж, ловок и сметлив и скоро понял дело. Впрочем, и Ваня не отставал от него. Вся разница заключалась в том лишь, что сын рыбака делал дело без крику и погрому, не обнаруживая ни удали, ни залихватства; но тем не менее дело все-таки кипело в его руках и выходило прочно. В воскресные и праздничные дни они отправлялись обыкновенно на озеро. Чуть только забрезжит заря – они уж там. Дочка Кондратия была единственным товарищем по летам обоих парнишек. Дедушку Кондратия не больно радовали такие посещения: все, бывало, вверх тор-машкой поставят в его лачуге, не оставят даже в покое самого озера, гладкую поверхность которого с утра до вечера режут челноком по всем направлениям. Хуже всего то, что в этих играх, среди которых слышался всегда громче других голос Гришки, не обходилось без побоищ. Нередко даже старик заставлял свою Дуньку со слезами на глазах и включенными волосами; но Дуня никогда не жаловалась на Гришку; напротив того, несмотря на всегдашнее заступничество Вани, она присоединялась к приемышу, и оба под-

трунивали над сыном Глеба; нередко даже соединенными силами нападали они на него. Такое предпочтение приемышу продолжалось, однако, до известного времени: с возрастом чувства девочки разделялись, казалось, поровну между товарищами детства; привязанность ее к обоим была, по-видимому, одинакова. Быстро мелькают золотые дни беспечного, веселого детства! Ваня и приемыш незаметно почти превратились в юношей. Оба они сменили уже Василия. Глеб Савиных женил его и отпустил за братом Петром в «рыбацкие слободы» – благо сходно было ему иметь теперь под рукою двух молодцов-работников. Не нарадуется, бывало, Глеб Савиных, глядя на Гришку.

«Чтой-то за парень! Рослый, плечистый, на все руки и во всякое дело парень! Маленечко вот только бычком смотрит, маленечко вороват, озорлив, – ну, да не без этого! И в хорошем хлеву мякина есть. И то сказать, я ведь потачки не дам: он вороват, да и я узловат! Как раз попотчую из двух поленцев яичницей; а парень ловкий, нече сказать, на все руки парень!»

Не мало также, если еще не более, радовался старый рыбак, глядя на Ваню, невзирая даже на то, что часто трунил над ним, называя его «дьячком» и «грамотником».

Ваня не был так плечист, может статься, даже не был так расторопен и боек, как Гришка, но уж во всяком случае не уступал ему ни по лицу, ни в работе. Славный был также рыбак! Его светлые, умные, хотя несколько задумчивые гла-

за смотрели прямо и откровенно; румянец играл во все его полные щеки, слегка подернутые первым пушком юности; его белое, чистое и круглое лицо, окруженное светло-русыми кудрями, отражало простоту души, прямизну нрава и какое-то достоинство. Словом, он представлял тот благородный, откровенный, чистый тип славянского племени, который так часто встречается в нашем простонародье, но который, к сожалению, редко достигает полного своего развития.

Да, было чем порадоваться на старости лет Глебу Савинову! Одного вот только не мог он взять в толк: зачем бы обоим ребятам так часто таскаться к соседу Кондратию на озеро? Да мало ли что! Не все раскусят старые зубы, не все смекает старая стариковская опытность. Впрочем, Глеб, по обыкновению своему, так только прикидывался. С чего же всякий раз, как только Гришка и Ваня возвращаются с озера, щурит он глаза свои, подсмеивается втихомолку и потряхивает головою?..

IX Озеро

Семейство рыбака Глеба, от мала до велика, находилось в ужаснейших хлопотах. Двор завален был ворохами соломы; навес, примыкавший к правой стороне передних ворот, лежал раскинутый по всей площадке. На его месте воздвигался новенький, только что поставленный сосновый сруб; зо-

лотистые бревна его, покрытые каплями смолы и освещенные солнцем, весело глядели на все стороны и как бы подсмеивались над черными, закоптелыми стенами старого жилища, печально лепившегося по левой стороне ворот. Глеб давно замышлял поставить новую избу: целых пять лет лелеял он эту мысль, но все крепился почему-то и не решался привести ее в исполнение.

– Батюшка, – часто говорила ему жена, – полно тебе умом-то раскидывать! Сам погляди: крыша набок скосилась совсем, потолок плох стал – долго ли до греха! Того и смотри, загремит, всех подавит. Полно тебе, поставь ты новую избу.

– Ничего: долго еще простоит, – отвечал обыкновенно муж с видом величайшего равнодушия.

Со всем тем Глеб не пропускал ни одного из тех плотов, которые прогоняют по Оке костромские мужики, чтобы не расспросить о цене леса; то же самое было в отношении к егорьевским плотникам, которые толпами проходили иногда по берегу, направляясь из Коломны в Тулу. Он заботливо расспрашивал их, сколько возьмут они срубить новую избу, прикидывался в цене моха, уговаривался, по-видимому, окончательно, шел уже за задатком, но вдруг останавливался, снова начинал торговаться и снова откладывал свое намерение. Так продолжалось несколько лет. Наконец бог знает что случилось с Глебом Савиновым: стих такой нашел на него или другое что, но в одно утро, не сказав никому ни слова, купил вдруг плот, нанял плотников и в три дня поста-

вил новую избу. Плотники были уже отпущены; оставалось покрыть только кровлю и вставить рамы. Семейство рыбака деятельно хлопотало вокруг нового здания.

Гришка-приемыш сидел верхом на «князьке», или макушке кровли, с граблями в руках. Связки соломы доставлялись ему с помощью длинного рычага, прикрепленного, наподобие колодезных журавлей, к вилообразной верхушке высокого столба, возвышавшегося посреди двора. К одному концу рычага привязана была тяжесть, для облегчения подъема; на другом конце, куда привязывалась солома, болталась длинная веревка, которою управлял Глеб. Неподалеку обе снохи (жена Петра и жена Василия) стояли с засученными по локоть рукавами подле бочки с водою и смачивали солому, назначенную для покрывки. На одном из подоконников нового здания сидел Ваня: свесив ноги во внутренность избы, перегнувшись всем корпусом на двор, он тесал притолоки и пригонял рамы. Против него, на взбудораженном омете соломы, возились дети Петра: старшему было уже девять лет, младшему – тому самому, который показывал когда-то кулачки из люльки, – только что минуло семь. Они поминутно обращались к дяде Ивану, и каждый раз, как топор, приподнявшись, сверкал на солнце, оба скорчивали испуганные лица, бросались со всего маху в солому, кувыркались и наполняли двор визгом и хохотом, которому вторили веселые возгласы Глеба, понукавшего к деятельности то того, то другого, песни Гришки на верхушке кровли, плесканье двух снох и

стук Иванова топора, из-под которого летели щепы. Между всеми этими шутивными, веселыми группами ходила взад и вперед тетушка Анна; она не принимала, по-видимому, никакого участия в стройке. Со всем тем лицо ее выражало более суеты и озабоченности, чем когда-нибудь; она перебежала от крылечка в клетушку, от клетушки к задним воротам, от задних ворот снова к крылечку, и во все время этих путешествий присутствовавшие могли только видеть одни ноги тетушки Анны: верхняя же часть ее туловища исчезала совершенно за горшками, лагунчиками, скрывалась за решетом, корчагою или корытом, которые каждый раз подымались горою на груди ее, придерживаемые в обхват руками. Захватив иной раз второпях чересчур обременительную ношу, пыхтя и перегибаясь назад под тяжестью огромной корчаги, которая заслоняла ей глаза, она вдруг останавливалась, почувствовав под ногами какое-нибудь препятствие.

– Батюшки, уроню, подсобите! – вскрикивала старушка, поворачивая испуганное лицо к присутствующим.

Тут все бросали свою работу и бежали спасать старушку, которая, не чувствуя уже никаких преград под ногами, торжественно продолжала свое шествие. Взглянув на усердие и бережливость, с какими таскала она и ставила горшки свои, можно было подумать, что судьба нового жилища единственно зависела от сохранности этих предметов.

Время подходило к вечеру. Тень, бросаемая старой избою и соседним навесом, затопила уже двор и досягала до новой

кровли, оставляя только яркую полосу света на князьке, где помещался приемыш, когда Глеб приказал снохам прекратить работу.

– Ну, бабы, шабаш! – произнес он, с самодовольствием осматривая избу. – Соломы ноне больше не потребуется. Завтра начнем покрывать другую половину кровли. До того времени Гришка выложит ее хворостом... Эй, Гришка!

– Ге... е!.. – отозвался приемыш на макушке.

– Перелезай на ту сторону. Время немного осталось; день на исходе... Завтра чем свет станешь крыть соломой... Смотри, не замешкай с хворостом-то! Крепче его привязывай к переводинам... не жалея мочалы; завтра к вечеру авось, даст бог, порешим... Ну, полезай... да не тормози руки!.. А я тем временем схожу в Сосновку, к печнику понаведаюсь... Кто его знает: времени, говорит, мало!.. Пойду: авось теперь ослобонился, – заключил он, направляясь в сени.

Минуту спустя он снова появился на дворе, но уже в шапке и с палкою в руке.

– Эй, Ванюшка!

– Я, батюшка, – отозвался Ваня, соскакивая с подоконника и подходя к отцу.

– Вот что... я было совсем запамятовал... Я чай, на ставни-то потребуется однотесу: в городе тогда не купили, так ты сходи без меня на озеро к Кондратию и одолжись у него. Он сказывал, есть у него гвозди-то.

– Сейчас, батюшка, – торопливо отвечал сын, – сейчас иду.

– Куды затормошился? Эвона! Рази я говорю: теперь ступай! Успеешь еще десять раз сбегать: время терпит. Наперед всего покончи дело с рамами и притолоками, тогда и ступай... Немного далече, к ночи домой поспеешь...

– Гей, батюшка! – крикнул Гришка, показывая над князьком свою черную голову, освещенную яркими лучами солнца.

– Чего там?

– Давай я схожу.

– Куда?

– Да на озеро. Моя работа не задержит, – и то, почитай, уж готово...

– Знай свое дело делай, об моем не сумлевайся. Знают про то большие, у кого бороды пошире, что кому делать: кому сказано, тот и пойдет! Ступай-ка, ступай...

Голова Гришки скрылась за князьком.

С некоторых пор, не мешая заметить, Глеб наблюдал, чтобы Гришка как можно реже бывал на озере; взамен этого он норовил посылать туда как можно чаще своего собственного сына. Все это, конечно, делалось не без особенной цели. Он задумал женить Ваню на дочери соседа. Зная озорливость приемыша и опасаясь, не без оснований, какого-нибудь греха с его стороны в том случае, если дать ему волю, старый рыбак всячески старался отбить у него охоту таскать-

ся на озеро; это было тем основательнее, что времени оставалось много еще до предположенной свадьбы. Глеб, израсходовавшись на новую избу, отложил свадьбу Вани до предбудущего лета.

– Смотри же, Ванюша, не запамятуй, спроси одנותесу... Слышь?.. Как кончишь притолоки, так и ступай! – повторил Глеб, обращаясь к сыну, который после первого наказа отца так деятельно принялся за работу, что только щепки летели вокруг. – Ну, а вы-то что ж, касатушки? Разнежились, белоручки! – продолжал рыбак, поворачиваясь к снохам, стоявшим без дела. – Раненько отдохнуть вздумали. С соломой покончили, принимайся за другое дело. Вам сказывай все! Самим не в догадку... Э-хе! Да вот хоть бы старухе-то подсобили; вишь, с ног смоталась совсем... Вишь, вишь... Эх ты, сердечная! – заключил он, подсмеиваясь и направляясь к воротам.

– Дедушка, и мы с тобой! – закричали в один голос дети Петра, кубарем скатываясь с омета.

– Куда, шут вас возьми совсем! Куда! Измаетесь: ведь я в Сосновку... Ступай домой!

– Нет, дедушка, пусти нас; мы вот толечко до ручья тебя проводим.

– Ну, до ручья можно; пойдем!.. Вишь, пострелы какие, а? Скажи на милость, провожать просятся... Ну, ну, ступай, ступай.

И, сопровождаемый ребяташками, старый рыбак исчез за

воротами.

– Слава тебе, господи! Замучил совсем! – пробормотала жена Петра, бросаясь со всех ног на солому.

– И то... Ух, батюшки!.. Ног под собой не слышу, – сказала жена Василия, следуя ее примеру.

– Ну, что вы развалились, в самом-то деле-то?.. Экие бесстыжие, право!.. Право, бесстыжие!.. Чего разлеглись? – проговорила тетушка Анна, неожиданно появляясь перед снохами с лукошком на голове, с горшками под мышкой. – Совести в вас нет... Хотя бы людей посрамились... Одна я за все и про все... Ух, моченьки нет!.. Ух, господи!

Снохи лениво приподнялись и начали лениво подсоблять ей. Но так как старушка не давала им никакого дела и, сверх того, подымала ужаснейший крик каждый раз, как снохи прикасались только к какому-нибудь черепку, то они заблагорассудили снова отправиться на солому.

Ваня между тем продолжал так же усердно трудиться. Он, казалось, весь отдался своей работе и, не подымая головы, рубил справа и слева; изредка лишь останавливался он и как бы прислушивался к тому, что делалось на другой стороне кровли. Но Гришка работал так тихо, что его вовсе не было слышно.

– Гриша! – произнес наконец Ваня, заколачивая последнюю раму.

Ответа не было.

Ваня посадил острие топора в бревно и проворно обошел

избу.

Гришка нигде не отыскивался.

Румянец живо заиграл тогда на щеках парня, и лицо его, за минуту веселое, отразило душевную тревогу. Он торопливо вернулся в избу, оделся и, не сказав слова домашним, поспешно направился к реке, за которой немолчно раздавались песни и крики косарей, покрывавших луга. Время подходило к Петровкам, и покос был в полном разгаре.

Достигнув того места на конце площадки, куда обыкновенно причаливались лодки, Ваня увидел, что челнока не было. Никто не мог завладеть им, кроме Гришки. Глеб пошел в Сосновку, лежавшую, как известно, на этой стороне реки. На берегу находилась одна только большая четырехвесельная лодка, которую не мог управлять один человек. Ваня недолго раздумывал. Снять с себя одежду, привязать ее на голову поясом – было делом секунды; он перекрестился и бросился в воду.

Вечер был уже на исходе. Уже нагорный берег делился темно-синиею стеною на чистом, ясном небе; темный, постепенно понижающийся хребет берега перерезывался еще кой-где в отдалении светло-лиловыми, золотистыми промежутками: то виднелись бока долин, затопленных косыми лучами солнца, скрывавшегося за горою. Далее все завешивалось сквозным, розово-перламутровым паром. Холодная зубчатая тень, бросаемая берегом, быстро бежала вперед, захватывая луга и озера, и только река одна, отражавшая круглые

румяные облака, величественно еще сверкала в темно-зеленых берегах своих. Ваня не был лихим пловцом; но на этот раз особенную какую-то силой дышали его мышцы: он не замедлил очутиться на другом берегу Оки. Тут только убедился он окончательно, что предчувствия не обманули его, первый предмет, бросившийся ему в глаза, был челнок, который, очевидно, старались припрятать в кустах, но который, вытягивая мало-помалу веревку, высвободился из засады и свободно покачивался на поверхности воды. Ваня миновал кусты, поспешно выбрался на опушку и пошел отхватывать лугами. Сумерки между тем успели уже окутать весь луговой берег. Со всем тем здесь все еще кипело жизнью. Крику и шуму было даже более, чем в продолжение дня. Все спешили на отдых: трудовой день кончился. Восклицания, песни неслись со всех концов необъятного лугового простора. Влажный вечерний воздух, проникнутый запахом сена, был недвижим; слабейший звук не пропал для слуха. Несвязный говор, песни, иногда какой-нибудь отрывчатый, отдельный возглас, скрип телег, ржание жеребенка, раздававшееся бог весть где, — все это сливалось в один общий гул, разливавшийся мягкими волнами по окрестности. Всюду между рядами остроконечных стогов сена, верхушки которых становились уже мало-помалу темнее неба, мелькали белые рубахи косарей; бабы и ребятишки тянулись длинными кривыми вереницами по всем направлениям; возы и лошади попадались на каждом шагу; кое-где артель работников, разва-

лившись на росистой траве вокруг дымящегося котелка, собиралась ужинать; кое-где только что зажигались еще костры.

Ваня ходко шел вперед, ни на что не обращая внимания. Нередко приводилось ему встречаться с толпами баб и мужиков; но он норовил всякий раз обходить их. «Куда идешь, молодец?» – раздавалось иногда из толпы баб. «За делом!» – коротко отвечал парень и, не замечая даже плутовских взглядов, бросаемых на него какою-нибудь краснощекой, игривой бабенкой, продолжал путь. Сквозь густеющие сумерки он ясно различал верхушки ветел, орешника и ольхи, которые выступали из-за крутого, но покуда еще скрытого берега озера. По мере приближения к цели шаг его ускорялся, грудь волновалась сильнее. Вскоре очутился он на краю берега, кругом, как бахромою, покрытого листвою. Невозмутимая тишина, прерываемая отдаленными песнями и говором народа, который уходил все дальше и дальше к Оке и располагался ужинать, царствовала на озере. Неподвижно стояла его гладкая как зеркало поверхность, отражавшая звездное небо и темные купы деревьев, обступавших его окраину. Изредка разве проносился как словно неясный, какой-то замирающий звук... Ваня прислушивался: то плескалась рыба или протрещал чибез, спешивший в гнездо свое... Наконец сквозь ветки открылась лачужка дедушки Кондратия; но в ней, как и на озере, не было заметно признака жизни. Что бы это значило? Дедушка Кондратий не ло-

жился так рано... Ваня направился к жилищу рыбака. Дверь была отворена. Бережно ступая по мокрой траве, он вошел в лачужку: там никого не было. «Что ж бы это значило, в самом деле? Куда ж девались хозяева?.. Уж не пошел ли дедушка Кондратий к косарям вместе с дочкой?.. Нет, ему незачем было идти к косарям!.. Куда ж девался, наконец, Гришка?..» Задавая себе такие вопросы, Ваня обошел несколько раз лачужку. Нигде ни души. Он остановился и приложил уже ладони к губам, чтобы крикнуть: авось не отзовется ли кто на его голос; но в эту минуту послышался ему неподалеку чей-то затаенный говор... Бережно ступая по траве, он тотчас же прокрался в ту сторону. Дыхание сперлось в груди молодого парня, когда узнал он голоса Гришки и Дуни. Но сердце его забилося еще сильнее, когда, достигнув знакомой ему прогадины между кустами, увидел он их сидящих рядышком на краю берега; темные головы молодых людей четко обозначались на светлой поверхности озера, которое стлалось под их ногами.

Осадив шаг назад и стиснув зубы, которые щелкали как в лихорадке, Ваня притаился за куст и стал вслушиваться.

– Шт! Молчи, Гриша: словно кто-то идет, – произнесла Дуня, пугливо озираясь на стороны.

– Вот! Кому теперь идти! Батька твой, чай, еще и до Комарева не доплелся; косари сели ужинать... Вот разве Ванька; да нет! Небось не придет! Челнок со мною на этой стороне; плавать он не горазд; походит, походит по берегу да с

тем и уйдет!..

– Ох, боюсь я, Гриша, смерть боюсь...

– Чего?

– Ну, а как он догадается, что ты здесь... так инда сердце все задрожит...

– А леший его возьми, пускай его догадывается! Нам не впервые мериться кулаками...

– А как он да отцу скажет?

– А пускай его сказывает! Я нешто боюсь? Ездил на косарей поглядеть, да и вся недолга.

– А все как словно страшно... Да нет, нет, Ваня не такой парень! Он хоть и проведает, а все не скажет... Ах, как стыдно! Я и сама не знаю: как только повстречаюсь с ним, так даже вся душа заноеет... так бы, кажется, и убежала!.. Должно быть, взаправду я обозналась: никого нету, – проговорила Дуня, быстро оглядываясь. – Ну, Гриша, так что ж ты начал рассказывать? – заключила она, снова усаживаясь подле парня.

– А вот что: примечаю я, старый за мной приглядывает.

– С чего же?

– А кто его знает с чего! Должно быть...

– Перестань, Гриша... За что ты его не любишь? Грешно тебе...

– Эвона! Что он, сродни мне, что ли?

– А все грешно так-то говорить тебе! За что? Они тебе были отцами, возрастили, ходили словно за родным...

– Ну да, видно, за родным... Я не о том речь повел: недаром, говорю, он так-то приглядывает за мной – как только пошел куда, так во все глаза на меня и смотрит, не иду ли к вам на озеро. Когда надобность до дедушки Кондратия, посылает кажинный раз Ванюшку... Сдается мне, делает он это неспроста. Думается мне: не на тебя ли старый позарился... Знамо, не за себя хлопочет...

– Нет, Гриша, не пойду я...

– Вашего брата не спрашивают: велят – пойдешь...

– Нет, не пойду, не пойду за Ваню! Как перед господом богом, не будет этого.

– Силой выдадут! Уж коли старый забрал что в голову, вой не вой, а будет, как ему захочется... Я давно говорю тебе: полно спесивиться, этим ничего не возьмешь... Ты мне одно только скажи, – нетерпеливо произнес Гришка, – одно скажи: люб я тебе или нет?.. Коли нет...

– Люб, Гриша, люб! О! Пуще отца родного! – с жаром воскликнула Дуня.

Тут колени Вани так сильно задрожали, что он едва удержался на ногах. Бедный парнюха хотел оправиться, сделал какое-то крайне неловкое движение, ухватился второпях за сук, сук треснул, и Ваня всею своею тяжестью навалился на куст. В ту же секунду поблизости послышалось падение чего-то тяжелого в воду, и вслед за тем кто-то вскрикнул.

Ваня быстро вскочил на ноги, бросился вперед и лицом к лицу столкнулся с Дуней.

– Не бойся: это я, – сказал он совершенно взбудораженным голосом, которому тщетно старался придать твердость.

– Ты, Ваня?.. Ах, как я испужалась! – проговорила Дуня с замешательством. – Я вот сидела тут на берегу... Думала невесть что... вскочила, так инда земля под ногами посыпалась... Ты, я чай, слышал, так и загремело? – подхватила она скороговоркою, между тем как глаза ее с беспокойством перебегали от собеседника к озеру.

– Так стало... ты здесь одна была? – нерешительно проговорил Ваня, украдкой взглядывая на озеро.

На гладкой поверхности его, слегка зазубренной серебристыми очертаниями разбегающегося круга, виднелось черное пятно, которое быстро приближалось к противоположному берегу.

– Да ты, видно, к батюшке, Ваня? Батюшка ушел в Комарево, – торопливо поспешила сообщить девушка.

В эту самую минуту слабый треск дальних кустов возвестил, что темное пятно, видневшееся на поверхности воды, благополучно достигло берега.

– Что ж ты здесь стоишь, Ваня? – сказала вдруг девушка изменившимся и, по-видимому, уже совсем спокойным голосом. – Пойдем в избу: может статься, надобность есть какая? Может статься, тебя отец прислал? Обожди: батюшка скоро вернется.

– Нет... я так... Батюшке... однотесу, вишь, понадобилось, – пробормотал Ваня, мешаясь и прерываясь на каждом

слове.

– Так ты обожди: бабушка скоро вернется... Пойдем, что стоять-то! – вымолвила Дуня, направляясь к лужайке.

Ваня последовал за нею, но, сделав три шага, остановился.

– Что ж ты? – спросила девушка, поворачивая к нему голову.

– Нет, я уж лучше завтра зайду, – произнес парень с самым неловким видом.

– Что ж так?

– Да так... завтра уж оно лучше... теперь пора домой...

Прощай, Дуня!..

– Экой чудной какой! Да куда ты? Обожди!

– Нет, уж не приходится!.. Прощай!

– Прощай, Ваня... Заходи же завтра; я бабушке скажу...

Прощай!

Но Ваня ничего не слышал: он был уже далеко.

«Так вон они как! Вот что. А мне и невдомек было! Знамо, теперь все пропало, кануло в воду... Что ж! Я им не помеха, коли так... Господь с ними!» – бормотал Ваня, делая безотрадные жесты и на каждом шагу обтирая ладонью пот, который катился с него ручьями. Ночь между тем была росистая и сырая. Но он чувствовал какую-то нестерпимую духоту на сердце и в воздухе. Ему стало так жарко, что он принужден даже был распахнуть одежду.

Вскоре он очутился посреди лугов.

Но на этот раз никто уже не приветствовал молодого пар-

ня. Здесь все уже безмолвствовало. Темным неоглядно-далеким пологом расстилались луга. Торжественно-тихо раскидывалось над ним синее ровное небо, усеянное мерцающими звездами. Чуть-чуть видными пятнами мелькал развалившийся по траве народ. Костры уже погасли. Где-где, подле груды тлеющих, покрытых седым пеплом угольев, сидела баба и, покачивая люльку, задумчиво склонив голову над уснувшим младенцем, тихо напевала заунывную колыбельную песню... Все безмолвствовало. Даже самые шаги молодого парня стали раздаваться слабее, слабее, и те наконец смолкли. Ваня ступал уже по песку и приближался к Оке. Он прямо пошел к тому месту, где находился челнок. Но челнока уже не было. При этом движение какого-то невольного отчаяния пробудилось вдруг в душе молодого парня; кровь хлынула к его сердцу; как словно туманом каким окинулось все перед глазами. Но это продолжалось недолго. Он поднял глаза и взглянул на ту сторону: черной, мрачной стеною подымался нагорный берег; там, далеко-далеко, в одном только месте приветливо мигал огонек... То, быть может, старуха мать поправляет лучину, выжидая запоздавшего сына... Ваня провел рукою по лбу, как бы стараясь опомниться, торопливо прошептал молитву, перекрестился и бросился в воду, не выпуская из глаз огонька, который продолжал мигать ему, отражаясь дрожащею золотистою ниткой на гладкой поверхности Оки, величаво сверкавшей посреди ночи.

Часть вторая

Х

Обманутое ожидание

Прошло несколько месяцев после происшествия на озере – происшествия, которое так сильно взволновало сердце младшего сына рыбака Глеба Савинова.

В последних числах апреля, после обеда, Глеб, Ваня и приемыш работали неподалеку от новой избы, на верхнем конце площадки. Приближалось водополье. Старый рыбак и молодые помощники его приготавливали все нужное для начала рыбной ловли, которая считает разлив реки лучшим своим временем. Они спешили управиться с саками, баграми, вершами и сетями: кое-где требовалось вплести новый венец из ивняка, там недоставало нескольких петель, здесь следовало подвязать новый поплавок и проч., и проч. Зима хотя и длинна, а всего не усмотришь.

Принимая в соображение шум и возгласы, раздававшиеся на дворе, можно было утвердительно сказать, что тетушка Анна и снохи ее также не оставались праздными. Там шла своего рода работа. И где ж видано, в самом деле, чтобы добрые хозяйки сидели сложа руки, когда до светлого праздника остается всего-навсего одна неделя!

Нечего, разумеется, говорить о тех заботах, которые связываются с крашением яиц, печением куличей и приготовлением пасхи: все это было покуда еще впереди. Но всякий согласится, я думаю, что мытье полов, чистка избы, стирка и заготовление кой-каких обнов (последнее производится обыкновенно втайне, но возбуждает тем не менее более толков, чем первые хозяйственные хлопоты) представляют также немаловажную статью. Несмотря, однако ж, на все эти многосложные занятия, наши хозяйки, очевидно, больше кричали и шумели, чем делали дело. Работа их подвигалась из рук вон плохо. И тетушка Анна и снохи ее поминутно выбегали за ворота. Примеру их даже следовали дети Петра. Все с нетерпением устремляли тогда глаза на посиневшую Оку и дальний луговой берег, уже совсем почти освободившийся от снега.

Дело в том, что с минуты на минуту ждали возвращения Петра и Василия, которые обещали прийти на побывку за две недели до Святой: оставалась между тем одна неделя, а они все еще не являлись. Такое промедление было тем более неуместно с их стороны, что путь через Оку становился день ото дня опаснее. Уже поверхность ее затоплялась водою, частью выступавшею из-под льда, частью приносимую потоками, которые с ревом и грохотом низвергались с нагорного берега.

Был именно один из тех сырых, сумрачных дней, которые ускоряют оттепель лучше самого яркого солнца. Густой

туман покрывал землю. Теплый, влажный южный ветер – «мокрык», как называют его рыбаки, – видимо, казалось, съедал остатки рыхлого почерневшего снега. Темно-синяя полоса, висевшая неподвижно уже несколько суток сряду над горизонтом, предвещала, в совокупности с такими же верными признаками, надолго установившееся тепло. Глеб, в совершенстве постигавший значение самых неуловимых перемен воздуха, давно еще предсказал такую погоду. Старый рыбак никогда не ошибался: закат солнца, большая или меньшая яркость утренней зари, направление ветра, отблеск воды, роса, поздний или ранний отлет журавлей – все это осуществляло для него книгу, в которой он читал так же бойко и с разумным толком, как разумный грамотей читает святцы. Реку со всеми ее годовыми изменениями и причинами знал он как свои пять пальцев. Многие приметы, основанные на долгом опыте, говорили ему, что не сегодня, так завтра Ока взломает лед и разольется дружною водою. Соображаясь с этим, он за несколько дней перетасил лодки на верхнюю часть площадки. Позднее вскрытие реки не предвещало ничего худого для промысла. Глеб был, следовательно, доволен и спокоен. Одного разве недоставало для полного довольства Глеба – недоставало сыновей, которых так долго и так напрасно все ждали.

– Шут их знает, чего они там замешкали! – говорил он обыкновенно в ответ на скорбные возгласы баб, которые, выбежав за ворота и не видя Петра и Василия, обнаруживали

всякий раз сильное беспокойство. – Ведь вот же, – продолжал он, поглядывая вдаль, – дня нет, чтобы с той стороны не было народу... Валом валит! Всякому лестно, как бы скорее домой поспеть к празднику. Наших нет только... Шут их знает, чего они там застряли!

– Бог ведает, что такое! Я уж не знаю, что и подумать-то... О-ох! – говорила тетушка Анна с глубоким вздохом.

Тут старуха делала обыкновенно какой-то таинственный знак снохам, и все три робко, шаг за шагом, подходили к работающим. Тетушка Анна рада была, что муж ее по крайней мере хоть разговаривает об отсутствующих: авось услышит она от него какую разумную, толковую речь, которая успокоит ее материнское наболевшее сердце.

Подойдя к мужу, она прикладывала ладонь к правой щеке и, тоскливо покачивая головой, продолжала:

– Нет, не дожидаться, знать, нам наших детушек... Где-то они теперь? О-ох, чует мое сердце...

Дрожащий голос ее ясно показывал, что она готова была удариться оземь и закричать голосом.

– Полно тебе, дура голова! Ну, чего ты, чего? Погодим еще: авось какой-нибудь рассудок да будет... Не махонькие они: свой толк в голове есть. Знамо, кто себе враг! На беду не полезут.

– Так-то так, батюшка, а все словно думается, не прилучилось бы чего, – возражала жена Петра.

– Ничаво! Должно быть, реки задержали, – неожиданно

сказал Гришка.

– Вот Гришка недолго думал – решил! – произнес Глеб, посмеиваясь. – Слышь, за реками дело стало, а нам и невдомек! Эх ты, разумная голова! У бога недолго, а у нас тотчас!.. Реки помешали! Ну, а народ-то как же приходит? Лодки, что ли, под мышкой несет, а? Эх, ты! Кабы реки-то разошлись, они бы, я чай, давно себя показали: давно бы здесь были! – подхватил он, указывая на Оку. – Всем рекам один путь – наша Ока. Давно бы тогда и мы по ней погуливали... Догадливый парень, нечего сказать! Ну-кась, ты, Василиса, что скажешь? – добавил он, насмешливо взглядывая на жену Василия.

Но Василиса, обыкновенно говорливая, ничего на этот раз не отвечала. Она была всего только один год замужем. В качестве «молодой» ей зазорно, совестно было, притом и не следовало даже выставлять своего мнения, по которому присутствующие могли бы заключить о чувствах ее к мужу. Весьма вероятно, она ничего не думала и не чувствовала, потому что месяц спустя после замужества рассталась с сожителем и с той поры в глаза его не видела.

– Так как же, Гришка, а? Реки помешали? – продолжал расспрашивать развеселившийся Глеб.

– Спроси у Ванюшки: он лучше моего скажет, – отвечал приемыш, укладкою взглядывая на хозяйского сына, который с видом раздумья чинил вершу и мало обращал, по-видимому, внимания на все происходившее вокруг.

– Что ж ты молчишь, Ванюшка? Говори, с чего братья, шут их возьми, застряли? – произнес Глеб, находивший всегда большое удовольствие раззадоривать друг против дружки молодых парней, чтобы потом вдосталь над ними потешиться.

– Почему мне знать, батюшка! – спокойно и как-то неохотно отвечал сын. – Кабы я с ними шел, так, может статься, сказал бы тебе; господь их ведает, чего они нейдут...

Он взглянул на мать, которая слегка уже начинала всхлипывать, и поспешил прибавить:

– Должно быть, с делами не справились. Бог даст, придут.

– Ну, этот, по крайности, хошь толком сказал, долго думал, да хорошо молвил! – произнес отец, самодовольно поглаживая свою раскидистую бороду. – Ну, бабы, что ж вы стоите? – заключил он, неожиданно поворачиваясь к снохам и хозяйке. – Думаете, станете так-то ждать на берегу с утра да до вечера, так они скорее от эвтаго придут... Делов нет у вас, что ли?

При этом тетка Анна и снохи ее бросали новый взгляд на дальний берег и, подавив вздох, снова возвращались к своим занятиям.

Веселость старого рыбака, не подстрекаемая присутствием баб и возгласами молодых ребят, которые большею частью работали молча, мало-помалу проходила и уступала место сосредоточенному раздумью. Его не много беспокоили отсутствующие: Петр и Василий не малые ребята, к тому

же и люди толковые. Слава тебе, господи! Настолько пожили они на свете, настолько опытни, чтобы знать, где след и где не след. Ненадежное состояние дорог и рек им слишком известно, чтобы можно было ожидать от них какой-нибудь опрометчивости. Вероятно, дела поважнее задерживали их так долго. Может статься, с хозяином не покончили расчетов, а может статься, и попросту – загуляли. За Петрушкой такое важивалось! Так рассуждал Глеб, предоставлявший бабам своим сокрушаться и строить по поводу отсутствующих отчаянные, безнадежные предположения. Он редко даже посматривал в ту сторону, откуда должны были показаться Петр и Василий. С некоторых пор взгляды Глеба несравненно чаще обращались к младшему сыну. Старый рыбак давно еще, почти с самого начала зимы, стал замечать перемену в молодом парне. Не раз даже пытал он доследиться причины, не раз привязывался к Ване, осаждая его вопросами о том, с чего напала на него худоба, с чего он невесел, что бычком смотрит и проч., и проч. Не раз даже старик выходил из себя и грозил порядком проучить сына в том случае, если со временем окажется какая-нибудь причина такой перемены, но остался все-таки ни при чем. Ваня отбояривался обыкновенно какими-то пустыми, незначащими ответами; говорил, что он ничего за собою не замечает, что никакой особенной худобы за собой не видит, – словом, не давал никакого удовлетворительного объяснения. Хуже всего было то, по мнению Глеба, что Ванюшка начал с некоторых

пор как словно задумываться. Это обстоятельство особенно сильно бродило почему-то в голове старого рыбака в тот день, о котором идет теперь речь.

«Ведь вот же, ничего такого не бывало с его братьями, – думал он, поглядывая на Ваню из-под густых нахмуренных бровей. – Да вот теперь хошь бы Гришка: ничего такого не заметно: парень как парень... озорлив, негодный! Ну, а в другом чем виду не показывает – песни это играет, с бабами балует; иной раз даже сократишь его, при удержишь... А мой и есть стал что-то не в охоту, хлеба лишился, словно хворобой какой скучает. И не допытаешь никак: затаился!.. Надо женить его – вот что!.. Он хоша, сдастся мне, не добре ластится к дочке Кондратия, во всю зиму, почитай, к ним и не наведывался: знать, не по ндраву; да смотреть на это нечего! Женится – слюбится!» – продолжал Глеб, хранивший покуда еще в тайне такое намерение.

Выбор Глеба, не мешает заметить, мог только объяснить себя непомерным его упорством. Озерской рыбак, по словам самого Глеба, был не что иное, как сосед, у которого нечем было голодную собаку из-под стола выманить. Дочка его была, следственно, «бесприданница». Расчетливый Глеб подавно не должен был бы обращать на нее внимания. Но так уж задумал Глеб – задумал потому, может статься, что такой выбор должен был встретить препятствия со стороны жены и родных. Когда Глеб заберет что в голову, можно почесть дело решенным; в этих случаях ничем уже не возьмешь. Упря-

ство сильнее самого расчета.

«Женится – слюбится (продолжал раздумывать старый рыбак). Давно бы и дело сладили, кабы не стройка, не новая изба... Надо, видно, дело теперь порешить. На Святой же возьму его да схожу к Кондратию: просватаем, а там и делу конец! Авось будет тогда повеселее. Через эвто, думаю я, более и скучает он, что один, без жены, живет: таких парней видал я не раз! Сохнут да сохнут, а женил, так и беда прошла. А все вот так-то задумываться не с чего... Шут его знает! Худеет, да и полно!.. Ума не приложу...»

На самом этом месте размышления Глеба были прерваны пронзительными криками Анны, обеих снох и даже ребяташек Петра: все они как сумасшедшие стремглав летели из ворот, тискаясь друг на дружку и размахивая руками.

– Батюшки! Они! Касатики! Они! Они идут! Они, они! – кричала тетушка Анна, бежавшая впереди всех и придерживавшая правую руку платок на голове. – Они! Они идут! Пресвятая Богородица! Они! – подхватывала она, перескакивая через багор, наконечник которого лежал на коленях мужа.

– Они идут, они! Как перед богом, они! – вопили снохи и дети, вихрем проносясь мимо работающих и задевая на пути верши, которые покатались во все стороны.

– Эх их подняло! Полоумные! Инда совсем огорошили! – проговорил Глеб, вставая на ноги и оглядывая бежавших баб с видом крайнего недоумения. – Ребята! – примолвил он, по-

спешно обращаясь к Гришке и Ване. – Ступайте за ними, живо! Вишь их! Сдуру-то, чего доброго, в воду еще побросаются!.. Эй, бабы! Глупые!.. Эй! Куда вы? – подхватил он, догоняя Ваню и Гришку, которые бежали вниз по площадке. – Стойте! Эй!.. Нет, дуют себе, шальные! Ну, чего вы? Чего всполохнулись?.. Эки бесшабашные! – заключил он, настигая баб, которых едва сдерживали на берегу Гришка и Ваня.

– Батюшки! Они! Касатики! Они! – голосили бабы, и пуще всех тетушка Анна.

В самом деле, на той стороне Оки виднелись люди. Хотя они казались ничуть не больше мизинца, однако ж по движению их ясно можно было заключить, что они высматривали удобопроходимые места и готовились спуститься на реку.

– Должно быть, места-то там добре опасливы! Вишь, как выглядывают! – говорила жена Петра, нетерпеливо переминаясь на месте.

– Батюшка, Петрушенька ты мой! Вася! Касатик! Рожонной ты наш! Родимые вы мои! Ох вы, батюшки вы наши! – вопила тетушка Анна таким голосом, который мог показаться издали отчаянным рыданием.

– Тятка! Тятка идет! – кричали, в свою очередь, мальчишки.

– Вы что, мелюзга?.. И она туда же!.. Цыц! – сказал не совсем ласково Глеб. – Полно вам кричать, бабы!.. Ох ты, старая, куда голосиста!.. Погодите, дайте время высмотреть. Спозаранку хватились! Может статься, и не они совсем.

– И то не они! – воскликнул неожиданно Гришка, пристально следя глазами за путешественниками, которые продвигались вперед, описывая круги по льду.

– Нет, не они! – подтвердил Ваня.

– Ну, вот, то-то же и есть! Эх, вы, сороки! – вымолвил Глеб сурово, обращаясь к бабам.

Бабы стояли как ошеломленные. Несмотря на то что они уже двадцать раз обманывались таким образом, им как будто все еще в голову не приходило, что на Оке, кроме Василия и Петра, могут показаться другие люди: опыт в этом случае ни к чему не служил. Бабы стояли как ошеломленные. Вскоре, однако ж, руки и ноги их снова обрели движения; а вместе с ними развязался и самый язык. Досадливое чувство не замедлило уступить место любопытству. Все три поспешили к Глебу, Ванюшке и Гришке, которые стояли на самой окраине берега и кричали прохожим, заставляя их принимать то или другое направление и предостерегая их от опасных мест; бабы тотчас же присоединились к старому рыбаку и двум молодым парням и так усердно принялись вторить им, как будто криком своим хотели выместить свою неудачу.

На этот раз, впрочем, было из чего суетиться. Вчуже забирал страх при виде живых людей, которые, можно сказать, на ниточке висели от смерти: местами вода, успевшая уже затопить во время дня половину реки, доходила им до колен; местами приводилось им обходить проруби или перескакивать через широкие трещины, поминутно преграждавшие путь.

Дороги нечего было искать: ее вовсе не было видно; следовало идти на авось: где лед держит пока ногу, туда и ступай.

– Гей, братцы, забирайте левей, левей забирайте! Прямо не ходите! – кричал Глеб.

– Прямо не ходите!.. Не ходите!.. Ах ты, господи, того и смотри обломаются! – дружно вторили бабы.

Но и путешественники, которых числом было шесть, хотя и внимательно, казалось, прислушивались к голосам людей, стоявших на берегу, тем не менее, однако ж, все-таки продолжали идти своей дорогой. Они как словно дали крепкий зарок ставить ноги в те самые углубления, которые производили лаптишки их предводителя – коренастого пожилого человека с огромною пилою на правом плече; а тот, в свою очередь, как словно дал зарок не слушать никаких советов и действовать по внушению каких-то тайных убеждений.

– Вишь, смелые какие! Того и смотри обломаются! – говорил Глеб.

– Обломаются! Знамо, обломаются... Ах ты, господи! – подхватили с уверенностью бабы.

– Эй, ребята! – снова крикнул Глеб, когда путники приблизились к месту, где река представляла длинное озеро. – Стойте, говорят вам, стойте, не ходите!

При этом предводитель с пилою на плече остановился; за ним тотчас же остановились и другие.

– Гей? – отозвался предводитель, вопросительно обращаясь к стоявшим на берегу.

– Не ходи прямо! Разве не видишь? – закричал Глеб.

– А что? – отозвался предводитель.

– А то же, что воды отведаешь: потонешь – вот что! Обойди кругом, говорят!.. Намедни и то сосновский мельник тут воз увязил...

– Насилу вытащили! – подхватили бабы в один голос.

Предводитель отступил шаг назад и поправил шапку. Затем он посмотрел направо: вода с этой стороны затопляла реку на далекое расстояние; посмотрел налево: с этой стороны вода простиралась еще дальше. Предводитель снова поправил шапку, тряхнул пилою и пошел отхватывать прямо, останавливаясь, однако ж, кое-где и ощупывая ногами лед, скрытый под водою. Остальные путники, как бараны, последовали тотчас же за своим товарищем.

На берегу между тем воцарилось глубокое молчание: говорили одни только глаза, с жадным любопытством следившие за каждым движением смельчаков, которые с минуты на минуту должны были обломиться, юркнуть на дно реки и «отведать водицы», как говорил Глеб.

XI

Прохожие

Смельчаки, однако ж, не обламывались. Следуя гуськом за своим предводителем, шмыгавшим в воде по колени, они продолжали подвигаться вперед. Немного погода благопо-

лучно выбрались они на свежую полосу, отделявшую их от берега шагов на сто.

То были пильщики и шерстобиты, или «волнотёпы», как называют их преимущественно по деревням. Последних можно было узнать по длинным черным шестам, сделанным наподобие контрабасных смычков, с тою разницею, однако ж, что волос заменялся здесь толстою струною из бычачьей жилы; смычки эти болтались за спиною и торчали из-за плеч, как ружья у черкесов. Широкие лоснящиеся пилы плавно покачивались на плечах других молодцов. Кроме этих ремесленных орудий, за спиною почти каждого виднелся холстяной мешок, который, судя по объему, мог только вмещать рубаху да еще, может статья, заработанные деньжишки, завязанные в тряпицу; тут же, подле мешков или на верхних концах пил и смычков, качались сапоги, весьма похожие на сморчки, но которыми владельцы дорожили, очевидно, более, чем собственными ногами, обутыми в никуда не годные лаптишки, свободно пропускавшие воду.

Вскоре все шестеро достигли берега. Лица их выражали такую же беззаботливость и спокойствие, как будто они только что прошлись по улице. Все ограничилось тем только, что предводитель тряхнул пилою и сказал:

– Ну уж дорожка!

– Да таки – ништо! – смеясь, возразил Глеб. – Ну, братцы, посмотрели мы на вас: хваты, нечего сказать!

– Как это вы, батюшки, так-то... А-и! А-и! – проговорили

бабы, с любопытством осматривая пришельцев.

Предводитель снял низенькую шапку, отороченную лохмотьями белого барана, опустил конец пилы наземь и засеменял ногами мелкую дробь, причем брызги воды полетели на присутствующих.

Выходка эта особенно приятно подействовала на одного из товарищей предводителя – молодого детину с глуповатой физиономией, острым, любопытным носом и белыми как сахар зубами.

– Эх, Нефедка!.. О-о! Шут его возьми!.. О-о! – мог только проговорить он и залился дребезжащим смехом, от которого задрожали его полные щеки.

Нефеду, то есть предводителю, было без малого лет пятьдесят. На голове его уже начали вытираться волосы, сквозь которые сильно просвечивало красное, приплюснутое, глянцевиное темя; нос Нефед, комически вздернутый кверху, краснел так ярко, что, казалось, отражал цвет свой на остальных части лица; нос этот, в товариществе с мутными, стеклянными глазами, не оставлял ни малейшего сомнения, что Нефед частенько рвал косушку и даже недавно захватил куражу. За спиною Нефед не было ни сапогов, ни мешка; все имущество его ограничивалось пилою и трубкой величиною с наперсток; объединенный чубучок этой трубки высывался из бокового кармана далеко не казистого полушубка, совсем даже никуда не годного полушубка. Гуляка и пьянчужка выглядывали из каждой прорехи его одежды. Одним

словом, Нефед с первого взгляда давал знать, что принадлежит к тем общипанцам, которых в простонародье величают обыкновенно «голудвою кабацкой».

– Ну уж, братцы, милостив к вам господь! – продолжал Глеб, значительно подымая густые свои брови. – Не чаял я увидеть вас на нашем берегу; на самом том месте, где вы через воду-то проходили, вечер сосновский мельник воз увязил...

– Насилу вытащили! – заметили бабы с такою живостью, как будто несчастье было перед их глазами.

– Дивлюсь я, право, как этак бог помиловал, – продолжал старый рыбак, – лед-то добре подточило – почти весь измодел; плохая опора: как раз солжет!..

– Ничаво, вишь: проехали! Маленько вот только носочки подмочили! – сиплым, надорванным голосом произнес Нефед, расставляя вымокшие до колен ноги и осматривая лаптишки.

Все засмеялись, а молодой парень с белыми зубами пуще всех; даже шапка его скосилась и колени подогнулись.

Во все продолжение предыдущего разговора он подобострастно следил за каждым движением Нефедина, – казалось, с какою-то даже ненасытною жадностью впивался в него глазами; как только Нефед обнаруживал желание сказать слово, или даже поднять руку, или повернуть голову, у молодого парня были уже уши на макушке; он заранее раскрывал рот, оскаливал зубы, быстро окидывал глазами присутствующих,

как будто хотел сказать: «Слушайте, слушайте, что скажет Нефед!», и тотчас же разражался неистовым хохотом. Всего замечательнее было то, что хотя в поступках и словах Нефедда не было ничего особенно забавного или острого, почти все следовали примеру молодого детины.

– Откуда, братцы? – начал Глеб.

– Из Серпухова, – отвечал один из шерстобитов.

– Гм! Понимаю...

– А мы из Шушелова! Знаешь Шушелово? – сказал Нефед.

Молодой парень замигал глазами и заранее раскрыл рот.

– Слышать слышал, а бывать не бывал, – произнес Глеб. –

Далече отселева?

– Да, ништо – рукой не достанешь.

Все засмеялись.

– Он оттедова – все шерстобиты оттедова, – подхватил прежний шерстобит.

– Куда бог несет?

– В Рязань... Не то чтобы в самый город, а подле, в деревню. Все идем в одно место, – отвечал шерстобит.

– Та-а-к, – пробормотал Глеб.

– Батюшки, – заговорила неожиданно тетка Анна, – не встречали ли, касатики, наших ребят?

– А то как же! Вестимо, встретили: «Кланяйся, говорили, маменьке, целуй у ней ручки!» – начал было Нефед к неопи-санному восторгу молодого парня.

Но Глеб перебил его:

– Глупая! Разве не видишь: смеются! Хошь бы и встретили, они нешто наших ребят знают? Чай, на лбу не написано!..

– Да я так только... батюшка... авось, мол, они...

– Ступай-ка, ступай лучше! Полно вздор-то молоть! – перебил муж, слегка поворачивая жену за плечи. – Ступайте и вы, бабы! Что тут пустое болтать! Пора за работу приниматься.

– А что, примерно, любезный, не Глебом ли вас звать? – спросил вдруг один из шерстобитов, человек сухощавый и длинный как шест, с плоскими желтыми волосами и бледно-голубыми глазами, вялыми и безжизненными.

Он выглядывал до того времени из толпы товарищей, как страус между индейками; говорил он глухим, гробовым голосом, при каждом слове глубокомысленно закрывал глаза, украшенные белыми ресницами, и вообще старался сохранить вид человека рассудительного, необычайно умного и даже, если можно, ученого.

Глеб дал утвердительный ответ.

– Вам, любезный человек, примерно, то есть, поклон посылают, – с достоинством проговорил рассудительный шерстобит.

– Кто ж бы такой?

– Станете проходить, говорит, через Оку, по дороге к Сосновке, увидите, говорит, рыбака Глеба Савинова, кланяйтесь, говорит, и нижайше...

– Ну, пошел, пучеглазый, размазывать! Тянет, словно клещами хомут надевает! – грубо перебил Нефед. – Кланяться наказывал тебе старичок из Комарева... Кондратьем звать... Вот те и все!

Долговязый шерстобит презрительно отвернулся; несмотря на всю свою рассудительность, он, как видно, был из числа самых щепетильных, обидчивых. Чувство тончайшей деликатности, заставлявшее его говорить всем «вы», было сильно оскорблено грубостью Нефед.

– А, да! Озерской рыбак! – сказал Глеб. – Ну, что, как там его бог милует?.. С неделю, почитай, не видались; он за половодьем перебрался с озера в Комарево... Скучает, я чай, работой? Старик куды те завистливый к делу – хлопотун!

Шерстобит закрыл уже глаза и хотел что-то промолвить, но Нефед снова перебил его.

– Об делах не раздобаривал: наказывал только кланяться! – сказал Нефед. – Ну, что ж мы, братцы, стали? – добавил он, приподняв пилу. – Пойдем к избам! Сват Глеб не поскупится соломой: даст обложить лаптишки.

– Что ж? Посидите. Можно и соломы дать, – проговорил Глеб, медленно поворачиваясь спиной к реке и направляясь к тому месту, где прежде работал.

Прохожие подняли свои мешки и пошли за ним.

– Ну, а как, сват Глеб, как у тебя насчет, примерно, винцо есть? – неожиданно сказал Нефед, побрякивая и прищуривая левый глаз.

– Нет, мы этим не занимаемся.

– Пустое самое дело! – глубокомысленно заметил рассудительный шерстобит, но так, однако ж, чтобы не мог слышать этого необразованный Нефед.

– Полно, сват! Э! Ты думаешь, на мне кафтанишко-то рванный, так уж я... Я ведь не даром прошу, – приставал Нефед.

– Знамо, что не даром, – насмешливо возразил Глеб. – Не осуди в лаптях: сапоги в саях!.. Да с чего ты так разохотился: стало быть, денег добре много несешь?

– Давай только; за этим не постоим! – крикнул Нефед, торопливо вынимая трубочку и выворачивая при этом пустой карман.

Раздался хохот.

– В кармане-то у него, видно, сухотка.

– Всего одна прореха и есть!

– Хвать в карман, ан дыра в горсти!

– Эх ты! – вымолвил Глеб, усмехнувшись.

– Чего зубы-то обмываете! – сказал Нефед. – С собой, знамо, нету: опасливо носить; по почте домой отослал... А вот у меня тут в Сосновке тетка есть; как пойдем, накажу ей отдать тебе, сват, за вино... Душа вон, коли так!

– Как ее звать-то? Я в Сосновке всех знаю.

– Матреной... Первая изба с краю...

– Что ж ты не сказывал нам про эту тетку-то? – заметил кто-то из пильщиков.

– А что говорить!.. Душа вон, коли тетки нету.

– Нет, брат, долго ждать; может статься, она у тебя еще в бегах, – сказал, смеясь, Глеб.

– Э! – крикнул Нефед, махнув рукой, и поплелся вперед, сопровождаемый молодым парнем, который не переставал держаться за бока.

– Должно быть, человек бездетный? – спросил Глеб, указывая головой на Нефеду.

– Какое! Восемь ребят, мал мала меньше, – отвечал один из пильщиков, – да такой уж человек бесшабашный. Как это попадут деньги – беда! Вот хоть бы теперь: всю дорогу пьянствовал. Не знаю, как это, с чем и домой придет.

– Рассудка своего человек, примерно, то есть, не имеет, – проговорил длинный шерстобит, закрывая глаза. – Ему, видно, так-то вольготнее.

– Вот, братцы, посидите, отдохните, – вымолвил Глеб, когда все подошли к лодкам. – А вы, полно глазеть-то! За дело! – прибавил он, обратившись к Гришке и Ване, которые до того времени прислушивались к разговору.

Тут старый рыбак повернулся к воротам и велел Василисе принести охапку соломы.

– Эй, Василисушка-любущка! – заголосил Нефед, успевший уже развалиться между вершами. – Захвати-ка кваску рот прополоснуть: смерть горло пересохло!

– Я полагаю, более всего от эвтаго от табаку оно так-то у тебя пересыхает, – посмеиваясь, сказал рыбак. – Ты, вишь, и трубочку, видно, покуливаешь... на все руки горазд.

Вместо ответа Нефед перевалился на бок и молодцевато сунул чубук в рот.

– Что ж ты ее не запалишь? Аль табаку нету?

– Вместе с сапогами в Комареве обронил... И не надуть его, табаку-то, я и то всю дорогу курил беспречь, инда весь рот выжег.

– Ох-о-о... Нефедка... балясник... о! – закатился снова молодой парень.

– У него табаку-то и в заводе не было: всю дорогу так-то один чубук глодал, – промолвил один из пильщиков.

Квас и солома не замедлили явиться.

Прохожие сняли мокрые лапти и принялись перекладывать их соломой; между тем Глеб и молодые помощники его уселись за работу. Разговор снова завязался. Но в нем уже не принимал участия Нефед: сначала он прислонился спиной к лодке и, не выпуская изо рта трубки, стал как словно слушать; мало-помалу, однако ж, глаза его закрылись, губы отвисли, голова покачнулась на сторону и увлекла за собою туловище, которое, свешиваясь постепенно набок, грохнулось наконец на землю. Но Нефед ничего уже не чувствовал; он не чувствовал даже, как трубка вывалилась у него изо рта. Через минуту от храпа его заволновались даже лохмотья рукава, нечаянно попавшего вместе с рукою под голову. Два три пинка, удачно направленные в бок молодого парня с белыми зубами, предостерегали его от нового взрыва хохота, и с этой минуты лицо его как словно одеревенело. Мало-по-

малу, однако ж, глаза его, все еще не покидавшие спящего Нефёда, начали соловеть и смежаться; немного погодя зубастый парень растянулся наземь и, подложив под голову шапку, предался отдыху; примеру его последовали двое других товарищей.

Разговор между тем шел своим чередом.

– Знамое дело, какие теперь дороги! И то еще удивлению подобно, как до сих пор река стоит; в другие годы в это время она давно в берегах... Я полагаю, дюжи были морозы – лед-то добре закрепили; оттого долее она и держит. А все, по-настоящему, пора бы расступиться! Вишь, какое тепло: мокрая рука не стынет на ветре! Вот вороны и жаворонки недели три как уж прилетели! – говорил Глеб, околачивая молотком железное острие багра.

– И то вороны прилетели! Я сам встрел двух на дороге, – сказал один из бодрствующих пильщиков, маленький человек с остроконечной бородкой, которая, без сомнения, должна была иметь какое-нибудь тайное сообщение с языком своего владельца, потому что, как только двигался язык, двигалась и бородка. – А что, братец ты мой, – Глебом, что ли, звать? Да, – подхватил он, – правда ли, сказывают, будто вороны эти вот в эту самую пору купают детей своих в прорубях? Сказывают, вишь: они отпускают их в отдел, на «особное» семейное жительство... Да ты, я чай, слыхал об этом?

– Как не слыхать! Слыхал. Самому, правда, не приходилось видеть, а от стариков слыхал неоднократно, – отвечал Глеб,

шутливое расположение которого, вызванное на минуту выходками Нефеда, заметно проходило.

– Я полагаю, все это, то есть, так... пустое, примерно... болтают, – разумным тоном заметил длинный шерстобит.

– С чего ж пустое? Может статься, оно и так, как он говорит; на свете и не такие диковинки бывают. Вот хошь бы теперь: по временам давно бы пора пахарю радоваться на ози-ми, нам – невод забрасывать; а на поле все еще снег пластом лежит, река льдом покрыта, – возразил Глеб, обращаясь к шерстобиту, который сидел с зажмуренными глазами и, казалось, погружен был в глубокую думу. – Мудреного нет, – продолжал рыбак, – того и жди «внучка за дедом придет»²⁸: новый еще снег выпадет. Раз так-то, помнится, уж совсем весна наступила, уж лист в заячье ухо развернулся и цветы были на лугах, вдруг, отколе ни возьмись, снег: в одну ночь по колено навалил; буря такая, сиверка, и боже упаси! Сда-ется по всему, и нонче тому же быть!

– Все может быть... все!.. Все во власти божьей, – вымолвил шерстобит, задумчиво наклоняя голову.

– С чего ж ты думаешь – быть опять снегу! – заговорил пыльщик, двигая бородой.

– Конечно, все в руке божьей, во всем его святая воля, – подхватил Глеб, – но я говорю так-то – по приметам сужу!

²⁸ Так говорится о позднем весеннем снеге, который, падая на старый снег и тотчас же превращаясь в воду, просачивает его насквозь и уносит с земли. (Прим. автора.)

Вот теперь у тестя моего старшего сына – вот что ждем-то, – у тестя в Сосновке коровы стоят (держит боле для робят; без этого нельзя: не все хлеб да капуста, ину пору и молочка за-хоцца похлебать, особливо ребятишкам)... Ну, так вот, го-ворю, коровы у него стоят теперь смирно, не шелохнутся, смекай, значит, коли так: быть опять снегу. Уж это так верно, как вот пять пальцев на руке. Скотина весну чует лучше человека: уж коли весна устанавливается, идет на коренную, скотину ни за что не удержишь в хлеве: овца ли, корова ли, так и ревет; а выпустил из хлева, пошла по кустам рыскать – не соберешь никак!.. Эта примета ни за что не обманет!

– Видишь ты, ведь вот и разума не имеет, а ведь вот чует же, поди ты! – произнес пильщик, потряхивая бородкой. – Да, – промолвил он, пожимая губами, – а только ноне, придет ли весна ранняя, придет ли поздняя, все одно: скотине нашей плохо – куды плохо будет!

– С чего ж так?

– Хвост стала что-то откидывать! Так вот и дохнут все...

И бог знает что такое!

– Ой ли?

– Истинно так, дохнут... Очень много дохнут, – подтвердил шерстобит, – самому трафилось видеть.

– Что за притча такая? С чего бы, значит, это? Напущено, что ли?.. Сказывают, хвороба эта – мором, кажись, звать – не сама приходит: завозит ее, говорят, лихой человек, – сказал пильщик.

При этом рассудительный шерстобит сомнительно улыбнулся, медленно закрыл глаза и покрутил головою.

– Я полагаю, то есть, примерно, так только, пустое болтают, – произнес он с чувством достоинства. – Простой народ, он рассудка своего не имеет... и болтает – выходит, пустое, – заключил он, поглядывая на старого рыбака с видом взаимного сочувствия и стараясь улыбнуться.

Но лицо Глеба, к великому удивлению глубокомысленного скептика, осталось совершенно спокойным. Не поднимая высокого, наморщенного лба, склоненного над работой, рыбак сказал серьезным, уверенным голосом:

– Нет, любезный, не говори этого. Пустой речи недолгог век. Об том, что вот он говорил, и деды и прадеды наши знали; уж коли да весь народ веру дал, стало, есть в том какая ни на есть правда. Один человек солжет, пожалуй: всяк человек – ложь, говорится, да только в одиночку; мир правду любит...

– Вестимо, так, уж коли все заодно говорят, стало, с чего-нибудь да берут, стало, есть правда, – подхватил пильщик. – Я об этой коровьей смерти сколько раз от старых стариков слышал: точно, завозят, говорят, ее, а не сама приходит. Прилучилось это, вишь, впервые с каким-то мужичком, – начал он с такою живостью, как будто вступался за мать родную, – ехал этот мужичок с мельницы, ко двору подбирался. Дело было к вечеру, маленечко примеркать стало. И выехал он на поляну. Отколь ни возьмись, подходит

к нему старуха: «Подвези меня, говорит, дедушка!» – «Куда тебя?» – говорит... То есть он-то говорит ей: «Куда тебя?» – говорит. А она опять: «Подвези, говорит, хошь до своей до деревни: моченьки моей нет!» А он ей: «Ты какая такая?» – говорит. «Вот, родимый, – говорит этто она ему, – вот, говорит, я лечейка, коров лечу!» – «Где ж ты, говорит, лечила?» – «А лечила я, говорит, у добрых у людей, да не в пору за мной послали; захватить не успела – весь скот передох!» Ну, посадил он это ее к себе в сани, поехал. Ехали, ехали. Давно пора бы дома быть, ан лих – не дается; куда ни глянет, все поляна идет; и не знать, что такое! Человек был преклонный; снял он это шапку и перекрестился: «Господи боже, говорит, помилуй нас, грешных!» Смотрит, а уж старухи-то и нет с ним; глядь, подле самых саней бежит какая-то черная собака... Он ничего. Ну, попал это он на след, старик-ат, приехал домой, на двор въезжает, и собака за ним. Вот это и выходит, привез он с собою коровью смерть. На другое утро по всей его деревне ни одной коровенки не осталось! – заключил пильщик, разглаживая бородку, которая во все время разговора работала вместе с языком.

– Много, может статья, тут и пустого, а правда все-таки должна быть – не без этого! – сказал рыбак. – Полагаю так: завез эту коровью смерть какой лихой человек в нашу русскую землю. Ведь вот завозят же чуму из Туречины... не сама же приходит! А тут, известно, уж и старуху приплели, и собаку... На пустые речи податлив человек! Сколько на све-

те голов, столько и умов – всякий по-своему мерекает. На то господь и разум дал: слушать слушай, а правду распутывай. Не все то перенимай, что по реке плывет; то-то же оно и есть! Правда-то иной раз что пескарь в неводе: забьется промеж петель и не видать совсем; ну, а как поразберешь складки-то, все окажется... Да полно, ребята, точно ли задалась такая причина? Кажись бы, не с чего быть скотскому падежу. Осень в прошлом году была ранняя, сухая; лист отпал до первого снегу... Не след бы быть этому.

– Ну, вот поди ж ты! А все дохнет, братец ты мой! – подхватил пильщик. – Не знаем, как дальше будет, а от самого Серпухова до Комарева, сами видели, так скотина и валится. А в одной деревне так до последней шерстинки все передохло, ни одного копыта не осталось. Как бишь звать-то эту деревню? Как бишь ее, – заключил он, обращаясь к длинному шерстобиту, – ну, вот еще где набор-то собирали... как...

– Какой набор? – спросил Глеб, неожиданно подымая голову.

– Некрутов брали... как бишь ее, эту деревню?.. Еще две церкви... Эх, запомятовал... Лы... Лысые Мухи, что ли... Нет, не то! – бормотал пильщик.

Но Глеб уже не слушал пильщика; беспечное выражение на его лице словно сдуло порывом ветра; он рассеянно водил широкою своею ладонью по багру, как бы стараясь собрать мысли; забота изображалась в каждой черте его строгого, энергического лица. Дело вот в чем: Глеб давно знал,

что при первом наборе очередь станет за его семейством; приписанный к сосновскому обществу, он уже несколько лет следил за наборами, хотя, по обыкновению своему, виду не показывал домашним. Старый рыбак не подозревал только, чтобы очередь пришла так скоро; неожиданность известия, как и следует ожидать, смутила несколько старика, который, между прочим, давно уже обдумал все обстоятельства и сделал свои распоряжения. Он поспешил, однако ж, подавить в себе смущение, поспешно схватил багор и принялся еще усерднее работать. Минуту спустя Глеб снова поднял голову.

– Неужто точно набор? – проговорил он.

– Точно: сами видели; сказывают, вишь, война идет.

– Истинно так, – поддакнул глубокомысленный шерсто-бит.

– Да чему же ты так удивляешься? Разве до тебя очередь дошла? – спросил пильщик, обращая к рыбаку острие своей бородки.

– Нет, очереди нет никакой; я так спрашиваю, – проговорил Глеб твердым, уверенным голосом, между тем как глаза его беспокойно окидывали Ваню и Гришу, которые работали в десяти шагах.

Оба так усердно заняты были своим делом, что, казалось, не слушали разговора. Этот короткий, но пронизательный взгляд, украдкой брошенный старым рыбаком на молодых парней, высказал его мысли несравненно красноречивее и определеннее всяких объяснений; глаза Глеба Савинова, об-

ратившиеся сначала на сына, скользнули только по белокурой голове Вани: они тотчас же перешли к приемышу и пристально на нем остановились. Морщины Глеба расправились.

Но это продолжалось всего одну секунду; он опустил голову, и лицо его приняло снова строгое, задумчивое выражение. Мало-помалу он снова вмешался в разговор, но речь его была отрывиста, принужденна. Беседа шла страшными извилинами, предмет рассказней изменялся непрерывно между пыльщиком и шерстобитом, но со всем тем строгое, задумчивое лицо Глеба оставалось все то же.

Оно ни на волос не изменилось даже тогда, когда громкий хохот зубастого парня, дружно подхваченный пыльщиком, возвестил пробуждение Нефедки.

– Ну, ребята, пора! Вставай! Время идти! – заговорил пыльщик, толкая других товарищей, которые также спали. – Ну, поворачивайся, что ли, ребята!

– Господи! Господи! – бормотали ребята, зевая и потягиваясь.

– Полно вам, вставай! Вишь, замораживать начинает: дело идет к вечеру. Надо к ночи поспеть в Сосновку... Ну, ну!

– А что, любезный человек, сколько, примерно, то есть, считаете вы до Сосновки? – спросил рассудительный шерстобит, обращаясь к рыбаку.

– Семь верст, – отвечал тот сухо.

– И все, примерно, то есть, по этой дороге идтить, что за

вашими избами по горе вьется?

– Да, – отвечал Глеб, кивнул головою и отвернулся.

Деликатные чувства галантерейного шерстобита, казалось, вовсе не ожидали такого обхожденья; он выпрямился с чувством достоинства, закрыл глаза, как будто готовился сделать какое-нибудь глубокомысленное замечание, но изменил, видно, свое намерение, поднял мешок, взвалил на спину смычок и, сухо поклонившись, пошел своею дорогой.

– Ну, ребята, идем! – говорил между тем пыльщик, подсобляя товарищам снаряжаться. – Пойдем в Сосновку, поглядим на Нефедкину тетку! У ней и ночуем!

– О-о! Нефедка!.. Вишь... шут, балясник... О-о! – заливался парень с белыми зубами, глядя на Нефеду, который покрякивал и хмурился, разглаживая встрепавшиеся волосы.

– Чего ты зубы-то скалишь? Вот я тебе ребры-то посчитаю! – закричал Нефед грубым, суровым голосом, который ясно уже показывал, что хмель благодаря крепкому сну не отуманивал его головы – обстоятельство, всегда повергавшее Нефеду в мрачное, несообщительное расположение духа.

Он сунул трубку в карман, поднял пилу, нахлобучил шапку и, не заботясь о товарищах, которые прощались с рыбаком, покинул площадку; минуту спустя толпа прохожих последовала за своим предводителем, который, успев догнать шерстобита, показался на тропинке крутого берега, высоко подымавшегося над избами рыбака.

Проводив их рассеянным взглядом, Глеб нетерпеливо повернулся к жене и снохам, которые снова выбежали на площадку и, не видя Петра и Василия, снова разразились жалобами и вздохами.

– Чего вы опять? Чего, в самом деле, разбегались? – закричал неожиданно Глеб таким страшным голосом, что не только бабы, но даже Ваня и Гриша оторопели.

Всю остальную часть дня Глеб не был ласковее со своими домашними. Каждый из них судил и рядил об этом по-своему, хотя никто не мог дознаться настоящей причины, изменившей его расположение. После ужина, когда все полегли спать, старый рыбак вышел за ворота – поглядеть, какая будет назавтра погода.

Небо было облачно. Тьма кромешная окутывала местность; ветер глухо завывал посреди ночи.

Старый рыбак сел на завалинку, положил голову между ладонями и нетерпеливо уткнул локти в колени.

– Жаль, что говорить! – бормотал он, продолжая, вероятно, нить размышлений, не покидавших его во весь вечер. – Жаль, попривыкли! Да и работник, того, дюжий... Жаль, ну, да ведь не как своего! Я еще тогда, признаться, как дядя Аким привел его, смекнул эвто дело... Жаль Гришку! Ну, да как быть! Требуется – стало, так и следует быть. Рассуждать не наше дело; да и рассуждать не о чем – дело настоящее: царство без воинства, человек без руки, конь без ног – одна статья. И то сказать надо: не в ссылку идет, не за худым

каким делом. Идет парень на службу, на царскую; царю-ба-
тюшке служить идет... Вестимо, на первых-то порах только
расстаться жаль словно; ну, да авось господь приведет уви-
даться: не в ссылку идет... Эх, попривыкли мы к нему! – за-
ключил Глеб.

Тут он снова поднялся на ноги, взглянул на небо, вернул-
ся на двор и пошел медленным шагом к старым саням, слу-
жившим ему с Благовещения вместо ложа.

XII

Возвращение

– Ну, вот теперь иное дело: теперь они! Дивлюся я только,
как это прошли! Вишь, реку-то, почитай, всю уж затопило! –
говорил Глеб, спускаясь на другой день утром по площадке
вместе с Ваней и приемышем.

Жена его, обе снохи и внучата бежали между тем впереди,
поспешая навстречу Петру и Василию, которые подымались
уже на берег.

Появление двух рыбаков произошло совершенно неожида-
нно. Если б не мать, они подошли бы, вероятно, к самым
избам никем не замеченные: семейство сидело за обедом;
тетка Анна, несмотря на весь страх, чувствуемый ею в при-
сутствии мужа, который со вчерашнего дня ни с кем не пе-
ремолвил слова, упорно молчал и сохранял на лице своем
суровое выражение, не пропускала все-таки случая загляды-

вать украдкой в окна, выходявшие, как известно, на Оку; увидев сыновей, она забыла и самого Глеба – выпустила из рук кочергу, закричала пронзительным голосом: «Батюшки, идут!» – и сломя голову кинулась на двор. Не успел Глеб поднять головы, как обе снохи и внучки повскакали с мест и пустились за старушкой. Старый рыбак, которому давно прискучила суматоха, попусту подымаемая бабами двадцать раз на дню, сжал уже кулаки и посулил задать им таску, но тотчас же умиловился, когда Ваня и Гриша, пригнувшись к окну, подтвердили, что Петр и Василий точно приближаются к берегу. Он не обнаружил, однако ж, никакой торопливости: медленно привстал с лавки и пошел за порог с тем видом, с каким шел обыкновенно на работу; и только когда собственными глазами уверился Глеб, что то были точно сыновья его, шаг его ускорился и брови расправились.

Петр и Василий много изменились с того времени, как мы застали их беседующими с дядей Акимом. С той поры прошло без малого десять лет! Оба преобразились во взрослых, зрелых мужей; лица их возмужали и загубели; время и труды провели глубокие борозды там, где прежде виднелись едва заметные складки. Коротенькая, но тучная кудрявая борода сменила легкий пушок на щеках Василия. Перемена заметна была, впрочем, только в наружности двух рыбаков: взглянув на румяное, улыбающееся лицо Василия, можно было тотчас же догадаться, что веселый, беспечный нрав его остался все тот же; смуглое, нахмуренное лицо старше-

го брата, уподоблявшее его цыгану, которого только что обманули, его черные глаза, смотревшие исподлобья, ясно обличали тот же мрачно настроенный, несообщительный нрав; суровая энергия, отличавшая его еще в юности, но которая с годами утомилась и приняла характер более сосредоточенный, сообщала наружности Петра выражение какого-то грубого могущества, смешанного с упрямой, непоколебимой волей; с первого взгляда становилось понятным то влияние, которое производил Петр на всех товарищей по ремеслу и особенно на младшего брата, которым управлял он по произволу.

Увидев жену, мать и детей, бегущих навстречу, Петр не показал особой радости или нетерпения; очутившись между ними, он начал с того, что сбросил наземь мешок, висевший за плечами, положил на него шапку, и потом уже начал здороваться с женою и матерью; черты его и при этом остались так же спокойны, как будто он расстался с домашними всего накануне. В ответ на радостные восклицания жены и матери, которые бросились обнимать его, он ограничился двумя-тремя: «Здорово!», после чего повернулся к детям и, спокойно оглянув их с головы до ног, надел шапку и взвалил на плечи мешок. Возиться с бабьем и ребятами не было делом Петра. Он предоставил брату «хлебать губы» с бабами – так выражался Петр, когда дело шло о поцелуях. Василий не терял времени: он не переставал обниматься и чмокаться со всеми, не выключая детей Петра и собственной жены, с

которой год тому назад едва успел познакомиться.

Глеб, Ваня и приемыш приближались между тем к группе, стоявшей на берегу. Увидя отца, Петр и Василий тотчас же сняли шапки, покинули баб и пошли к нему навстречу.

– Здравствуй, батюшка! – сказали они, останавливаясь в трех шагах от отца и отвечивая ему низкий поклон.

– Здравствуйте, ребята! – отвечал Глеб, останавливаясь, в свою очередь, и пристально оглядывая двух рыбаков, которые торопливо здоровались с Ваней и Гришкой.

Тут Анна, ее сноха и дети снова обступили было двух рыбаков; но на этот раз не только Петр, но даже и Василий не обратили уже на них ни малейшего внимания. Оба покручивали шапки и не отрывали глаз от отца.

– Пришли, батюшка, тебя проведать, – весело начал Василий, потряхивая головою и откидывая назад волосы.

– Здорово, ребята, здорово! – говорил Глеб, продолжая оглядывать сыновей и разглаживая ладонью морщины, которые против воли набегали и теснились на высоком лбу его. – Где ж это вы пропадали? Сказывали: за две недели до Святой придете, а теперь уж Страстная... Ась?..

Василий замялся и покосился на брата.

– Не управились, батюшка, – равнодушно отвечал Петр.

– Что ж так? Делов, что ли, добре много у вас там?

– Да, таки есть...

– Более от хозяина, батюшка, – подхватил Василий, – кабы не он, мы бы давно дома были; посылал нас в Коломну

с рыбой.

– О-го, о! Вот как! Стало, вы у хозяина не токмо рыбаки, да еще и приказчики! – произнес Глеб, слегка посмеиваясь.

Но улыбка только скользнула по лицу его. Секунду спустя оно по-прежнему сделалось серьезно и задумчиво.

– Какие же цены? Почему рыба? – спросил он, разглаживая бороду.

– Ну вот, нашел о чем спрашивать! – нетерпеливо перебила Анна, забывшая уже на радостях сумрачное расположение своего мужа. – Дай им дух-то перевести; ну что, в самом-то деле, пристал с рыбой!.. Не из Сосновки пришли – из дальней дороги... Я чай, проголодались, родненькие, золотые вы мои! Как не быть голодну! Вестимо! Пойдемте, родные, пойдемте в избу скорей: там погрееетесь; а нонеча как словно ждали вас: печку топили... Дай мне, Петруша, мешочек-то свой: дай понесу, касатик. Аграфена, возьми у мужа мешок-то... Что стоишь! Подь, Васенька, подь, ненаглядный...

Но Петр и Василий не слушали матери, двигали только плечами и продолжали стоять против отца.

– Ну, пойдемте в избу. Я чай, взаправду маленько того... проголодались; там переговорим! – сказал Глеб.

Сыновья тотчас же повиновались, нахлобучили шапки и последовали за ним. Достигнув места, где находились лодки, они отстали от него на несколько шагов и присоединились к бабам.

– Что вы, родные? Аль забыли что на берегу? – воскликнула мать.

– Полно тебе кричать, матушка! Говори тихо! – отрывисто шепнул Петр, кивая головой на отца.

– Никак он у вас добре сердит ноне? – тихо спросил Василий.

– И-и, приступу нет!..

– С чего ж так? – перебил Петр.

– А господь его ведает! Со вчерашнего дня такой-то стал... И сами не знаем, что такое. Так вот с дубу и рвет! Вы, родные, коли есть что на уме, лучше и не говорите ему. Обождите маленько. Авось отойдет у него сердце-то... такой-то бедовый, боже упаси!

Это обстоятельство подействовало, по-видимому, самым неприятным образом на двух рыбаков. Петр бросил значительный взгляд брату и нахмурил брови. Тот утвердительно кивнул головою, как будто хотел сказать: «Ладно, не сомневайся: знаем, что делать!» Дело в том, что им предстояло вести с отцом весьма щекотливую беседу. Предмет разговора был такого свойства, что страшно было приступить с ним даже в том случае, если б Глеб находился в самом отличном, сговорчивом расположении духа. Петру столько же прискучило жить в зависимости у хозяина, сколько находиться под строгим надзором отца. Он принял твердое намерение освободиться от того и другого и попытаться счастья – сделаться самому хозяином. Для этой цели он обогнул на об-

ратном пути из «рыбацкой слободы» весь берег Оки от Серпухова до Коломны, побывал у всех береговых владельцев и наконец нашел свободное место для промысла. Петр верил в свои силы. К тому же он знал, что, стоило ему только свистнуть да выставить ведра два вина, в батраках недостачи не будет. Денег у Петра не было – едва-едва оставалось на столько, чтобы купить предположенные ведра вина для задобрения работников; но это не могло служить препятствием. Место отдают без задатка. Сетей по берегам вволю: поставил четверть соседу рыбаку-гуляке – вот тебе и сеть. На первых порах привередничать нечего: можно жить в соломенном шалаше и ловить рыбу рваными сетками; у иного и новые сети, да ничего не возьмет; за лодками также не ходить стать: на Оке лодок не оберешься. Известно, не дадут тебе здоровую: дадут похуже – ничего! На первых порах поездим и в худой. Мало ли плывет по Оке всякой дряни: обломков, досок, жердей, плывут даже целые бревна – будет чем заколачивать щели! Не будь сетей и лодок, Петр и тогда не отказался бы от своего намерения. Такой уж был человек. В этом случае весь в отца уродился: уж когда что забрал в голову, живота лишится, а на своем поставит! Так, например, решил он взять жену и детей, хотя не видел в них ровно никакой надобности. Оставить их у отца значило, по его мнению, сделать дело наполовину. Дом родительский прискучил Петру так же, как житье у хозяина; ему хотелось раз навсегда освободиться от власти отцовской, с кото-

рой никак не могла ужиться его своевольная, буйно-грубая природа. Нечего, разумеется, и говорить, что ему ничего не стоило склонить на свою сторону брата; он не принял даже на себя труда уговаривать или уламывать его. Петру стоило только обнаружить свою мысль, и Василий тотчас же согласился столько же по слабости духа и тому влиянию, какое производил на него буйно-несговорчивый нрав брата, сколько и потому, может статься, что он также не прочь был высвободиться из-под грозного отцовского начала и подышать на волюшке. Со всем тем при виде выгнутых, слегка вздрагивающих бровей отца Петр, несмотря на всю свою смелость, решился выждать более благоприятной минуты, чтобы передать свои намерения. Времени впереди оставалось, однако ж, немного. Основываясь на этом, Петр при входе в избу шепнул Василию, чтобы тот развязал язык и постарался разговаривать, развеселить как-нибудь отца.

Все сели за стол, на который Анна и снохи ее поспешили поставить все, что было только в печи. Василий переглянулся с братом и, не медля ни минуты, принялся сообщать все новости, какие приходили ему на ум. Он передал все слухи, носившиеся в их стороне, сообщил разные подробности о житье-бытье своем с братом, причем Петр заблагорассудил отозваться весьма дурно о хозяине; но, чтобы предостеречь себя от упреков отца, который прежде еще отсоветовал сыновьям жить в наймах, прибавил, что хозяин ненадежен потому только, что пожар лишил его большей части имуще-

ства. Затем Василий, продолжая подмешивать в свою речь прибаутки, рассказал отцу о коровьей смерти и рекрутском наборе.

Все эти рассказы, особенно о последних двух предметах, далеко не произвели на Глеба ожидаемого действия.

Он обрадовался возвращению сыновей, хотя трудно было сыскать на лице его признак такого чувства. Глеб, подобно Петру, не был охотник «хлепать губы» и радовался по-своему, но радость, на минуту оживившая его отцовское сердце, прошла, казалось, вместе с беспокойством, которое скрывал он от домашних, но которое тем не менее начинало прокрадываться в его душу при мысли, что сыновья неспроста запоздали целой неделей. За исключением двух-трех вопросов, касавшихся рыбного промысла, старый рыбак не принял даже участия в беседе. Он рассеянно слушал рассказы Василия, гладил бороду и проводил ладонью по лбу – в ответ на замечания Петра. Улыбка ни разу не показалась на губах его. Трудно предположить, чтобы крепкая душа Глеба так легко могла поддаться какому-нибудь горестному чувству. Во все продолжение шестидесятипятилетней жизни своей он не знал, что такое отчаиваться, убиваться, тосковать и падать духом. Лицо старого рыбака выражало, впрочем, как нельзя лучше теперешнее состояние души его. Черты его не вытягивались, как у человека огорченного; напротив того, они были судорожно сжаты. Он попросту казался не в духе, глядел сердито, досадливо. Но и этого было уже достаточно. Каждый

из домашних слишком хорошо понимал значение выгнутой бровей Глеба Савиныча, слишком хорошо знал, как держать себя, когда Глеб Савиныч в сердцах. Тут уже не до шуток: на волоске висишь – того и смотри оборвешься! Упорное молчание Глеба невольным образом приудерживало красноту. Сердитый вид главы семейства связывал присутствующих; бабы молчали. Тетка Анна, которая в минуту первого порыва радости забыла и суровое расположение мужа, и самого мужа, теперь притихла, и бог весть, что случилось такое: казалось бы, ей нечего было бояться: муж никогда не бил ее, – а между тем робость овладела ею, как только она очутилась в одной избе глаз на глаз с мужем; язык не ворочался! Так бы вот, кажется, бросилась да и повисла на шею Васе: «Васенька! Касатик, ненаглядный ты мой, год с тобой не видалась, батюшка! Петя! Дружок! Подь ко мне... Сыны вы мои родные!..», а между тем руки не поднимаются, голос замирает в груди, ноги не двигаются. Делать, видно, нечего: придется помучиться до той поры, пока наступит ночь и «старый» уляжется в свои сани под навесом. Старушка вознаградит тогда с лихвою потерянное время: всласть насмотрится на детей своих, всласть наговорится с ними и, обнимая их, прольет не одну радостную слезу. В ожидании этого старушка и жена Петра следовали примеру Василисы, которая, прислонившись к печке, следила с каким-то беспокойно-живым любопытством за движениями своего мужа.

После обеда Глеб встал и, не сказав никому ни слова, при-

нялся за работу. Час спустя все шло в доме самым обыденным порядком, как будто в нем не произошло никакого радостного события; если б не веселые лица баб, оживленные быстрыми, нетерпеливыми взглядами, если б не баранки, которыми снабдил Василий детей брата, можно было подумать, что сыновья старого Глеба не покидали крова родительского.

Прошло два дня после возвращения рыбаков. В промежуток этого времени Петр неоднократно готовился приступить к отцу с объяснением, но, встречая всякий раз неблагоприятный взгляд родителя, откладывал почему-то свое намерение до следующего дня. Наконец он решился выждать водополя, рассчитывая, не без основания, что начало рыбной ловли авось-либо расшевелит отца и сделает его доступнее. То, чего ждал Петр, не замедлило осуществиться.

На третьи сутки после их прихода, в самую полночь, слышался неожиданно страшный треск, сопровождаемый ударами, как будто тысячи исполинских молотов заколотили разом в берега и ледяную поверхность реки; треск этот, весьма похожий на то, как будто разрушилось вдруг несколько сотен изб, мгновенно сменился глухим, постепенно возвышающимся гулом, который заходил посреди ночи, подобно осwirепелому ветру, ломающему на пути своем столетние дубы, срывающему кровли. Казалось, буря ударила на окрестность... Старый Глеб встрепенулся. Слух его был давно настороже; он выскочил из саней, сотворил крестное знамение и торопливо вышел за ворота.

Сквозь густую темноту ночи, которую усиливали черные, быстро бегущие тучи, зоркий взгляд рыбака различил в отдалении мутно-беловатую полосу. То сверкала река, которая пенилась и ревела как дикий зверь, вырвавшийся на волю. Дул сильный западный ветер; могучие порывы его усиливали быстрину течения. Плеск воды смешивался с треском льдин, которые поминутно отрывались от берегов: грохот, стукотня, звонкие удары ледяных глыб, налетающих друг на дружку, раздавались в ночном воздухе, который холодел с каждою минутой. Наступило наконец так давно, так нетерпеливо ожидаемое половодье; наступила наконец минута, столько же радостная для рыбака, как первый теплый весенний день для пахаря; спешит он на поле и, приложив руку свою к глазам, чтобы защитить их от золотых лучей восходящего солнца, осматривает с веселым выражением тучные изумрудно-зеленые стебельки озимого хлеба, покрывающие землю... Глеб не отрывал глаз от белеющей полосы, прислушивался к звяканью льдин, как будто отыскивал в этих звуках признаки удачного или неудачного промысла, и задумчиво гладил бороду; на этот раз его как словно не радовало даже что-то и самое половодье. В бывалое время он не простоял бы так спокойно на одном месте; звучный голос его давно бы поставил на ноги жену и детей; все, что есть только в избе, – все пошевеливайся; все, и малый и большой, ступай на берег поглядеть, как реку ломает, и поблагодарить господа за его милости. «Эх-эх, гуляй знай, погуливай, наша ма-

тушка Ока! Гуляй, кормилица наша – апрель на дворе!..» – крикнет, бывало, Глеб зычным голосом, расхаживая по берегу, между тем как глаза его нетерпеливо перебегают от воды к лодкам, а руки так и зудят схватить невод и пуститься с ним попытать счастья! Теперь не то: стоит он молча и задумчиво гладит поседевшую бороду, как словно нет и реки перед ним. Глеб постоял, постоял на одном месте и вернулся на двор; он не разбудил даже домашних. Прикутавшись в полушубок, Глеб снова улегся в свои сани. Он лежал, однако ж, не смыкая глаз: сон бежал от него; его как словно тормошило что-то; не зависящая от него сила ворочала его с боку на бок; время от времени он приподымал голову и внимательно прислушивался к шуму реки, которая, вздуваясь и расширяясь каждую минуту, ревела и грохотала с возрастающей силой. Рыбак вскакивал из саней, набрасывал внакидку полушубок и выходил за ворота; так провел он целую ночь вплоть до рассвета. Наконец он не выдержал. Бойко пошел он на двор и, постукивая кулаком в плетеные дверцы клетей и каморок, где спали жена и дети, закричал востропавшимся, повеселевшим голосом:

– Эй вы, лежебоки, полно спать! Вставай! Вставай! Эй, слышишь: река взыгралась. Подымайся! Пора!

Минуту спустя семейство рыбака было на ногах; все спешили за ворота.

XIII

Водополье

К утру река уже успела затопить дальний берег. Она видимо почти разливалась все дальше и дальше, по лугам, которые, казалось, убегали к горизонту. Вода и льдины ходили уже поверх кустов ивняка, покрывающих дальний плоский берег; там кое-где показывались еще ветлы: верхняя часть дуслистых стволов и приподнятые кверху голые сучья принимали издали вид черных безобразных голов, у которых от страха стали дыбом волосы; огромные глыбы льда, уносившие иногда на поверхности своей целый участок зимней дороги, стремились с быстротою щепки, брошенной в поток; доски, стоги сена, зимовавшие на реке и которых не успели перевезти на берег, бревна, столетние деревья, оторванные от почвы и приподнятые льдинами так, что наружу выглядывали только косматые корни, появлялись беспрестанно между икрами²⁹. Все давало знать, что река достигла уже возвышенных точек обоих берегов. Иногда льдины замыкали реку, спирались, громоздились друг на дружку, треск, грохот наполняли окрестность; и вдруг все снова приходило в движение, река вдруг очищалась на целую версту; в этих светлых промежутках показывались шалаш или расшива, подхваченные с боков икрами; страшно перекосившись на сто-

²⁹ Льдинами. (Прим. автора.)

рону, они грозили спихнуть в воду увлеченную вместе с ними собаку, которая то металась как угорелая, то садилась на окраину льдины и, поджав хвост, опрокинув назад голову, заливалась отчаянно-протяжным воем. Часто следом за ними стремился одинокий шест, торчавший перпендикулярно из воды; на верхнем конце его сидела ворона и, покачиваясь из стороны в сторону вместе с шестом, поглядывая с любопытством на все стороны, преспокойно совершала свою водную прогулку. Внезапно картина переменалась: огромное пространство реки покрывалось миллионами белых, сверкающих обломков; как несметные стада испуганных баранов, они летели врассыпную, забиваясь иной раз, словно в замешательстве, в кусты высокого ивняка, верхушки которых, отягченные илом, трепетно пригибались к мутным, шумно-говорливым струям. Окрестность превращалась в море...

Семейство рыбака провело почти целое утро над рекою. После завтрака три сына Глеба и приемыш, предводительствуемые самим стариком, появились с баграми на плечах; все пятеро рассыпались по берегу – перехватывать плывучий лес, которым так щедро награждало их каждый год водополье. К обеду все заметили перемену на лице Глеба: он как словно повеселел. Петр хотел было в тот же вечер воспользоваться этим случаем, но Василий советовал ему обождать. «Не замай его, брат! – сказал он. – Что его, старика, раззадоривать; дай ему наперед разгуляться; время терпит, идти нам после Святой – успеешь еще сказать; бей с однова; в тот

день, как идти нам, тут и скажем!» Петр ничего не отвечал, однако ж послушался.

Два дня спустя, на рассвете, все семейство от мала до велика находилось в новой избе. Стол против красного угла был покрыт чистым рядом; посреди стола возвышался пышный ржаной каравай, а на нем стояла икона, прислоненная к липовой резной солонице, – икона, доставшаяся Глебу от покойного отца, такого же рыбака, как он сам. Глеб, величаво выразительное лицо которого было в эту минуту проникнуто торжественным спокойствием, произнес молитву. Жена его, сыновья, снохи и даже дети преклонили колени. После молитвы икона была поставлена на свое место, и перед нею затеплилась желтая восковая свеча, которой предназначалось гореть во все время, как будут продолжаться первые попытки промысла. После этого присутствующие набожно перекрестились. Глеб вышел на берег в сопровождении всего своего семейства.

Лодки были уже спущены накануне; невод, приподнятый кольями, изгибался чуть не во всю ширину площадки. Величественно восходило солнце над бескрайним водяным простором, озолоченным косыми, играющими лучами; чистое, безоблачное небо раскидывалось розовым шатром над головами наших рыбаков. Все улыбалось вокруг и предвещало удачу. Не медля ни минуты, рыбаки подобрали невод, бросились в челноки и принялись за промысел. Любо было им погулять на раздолье после пятимесячного заточения в душ-

ных, закоптелых избах.

Ока не представляла уже теперь дикого смешения из льдин, оторванных пней и деревьев, ныряющих в беспорядке между мутными, бурными волнами; она была в полном своем разливе. Воды ее успокоились и стали прозрачнее. Ровною, серебряною скатертью, кой-где тронутую лазурью, протянулась река на семь верст от берега до берега, и поверхность ее, как поверхность озера в тихую погоду, казалась недвижною. Там и сям вдалеке чернели лачужки озерских рыбаков, затопленные до кровли; местами выглядывали из воды безлиственные верхушки дубов; перекидываясь целиком в гладком зеркале реки, они принимали вид маленьких островков, и только тоненькие серебристые полосы, оттенявшие эти островки, давали чувствовать быстрину течения. Едва видными пятнышками мелькали челноки наших рыбаков; голоса их терялись в пространстве. Птицы одни оживляли окрестность. Тучи дроздов, скворцов, диких уток, стрижей и галок торопливо перелетали реку; дикий крик белогрудых чаек и рыболовов, бог весть откуда вдруг взявшихся, немолчно носился над водою; сизокрылый грач также подавал свой голос; мириады ласточек сновали в свежем, прозрачном воздухе и часто, надрезав крылом воду, обозначали круг, который тотчас же расплывался, уносимый быстротою течения. Солнце между тем всходило все выше и выше, раскидывая сноп золотых лучей по всему небу; точно рука божия протягивалась из-за бескрайного горизонта и благо-

словляла утро.

Несколько суток простояла река в полном своем разливе. Наконец мало-помалу, как бы утомясь своим величием, как бы одолеваемая сладкой дремотой, стала она укладываться в свои берега. Вскоре на лугах, покрытых вязким плодотворным илом, показались толпы народа; народ валил из Комарева, Заполья, Баскача и всех окрестных деревень с саками, ведрами, решетами. Все спешили, бабы и дети, запастись рыбкой, которую оставляет в углублениях лугов быстро убежавшая река. Вскоре над маленьким озером показалась сизая струйка дыма, возвестившая нашим рыбакам, что дедушка Кондратий переселился уже с своей дочкой из Комарева и также принялся за промысел.

Сумрачное расположение Глеба прошло, по-видимому, вместе с половодьем; первый «улов» был такого рода, что нужно было только благодарить господу за его милость. Знатно «отрыбились»!

– Бог сотворил рожденье, благословил нас; нам благодарить его, – а как благодарить? Знамо, молитвой да трудами. Бог труды любит! Ну, ребята, что ж вы стали! Живо! Ночи теперь не зимние, от зари до зари не велик час... пошевеливайся!..

Все это говорил Глеб вечером, на другой день после того, как река улеглась окончательно в берега свои. Солнце уже давно село. Звезды блистали на небе. Рыбаки стояли на берегу и окружали отца, который приготавливался уехать с ними

на реку «лучить» рыбу.

– Ладно, так!.. Ну, Ванюшка, беги теперь в избу, неси огонь! – крикнул Глеб, укрепив на носу большой лодки козу – род грубой железной жаровни, и положив в козу несколько кусков смолы. – Невод свое дело сделал: сослужил службу! – продолжал он, осматривая конец остроги – железной заостренной стрелы, которой накальвают рыбу, подплывающую на огонь. – Надо теперь с лучом поездить... Что-то он пошлет? Сдается по всему, плошать не с чего: ночь тиха – лучше и требовать нельзя!

Ванюша не замедлил явиться, держа под полою фонарь с зажженным огарком; немного погода смола затрещала, и коза вспыхнула ярким пламенем. Нижняя часть площадки, лица рыбаков и лодки окрасились вдруг багровым трепетным заревом.

– Ну, батька, говори, как размещаться? – произнес Петр.

– Вот как, – проворно подхватил Глеб, который окончательно уже повеселел и расходился, – ты, Петрушка, становись со мною на носу с острогою... ладно! Смотри только, не зевай... Гришка и Ванюшка, садись в греблю... живо за весла; да грести у меня тогда только, когда скажу; рыбка спит; тревожить ее незачем до времени... Крепко ли привязан к корме челнок?

Гришка отвечал утвердительно.

– Ну, поворачивайся... так!.. Ты, Васька, – продолжал старик, обращаясь ко второму сыну, который держал лодку

крючком багра, – ты на корму. Ну, все мы на местах?

– Все, – отозвались рыбаки в один голос.

– Тссс!.. Мотри, не горланить: говори тайком – одними глазами говори... Отдай!

Василий бросил багор и проворно прыгнул на корму.

– Ну, пущена лодочка на воду, отдана богу на руки! – весело воскликнул Глеб, когда лодка, отчаленная веслами от берега, пошла по течению.

Тетка Анна и снохи ее сидели в это время на завалинке. Они не отрывали глаз от «луча», который ярко горел посреди ночи и так отчетливо повторялся в воде, окутанной темнотою наравне с лугами и ближним берегом, что издали казалось, будто два огненных глаза смотрели из глубины реки. Иногда свет исчезал, и вместе с ним мгновенно пропадали лодка, привязанный к ней челнок и люди, на ней находившиеся; но это продолжалось всего одну секунду. Новые куски смолы попадали в козу, и красное пламя, раздвоившись мгновенно, снова загоралось на реке. Тогда перед глазами баб, сидевших на завалинке, снова обозначались дрожащие очертания рыбаков и лодки, снова выступали из мрака высокие фигуры Петра и Глеба Савиновых, которые стояли на носу и, приподняв над голову правую руку, вооруженную острогою, перегнувшись корпусом через борт, казались висевшими над водою, отражавшею багровый круг света.

Глеб не ошибся: луч отличился ничем не хуже невода. К полуночи в лодке оказалось немало щук, шерешперов и дру-

гих рыб. Ловля подходила уже к концу, когда Гришка обратился неожиданно к Глебу.

– Батюшка, – сказал он торопливо, – дай-ка я съезжу в челноке на ту сторону – на верши погляжу: должно быть, и там много рыбы. Я заприметил в обед еще, веревки так вот под кустами-то и дергает. Не унесло бы наши верши. Ванюшка один справится с веслами.

Не мешает заметить, что Гришка, во все время как продолжалось лученье, поминутно поглядывал на луговой берег. Присутствующие благодаря густой тени, которую набрасывала на приемыша спина Глеба, не замечали этих взглядов, точно так же как не замечали плутовского, лукавого веселья, разлившегося в чертах его. Гришку точно что-то подмывало на месте, и Ваня, сидевший подле, не раз говорил ему, чтоб он сидел тише. Время от времени Гришка затаивал дыхание и прислушивался: мертвое молчание царствовало на луговом берегу. Изредка лишь раздавался слабый звук, похожий на отдаленный крик совы; но этот крик пробуждал всегда почему-то такую прыткость в движениях приемыша, что Глеб поворачивался к корме и пригибал забранку гребцам, которые раскачивали лодку и пугали рыбу.

В ответ на замечание Гришки о вершах Глеб утвердительно кивнул головою. Гришка одним прыжком очутился в челноке и нетерпеливо принялся отвязывать веревку, крепившую его к большой лодке; тогда Глеб остановил его. С некоторых пор старый рыбак все строже и строже наблюдал, что-

бы посещения приемыша на луговой берег совершались как можно реже. Он следил за ним во все зоркие глаза свои, когда дело касалось переправы в ту сторону, где лежало озеро дедушки Кондратия.

– погоди, – произнес старый рыбак, обратившись неожиданно к корме, – одному тебе не справиться с вершами. Ванюшка! Ступай с ним. Коли много рыбы, посади ее в челнок, да живей домой, а верши опять под кусты, на прежнее место.

– А кто ж грести-то вам станет? – отозвался Гришка, спеша отвязать веревку.

– Делай что велют! Об этом не сумлевайся... Петр! Садись в греблю.

– Ну, вот, батюшка! Я и один справлюсь, – возразил Гришка, пуская челнок.

– Не смей, ни с места! – крикнул Глеб, топнув ногой.

Гришка сердито ударил багром в борт лодки и снова при-тянул челнок. Ваня, не промолвив слова, поднял весло и по-местился подле приемыша.

– Да смотри, не запаздывать у меня, живо домой!.. Ну, Петрушка, весла на воду. И нам пора: давно уж, я чай, полночь, – произнес Глеб, когда челнок, сурово отпихнутый Гришкой, исчез в темноте.

Ваня и товарищ его плыли молча. С некоторых пор они редко сталкивались вместе: они как словно избегали даже друг друга; в этом, впрочем, скорее можно было упрекнуть приемыша. Со стороны сына рыбака не было заметно, что-

бы он таил в душе какие-нибудь неприязненные чувства к товарищу своего детства. В отношениях его с приемышем заметна была только воздержность. Задумчивое, прекрасное лицо молодого рыбака сохраняло такое же спокойствие, когда он говорил с Гришкой, как когда оставался наедине. Черные, быстрые взгляды приемыша говорили совсем другое, когда обращались на сына рыбака: они горели ненавистью, и чем спокойнее было лицо Вани, тем сильнее суживались губы Гришки, тем сильнее вздрагивали его тонкие, подвижные ноздри. Он сам не мог бы растолковать, за что так сильно ненавидел того, который, пользуясь всеми преимуществами любимого сына в семействе, был тем не менее всегда родным братом для приемыша и ни словом, ни делом, ни даже помыслом не дал повода к злобному чувству. Впрочем, Гришка и не думал отдавать себе отчета в своих ощущениях, точно так же как не утруждался скрывать их от товарища.

Итак, они плыли молча. Челнок приближался уже к кустам ивняка и находился недалеко от высокой ветлы, висевшей над омутом, как внезапно посреди тишины снова раздался крик совы, но на этот раз так близко, что оба рыбака подняли голову.

– Никак, сыч? – произнес Гришка, быстро окинув глазами Ваню; но мрак покрывал лицо Вани, и Гришка не мог различить черты его. – Вот что, – примолвил вдруг приемыш, – высади-ка меня на берег: тут под кустами, недалече от ому-та, привязаны три верши. Ты ступай дальше: погляди там за

омутом, об утро туда кинули пяток. Я тебя здесь подожду.

Ваня ничего не отвечал и только приподнял весло. Приемьш быстро повернул челнок и прыгнул в кусты.

– Вот как раз угодили в самое то место, – сказал он, потрясая веревками, которые прикрепляли верши к берегу. – Смотри же, я здесь жду, – примолвил он и громко засвистал.

Но Ваня огибал уже водоворот и находился шагах во ста от приемьша. Достигнув места, где закинута была другая верши, он остановился, бережно вынул весло из воды и, ухватившись руками за сучья кустарника, притаил дыхание. Так провел он несколько минут, как прикованный, вместе с челноком своим. Кругом все было тихо: он слышал только, как колотилось его собственное сердце и как в отдалении шуршукал омут, вертевший свою воронку под старой ветлою. Наконец он выпустил сучья из правой руки, судорожно отер ладонью пот, который, несмотря на холод ночи, выступал крупными горошинами на лице, и, укрепив челнок, принялся осматривать верши: осмотрел одну, взялся за другую – и вдруг кинулся в челнок и полетел стрелою назад. Несколько ударов весла, прыжок – и Ваня очутился на том месте, где оставил приемьша. Послышался слабый, затаенный возглас; но это не был крик совы. Слишком знакомый голос прозвучал в ушах Вани, и вслед за тем что-то белое быстро промелькнуло перед его глазами. В то же время Гришка остановился против него и загородил ему дорогу. Ваня отодвинулся в сторону и продолжал следить за белым пятном, которое

исчезало в темноте.

– Чего тебе надеть? – удушливым голосом произнес Гришка, становясь снова перед товарищем и так близко наклоняясь к его лицу, что тот почувствовал теплоту его прерывающегося дыхания.

Ваня слегка отслонил его рукою и, не повернув даже головы, продолжал смотреть в ту сторону, где скрылось белое пятно.

– Чего тебе надеть? – яростно повторил Гришка, приподнимая в замешательстве кулаки и скрежеща зубами.

Ваня повернул тогда к нему лицо свое, отступил шаг назад и сказал спокойным голосом, в котором заметно было, однако ж, легкое колебание:

– Полно, брат, чего ты беснуешься? Я ведь давно все знаю; таиться вам от меня нечего. Бог с вами, я вам не помеха.

– Какая? В чем помеха? – проговорил Гришка, сраженный, по-видимому, спокойствием своего противника.

– Перестань, братец! Кого ты здесь морочишь? – продолжал Ваня, скрестив на груди руки и покачивая головою. – Сам знаешь, про что говорю. Я для эвтаго более и пришел, хотел сказать вам: господь, мол, с вами; я вам не помеха! А насчет, то есть, злобы либо зависти какой, я ни на нее, ни на тебя никакой злобы не имею; живите только по закону, как богом показано...

– Ой ли? – насмешливо перебил Гришка.

Ваня отступил несколько шагов и потупил голову.

– Господь тебе судья, когда так! – сказал он твердым, хотя грустным голосом.

Затем он медленно повернулся к реке и пошел к челноку.

Немного погодя берег опустел. Вскоре опустела и самая река, встревоженная на минуту веслами двух удаляющихся рыбаков.

XIV

Лачуга дедушки Кондратия

В четверг на Святой, часа за два до полудня, Глеб остановил Ванюшу в ту минуту, как тот проходил мимо и готовился выйти за ворота.

– Куда ты бредешь? – спросил отец.

– На реку, батюшка.

– А что, примерно, можно спросить, какая надобность идти тебе на реку? – продолжал шутливо отец.

– Можно, батюшка: греха нет в этом. Хотелось так, просто на воду поглядеть...

– Ой, врешь! – подсмеиваясь, перебил отец.

В эту самую минуту за спиною Глеба кто-то засмеялся. Старый рыбак оглянулся и увидел Гришку, который стоял подле навесов, скалил зубы и глядел на Ваню такими глазами, как будто подтрунивал над ним. Глеб не сказал, однако ж, ни слова приемышу – ограничился тем только, что оглянул его с насмешливым видом, после чего снова обратился

к сыну.

– Ну, вот что, грамотник, – примолвил он, толкнув его слегка по плечу, – на реку тебе идти незачем: завтра успеешь на нее насмотреться, коли уж такая охота припала. Ступай-ка лучше в избу да шапку возьми: сходим-ка на озеро к дедушке Кондратию. Он к нам на праздниках два раза навещался, а мы у него ни одна не бывали – не годится. К тому же и звал он нонче.

При этом Глеб лукаво покосился в ту сторону, где находился приемыш. Гришка стоял на том же месте, но уже не скалил зубы. Смуглое лицо его изменилось и выражало на этот раз столько досады, что Глеб невольно усмехнулся; но старик по-прежнему не сказал ему ни слова и снова обратился к сыну.

– Ну что ж ты стоишь, Ванюшка? Али уши запорошило? Ступай, бери шапку, – проговорил он, поглядывая на сына, который краснел, как жаровня, выставленная на сквозной ветер, и переминался на одном месте с самым неловким видом.

– Батюшка, – сказал наконец Ваня, – ты бы один сходил либо вот другого кого из наших взял...

– Это по каким причинам?

– Да так, батюшка, – подхватил Ваня, стараясь придать своему лицу веселое настроение, – так, мне что-то не хочется... Я бы лучше дома побыл.

– Сказал: *ты* пойдешь, стало, оно так и будет! Стало, и

разговаривать нечего! Долго думать – тому же быть. Ступай, бери шапку.

– Право, батюшка...

– Ну, ну, ну! Я ведь эвтаго не люблю! Ступай! – отрывисто сказал отец.

Глеб не терпел возражений. Уж когда что сказал, слово его как свая, крепко засевавшая в землю, – ни за что не спихнешь! От молодого девятнадцатилетнего парня, да еще от сына, который в глазах его был ни больше ни меньше как молокосос, он и подавно не вынес бы супротивности. Впрочем, и сын был послушен – не захотел бы сердить отца. Ваня тотчас же повиновался и поспешил в избу.

– Гришка! – сказал Глеб.

Приемыш подошел молча.

– Ты у меня нынче ни с места! Петр, Василий и снохи, может статья, не вернутся: заночуют в Сосновке, у жениной родни; останется одна наша старуха: надо кому-нибудь и дома быть; ты останешься! Слышишь, ни с места! За вершами съездишь, когда я и Ванюшка вернемся с озера.

Сказав это, Глеб повернулся к нему спиной и пошел к воротам. Проводив его злобным взглядом, Гришка топнул ногою оземь и, сделав угрожающий жест, нетерпеливыми шагами вышел в задние ворота, бормоча что-то сквозь крепко стиснутые зубы.

В ожидании сына Глеб сел на завалинку.

«Так, стало, оно и есть! То-то давненько еще заприметил

я, как словно промеж ними неладно что-то, – думал старый рыбак. – Парней – двое, девка – одна: вестимо, что мудреного! Чего мало, то и в диковинку; оно завсегда так-то бывает! Ну, да как быть! На всех не угодишь. Не ломоть девка: пополам не разлочишь! И то сказать: коли настоящим делом взять, незачем Гришке и жена теперь; куда она ему! На службе не до нее: только что вот лишняя тягота на плечах... Эх, жаль парня-то! Оченно жаль! Знамо, не как родного детища, а все песок на сердце: много добре привыкли мы к нему; жил, почитай что, с самого малолетства... И парень-то ловок – что говорить! Озорват, а ловок. Рыбак был бы знатный: далось ему ремесло... Ну, да что делать! Требуется – стало, так тому и следует быть! – продолжал Глеб, потряхивая головою. – Вот одного только в толк не возьму никак: с чего мой-то артачится?.. Тот скучает: знамо, досадно, завидки берут – положим, так; ну, а этому что? Девка, что ли, не по сердцу, не по нраву пришла? Какую же ему еще?.. Уж эта ли еще не девка: лицом пригожа, хоть бы и не про нас. Ну, также вот и насчет нрава: девка ласковая, скромница... Да и родня хорошая: всего один отец-старик, да и тот из лучших хороший... Так нет, поди ж ты, ломается! И диковинное это дело, право, не допытаться никак: затаился, как огонь в кремне!.. А видно, видно по всему: есть что-то на разуме, скучает чем-то!.. То-то, давно пора бы по-настоящему женить его. Кабы да не прошлогодняя стройка, не изба новая, давно бы дело-то слажено было... А на это, что он не охо-

тится до невесты, смотреть нечего: я ведь узловат; маленько что, и таску дам... Нонче же переговорю с дядей Кондратием, и по рукам: в воскресенье спросим девку, а в предбудущее и повенчаем!.. Глупый, и сам своего счастья не ведает! Поживет, поживет месяц-другой с женою, да и в ноги отцу: спасибо, мол, что приневоливал! Да и нам повеселее тогда будет: к тому времени того и гляди повестят о некрутстве, Гришка уйдет; все не так скучать станем; погляжу тогда на своих молодых; осталась по крайности хоть утеха в дому!..»

Размышления Глеба были прерваны на этом месте приходом сына.

В походке и движениях молодого парня не было заметно ни малейшей торопливости. Все существо его было, казалось, проникнуто чувством покорности и беспрекословного повиновения воле родительской. Глаза, опущенные в землю, тоска, изображавшаяся на побледневшем лице, ясно показывали, однако ж, что повиновение это стоило некоторых усилий молодому парню. Все это не ускользнуло от проницательного взгляда старого рыбака; он оставался, по-видимому, очень недоволен наблюдениями своими над сыном. В другое время он, конечно, не замедлил бы выйти из себя: запылел бы, закричал, затопал и дал бы крепкий напругай сыну, который невесть чего, в самом деле, продолжает глядеть «комом» (собственное выражение Глеба, требовавшего всегда, чтоб молодые люди глядели «россыпью»), продолжает ломаться, таиться и даже осмеливается худеть и заду-

мываться; но на этот раз он не обнаружил своего неудовольствия. Причина такого необыкновенного снисхождения заключалась единственно в хорошем расположении: уж коли нашла сердитая полоса на неделю либо на две, к нему лучше и не подступайся: словно закалился в своем чувстве, как в броне железной; нашла веселая полоса, и в веселье был точно так же постоянен: смело ходи тогда; ину пору хотя и выйдет что-нибудь неладно, не по его – только посмеется да посрамит тебя неотвязчивым, скоморошным прозвищем.

Так было и теперь.

– Ну, что, дьячок, что голову-то повесил? Отряхнись! – сказал Глеб, как только прошло первое движение досады. – Али уж так кручина больно велика?.. Эх ты! Раненько, брат, кручиной забираешься... Погоди, будет время, придет и незваная, непрошенная!.. Пой, веселись – вот пока твоя вся забота... А ты нахохлился; подумаешь, взаправду несчастный какой... Эх ты, слабый, пра, слабый! Ну, что ты за парень? Что за рыбак? Мякина, право слово, мякина! – заключил Глеб, постепенно смягчаясь, и снова начал ухмыляться в бороду.

Во все время, как они переезжали реку, старик не переставал подтрунивать над молодым парнем. Тот хоть бы слово. Не знаю, стало ли жаль Глебу своего сына или так, попросту, прискучило ему метать насмешки на безответного собеседника, но под конец и он замолк.

А между тем все вокруг должно было бы располагать пут-

ников к веселой беседе.

День был чудный. На небе ни облачка; солнце, обливая мягкою теплотою оттаявшую землю, горело как-то празднично. Птицы весело щебетали в тихом, едва движущемся воздухе. Хоть на деревьях не было еще листвы, только что начинали завязываться почки, покрытые клейким, пахучим лаком; хотя луга, устланные илом, представляли еще темноватую однообразную площадь, – со всем тем и луга и деревья, затопленные желтым лучезарным светом весеннего утра, глядели необыкновенно радостно. Уже в некоторых местах, где солнце сильнее припекало в полдень, пласты ила совсем пересохли. Сквозь рыхлую их поверхность, изрезанную бесчисленным множеством мелких трещин и приподнятую, как скорлупа, начали пробиваться кое-где желтые, розовые и красные, как кровь, стебельки цикория. Легкий ветерок, срывавшийся иногда с озер, окруженных купами ольхи, орешника и ветлы, разливал в воздухе запах сырой лесистой почвы. Там, под влажной тенью кустов, лист ландыша уже разворачивал свою трубочку в соседстве с фиалкой, которая скромно показывала свою бледно-голубую головку над темными, мшистыми ворохами прошлогоднего валежника. Все возвещало весну: и темно-лазоревого цвета неба, и песни птиц, и запах почек, и мягкая, проникающая теплота воздуха, даже огромные глыбы льда, которые попадались на пути Глеба и которых занесло в луга половодье. Льдины эти, пронизанные насквозь лучами, лежали уже рыхлыми, изнемога-

ющими массаами; поминутно слышалось, как верхние края их обрывались наземь и рассыпались тотчас же в миллионы звонких сверкающих игл; еще два-три таких дня, и страшные икры, повергавшие так недавно на пути своем столетние дубы, превратятся в лужицы, по которым смело и бойко побежит мелкий куличок-свистунчик. Глеб и сын его не замедлили, однако ж, различить сквозь сучья деревьев, окаймлявших озеро, лачужку дедушки Кондратия.

Жилище старичка представляло оригинальную, совершенно типическую физиономию. Это было что-то среднее между ветхою, закоптелою избушкой на курьих ножках, о которой говорится в сказках, и живописною, веселою степной хаткой, или «мазанкой», как их называют обыкновенно на юге России. Когда дедушка Кондратий переселился на озеро (тринадцать лет тому назад), средства не позволяли ему купить целую избу. Сил хватило только, чтобы приобрести дюжину стропил, да и то обгорелых, и еще другую дюжину кривых, седых бревен. Недостающий материал пополнялся плетнями, густо оштукатуренными снутри и снаружи смесью из глины, речного песка и рубленой соломы. Дедушка начал с того, что срыл отвесно часть небольшого естественного бугорка; в этой выемке помещалась избушка; задний «фас» ее плотно примкнул к земляному откосу до самой кровли; бока ее закрылись частию постепенно понижающимся склоном бугорка, частию плетнями. Лицевая сторона, где находилась дверь (окна прорезаны были с боков), состояла из вышеупо-

мянутых бревен. Неровности и щели прикрывались заплатами из досок и глины; издали казалось: перед вами стоит дряхлый старичок в рубище с большими, подвязанными глазами. Надобно было также подумать защитить себя от дождя. Летом куда бы еще ни шло: прольет ливень, солнышко скоро высушит; но осенью, когда солнышко повернет на зиму, а дождь зарядит на два-три месяца, тут как быть? Для этой цели дедушка выпустил края крыши, и как можно больше, так что самый косой дождь с трудом достигал до порога двери; так много соломы положено было на крышу, что она утратила свою острокрайнюю форму и представлялась копною или вздутым караваем. Но дедушка не много заботился о красоте: главное, было бы тепленько, и потому неделю назад, как только перебрался из Комарева, прикинул еще свеженькой соломки. Лачужка походила теперь, ни дать ни взять, на старый гриб с почернелым стержнем, но сохранившеюся желтой верхушкой, которая лоснилась на солнце. Но как бы то ни было, гриб ли, слепой ли старик с обвязанными глазами, — лачужка не боялась грозного водополя: ольха, ветлы, кусты, обступавшие ее со всех сторон, защищали ее, как молодые нежные сыны, от льдин и охотно принимали на себя весь груз ила, которым обвешивались всякий раз, как трофеем. Летом жилище рыбака превращалось в теплое гнездо, запрятанное в густую зелень. Там, сквозь темную листву ольхи, просвечивала соломенная, солнцем облитая кровля, здесь, между бледными, серебристыми ветвями ивы, чернела раскрытая

дверь. Пестрые лохмотья, развешанные по кустам, белые рубашки, сушившиеся на веревочке, верши, разбросанные в беспорядке, саки, прислоненные к углу, и между ними новенький сосновый, лоснящийся как золото, багор, две-три ступеньки, вырытые в земле для удобного схода на озеро, темный, засмоленный челнок, качавшийся в синей тени раскидистых ветел, висевших над водою, – все это представляло в общем обыкновенно живописную, миловидную картину, которых так много на Руси, но которыми наши пейзажисты, вероятно, от избытка пылкой фантазии и чересчур сильного поэтического чувства, стремящегося изображать румяные горы, кипарисы, похожие на ворохи салата, и восточные гробницы, похожие на куски мыла, – никак не хотят пользоваться.

Глеб и сын его подошли к избушке; осмотревшись на стороны, они увидели шагах в пятнадцати дедушку Кондратия, сидевшего на берегу озера. Свесив худощавые ноги над водою, вытянув вперед белую как лунь голову, освещенную солнцем, старик удил рыбу. Он так занят был своим делом, что не заметил приближения гостей: несколько пескарей и колюшек, два-три окуня, плескавшиеся в сером глиняном кувшине, сильно, по-видимому, заохотили старика.

– Здорово, дядя! «Клев на уду!»³⁰ – весело воскликнул Глеб.

³⁰ Обычное приветствие рыбаков, застающих собрата за ужиением. (Прим. автора.)

– А-а, соседушка! Добро пожаловать! – не менее весело сказал старик, поворачивая к гостям детски-простодушное лицо свое, окруженное белыми как снег волосами, падавшими до плеч. – Ну, здравствуйте, здравствуйте! – продолжал он, медленно приподнимаясь на ноги и прислоняя удочку к кустам. – И Ванюшу взял с собою; ну, ладно. Спасибо тебе, соседушка! Рад ему! Здравствуй, молодец. Давненько не был ты у меня... Ну, да все равно, теперь пришел проведать; и то хорошо... Спасибо, не запамятовал, Глеб Савиныч! Тот-то; ведь я ждал тебя... Дуня! Дуняша! – заключил дедушка Кондратий, обращаясь к лачужке.

При этом дверь отворилась и на пороге показалась дочка старика. Восемилетняя девочка, которую мы встретили когда-то собирающею валежник в прибрежных кустах, успела уже с того времени превратиться в красивую, стройную девушку. В ней легко было узнать, однако ж, прежнего ребенка: глаза, голубые, как васильки, остались все те же; так же привлекательно круглилось ее лицо, хотя на нем не осталось уже следа бойкого, живого, ребяческого выражения. Пестрый платок, накинутый на скорую руку на ее белокурые волосы, бросал прозрачную тень на чистый, гладкий лоб девушки и слегка оттенял ее глаза, которые казались поэтому несколько глубже и задумчивее; белая сорочка, слегка приподнятая между плечами молодою грудью, обхватывала стан Дуни, перехваченный клетчатой юбкой, или понявой, исполосованной красными клетками по темному полю. Обыкновенно-

венно понявы эти не бывают длинны; благодаря такому обстоятельству можно было вдоволь любоваться тонкими босыми ногами молодой девушки, которые немного повыше пятки закруглялись, обозначая начало свежей, розовой икры.

Первое движение Дуняши при виде гостей было откинуться поспешно назад; но, рассудив в ту же секунду, что, сколько ни прятаться, с гостями все-таки придется провести большую часть дня, она снова показалась на дороге. Щеки ее горели ярким румянцем; мудреного нет: она готовила обед и целое утро провела против пылающей печки; могло стать – весьма даже могло стать, что краска бросилась в лицо Дуне при виде Ванюши.

– Дуняша! – сказал дедушка Кондратий мягким, колеблющимся голосом. – Гости дорогие пришли! Собирай-ка обед. А что, сосед, я чай, взаправду, не пора ли поснедать? Вишь, солнышко-то как высоко!

– Что ж, давай; доброе дело... Э, да постой... Дуня, Дуня! – живо подхватил Глеб, обращаясь к дочери соседа, которая готовилась скрыться за дверь. – погоди, касатушка. Разве так делают добрые люди, ась? Ведь мы с тобой на Святой-то не видались: я чай, и похристосоваться надуть!.. А ну-тка, подь-ка, давай-ка христосоваться!.. Ну, Христос воскрес! Так! Вот это так, как быть следует... Ну, а что ж с моим-то парнем? Разве вы нехристи?.. Ванюшка, что ж ты стоишь?.. Ах ты... Ну! – заключил Глеб, посмеиваясь, меж-

ду тем как молодые люди стояли друг против друга с потупленными головами.

Одно и то же чувство – чувство неловкости, тягостного принуждения, быть может, даже стыда со стороны девушки – проглядывало на лице того и другого. Но нечего было долго думать. Глеб, чего доброго, начнет еще подтрунивать. Ваня подошел к девушке и, переминая в руках шапку, поцеловал ее трижды (Глеб настоял на том), причем, казалось, вся душа кинулась в лицо Вани и колени его задрожали.

– Ну, а насчет красных яичек не взыщи, красавица: совсем запамятовали!.. А все он, ей-богу! Должно быть, уж так оторопел, к вам добре идти заохотился, – смеясь, проговорил Глеб и подмигнул дедушке Кондратию, который во все время с веселым, добродушным видом смотрел то на соседа, то на молодую чету.

Немного погодя старик ввел гостей своих в избушку.

XV

Беседа

Дедушка Кондратий, придерживаясь, вероятно, старой поговорки, которая гласит: «От хозяина должно пахнуть ветром, от хозяйки – дымом», исключительно занимался наружными стенами и кровлей своей лачуги, внутреннее устройство отдавал в полное распоряжение своей дочери. Между наружностью лачуги и внутренним ее видом находи-

лась такая же почти разница, как между самым стариком и молодой девушкой: тут все было прибрано, светло, весело и чисто. Красный угол был выбелен; тут помещались образа, остальные части стен, составлявшие продолжение угла, оставались только вымазанными глиной; медные ризы икон, вычищенные мелом к светлому празднику, сверкали, как золото; подле них виднелся возобновленный пучок вербы, засохнувшая просфора, святая вода в муравленом кувшинчике, красные яйца и несколько священных книг в темных кожаных переплетах с медными застежками – те самые, по которым Ваня учился когда-то грамоте. В противоположном углу воздвигалась печка с перерубочками для удобного влезанья; она занимала ровно четвертую часть жилища; над ухватом, кочергою и «голиком» (веником), прислоненным к печурке, лепилась сосновая полка, привешенная к гвоздям веревками; на ней – пузатые горшки, прикрытые деревянными кружками; так как места на полке оставалось еще много, молодая хозяйка поместила в соседстве с горшками самопрялку с тучным пучком кудели на макушке гребня. Угол налево, ближайший к двери (любимый уголок старичка: тут он плел обыкновенно свои лапти и чинил сети), не представлял ничего особенно примечательного, если не считать островерхой клетки с перепелом да еще шапки Кондратия, прицепленной к деревянному гвоздю; верхушка шапки представлялась чем-то вроде туго набитого синего мешка; величиною и весом своим она могла только равняться с знаменитою шап-

кой, купленной двадцать лет тому назад покойным Акимом Гришке, когда ребенку исполнился год. На бечевке, протянутой от выступа печи до верхнего косяка двери, висела грубая посконная занавеска, скрывавшая правое окно и постель рыбаковой дочки; узковатость занавески позволяла, однако ж, различить полотенце, висевшее в изголовьях, и крошечное оловянное зеркальце, испещренное зелеными и красными пятнышками, одно из тех зеркальцев, которые продаются ходебщиками – «офенями» – и в которых можно только рассматривать один глаз, или нос, или подбородок, но уж никак не все лицо; тут же выглядывал синий кованный сундук, хранивший, вероятно, запонку, шелк-сырец, наперсток, сережки, коты, полотно, две новые понявы и другие части немногосложного приданого крестьянской девушки.

Кондратий усадил Глеба на почетное место, к образам; он хотел посадить туда же и сына, но Ванюша отказался под предлогом, что заслонит спиною окно, и расположился немного поодаль, в тень, бросаемую стеною; сам хозяин поместился рядом с соседом Глебом.

Свет окна сполна ударял тогда в лицо двух стариков. Трудно было сыскать две более характеристические, но вместе с тем две менее сходные головы. Умный, широкий лоб Глеба, окруженный черными, пышными, с проседью кудрями, его орлиный нос, подвижные, резко обозначенные ноздри, смелый, бойкий взгляд могли бы удачно служить моделью для изображения древнего римлянина; каждая черта его, каждая

морщина дышали крепостию, обозначали в нем присутствие живых, далеко еще не угаснувших страстей. Белая, патриархальная голова соседа, тихое выражение лица его, насквозь проникнутого добротою и детским простодушием, приводили на память тех набожных старичков, которые уже давным-давно отказались от всех земных, плотских побуждений и обратили все помыслы свои к богу. Невозможно было найти два лица, которые бы так верно, так отчетливо передавали всю жизнь, всю душу своих владельцев.

– Не посетуйте, дорогие гости: чем угощать вас, и сам не ведаю! – сказал Кондратий, когда Дуня поставила на стол ущицу, приправленную луком и постным маслом (девушка старалась не смотреть на Ваню). – Вы привыкли к другой пище, вам не в охоту моя постная еда...

– Вот, нешто у нас причудливое брюхо! Мы сами, почитай, весь год постным пробавляемся, – возразил Глеб, – постная еда, знамо, в пользу идет, не во вред человеку; ну, что говорить! И мясо не убавит веку: после мясца-то человек как словно даже посытнее будет.

– Так-то так, посытнее, может статья – посытнее; да на все есть время: придут такие года, вот хоть бы мои теперь, не след потреблять такой пищи; вот я пятнадцать лет мяса в рот не беру, а слава тебе, всевышнему создателю, на силы не жалуясь. Только и вся моя еда: хлеб, лук, да квасу ину пору подольешь...

– Ну, нет, дядя, напрасно поклепал ты свою похлебку: по-

хлебка знатная! – начал Глеб, приставляя ложку к губам, делая из них подобие трубы и звонко втягивая в себя ущицу. – Знатная еда! Ведь эти вот колюшки да пескари, даром что малы, а сладки! И то сказать надо: мастерица у те хозяйка и уху-то варить!.. Повариха славная! – прибавил он, поглядывая на Дуню, неловкость которой мало-помалу проходила, хотя она все еще старалась отводить глаза свои от сына рыбака. – Всякий раз, как вот я так-то приду к вам, погляжу на вас, на ваше на житье-бытье, инда завидки берут – ей-богу, право! – сказал Глеб.

– Да, благословил меня господь – послал на старости лет утеху, – отвечал Кондратий, подымая, в свою очередь, глаза на дочку.

Черты старика оживились: как будто луч солнца, пробравшись неожиданно в окно, скользнул по лицу его.

– Вот одного разве только недостает вам, – продолжал между тем Глеб, – в одном недостача: кабы каким ни есть случаем... Вот хошь бы как та баба – помнишь, рассказывали в Кашире? – пошла это на реку рубахи полоскать, положила их в дупло, – вынимает их на другой день, ан, глядь, в дупле-то кубышка с деньгами... Вот кабы так-то... ах, знатно, я чай, зажили бы вы тогда!

– Зачем нам? Мы и так довольны.

– Ну полно, дядя, полно! – смеясь, перебил Глеб. – Что толковать! Я чай, куда и ты бы возрадовался!

– Нет, Глеб Савиныч, не надуть нам: много денег, много и

греха с ними! Мы довольствуемся своим добром; зачем нам! С деньгами-то забот много; мы и без них проживем. Вот я скажу тебе на это какое слово, Глеб Савиныч: счастлив тот человек, кому и воскресный пирожок в радость!

– Коли за себя говоришь, ладно! О тебе и речь нейдет. А вот у тебя, примерно, дочка молодая, об ней, примерно, и говорится: было бы у ней денег много, нашла бы себе наряду всякого, прикрас всяких... вестимо, дело девичье, молодое; ведь вот также и о приданом думать надо... Не то чтобы, примерно, приданое надуть: возьмут ее и без этого, а так, себя потешить; девка-то уж на возрасте: нет-нет да и замуж пора выдавать!..

При этом дедушка Кондратий подавил вздох, и лицо его стало задумчиво.

– Что, аль не любо? – спросил Глеб, устремляя на соседа пытливый взгляд. – Ну, да как быть: сколько веревку ни вить, концу быть: на это они, девки-то, и на свет рождаются. Знамо, невесело расставаться с родным детищем: своя плоть – к костям пришта, а не миновать этого; так уж богом самим установлено. И то сказать: за мужниной головой не сидеть ей сиротой. С чего ж так!.. Всегда так-то водится: родители берегут дочь до венца, муж – до конца! Не урод она у тебя, не кривая какая, слава те господи! Красовита – хошь куда!.. Ну, как же ей после этого... так и сидеть в девках-то? Нет, дядя, замуж отдавай – вот что!.. Я, пожалуй, и женишка приищу; у тебя товар, у меня купец...

Ваня давно смекнул, к чему клонилась отцовская речь; но как ни тяжело было ему находиться при этом разговоре, особенно в присутствии Дуни, он не показал своего нетерпения. Прислонившись спиной к стене, он изредка лишь потряхивал волосами; вмешаться в разговор и замять как-нибудь отцовскую речь он не мог: во-первых, отец не дал бы ему вымолвить слова, и, наконец, хоть до завтра говори ему, все-таки никакого толку не выйдет, все-таки не послушает, хуже еще упрется; во-вторых, приличие своего рода запрещало Ване вмешаться в беседу: он знал, что сидит тут в качестве жениха, и, следовательно, волей-неволей должен был молчать.

Но Глеб не прерывал беседы и продолжал закидывать соседа теми замысловатыми, двусмысленными речами, которые употребляются обыкновенно в случаях сватовства; видно было, однако ж, что ему не по нутру приходилось добираться до цели окольными путями. Глеб был человек прямой, неутайчивый и вдобавок еще горячий: ему хотелось бы разом порешить дело; отзвонил, да и с колокольни долой! Вышла даже такая задача, что старый рыбак как словно под конец и замялся; но это продолжалось всего секунду. Он окинул бойким взглядом присутствующих, засмеялся и, трепнув по плечу дедушку Кондратия, сказал:

– Эх, дядя, погубили вы, ты да твоя девка, моего парнюху – ей-богу, так!

– Поди ты, что еще выдумал! Оборони господи, чтобы мы

его когда губить думали, – проговорил старик, с добродушной улыбкой поглядывая на Ваню.

Ваня нетерпеливо тряхнул волосами.

– Так, право, так, – продолжал Глеб, – может статься, оно и само собою как-нибудь там вышло, а только погубили!.. Я полагаю, – подхватил он, лукаво прищуриваясь, – все это больше от ваших грамот вышло: ходил это он, ходил к тебе в книжки читать, да и зачитался!.. Как знаешь, дядя, ты и твоя дочка... через вас, примерно, занедужился парень, вы, примерно, и лечите его! – заключил, смеясь, Глеб.

Ваня снова тряхнул волосами.

Дуня торопливо поставила на стол последнюю перемену, подошла к печке и начала убирать горшки и плошки; но руки ее рассеянно перебегали от одного предмета к другому; разговор Глеба, его намеки обращали теперь на себя все внимание девушки.

– Ах ты, шутник! Шутник! – сказал Кондратий в ответ соседу. – Поди ты, чего не выдумаешь!.. Нет, Глеб Савиныч, – подхватил он, и лицо его снова изобразило тихую задумчивость, – нет, через то, что Ванюша грамоткой занимается, худого не будет; знамо, что говорить! Бывают такие книжки, что грешно и в руки взять... да таких Ванюша твой не читает; учился он доброму – худое на ум не пойдет!.. Наши книжки, что я ему даю, человека не испортят, не научат баловству: книжки наши разумные, душевные; их отцы святые писали!

– Вестимо... то есть... ну, что говорить! Вестимо, от таких книг худого не бывает! Я, примерно, не то... – воскликнул немного озадаченный Глеб. – Ну, не книжки, так другое что! – подхватил он, оправляясь. – Ведь неспроста же стал он у меня так-то задумываться... Что ж бы за притча за такая?.. Как ты скажешь, дед, а?.. Я полагаю, знаешь что... Уж не зазноба ли – э! э! э! – примолвил неожиданно Глеб, моргая на присутствующих блиставшими от удовольствия глазами. – Ну, да все одно: ведь и это не годится, неладно! – продолжал он, заботливо нахмуривая лоб, между тем как лицо его смеялось. – Причина немалая; вишь, дядя, парень-то, почитай что, высох... весь, почитай, износился; полечить надо... Нет ли у тебя, примерно, средствия какого, ась?.. Я, признаться, затем более и пришел к тебе... Ну, что ты на это скажешь? Полно тебе раздумывать-то! Сколько птице ни летать по воздуху, а наземь надо когда-нибудь сесть... Ну, с твоего слова, что с золотого блюда, говори!..

Тяжело было старику произнести слово – слово, которое должно было разлучить его с дочерью; но, с другой стороны, он знал, что этого не избежнешь, что рано или поздно все-таки придется расставаться. Он давно помышлял о Ване: лучшего жениха не найдешь, да и не требуется; это ли еще не парень! Со всем тем старику тяжело было произнести последнее слово; но сколько птице ни летать по воздуху, как выразился Глеб, а наземь надо когда-нибудь сесть.

– Что ж, – сказал наконец дедушка Кондратий ласковым,

приветливым голосом (лицо его оставалось, однако ж, задумчивым), – что ж! Мы от доброго дела не прочь...

Ваня, начинавший уже с трудом подавлять волнение, невольно взглянул на Дуню.

Слова отца заставили ее повернуть голову к разговаривающим; она стояла, опустив раскрасневшееся лицо к полу; в чертах ее не было видно, однако ж, ни замешательства, ни отчаяния; она знала, что стоит только ей слово сказать отцу, он принуждать ее не станет. Если чувства молодой девушки были встревожены и на лице ее проглядывало смущение, виною всему этому было присутствие Вани.

– Когда так, стало, и разговаривать нечего! – продолжал между тем Глеб с возрастающею веселостию. – Спасибо тебе на ласковом слове, дядя! Я, признательно, другого от тебя и не чаял, с тем шел и старухе своей сказал ноне... Стала это она приставать, как проведала, зачем иду сюда; не приходится, говорит, идти тебе самому за таким делом, то да се, говорит... Вот, говорю, нужда мне большая до ваших до бабьих разговоров! Жили мы с дядей Кондратием, почитай, тринадцать лет, жили: два сапога – одна пара! Как следует, по-соседски жили; знаю я его, и он меня знает: оба, примерно, обо всем уже извещены... А тут поди еще ломайся да баб засылай, и невесть что такое! Нет, говорю: сам схожу, сам обо всем переговорю: оно и лучше! А то поди еще, возись с ними! Зачнут тресбесить да суетиться: наговорят с три короба, а толку мало; конец тот же, да только что вот растянут его

пустыми речами своими – и не дождешься!.. Мне, признательно, коли уж на правду пошло, вот этого-то и не хочется; по-моему, чем скорее вылечим мы нашего парня, тем лучше... И то сказать, дядя: задалось нам, вишь ты, дельце одно; со дня на день жду, приведется нам погоревать маненько, вот поэтому-то самому более и хлопочу, как бы скорее сладить, парня нашего вылечить; все по крайности хоть утеха в дому останется... Я тебе об этом нашем деле слова не промолвил... Да, может статься, сам ты как-нибудь на стороне проведаль... а? – заключил Глеб, веселость которого при последних словах заметно пропадала.

– Оборони, помилуй бог! Я ничего не слыхал! – произнес дядя Кондратий, подымая белую свою голову.

– Не говорил я тебе об этом нашем деле по той причине: время, вишь ты, к тому не пришло, – продолжал Глеб, – нечего было заводить до поры до времени разговоров, и дома у меня ничего об этом о сю пору не ведают; теперь таиться нечего: не сегодня, так завтра сами узнаете... Вот, дядя, – промолвил рыбак, приподымая густые свои брови, – рекрутский набор начался! Это, положим, куда бы ни шло: дело, вестимо, нужное, царство без воинства не бывает; вот что неладно маленько, дядя: очередь за мною.

Дедушка Кондратий потупил глаза к земле и задумчиво покачал головою.

– Точно, – сказал он, – точно; слыхал я, рекрутов собирают; и не знал, что черед за тобою, Глеб Савиныч. Ну, так как

же ты это... А? Что ж ты? – примолвил он, заботливо взглядывая на соседа.

– Что делать! – произнес Глеб, проводя ладонью по седым кудрям своим. – Дело как есть законное, настоящее дело; жалей не жалей, решить как-нибудь надуть. Сердце болит – разум слушаться не велит... На том и положил: Гришка пойдет!

При самом начале этого разговора, как только Глеб сказал, что ожидает со дня на день какого-то гореванья, и особенно после того, как объяснил он свое намерение относительно Гришки, в чертах Вани произошла разительная перемена; он поднял голову и устремил тревожно-беспокойный взгляд на отца, который во все время беседы сидел к нему боком. С именем Гришки молодой парень вздрогнул всем телом, до последнего суставчика, судорожным движением руки отер капли холодного пота, мгновенно выступившие на лбу, и взглянул на дочь рыбака.

Дуня стояла у двери. Лицо ее, покрытое зеленоватою бледностью, было недвижно; раскрыв побелевшие губы, вытянув шею, она смотрела сухими глазами, полными замешательства, в угол, где сидели старики. Секунду спустя глаза ее помутились, как словно огонь, наполнявший их, затушен был слезами, мгновенно хлынувшими от сердца; грудь ее поднялась, губы и ноздри задрожали; все существо ее превратилось, казалось, в один отчаянный вопль. Дуня заглушила, однако ж, рыдания, раздиравшие ее сердце; она прило-

жила одну руку к губам, другою ухватилась за грудь и быстро скользнула в дверь.

Все это произошло так неожиданно, так тихо, что Глеб и дедушка Кондратий не заметили даже отсутствия девушки. Старикам и в голову не приходило, чтобы участь Гришки могла найти такое горячее сочувствие в сердце девушки; к тому же оба были слишком заняты разговором, чтобы уделить частицу внимания молодым людям. Не будь этого обстоятельства, оба, конечно, обратились бы к Ване – так бледно, так встревожено было в эту минуту лицо его. Но старики ровно ничего не замечали и продолжали вести свою беседу, которая мало-помалу снова перешла к главному предмету совещания и не замедлила принять прежний веселый характер.

На этот раз Ваня мало уже заботился о том, что говорил отец. Он думал свою думу, по-видимому, крепкую, горькую думу. Сношения Дуни с приемышем давно были ему известны; отчаяние, обнаруженное ею, ничего, следовательно, не раскрывало ему нового: как ни горько было ему отказаться от рыбаковой дочки, он успел, однако ж, давно свыкнуться с своей долей. Воля отца, решавшая отправить Гришку, весть об удалении его, со всеми последствиями для рыбаковой дочки – может статься, даже для приемыша – вот что возмущало душу молодого парня. Нет никакой возможности верно передать внутренние движения человека в минуты сильной тревоги: в эти минуты человек, говоря относи-

тельно, перестрадает и передумает более чем в целые годы тихого, невозмутимого существования. Скорь парня постепенно, казалось, сосредоточивалась и уходила в его душу. Молодое лицо, встревоженное горем, мало-помалу делалось покойнее; но, подобно озеру, утихающему после осенней бури, лицо Вани освещалось печальным, холодным светом; молодые черты его точно закалялись под влиянием какой-то непреклонной решимости, которая с каждой секундой все более и более созревала в глубине души его. Так сильно отдался он под конец своим мыслям, что, казалось, не заметил даже дочери рыбака, которая успела уже вернуться в избу, стояла и смотрела на него распухшими от слез глазами.

Он очнулся не прежде, как когда отец и дедушка Кондратий встали со своих мест.

– Ванька, чего голову-то скосил? Отряхнись, глупый! – сказал Глеб полушутливым-полунетерпеливым голосом. – Ну, посмотри, дядя, не глупый ли он, а? – подхватил рыбак, обращаясь к Кондратию и указывая ему головою на сына. – А ты еще хвалишь его. Ну, что в нем! Ей-богу, право! Мякина, как есть, мякина! Такие ли молодцы-то бывают!.. Ну, да ладно; вот вылечим мы его с тобою: авось тогда повеселее будет... Пойдем, дядя... что на него смотреть! Мякина!.. Пойдем на озеро, переговорим еще... а то и домой пора! – заключил Глеб, проходя с соседом в дверь и не замечая Дуни, которая стояла, притаившись за занавеской.

Как только шаги стариков замолкли на берегу озера, Ваня

приподнял голову, тряхнул кудрями, встал со скамьи, подошел к тому месту, где виднелось зеркальце, и отдернул занавеску.

Дуня сидела на краю постели; она уже не скрывала теперь своего горя перед молодым парнем. Закрыв лицо руками, она рыдала навзрыд, и слезы ее ручьями текли между судорожно сжатыми пальцами.

Лицо Вани казалось, напротив, совершенно спокойным, и только рука его, все еще державшая, вероятно в забытьи, занавеску, – только рука изменяла ему.

– Дуня, – сказал он почти твердым голосом, – не сокрушайся... полно!.. Не будет этого!.. Я... я говорил вам (тут голос его как будто слегка задрожал)... я говорил вам: я вам не помеха!.. Полно, не плачь... я ослобоню его!

Сказав это, он провел пальцами по глазам и отвернул голову.

Минуту спустя Ваня выходил из лачуги.

Когда он приблизился к берегу озера и взглянул на стариков, Глеб держал в левой руке правую руку дедушки Кондратия и, весело похлопывая ему в ладонь, приговаривал:

– Стало, тому и быть! Ладно заживем, когда так: два сапога – одна пара!

Немного погодя Глеб и сын его распрощались с дедушкой Кондратием и покинули озеро. Возвращение их совершилось таким же почти порядком, как самый приход; отец не переставал подтрунивать над сыном, или же, когда упор-

ное молчание последнего чересчур забирало досаду старика, он принимался бранить его, называл его мякиной, советовал ему отряхнуться, прибавляя к этому, что хуже будет, коли он сам примется отряхать его. Но сын все-таки не произносил слова. Так миновали они луга и переехали реку.

Было еще довольно светло, когда они достигли противоположного берега. Солнце давно уже село. Но весенний, прозрачный воздух долго сохраняет отблеск заката; сквозь сумерки, потоплявшие углубление высокого хребта, где располагались избы старого рыбака, можно было явственно различать предметы.

– Погляди, Ванюшка, вишь: никак, лошадь у ворот! – неожиданно произнес Глеб, выходя из челнока.

Ваня поднял голову.

У ворот действительно стояла оседланная лошадь.

– Ну, не чаял я, что так скоро! – проговорил Глеб, проводя ладонью по голове. – Я думал, Гришка на свадьбе на твоей попирует... Нет, не судьба, видно, ему!..

Первый предмет, поразивший старого рыбака, когда он вошел на двор, была жена его, сидевшая на ступеньках крыльца и рыдавшая во всю душу; подле нее сидели обе снохи, опустившие платки на лицо и качавшие головами. В дверях, прислонившись к косяку, стоял приемыш; бледность лица его проглядывала даже сквозь густые сумерки; в избе слышались голоса Петра и Василия и еще чей-то посторонний, вовсе незнакомый голос.

Глеб не ошибся. Лошадь точно принадлежала сотскому из становой квартиры, который приехал повестить о выдаче рекрута.

Часть третья

XVI

Сын рыбака

– Полно, говорю! Тут хлюпаньем ничего не возьмешь! Плакалась баба на торг, а торг про то и не ведает; да и ведать нет нужды! Словно и взаправду горе какое приключилось. Не навек расстаемся, господь милостив: доживем, назад вернется – как есть, настоящим человеком вернется; сами потом не нарадуемся... Ну, о чем плакать-то? Попривыкли! Знают и без тебя, попривыкли: не ты одна... Слава те господи! На-слал еще его к нам в дом... Жаль, жаль, а все не как своего!

Так говорил Глеб Савинов жене вскоре после отъезда сотского.

Разговор происходил между задними воротами и плетнем огорода, в известном проулке; тут, кроме старого рыбака и жены его, никого не было. Глеб после ужина, на котором присутствовал, между прочим, и сотский, приказал тотчас же всем ложиться спать, а сам, подмигнув украдкой жене, отправился с нею на совещание. На дворе царствовал совершеннейший мрак. Месяц, подымавшийся багровым шаром в отдаленном горизонте, не разливал почти никакого света: Глеб и Анна с трудом различали черты друг друга. Никто,

может статься, не смыкал глаз в клетушках и сенях, но со всем тем было так тихо, что муж и жена говорили шепотом; малейшая оплошность с их стороны, слово, произнесенное мало-мальски громко, легко могло возбудить подозрение домашних и направить их к задним воротам, чего никак не хотелось Глебу.

– Какой бы он там чужак ни был – все одно: нам обдирать его не след; я его не обижу! – продолжал Глеб. – Одно то, что сирота: ни отца, ни матери нету. И чужие люди, со стороны, так сирот уважают, а нам и подавно не приходится оставлять его. Снарядить надо как следует; христианским делом рассуждать надо, по совести, как следует! За что нам обижать его? Жил он у нас как родной, как родного и отпустим; все одно как своего бы отпустили, так, примерно, и его отпустим...

– И то, батюшка, я и сама так-то мерекаю... О-ох!.. Лепешечек напеку ему, сердечному... о-о-ох! – заботливо прошептала тетка Анна, утирая рукавом слезы и вздыхая в несколько приемов, как вздыхают обыкновенно бабы, которые долго и горько плакали.

– Вот нашла, что сказать: лепешки! Велика нужда ему в твоих лепешках! Закусил раз-другой – все одно что их и не было! Надо подумать о рубашках, а не о лепешках – вот что!

– Вестимо, без холста не отпущу его, касатика, – просто-на-ла тетка Анна.

– Холст сам по себе: пойдет на портянки³¹. Я говорю, примерно, о рубахах. Завтра день да послезавтра день – всего два дня остается! Не успеете вы обшить его как следует. Отдать ему Ванюшкины рубашки, которые залишние...

– Куды! Коротки будут! – заметила старуха с такою живостью, что муж принужден был шикнуть и поднять руку.

– А коротки, так возьмем у Васьки.

– А как же Вася-то? Ведь он также дома не остается: идет на заработки; самому нужны, – шепнула жена.

– Нет, Васька дома останется взамен Гришки. Отпущу я его на заработки! А самому небось батрака нанимать, нет, жирно будет! Они и без того денег почитай что не несут... Довольно и того, коли один Петрушка пойдет в «рыбацкие слободы»... Ну, да не об этом толк совсем! Пойдут, стало быть, Васькины рубахи; а я от себя целковика два приложу: дело ихнее – походное, понадобится – сапожишки купить либо другое что, в чем нужда встренется.

Как ни переполнено было сердце старушки, как ни заняты были мысли ее предстоящей разлукой с приемышем, к которому привыкла она почти как к родному детищу, но в эту минуту все ее чувства и мысли невольно уступили место удивлению: так поразила ее необыкновенная щедрость Глеба. Ободренная этим, она сказала:

– Вот, батюшка, надо также и образочек ему дать. Дам я ему, сердечному, вот тот, что в ризочке-то у нас...

³¹ Куски холста, которыми обматываются ноги вместо носков. (Прим. автора.)

– Что дело, то дело. Я, признаться, и сам о том думал, – перебил Глеб, – только что вот тот, который в ризе, давать незачем, можно простее сыскать. Главное дело, было бы ему наше родительское благословление...

Переговорив еще кой о чем касательно Гришки, рыбак заметил, что время спать идти.

– Ты обогни избу да пройди в те передние ворота, – при-
молвил он, – а я пока здесь обожду. Виду, смотри, не показывай, что здесь была, коли по случаю с кем-нибудь из ребят встренешься... Того и смотри прочуяли; на слуху того и смотри сидят, собаки!.. Ступай! Э-хе-хе, – промолвил старый рыбак, когда скрип калитки возвестил, что жена была уже на дворе. – Эх! Не все, видно, лещи да окуни, бывает так ину пору, что и песку с реки отведаешь!.. Жаль Гришку, добре жаль; озорлив был, плутоват, да больно ловок зато!

Глеб оглянул рассеянно небо, по которому величественно всплывал серебрившийся теперь месяц, перекрестился, вошел на двор и, закутавшись в овчину, улегся в свои сани под навесом. Хотя старик свыкся уже с мыслью о необходимости разлучиться рано или поздно с приемышем, тем не менее, однако ж, заснуть он долго не мог: большую часть ночи проворочался он с боку на бок и часто так сильно покрывал, что куры и голуби, приютившиеся на окраине дырявой лодки, почти над самой его головой, вздрагивали и поспешно высовывали голову из-под теплого крыла.

Но не подозревал старый Глеб, что через каких-нибудь

пять-шесть часов придется перенести испытание, перед которым настоящее его горе ровно ничего не будет значить. Не предвидел он, что ночь эта, проведенная в тревожном забытьи, будет сравнительно его последнею спокойною ночью!

Заря между тем, чуть-чуть занимавшаяся на горизонте, не предвещала ничего особенно печального: напротив того, небо, в котором начинали тухнуть звезды, было чистоты и ясности необыкновенной; слегка зарумяненное восходом, оно приветливо улыбалось и спешило, казалось, освободиться от туч, которые, как последние морщинки на повеселевшем челе, убегали к востоку длинными, постепенно бледнеющими полосками. Вся окрестность как словно раскрывала глаза и, приподымая освеженные росой ресницы, радостным взглядом встречала весеннее утро. Над лугами трещал уже жаворонок... Глеб, по обыкновению своему, проснулся вместе с жаворонками: нежиться да потягиваться не любил старик: он поспешно выскочил из саней, провел широкой ладонью по лицу и волосам, оглянул небо и перекрестился.

– Создал господь ведро... знатное утро! – сказал он, выходя за ворота и весело оглядывая Оку и дальний берег, только что озаренные первым лучом солнца.

Ему в голову не приходило, что это утро, так радостно улыбавшееся, упадет тяжелым камнем на его сердце и вечно будет жить в его памяти.

В самое это утро Петр и Василий должны были сообщить отцу о своих намерениях. Оба заранее приготовились встре-

тить грозу, которая неминуемо должна была разразиться над их головами. В то время, как отец спускался по площадке и осматривал свои лодки (первое неизменное дело, которым старый рыбак начинал свой трудовой день), сыновья его сидели, запершись в клетки, и переговаривали о предстоящем объяснении с родителем; перед ними стоял штоф. Петр, не мешая заметить, плохо что-то надеялся на брата: он знал, что Василий как раз «солжет» – оплошает перед отцом, если не придашь ему заблаговременно надлежащей смелости. Основываясь на этом, Петр накануне еще, когда возвращался из Сосновки, припас «закрепу»; по мнению старшего брата – мнению весьма основательному, – Василий без вина был то же, что вино без хмеля; тогда только и полагайся на него, когда куражу прихватит! Подливая брату, Петр, конечно, не пропускал случая «тешить собственную душу», как он сам выражался, и частенько-таки подносил штоф к губам. Он делал это вовсе не из надобности; вино было ему в охоту, как и всякому человеку, который давно уже хмелю зашибался. Он и без куражу не побоялся бы отцовского гнева. Он принадлежал к числу тех отчаянно загрубелых людей, которых ничем не проймешь: ни лаской, ни угрозой, – которые, если заберут что в башку, так хоть отсекай у них руки и ноги, а на своем поставят. Смелость Петра соответствовала его упрямству. Казалось даже, он с каким-то лихорадочным нетерпением ждал минуты, когда станет перед отцом лицом к лицу; цыганское лицо его, дышащее грубой энергией, выража-

ло досаду тогда лишь, когда встречалось с лицом Василия, в чертах которого все еще проступала время от времени какая-то неловкость. Смущение Василия благодаря предусмотрительности брата не замедлило, однако ж, исчезнуть. Оба пошли тогда в избу. Глеб не возвращался еще с реки; но все семейство, за исключением Вани, однако ж, которого никто не видел со вчерашнего вечера, находилось уже в избе. Никто, кроме жены Петра, не знал о намерениях двух братьев; всеобщее внимание занято было, следовательно, одним только Гришкой. В ожидании Глеба и завтрака все обступали с большим или меньшим участием приемыша, который сидел на скамье у окна и, повернувшись боком к присутствующим, прислонив голову к стене, глядел в землю. Наконец явился Глеб, и все сели завтракать.

Окинув зорким взглядом семейство, старый рыбак тотчас же заметил, что старшие сыновья его были навеселе. Как сказано выше, Глеб мало обращал внимания на возраст детей своих: он держал всех членов семейства без различия в ежовых рукавицах – потачки никому не давал. Тем менее следовало спустить Петру и Василию, что зоркий взгляд Глеба не раз уже в последнюю побывку встречал их в хмельном виде; отец давно собирался отжучить их порядком и отучить от баловства. Он вспылил тотчас же и осыпал их градом ругательств. Тем бы, может быть, и кончилось дело, если б они смолчали; но, разгоряченные вином, они отвечали – отвечали грубо и дерзко. Это обстоятельство мгновенно взорвало

старика: брови его выгнулись, голова гордо откинулась назад, губы задрожали. Но сыновья зашли уже слишком далеко: отступать было поздно; они встретили наглым, смелым взглядом грозный взгляд отца и в ответ на страшный удар, посланный в стол кулаком Глеба, приступили тотчас же, без обиняков, к своему объяснению... Но не станем описывать этой диконеобузданной сцены, из которой читатель ничего бы не вынес, кроме тягостного, неприятного чувства. Достаточно сказать, что бабы и дети опрометью кинулись вон и попрятались, кто куда мог; несколько минут пролежали они в своих прятках совершеннейшим пластом, ничего не видя, не слыша и не чувствуя, кроме того разве, что в ушах звенело, а зубы щелкали немилосерднейшим образом. Мало-помалу, однако ж, бабы наши стали приходить в себя; бледные лица их, как словно по условленному заранее знаку, выглянули в одно и то же время из разных углов двора. Но страшные крики, раздававшиеся в избе, – крики, среди которых как гром раздавался голос Глеба, заставляли баб поспешно прятать головы, наподобие того, как это делают испуганные черепахи. Шум и крики подымались все сильнее и сильнее; казалось со двора, как будто по полу избы каталось несколько пустых сороковых бочек. Но бабы, движимые любопытством, которое не оставляет человека в самые критические минуты, не переставали высовывать головы и прислушиваться. Так продолжалось до тех пор, пока шум не умолк и Глеб не появился на крылечке. Тут уж бабы исчезли окончательно.

но, залегли в самые темные углы своих прятков и замерли.

Глеб был в самом деле страшен в эту минуту: серые сухие кудри его ходили на макушке, как будто их раздувал ветер; зрачки его сверкали в налитых кровью белках; ноздри и побелевшие губы судорожно вздрагивали; высокий лоб и щеки старика были покрыты бледно-зелеными полосами; грудь его колыхалась из-под рубашки, как взволнованная река, разбивающая вешний лед. Ступеньки крылечка затряслись под его тяжелыми шагами. Очутившись на дворе, он остановился как бы для того, чтоб перевести дыхание, и вдруг быстро повернулся к двери крыльца, торжественно приподнял обе руки и произнес задыхающимся голосом:

– Не будет вам, непослушники, отцовского моего благослов...

Но тут он остановился; голос его как словно оборвался на последнем слове, и только сверкающие глаза, все еще устремленные на дверь, силились, казалось, досказать то, чего не решался выговорить язык. Он опустил сжатые кулаки, отступил шаг назад, быстрым взглядом окинул двор, снова остановил глаза на двери крыльца и вдруг вышел за ворота, как будто воздух тесного двора мешал ему дышать свободно.

Прелесть весеннего утра, невозмутимая тишина окрестности, пение птиц – все это, конечно, мало действовало на Глеба; со всем тем, благодаря, вероятно, ветерку, который пахнул ему в лицо и освежил разгоряченную его голову, грудь старика стала дышать свободнее; шаг его сделался

тверже, когда он начал спускаться по площадке.

Подойдя к лодкам, Глеб увидел Ваню. Тут только вспомнил старик, что его не было за завтраком.

– Где ты шлялся? – сурово спросил отец.

Он остановился и, повернувшись почти спиной к сыну, мрачно оглянул реку.

– Я здесь был все время, батюшка, – кротко отвечал сын.

– За какой надобностью? – сухо и как бы не думая, о чем говорит, перебил отец.

– Тебя ждал, батюшка...

Голос, которым произнесены были эти слова, прозвучал такую непривычную твердостью в ушах Глеба, что, несмотря на замешательство, в котором находились его чувства и мысли, он невольно обернулся и с удивлением посмотрел на сына.

Кроткий, спокойный вид парня совершенно обезоружил отца.

– Чего тебе? – спросил он отрывисто.

– Я хотел переговорить с тобой, батюшка, – начал Ваня, – хотел сказать тебе... ты только выслушай меня...

– Ну! – перебил Глеб с возраставшим удивлением.

Год без малого не мог он слова добиться от парня, и вот теперь тот сам к нему приступает.

– Выслушай меня, батюшка, – продолжал сын тем же увещательным, но твердым голосом, – слова мои, может стать-ся, батюшка, горькими тебе покажутся... Я, батюшка, во ве-

ки веков не посмел бы перед тобою слова сказать такого; да нужда, батюшка, заставила!..

– Как! – вскричал отец, сжимая кулаки и делая шаг вперед. – Стало, они и тебя подговорили! Стало, и тебе ни во что мое родительское проклятие!

– Нет, батюшка, никто меня не подговаривал, – возразил сын, не трогаясь с места, – родительское твое благословение мне пуще дорого; без него, батюшка, я и жить не хочу...

– Чего ж тебе? – спросил изумленный отец.

– Я, батюшка, пришел переговорить с тобою о Гришке... Батюшка! Что ты делаешь? Опомнись.

Глеб отступил шаг назад и опустил руки; старик не верил глазам и ушам своим.

– Зачем же ты тогда воспитал его? Затем ли поил, кормил, растил его, чтоб потом за нас, за сыновей твоих, ответ держал... Батюшка! Что ты хочешь делать? Опомнись. Ведь это выходит, батюшка, делами добрыми торговать! – продолжал сын, и лицо его при этом как словно озарилось каким-то необыкновенным светом, хотя осталось так же кротко и спокойно. – Не бери, батюшка, тяжкого греха на свою душу!.. Господь благословил нас, берег твой дом, дал тебе достаток... Сам ты сколько раз говорил об этом!.. Господь отступится от нас за такое дело! Достаток твой не будет тогда божьим благословением: все пойдет прахом – все назад возьмет! За то и берег он нас. Сам же ты говоришь, что жили по правде!

Глеб стоял как прикованный к земле и задумчиво смотрел под ноги; губы его были крепко сжаты, как у человека, в душе которого происходит сильная борьба. Слова сына, как крупные капли росы, потушили, казалось, огонь, за минуту еще разжигавший его ретивое сердце. Разлука с приемышем показалась ему почему-то в эту минуту тяжелее, чем когда-нибудь.

– Как же быть-то? Откуда ж нам взять за него!.. Я и сам, того, думал... Разве жеребий... промеж вами кинуть? – проговорил он наконец, как бы раздумывая сам с собою.

Мысль эта родилась, может быть, в голове старика при воспоминании о старших непокорных сыновьях.

– Нет, батюшка! Зачем бросать жеребий! – спокойно вымолвил парень. – Старшие братья женаты; уж лучше... так, без жеребья...

Глеб поднял голову.

– Очередь за нами, за твоими сыновьями, – продолжал Ваня все тем же невозмутимо твердым голосом, – старшие сыновья женаты... Что ж!.. Я и пойду, батюшка...

Старику не шутя представилось, что младший сын его рехнулся. Предшествовавшие слова молодого парня, его спокойный голос, а еще более спокойный вид убеждали, однако ж, старика в противном.

«Что ж бы такое значило? Уж не засорил ли парень дурью свою голову?.. погоди ж, я вот из тебя дурь-то вышибу!»

При этой мысли Глеб, которому шутить было не в охоту,

вспыхнул.

– Видишь ты это? – крикнул он, неожиданно выступая вперед и показывая сыну коренастый, узловатый кулак.

Но Ваня на волос не пошатнулся, не мигнул даже глазом.

– Я тебя проучу, как дурью-то забираться! – закричал отец, сурово изгибая свои брови. – Я выколочу из тебя дурью-то: так отдую, что ты у меня на этом месте трое суток проваляешься! – заключил он, все более и более разгорячаясь.

– Власть твоя, батюшка, – сказал с самым кротким, покорным видом парень, – бей меня – ты властен в этом! А только я от своего слова не отступлюсь.

При этом гнев окончательно завладел стариком: он ринулся со всех ног на сына, но, пораженный необычайным спокойствием, изображавшимся на лице Вани, остановился как вкопанный.

– Бей же меня, батюшка, бей! – сказал тогда сын, поспешно растегивая запонку рубашки и подставляя раскрытую, обнаженную грудь свою. – Бей; в этом ты властен! Легче мне снести твои побои, чем видеть тебя в тяжком грехе... Я, батюшка (тут голос его возвысился), не отступлюсь от своего слова, очередь за нами, за твоими сыновьями; я пойду за Гришку! Охотой иду! Слово мое крепко: не отступлюсь я от него... Разве убьешь меня... а до этого господь тебя не допустит.

Глеб остолбенел. Лицо его побагровело. Крупные капли пота выступили на лице его. Не мысль о рекрутстве поража-

ла старика: он, как мы видели, здраво, толково рассуждал об этом предмете, – мысль расстаться с Ваней, любимым детищем, наконец, неожиданность события потрясли старика. Так несбыточна казалась подобная мысль старому рыбаку, что он под конец махнул только рукой и сделал несколько шагов к реке; но Ваня тут же остановил его. Он высказал отцу с большею еще твердостью свою решимость.

Тогда между сыном и отцом началась одна из тех тягостно-раздирающих сцен, похожих на вынужденную борьбу страстно любящих друг друга противников. Глеб осыпал сына упреками, припоминал ему его детство: он ли не любил его, он ли не лелеял! Осыпал его затем угрозами, грозил ему побоями – ничто не помогало: как ни тяжело было сыну гневить преклонного отца, он стоял, однако ж, на своем. Видя, что ничто не помогало, Глеб решился прибегнуть к ласке и принялся увещевать сына со всею нежностью, какая только была ему доступна. Но и это ни к чему не послужило: сын остался тверд, и решимость его ни на волос не поколебалась. Тут только почувствовал Глеб, почувствовал первый раз в жизни, что крепкие, железные мышцы его как словно ослабли; первый раз осмыслил он старческие годы свои, первый раз понял, что силы уж не те стали, воля и мощь не те, что в прежние годы. Слишком много потрясений выдержали в этот день его стариковские нервы; на этот раз, казалось, горе раздавило его сердце.

– Ваня! – воскликнул старик, все еще не терявший надеж-

ды убедить сына. – Ваня! Вспомни! Тебя ли я не любил? Тебя ли не отличал я?.. Сызмалетства отличал я тебя от твоих братьев!.. Ты был моим любимцем, ненаглядным сыном моим! Ты моя надежда... И ты хочешь покинуть меня своей охотой, на старости лет покинуть хочешь! Старуху свою, мать покинуть хочешь!.. Ваня, вспомни... али ты этого не знаешь?.. Ведь и братья твои нас покидают... Что ж, как же, сиротами ты хочешь стариков оставить?.. Опомнись! Что ты делаешь?.. Ваня!..

– Батюшка!.. Батюшка! Перестань! Ты только мутишь меня! – твердил в то же время сын, напрягая все силы своего духа, чтобы не разразиться воплем. – Перестань!.. Бог милостив!.. Приду вовремя... Приду закрыть глаза твои... не навек прощаемся... Полно, батюшка! Не гневи господа бога! О чем ты сокрушаешься? Разве я худое дело какое делаю? Опомнись! Разве я в Сибирь за недоброе дело иду?.. Что ты?.. Опомнись! Иду я на службу на ратную... иду верой и правдой служить царю-государю нашему... Вишь: охотой иду, сам по себе... Полно, опомнись! Не сокрушайся, не мутить меня, батюшка... Лучше ты без меня останься, чем увижу я тяжкий грех на душе твоей родительской!..

– Ну, послушай... вот... вот что я скажу тебе, – подхватил отец, – кинем жеребий, Ваня!.. Ну так, хошь для виду кинем!.. Кому выпадет, пушай хоть тот знает по крайности, пушай знает... что ты за него пошел!

– Нет, батюшка! Зачем? – возразил сын, качая головою. –

Зачем?.. Ну, а как кому-нибудь из братьев вынется жеребий либо Гришке, ведь они век мучиться будут, что я за них иду!.. Господь с ними! Пушай себе живут, ничего не ведая, дело пушай уж лучше будет закрытое.

Последние слова сына, голос, каким были они произнесены, вырвали из отцовского сердца последнюю надежду и окончательно его сломали. Он закрыл руками лицо, сделал безнадежный жест и безотрадным взглядом окинул Оку, лодки, наконец, дом и площадку. Взгляд его остановился на жене... Первая мысль старушки, после того как прошел страх, была отыскать Ванюшу, который не пришел к завтраку.

– Ступай сюда! Ступай, старуха! – закричал Глеб, махая обеими руками.

Старушка, ковыляя, подошла к мужу и сыну.

– Вот, – сказал Глеб уже разбитым голосом, – вот, – продолжал он, указывая на сына, – послушай его... послушай, коли сердце твое крепко...

Испуганная мать бросилась к сыну. Тот опустил голову и молчал. Глеб в коротких, отрывистых словах передал жене намерение Вани.

– Батюшка! – закричала старуха. – Батюшка! Помилуй! – и как безумная повалилась она мужу в ноги.

– Его проси! – проговорил Глеб, захлебываясь от слез, хоть глаза его были сухи. – Его проси, старуха! – заключил он, указывая на Ваню.

– Ваня!.. Батюшка!.. Помилуй! – прокричала мать, бросаясь сыну в ноги.

Но Ваня не отвечал; он поддерживал мать и рыдал навзрыд, обливая ее лицо слезами.

Тут уже и самого старика слеза прошибла; он медленно подошел к жене, положил ей ширококую ладонь свою на голову и произнес прерывающимся голосом:

– Терпи, старая голова, в кости скована! – При этом он провел ладонью по глазам своим, тряхнул мокрыми пальцами по воздуху и, сказав: «Будь воля божья!», пошел быстрыми шагами по берегу все дальше и дальше.

Как только исчез он за выступом высокого берегового хребта, обе снохи и за ними мужья, Гришка и дети спустились с площадки и обступили старуху и Ваню.

Но сколько ни допрашивали они, сколько ни допытывались, ничего не могли узнать.

Старуха рыдала как безумная. Сын сидел подле матери, обняв ее руками, утирал слезы и молчал. Когда расспросы делались уже чересчур настойчивыми, Ваня обращал к присутствующим кроткое лицо свое и глядел на них так же спокойно, как будто ничего не произошло особенного.

Так простой русский человек совершает всегда великодушные поступки!

XVII

Проводы

Тусклый, серенький день. Свод неба как будто опустился, прилег в раздумье над молчаливой землей. Если б не теплота воздуха, не запах молодой, только что распутившейся зелени, можно было подумать, что весна неожиданно сменилась осенью. В начале весны часто встречаются такие дни. Они похожи на задумчивое, прекрасное лицо молодой девушки. Вся природа вдруг стихнет – стихнет, как резвый ребенок, выпущенный на волю, который, не надеясь на свои силы и не в меру отдавшись шумному, крикливому веселью, падает вдруг утомленный на траву и сладко засыпает... В такие дни вы звука не услышите. Все живущее как будто сдерживает дыхание, готовится к чему-то, снова собирается с силами к шумному празднеству лета. Стада безмолвствуют, как бы опьяненные крепким курением распускающихся растений, которое, за недостатком солнечных лучей, стелется над землею; животные припали к злачной траве, опустили головы или лениво бродят по окрестности. Птицы сонливо дремлют на ветках, проникнутых свежим, молодым соком; насекомые притаились под древесной корой или забились в тесные пласты моху, похожие в бесконечно уменьшенном виде на непроходимые сосновые леса; муха не прожужжит в воздухе; сам воздух боится, кажется, нарушить торжественную

тишину и не трогает ни одним стебельком, не подымает даже легкого пуха, оставленного на лугах молодыми, только что вылупившимися гусятами... Ничего не может быть поэтичнее таких дней! Тонкий, счастливо настроенный слух различает посреди этой мертвой тишины стройное, гармоническое пение... Неизъяснимо сладким чувством наполняется душа ваша. Но не восторженный экстаз, не грустное раздумье (в котором также есть своя прелесть) овладевают вами: нет! Кровь и мозг совершенно покойны: вы просто чувствуете себя почему-то счастливым; все существо ваше невольно сознает тогда возможность тихих, мирных наслаждений, скромной задушевной жизни с самим собою; жизни, которую вы так давно, так напрасно, может быть, искали в столицах, с их шумом, блеском и обольщениями, для вас тогда не существует: они кажутся такими маленькими, что вы даже их не замечаете... В такие минуты на сердце легко и свободно, как в первые лета счастливой юности; ни одно дурное помышление не придет в голову. Вы довольны сами собою, довольны своими чувствами, довольны своим одиночеством и благословляете провидение, которое дало вам возможность жить, дышать и чувствовать...

В такой именно день, рано утром, Ванюша прощался с своим семейством. Окрестность нарочно, казалось, приняла самый тусклый, серенький вид, чтобы возбудить в сердце молодого парня как можно меньше сожаления при расставанье с родимыми местами. Семейство рыбака стояло на дво-

ре; оно теперь немногочисленно (Петр, Василий, их жены и дети ушли накануне). Тут находятся всего-навсего: Глеб, его старуха, сын, приемыш и дедушка Кондратий, который пришел провожать Ванюшу. Мы застаем их в самую роковую, трудную минуту. Уже ворота, выходящие на площадку, отворены: уже дедушка Кондратий отнес в избу старую икону, которою родители благословили сына. Остается только сказать: «Пойдемте!..» Но старый Глеб все еще медлит. Гришка между тем простился уже с товарищем своей юности: он отошел немного поодаль; голова его опущена, брови нахмурены, но темные глаза, украдкой устремляющиеся то в одну сторону двора, то в другую, ясно показывают, что печальный вид принят им по необходимости, для случая, что сам он слабо разделяет семейную скорбь. Никто, впрочем, из присутствующих не думает в эту минуту о приемыше. Тетка Анна крепко охватила обеими руками шею возлюбленного детища; лицо старушки прижимается еще крепче к груди его; слабым замирающим голосом произносит она бессвязное прощальное причитание. Перед ними стоит Глеб; глаза его сухи, не произносит он ни жалоб, ни упреков, ни жестоких укорительных слов; но скрещенные на груди руки, опущенная голова, морщины, которых уже не перечесть теперь на высоком лбу, достаточно показывают, что душа старого рыбака переносит тяжкое испытание. Напрасно дедушка Кондратий, которого Глеб всегда уважал и слушал, напрасно старается он уговорить его, призывая на помощь душеспасительные

слова, – слова старичка теперь бессильны; они действуют на Глеба, как на полоумного человека: он слышит каждое слово дедушки, различает каждый звук его голоса, но не удерживает их в памяти. Глеб до сих пор не может еще собраться с мыслями: в эти три дня старик перенес столько горя! Поступки детей его изгладили из его памяти целые шестьдесят лет спокойной, безмятежной, можно даже сказать, счастливой жизни... Но сколько ни думай, сколько ни сокрушайся, ничего этим не возьмешь – время только проходит.

– Пойдемте! – говорит Глеб.

Дедушка Кондратий бережно разнимает тогда руки старушки, которая почти без памяти, без языка висит на шее сына; тетка Анна выплакала вместе с последними слезами последние свои силы. Ваня передает ее из рук на руки Кондратию, торопливо перекидывает за спину узелок с пожитками, крестится и, не подымая заплаканных глаз, спешит за отцом, который уже успел обогнуть избы.

Отчаянный, раздирающий крик, раздавшийся позади, приковывает на месте молодого парня.

– Ваня!.. Ваня!..

– Полно... матушка... не убивайся... бог милостив! – говорит он, обнимая старуху, которая как безумная охватила его руками.

Но увещевания тут напрасны! Дедушка Кондратий и Ваня, поддерживая Анну, продолжают путь.

Вот уже миновали огород, вот уже перешли ручей. Этот

ручей, свидетель младенческих лет, служит последним порогом родительского дома. Вот ступили уже на тропинку и стали подыматься в гору. Воспоминания теснятся в душе молодого парня, с каждым шагом вперед предстоит новая разлука... Как ни подкреплял себя молодой рыбак мыслью, что поступком своим освободил старика отца от неправого дела, освободил его от греха тяжкого, как ни тверда была в нем вера в провидение, со всем тем он не в силах удержать слез, которые сами собою текут по молодым щекам его... Тяжко ведь расставаться впервые с домом родительским; тут с сердцем уже не совладаешь: не слушает оно рассудка и не обольщается мечтами и надеждами.

Простолюдину еще труднее покинуть родимый кров, чем всякому другому человеку. Как бы ни убога была хижина бедняка, он привязан к ней всеми своими чувствами, всею душою. Привязанность образованного человека к материальным предметам, с которыми он свикся, привязанность к дому, к почве совершенно ничтожна сравнительно с привязанностью простолюдина к тем же предметам его привычки. Объясняется это очень легко: умственная, духовная жизнь, которая отрешает человека более или менее от грубого материализма, весьма ограничена у простолюдина. Живя почти исключительно материальной, плотской жизнью, простолюдин срастается, так сказать, с каждым предметом, его окружающим, с каждым бревном своей лачуги; он в ней родился, в ней прожил безвыходно свой век; ни одна мысль не

увлекала его за предел родной избы: напротив, все мысли его стремились к тому только, чтобы не покидать родного крова. Русский мужик – семьянин и домосед по преимуществу. Мне довелось раз видеть, как семейство пахаря, добровольно отправляясь в плодородные южные губернии, прощалось со своим полем – жалкими двумя десятинами глинистой, никуда почти не годной почвы. Я в жизнь не видал такого страшного прощания, таких горьких слез. Мать родная, прощаясь с любимыми детьми, не обнимает их так страстно, не целует их так горячо, как целовали мужички землю, кормившую их столько лет. Они оставляли, казалось, на этих двух нивах часть самих себя. Кусочки земли были защиты даже в ладанки грудных младенцев... Простолюдин покорен привычке: расставаясь с домом, он расстается со всем, что привязывало его к земле. Он жил в исключительной, ограниченной своей сфере; вне дома для него не существует интересов; он недоверчиво смотрит на мир, выходящий из предела его обыкновенных узких понятий. Покидая дом, он не подкрепляет себя, как мы, мечтами и надеждами: он положительно знает только то, что расстается с домом, расстается со всем, что привязывает его к жизни, и потому-то всеми своими чувствами, всею душою отдается своей скорби... Достигнув вершины высокого берегового хребта – вершины, с которой покойный дядя Аким боязливо спускался когда-то вместе с Гришкой к избам старого рыбака, Глеб остановился. Но не быстрая ходьба в гору утомила его: ему, напротив, хо-

телось бы пройти еще скорее, подняться еще выше. Страшная тяжесть висела на сердце старика; ему хотелось пройти теперь сто верст без одышки; авось-либо истома утомит назойливую тоску, которая гложет сердце. Когда Ваня и дедушка Кондратий, все еще поддерживавшие Анну, поднялись на гору, Глеб подошел к ним.

– Зачем вы привели ее сюда? – нетерпеливо сказал он. – Легче от этого не будет... Ну, старуха, полно тебе... Простись да ступай с богом. Лишние проводы – лишние слезы... Ну, прощайся!

– Прощай, матушка! – произнес сын и в первый раз не мог хорошенько совладать с собой, в первый раз зарыдал горько – зарыдал, как мальчик.

При этом старуха вдруг встрепенулась: забытье исчезло, силы воскресли. Откинув исхудалыми руками платок, покрывавший ей голову, она окинула безумным взглядом присутствующих, как бы все еще не сознавая хорошенько, о чем идет речь, и вдруг бросилась на сына и перекинула руки через его голову. Крик, сопровождавший это движение, надрезал как ножом сердца двух стариков. В лета дедушки Кондратия уже не плачут: слезы все выплаканы, давно уже высох и самый источник. Но Глеб мало еще ведал горя: он не осилил. Сколько Глеб ни крепился, сколько ни отворачивал голову, сколько ни хмурил брови, крупные капли слез своевольно брызгали из очей его и серебрили и без того уже поседевшую бороду. Он махнул рукою и еще скорее пошел впе-

ред. Ваня вырвался из объятий матери и побежал за ним, не переставая креститься.

– Ваня! Ваня!

Старуха бросилась было за сыном; но ноги ее ослабли. Она упала на колени и простерла вперед руки.

Ваня продолжал между тем следить за отцом. Раз только обернулся он; избушки, площадка, ручей, лодки, сети – все исчезло. Над краем горы, которая закрывала углубление берега, заменявшее ему целую родину, он увидел только белую голову дедушки Кондратия, склоненную над чем-то распростертым посреди дороги. За ними, дальше, в беспредельной глубине, увидел он дальнюю луговую местность. С этой высоты маленькое озеро дедушки Кондратия виднелось как на ладони. Белая подвижная точка как словно мелькала недалеко от зелени, окружавшей темною каймою озеро. Ваня как будто приостановился, но тотчас же отвернул голову, перекрестился и пошел еще скорее. Очувтившись в нескольких шагах от отца, он не выдержал и опять-таки обернулся назад; но на этот раз глаза молодого парня не встретили уже знакомых мест: все исчезло за горою, темный хребет которой упирался в тусклое, серое без просвета небо... Прощай, мать! Прощай, родина, детство, воспоминания, – все прощай!

Грустно!

На четвертый день после вышеописанной сцены Глеб возвратился домой. У ворот он встретился с женою, которая, за-

видя его одного, ударилась в слезы; но Глеб прошел мимо, не обратив на нее ни малейшего внимания. На дворе ему подвернулся Гришка; но он не взглянул даже на него. После тягостной сцены со старшими сыновьями, после разлуки с Ваней старого Глеба как словно ничто уже не занимало. Все это происходило утром. Во всю остальную часть дня, в обед, в ужин, старый рыбак ни разу не появился в избе. Отсутствие его заметила под конец и тетушка Анна. Старушка отправилась отыскивать мужа. Беспокойство еще хуже овладело ею, когда, обойдя клетушки и навесы, она не нашла Глеба. Наконец после долгих розысков увидела она его лежащего навзничь на груде старых вершей в самом темном, отдаленном углу двора. Голова старого рыбака и верхняя часть его туловища были плотно закутаны полушубком. Он не спал, однако ж. Старушка явственно слышала тяжелые вздохи, сопровождаемые именами Петра, Василия и Вани. Анна вернулась к избе, села на крылечко и снова заплакала. Так провела она всю ночь. На заре она снова подошла к мужу. Глеб лежал недвижно на своих вершах. Глухие, затаенные вздохи, сопровождаемые именами сыновей, по-прежнему раздавались под полушубком. Весь этот день прошел точно так же, как вчерашний. Глеб не показывался в избе, не пил, не ел и продолжал лежать на своих вершах. Тоска смертельная овладела тогда старушкой. Когда она увидела, что и на третий день точно так же не было никакой перемены с мужем, беспокойство ее превратилось в испуг: и без того уже так пу-

сто, так печально глядели навесы! Старушка вышла за ворота, отыскала глазами Гришку, который приколачивал что-то подле лодок, и пошла к нему.

– Гриша, что это, касатик, с нашим стариком прилучилось? – сказала она, заботливо качая головою. – Вот третий день ноне не ест, не пьет, сердечный.

– Стало быть, не в охоту, оттого и не ест! – отрывисто отвечал приемыш, не подымая головы.

– Ох-ох, нет, касатик, никогда с ним такого не бывало! – подхватила со вздохом старушка. – Лежит, не двинется, не пьет, не ест ничевохонько третьи сутки... Не прилучился бы грех какой.

– Ничаво небось! Полежит, полежит да встанет.

– Хорошо, кабы так-то!.. О-ох, боюсь, не разнемогся бы... помилуй бог!

– Небось его не скоро возьмешь! Здоров он, как вода! Что ему делается!

– Шутка, трое суток маковой росинки во рту не было! – продолжала старушка, которую всего более озадачивало это обстоятельство, служащее всегда в простонародье несомненным признаком какого-нибудь страшного недуга. – С той вот самой поры, как пришел... провожал нашего Ван...

Старушка не договорила: голос ее вдруг ослабел. Она как-то усиленно закрыла глаза и замотала головою. Сквозь распущенные веки ее, лишённые ресниц, показались слезы, которые тотчас же наполнили глубокие морщины ее исхудало-

го лица.

– Ох, ненаглядный ты мой... сокровище ты мое! Ванюшка! Где-то ты? – простонала Анна, тоскливо мотая головою. – А все ведь, Гриша... о-ох... все ведь как словно... все через тебя вышло такое...

– Да что ты, матушка, в самом-то деле, ко мне пристаешь с эвтим? – с дерзким нетерпением произнес приемыш. – Разве моя в чем вина? «Через тебя да через тебя!» Кабы я у вас не случился, так все одно было бы!

Старушка ничего не отвечала. Она положила голову на ладонь и, подавив вздох, медленно пошла к избам.

Ступив на двор, она прямехонько натолкнулась на Глеба.

Мужественное лицо старого рыбака было красно-багрового цвета, как будто он только что вышел из бани, где парился через меру. Черты его исчезали посреди опухлости, которая особенно резко проступала вокруг глаз, оттененных мрачно нависнувшими бровями. Старушка заметила с удивлением, что в эти три дня муж ее поседел совершенно.

Горе старушки уступило на минуту место беспокойству, которое пробудила в ней наружность мужа.

– Батюшка, Христос с тобою! На тебе ведь лица, касатик, нету! – воскликнула она, опуская руки. – Вот, почитай, третьи сутки не ел, не пил ничевохонько! Что мудреного! Уж не хвороба ль какая заела тебя? Помилуй бог! – продолжала она, между тем как муж мрачно глядел в совершенно противоположную сторону. – Ты бы на себя поглядел: весь распух,

лицо красное-красное... Должно быть, кровь добре привалила... О-ох, ты, батюшка, до греха, сходил бы в Сосновку – кровь кинул... Все бы маленько поотлегло... Сходи-ка с богом... право-ну!

Глеб провел ладонью по лицу, разгладил морщины и повернул голову к жене.

– Вот что, старуха, – произнес он твердым голосом и, по видимому, не обращая внимания на предшествовавшие слова жены, – нонче в Комареве ярмарка. Схожу – не навернется ли работник: без него нельзя. Погоревали, поплакали довольно, пора и за дело приниматься. Остаешься теперь одна в дому: пособить некому... Не до слез теперь... Одна за все про все... Поплакала, погоревала, ну и довольно! У меня, чтоб я теперь эвтих слез не видел... Слышишь?.. И без них невесело, – заключил рыбак, оглядывая двор, навесы и кой-какие рыбацкие принадлежности с таким хлопотливым видом, который ясно показывал, что скорбь отца начинала мало-помалу вытесняться заботами делового, толкового хозяина.

Глеб вошел в избу, посерчал на беспорядок, который невольно бросался в глаза, велел все прибрать до возвращения своего из Комарева и сел завтракать. Ел он, однако ж, неохотно, как словно даже понуждал себя, – обстоятельство, заставившее жену повторить ему совет касательно метания крови; но Глеб по-прежнему не обратил внимания на слова ее. После завтрака он вынул из сундучка, скрытого в камо-

ре, деньги, оделся, вышел на площадку, рассчитал по солнцу время, переехал Оку и бодро направился в Комарево.

XVIII

Комарево

Село Комарево по величине своей, красоте некоторых зданий и капиталам, находящимся в руках пяти-шести обывателей, было значительнее многих уездных городов. Оно принадлежало наследникам одного вельможи времен императрицы Екатерины II. Лет двадцать назад крестьяне, внесши за себя полмиллиона, откупились, как говорится. Полмиллиона, конечно, не безделица; но если взять в соображение средства, какими располагала вотчина, ее угодья и внутреннее богатство, комаревцы поступили не только расчетливо, но даже глубоко обдуманно. «Десяток мужиков равняется в общей сложности тончайшему аферисту-спекулятору и хитрейшему дипломату», — заметил кто-то весьма справедливо. Распространяться долго не к чему, потому что Комарево слегка прикасается к нашему рассказу. Скажем только, что пять-шесть его обывателей в продолжение последних двадцати лет нажили сотни тысяч целковых. Некоторые занимались сплавом леса в широких размерах; другие снимали верст на десять луга, которые к осени обставлялись нескончаемыми стогами сена, увозимыми потом в Москву на барках; третьи брали на свой пай озера и огромный участок бе-

рега, принадлежащий вотчине. Рыбный промысел в таком масштабе приносил большие выгоды. Четвертые, наконец, занимались ткачеством. В числе тысячи восьмисот душ были, конечно, бедняки – не без этого; но цифра их была весьма незначительна. Богачи занимали весь почти народ. Тысяча миткалевых станов неумолкаемо работали в Комареве. Красильня, прядильня, сушильня, набивная фабрика требовали немало рук. Лаптей в Комареве никто не носил. Зато там счету не было самоварам, сапогам, красным рубашкам и гармониям, которые, как известно, производятся по соседству, в Туле. Место было привольное, как вообще все села, расположенные поблизости больших, судоходных рек. Преимущество Комарева заключалось в том еще, что оно лежало на перепутье двух больших дорог: одна вела в Коломну, другая – в Москву. Каждый год в день приходского праздника (в Комареве были две каменные церкви) тут происходила ярмарка. Народ сходил из двадцати окрестных деревень. Но комаревцы резко отличались ото всех яркостью своих рубашек, медными гребешками, висевшими на поясах щеголей, синими кафтанами пожилых людей, штофными и шелковыми коротайками на заячьем меху, отливавшими всеми возможными золотистыми отливами на спинах баб. Гулливость и некоторое залихватство составляли не последнее свойство «комарников» – так величали в околотке жителей Комарева. Прозвище это взялось от комаров, которые благодаря еловым лесам, обступавшим с трех сторон Комарево, заедали

обывателей чуть не до смерти. Этой гулливости и залихватству столько же содействовал недостаток, сколько фабричная жизнь, располагающая, как известно, к шашням всякого рода, а также и баловству. В больших приречных селах, даже без фабрик и некоторого достатка, разгул принимает всегда широкие размеры; народ уже не тот: заметно более оживления, более удали, чем в деревнях, отдаленных от больших водных сообщений. И то сказать надо: было, впрочем, где и разгуляться в Комареве. При самом въезде в село, со стороны лугов, возвышалось двухсрубное бревенчатое здание с мезонином, которое всем было хорошо известно под именем «Расставанья»; но о кабаке мы будем говорить после. Скажем только, что село состояло из нескольких улиц, или порядков. Дома по большей части плотные, здоровые, крытые тесом. Мудреного нет: село упиралось задами в еловый лес, который синел на беспредельное пространство. Руби сколько хочешь. Общество – свой брат: смотрит на тебя сквозь пальцы; и дело! Сколько ни руби, всего ведь не вырубешь. Вишь его, куда раскинулся! И конца-краю не видно... Дома капиталистов бросались в глаза: то были неуклюжие двухэтажные каменные дома с железною, зеленою или серой кровлей, с воротами, украшенными каменными шарами, и палисадником, засеянным вплотную от фундамента до решетки королевскими свечами. Издали казалось – перед домом лежит исполинский медный, ярко вычищенный таз. Комаревские церкви (одна из них превосходнейшей архитектуры) стоя-

ли почти бок о бок и занимали середину села. Подле них возвышался когда-то великолепный барский дом, но теперь от него и следу не оставалось. На его месте торчали бесконечные ряды шестов, увешанных сушившеюся синею пряжей. За шестами раскидывался сад. Дорожки, разбитые когда-то в английском вкусе по рисунку знаменитого садового архитектора, давно уже заросли травой, которая, после того как срубили роскошные липовые и кленовые аллеи, пошла расти необыкновенно ходко, к великой радости обывателей, которым мало, видно, было лугов, чтобы кормить скотину. Спекулятивный дух комаревцев нашел выгодным засадить все пространство, занимаемое садом, яблонями и крыжовником. Часть отдавали внаем, часть шла для собственного употребления. Плетень, окружавший ту сторону сада, которая преимущественно отдавалась внаем, был заметно хуже загороди, обносившей участок, предназначавшийся обывателям. Двадцать лет тому назад дома располагались по сю сторону церкви. В настоящее время, как уже сказано выше, церкви и сад очутились посредине села, которое расползлось, как разбогатевший мещанин, упитавшийся чаем.

Представьте себе теперь посреди всего этого тысячи четыре разгулявшегося народа, который движется и кричит между рядами нескольких сотен подвод. Шум и пестрота нестерпимые! Глаз не соберешь, уши заложит! Комаревские ярмарки не имеют большого значения в торговом отношении. Народ достаточный, купеческий, запасливый: поэтому само-

му сюда привозится товар «ходовой», то есть такой, которого сбыт верен... Но нам нет никакой возможности продраться сквозь толпу и посмотреть, что именно заключается в возах. Остается одно средство – взмоститесь на ближайшую телегу или вскарабкаться на крышу: посреди темного моря голов резко бросаются в глаза желтые и ярко-пунцовые платки, охваченные солнцем. Бабы и девки сбиваются обыкновенно в кучки, принимающие издали вид островов, заросших пионами, маком и куриною слепотой. Из середины этих кучек высовывается или холстяной навес, держащийся криво и косо на кольях, или вертлявый, торопливый мужик, стоящий на возу. Товар сказывается сам собою: тут ничего не может быть, кроме орехов, стручков – словом, всего того, чем молодые бабы и девки любят зубки позабавить. В этих кучках шелкотня идет страшная – отсюда слышно – точно перекрестный огонь. Всего изумительнее искусство, с каким отплевывают они скорлупу, съевши ядрышко. Тут уж оборони бог ходить босиком или в тонких башмаках: как раз ногу напорешь! Пестрые платки вдруг перемежаются синими, зелеными и темными картузами фабричных. Картузы, словно по условному знаку, то поднимаются козырьками кверху, то книзу, и в то же время над толпою поднимается рука и взлетает на воздух грош: там идет орлянка; опять толпа, опять бабы. Пестроты меньше, однако ж, на платках. Ясно, что под ногами баб с темными, «вдовыми» платками возвышаются на рогоже коломенские чашки, ложки, всякая щепная по-

суда или же шелк, тесемки, набивной ситец, предметы деловые, солидные, разумеется на вид только. Русые головки девчонок и вскосмаченные головы ребят, мелькающие кой-где подле возов, обозначают присутствие офеней, явившихся на подводах; но оловянные сережки, запонки с фольгой, тавлинки со слюдою, крючки, нитки и иголки плохо идут в Комареве. «Вот не видали какой дряни!» – говорят, проходя мимо, фабричные бабы и девки, которые благодаря своей сговорчивости обвешаны коломенскими бусами, серьгами и запонками – даровыми приношениями волокит-мигачей. Промежутки между этими пестрыми, разнообразными кружками запружены мужскими шапками всех возможных видов, начиная с мохнатого треуха бедного мужика, который не сколотился еще купить летнюю покрывку, и кончая лоснящеюся шелковой шляпой с заломом и павлиньим пером щеголя. Все тискается, по-видимому, без цели и толку. Часто даже напирают для одной потехи; но говор, восклицания, замашистая песня, звуки гармонии, отчаянные крики баб, которых стискивают, не умолкают ни на минуту. Гул и движение страшные – ни дать ни взять торговая баня! Но тут все еще заметна некоторая пестрота. Пестрота исчезает только по мере приближения к «Расставанью»: там сплошь уже мелькают одни черные шапки. Заметно даже больше колебанья в толпе. Шапки редко высятся перпендикулярно – косятся по большей части на стороны; как какой-нибудь исполинский контрабас, ревуший в три смычка, – контрабас, у

которого поминутно лопаются струны, гудит народ, окружающий «Расставанье».

Так как кабак находился у входа в село, и притом с луговой стороны, Глеб Савинов должен был неминуемо пройти мимо. Поравнявшись с «Расставаньем», старый рыбак остановился. Он подумал основательно, что тут легче всего можно напасть на какого-нибудь батрака; батраки вообще народ гулливый. Продравшись сквозь толпу и отвесив несколько дюжих пинков, Глеб приблизился к зданию. Он поправил шапку и, прищулив глаза, которые невольно суживались и мигали посреди нестерпимого для слуха грома голосов, принялся оглядываться.

Подле него, возле ступенек крыльца и на самых ступеньках, располагалось несколько пьяных мужиков, которые сидели вкривь и вкось, иной даже лежал, но все держались за руки или обнимались; они не обращали внимания на то, что через них шагали, наступали им на ноги или же попросту валились на них: дружеские объятия встречали того, кто спотыкался и падал; они горланили что было моченьки, во сколько хватало духу какую-то раздирательную, нескладную песню и так страшно раскрывали рты, что видны были не только коренные зубы, но даже нёбо и маленький язычок, болтавшийся в горле. Хмельная ватага окружала Глеба с других трех сторон; все махали руками, говорили, кричали и пели вразлад.

«Ну, тут, видно, толку не доберешься!» – подумал Глеб.

Он уже хотел повернуться и пойти посмотреть на село, авось там не навернется ли какой-нибудь работник, когда на крыльце «Расставанья» показался целовальник. С ним вышли еще какие-то два молодых парня.

Необходимо здесь сказать два слова об этом целовальнике: он прикасается к рассказу. То был человек необыкновенно высокого роста, но худощавый как остов: широкие складки красной как кровь рубахи и синие широчайшие шаровары из крашенины болтались на его членах, как на шестах; бабьи коты, надетые на босые костлявые ноги, заменяли обувь. Чахлое существо это было насквозь проникнуто вялостью: его точно разварили в котле; бледное отекавшее лицо, мутные глаза, окруженные красными, распухнувшими веками, желтые прямые волосы, примазанные, как у девки; черты его были необыкновенно тонки и мягки; самое имя его отличалось необыкновенною мягкостью и вялостью; не то чтобы Агапит, Вафулий, Федул или Ерофей – нет! Его звали Герасимом.

Со всем тем этот безжизненный, меланхолический Герасим, который с трудом, казалось, нес бремя жизни, был негодяй первой руки, плут первостатейный – «темный» плут, как говорится в простонародье.

Под этой мертвенной личиной скрывался самый расторопный, пронырливый, деятельный человек изо всего деятельного, промышленного Комарева. Выходило всегда как-то, что он поспевал всюду, даром что едва передвигал своими котами; ни одно дело не обходилось без Герасима; хо-

тя сам он никогда не участвовал на мирских сходках, но все почему-то являлись к нему за советом, как словно никто не смел помимо него подать голоса. Большую половину села, несколько окрестных деревушек держал он в костлявых руках своих. Не было почти человека в околотке, который не нуждался бы в Герасиме, не имел с ним дела и не прибегнул к нему хоть раз в качестве униженного просителя. Он давал денег кому угодно, лишь бы приносили задаток, ценность которого должна была всегда втрое превышать ссуженную сумму; предмет задатка не останавливал сельского ростовщика: рожь, мука, полушубки, шапки, холст, рубахи, клячи, коровы, ободья – все было хорошо; срок платежа назначался всегда при свидетелях, в которых никогда не было недостатка под гостеприимною кровлею «Расставанья». Если в назначенный час не возвращалась сумма, задаток не возвращался: так уж положено было заранее. Иногда Герасим поступал следующим образом: мужичку понадобился целковый; Герасим брал с него полушубок и женин платок, давал ему на полтора целковых лык; мужик продавал лыки (на его волю предоставлялось сыскать покупателя), – продавал мужик лыки, положим, хоть за целковый, и покупал хлеба. Хлеб съеден – опять просьба к Герасиму, опять задаток. Под конец мужик оставался без хлеба и без кола на дворе. Никто, однако ж, не роптал и не злобствовал на Герасима: русский мужик редко ненавидит врага своего, когда враг этот сильнее его самого; робость, непобедимый страх заменяют нена-

висть. Целовальник всем внушал такое чувство: он никогда не возвышал голоса, говорил сонливо, нехотя, но его боялись и слушались самые отчаянные удалыцы. Кабак служил только фирмой: спекулятивная деятельность Герасима не знала пределов. Он торговал оптом, торговал по мелочам; у него можно было купить живую корову и четверть фунта коровьего масла, воз рыбы и горсть мерзлых пескарей на уху; деготь, сало, одежда, гвозди, соль, набивные платки, свечи, колеса – словом, все, что входит в состав крестьянского хозяйства, всем торговал Герасим. Из дрянного кабака преобразовалось постепенно что-то вроде трактира и харчевни; все сделки верст за пятнадцать в округности производились у Герасима за парюю «маюкончика». Сонливый, безжизненный Герасим не пропускал, однако ж, слова из того, что говорилось под кровлею «Расставанья», все мотал на ус и, зная, следовательно, в совершенстве все, что предполагалось или делалось в околотке, извлекал из этого свои выгоды. Прислугу «Расставанья» составляли жена целовальника и малый, сиротка без роду и племени, плечистый, рослый парень, но заика и полудиот. Этот малый и эта жена трепетали до мозга в костях, когда тусклый взгляд Герасима обращался в их сторону; в их покорности и повиновении было что-то непонятное. Никто не слышал, однако ж, чтобы Герасим когда-нибудь крикнул на жену и работника. Оба спали три часа в сутки, остальное время работали без устали, как ломовые загнанные клячи, и несли на спине своей тяжкую обузу ответственности.

Глеб Савиных, человек деловой, хозяйственный, трудолюбивый, никогда не имел дела с Герасимом; отношения их ограничивались шапочным знакомством. Рыбак нимало не сомневался, что целовальник – мошенник первой руки, но смотрел на него равнодушно.

«Не мое дело; меня только не тронь!» – рассуждал Глеб, как рассудил бы на его месте всякий положительный, установившийся деловой семьянин, не нуждавшийся в целовальнике.

Глеб подошел к крыльцу, думая расспросить, не застряли ли в кабаке какой-нибудь праздный батрак или не видали ли по крайней мере такого в Комареве на ярмарке. Вопрос рыбака столько обращался к Герасиму, сколько и к двум молодым ребятам, стоявшим на крыльце; они были знакомы Глебу: один был сын смедовского мельника, другой – племянник сосновского старосты.

– Мало ли было народа! Мы не отмечали, – неохотно промямлил Герасим, лениво приподымая свои красные веки.

Он вообще мало разговаривал, еще реже удостоивал он словом тех, кто в нем не имел нужды.

– Да зачем тебе работник, Глеб Савиных? У тебя своих много, – отозвался сын мельника.

– Об этом сокрушаться не твоя забота; коли спрашиваю, стало надо! – отвечал Глеб.

– Нет, кроме Захара, я никого не встречал, – начал мельник.

– Какой такой Захар? – перебил Глеб.

– Вот так уж был бы тебе работник, Глеб Савиныч! – подхватил племянник старосты. – Такого батрака во всем округе не достать! Он из Серпухова, также нанимался в батраках у рыбаков.

– Нет, – перебил мельник, – Захар не годится ему; не тот человек.

– Что так? Какого еще надо? Этот ли еще не работник! – сказал Старостин племянник. – Знаем мы, брат, за что ты невзлюбил его.

– А за что?

– Да за то же... Слышь, Захар отбил у него любовницу: вот он на него и сердает, – смеясь, сказал племянник.

– Федосьева-то Матрешка! Эка невидаль! – возразил молодцу мельник. – Нет. Глеб Савиныч, не слушай его. Захар этот, как перед богом, не по нраву тебе: такой-то шальной, запивака... и-и, знаю наперед, не потрафит... самый что ни на есть гулящий!..

– Это опять не твоя забота: хоша и пропил, да не твое, – отрывисто произнес Глеб, который смерть не любил наставлений и того менее советов и мнений молодого человека. – Укажи только, куда, примерно, пошел этот Захар, где его найти, а уж рассуждать, каков он есть, мое дело.

– Я его недавно видел подле медведя, на том конце села – должно быть, и теперь там!.. Медведя, вишь ты, привели сюда на ярмарку: так вот он там потешается... всех, вишь, по-

ит-угощает; третий раз за вином сюда бегал... такой-то любопытный. Да нет же, говорю, исчезни моя душа, не годится он тебе!..

– Тьфу ты, провалиться бы тебе стамши! – перебил старый рыбак с досадою. – Герасим, не знаешь ли ты, куда пошел этот, что они толкуют... Захаром, что ли, звать?..

– Не знаю! – сонливо ответил целовальник, поворачиваясь спиною к рыбаку.

– Пожалуй, коли хошь, пойдем вместе: я те проведу, – неожиданно проговорил мельник, – я и то собирался в ту сторону... Сам увидишь, коли не по-моему будет: не наймешь его, наперед говорю!

Сказав это, он уперся руками в головы мужиков, сидевших на крылечке; те продолжали себе распевать, – как ни в чем не бывало! – перескочил через них и, подойдя к старому рыбаку, вторично с ним поздоровался.

Нешуточное было дело пробраться до другого конца села; пинки, посылаемые Глебом и его товарищем, ни к чему не служили: кроме того, что сами они часто получали сдачу, усилия их действовали так же безуспешно, как будто приходилось пробираться не сквозь толпу, а сквозь стену туго набитых шерстью тюков. Старый рыбак и молодой мельник решились наконец достигнуть как-нибудь домов и продолжать путь, придерживаясь к стенкам. Попытка не увенчалась, однако ж, ожидаемым успехом; тут было хуже еще, чем посреди толпы: солнце, клонившееся к западу, било им прямо

хонько в глаза; ноги между тем поминутно натыкались на пьяных, которые лежали или сидели, подкатившись к самым завалинкам. Перед одним из этих пьяных, который лежал уже совершенно бесчувственным пластом, молодой мельник остановился.

– Эвона? Да это тот самый мужик, которого я утром встрел! – воскликнул он, указывая Глебу на пьяного. – Ведь вот, подумаешь, Глеб Савиныч, зачем его сюда притащило. Я его знаю: он к нам молотъ ездил; самый беднеющий мужик, сказывают, десятеро ребят! Пришел за десять верст да прямо в кабак, выпил сразу два штофа, тут и лег... Подсоби-ка поднять; хошь голову-то прислоним к завалинке, а то, пожалуй, в тесноте-то не увидят – раздавят... подсоби...

– Не замай его, – сурово возразил рыбак, – зачем пришел, то и найдет. Скотина – и та пригодна к делу, а этот кому нужен? Ни людям, ни своим; может статься, еще в тяготу семье... Оставь. Ступай! – заключил он, перешагнув через пьяного мужика, как через чужое бревно.

Кой-как добрались они, однако ж, до небольшой площадки: тут уже опять пошла теснота и давка; дорога поминутно перемежалась шумными ватагами, которые рвались вперед, увлекаемые каким-нибудь сорванцом, который, размахивая платком, вскидывался на воздух или расстилался перед толпою вприсядку.

– Погоди маленько, Глеб Савиныч: никак, здесь на кулачки бьются! – воскликнул молодой мельник, подымаясь на

носки и упираясь локтями в стену спин, неожиданно преградившую дорогу.

Глебу было вовсе не до зрелища; он пришел в Комарево за делом. Он не прочь был бы, может статься, поглядеть на удающую потеху, да только в другое время. Несмотря на советы, данные жене о том, что пора перестать тосковать и плакать, все помыслы старого рыбака неотвязчиво стремились за Ваней, и сердце его ныло ничуть не меньше, чем в день разлуки. Дело одно, необходимость восстановить хозяйственный порядок могли заглушить в нем на минуту скорбь и заставить его пойти в Комарево. Но делать было нечего: волей-неволей надобно было остановиться. Народ, привлекаемый кулачным боем, прижимал рыбака к тесному кружку, обступавшему бойцов. Высокий рост старого рыбака позволил ему различить на середине круга рыжего исполинского молодца с засученными по локоть рукавами, который стоял, выставив правую ногу вперед, и размахивал кулаками.

– Федька, батрак с Клишинской мельницы! – восторженно подсказал сын смедовского мельника, спутник Глеба.

– Выходи! – кричал Федька, поворачивая во все стороны лицо свое, такое же красное, как волосы, и обводя присутствующих мутными, пьяными глазами.

Никто, однако ж, не решался «выходить»; из говора толпы можно было узнать, что Федька уложил уже лоском целый десяток противников; кого угодил под «сусалы» либо под «микитки», кого под «хряшки в бока», кому «из носу клюк-

венный квас пустил»³² – смел был добре на руку. Никто не решался подступиться. Присутствующие начинали уже переглядываться, как вдруг за толпой, окружавшей бойца, раздались неожиданно пронзительные женские крики:

– Батюшки, касатики! Не пушайте его, батюшки! Держите! Одурел совсем, старый! Никандрыч, Никандрыч!.. Держите, касатики! Не пушайте его драться!..

Крики бабы усиливались: видно было, что ее не пропустили, а, напротив, давали дорогу тому, кого она старалась удержать. Наконец из толпы показался маленький, сухопарый пьяненький мужичок с широкою лысиною и вострым носом, светившимся, как фонарь. Он решительно выходил из себя: болтал без толку худенькими руками, мигал глазами и топал ногами, которые, мимоходом сказать, и без того никак не держались на одном месте.

– Батюшки, не пушайте его! Родимые, не пушайте!.. Ох, касатики! – кричала баба, тщетно продираясь сквозь толпу, которая хохотала.

– Выходи!.. Вы-хо-ди!.. – хрипел между тем лысый Никандрыч, снимая с каким-то отчаянным азартом кафтанишко.

– Вытряси из него, Федька, из старого дурака-то, вино. Что он хорохорится! – сказал кто-то.

Федька тряхнул рыжими волосами и вполглаза посмотрел на противника.

– Что ж ты, выходи! – продолжал кричать Никандрыч,

³² Термины кулачных бойцов. (Прим. автора.)

ростно размахивая руками.

– Ой, не подходи близко, лысина! – промычал Федька.

– Ах ты, шитая рожа, вязаный нос! Ах ты! – воскликнул Никандрыч и вдруг ринулся на бойца.

Тот дал легкого туза. Никандрыч завертелся турманом, толпа захохотала, расступилась и дала дорогу бабе, которая влетела в кружок и завыла над распростертым Никандрычем.

– Поделом ему, дураку: не суйся!

– Молодые дерутся – тешатся, старые дерутся – бесятся.

– У празднества не живет без дуровства! – заметил другой рассудительным тоном.

– Хорошо чужую бороду драть, только и своей не жалеть.

– Вишь, одурел старый хрыч: куда лезет!

Но все эти разговоры, смешанные с хохотом и воплями бабы, не доходили уже до Глеба: он и товарищ его пробрались дальше.

Вскоре различили они посреди гама, криков и песней плаксивые звуки скрипки, которая наигрывала камаринскую с какими-то особенными вариациями; дребезжащие звуки гармонии и барабана вторили скрипке.

– Слышь, Глеб Савиныч, это у медведя! – воскликнул мельник, подергивая плечами и притопывая сапогами под такт удалой камаринской. – Пойдем скорее: там и Захарку увидишь; да только, право же, напрасно, ей-богу, напрасно: не по тебе... чтоб мне провалиться, коли не так.

Но Глеб его не слушал: немного погодя он уже пробирал-

ся сквозь тесную стену народа, за которой раздавалась камаринская.

На одном конце довольно просторного круга, составленного из баб, ребят, девок, мужиков и мещан всякого рода, лежал врастяжку бурый медведь: подле него стоял вожак – кривой татарин с грязною ермолкою на бритой голове. Перекинув через голову цепь, конец которой прикреплялся к кольцу, продетому в губу зверя, прислонив к плечу дубину, вожак выбивал дробь на лубочном барабане. Товарищ его, «kozyлятник», то есть тот, который пляшет с козою, также из татар, пиликал между тем на самодельной скрипке самодельным смычком. Каждая черта его рябого лица была, казалось, привязана невидными нитками к концу смычка; то брови его быстро приподымались, как бы испуганные отчаянным визгом инструмента, то опускались, и за ними опускалось все лицо. Когда смычок, шмыгнув по баскам, начинал вдруг выделять вариации, рысьи глазки татарина шурились, лицо принимало такое выражение, как будто в ухо ему залез комар, и вдруг приподымались брови, снова раскрывались глаза, готовые, по-видимому, на этот раз совсем выскочить из головы. Оба товарища были сильно навеселе; несколько пустых штофов лежало на траве, подле мешка, скрывавшего козу.³³

³³ Автору очень хорошо известно, что мусульманам запрещено вино; к сожалению, ему также хорошо известно, что мусульмане, по крайней мере живущие в Казанской и Нижегородской губерниях, напиваются ничуть не хуже других народов. (*Прим. автора.*)

Тут находились еще четыре человека, также сильно покрасневшиеся: то были фабричные ребята. Один из них наигрывал на гармони, другие били в ладоши, топали ногами и, подергивая в такт плечами, пели, как дробью пересыпали:

Ах ты, милый друг, камаринский мужик!

Ты зачем, зачем по улице бежишь?

Он бежит, бежит, повертывает!

Да-а-и всего его подергивает!

Ах-ти-ти-ти, калинка моя!

Да в саду ягода малинка моя!

Замашистая, разгульная камаринская подергивала даже тех, кто находился в числе зрителей; она действовала даже на седых стариков, которые, шествуя спокойно подле жен, начинали вдруг притопывать сапогами и переводить локтями. О толпе, окружавшей певцов, и говорить нечего: она вся была в движении, пронзительный свист, хлопанье в ладоши, восторженные восклицания: «Ходи, Яша!», «Молодца!», «Катай!», «Ох, люблю!», «Знай наших!» – сопровождали каждый удар смычка.

Под ускоренный такт всей этой сумятицы в середине круга плясал какой-то чахлый человек в жилете, надетом на рубашку. Изнеможение проглядывало в каждой черте его лица, в каждом члене его чахоточного тела; ноги его ходили, как мочала, пот ручьями катил по зеленоватому, болезненному лицу. Но глаза его сверкали необыкновенным блес-

ком, как у камчадала, напившегося настоем из мухомора. Он, казалось, заплясывался до смерти; иной раз он как будто останавливался, но восклицание: «Ходи, Яша! Молодца! Ай да Яша!» – и звуки камаринской, подхваченные еще живее, снова приводили его в какое-то исступленное состояние, и он снова принимался семенить ногами, приговаривая: «Что ты? Что ты? Что ты?..» В порывах восторга он перекувыркивался и даже ударял себя в голову.

– Ах ты, господи! Вот поди ж ты, о сию пору все еще пляшет! – воскликнул молодой мельник, указывая Глебу на Яшу. – Где еще было солнце, когда я сюда приходил, он и тогда все плясал!.. Диковинное дело!

– Ну, а Захар-то где ж? – спросил Глеб, оглядывая толпу.

– И то; должно быть, ушел, – заговорил мельник, просовывая вперед голову.

– За вином побежал! – сказал, смеясь, близстоявший человек, похожий с виду на приказчика. – Думает, Герасим в долг поверит... Не на таковского напал! Видно, что внове у нас в Комареве...

– А то разве заплатить за вино нечем? – спросил мельник.

– Весь, как есть, профуфырился! – отвечал приказчик, ослабляя желтые, как янтарь, зубы. – И бог весть что такое случилось: вдруг закурил! Как только что попал в круг к бабам, так и заходил весь... Татар этих поить зачал, поит всех, баб это, девок угощать зачал, песельников созвал... ведь уж никак шестой штоф купил; за последние два полушубок в ка-

баке оставил, и то не угомонился! Опять за вином побежал!

– Захар! Захарка! Захар! – раздалось неожиданно вокруг.

– Сторонись! – закричал кто-то в толпе.

И вместе с этим восклицанием подле Яши, который все еще плясал под звуки неумолкаемой камаринской, показался Захар.

Глеб увидел короткого, но плечистого, приземистого парня – то, что называют обыкновенно в народе «усилком». Мельники, хозяева пристаней, зажиточные ремесленные мещане и богатые домохозяева из мужиков, нуждающиеся в батраках, дают всегда большую цену таким усилкам, для которых поднять плечом подводу или взвалить на спину восьмипудовый мешок с мукой – сущая шаль. Молодцы эти, с красивым лицом, как у Захара, не знают счета своим победам; это – сельские ловласы. Орлиный нос Захара, белокурые намасленные волосы, пробранные с заметным тщанием и зачесанные в скобку, залихватские приемы, обозначавшие страшную самоуверенность, ситцевая розовая рубашка с пестрыми ластовицами и оторочкою (он никогда не носил других рубаш) – все это, вместе взятое, покоряло с первого взгляда самое несговорчивое, ретивое сердце. Смелость, наглость и бесстыдство составляют, как известно, неминуемые отличительные свойства ловласов вообще; природа щедро снабдила ими Захара; в его серых глазах, равно как и во всей наружности, было что-то ястребиное, невообразимо нахальное. Хмель, бродивший в голове его, высказы-

вал еще резче эти качества. Весь этот кутеж, затеянный Захаром, песельники, музыканты, угощение, стоившие ему последних денег и даже полушубка, вызваны были не столько внутренней потребностью разгуляться, расходиться, свойственной весельчаку и гуляке, сколько из желания хвастнуть перед незнакомыми людьми, пофинтить перед бабами и заставить говорить о себе – цель, к которой ревностно стремятся не только столичные франты, но и сельские, ибо в деревнях существуют также своего рода львы-франты и денди. Но о Захаре мы будем еще иметь случай распространяться.

Глеб остался очень доволен своими наблюдениями, хотя молодой мельник, не отрывавший глаз от старого рыбака, ничего не встретил на лице его, кроме нахмуренных бровей и сурового раздумья. В мнении простолюдина физическая сила считается не последним достоинством человека, и с этой стороны Захар совершенно удовлетворял Глеба, с другой – хмель и расположение к кутежу сильно не нравились Глебу: старик, как уже знают, не любил баловства. Он рассудил, однако ж, что у себя в доме не даст Захару времени баловать: а наконец, если батрак сильно задурит, можно согнать его, приислав к тому времени другого. Главное в том, что в настоящую минуту работник необходим; пора стоит самая рабочая, рыбная, – народу нет в доме: надо выгадать пропущенное время.

Возвращение Захара с пустыми руками произвело невыгодное впечатление. Перед отправлением своим Захар хоро-

хорился невероятным образом, клялся и божился, что «подденет» Герасима, сорвет с него два штофа «говоруна» и «самопляса», как называл он вино, – и возвратился ни с чем. Слава его на минуту поколебалась: музыканты тотчас же замолкли; сам Яша перестал семенить ногами и вдруг исчез. Весельчаки и балагуры, которые давно еще подтрунивали втихомолку над Захаром, разразились теперь громким хохотом. Остроты посыпались на его голову.

– Что, аль без денег-то не верит?

– Он ведь это так только прикидывается: у него денег-то куры не клюют!

– Эй, ребята, нет ли гривен шести – молодцу душу отвести?

– Нет, должно быть, у молодца только и золотца, что пуговка оловца!

– Прогорел! – кричит другой.

– Чему обрадовались? Чего зубы-то скалите! – воскликнул Захар сиплым голосом, надорвавшимся от крика, вина и одышки. – Эх вы, шушера! – продолжал он, молодцуя перед бабами. – Вам только подноси, а сами жидоморничаете! Никто косушки не выставил! А еще богачами слывут: фабричные! купцы! Туда же! Эх, вы!

– Отчаянная башка... Вишь, Глеб Савиныч, ведь я тебе говорил: не для тебя совсем человек – самый что ни на есть гулящий, – шепнул сын смедовского мельника, не знавший, вероятно, что чем больше будет он отговаривать старого ры-

бака, тем сильнее тот станет упрячиться, тем скорее пойдет наперекор.

Так и случилось. Вместо ответа Глеб припер плечом впереди стоявшего соседа и протискался в первый ряд круга.

– Что ж вы, ребята, аль взаправду штофа жаль? – продолжал между тем Захар, уперши кулаки в бока и расхаживая по кругу. – А еще комаревцы, в славе, говорите, по всему округу! Эх вы, комарники! Да ну же, ребята, выходи; полно вам срамиться перед девками – надо распотешить красавиц! Вишь, и музыка наша стала! Только что начали было разгуливаться... Что ж вы?.. Эх, разбейся штоф, пролейся вино, пропадай моя беда! Дряни вы все, жидоморы! Где вам! – подхватил Захар, разгорячаясь. – Эй, выходи, у кого есть деньги, бери с меня что хошь! В работники нанимаюсь! В кабалу иду!..

– Зачем в кабалу! Можно и так: почем наемка? – отрывисто проговорил Глеб.

Мужики, которые стояли возле Глеба, толкали его и ругались, тотчас же посторонились. Внимание присутствующих мгновенно обратилось на старого рыбака.

– Что, аль денег хочешь дать? – живо воскликнул Захар, подходя к рыбаку.

– Почем наемка? – повторил Глеб рассудительно-деловым тоном.

– Что тут долго толковать! Давай только!.. Сойдемся опосля!.. За себя постоим!.. Ну, борода, раскошеливайся! –

воскликнул Захар, хлопнув по плечу старого рыбака.

Но Глеб, не любивший панибратства, отдернул руку, отступил на шаг и сказал не совсем ласково:

– Добре, очень прыток – вот что! Молодцу с бабами, а со мной говори толком...

– Да ты кто таков? – нетерпеливо спросил Захар, озадаченный несколько строгим тоном и еще более строгою седою наружностью собеседника.

– Мы из здешних рыбаков.

– Сдалече?

– Нет, с той стороны, верст шесть отселева.

– И того не будет! – заговорило неожиданно несколько голосов. – Верст пяток... вот как есть против Комарева, как луга пройдешь... Мы его знаем... из рыбаков... Глебом Савиновым звать... из здешних... мы его знаем!

Даже те, которые впервые видели Глеба, повторяли за толпою:

– Точно, недалече... мы его знаем... точно... человек здешний.

– Вот, примерно, слышан я, что ты в работники нанимаешься, – продолжал Глеб, – какая же твоя цена?.. Мы по-денно не нанимаем: берем по месяцам.

– Ты сколько даешь? – спросил Захар.

Глеб, несмотря на грусть, тяготившую его сердце, рассудил весьма основательно, что в настоящую разгульную минуту Захару не до счетов: были бы деньги. Он положил вос-

пользоваться случаем и дать не восемь целковых – средняя плата батракам (двугривенный в день), – но несколько меньше; основываясь на этом, он сказал решительно:

– Пять целковых.

– Эх, была не была!.. Да нет! Мало... Слышь, пять целковых! – спохватился Захар.

– Вестимо... какие это деньги!.. Знамо, мало... тридцать ден!.. Цена не по времени... – заговорили в толпе.

– Хошь, так хошь, а не хошь, так как хошь! – проговорил Глеб, сурово нахмуривая брови.

– Семь целковых!

Но Глеб уперся, стоял на своем и повторял:

– Пять!

– Ну, давай! – воскликнул Захар, подходя к рыбаку.

– Пять целковых?

– Ладно, давай только! – подхватил Захар, обшаривая ястребиными своими глазами руки и карманы старика.

– Нет, погоди, брат, – спокойно возразил Глеб, – ладно по-твоему, а по-моему, не совсем так.

– Чего ж тебе еще?

– Пашпорт давай; я тебе деньги, а ты мне пашпорт.

– Это зачем?

– А затем, что вернее дело будет: у тебя мои деньги – у меня твой пашпорт: я тебя не знаю, ты меня также... всяк за себя... у меня не пропадет небось! А то этак, пожалуй, деньги-то дашь, а там ищи на тебе... Надо настоящим делом

рассуждать.

– Вестимо, так! А то как же?.. Без этого никак нельзя!.. Всяк себя оберегает!.. – снова заговорили в толпе, и, что всего замечательнее, заговорили те самые, которые за минуту перед тем стояли на стороне Захара.

– Эх, народ чудной какой! Право слово! – произнес Захар, посмеиваясь, чтобы скрыть свою неловкость. – Что станешь делать? Будь по-вашему, пошла ваша битка в кон! Вынимай деньги; сейчас сбегая за пачпортом!.. Ну, ребята, что ж вы стали? Качай! – подхватил он, поворачиваясь к музыкантам. – Будет чем опохмелиться... Знай наших! Захарка гуляет! – заключил он, выбираясь из круга, подмигивая и подталкивая баб, которые смеялись.

Рябой татарин запиликал на скрипке, товарищ его забарабанил; запищала гармония. Хор подхватил камаринскую, и снова пошла шелкотня, присвистыванье и восклицания. Глеб между тем рассчитывал на ладони деньги; толпа тесно окружала его; все смотрели на его пальцы, как будто ожидали от него какого-нибудь необычайного фокуса. Захар не замедлил вернуться с паспортом. Всеобщее внимание мгновенно перешло тогда от рук старого рыбака к развернутой бумаге; грамотные с необычайной готовностью, наперерыв принялись читать бумагу. Когда не осталось сомнений в том, что вид действительно принадлежал Захару, Глеб вручил ему деньги, сложил паспорт и, положив его за пазуху, сказал:

– Вот теперь ладно! Смотри, только не запаздывай: при-

ходи завтра чем свет; я пошлю парня с челноком... А не будешь, за прогул вычту.

Затем Глеб повернулся спиной к Захару, который, махая в воздухе рукою с деньгами, кричал:

– Захарка гуляет! Наша взяла! Качай, ребята!.. Эх вы, любушки-голубушки!

Глеб выбрался из толпы. Сын смедовского мельника не отставал от него ни на шаг; но Глеб слушал его еще менее, чем прежде.

Болтливость собеседника сильно, однако ж, докучала Глебу; старик, без сомнения, не замедлил бы отправить его к нечистому – он уже раскрыл рот с этой целью, как вдруг мельник воскликнул:

– Яша! Никак, и то он! Эк его, как накатился!.. Глеб Савиныч, посмотри-кась... Яша, ей!..

Глеб поднял голову.

Перед ним колыхалась из стороны в сторону, словно на палубе во время качки, тощая взбудораженная фигура в ситцевом жилете – та самая, что заплясывалась чуть не до смерти перед медведем. Фигура делала невероятные усилия, чтобы подойти к ним, но никак не могла достигнуть желаемой цели: центр тяжести был, очевидно, утрачен. Перегнувшись вперед всем корпусом, Яша перебегал с невероятною быстротою несколько шагов и вдруг останавливался, гордо выпрямлялся, с чувством достоинства закидывал голову, бормотал что-то вздутыми губами, секунды три балансировал на

одной ногое, снова клевался вперед головою, которая увлекала его, как паровая машина на всем ходу, и снова пробежал несколько шагов.

– Что такое?.. Что такое?.. Что такое?.. – бессвязно лепетал Яша, случайно наталкиваясь на мельника.

– Эк его!.. Смотри, кувырнешься... Вишь, как захмелел! – смеясь, проговорил мельник, прикладывая обе руки к тощей груди Яши.

– Что такое?.. Что такое?.. – пролепетал Яша, неожиданно наклеываясь на Глеба.

– А то же, что спать ложись! – сурово сказал рыбак, отталкивая пьянчужку. – Один молвит – пьян, другой молвит – пьян, а третий молвит – спать ложись! Вот что! – заключил он, поспешно пробираясь в толпу и оставляя мельника, который бросился подымать Яшу, окончательно уже потерявшего центр тяжести.

Как сказано выше, одна только необходимость, одна забота о батраке и восстановлении хозяйственного порядка могли заглушить на минуту скорбь, таившуюся в сердце старика. Порешив дело и освободившись таким образом от сторонних забот, Глеб снова отдался весь отцовскому чувству и снова обратил все свои мысли к возлюбленному сыну. Он не заметил, как выбрался из села и очутился в лугах.

Солнце только что село за нагорным береговым хребтом, который синел в отдалении. Румяное небо было чистоты и ясности необыкновенной. Окрестная тишина возмущалась

только нестройным гамом гулявшего народа. Но Глеб, казалось, совсем уж забыл о Комареве. Шум и возгласы народа напоминали старику шум и возгласы другой толпы, которая, быть может, в это самое время покидала уездный город, куда три дня тому назад отвел он Ванюшу.

Он мысленно следовал за этой толпою, мысленно обнимал и благословлял сына, и каждый шаг, отдалявший Ваню от родимого дома, вызывал горячую напутственную молитву из сокрушенного сердца старого Глеба.

XIX

Захар. Последствия

На другой день до восхода солнца Глеб приказал приемышу отвязать челнок и съездить на луговой берег за работником.

Старик, казалось, мало уже заботился о том, что Гришка будет находиться в таком близком соседстве с озером дедушки Кондратия; такая мысль не могла даже прийти ему в голову: после происшествия со старшими, непокорными сыновьями, после разлуки с Ванюшей мысли старого Глеба как словно окутались темным, мрачным облаком, которое заслоняло от него мелочи повседневной жизни. Вся забота его в настоящем случае состояла, по-видимому, в том только, чтобы малый не прозевал как-нибудь Захара и привез его как можно скорее домой.

Тихое весеннее утро давно уже наступило, и солнце, подобрав росистую алмазную скатерть, покрывавшую луга, катило высоко в ясном небе, когда приемыш вернулся к площадке.

Глеб стоял в это время на берегу; увидев Гришку одного, старик нахмурил брови и сделал нетерпеливое движение.

– Должно быть, не будет, – сказал парень, бросая весло на песок и причаливая челнок к большой лодке.

– Полно, так ли? – вымолвил рыбак, устремляя недоверчивые глаза на приемыша и потом машинально, как словно по привычке, перенося их в ту сторону, где располагалось маленькое озеро. – Коли не приходил, мое будет дело; ну, а коли был, да ты просмотрел, заместо того чтобы ждать его, как я наказывал, рыскал где ни на есть по берегу – тогда что?

– Провалиться мне на этом месте, когда я... – начал было Гришка, выказывая плохо затаенную досаду.

– Ладно, ладно! Завтра все окажется, – перебил старик, медленно поворачиваясь к нему спиною и направляясь к разложенным на песке вершам. – Отвязывай посудину и бери весла. До обеда надо десятка два вершей закинуть; с неводом вдвоем не управимся. Чтой-то за народ такой неверный, ей-богу, право! – ворчал старик. – Посулил нонче прийти – нет; как словно слова своего человек не имеет... Ну да ладно: за прогул возьму с него – будет помнить!.. Завтра, слышь, Гришка, чем свет, в ту же пору, как нонче ездил, опять съездишь за батраком!..

Во все продолжение этого дня Глеб был сумрачен, хотя работал за четверых; ни разу не обратился он к приемышу. Он не то чтобы сердился на парня, – сердиться пока еще было не за что, – но смотрел на него с видом тайного, невольного упрека, который доказывал присутствие такого чувства в душе старого рыбака.

Согласно наставлению, полученному накануне, Гришка проснулся на следующее утро вместе с первыми петухами. Заря чуть-чуть окрашивала край горизонта, когда он был уже на другом берегу и, покачиваясь в челноке, посматривал в ту сторону дальних лугов, где находилось Комарево. В движениях и взглядах молодого парня заметно было какое-то нетерпение, смешанное с любопытством: он то становился на ноги и прищуривал глаза, то поворачивал челнок, который поминутно прибывало к берегу течением реки, то ложился на палубу и приводил черные, лукавые глаза свои в уровень с луговой плоскостью.

Подвижная природа Гришки не уживалась с тишиною и одиночеством. Страшная скука, испытанная им в эти последние пять дней, пробуждала в нем лихорадочное желание погулять, размахнуться, забыть хоть на время сумрачного старика, ворчавшего с утра до вечера и не перестававшего браниться. В эти пять дней он неоднократно урывался, однако ж, на маленькое озеро; но свидания с дочкой рыбака – свидания, которые ограничивались одними разговорами, клятвами и уверениями, начинали с некоторых пор прискучивать

молодому парню. Пылкие, но грубые натуры любят нетерпеливо: долгое сопротивление охлаждает их; страсть их заключается большею частью в воображении; она не бывает прямым, но бессознательным следствием одной только молодости. Живая природа приемыша находила с недавнего времени почти также мало удовлетворения на площадке рыбака Глеба, как и на озере дедушки Кондратия. В нем пробуждались какие-то неопределенные, но тем не менее беспокойные желания. Он не мог дать себе отчета, к чему стремились эти желания; но ясно было, что они не имели ничего общего с тихим, однообразным существованием, которое выпало ему на долю. Он тяготился домом и домашними; ему хотелось урваться куда-нибудь, хотя сам не знал он, куда пойдет и зачем. Эти неясные порывы, это лихорадочное раздражение кипучей юности заставляли его желать какой-нибудь перемены, какого-нибудь переворота посреди домашней скуки; желание это было так сильно, так настойчиво, что даже появление нового лица, которого ждали в семействе рыбака, возбуждало в Гришке тайную радость.

На этот раз Захар не заставил себя так долго дожидаться.

Минут десять спустя после восхода солнца Гришка явственно различил движущуюся точку на комаревской дороге. Он поспешно вскочил на ноги и принялся махать шапкой. Точка заметно меж тем приближалась, и вместе с этим до слуха приемыша стали долетать звуки песни. Вскоре фигура Захара обрисовалась на дороге. Гришка не мог еще рас-

смотреть черты незнакомца, но ясно уже различал розовую рубашку, пестрый жилет с светящимися на солнце пуговками и синие широчайшие шаровары; ему невольно бросились в глаза босые ноги незнакомца и пышный стеганный картуз, какой носят обыкновенно фабричные. Выступая шаг за шагом по траве и нимало не торопясь, будущий батрак тянул тоненьким, дребезжащим дискантом песню, подыгрывая на гармонии. Таким образом Захар подошел к берегу.

– Захаром тебя звать? – спросил Гришка, устремляя на незнакомца тот жадно-любопытный взгляд, каким встречаются обыкновенно человека, осужденного жить с вами под одною и тою же кровлей.

– От рыбака, что ли? – небрежно произнес Захар вместо ответа.

– От него: прислал за тобою.

– Причаливай лодку! – вымолвил Захар, едва удостоивая взглядом собеседника.

Он расположился на палубе и, подпершись локтем, закричал: «Отчаливай!» таким резким тоном, который скорее мог принадлежать купеческому сыну, совершающему водяную прогулку для потехи, и притом на собственные свои деньги, чем бобылю-работнику, отправляющемуся по скудному найму к хозяину. Как только челнок покинул берег, Захар вынул из кармана шаровар коротенькую трубку с медной оковкой и ситцевый кисет; из кисета появились, в свою очередь, серый, скомканный табачный картуз из бумаги, несколько пу-

говиц, медный гребешок и фосфорные спички, перемешанные с каким-то неопределенным сором.

– Что глаза выпучил? Трубки, что ли, не видал? – полунасмешливо произнес Захар, обращая впервые соколиные глаза свои на собеседника, который с какой-то особенною хвастливою лихостию работал веслами.

– Как не видеть! Хоша сам не пробовал, что за трубка за такая, а видал не одна, – возразил словоохотливо Гришка, продолжая грести. – У нас, вестимо, в диковинку: никто этим не занимается; знамо, занятно!.. У тебя и табак-то, как видно, другой: не тем дымом пахнет; у нас коли курит кто, так все больше вот эти корешки... Я чай, и это те же корешки, только ты чего-нибудь подмешиваешь?..

– Да, много видал ты таких корешков!

– А то что же?

– Мериканский настоящий, Мусатова фабрики, – отвечал не без значения Захар и отплюнул при этом на сажень, производя губами шипение, похожее на фырканье осердившейся кошки.

Последовало молчание.

– Что ж ты вчера не приходил? – начал опять Гришка. – Я прождал тебя, почитай, целое утро, да и старик тоже... Уж он ругал тебя, ругал.

Захар прищурил глаза, поглядел на собеседника, пустил струю дыма, плюнул и небрежно отвернулся.

– Я, говорит, с него за прогул, говорит, возьму, – подхва-

тил приемыш.

– Эка важность! Мы и сами счет знаем, – сказал Захар тоном глубочайшего равнодушия. – Велик больно форс берет на себя – вот что! Да нет, со мной немного накуражится!

Гришка засмеялся.

– Чего ты? – спросил Захар.

– То-то, думаю, не худо ему наскочить на зубастого: такой-то бедовый, и боже упаси! Так тебя и крутит...

– Стало, ты ему не родня? – перебил Захар.

– Нет, я им чужой, – сухо отвечал Гришка.

– В наймах живешь?

– Нет, из одежды... из хлеба, – с явным принуждением проговорил Гришка.

– Ну, что, каков хозяин? – спросил Захар далеко уже не с тем пренебрежением, какое обнаруживал за минуту; голос его и самые взгляды сделались как будто снисходительнее. Всякий работник, мало-мальски недовольный своим положением, с радостью встречает в семействе своего хозяина лицо постороннее и также недовольное. Свой брат, следовательно! А свой своего разумеет; к тому же две головы нигде не сироты.

– А вот погоди, – отвечал, посмеиваясь, приемыш, – сам увидишь; коли хороших не видал, авось, может статься, и понравится.

– Что ж, собака?

– Собака! – отвечал Гришка, молодежато тряхнув воло-

сами, но тут же проворно оглянулся назад.

Захар засмеялся.

– Ну, должно быть, задал же он тебе страху, – сказал он.

– А что?

– Слово скажешь, да оглянешься! «Такой, сякой», а сам все туда, на берег, посматриваешь...

– Вот! Я нешто из страха? – хвастливо вымолвил Гришка. – Того и гляди просмотришь пристань: отнесет быстроною... Что мне его бояться? Я ему чужой – власти никакой не имеет... Маленько что, я и сам маху не дам!

Не зная Глеба и отношений его к домашним, можно было в самом деле подумать, взглянув в эту минуту на Гришку, что он в грош не ставил старика и на волос его не боялся; молодецкая выходка приемыша показывала в нем желание занять выгодное место в мнении нового товарища. Даже щеки его разгорелись: так усердно добивался он этой цели.

– Вон, никак, старик-ат идет нам навстречу; давно, знать, не видались! – сказал Захар.

С именем Глеба приемыш невольно выпрямился и принялся работать веслами не в пример деятельнее прежнего. Захар, с своей стороны, также изменил почему-то свою величественную позу: он опустил ноги в отверстие челнока, поправил картуз и стал укладывать в кiset табак и трубку.

– Какое у тебя все приглядное, как посмотрю, – сказал Гришка, понижая голос, – вишь, мешочек-то, куда табак кладешь, словно у купца; а что, дорого дал?

– Кисет-то! – отвечал Захар, небрежно запрятывая его в карман. – Нет, дешево обошлось: подарили... Мы мало что покупаем, у нас есть приятели...

Голос Глеба, который кричал Гришке грести одним правым веслом, послышался в ту минуту на площадке. Захар и Гришка переглянулись и замолчали.

Пять минут спустя челнок приставал к берегу.

– Давно бы, кажись, время здесь быть; не много рук – посылать за тобой! – отрывисто сказал Глеб.

– Здорово, хозяин, – начал было с развязностию Захар, но старик перебил его:

– Знамо, здорово... Не о том речь, не тот, примерно, наш разговор был – вот что! Сказывал, на другой день придешь; а где он, тот день-то?.. Парня нарочно посылал; прождал все утро; время только напрасно прошло...

Глеб покосился на Гришку; но тотчас же отвел глаза, когда Захар произнес:

– Как быть... маненько того... подгулял...

– То-то подгулял! Завалился спать – забыл встать! Я эвтаго не люблю, – подхватил старик, между тем как работник запрятывал под мышку гармонию, – я до эвтих до гулянок не больно охоч... Там как знаешь – дело твое, а только, по уговору по нашему, я за день за этот с тебя вычту – сколько, примерно, принадлежит получить за один день, столько и вычту... У меня, коли жить хочешь, вести себя крепко, дело делай – вот что! Чтоб я, примерно, эвтаго баловства и не

видел больше.

С самого начала этого объяснения Гришка не отрывал глаз от Захара: он смотрел на него с каким-то живым, отчасти даже подобострастным, полным ожидания любопытством. Так смотрит мальчик на воина в полном вооружении; так неопытный юноша, в душе которого таятся, однако ж, гибельные семена мотовства, неудовлетворенных страстей и разврата, смотрит на современного ловласа; так, наконец, другой юноша, пылкий, но непорочный, смотрит на великого артиста или художника и вообще на всякого человека, выходящего из ряда обыкновенных людей. Невзирая на присутствие Глеба, невидя на недовольное, сумрачное расположение старика, Гришка не мог скрыть радости, которую пробуждало в нем новое знакомство; он бился изо всей мочи, чтобы подвернуться как-нибудь на глаза Захару и снова поменяться с ним одним из тех лестных взглядов взаимного соучастия, каким поменялись они, заслышав на берегу голос Глеба. Мысль сойтись, сдружиться с Захаром не давала покоя приемышу.

К сожалению, во все продолжение утра не довелось ему перемолвить с ним слова. Глеб тотчас же усадил нового ба-трака за дело. Нетерпеливый, заботливый старик, желая убедиться скорее в степени силы и способностей Захара, заставил его, по обыкновению своему, переделать кучу самых разнообразных работ и во все время не спускал с него зорких, проницательных глаз.

Здесь нам необходимо остановиться: следует короче ознакомить читателя с личностью Захара – личностью, которая, к сожалению, заметно начинает распространяться в простонародье вместе с размножением фабрик. Не лишним будет сказать прежде всего несколько слов о том, что такое фабричная жизнь и какие элементы вносит она в крестьянское семейство: этим способом мы сделаем половину дела. Нет сомнения, что развитие промышленности сильнейшим образом способствует развитию материального благосостояния народа. При всем том надо согласиться, однако ж, что, достигая материального благосостояния посредством «фабричной» какой-нибудь промышленности, простолюдин неминуемо утрачивает безукоризненную простоту нравов. Не следует заключать, чтобы избыток средств был тому виною; совсем напротив; первый шаг к усовершенствованию человека есть улучшение его физического состояния; бедность – как всем, полагаю, известно – самый худой руководитель. Лишние средства позволяют крестьянину обзавестись как следует хозяйством; он обстраивается, живет чище, ровнее, хозяйственнее и вследствие всего этого невольным образом привязывается к дому, потому что есть тогда к чему привязаться, есть что беречь и о чем думать. Нравственное чувство нимало от этого не страдает. Я хотел сказать только, что к упадку нравственности поселянина нередко способствует жизнь фабричная. Приокские уезды, посреди которых происходит действие нашего романа, превратились в

последние десять лет в миткалевые фабрики; в этих же самых уездах существуют также, хотя изредка, деревушки, жители которых благодаря сносной почве занимаются хлебопашеством: мы можем, следовательно, свободно наблюдать над мужиком-фабричным, променявшим соху на челнок, ниву – на стан, и мужиком-пахарем, который остался верен земле-кормилице.

Первое впечатление при въезде в пахотную деревню будет, если хотите, не совсем выгодно: тут не увидите вы ситцевых рубашек, самоваров, синих кафтанов, не увидите гармоний и смазных сапог; но все это, в сущности, одна только пустая внешность, которая может обмануть поверхностный, далеко не наблюдательный глаз. Взамен всего этого пахотная деревушка, подобно плоской, однообразной ниве чернозема, засеянной свежим, неиспорченным зерном, сохраняет под скромною наружностью самые добрые семена. Тут только найдете вы ту простую, бесхитростную жизнь, тот истинно здравый житейский смысл, который заключается в безусловной покорности и полном примирении со скромной долей, определенной провидением; тут видна домашняя, семейная жизнь, которая для всякого человека – и тем более для простолюдина – служит залогом истинного счастья. В фабричных деревнях почти нет семейной жизни: здесь дети восьмилетнего возраста поступают уже на фабрику к какому-нибудь московскому или коломенскому купцу. Иногда фабрика находится в пятидесяти верстах от деревни. Мальчики и

девчонки (на фабрику поступают дети обоого пола) по целым месяцам не бывают дома. Вырастая, таким образом, без родительского надзора, который в нравственном смысле так много значит, дети эти живут какими-то приемышами. Народ, их окружающий, состоит большею частию из людей избалованных; в дурных примерах, конечно, нет недостатка. К шестнадцатилетнему возрасту – в то время как в пахотной деревне сверстники в состоянии уже заменить отца в поле и в делах хозяйственных – фабричный парень умеет только щелкать челноком. Все это куда бы еще ни шло, если бы челнок приносил существенную пользу дому и поддерживал семейство; но дело в том, что в промежуток десяти-двенадцати лет парень успел отвыкнуть от родной избы; он остается равнодушным к интересам своего семейства; увлекаемый дурным сообществом, он скорей употребит заработанные деньги на бражничество; другая часть денег уходит на волокитство, которое сильнейшим образом развито на фабриках благодаря ежеминутному столкновению парней с женщинами и девками, взрослыми точно так же под влиянием дурных примеров. Если б фабричные составляли особое сословие, совершенно отдельное от других сословий простонародья, – дело иное; но ткач, в сущности, все тот же хлебопашественный крестьянин. Рано ли, поздно ли, он возвращается к дому; стан служит только временным вспомогательным средством. Сами крестьяне очень хорошо знают, что владеть челноком – не значит еще иметь за плечами прочное ремесло. Возвраща-

таясь домой, фабричный парень оказывается ни на что не годным: отстал он от сохи, отстал от земли; он не мещанин, не хлебопашец. У него нет даже охоты к занятиям пахаря. Сидя с утра до вечера за станом в теплой избе, он, естественным образом, должен был крепко облениться; мало-мальски тяжелая работа не по нутру ему, да и не по силам. Пятидесятилетний старик, прошедший жизнь на поле, здоровее, крепче тридцатилетнего фабричного парня. Но как бы там ни было, парень этот поступает в дом; первым делом его следует, без сомнения, женитьба. Как сказано выше, в фабричных деревнях дети обоего пола проводят юность свою на фабриках; хочешь не хочешь, выбирай в жены фабричную девку; такая женщина поминутно должна сталкиваться с прежними товарками и знакомцами; муж, с своей стороны, встречается с товарищами по фабрике и старыми знакомками. Начинаются, с одной стороны, гулянки, с другой – попойки, а в общем выходит беспорядочная жизнь, которая неминуемо ведет к расстройству дома.

Захара можно было назвать дитею, питомцем фабрики.

С семи лет до восемнадцати просидел он безвыходно за миткалевым станом.

Вызванный около этого времени в дом к родному дяде, он точно так же оказался никуда не годным. Он тогда еще успел прославиться кой-какими проделками. Проделки заключались большею частию в более или менее удачных волокитствах, но требовали уже вмешательства станового. Дядя

дя Захара был человек строгий, кредитный. Не имея детей и рассчитывая в будущем на племянника, он взял его в руки; но так как это ни к чему не послужило, старик решил женить его, основываясь на том, что авось-либо тогда образумится парень. Неподалеку находилась мельница. Мельник, имея, может статься, в виду капитал соседа, охотно отдал дочь свою за племянника. Первые два-три месяца все шло хорошо; но по прошествии этого срока Захар принялся за прежнее рукомерло: свел знакомство с прежними товарищами, завел шашни.

Дядя принялся сначала усовещевать племянника, потом рассердился не на шутку; но Захар объявил наотрез, что всего бы этого не было, если б он не считал себя обиженным дядею. Причина обиды заключалась в том будто бы, что дядя держал его в доме как простого работника – не давал ему ни в чем распоряжаться. Старик, конечно, не поддался на такую штуку. Захар принялся тогда кутить сильнее прежнего. Обнадеживая себя, что рано или поздно завладеет достоянием дяди, он не обращал внимания на его угрозы. Племянник ошибся, однако ж, в расчете. Дядя умер, не оставив ему чем голодную собаку из-под стола выманить: все пошло, по обещанию, на построение божьего храма. Захар перешел тогда с женою к тестю. Мельник, давно уже раскусивший своего зятя, принял его не совсем ласково. Здесь повторилось то же самое, что было в доме дяди. Захар кутил напропалую, обижался ролью простого работника, требовал распоряже-

ния в хозяйстве. Неудовольствие тестя обнаружилось в полной мере, когда он стал замечать, что зять для исполнения своих прихотей его обкрадывает: раз-другой поймали Захара на базаре с мукой, которую оттягивал он ночью из-под жернова во время помолу. Наконец, по смерти дочери, которая скончалась столько же с горя, сколько от дурного обращения мужа, мельник выгнал Захара из дому.

Захар снова пошел по фабрикам. Уживался он, однако ж, недолго на одном и том же месте. Житье у дяди и потом у мельника значительно его обленило. Кроме того, и нрав его несколько изменился: мысль, что дядя его был не простой какой-нибудь лапотник, а зажиточный мещанин, что сам он мог бы владеть значительным капиталом, если б только захотел, – все это развило в нем какую-то забавную самонадеянность. Он считал себя чем-то особенным посреди своего круга, даже с какою-то гордостью смотрел на товарищей. Хозяева фабрик и особенно хозяйские сынки охотно поддерживали в нем такое чувство. Захар отлично пел русские песни, и потому-то без него не обходилась ни одна попойка; но Захар не довольствовался угощением и ассигнациями, которыми благодарили его за песни: он тотчас же брал на себя какой-то «форс», тотчас же зазнавался, начинал распоряжаться на фабрике, заводил ссоры и драки с работниками – словом, тотчас же ставил себя на одну ногу с хозяевами. Захар немало также занят был своею наружностью. Такая самоуверенность основывалась на бесчисленных победах, одержан-

ных им над прекрасным полом; но эти-то самые успехи и были причиной его бродячей жизни. Его гоняли отовсюду, потому что, куда только ни попадал он, нигде не обходилось без истории. Но высокое понятие о своих физических и даже умственных достоинствах получил Захар особенно после одного происшествия, случившегося за год до поступления его в дом Глеба. Вот как это было: у одного помещика происходило празднество, устроенное в национальном вкусе. Множество гостей съехалось в рощу, куда наперед приглашены были окрестные мужики и бабы. Праздник начался угощением. Затем местные Милоны Кротонские показывали свою силу, бабы водили хороводы, молодые ребята влезали на мачту. Господа между тем дарили платки, серьги, бросали ребятам орехи и пряники. По окончании всех этих увеселений кто-то из помещиков сказал, что для пополнения празднества недостает какого-нибудь отличного простонародного певца. По его мнению, певца следовало непременно запрятать в глубину рощи и заставить его спеть национальную песню. Эффект был бы тогда самый полный. Хозяин жадно ухватился за такую мысль. Начались расспросы. Узнали о каком-то Захаре, который жил тогда в четырех верстах на фабрике. Послать за Захаром нарочного было делом одной секунды. Его привезли, обещали ему денег и спрятали в рощу. С первой же песней Захара осыпали рукоплесканиями. Общество захотело его видеть. Его заставили петь уже не в лесу, а перед палаткой. Раздались новые «браво!». Мужчины трепали певца по

плечу, кричали: «Молодец! Превосходно!», дамы говорили: «Charmant! Dulicieux! Mais il est superbe! Mais comme il est beau!»³⁴ Все эти поощрения и особенно похвалы дам, смысл которых понят был Захаром как нельзя лучше, приняты были им с чувством необычайного самодовольствия, но вместе с тем и достоинства, так что, когда один небогатый помещик опустил мелкую монету в картуз певца – картуз, в котором находились уже ассигнации, Захар подмигнул ему левым глазом. Другому помещику, поступившему точно так же, он сказал: «Только-то?» Наконец, когда помещик, подавший мысль о певце, подошел к нему и посоветовал ему, чуть не со слезами на глазах, не пренебрегать таким превосходным голосом, упражняться в пении и учиться, Захар отвечал с наглой самоуверенностью: «Мне учиться? Да я, сударь, сам еще поучу кого угодно!» С этого самого происшествия Захар окончательно уже «возмечтал» о своих достоинствах и о своем значении. Стал он с тех пор еще реже уживаться почему-то у хозяев.

Таким образом, перебивал он на всех почти фабриках трех губерний – жил на сахарном заводе, жил у рыбаков. Слоняясь, как киргиз, с места на место, попал он случайно в Комарево и, как мы видели, нанялся к Глебу.

Гришка и Захар очутились на свободе только после обеда, когда старый рыбак улегся, по обыкновению своему, в сани под навесом.

³⁴ Прелестно! Восхитительно! Он великолепен! А как он красив! (*франц.*)

– Ну, уж денек! Подлинно в кабалу пошел! Точно бес какой пихал тогда, – говорил Захар, спускаясь по площадке, куда последовал за ним и приемыш. – А что, мальй... как тебя по имени? Гриша, что ли?.. Что, братец ты мой, всегда у вас такая работа?

– Это что! Такая ли у нас работа!.. Ты бы поглядел, что бывает в полную воду:дохнуть не даст, инда плечи наест! – с живостью подхватил приемыш, говоривший все это, частию чтобы подделаться под образ мыслей Захара, частию потому, что, сохраняя в душе тайное неудовольствие против настоящей своей жизни, радовался случаю высказать наконец открыто, свободно свое мнение. – Ему теперь не до работы: добре с сыновьями не поладил, как словно все о них скучает, – продолжал Гришка. – Вот маленько пооправится, тогда-то ты на него погляди! Другого такого, кажись, нет на всем свете! Мало-мальски что не так, не по его выйдет, лучше и на глаза не показывайся... И не уймешь никак: за пять верст тебя видит – даром, не в ту сторону смотрит... Особливо как придет это рыбное время: беда! Нет тебе покою ни днем, ни ночью. Да вот погоди, поживешь с нами до осени, сам увидишь...

– Вряд дождаться! – небрежно подхватил Захар. – Маленечко в голове шумело, «через эсто» больше пошел... Нешто в Комареве мало фабрик! Намедни и то звали...

– Тебе бы остаться: фабричная-то жизнь, знамо, лучше нашей! – с живостию поддакнул Гришка.

– А ты каким манером знаешь? Разве был на фабриках?

– Быть не бывал, а слышать слышал. Говорят, супротив фабричной-то жизни никакая не угодит...

– Надо полагать так, повольготнее вашей: семь верст до-тедова не доехала! – произнес Захар, разваливаясь под тенью большой лодки и вынимая кисет. – Житье отменное. Мещанин ли, купец ли, фабричный ли – это, выходит, все едино-единственно, – продолжал он с какою-то наглою, но вместе спокойною уверенностью. – Главное, разумеется, состоит, каким манером поведешь себя; не всякому и там хорошо. Вот я жил: сам живешь на манер работника, а что Захар, что хозяин – это все единственно. Всякий скажет тебе, какой такой Захар человек есть! У меня, как затяну песню, покажу голос, никакая не устоит. Господа приезжали слушать. Одну барыню так даже в чувство привел! Через это больше и славу такую получил. Кабы не хорошо жить, леший жить бы велел! Сидишь себе, челночком пощелкиваешь: работа самая, выходит, любезная. Насчет компании также нигде не потрафишь: совсем другое против крестьянского обхождения. Ну, что, вот хоть бы твой хозяин – вахлак, как есть лапотник. У нас поглядишь: настоящий купеческий народ. Других рубах, окромя ситцевых, не имеет. А насчет, то есть, веселья, лучше, кажется, нельзя найти: парни ловкие, песельники – есть с кем разгуляться. Теперича коли с девками покуражиться захотел, тут тебе только и жить! Сделал ей уваженье: платок купил, серьги, что ли, и будет. Другому, какой порасто-

ропнее, и того не надо: сами льнут; есть и такие, что и сами дарят, умей только настоящим манером вести! – примолвил Захар, самодовольно пристегивая кисет к жилетной пуговице, вынимая трубку изо рта и отплевывая на сажень, с известным шипеньем.

Гришке между тем не сиделось на месте. Черные глаза его, жадно устремленные на рассказчика, разгорались как уголья. Румянец играл на щеках его. Время от времени он нахмуривал брови и притискивал ногою землю.

– Так у нас каждый день идет; а посмотрел бы ты в праздник! – продолжал Захар, поощренный, видно, успехом своего красноречия. – Поглядел бы, как на улицу-то выйдут: пляски, песни пойдут это по харчевням. Веселись, значит: лей-перелей, гулянка по-нашенски! Станешь с гармонией (насчет этого мы также никого не уважим), так тебя и облепят. Есть на что и посмотреть, не то что ваши, примерно, лапотницы: мещанками ходят! Лаптей ни у одного молодца единого не увидишь: куда ни глянешь, все сапоги, все сапоги... Свои оставил в Комареве у знакомого, – скороговоркою подхватил Захар, заметив, что собеседник невольно обратил внимание на его босые ноги, – здесь незачем; там же и кафтан оставил. Кафтан также отменный, форсистый: я насчет одежды себя наблюдаю. У меня, как жил на фабрике под Серпуховом, у Григория Лукьянова – одних лет был тогда с тобою, – так ситцевых рубах одних было три, шаровары плисовые, никак, два жилета, а этих сапогов что перено-

сил, так уж и не запомню. Ну-ткась, наживи-ка ты столько в здешнем-то житье! Я чай, сапогов-то и не нашивал.

– Да, много здесь наживешь! – произнес Гришка тоном человека пристыженного, подавленного сознанием своего ничтожества.

Он ничего не сказал, однако ж, о сапогах. Сапоги в крестьянском быту играют весьма важную роль. Первые сапоги для деревенского парня то же значат, что первые золотые часы для юноши среднего сословия. Распространение фабричной жизни содействовало распространению сапогов. В фабричных деревнях молодой парень пойдет скорее босиком по снегу и грязи, чем наденет лапти; точно позор какой! Амбиция Гришки, который никогда не нашивал сапогов (сам Глеб ходил в лаптях), – амбиция его была затронута, следовательно, за самое живое место. Досада его, как и следовало ожидать, обратилась целиком на старого рыбака.

– Эх! Какое наше житье! – воскликнул он нетерпеливо, уткнув локти в песок. – Как послушаешь, как люди живут, так бы вот, кажется, и убежал! Пропадай они совсем!..

– Ничего, погоди, – перебил его Захар тоном покровительства, – ты, я вижу, малый невялый. Дай поживем вместе, я его, старика-то, переверну по-своему.

Весь этот разговор произвел на приемыша действие масла, брошенного в огонь. Дурные инстинкты молодого парня пробудились в душе его с быстротою зажженной соломы. Разгульная фабричная жизнь, лихие ребята, бражничество,

своя волюшка – все это отвечало как нельзя лучше инстинктам Гришки. Такая именно жизнь – хотя сам не знал он, где искать ее, не знал даже, существует ли она, – занимала всегда мечты его. Прежде скучал он, сам не зная отчего. Теперь понял он причину своей скуки – понял, чего ему хотелось, и потому возненавидел всем сердцем все, что мало-мальски относилось к жизни, его окружающей.

Этому, конечно, содействовали дальнейшие рассказы и вообще сообщество Захара, который заметно благоволил юному своему товарищу. Приемьш, с своей стороны, выбивался из сил, чтобы заслужить такое лестное расположение. Таким образом, сошлись они необыкновенно скоро. Есть какое-то тайное, притягивающее сочувствие между родственными натурами. Захар был, конечно, уже зрелый плод в своем роде. Приемьш сравнительно с ним осуществлял только почку; но почка эта принадлежала тому же самому дереву, которое дало плод. С первого же дня их знакомства Гришка думал днем и ночью о том только, как он и Захар перевернут старика по-своему. Оба они, однако ж, как-то слабо успевали в этом. Проходили дни и недели – нрав старика ни на волос не изменился. Даже в доме его все шло самым строгим, обыкновенным порядком. Мимо работы старый рыбак, казалось, вовсе даже не замечал их. Со всем тем, когда на третье или четвертое воскресенье после прибытия нового работника Гришка стал проситься пойти с Захаром в Комарево, Глеб не отпустил его. Он сказал, что незачем по-

пустому валандаться, незачем идти без надобности в Комарево, что пойдет туда, когда сам пошлет, и без дальних разговоров велел ему остаться дома. Это обстоятельство вызвало, как и следовало ожидать, насмешки со стороны Захара. Досада приемыша, усиленная насмешками товарища, овладела тогда всеми его чувствами. Он не посмел, однако ж, показать старику свое неудовольствие; но зато взгляд, украдкою брошенный в этот день Гришкою на Глеба, был первым его взглядом полного, сознательного недоброежелательства. Чувство это немало поддерживал и разжигал страх, который, вопреки всем усилиям и ободрениям, ощущал приемыш, и даже Захар до некоторой степени, в присутствии Глеба. Оба храбрились и хорохорились только на словах. Неизвестно, как это выходило; но только в присутствии старого рыбака храбрость и удаль молодцов тотчас же пропадали. Тем не менее влияние Захара продолжало производить втайне свое действие на приемыша; оно особенно отразилось в отношениях молодого парня к озеру дедушки Кондратия. С первых же дней Захар смекнул, в чем дело. Впрочем, сам Гришка охотно рассказал ему повесть неудачных своих походов с дочкою рыбака. Началось с того, разумеется, что Захар осмеял в пух и прах неопытность юного друга. Затем он передал ему свои собственные похождения, рассказал несколько забавных случаев, рассказал, как всегда и везде выходил победителем, и под конец вызвался даже помогать ему. Не раз после этого в ночное время, когда Глеб и тетушка Анна

спали крепким сном, оба они переправлялись на луговой берег. Захар принимал такое живое участие в успехах своего товарища, что, даже вопреки полному сознанию собственного своего превосходства, проводил целые часы, покачиваясь в челноке, между тем как Гришка рыскал в окрестностях озера.

Оба они так ловко обдeldывали дела свои, что Глеб, в простоте честной, хотя крепкой души своей, ничего не подозревал.

К тому же проницательность Глеба с некоторых пор заметно притуплялась. Мрачная туча, нависнувшая над высоким морщинистым лбом старика, казалось, все более и более сгущалась. Он по-прежнему не переставал думать о сыновьях своих, не переставал тосковать, ходил с утра до вечера сумрачен, редко с кем молвил слово, исключая, впрочем, дедушки Кондратия, с которым часто толковал об отсутствующих детях. Одна только работа, один промысел в состоянии были оживать его. В этих случаях он не мог быть недоволен работниками. Как сказано выше, Захар был удалец только на словах. Удадь его обуславливалась обстоятельствами. Храбрился он с теми, которые уступали ему, кумились с ним или добровольно становились под один уровень. В присутствии Глеба, который связал его вскоре по рукам и ногам, надавав ему вперед денег – способ общеупотребительный между ловкими хозяевами, – спесь и непобедимое молодечество Захара уходили на самое дно его ситцевого ки-

сета. Бывали, однако ж, случаи, когда лень работника, возмущенная взыскательностью хозяина, придавала ему настолько бодрости, чтобы поднять голос и бросить сети. Он начинал хорохориться и говорил, что отходит от дома. Но Глеб тут же осаживал его. «Отдай деньги, что забрал, отдам тебе и пачпорт, – говорил старик. – А мало что – до станового недалеко: в Сосновке живет!» Расчет Глеба основывался на том, чтобы продержать Захара вплоть до зимы, то есть все время, как будет продолжаться рабочая пора. Он знал, что за такую скудную плату не наймешь и самого худого работника. Там, как зима придет, он и сам держать его не станет: пригонит к тому времени, чтобы работник гроша ему не был должен, и даст ему пачпорт: проваливай куда хочешь. Благодаря способу временных займов у хозяев – займов, к которым прибежал работник, волей-неволей Захар оставался в доме.

– Погоди, Гришка, дай наперед задобрим хозяина. Я нарочно прикидываюсь смирянчком, – говорил Захар в оправдание того противоречия, которое усматривал приемыш между словами и поступками товарища, – сначала задобрим, а там покажем себя! Станет ходить по-нашенски, перевернем по-своему!

Из дальнейших объяснений его оказывалось, что именно вот эта-то цель и задерживала его в доме Глеба. На самом деле Захар знал очень хорошо, что куда бы он ни пошел – на фабрику ли, на сахарный ли завод или к другим рыбакам, – это все едино-единственно, держать его нигде не станут: при-

дется шляться без места и, следовательно, без хлеба.

Итак, Глеб был в известной степени доволен работником. Что же касается до Гришки, то, несмотря на затаенное неудовольствие, он трудился так исправно, что не давал даже старику повода к упреку.

Так прошло без малого три месяца.

К концу этого срока вышел, однако ж, случай, который невольно оторвал Глеба от задушевных его мыслей и заставил его обратить внимание на приемыша.

Вот что произошло.

Раз как-то, в начале осени, Глеб отправился на луговой берег; требовалось нарубить лозняка для починки старых вершей. Он поехал один.

Час без малого сидел он за своим делом у опушки кустов, там, где начинались луга, когда подошел к нему дедушка Кондратий.

На кротком, невозмутимо тихом лице старичка проглядывало смущение. Он, очевидно, был чем-то сильно взволнован. Белая голова его и руки тряслись более обыкновенного. Подойдя к соседу, который рубил справа и слева, ничего не замечая, он не сказал даже «бог помочь!». Дедушка ограничился тем лишь, что назвал его по имени.

– А! Здорово, дядя! – произнес Глеб, опуская топор и утирая лоб, покрытый потом.

– Здравствуй, Глеб Савиныч, – сказал Кондратий, переводя одышку на каждом слове, – к тебе шел.

– Ладно, что встретились, – подхватил Глеб, – я и сам собирался ноне тебя проведать. Переехал сюда лознячком за-пасться: верши надуть исправить; а там, думал, как порешу дело, схожу к соседу. А ты зачем пробирался? Надобность, что ли, была какая? Али так, проведать хотел?

– Нет... есть до тебя дело, – с трудом проговорил старик.

– Ну, говори, – промолвил Глеб, обращая впервые глаза на соседа. – Да что ты, дядя? Ась? В тебе как словно перемена какая... и голос твой не тот, и руки дрожат. Не прилучилось ли чего? Говори, чем, примерно, могу помочь? Ну, примерно, и... того; говори только.

Дедушка Кондратий тоскливо покачал головою, закрыл красные, распухшие веки и безотрадно махнул рукою. Вместе с этим движением две едва приметные слезинки покатились из глаз старика.

– Ну, стало, взаправду недоброе что привалило. Али «плевок»³⁵ на рыбу напал? – подхватил Глеб.

Хотя Глеб коротко ознакомился теперь с истинным горем – таким горем, которое не имело уже ничего общего с неудачами и невзгодами по части промысла или хозяйства, он никак не предполагал, чтобы другой человек, и тем менее сосед, мог испытать что-нибудь подобное. Он находился в полном убеждении, что дедушка Кондратий претерпел какую-нибудь неудачу в деле домашнем: плевок на рыбу напал, сети порвались, а новых купить не на что, челнок просквозил

³⁵ Червь, истребляющий рыбу. (Прим. автора.)

и ушел на дно озера. Этим ограничивались его догадки. Поэтому самому немало удивился Глеб, когда сосед сказал ему:

– Нет, Глеб Савиныч, кабы только это, не стал бы тужить, не стал бы гневить господа бога! На то его святая воля. В эвтих наших невзгодах человек невластен...

– Да что ж такое? Говори! – нетерпеливо перебил Глеб.

– А то, что случилось недоброе дело, – подхватил, тяжело вздыхая, старик, – от человека недоброе дело, Глеб Савиныч! А все вышло... все вышло из твоего... из твоего соседского дома.

– Как! Что такое? – воскликнул Глеб, поспешно вставая на ноги и беспокойно изгибая седые брови.

– Да, из твоего дома, – продолжал между тем старик. – Жил я о сию пору счастливо, никакого лиха не чая, жил, ничего такого и в мыслях у меня не было; наказал, видно, господь за тяжкие грехи мои! И ничего худого не примечал я за ними. Бывало, твой парень Ваня придет ко мне либо Гришка – ничего за ними не видел. Верил им, словно детям своим. То-то вот наша-то стариковская слабость! Наказал меня создатель, горько наказал. Обманула меня... моя дочка, Глеб Савиныч!

При этом у Глеба отлегло от сердца. Ему представилось сначала, что Гришка или Захар обокрали соседа.

– И где мне было усмотреть, старику, – продолжал дедушка, останавливаясь время от времени и проводя дрожащею ладонью по глазам, – где было усмотреть за ними! Сама, бы-

вало, обо всякой малости сказывала. Ину пору – вот в последнее это время – спросишь: «Что, мол, невесела, Дуня, что песен не поешь?» – «Ничего, говорит, так, охоты нет». Ну, я ей и верил... вестимо, думаю, какое ей со мною веселье... лета ее молодые... Да, обманула меня моя дочка, Глеб Савиныч, горько обманула! Ноне только обо всем проведаль... Приходит это она утром ко мне, а я рыбку удил, приходит, да так вот вся и заливаётся слезами, так и заливаётся. «Что ты, говорю: Христос, мол, с тобою». Сам добре перепужался, встал, поднялся, а она ко мне в ноги... все и поведала... Так инда головня к сердцу моему подкатилась! «Ну, говорю, дочка, посрамила ты мою голову! За что, говорю, за что ты меня, старика, обманула? На то ли растил я тебя? То-го ли ждал!» А руки не поднял – подумал: не поможет. Бог, мол, дочка, судья тебе!

– Что ж... Гришка? – перебил Глеб, сжимая кулаки и грозно нахмуривая брови.

– Он, – отвечал старик, опуская голову и проводя дрожащими пальцами по глазам.

– Ах он, проклятый! – вскричал Глеб, у которого закипело при этом сердце так же, как в бывалое время. – То-то приметил я, давно еще приметил... в то время еще, как Ваня здесь мой был! Недаром, стало, таскался он к тебе на озеро. Пойдем, дядя, ко мне... тут челнок у меня за кустами. Погоди ж ты! Я ж те ребры-то переломаю. Я те!..

– Полно, Глеб Савиныч! Этим теперь не поможешь, –

кротко возразил дедушка Кондратий, взяв его за руку, – теперь не об том думать надеть.

– Ты думаешь, примерно, женить надеть?

– Затем и шел к тебе... Лучше уж; до греха, по закону по божьему, как следует.

– Это само собою. Повенчать повенчаем; а не миновать ему моих кулаков! Я его проучу... Ах он, окаянный!

– Нет, Глеб Савиныч, оставь лучше, не тронь его... пожалуй, хуже будет... Он тогда злобу возьмет на нее... ведь муж в жене своей властен. Человека не узнаешь: иной лютее зверя. Полно, перестань, уйми свое сердце... Этим не пособишь. Повенчаем их; а там будь воля божья!.. Эх, Глеб Савиныч! Не ему, нет, не ему прочил я свою дочку! – неожиданно заключил дедушка Кондратий.

Вместе с этими словами кулаки Глеба опустились, и гнев его прошел мгновенно. Несколько минут водил он ладонью по серым кудрям своим, потом задумчиво склонил голову и наконец сказал:

– Что говорить, дядя! Признаться, и я не ему прочил твою дочку: прочил другому. Ну, да что тут! Словесами прошлого не воротишь!

Тут он остановился, махнул рукою и снова опустил на грудь голову.

Глеб уже не принимался в этот день за начатую работу. Проводив старика соседа до половины дороги к озеру (далее Глеб не пошел, да и дедушке Кондратию этого не хоте-

лось), Глеб подобрал на обратном пути топор и связки лозняка и вернулся домой еще сумрачнее, еще задумчивее обыкновенного.

Часть четвертая

XX

Худое житье

Возвратясь домой после объяснения с дедушкой Кондра-
тием, Глеб слова не промолвил приемышу; а между тем ку-
да как хотелось ему проучить негодяя! Грозно изгибавшие-
ся брови старика и невольно сжимавшиеся кулаки его, каж-
дый раз как он встречался с Гришкой, достаточно уже пока-
зывали, как сильно было в нем такое желание. Он удержался,
однако ж: благоразумные советы старичка-соседа восторже-
ствовали на этот раз над личным мнением Глеба, которое, ес-
ли помнит читатель, заключалось в том, чтобы намять Гриш-
ке бока. Выбрав минуту, когда Захар и приемыш занялись
чем-то на дальнем конце площадки, старый рыбак подошел
к жене и передал ей жалобу старика соседа. С первых же слов
тетушка Анна пришла в неописанное волнение; она всплес-
кивала руками, мотала головою, охала и стонала в одно и
то же время. «Ах он, окаянный!.. Ах он, беспутный такой,
греховодник этакой!.. Ведь погубил девку-то! Погубил со-
всем... Я чай, старик-ат, сердечный... Скажи, грех какой!..
А нам-то – нам и невдомек; хоть бы одним глазком приме-
тили... Ахти, господи!» – говорила она, не переводя духу,

отчаянно ударяя обеими ладонями об полы понявы и тормоша немилосерднейшим образом платок на голове. Глеб, как ведомо, не любил много разговаривать; еще с меньшею охотою слушал он пустые бабьи речи. Он тотчас же осадил жену. «Ну, чего, чего?.. Эх ее, дура баба! Право, пустая какая!» – проговорил он с таким видом, который мгновенно превратил негодующую старуху в кроткую, смиренную овцу. Он пришел вовсе не за охами, еще менее нуждался в советах, которыми, не медля ни минуты, принялась было снабжать Анна, поощренная снисходительным его объяснением. Вся цель разговора Глеба с женою заключалась в том, чтобы старуха мыла скорей горшки, варила брагу и готовила все к свадьбе.

Дело действительно было такого рода, что не терпело отлагательства.

Недели через две, в воскресный день, у ворот рыбакова дома и на самом дворе можно было видеть несколько подвод; на холмистом скате высокого берегового хребта, которым замыкалась с трех сторон площадка, бродили пущенные на свободу лошади, щипавшие сочную листву орешника. Приглаженный вид двора, освещенного желтыми лучами осеннего солнца, тетушка Анна и еще какая-то баба, бегавшие поминутно из избы под тень навеса и возвращавшиеся всякий раз с кувшинами или пирогами; подводы и, наконец, самые лошади – все это свидетельствовало, что в доме Глеба, отличавшемся всегда тишиною и строгим порядком, проис-

ходило что-то не совсем обыденное. Говор, раздававшийся в самой избе, песни, восклицания и звяканье посуды подтверждали красноречиво такое предположение. Изба была полна народу. Тут находились оба тестя и обе тещи двух старших сыновей Глеба, Петра и Василя; были крестовые и троюродные братья и сестры тетки Анны, находились кумовья, девчурья, шурины, сваты и даже самые дальнейшие родственники Глеба – такие родственники, которых рыбаки не видал по целым годам. Все это съехалось по большей части из Сосновки и явилось попить на свадьбу к старому Глебу, который женил приемыша своего на дочери соседа, такого же рыбака, по прозванию Кондратия.

Но несмотря на большое стечение народа, несмотря на радужное угощение и разливанное море браги, которая пробуждала в присутствующих непобедимую потребность петь песни, целоваться и нести околесную, несмотря на прибаутки и смехотворные выходки батрака Захара, который занимал место дружки жениха – и занимал это место, не мешая заметить, превосходно, – свадьбу никак нельзя было назвать веселою. Все шло, по-видимому, самым обыкновенным порядком, и только главные действующие лица – те самые, от кого бы следовало ожидать всего более радости, – казались как будто недовольными. Нет сомнения, что если б тетушка Анна, движимая чувствами беспримерного добродушия и гостеприимства, не пересыпала в брагу нескольких лишних пригоршней хмеля (все это, разумеется, сделано было

тайком от Глеба) и если б гости, в свою очередь, умереннее прибегали к ковшам, заключавшим эту брагу, многие могли бы заметить, что на свадебной пирушке не все было ладно.

Во-первых, молодая совсем непохожа была на обыкновенных молодых. Она сидела как убитая: точно силой выдавали ее за немилого, или, вернее, точно присутствовала она не на свадебной пирушке, а на поминках по нежно любимым родителям. Мужчины, конечно, не обратили бы на нее внимания: сидеть с понурою головою – для молодой дело обычное; но лукавые глаза баб, которые на свадьбах занимаются не столько бражничеством, сколько сплетками, верно, заметили бы признаки особенной какой-то неловкости, смущения и даже душевной тоски, обозначавшейся на лице молодки. «Глянь-кась, касатка, молодая-то невесела как: лица нетути!» – «Должно быть, испорченная либо хворая...» – «Парень, стало, не по ндраву...» – «Хошь бы разочек глазком взглянула; с утра все так-то: сидит платочком закрывшись – сидит не смигнет, словно на белый на свет смотреть совестится...» – «И то, может статься, совестится; жила не на миру, не в деревне с людьми жила: кто ее ведает, какая она!...» Такого рода доводы подтверждались, впрочем, наблюдениями, сделанными двумя бабами, которым довелось присутствовать при расставанье Дуни с отцом. Это происходило утром, перед отправлением к венцу. Известное дело, какой же девке не жаль покидать родителей – всякой жаль! Хотя иной раз и в своей деревне остаешься – только улицу перей-

ти, – а все не с родными жить. Ну, как водится, помолишься святым образам, положишь отцу с матушкой три поклона в ноги, маленечко покричишь голосом, и ну пору не шутя даже всплакнешь – все это так по обычаю должно. Эта же молодая и попрощалась-то совсем не так, как другие девки. как повалилась спервака отцу в ноги, так тут и осталась, и не то чтобы причитала, как водится по обычаю, – слова не вымолвит, только убивается; взвыла на весь двор, на всю избу, ухватила старика своего за ноги, насилиу отняли: водой отливали! И невесть что такое: прощалась, словно в Сибирь везли ее, в дальнюю сторону; а всего-то Оку-реку переехать... Были еще другие приметы при самом выезде к венцу. Каждое движение молодой, предметы и лица, ее окружающие, даже лошади, которые везут ее в церковь, подвергаются на свадебных поездках внимательному рассмотрению; все это, по мнению двух баб, не благоприятствовало молодой. Замечания эти, передаваемые в свое время шепотом, из ушка в ушко, не замедлили бы обойти теперь всех присутствующих, если б, как мы уже сказали, брага тетки Анны не была так крепка и не отуманила глаз всему собранию. По той же самой причине каждый из гостей хотя и целовался по несколько десятков раз с молодым, но никто не замечал нахмуренного лица его. Каждый раз, как который-нибудь из присутствующих обращал на него масляные, слипавшиеся глаза и, приподняв стакан, восклицал: «О-ох, горько!», давая знать этим, чтобы молодые поцеловались и подсластили таким об-

разом вино, – в чертах Гришки проглядывало выражение досадливого принуждения. Можно было думать, что женился он против воли, женился и каялся. Оно почти так и было. В последнее время он редко даже бывал на озере: Дуня успела уже опостынуть ему. Не знаю, подозревал ли дядя Кондратий мысли своего зятя, но сидел он также пригорюнясь на почетном своем месте; всего вернее, он не успел еще опомниться после прощанья с Дуней – слабое стариковское сердце не успело еще отдохнуть после потрясения утра; он думал о том, что пришло наконец времечко распрощаться с дочкой! По крайней мере белая голова дедушки Кондратия не переставала трястись и как бы все еще давала знать, что он не совсем решился на тяжкую жертву. Что ж касается Глеба, он точно так же не имел особенных побуждений к радости; одно разве: в дом поступает молоденькая сноха, новая работница на смену старухе, которая в последнее время совсем почти с ног смоталась, из сил выбилась... Конечно, это недурно. Глеб не раз даже высказывал по этому поводу свое удовольствие; в разговорах с женой он неоднократно даже принимался выхвалять дочку рыбака-соседа. Но, к сожалению, удовольствие Глеба Савинова не было продолжительным: оно исчезало по мере того, как стали появляться расходы, сопряженные с приобретением молодой снохи; Глеб начал тогда ворчать и покрикивать. Старик шибко крепковат был на деньги, завязывал их, как говорится, в семь узлов; недаром, как видели мы в свое время, откладывал он день

ото дня, девять лет кряду, постройку новой избы, несмотря на просьбы жены и собственное убеждение, что старая изба того и смотри повалится всем на голову; недаром считал он каждый грош, клал двойчатки в кошель, соблюдал строжайший порядок в доме, не любил бражничества и на семидесятом году неутомимо работал от зари до зари, чтобы только не нанимать лишнего батрака. С годами он сделался еще расчетливее.

А между тем не проходило теперь дня, когда бы не принуждали его отправляться в каморку и отворять заветный сундучок заветным витым ключиком... Просто напасть какая-то: сегодня требовался солод, завтра мука на лапшу, а там раскошеливайся опять на масло либо на свадебные подарки! Ворчливость окончательно овладела Глебом, когда дня за два до свадьбы приехали из Сосновки две кумы и вслед за тем началась в доме стряпня и возня. «Эк их обрадовались! Чтоб вас шут взял! – не переставал твердить Глеб, косясь с самым недоброжелательным видом на румяные пироги и пышные караваи, которые то и дело выставлялись на досках из окон. – Настряпали теперь, напекли! Было бы из чего изъясниться-то – вот что! Не богатую какую невесту берем; спасибо еще – взяли... Признаться, старика одного только и пожалели... Ну, да что тут толковать! Решенное дело: выходит, поминать нечего... Напекли, наварили: не бросать же теперь – ешьте во здравие!...» Так заключал всегда почти Глеб, который, вообще говоря, был слишком расчетли-

вый и деловой хозяин, слишком строгий и несообщительный старик, чтобы жаловать гостей и пирушки. Ворчливость его продолжалась, однако ж, до тех пор, пока не окончились возня и приготовления, пока не съехались гости и не началось угощение; усевшись за стол, он махнул как словно рукою и перестал заботиться о том, что стоили ему пироги и брага; казалось даже, он совсем запамятовал об этом предмете. Не пил, однако ж, Глеб, не пил ни капельки; хмель не отуманивал головы его, точно так же, как не отуманивали ее шум, крики и песни пирующих. Одна только мысль и была теперь в голове рыбака – все та же острая, назойливая мысль, которая постоянно жила в нем, изредка лишь заслоняясь житейскими заботами; достаточно было просветлиться этой мыслью, чтобы изгладить мгновенно из его памяти все расчеты, все соображения. Он думал о сыне – думал о младшем возлюбленном детище. Свадьба приемыша невольным образом пробудила в душе старика такие воспоминания: так, может статься, пировали бы теперь на свадьбе Вани!.. Немудрено после этого, если Глеб казался невесел.

Но как бы там ни было, благодаря, вероятно, тетке Анне, которая суетилась и хлопотала за шестерых, благодаря также дружке Захару и двум кумам, которые подливали исправнейшим манером сосновским родственникам, гости были сытехоньки по горлышко, пьяны-пьянехоньки и вообще остались очень довольны. Так по крайней мере следует заключить из того, что многие при всем старании своем ни-

как не могли встать с лавок; хозяева принуждены были снести их на двор и уложить в подводы, наподобие грузных снопов. Наконец пирушка кончилась; Дуню и Гришку уложили в приготовленную заранее каморку, и гости разъехались.

Сам дедушка Кондратий поплелся к себе на озеро.

Дом Глеба, площадка и берега Оки окутались темнотою ночи и стихли – стихли, как словно заснули заодно с обывателями...

Женитьба приемыша не произвела почти никакого изменения в хозяйстве рыбака. Порядок, заведенный Глебом тридцать лет назад, без всякого сомнения, не мог пошатнуться от такой маловажной причины. Вообще говоря, в крестьянском быту сноха занимает довольно жалкую роль, особенно в первое время. Нужны какие-нибудь особенные благоприятные обстоятельства или с ее стороны, или со стороны мужниной родни, чтобы житье ее в доме разнилось от житья простой работницы.

На другой же день можно было видеть, как тетка Анна и молоденькая сноха ее перемывали горшки и корчаги и как после этого обе стучали вальками на берегу ручья. Глеб, который не без причины жаловался на потерянное время – время подходило к осени и пора стояла, следовательно, рабочая, – вышел к лодкам, когда на бледнеющем востоке не успели еще погаснуть звезды. За час до восхода он, Захар и Гришка были на Оке.

В многозаботной жизни простолюдина время дорого. Так

некогда предаваться излишней радости или скорби. И рад бы иной раз послушаться, что душа поет, рад бы повеселиться, завихриться, рад бы выплакать вдосталь свое горькое горе, да мало ли что!.. Нужда, время идет, никого не ждет. Иного дня неделей целой не нагонишь!.. Мне приводилось встречать старух, которые рыдали отчаянно, страшно рыдали, и в то же время несли на плечах ведра или занимались другим хозяйственным делом. «Что с тобою?..» – «Сын вечор помер... Один только и был!..» Не раз также я заставлял за сохою стариков, которых за час посетила нечаянная радость или сразило страшное горе. Дух может скорбеть или радоваться сколько угодно – руки должны оставаться одинаково крепкими и работать.

Единственный предмет, обращавший на себя теперь внимание Глеба, было «время», которое, с приближением осени, заметно сокращало трудовые дни. Немало хлопот приносила также погода, которая начинала хмуриться, суля ненастье и сиверку – неумолимых врагов рыбака. За всеми этими заботами, разумеется, некогда было думать о снохе. Да и думать-то было нечего!.. Живет себе бабенка наравне с другими, обиды никакой и ни в чем не терпит – живет, как и все люди. В меру работает, хлеб ест вволю: чего ж ей еще?..

К концу осени мысли старого рыбака перешли непосредственно от промысла к другому предмету. Как только заметил он, что верши его стали «сиротеть», а с сетями нечего почти делать, он начал помышлять о том, как бы разделатъ-

ся с Захаром. Впрочем, это обстоятельство заняло немного времени: расчет был очень короток. Мы уже имели случай заметить, что старик, нанимая Захара, имел в виду продержать его не далее осени, то есть до той поры, пока окажется в нем надобность. С этою целью он давал ему денег вперед и даже старался опутать долгами. За месяц перед расчетом старик разом прекратил выдачу денег. Он, конечно, слова не промолвил работнику о своем намерении, но втихомолку сводил свои счета. В тот самый день, когда Захар заработал последнюю копейку, данную ему вперед, Глеб объявил наотрез, что он ему больше не нужен. Озадаченный несколько неожиданной выходкой, работник заикнулся было о деньгах; но хозяин показал ему бирку, на которой обозначены были все дни, прожитые батраком, и все деньги, грош в грош, заработанные им. Возражать было нечего.

В утро того же дня Захар уложил в карман своих шаровар все свои пожитки, состоявшие из ситцевого кисета и трубки; взял в руки гармонию и покинул, посвистывая, площадку.

Гришка сопровождал его. (Глеба не было в эту минуту дома. Отпустив работника, он тотчас же ушел в Сосновку.) Во все продолжение пути от ворот до лодок Захар не переставал свистать и вообще казался в самом приятном, певучем расположении духа.

– Куда ж ты теперь, Захар? – спросил Гришка, после того как оба они уселись в челноке и отчалили от берега.

– Разве мало местов-то?.. Думаешь, твой Глеб один толь-

ко на свете и есть!.. Тебе, может статься, в диковинку! Нам хоша бы его не было – это все единственно... Что расчел-то меня: «не надо», говорит, – великая важность!.. Почище видали – не плакали!.. Может, он того не знает, плевать я хотел на него! Нам везде будет место... Нашему брату не искать. Куда пришел, тут и нашел! В Комареве и то звали намедни: «Приходи, говорят, Захар, уважим!..» Да вряд ли останусь; прискучили мне ваши места... Пока еще поотряхнусь, погуляю... У меня вот в Серпухове есть знакомый один хозяин, фабрику содержит и капитал большой имеет: туда и пойдю... потому как он есть мне приятель, и житье, примерно, вальяжное, первый сорт. Это все, выходит, нашему брату того и надо!.. – проговорил Захар с такою самоуверенностию и оглядываясь с таким беспечным видом направо и налево, как будто все лучшие места от Коломны до Серпухова были действительно к его услугам.

На самом деле он находился в крайне затруднительном положении. Он не знал даже, приведется ли пообедать, потому что дальше Комарева нынче не уйдешь, а комаревский целовальник Герасим (в этом убедился Захар из собственного опыта) в долг не верил. Гармония представляла слишком ничтожный предмет для заклада: и новая-то стоит всего один двугривенный! Конечно, если приложить к ней кисет, картуз и трубку, можно, пожалуй, выйти из беды, но на самое короткое время. Никак не дотянешь до найма. В Комареве (это обстоятельство было также известно Захару) и без

того уже много своих рук. Что ж касается до путешествия в Серпухов, к приятелю фабриканту, надо было отложить попечение: серпуховский приятель был, к сожалению, тот самый, что застал жену свою в роковую минуту, как она дарила Захару знаменитый кисет. Другие же два фабриканта из Серпухова вытурили его также в свое время и погрозили даже намять бока, если он только покажется на пороге их фабрик. Между Захаром и остальными знакомыми ему хозяевами существовали такие же почти неблагоприятные отношения – словом, решительно некуда было приткнуться!.. Со всем тем, надо отдать ему справедливость, он не унывал нисколько. Во все время переправы через Оку не переставал он молодцевать, свистать, петь песни и играть на гармонии. Мало того: ступив на противоположный берег, он выразил даже свое искреннее, задушевное сожаление к тяжелой доле молодого своего товарища.

– Эх, Гришка, Гришка!.. Жаль мне тебя, братец ты мой, ей-богу, жаль!.. Так, ни за что, ни за грош погубил ты свою молодость!.. Пропадай теперича твоя волюшка!.. В коренную, как есть, закрепил тебя старик к дому своему. Говорил – стой на одном: «Знать, мол, не знаю, ведать не ведаю!..» А то: как да как?.. Вот те и как!.. Возись поди теперича... Закабалил ты себя. Навязал жернов на шею – это все единственно, – выходит, одно и то же!.. И добро девка-то была бы... а то... эхма! Мимолетный ты парень, как погляжу, соломенная твоя душа!.. Только что вот куражишься... То ли

бы было, кабы послушал: шли бы теперича вместе важнейим манером!.. Куда ни кинул глазами, это все единственно; везде путь-дорога – гуляй знай!.. А то что?.. Загубил себя как есть теперича!.. Парень-то ты ловкий: через это и жалею больше, ей-богу, право!..

Говоря таким образом, Захар не имел дурного умысла. Он чуть ли даже не был чистосердечен, потому что судил о Гришке по себе – судил безошибочно, и знал, следовательно, как мало соответствовало молодому парню настоящее его житье.

Во все время этого дружеского объяснения приемыш стоял понуря голову и крепко упирался грудью в конец весла. Он слова не сказал, но конец весла яростно рыл землю. Руки Гришки не переставали откидывать с нетерпением волосы, которые свешивались на лицо его, принужденно склоненное на грудь.

Ко всем дурным чувствам, кипевшим теперь в сердце приемыша, примешивалась еще досада, которую пробуждала не столько разлука с товарищем, сколько сознание бессилия последовать за ним. По крайней мере глаза Гришки, пристально устремленные на удаляющегося Захара, были совершенно сухи. Не обозначалось в них ни сожаления, ни грусти: что-то похожее на зависть, на бешенство молодого полудикого коня, выхваченного из косяка арканом, спутанного по ногам крепкими ремнями и брошенного наземь, сверкало в черных, глядевших исподлобья глазах Гришки, обозначалось во

всех чертах его смуглого лица. Захар говорил сущую правду: и он точно так же мог бы теперь быть вольнее белых чак, которые весело снуют над раздольною рекою! Все конечно! Хочешь не хочешь, живи в ненавистном доме. Припаял суровый старик Гришкину волюшку – припаял ее медным припоем! Связал по рукам и ногам! Недаром же трунил над ним Захар, называя его мимолетным парнем и соломенной душою; недаром сравнивал его с мякиной, которая шумит и вьется пока в углу, в затишье, а как только вынесешь в открытое поле, летит покорно в ту сторону, откуда ветер покрепче! Но Гришка, как обыкновенно водится в подобных случаях, не столько обвинял самого себя, сколько окружающих. Больше всех пришлось отвечать Дуне. Она, одна она, как он думал сам с собой, была всему главной виновницей: не живи она в двух верстах от площадки, не полюби парня, не доверься его клятвам, ничего бы не случилось; он в самом деле шел бы теперь, может статься, с Захаром! И кто толкал его на луговой берег? Чего домогался он? Чего искал? Съездил всего раз двадцать украдкою на озеро – велика важность! Эка невидаль! Стоило из того навеки распрощаться с вольною волюшкой! Негодование Гришки обращалось даже частию на тестя. Дедушка Кондратий также был, по разумению Гришки, виновен во многом: зачем, вместо того чтобы гонять каждый раз приемыша из дому, зачем ласкал он его – ласкал и принимал как родного сына?..

С такими мыслями и чувствами покинул он луговой бе-

рег и переехал Оку. Когда Гришка обернулся, чтобы привязать челнок, глаза его встретили жену. Она стояла, прислонившись к большой лодке, и, по-видимому, ждала его.

Дуня, точно, вышла с этою целью на площадку, но действовала в этом случае не по собственному побуждению. Глеб перед уходом в Сосновку велел ей передать мужу, чтобы он тотчас же после возвращения своего с лугового берега ехал забрать верши, брошенные накануне подле омута. Иначе, может быть, у нее не стало бы смелости дожидаться мужа. В последнее время, не мешает заметить, она чувствовала страшную неловкость в его присутствии. К этому чувству начинала даже примешиваться робость. Гришка, конечно, не смел пробудить в ней такого чувства жестоким обращением: он побоялся бы тронуть ее пальцем. Но Дуне во сто раз легче было бы снести его побои, чем видеть, как вдруг, ни с того ни с сего переменился он и, что всего хуже, не объяснял даже ей причины своего неудовольствия.

Гришка, подобно всем слабым, но злобно, дурно настроенным людям, не смея явно выразить своей досады, вымещал ее тайком, втихомолку, и, конечно, вымещал ее на жене, единственном существе, которое находилось до некоторой степени в его зависимости. Он прибегал, как водится в таких случаях, к мелким, но тем не менее действительным средствам. Так, с самой почти свадьбы сохранял он перед нею какой-то небрежно-насмешливый вид. И хоть бы слово, одно слово сказал ей в оправдание такой внезапной перемены

обращения! Так нет: почти с самого дня свадьбы хранил он упорное молчание, отворачивался и отходил от нее всякий раз, когда она обращалась к нему. При случае не обходилось без грозных жестов и еще более грозного выражения лица. Всё это мгновенно исчезало, однако ж, как только появлялся Захар. В глазах жены Гришка умышленно заводил с ним долгую дружескую беседу, старался даже казаться веселым. Молоденькая сноха Глеба сокрушалась в догадках. Молодое, неопытное сердце ее невыносимо ныло от боли, терзалось, может даже быть, ревностью. Захар отнял у нее Гришку. С каждым днем худела она и падала духом, к великому удивлению тетки Анны и скорбному чувству преклонного отца, который, глядя на дочку, не переставал щурить подслеповатые глаза свои и тоскливо качал белою старческою головою.

При всем том, как только челнок мужа коснулся берега, она подошла к самому краю площадки. Взгляд мужа и движения, его сопровождавшие, невольно заставили ее отступить назад: она никогда еще не видела такого страшного выражения на лице его. Дуня подавила, однако ж, робость и, хотя не без заметного смущения, передала мужу приказание тестя.

В ответ на это Гришка соскочил наземь, оглянул кругом, толкнул ногою челнок и яростно бросил весло на камни.

При этом страх овладел ею пуще еще прежнего; она снова отступила несколько шагов. Гришка подошел к ней с поднятыми кулаками.

– Это все через тебя! Все ты! Ты всему причиной! – промолвил он, снова оглядываясь кругом и злобно потом стискивая зубы. – Ты... через тебя все вышло! – подхватил он, возвышая голос. – Это ты рассказала своему отцу про нашу сплетку!.. Ты рассказала ему, какая ты есть такая: через это женили нас!.. Я ж тебе! Погоди!..

– Гриша... Гриша!

Она не договорила своей мысли... Впрочем, Гришка видел очень хорошо и без ее объяснения, что «сплетка» их и в то время еще не могла оставаться тайной; теперь и подавно нельзя было бы скрыть ее. Все равно, рано ли, поздно ли, должны были открыть истину. Если б хоть раз поговорил он с женою, хоть раз обошелся с нею ласково, Дуня, подавив в себе остаток девичьего чувства, привела бы ему еще другое доказательство их связи: авось-либо перестал бы он тогда упрекать ее, пожалел бы ее; авось помягче стало бы тогда его сердце, которое не столько было злобно, сколько пусто и испорчено. Но Гришка не знал последнего обстоятельства. Сверх того, вряд ли обратил бы он в эту минуту на что-нибудь внимание. Слова Захара, как крепкий хмель, мутили рассудок Гришки. К тому же бояться теперь было нечего: Глеба не было дома – смело можно расходиться! Он осыпал Дуню ругательствами и упреками, грозил утопить ее, поджечь лачугу тестя, грозил убежать из дому, и бог знает только, чего не наговорил он! Конечно, все это были лишь пустые слова, действия разгоряченного не в меру мозга – сло-

ва, над которыми всякий другой посмеялся бы вдоволь, пожалуй, еще намял бы ему хорошенько бока; но тем не менее слова эти поразили молоденькую женщину страшным, неизвестным до того горем.

Наконец Гришка кинулся в челнок и, бросив на ветер еще несколько новых бессмысленных угроз, отчаянно махнул веслом и полетел стрелою вниз по течению.

Приложив руки к груди, едва переводя дух и вздрагивая всем телом, Дуня направилась к огороду, чтобы там на свободе выплакать свое горе; но совладать с горем без привычки – дело мудреное! Слезы и рыдания захватили ее еще на половине дороги.

В таком положении застала ее тетушка Анна, выходявшая в это время из ворот.

– Ахти, батюшки! Мать ты моя родная! Что ты, касатушка? Христос с тобою! – воскликнула старушка, суетливо ковыляя к снохе.

Тетка Анна, несмотря на всегдашнюю хлопотливость свою и вечную возню с горшками, уже не в первый раз замечала, что хозяйка приемыша была невесела; разочка два приводилось даже видеть ей, как сноха втихомолку плакала. «Знамо, не привыкла еще, по своей по девичьей волюшке жалится! Помнится, как меня замуж выдали, три неделюшки голосила... Вестимо, жутко; а все пора бы перестать. Не с злодеями какими свел господь; сама, чай, видит... Что плакать-то?» – думала старушка.

Рыдания Дуни не шутя смутили ее. Но чем усерднее сустилась она подле снохи, чем усерднее ласкалась к ней и уговаривала ее, тем сильнее плакала и рыдала Дуня. Голос участия и всевозможные утешительные соболезнования действуют всегда отрицательно в тех случаях, когда сердце слишком переполнено скорбью: они большею частью только раздражают и без того уже раздраженное сердце человека, убитого горем. Лучше всего предоставить его самому себе, дать ему полную волю наплакаться; время, тишина и покой – лучшие утешители; слова утешения в этих случаях часто разъясняют нам всю цену того, что мы потеряли и что оплакиваем.

– Да ты мне только скажи, болезная, на ушко шепни – шепни на ушко, с чего вышло такое? – приставала старушка, поправляя то и дело головной платок, который от суеты и быстрых движений поминутно сваливался ей на глаза. – Ты, болезная, не убивайся так-то, скажи только... на ушко шепни... А-и! А-и! Христос с тобой!.. С мужем, что ли, вышло у вас что неладно?.. И то, вишь, он беспутный какой! Плюнь ты на него, касатка! Что крушить-то себя понапрасну? Полно... Погоди, вот старик придет: он ему даст!..

– Нет, матушка... Разве я через него?.. Так, сама не ведаю... Не говори батюшке... Христом-богом прошу, не говори ты ему...

– Что говорить-то? И-и-и, касатка, я ведь так только... Что говорить-то!.. А коли через него, беспутного, не кру-

шись, говорю, плюнь, да и все тут!.. Я давно заметила, невестела ты у нас... Полно, горящица! Авось теперь перемена будет: ушел теперь приятель-то его... ну его совсем!.. Знамо, тот, молодец, во всем его слушался; подучал его, парня-то, всему недоброму... Я сама и речи-то его не одна слушала... тьфу! Пропадай он совсем, беспутный... Рада до смерти: ушел он от нас... ну его!..

Но как бы там ни было, был ли всему виной Захар или другой кто, только тетушке Анне много раз еще после того привелось утешать молоденькую сноху свою. К счастью еще, случалось всегда так, что старик ничего не замечал. В противном случае, конечно, не обошлось бы без шума и крику; чего доброго, Гришке довелось бы, может статься, испытать, все ли еще крепки были кулаки у Глеба Савиныча; Дуне, в свой черед, пришлось бы тогда пролить еще больше слез.

Но Глеб, занятый с раннего утра до позднего вечера своими вершами и лодками (время рабочее проходило, и надо было поторопиться зашибить лишнюю копейку), не обращал никакого внимания на житье-бытье молодых. Недосуг было; к тому же хотя зоркий, пронизательный взгляд старика в последнее время притуплялся, ему все-таки легче было уловить едва заметное колебание поплавок или верши над водою, чем различить самое резкое движение скорби или радости на лице человеческого. Старик глядел меньше на лицо, чем на руки. Приходил он домой в обед или ужин и всякий раз заставал Дуню в хлопотах по хозяйству: чего ж ему

еще? Он оставался очень доволен снохою. «Нет, не обманул меня сосед, – думал Глеб, – дочка его, точно, хлопотунья, работающая бабенка, к тому же смирна добре... Сначатия-то как словно не так, чтобы совсем ладно повела себя, а теперь, грех сказать, попрекнуть нечем!..»

Дуня, с своей стороны, движимая, может статься, чувством совестливости, которую пробуждал в ней ее проступок, ревностно работала, стараясь этим способом загладить перед тестем и тещею прежнюю вину свою. Со дня поступления ее в дом никто не слышал от нее противного слова; несмотря на теперешнее трудное положение свое, она не только не отказывалась от дела, но даже сама добровольно хлопотала от зари до зари. Нежная, истинно материнская заботливость, которую обнаруживала тетушка Анна к горшкам своим, встретила в Дуне опасную соперницу. К этому, не мешает заметить, способствовал теперь отчасти сам Гришка: день ото дня он делался сговорчивее, переставал хмуриться и буянить. Наступившая зима подействовала еще благотельнее на отношения молодых. И то сказать надо: сколько ни отмалчивайся, сколько ни серчай, а пять зимних месяцев кряду – не выдержишь: хоть словечко, да вымолвишь. Видно, надоело Гришке кипятиться попусту: зима в избе, что тихое семейное житье, худому не научит – советница добрая...

Починка сетей, плетение вершей, строгание багров и весел, приготовление саков и поплавок заняли теперь исключительно Глеба: все эти предметы представили обильную пи-

щу неугомонной деятельности старика. Но что ни говори, строгание весел и починка сетей дело все-таки мертвое сравнительно с ловлею живой рыбки, – живой промысел. Страшные морозы, сковавшие Оку ледяною корою, пригвоздили к лавке старого рыбака; ничто уже не мешало ему теперь обратить частичку внимания на жену, на житье-бытье молодых, на хозяйство. Просиживая день-деньской в избе, Глеб окончательно вывел самое выгодное мнение о снохе своей. Говоря об этом предмете с дедушкой Кондратием, который частенько заглядывал на площадку – благо ход через реку был теперь свободен, – Глеб не нахваливался. Добрые слова соседа заметно веселили преклонного старичка. Впрочем, в последнее время все были как-то довольны и веселы. Но веселье и довольство овладели всеми еще в большей мере, когда к исходу зимы в доме рыбака неожиданно появилась у печки люлька и вслед за тем послышались детские крики. Тут уже седые брови Глеба как словно совсем расправились, а белая голова дедушки Кондратия заходила еще пуще прежнего из стороны в сторону; но уже не от забот и печали заходила она таким образом, а с радости. О тетушке Анне и самой Дуне говорить нечего!.. Самые любимые горшки, самые избранные корчаги остались на время в забвении!.. Даже Гришка – и тот стал весело, самодовольно потряхивать волосами.

Вместе с этим слабым детским криком как словно какой-то животворный луч солнца глянул неожиданно в темную, закоптелую избу старого рыбака, осветил все лица,

все углы, стены и даже проник в самую душу обывателей; казалось, ангел-хранитель новорожденного младенца осенил крылом своим дом Глеба, площадку, даже самые лодки, полузанесенные снегом, и дальнюю, подернутую туманом окрестность.

Давно уже прошла капель с кровель, прошел лед по Оке, уже прилетели скворцы и жаворонки, когда Дуня вышла в первый раз за ворота.

Был чудесный, теплый день только что начинающейся весны.

Не знаю, воздух ли подействовал так благодатно на Дуню, или душа ее была совершенно довольна (мудреного нет: Гришка обращался с ней совсем почти ласково), или, наконец, роды поправили ее, как это часто случается, но она казалась на вид еще бодрее, веселее и красивее, чем когда была в девках. А между тем на каждом плече ее было по коромыслу и на каждом коромысле висела немалая тяжесть рубах и всякого другого тряпья; немало также предстояло ей забот: требовалось привести все это в порядок, вымыть, развесить, просушить, прикинуть кой-где заплату, кой-где попросту прихватить нитками – работы больно довольно. Она весело спустилась, однако ж, к концу площадки – туда, где за большими камнями шумел ручей, впадающий в Оку, и так же весело принялась за дело.

Уже час постукивала она вальком, когда услышала за спиной чьи-то приближающиеся шаги. Нимало не сомневаясь,

что шаги эти принадлежали тетушке Анне, которая спешила, вероятно, сообщить о крайней необходимости дать как можно скорее груди ребенку (заботливость старушки в деле кормления кого бы то ни было составляла, как известно, одно из самых главных свойств ее нрава), Дуня поспешила положить на камень белье и валец и подняла голову. Перед ней стоял Захар.

XXI

Продолжение предыдущего

Захар далеко уже не казался теперь тем щеголем, каким видели его на комаревской ярмарке и потом у Глеба. Одежда на нем была, однако ж, все та же, но потому-то самому, может статься, и была она так неказиста, что целых пять-шесть месяцев кряду находилась бессменно на плечах его. Широкие синие шаровары из крашенины, засученные до половины икры с целью предохранить их от грязи, но вернее, чтобы скрыть лохмотья, которыми украшались они внизу, как бахромою, значительно побелели, местами даже расползались. Жилета с светлыми пуговицами, этого знака отличия, которым спешит обзавестись всякий фабричный, как только проникается сознанием личного превосходства своего над пахарем и лапотником, — жилета, которым так справедливо гордился и дорожил Захар, — жилета не было!.. Оставались одна только ситцевая розовая рубашка и картуз; да и те сохра-

няли такие сокрушительные следы дождей, пыли и времени, смотрели так жалко, что наносили решительное поражение внешнему достоинству сельского франта. Даже лицо его как будто изнашивалось заодно с картузом и рубашкой; оно, конечно, могло бы точно так же пленять серпуховских мещанок и фабричных девок, но не отличалось уже прежней полнотой и румянцем. Видно было, что Захар с того времени, как простился с Глебом, питался не одними калачами да сайками. За плечами его болталась на конце палки баранья шубенка такого отчаянного вида, как словно часа два сряду стреляли в нее пулями. Невредимую осталась одна гармония, да и то потому, я думаю, что материалы, ее составлявшие, состояли большею частию из меди и дерева.

Со всем тем Захар все-таки глядел с прежнею наглостью и самоуверенностью, не думал унывать или падать духом. В ястребиных глазах его было даже что-то презрительно-насмешливое, когда случайно обращались они на прорехи рубашки. Казалось, жалкие остатки «форсистой» одежды были не на плечах его, а лежали скомканные на земле и он попирали их ногами, как предметы, недостойные внимания.

С таким видом приблизился он к хозяйке приемыша. Он подошел, однако ж, не вдруг: шагов за десять, когда Дуня не подозревала о его прибытии, Захар остановился, чтобы оправиться. Глаза его между тем любопытно следили за каждым движением молоденькой, хорошенькой бабенки; они поочередно перебегали от полуобнаженной груди, которую

позволяло различать сбоку наклоненное положение женщины, к полным белым рукам, открытым выше локтя, и обнаженным ногам, стоявшим в ручье и подрумяненным брызгами холодной воды. Нельзя сказать утвердительно, какое впечатление произвел на Захара этот осмотр; он казался сначала как будто удивленным. В бытность свою у Глеба он не удостоивал почти вниманием хозяйку Гришки: называл ее «сухопарой козой», «жимолостью» и другими именами. Надо полагать, однако ж, что на этот раз Захар отказывался от прежнего мнения, и впечатление, произведенное на него молодой женщиной, относилось к ее чести. Он даже подмигнул с каким-то особенным лукавством левым глазом и, сделав выразительный знак бровями, пошел прямо к Дуне, не переставая охорашиваться.

– Здравствуй, Дунюшка!.. Как вы, Авдотья Кондратьевна, живете-можете? – сказал Захар, самодовольно ухмыляясь, между тем как Дуня поспешно застегивала запонку сорочки и обдергивала приподнятую поняву.

– Здравствуй, – отвечала она, не обнаруживая ни радости, ни досады.

Мало-помалу, с внутренним довольством, из памяти ее изгладились слова тещи, которая уверяла всегда, что Захар был главным виновником первых ее горестей; она совсем почти забыла бывшего товарища мужа.

– Не узнаешь, что ли?.. – промолвил Захар, потряхивая головой. – Сдается, не так чтобы очень давно не видались

– старый дружок!..

– Как забыть?.. Помню! – вымолвила она на этот раз не очень весело. – Откуда?.. – прибавила она, принимаясь укладывать готовое белье.

– А я из Клишина: там и переехал; все берегом шел... Да не об этом речь: я, примерно, все насчет... рази так со старым-то дружком встречаются?.. Как словно и не узнала меня!.. А я так вот взглянул только в эту сторону, нарочно с дороги свернул... Уж вот тебя так мудрено признать – ей-богу, правда!.. Вишь, как потолстела... Как есть коломенская купчиха; распрекрасные стали!.. Только бы и смотрел на тебя... Эх! – произнес Захар, сделав какой-то звук губами.

Дуня ничего не отвечала: она бросила взгляд к воротам и торопливо стала укладывать белье на коромысло.

– А что, ваши все дома?.. – спросил Захар.

– Дома, – отвечала Дуня, подымая коромысла и уравнивая их на плечах.

– Плечики наест: дай подсоблю, – обязательно промолвил Захар.

– Не надо: сама управлюсь.

– Что ж так?

– Да так; сама принесла, сама и отнесу, – сухо сказала Дуня, направляясь к избам.

Захар приостановился, поглядел ей вслед и знаменательно подмигнул глазом; во все время, как подымался он за нею по площадке, губы его сохраняли насмешливую улыбку – улыбку

ку самонадеянного человека, претерпевшего легкую неудачу. Ястребиные глаза его сильнейшим образом противоречили, однако ж, выражению губ: они не отрывались от молодой женщины и с жадным любопытством следили за нею.

Вступив под ворота, Захар тотчас же оставил свое преследование и прямо пошел к Глебу и Гришке, которые работали под навесом.

– Здорово, хозяин! – молодежато воскликнул Захар, приподымая картуз и дружелюбно кивая головою Гришке, который поспешил ответить товарищу тем же знаком.

– Здорово, брат! – проговорил Глеб с расстановкой. – Отколе бог несет?

– А я теперича из Клишина; там и переехал...

– А, примерно, где жил, спрашиваю? Переехать везде можно, – сказал старик, пристально оглядывая гостя.

– Жил больше по фабрикам... больше в Серпухове... там есть у меня приятель фабрикант... у него больше пробавлялся, – отвечал без запинки Захар.

– Так что ж ты такой общипанный? Стало быть, приятель-то худо расчелся?

– Нет, расчелся как следует!.. В себе перемены не вижу, все как быть должен! – решительно возразил Захар.

– Я говорю, как у нас жил, локти, примерно, целы были. Вот что я говорю.

– Мы носим по времени. Нарочно не взял хорошей одежды: оставил в «Горах» у приятеля... Хорошо и в этой тепе-

рича: вишь, грязь, слякоть какая, самому давай бог притащиться, не токмо с пожитками.

– Что ж, наниматься пришел?

– Пожалуй... потому больше – время теперича слободное... таким манером, коли надобность есть, можем опять послужить.

– Нужды чтобы оченно большой нету... а все одно, взять можно, – проговорил старик, стараясь показать совершеннейшее равнодушие и не замечая, как Гришка подавал знаки, пояснявшие Захару, что он пришел в самонужную пору.

Глеб действительно нуждался в работнике; еще за две недели перед этим наведывался он в Комарево и просил прислать ему батрака, если такой найдется, просил прислать в наискорейшем времени. Появление Захара избавляло Глеба от лишних хлопот.

«Он хоша проклажаться и любит, да по крайности человек знакомый; знаю я его обычай, знаю, как с ним и поуправиться. Другого наймешь, каков еще будет!»

Рассуждая таким образом, старик не терял из виду прорех, которыми покрыта была одежда Захара. Эти прорехи служили основою многим соображениям в голове хитрого старика. Сомневаясь в существовании горских и серпуховских приятелей, а также и в одежде, вверенной будто бы их попечению, Глеб смекнул в одно мгновение ока, что в делах Захара стали, как говорится, «тесные постояльцы» и что, следственно, ему будет теперь не до торгов – что дашь, то и

возьмет. Догадки старика были верны во всех отношениях. Захару приходилось хоть в петлю лезть; несмотря на знаки Гришки, которые поясняли ему, что работник нужен, он решился не запрашивать большой цены, опасаясь, чтобы старик, чего доброго, не отказал взять его.

– Ну, что ж? Коли наниматься пришел, можно... Пойдем в избу: там переговорим; к тому и обедать время, – сказал Глеб, покрывавшая и приподымаясь на ноги.

Результатом переговора было то, что Захар нанялся до осени, помесечно, у прежнего своего хозяина, Глеба Савинова.

– Вот нелегкая принесла, прости господи! – сказала те-тушка Анна, оставшись с глазу на глаз с Дуней после обеда. – Тьфу! Провались он совсем!.. Вот, Дунюшка, погляди, коли опять не завертит Гришку. И в ту-то пору убивалась ты все через него, беспутного; я сама не одна и речи-то его непутные слушала... Тот, вестимо, и рад тому: парень, знамо, еще глупый; во всем его, касатушка, слушает... Уж так супротивен мне этот охаверник Захар, так супротивен... не глядели бы глаза мои!.. Помяни мое слово, коли опять не свертит, окаянный, парня-то... Словно приворожил его к себе... Чай, смотри уж теперь где ни на есть шушукаются: знамо, тот, глупый, и рад эвтому!

– И то, матушка, рад, – печально вымолвила Дуня, – во весь обед только и дело, что переглядывались...

– О-ох! То-то вот, болезная, не надуть бы его в дом пу-

щать! – перебила старушка, нетерпеливо качая головою. – Да что ты с ним, с нашим стариком, делать-то станешь!.. Поди-ка скажи ему, сунься-ка – с чем пришла, с тем и уйдешь; ничегохонько-то он в толк не возьмет... Такой уж, видно, человек на свете уродился! Скажи ему, хуже еще упрется, и ну пору сам видит: дело ты говоришь, а перемены все нет никакой; что сказал наперед: худо ли, хорошо ли, на том и поставит – по его чтоб было!.. И с чего это польстился так на Захара на этого? Сам ведь, касатка, на него жалился: и такой, мол, и сякой, говорил... а теперь опять взял... То-то вот, родная, корысть-то добре обуяла его; к старости не надуть бы этому; а он пуще еще стал любить деньгу. Вот хошь бы наемни говорю это ему: горшки, мол, говорю, перебиты; купить, говорю, надо... Сама говорю так-то, а у самой так вот по сердцу-то и подкатилось, словно и невесть о какой беде толкую ему: до того довел, касатка! Как закричит на меня, насилу ноги уплела, – гроша медного не дал... Вот ведь скупость-то какая!.. Больше, думаю, и польстился на Захара, нанял его – мало денег запросил... Того, может статься, не ведает: этакого охаверника беспутного и даром-то никто не возьмет... Чай, так, без места где-нибудь шатался, провалиться бы ему стамши! Не видишь его, помянешь только – и тут нагрессишь! – заключила с сердцем старушка.

Догадки тетушки Анны не замедлили оправдаться. Прошло всего несколько дней после прихода Захара, а Дуня успела уже заметить в своем муже значительную переме-

ну. Спустя месяц какой-нибудь Гришка окончательно не тем стал, чем был до появления товарища. Он не то чтобы возобновил прежнее упорное молчание или снова сделался мрачен в обращении с женою, – совсем напротив: на этот раз Гришка представлял из себя какого-то отчаянного лихача, бесшабашного гуляку. Он не переставал хвастать перед женою; говорил, что плевать теперь хочет на старика, в грош его не ставит и не боится настолько – при этом он показывал кончик прута или соломки и отплевывал обыкновенно точь-в-точь, как делал Захар; говорил, что сам стал себе хозяин, сам обзавелся семьею, сам над собой властен, никого не уважит, и покажи ему только вид какой, только его и знали: возьмет жену, ребенка, станет жить своей волей; о местах заботиться нечего: местов не оберешься – и не здешним чета! Захар и то говорил, что такую ловкую бабенку, как Дуня, с радостью примут на любой фабрике, что сам Захар похлопочет об этом; что ж касается до Гришки, и толковать нечего! Только свистни они с Захаром, все фабрики настезь, выбирай из любка-любую! То-то будет житье! Эхма, загуляем! Держись только!

Когда Дуня останавливала его, он начинал браниться, заставлял ее молчать или, что еще хуже, начинал трунить над нею в присутствии Захара, называл ее просто дурой, часто даже сам вызывал Захара посмеяться над нею.

Дружба приемыша с работником упрочивалась каждый день. Захар, по-видимому, сложил перед Гришкой велича-

вое свое достоинство: он обращался с ним как с ровней. Они были неразлучны. Дуня поминутно заставляла их, сидящих в каком-нибудь украинном месте двора или в лодке. Захар пел песни, наигрывая на гармонии, или разговаривал. Гришка слушал его и украдкой покуривал трубку. Посреди этих дружеских разговоров не раз приходилось ей слышать собственное свое имя, произносимое с похвалою. Дружеские чувства Захара были так сильны, что невольно обращались на жену приятеля. Он принимал живейшее участие во всех трудах ее. Требовалось ли нести белье на ручей и отдать кому-нибудь на руки ребенка, Захар являлся тотчас же к услугам; он не спускал с нее ястребиных глаз, старался всячески угодить ей и следовал за ней повсюду. Скромность Захара заставляла его устраивать всегда таким образом, чтобы все эти ухаживания и угождения оставались тайною для домашних и были известны одной только молодежи. Казалось, он во все не замечал, как сухо, как досадливо принимаемы были всегда молодой женщиной его услуги; она редко даже отвечала ему, чаще всего отворачивалась и отходила прочь. Любезность Захара только возрастала. Стоило Дуне показаться одной на дворе или у огорода, она непременно встречала работника. Он делал всегда вид, как будто встреча произошла случайно; а между тем, откуда ни возьмись, в руках его появлялась неожиданно гармония. Он прислонялся плечом к воротам или плетню и, умильно поглядывая на Дуню, тотчас же запевал вполголоса какую-нибудь песню, слегка подыгрывая

на гармонии. При малейшем движении молодки он обращал глаза в другую сторону, замолкал и ограничивался тем лишь, что сохранял прежнюю молодецкую осанку.

Но мало-помалу вместе с любезностию в нем стала появляться особенная какая-то смелость. Раз даже начал он заигрывать с Дуней. Кроме молоденькой бабы и работника, на дворе никого не было. Окинув быстрым взглядом навесы и крылечко, Захар ловко подкрался к Дуне и нежно прошептал:

– Эки вы сахарные, Авдотья Кондратьевна!

– Отстань! – сказала она, вся вспыхнув от негодования, и так сильно ударила его кулаком, что он отскочил в сторону.

– Что же это вы как спесивитесь?.. Полно, Дунюшка!.. – промолвил Захар, снова приближаясь.

– Подступись только, низкий ты этакой! – вскричала она, сжимая кулаки и становясь в оборонительное положение.

– Ш-т! Что ты кричишь-то... словно режут тебя... – произнес он, оглядываясь вокруг.

– Нет, буду кричать – нарочно буду кричать...

– Полно тебе... ш-т!.. Авдотья Кондратьевна... перестань...

– Чего ты грозишь-то? Чего стращаешь? Думаешь, испугалась, – подхватила она, все более и более возвышая голос. – Нарочно буду кричать: пускай все придут, пускай все узнают, какой ты есть человек... Все расскажу про тебя, все дела твои... Ах ты, низкий! Да я и смотреть-то на тебя не хочу!

Низкий этакой! – кричала Дуня вслед Захару, который улепетывал со всех ног в задние ворота.

«А! Так-то ты, голубушка! – подумал Захар, приставляя глаза к щелям плетня и пугливо оглядывая двор. – Ах ты, шушера! погоди ж, коли так: я тебе дам знать; будешь помнить Захарку!»

К счастью Захара, на голос Дуни никто не явился: все домашние находились на дальнем конце площадки, и похождение его прошло никем не замеченным.

С того же дня Захар переменил свое обращение с Дуней. Он понял, что тут не то, что с фабричными девками: смелостью и удалью ничего не возьмешь – надо вести дело исподволь. Основываясь на этом, он совершенно оставил на первое время свои преследования и принял вид человека, которого обругали или оскорбили самым незаслуженным образом.

– За что тогда осерчала на меня? – сказал он при случае Дуне. – Маленечко так... посмеялся... пошутил... а тебе и невесть что, примерно, показалось! Эх, Авдотья Кондратьевна! Ошиблась ты во мне! Не тот, примерно, Захар человек есть: добрая душа моя! Я не токмо тебя жалею: живучи в одном доме, все узнаешь; мужа твоего добру учу, через э-то больше учу, выходит, тебя жалею... Кабы не я, не слова мои, не те бы были через него твои слезы! – заключил Захар с неподражаемым прямодушием.

В его голосе был даже слышен упрек оскорбленной доб-

родетели, которая приняла твердую решимость отплачивать добром за причиненное зло.

И в самом деле, движимый, вероятно, этой мыслью, стал он с некоторых пор еще усерднее наставлять своего товарища. Действия Захара оставались совершенно закрытыми для домашних. Но распутные поступки – все равно что злые семена: как глубоко ни запрятывай их в землю, рано или поздно окажутся они на поверхности. Первый плод Захарова посева был небольшой зеленый штоф, именуемый в простонародье «косушкой», который случайно увидела Дуня в руках своего мужа. За этим штофом не замедлили последовать многие штофы. Наставления Захара попали, видно, в плодородную почву. Нередко в ночное время, когда все спали крепким сном в доме старого рыбака, Гришка украдкой выбирался из клетки, исчезал в задних воротах. Опасаясь навлечь на себя гнев мужа, Дуня делала вид, как будто ничего не замечает. Этой мерой она думала сохранить к себе доброе расположение мужа. Говорить ему или усовещивать его – не поможет; пускай же по крайней мере думает он, что жена или ничего не видит, или заодно с ним. Со всем тем, как только исчезал Гришка, она поспешно приподымалась с постели и отправлялась по следам его; она ясно различала тогда при трепетном мерцании звезд, как Гришку встречал кто-то на дальнем конце площадки и как потом оба они садились в челнок и переплывали Оку. Куда и зачем отправлялись Захар и Гришка – Дуня не знала. Часто, полная беспокойства и

трепетных ожиданий, просиживала она целую ночь на зава-
линке, отрываясь только, чтобы покормить ребенка. Резуль-
тат тайных переправ через Оку был всегда тот, что Гришка
возвращался шибко навеселе. Раз даже пришел он до того
хмелен, что начал шуметь и разбудил тетушку Анну, спав-
шую с молодыми в смежной клетушке.

– Что ты, беспутный, делаешь-то, а? Что ты делаешь? –
с негодованием заговорила старушка, прикладывая попере-
менно то ухо, то губы к плетню, отделявшему ее от Гриш-
ки. – Ах ты, потерянный ты этакой!.. Так-то ты!.. погоди,
погоди, дай старику-то встать: он те даст пьянствовать, бес-
путный ты этакой!..

При этом Гришка, грозивший в самую эту минуту выбро-
сить старика из саней, притих, как будто мгновенно опусти-
ли его на самое дно Оки. Уложив мужа, Дуня тотчас же по-
шла к свекрови и упросила ее ничего не говорить Глебу; те-
тушка Анна долго не соглашалась: ей всего больше хотелось
вывести на свежую воду этого плута-мошенника Захара, – но
под конец умилилась и дала обещание молчать до по-
ры до времени. Все это ни к чему, однако ж, не послужило.
Хотя Глеб действительно ничего не видал, не слышал и даже
не подозревал, но он все узнал на другое же утро. Случай
помог ему в этом.

Глебу встретилась надобность побывать чем свет в Кома-
реве; он узнал накануне, что одному из комаревских фабри-
кантов требовалась для крестьян свежая рыбка: рыбка такая

была у него, и он поспешил сообщить об этом по принадлежности. Почти у самого входа в Комарево, недалеко от кабака Герасима, столкнулся он с братом фабриканта, к которому шел.

– А я вот, Глеб Савиныч, только что искал паренечка к тебе послать, – сказал, здороваясь, фабрикант.

– Рыбка, что ли, нужна? – спросил старик, как бы с трудом догадываясь о предмете посылки.

– Есть, что ли?

– Найдется... можно...

– Ну, так принеси; мотри, скорей только; я и то было встретил вечер твоих молодцов: хотел наказать им...

– Каких молодцов? – перебил Глеб.

– Каких! Известно каких: твоего работника да еще другого... Григорья, что ли?

– Где ж ты их встрел?

– Где! Известно где: у нас, в Комареве.

– Я не знал, что они сюда ходят, – проговорил удивленный старик.

– Где ж тебе знать: бывают не днем – ночью; у вас, я чай, все давно спят.

– За какую же надобностью сюда приходили?

– Экой ты, братец ты мой, чудной какой! Народ молодой: погулять хочет... Потому больше вечер и не наказывал им об рыбке: оба больно хмельны были; ну, да теперь сам знаешь. Неси же скорей, смотри, рыбу-то!..

– Ладно, сейчас будет! – проговорил Глеб, нахмуривая брови и почесывая затылок.

Старый рыбак показал вид, что идет домой, но как только фабрикант исчез в воротах, он поспешно вернулся назад и вошел в кабак.

– А что, примерно, Герасим, – спросил Глеб, обращая глаза на безжизненное, отекавшее лицо целовальника, – были у тебя вечер... мои ребята?..

– Ня знаю!.. Никаких я твоих ребят ня знаю... – проговорил Герасим, едва поворачивая голову к собеседнику и медленно похлопывая красными веками.

– Как не знаешь? – нетерпеливо вымолвил старик. – Ты должен знать... потому это, примерно, твое выходит дело знать, кто у тебя бывает... Не тысяча человек сидит у тебя по ночам... должен знать!..

– Не мое дело! – невозмутимо проговорил целовальник, шлепая котами и направляясь за соседнюю перегородку.

Глеб, у которого раскипелось уже сердце, хотел было последовать за ним, но в самую эту минуту глаза его встретились с глазами племянника смедовского мельника – того самого, что пристал к нему на комаревской ярмарке. Это обстоятельство нимало не остановило бы старика, если б не заметил он, что племянник мельника мигал ему изо всей мочи, указывая на выходную дверь кабака. Глеб кивнул головою и тотчас же вышел на улицу. Через минуту явился за ним мельников племянник.

– Чего тебе? – спросил Глеб.

– Нет, погоди: здесь не годится; завернем за угол, Глеб Савиныч, неравно Герасим увидит...

– А что тебе до него?

– Нет, не годится; осерчает...

– Тьфу, чтоб вас всех! – с сердцем произнес Глеб, поворачивая, однако ж, за угол.

– Ты спрашивал, Глеб Савиныч, про работника да еще про своего... как бишь его!..

– Ну!

– Ну, точно, были это они вечер здесь, сам видел, своими глазами; уж так-то гуляли... и-и! То-то вот, говорил тебе тогда: самый что ни есть пропащий этот твой Захарка! Право же, ну; отсохни мои руки, коли годится тебе такой человек; не по тебе совсем...

– Об этом сумлеваться мое дело; тебя не спрашивают; а примерно, знать хочу, чем они расплачивались за вино... Али, может, в долг брали?

– Расплачивались чем?.. Захар поил; он расплачивался – деньгами расплачивался... а то чем же?..

– А не видал – рыбы, примерно, с ними не было? Не расплачивались они рыбой?.. – перебил старик, пристально взглядывая в лицо собеседника.

– Нет, рыбы не видал: платили деньгами; да все ведь одно... Ну, право же слово, не годится он тебе, не тот человек... Я говорил тогда... Право, не годится; он и парня-то

твоего спойт! – усердствовал племянник мельника.

Но рыбаку только и надо было знать. Он повернулся спиной к парню и без дальних объяснений вышел из Комарева.

Принимая в соображение неудовольствие, с каким выслушивал Глеб рассказ фабриканта, можно было думать, что чувство досады превратится в ярость, когда он окончательно удостоверится в истине всего слышанного. Вышло совсем другое: известие, что платил Захар, и притом платил деньгами, мгновенно угомонило гнев старика. Первой мыслью его, как только проведал он о ночной прогулке парней, было то, что Захар и Гришка утаивают от него пойманную рыбу, ловят ее втихомолку, по ночам, без его ведома, и дают ее в обмен за вино. Надо отнести к чести рыбака: его в этом случае не столько возмущала пропажа рыбы (хотя и это отчасти щемило его за сердце), сколько самый поступок. Родного сына, самого Ваню, не помиловал бы он – ни за что не помиловал бы за воровство. Глеб пришел все-таки к тому заключению, что надо дать напругай Гришке и Захару. Он, конечно, не ограничился бы этим, если б знал, в какой мере повторялись ночные гулянки и попойки; но старик, как мы уже имели случай заметить, ничего не подозревал. Он думал, что это была первая проделка приемыша в таком роде, первое его слушание, и потому решился только постращать его хорошенько, чтоб наперед страх имел. А то, пожалуй, не сократить парня – дойдет и до того дело, взаправду станут красть рыбу.

Такому снисходительному решению немало также способствовало хорошее расположение старика, который радовался втихомолку случаю выгодно сбыть пойманную вчера рыбку. Рыбка в последнее время действительно плохо что-то ловилась и приносила редкие барыши: нельзя же было не порадоваться!

Когда челнок Глеба пристал к берегу, Захар и Гришка занимались на площадке развешиванием бредня.

Оставив весло и шапку в челноке, старик прямо пошел к приемышу.

– Где ты был нонче ночью, а? – спросил он, останавливаясь перед парнем.

При этом неожиданном вопросе Гришка остолбенел, как будто его стукнули по голове; он опешил совершенно.

Захар между тем поспешно отошел несколько шагов, пригнулся к бредню и так усердно принялся за работу, что можно было подумать, что он ничего не слышит и не видит.

– Тебя спрашивают, говори, где был? – нетерпеливо повторил старик.

– Я... батюшка... где?.. Я не знаю, про что ты говоришь, – пробормотал Гришка, пятясь назад и украдкой косясь на Захара.

Но Захару было не до Гришки: работа, казалось, поглощала его совершенно.

– Ты со мной толком говори! – сказал Глеб, возвышая голос. – Что ты мне турусы путаешь... говори – ну!..

– Где ж мне быть, коли не дома?.. – оправляясь, произнес парень.

– Ой ли!.. А кто ж в кабаке-то был, а?..

– Провалиться мне на этом... – начал было Гришка, но старик не дал ему договорить.

– Ну, ладно, – промолвил он, нахмуривая брови и поворачиваясь к работнику. – Захар, поди сюда и ты...

Захар быстро выпрямился, весело тряхнул волосами и приблизился, сохраняя на лице своем выражение школьника, которого учитель вызывает на середину класса, с тем чтобы поставить в пример товарищам.

– Ну, слушай!.. Слушай и ты!.. – произнес старик, обращая суровые взгляды поочередно то на одного, то на другого. – У меня чтоб это было в последний – слышь, в последний, говорю! Узнаю, разделаюсь с вами по-свойски: тебя проучу... Ты у меня на эвтом месте трое суток проваляешься, я те найду укромное место... Тебя, Захар, одного-единого часу держать не стану, со двора сгоню! Коли пьянствовать хочешь, ступай к своим приятелям в Серпухов либо в другое место: там и распутничай!.. А то пришел в чужой дом, к чужим людям, да других еще сманивать вздумал!.. Зависть берет, видно, на хорошее житье; сам распутствуешь, довел себя до того – одни лохмотья на спине только и есть... и других к тому же подвести хочешь!.. Губи себя сам, коли пришла такая охота, жизнь тебе недорога: дображничаешь до сумы; дойдешь, может статья, и до того – кандалы набьют, даро-

вого хлебца отведаешь, узнаешь, примерно, в каких местах остроги стоят!.. За худым пошел – худое и найдешь... Других только не тронь; сам с собою управляйся, как знаешь; пожалуй, вовсе не наблюдай себя, а к чужим людям пришел, живи как велят – вот что! А ты, Гришка, в последний раз говорю: выкинь дурь из головы; увижу что, оборони тебя бог, тогда на себя одного пеняй: сам, значит, захотел – говорено было!.. Ну, пошел в избу, спроси у старухи ведро да сюда неси! – неожиданно заключил Глеб, поворачиваясь лицом к Оке.

Он направился к ручью. Почти против того места, где ручей впадал в реку, из воды выглядывала верхушка огромной плетеной корзины, куда Глеб прятал живую рыбу. Пока выбирал он из этого самодельного садка рыбу, приемыш успел вернуться с ведром.

Несколько минут спустя оба отчалили от берега.

Во все это время Захар не переставал возиться с бреднем; усердие его было беспримерно: он не поднял даже головы над работой!

Каким образом, стоя спиною к Оке, мог увидеть Захар, что Глеб переехал реку и как затем исчез в кустах – неизвестно; но только он мгновенно потрянул головою, плюнул сажени на три и развалился на песке. Глаза его следили с каким-то нетерпеливым лукавством за Гришкой, который возвращался назад.

Увидев нахмуренное лицо приемыша, Захар залился тоненьким, дребезжащим смехом.

Гришка отвернулся и с досадою бросил весло. После того он сел наземь, уткнул локти в колени и положил голову в ладони.

Выходка эта окончательно, по-видимому, распотешила Захара: он залился еще звончее прежнего.

– Ну, что глотку-то дерешь? – с сердцем сказал приемыш. – Тебе все смешки да смешки...

– А то как же! По-бабьи зарюмить, стало быть? – насмешливо перебил Захар. – Ай да Глеб Савиныч! Уважил, нечего сказать!.. Ну, что ж ты, братец ты мой, поплачь хошь одним глазком... то-то поглядел бы на тебя!.. Э-х!.. Детина, детина, не стоишь ты алтына! – промолвил Захар.

И лицо его сделалось вдруг недовольным.

– Где тебе жить в людях по своей воле, – продолжал он тоном презрения, – только что вот куражишься! «Я да я!», а покажи кулак: «Батюшка, взмилуйся!», оторопел, тотчас и на попятный...

– Видали мы и тебя... сам больно хоробер... что ж ты молчал-то! – проворчал Гришка.

– Не о себе говорю, дружище! – произнес, поддразнивая, Захар. – Мое дело сторона; нонче здесь, завтра нет меня! Не с чего шуму заводить: взял пачпорт, да и был таков; сами по себе живем; таким манером, Глеб ли, другой ли хозяин, командовать нами не может никто; кричи он, надсаживайся: для нас это все единственно; через это нас не убудет! Тебе с ним жить: оттого, примерно, и говорю; поддавайся ему, он

те не так еще скрутит!..

Гришка ничего не отвечал и только отвернулся.

Захар также отвернулся, подперся локтем и принялся беспечно посвистывать. Так прошло несколько минут. Наконец Захар снова обратился к приемышу; на лице его не было уже заметно признака насмешки или презрения.

– Гришка, – сказал он тоном дружбы и товарищества, – полно тебе... Ну, что ты, в самом деле? Слушай: ведь дело-то, братец ты мой, выходит неладно; надо полагать, кто-нибудь из домашних сфискалил. Сам старик, как есть, ничего не знал!

– Старуха сказала; она и то намедни грозилась, – отвечал Гришка, откидывая назад волосы.

– Ну, нет, брат, сдается не так. У нее коли надобность есть какая, подступить не смеет, три дня округ мужа-то ходит.

– Кто ж, по-твоему?.. Жена? Та не посмеет.

– Что говорить! Тебя спросится!

– Небось не скажет: побоится.

– Как не бояться!

– Знамо, боится! – хвастливо произнес Гришка.

– Много, брат, форсу берешь – вот что! Глядел бы лучше.

– А что?

– Да то же... Кабы глядел, не стала бы она фискалить.

– Ты рази видел? – вымолвил приемыш, оживляясь до последнего суставчика.

– Не видал бы, не стал бы говорить; стало быть, видел.

– Ну! – вымолвил Гришка, у которого при этом опустились брови и задрожали ноздри.

– Выходит, была, что ли, надобность со стариком шушукаться.

– Когда? – спросил Гришка, бросая злобный взгляд по направлению к воротам.

– Нынче утром, перед тем самым временем, как старику идти в Комарево.

Гришка сжал кулаки и сделал движение, чтобы приподняться на ноги; но Захар поспешил удержать его.

– Ну, что ты, полоумный! Драться, что ли, захотел! Я разик тому говорю... Ничего не возьмешь, хуже будет... Полно тебе, – сказал Захар, – я, примерно, говорю, надо не вдруг, исподволь... Переговори, сначала пострадай, таким манером, а не то чтобы кулаками. Баба смирная: ей и того довольно – будет страх иметь!.. Она пошла на это не по злобе: так, может статься, тебя вечор запужалась...

– Все одно! Я ж ее проучу! – перебил Гришка, не отрывая от ворот грозно сверкающих глаз.

– А проучишь, так самого проучат: руки-то окоротят!.. Ты в ней не властен; сунься только, старик-ат самого оттрепет!.. Нам в этом заказе не было: я как женат был, начала это также отцу фискалить; задал ей трезвону – и все тут... Тебе этого нельзя: поддался раз, делать нечего, сократись, таким манером... погоди! Постой... куда? – заключил Захар, видя, что Гришка подымался на ноги.

На этот раз, однако ж, Захар, движимый, вероятно, какими-нибудь особенными соображениями, не удержал Гришку. Он ограничился тем лишь, что следил за товарищем глазами во все время, как тот подымался по площадке. Как только Гришка скрылся в воротах, Захар проворно вскочил с места и побежал к избам, но не вошел на двор, а притаился за воротами.

Ступив на двор, Гришка натолкнулся прямехонько на жену.

– Ты это зачем отцу рассказывала, а? – крикнул он, оставиваясь перед ней.

– Что ты... Христос с тобою... – проговорила Дуня, бледнея.

– Зачем рассказала отцу? Говори! – подхватил он, яростно замахиваясь кулаком.

– Матушка! – невольно вырвалось из груди Дуни.

– А... так-то... кричать! – прошептал он, стискивая зубы, и бросился на нее.

Но в эту самую минуту на крылечке показалась Анна, а из ворот выскочил Захар. Последний, казалось, только этого и ждал. Оба кинулись на Гришку, который окончательно уже освирепел и, невзирая на двух заступников, продолжал тормошить жену.

– Батюшки-светы! Ба-а-тюшки! Держите его... окаянно-го! Ах, мои касатики! Бабу-то отымите! – завопила старушка, протискиваясь между мужем и женою.

– Оставь,пусти, хозяйюшка! Неравно еще зашибет. Вишь, полоумный какой! – заботливо сказал Захар, отслоняя одну рукою старуху, другою отталкивая Гришку.

– Ты что? – крикнул приемыш. – Не твое дело!

– Нет, врешь! Погоди, брат... драться не велят! – подхватил с необычайной горячностью Захар, который нарочно между тем раззадорил Гришку, нарочно затеял все это дело, чтобы доставить себе случай явиться заступником Дуни. – Погоди, милый дружок! – продолжал он, обхватывая приемыша, который снова было бросился к жене. – Ах ты, сумасбродный! Разве я не говорил тебе?.. Авдотья Кондратьевна... отходи... Не бойся, Захар не пустит! Нет, врешь, брат, не вывернешься... справимся! Ступай-ка, ступай! – заключил Захар, подхватывая Гришку и увлекая его с необыкновенной ловкостью на площадку.

– Глупый! Что ты делаешь-то, а? Я рази не говорил тебе? – примирительно подхватил Захар, все еще не выпуская Гришку, хотя они были уже довольно далеко от дому. – Полно ершиться-то, бешеный! Хошь бы отозвал ее куда, а то при старухе!..

– Подвернется... одна будет... не уйдет от меня!.. Я ей дам знать... – задыхаясь, проговорил приемыш.

– Ну, тогда-то и дело будет, а не теперь же! Старуха все расскажет... Экой ты, право, какой, братец ты мой! Говоришь: не замай, оставь; нет, надо было... Эх, шут ты этакой, и тут не сумел сделать!.. – промолвил Захар голосом, кото-

рый легко мог бы поддеть и не такого «мимолетного», взбалмошного парня, каким был Гришка.

Но хитросплетенная штука Захара, несмотря даже на совершенно удачное выполнение – такое выполнение, которое могло сделать честь ловласу и не в ситцевой набивной рубашке по сорока копеек за аршин, – не принесла, однако ж, ожидаемых результатов. Во всем, впрочем, оказался виноватым сам Захар. Он хотя и сообразил, что с женою Гришки не годится действовать на манер серпуховских мещанок – ничего не возьмешь, что тут надо вести дело исподволь, но не выдержал такого плана. Самоуверенность вывела дело начистоту. Обнадеженный успехом своей проделки и нимало не сомневаясь, что теперь дело пойдет наверняка – умеи только взяться, – он решился сделать приступ на другой же день после описанной нами сцены. Все благоприятствовало этому. Гришка, посланный Глебом в Сосновку за каким-то делом, должен был возвратиться не ранее вечера. Самому Глебу как-то нездоровилось после вчерашней прогулки в Комарево. Старик потягивался весь день в избе на лавке.

Как только наступил послеобеденный отдых, Захар отправился под навес, примазал волосы, подвел их скобкою к вискам, самодовольно покрутил головой, взял в руки гармонию, пробрался в узенький проулок к огороду и стал выжидать Дуню, которая должна была явиться развешивать белье.

В то же самое время как Захар стоял настороже, тетушка Анна сторожила, в свою очередь, минуту, когда Дуня выйдет

из избы развешивать белье. Старушка сказала, правда, снохе своей, что вчерашнее происшествие, равно как и другие проделки Гришки, останутся шиты и крыты, но в душе своей решила рассказать обо всем мужу. Оставшись одна глаз на глаз с Глебом, который все еще лежал на лавке, она почувствовала вдруг неизъяснимую робость: точно сердце оторвалось у нее. На том бы, может статься, и остановилось дело, если б Глеб не заговорил с нею. Он завел речь о хозяйстве и говорил словоохотливо. Это обстоятельство придало тотчас же духу жене. Она подошла к лавке и поведала ему без обиняков все, что лежало на душе. Рассказав о вчерашнем происшествии, о ночных похождениях Гришки и сделав свои замечания насчет того, что Гришка стал хмелем зашибаться, старушка перешла к Захару. По мнению ее, Захар был во всем главным зачинщиком и виновником. Он втравил Гришку во все недобрые дела. Ей самой сколько раз приходилось слышать его непутные речи. Недели за три перед тем Дуня сказала теще, что Захар не дает ей проходу, всячески подольщается к ней и раз дал волю рукам. Старушка передала точно так же и это обстоятельство мужу. Из слов ее значилось ясно, как дважды два – четыре, что Захар погубил Гришку.

Зная нрав Глеба, каждый легко себе представит, как приняты были им все эти известия. Он приказал жене остаться в избе, сам поднялся с лавки, провел ладонью по лицу своему, на котором не было уже заметно кровинки, и вышел на

крылечко. Заслышав голос Дуни, раздавшийся в проулке, он остановился. Это обстоятельство дало, по-видимому, другое направление его мыслям. Он не пошел к задним воротам, как прежде имел намерение, но выбрался на площадку, обогнул навесы и притаился за угол.

– Провалиться на этом месте, когда знаю, за что так невзлюбила! – говорил Захар заискивающим голосом. – Эти слова твои, что говоришь, выходит, напрасно, потому единственно, мы такими делами не занимались... Если и было что, знает одна моя добрая душа, как, примерно, дело было... Я не то чтобы худому учил его... Стараюсь изо всех сил, а все для тебя, потрафить, был бы, примерно... произвести его как есть настоящим человеком... норовлю, примерно, каков Захар есть, то все едино-единственно должен быть и Гришка... Кабы не добрая моя душа, он вчера волоска бы на тебе не оставил. Сама, я чай, видела, как я его уговаривал, беспутного! Забрал в голову, ты, вишь, отцу сказала... Я и так и сяк... Кабы не я...

– Ах, ты, бессовестный, бессовестный! – воскликнула Дуня дрожащим от волнения голосом. – Как у тебя язык не отсохнет говорить такие речи!.. Кого ты морочишь, низкий ты этакой? Разве я не знаю! Мне Гришка все рассказал: ты, ты, низкая твоя душа, заверил его, я, вишь, отцу сказала... Да накажи меня господь после того, накажи меня в младенце моем, коли сама теперь не поведаю отцу об делах твоих...

Глеб не дослушал остального. Он выскочил из-за угла

и ринулся с поднятыми кулаками на Захара. Несмотря на неожиданное нападение, тот ловко, однако ж, вывернулся, отскочив на несколько шагов, тряхнул волосами и стал в оборонительное положение.

– Эй, слышь, рукам воли не давай! – сказал он, размахивая гармонией.

Одним ударом кулака Глеб послал гармонию на самую середину огорода.

– Батюшка, брось его! Оставь лучше! – воскликнула бледная как смерть Дуня, бросаясь к старику.

Но тот сурово оттолкнул ее и снова, грозный, дрожащий от гнева, подошел к Захару.

– Так вот ты какими делами промышляешь! – вскричал старик задыхающимся голосом. – Мало того, парня погубил, совратил его с пути, научил пьянствовать, втравил в распутство всякое, теперь польстился на жену его! Хочешь посрамить всю семью мою! Всех нас, как злодей, опутать хочешь!.. Вон из моего дому, тварь ты этакая! Вон! Чтобы духу твоего здесь не было! Вон! – промолвил старик, замахиваясь кулаком.

– Погоди, брат, драться не велят! – произнес Захар, отступая, но все еще молодцуя: присутствие Дуни придавало ему некоторую храбрость. – Уйду, что ж такое? Надо, я чай, рассчитаться...

– Какие с тобой расчеты, нищий! Ты мне еще должен, не я тебе. За две недели забрал деньги вперед, а еще расчетов

требуешь... Вон, говорю, вон ступай с того места, где стоишь!.. Ступай, говорю! Не доводи до греха... Вон!

– Уйду. Что куражишься! Не больно испужались... не на таковского напал. Уйду, не заплачу... Дай пожитки взять! – промолвил Захар с чувством достоинства.

Глеб отворил ворота ударом кулака, вошел на двор, сорвал с шеста тулупчик и картуз работника, единственные его пожитки, вернулся в проулок и бросил их к ногам Захара. Захар успел уже в это время завладеть гармонией.

– Можно и потише, – проговорил Захар, подбирая тулупчик.

– Ступай же теперь! – закричал старик, у которого при виде работника снова закипело сердце. – К дому моему не подходи! Увижу на пороге – плохо будет! Враг попутал, когда нанимал-то тебя... Вон! Вон! – продолжал он, преследуя Захара, который, нахлобучив молодежато картуз и перекинув через плечо полушубок, покидал площадку.

Возвратясь на двор, Глеб увидел на крыльце Дуню, которая сидела, закрыв лицо руками, и горько плакала. Подле нее стояла, пригорюнясь, тетушка Анна. Глеб прямо пошел к ним.

– Ты о чем, Дуня? Что этого-то мошенника со двора согнал, радоваться надуть, а не убиваться! – сказал он расстроенным голосом, которому старался придать ласковое выражение. – Полно, перестань: ты ни в чем не виновата. Во всем моя вина, зачем недоглядывал. Много пожил на свете, пора

бы, кажется, выучиться распознавать, каков таков есть человек – дурной либо хороший. Авось как мужа твоего негодного поучу, авось и тогда, бог даст, дело справим... Полно же... говорю... Уф! Устал!.. Вот маленько того, погорячился... не стоило того... ну его совсем! Устал. Словно как кровь во мне разыгралась. В ушах шумит... Схожу, поразомнусь: отца твоего проведу, авось полегче станет!..

Глеб застал дедушку Кондратия, по обыкновению, за добрым делом. Старик сидел на пороге своей лачужки и, греясь на солнышке, строгал обломком косы длинную хворостину, предназначавшуюся для новой удочки. Глеб подсел к нему.

– А я, дядя, примерно, вот зачем... Худые дела вершаются у нас в доме, – сказал Глеб.

– Христос оборони и помилуй! – промолвил дедушка Кондратий, опуская наземь обломок косы и хворостину и медленно творя крестное знамение.

– Да вот так и так, – начал Глеб и передал ему во всех подробностях о случившемся.

Он сообщил ему о том, что выгнал Захара, рассказал, за что выгнал его, рассказал все его проделки, перешел потом к Гришке, поведал все слышанное о нем от Анны и присовокупил к тому свои собственные замечания.

– Обманулся я в нем, дядя, шибко обманулся! – промолвил Глеб, потряхивая уже совсем поседевшими теперь кудрями. – Что говорить, смолоду ненадежен был, озорлив не в пример другому... Был тогда и другой парнишка у меня...

Вместе росли: так оно, выходит, все тогда на виду было... А все не чаял, пойдет он у меня худым путем... Сам видишь, какое дело... Больше затем пришел к тебе, как ты, примерно, рассудишь... Оставить так не годится. Надо, пока время есть, сократить его при самом начале. По-моему, мало нагреть ему бока: образумится, пока болеть станут, а там опять, пожалуй, за свое примется. Надо, примерно, другое сыскать средство... Как ты скажешь?..

– По-моему, коли слова моего послушать пришел, Глеб Савиных, не тронь ты его. Пуще того, не грози, не подымай рук, – смиренно возразил старик, хотя на лице его проступало выражение глубокого огорчения, – побоями да страхом ничего ты не сделаешь. Не те уж лета его, и нрав не тот. Неровён человек, Глеб Савиных! Господь и леса не сравнял, не только человека. Судишь по себе, по своей душе судишь. Смотришь, и обознался: иной человек-то хищнее зверя лютого... Оставь ты его, не тронь. По-моему, переговори лучше добрым словом, возьми кротостью да терпением. А пуще того, помолимся о нем, попросим господа: авось уймет он его сердце!.. А что бить-то? Хуже еще возмутится от того душа его. Возьмет злобу на тебя, на домашних, на житье свое: тошней тогда будет ему, да и всем вам... Много, Глеб Савиных, много, признаться, и я в нем обознался!.. Мало ли положил он песку в мое сердце! Что-то вот словно сердце мое чуяло, как женили мы его. Не чаял я в нем и тогда степенства: мало добра в тех делах, что худым начались!.. И то сказать надо,

Глеб Савиных, не ему... нет, не ему прочил я свою дочку... Была она у меня одна радость в глазу, одно утешение. Денно и ночью молил о ней всевышнего создателя! Не дошли, видно, мои молитвы. Стало, прогневал я его грехами своими тяжкими! – заключил старик, с покорностию опуская свою белую голову.

Трудно решить, слова ли дедушки Кондратия изменили образ мыслей Глеба или подействовали на него воспоминания о возлюбленном сыне – воспоминания, которые во всех случаях его жизни, во всякое время и во всякий час способны были размягчить крепкую душу старого рыбака, наполнить ее грустью и сорвать с нее загрубелую оболочку; или же, наконец, способствовало самое время, преклонные годы Глеба, которые заметно ослабляли его крутой, ретивый нрав, охлаждали кровь и энергию, – но только он послушался советов дедушки Кондратия. Возвратясь домой, Глеб пальцем не тронул приемыша. Он приказал ему следовать за собой и пошел к лодкам.

Тетушка Анна и Дуня поспешили броситься к воротам. Дрожа и замирая от страха, они приложили бледные лица к щелкам ворот; но сколько ни следили они за движениями грозного старика, ожидая с минуты на минуту, что он тут же, на месте, пришибет Гришку, ожидания их не оправдались. Глеб, однако ж, говорил с приемышем. Речь его, сначала суровая и отрывистая, заметно смягчалась, по мере того как он, истощив жестокие, укорительные слова, коснулся

ся воспоминаний детства приемыша. Очевидным делалось, что, неразлучно с этими воспоминаниями, в душе старика возникали другие, более драгоценные воспоминания.

– Я тебя возрастил все одно как родного сына, а все это, выходит, напрасно только о тебе заботился! – заключил Глеб. – Думал, отнял у меня господь детей, ты останешься нам в утеху, станешь об нас сокрушаться да беречь под старость, а вместо того норовишь как бы злодеем нашим стать! Вспомни, Гришка, ведь ты жил у меня как односемьянин пятнадцать лет, слышишь, пятнадцать лет делил я с тобою хлеб-соль, кормил, обувал тебя... Рази, по-вашему, за добро злом надо оплачивать?.. Не о себе говорю: мой век недолог. Говорю, подумай ты о себе: ведь у тебя жена и дети. Зверь бесчувственный, и тот о детях своих заботу имеет... Опомнись, говорю: выкинь дурь-то из головы... Вспомнишь слова мои, да поздно будет!.. Худые дела к добру не поведут... Люди не взыщут – господь тебя покарает! Брось, говорю!.. Враг тебя путает... Помолясь богу, за дело возьмись... А о прошлом не поминай... пропадай оно совсем!..

Но разумные советы благодетеля не произвели решительно никакого действия на приемыша. Первые два дня действительно ходил он мрачный и задумчивый. Он как будто сознавал вину свою и каялся. Но чувство это мгновенно уступило место мелочной досаде и злобе, как только узнал он от жены настоящую причину изгнания Захара. Он ждал только случая посчитаться с товарищем, который обманул

его. За неимением Захара Гришка вымещал досаду втихомолку на жене. Но мимолетная, соломенная душа Гришки, как метко назвал ее Захар, неспособна была долго сосредоточивать в себе одно какое-нибудь чувство. Злоба, дружба, досада, примирение – все сменялось одно другим с необычайной быстротой. Легкая, пустая душа его вспыхивала так же быстро, как зажженная солома, но зато скоро и потухала. Прошли две-три недели; в сердце Гришки возникло, вместе со скукой, сожаление о том, что не было Захара, с которым так весело, бывало, коротаешь однообразные часы послеобеденного времени. Сожаление живо сменилось радостью, когда случайно проведал он, что Захар поселился в одной из комаревских фабрик. С той минуты он только и помышлял о том, как бы встретиться с прежним товарищем. Так вот и подмывало его юркнуть на луговой берег. Комарево стало для него тем же, чем было когда-то озеро дедушки Кондратия. Случай не замедлил представиться, не замедлили также осуществиться мечты приемыша: он встретился с Захаром. Встреча была радостная с обеих сторон. О старом, конечно, не было и помину.

И снова очертя голову задурил Гришка. Снова, когда темная ночь окутывала площадку, Оку и луга и когда старики, утомленные дневными трудами, крепко засыпали, начал он украдкой исчезать из клетушки, – снова, полная беспокойства, затаенной грусти и трепетных ожиданий, стала просиживать Дуня целые ночи на завалинке, карауля возвращение

беспутного мужа и отрываясь тогда лишь, когда призывал ее слабый крик младенца.

XXII

Крепкий старик

– Полно, дядя!.. Ну что, в самом деле, уперся, на одном стал: «Нет да нет, не приходится, – то да сё!» Слушать, выходит, нечего. Полно, говорю, перебирайся-ка ты взаправду ко мне – лучше дело-то будет; по душе, примерно, говорю, не из чего другого; а то: «Нет да нет!» С чего ж нет-то? С чего отнекиваться-то? – говорил Глеб, сидючи раз как-то под вечер с дедушкой Кондратием на завалинке против площадки. – Жили мы с тобой, почитай, двадцать лет по-соседски, как следует – ладно и безобидно. Вот как жили: два сапога – одна пара!.. Ты обо мне извещен; знаю, примерно, и я, каков ты есть такой человек. Будь ты мне чужой, неизведанный – ну, не стал бы разговаривать... Чужие-то люди, неизведанные, вот где у меня сидят – на самой шее... Ты нам не чужой: дочка твоя живет в моем доме – породнились, выходит... И добро бы сам пришел ко мне: «Возьми, мол, меня, Глеб Савиных», – стал бы так-то, примерно, напрашиваться; ведь я же заговорил сперва-наперво; и говорю: «Ступай, мол, дядя, жить ко мне!» Дело, выходит, полюбовное, незаказное... выходит, и сумлеваться нечего!.. На чем же твоя совесть?.. Дело, как есть, начистоту выходит...

– Спасибо, Глеб Савинович, на добром слове твоём, – ласково возразил дедушка Кондратий. – Говоришь ты со мною по душе: точно, в речах твоих нет помышления, кроме мне добра желаешь; потому и я должен по душе говорить: худ буду я человек, коли тебя послушаю; право так: неправильно поступлю, согрешу против совести!..

– С чего ж так!.. Эвна! Послушай поди, что толкует-то, а?.. Не слушали бы уши мои! Все это, выходит, дядя, пустое говоришь только – вот что! – воскликнул Глеб.

– Полно, сосед, не грехи; послушай прежде, осуждай потом, – кротко возразил старик. – Вот ты говоришь: приходи жить ко мне! Хорошо: польщусь я на такое твоё доброе слово – приду. Значит, стану только даром хлеб есть, за спасибо стану объедать тебя!.. Положим, ты не взыщешь, не взыщешь по доброй по душе своей – люди осудят: «Пристроил, скажут, дочку, нашел ей укромное, тёплое гнездо у добрых людей, да и сам туда же примостился, благо пустили; живет, скажут, хлеб жуёт, сложа руки, – даром, скажут, не работамши!» И скажут-то правильно – вот что! А пуще того попрекнет своя совесть... Послушаю я тебя, поступлю по-твоему – неугодное сотворю перед господом! Пока господь грехам терпит, не отымает рук, пока глаза видят, должен всяк человек трудиться, должен пробавляться сам собою, какие бы ни были его лета... Труды наши – та же молитва перед господом! Всякая тварь на земле: муравей, мошка какая-нибудь – и те трудятся; а человек должен и подавно! Коли трудишься,

значит – радуешься на жизнь, доволен, значит, ею... Труды – наша благодарность господу за его великие для нас милости! Коли человек ропчет на земное бытие свое – опостыла его жизнь; бросает он тогда всякое о себе попечение, немила работа ему, перестанет трудиться... Святые отцы, Глеб Савинович, в трудах жили! Апостолы Христовы также трудились... Были из них такие же, как мы, рыбаки – стало, труд на себя принимали...

– Знамо, так. Да я, примерно, не о том говорю, рази я говорю: приходи, дядя, ко мне даром хлеб есть – рази я это говорю? – перебил Глеб. – Зову тебя на подмогу: станешь, примерно, мне подсоблять... Рази это тебе не работа?... В чем не осилишь – знамо, лета твои уже немолодые, иной раз и рад бы сделать то, другое, да не по моготе – ну и бог с тобой! Знамо, попрекать да понукать не станем: не тот, примерно, ты человек; довольно тебя знаю: не охотник сидеть сложа руки, проклажаться не любишь, старик к работе завистливый, хлопотун... Не то, примерно, жил вот у меня, лет двадцать тому, сват... Акимом звали... Ты его знаешь... али запомнил?... Мудреного нет: человек был пустой, самый незаметный... да вот ты, никак, в тот самый год, как ему помереть, озеро снял... Ну, что толковать: ну, отец Гришки, тот самый! Так тот, бывало... У того вот эти только скворечницы на уме: скворечницы да дудки для ребят – тут вся его и работа была!.. А скажешь, бывало: «Сват Аким, – скажешь, – ступай сети таскать!» – «Ох, живот подвело, моченьки моей нет!»

Скажи потом: «Сват, мол, Аким, ступай щи хлебать!» Ну, на это горазд был; тут об животе нет и помину; день-деньской, бывало, на печи обжигается, нет-нет да поохает: одним по-нуканьем только и руки-то у него двигались... самый что ни на есть пустой человек был... Так вот, дядя, к примеру такому говорю, рази ты с ним под одну статью?.. Слава те, господи, знаю я тебя не первый день! В двадцать-то лет было время насмотреться!.. Говорю – подсоблять станешь; в большой на тебя надежде: затем, примерно, и говорю. Сам видишь, лето подходит к концу, скоро листопад, осень; пойдет у нас пора самая любезная, а рук мало – недостача в руках! Нет батраков, да и полно! Что ты станешь делать!.. Три раза в Комарево навевывался, три раза сулили прислать, – все нет да нет; затем-то и говорю теперь: ступай, говорю, жить ко мне! Под статью, выходит, были бы мне твои хлопотливые руки! Сам-то стар добре становлюсь, хлопотать-то – силы мои уж не те: года побороли! Один с Гришкой не управлюсь; кабы ты присоединился – ну, и пошло бы у нас на лад: я старик, ты другой старик, а вместе – все одно выходит, один молодой парень; другому-то молодяку супротив нас, таких стариков, пожалуй что и не вытянуть!.. Народ-то нынче добре клев стал, слаб... износился, стало быть, что ли?.. Оно и все так-то: вот хошь бы теперь один палец – ну, что в нем! Хлеба ломоть, и тот не отрежешь! А подведи к нему другой, да третий, да четвертый – тут и вся ладонь... сила выходит... Что захотел, то, примерно, и сделал; так-то и мы с тобою...

– Разумная твоя речь, Глеб Савиныч: есть что послушать! – произнес дедушка Кондратий с добродушной улыбкой. – Только вот добре на меня много понадеялся... Сам посуди, какая и в чем может быть тебе моя помощь? В чем могу я подсобить тебе?.. Взгляни-ка ты на себя, взгляни на меня потом: ведь ты передо мной, что дуб стогодовалый; я же перед тобой – былие; всякий ветер качает, всякий паренек, хошь бы вот мой внучек, Дунин сынишка, и тот к земле пригнет!.. Какая я тебе помога?.. Лишняя только тягота, лишние зубы при хлебе... И зубов-то, и тех уж ни одного нет...

– Опять за свое! Ты что ни говори ему, он все свое поет! – воскликнул Глеб, махнув рукою. – Я ж те говорю – никто другой, слышь, я говорю: не твоя, выходит, об этом забота; знаю я, каков ты есть такой, мое это дело! Коли зову, стало, толк в этом вижу!..

– Было время, точно, был во мне толк... Ушли мои года, ушла и сила... Вот толк-то в нашем брате – сила! Ушла она – куда ты годеи?.. Ну, что говорить, поработал и я, потрудился-таки, немало потрудился на веку своем... Ну, и перестать пора... Время пришло не о суете мирской помышлять, не о житейских делах помышлять надо, Глеб Савиныч, о другом помышлять надо!..

– Все так... вестимо... что говорить... А все, коли господь не отымет у человека жизнь, продлит его дни, все надо как-нибудь пробавляться! Живем на миру, промеж людей; должны руками кормиться...

– Тружусь по мере сил своих, не гневлю господа бога!.. Осю пору, Глеб Савиныч, благодаря милосердию всевышнего никто не попрекнул чужим хлебом. Окромья своего заработанного, другого не ел... благодарю за то господа!

– Да, братец ты мой, одно ты только в толк возьми: надо взять, примерно, в рассужденье: стоит ли хлеб-то, который ты ешь, трудов-то твоих? Сам говорил не одна: другой раз день-деньской сидишь на берегу с удою, день-деньской печешься на солнце, а все ничего! Хошь бы пескарь какой либо колюшка подвернулась!.. С чем пришел – пустой был кувшин – с тем и уйдешь! Выходит, напрасны только были труды твои... Вот о чем я толкую! У меня, по крайности, так хошь сидеть-то напрасно не станешь; дело, выходит; веселее тогда будет, занятнее! Все сердце-то возрадуется, как потянешь уду-то... Глянь, ан окунек или лещ... Как толк-то в работе есть, видишь, труды не напрасны... Благословил господь, так и согресишь меньше... ей-богу, право! Ину пору вершу-то вынешь из воды, насилу на плече унесешь, ну и благодаришь творца; инда душа-то в тебе радуется, как словно даже человек другой – лучше прежнего стал... Право, дядя!.. А что в том: трудишься, трудишься, все нет ничего... ну, и согресишь! Сам потом не рад; ходишь, как словно сомневаешься в чем... А согресишь, не утерпишь; потому час не ровен, дядя, вот что... Да я бы, кажется, что хошь давай, трех бы ден не выжил на твоём озере – ей-богу, право!.. По мне, пескари эти да колюшки, мелкота эта, хошь бы ее во-

все не было! Само пустое, нестоящее дело!.. И добро бы вволю-то было их; а то, сам говоришь: день ото дня плоше да плоше, нет ловли никакой... Из чего ж бьешься-то?.. Не говорю о барышах – какие барыши!.. Давай бог оброк комарникам за наем озера выплатить!.. Десять целковых в год – деньги невелики, а все взять откуда-нибудь надо!.. Ну, положим, сведешь концы с концами, надо также и о своих нуждах подумать...

– Мои нужды небольшие, Глеб Савиныч: хлебушка кусочек, да свечку к образу было бы из чего поставить – вот и все мои нужды!

– Мало-мало, а все же надо! А ну, как рыба-то, пескари эти да колюшки... ну их совсем... как совсем перестанут ловиться?

– Что ж?.. Его на то святая воля!.. Бог дал, бог и взял; никто окромя него в этом не властен.

– А ну, как плевок на нее нападет, на рыбу-то, тогда что?

– Заслужил, значит, тяжкими грехами своими; не должен и тогда роптать!

– Да ведь кормиться-то надо же. Знамо, человек без хлеба не живет!..

– Самую что ни на есть мелкую пташку, и ту не оставляет господь без призрения, Глеб Савиныч, и об той заботится творец милосердный! Много рассыпал он по земле всякого жита, много зерен на полях и дорогах! Немало также и добрых людей посылает господь на помощь ближнему неимущему.

му!.. Тогда... тогда к тебе приду, Глеб Савиныч!

– Чем тогда кланяться, ступай лучше теперь: сам зову!

– Нет, кланяться и тогда не стану: земля земле не кланяется!.. А так, зная твою добрую душу, приду, скажу: «Не под силу, мол, не смогу достать хлебец своими трудами; дай уголок помереть покойно...» – только и скажу.

– Нет, тебя, видно, не уломаешь! Эх, дядя! дядя! Право, какой!.. Норовишь только, как бы вот меня к осени без рук оставить – ей-богу, так! – заключил Глеб, не то шутливо, не то задумчиво, потряхивая седыми кудрями.

Такого рода объяснения происходили довольно часто между двумя стариками; с приближением осени Глеб стал еще убедительнее упрашивать дедушку Кондратия. Нельзя сказать, чтобы цель, управлявшая в этом случае Глебом, основывалась исключительно на одном расчете, нельзя сказать опять-таки, что расчет не входил в состав убеждений Глеба. Трудолюбивая, деятельная природа старого рыбака возмущалась при виде бездействия; почти в равной степени возмущали ее труды и старания, направленные без цели, не приносявшие ровно никакой пользы. В нем невольно пробуждалось тогда какое-то досадливое сожаление, что-то похожее на чувство, с каким смотрит добросовестный труженик на золото, выброшенное за окно рукою богача. В самом честном сердце является невольное желание завладеть этим брошенным золотом. Глебу хотелось точно так же воспользоваться руками соседа. «Что это, прости господи! – ни себе,

ни людям!» – думал Глеб, который никак не мог взять в толк причины отказов старика; он не понимал ее точно так же, как не понимал, чтобы смерть жены могла заставить дедушку Кондратия наложить на себя обещание вечного поста. «Живи он у меня, по крайности, хошь нам выйдет через него польза: мне подсоблять станет!.. Да и ему лучше: округ все свои, не чужие; при дочери будет, при внуке... Ведь ластится же к нему, не наглядится; тогда хоть весь день возись с ним! Так вот нет же, поди: уперся на своем, не уломаешь никак!.. Мыташится так, попусту, воду толчет на своем озере... провались оно, пересохни совсем!» – так думал и говорил Глеб; но убеждения его не подвигали вперед дела: дедушка Кондратий оставался при своем. А между тем подошла осень. Батраки из Комарева не думали являться; впрочем, давно уже прошло время наймов. В году всего два срока: от вешнего Николы до Петровок; от Петровок до заговенья. Петровки были давно за горами, что ж касается до второго срока, надо было думать раньше: все работники, какие только были, находились уже по местам. Глеб сам видел, какого дал маху, сам сознавался в этом, и потому, чтобы как-нибудь извернуться, принялся за промысел с каким-то пугливым усердием. Старик не давал себе отдыха ни днем ни ночью. Он трудился со всей горячностью, какую сохранила его кровь, его стариковские жилы, трудился с той неумеренностью, какую прикладывает всякий простолюдин к действиям, приносящим личную, существенную выгоду.

Не знаю, в какой степени действует на французского мужика или на английского перспектива барыша: надо полагать, одушевляет она и тех и других в равной степени, которая ничем не уступает степени одушевления русского мужика. Но разница есть, однако ж, в цели и последствиях приобретения. Прибыль на волос не изменит материального быта русского мужика: с умножением средств охотно остается он в той же курной избе, в том же полушубке; дети бегают по-прежнему босиком, жена по-прежнему не моет горшков. Как бы ни были велики барыши русского простолюдина, единственное изменение в его домашнем быту будет заключаться в двух-трех лубочных картинках, прибитых вкривь и вкось и на живую нитку, стенных часах с расписным неизмеримым циферблатом и кукушкой, и медном, раз в век луженном, никогда не чищенном самоваре. Был у меня один знакомый старичок – увы! его уже нет на свете! – который, имея тысяч двести капитала в московском опекуновском совете, ходил в поддевке, в заплатанных сапогах. Это, положим, куда бы еще ни шло: надо быть снисходительным к старости. Но горе в том, что он постоянно отказывался учить грамоте детей своих: «Не на что, – говорил он, – нанять учителя!» Детей своих он любил, однако ж: ласкал их и нянчил с утра до вечера. Его усовещевали почти каждый день; каждый день ему говорили: «Полноте гневить бога, перестаньте жаловаться на недостаток: всякий знает, что у вас есть деньги в ломбарде». При этом старик выходил из себя и возражал с горячностью:

«Так разве то, что лежит в ломбарде, деньги? Разве можно их тратить?.. Это не деньги, это „капитал“!» Он умер с искренним убеждением, что капитал – не деньги! Точка зрения нашего простолюдина на барыши, в сущности, не изменяется. В самом деле так: посмотрите на житье-бытье наших мещан, купцов среднего сословия, разбогатевших мужиков, содержателей дворов: в их домашнем быту не найдете вы ровно никакой перемены против того, как жили они без барышей, бедняками. А между тем хлопочут они с утра до вечера, и редко увидите вы их руки праздными: в действиях видны даже какая-то суета и торопливость, как будто запоздали они с каким-нибудь важным делом и спешат нагнать потерянное время; заметно желание сделать скоро, живьем, на живую нитку; мера на глаз, вес наугад! Как словно гонит кто, как словно нужда крайняя постигла, как словно не получит сегодня барыша, так завтра пропадать наверное! Ввиду барыша, они не щадят себя, рады уничтожиться, забывают, что руки их и кости не железные. Из чего же вся эта ненасытная жажда к приобретению? Из чего хлопочут, торопятся, мытащатся? – как говорит Глеб. Из чего, наконец, сам Глеб бьется как рыба об лед? И добро бы управляла им на этот раз его неугомонная, деятельная природа; но на этот раз и того даже не было. Глеб трудился против сил; всегда крепкий и здоровый как дуб, он не переставал жаловаться на поясницу, на ломоту в плечах и ребрах, не переставал даже жаловаться на усталость, чего за ним отроду не водилось. Но обсто-

ательство это, вместо того чтобы ослабить в нем дух, казалось, усиливало только ту принужденную пугливую деятельность, о которой мы говорили выше; немало также способствовало к тому время, которое, как назло, сильнейшим образом благоприятствовало промыслу: рыба ловилась отлично. Взглянув на него, можно было думать, что от успеха промысла настоящей осени зависела судьба его жизни, всего его семейства. Он решительно выбивался из сил.

– Полно тебе, Глеб Савиныч, утруждать себя так-то; вздохни маленько! Не те уже лета твои! – частенько говорил дедушка Кондратий, видя, как сосед надрывался. – Сам говоришь, одышка добре пуще одолела; жалуешься, поясница болит. Как не болеть, какой труд на себя принимаешь! Лета, знать, твои сказываются; сколько ни обманывай их, сколько ни крепись, они свое возьмут... Смотри, какой труд на себя принимаешь: молодой, и тот умается. Полно, послушай меня, господь благословил тебя достатком: из чего хлопочешь?.. В твои года пересилишь, надорвешься, ввек потом не поправишь: наша стариковская кость хрупкая... Полно тебе надсажаться, вздохни, говорю!..

– Эх, толкуешь ты, дядя! – восклицал обыкновенно Глеб, посмеиваясь (удачливый промысел невольно веселил душу старого рыбака). – Что ж, по-твоему, развесить сети, разложить верши по берегу, самому сесть, поджавши ноги, да смотреть, как щука хвостом бьет?.. Как у тебя на твоём озере пескари одни да колюшки, мелкота эта настоящая, так

ты толкуешь!.. Вишь, какое у нас раздолье! Вишь, она, наша кормилица, рыбка-то, как разыгралась... радуется, значит, веселится!.. Хорошо говорить так-то, перед озером сидючи, перед лужей! А ну-ткась, усиди-ка здесь поди! Наскучит глазами-то хлопать; самого небось разберет охота!.. Вишь, как играет... вишь, эвна! Любо-дорого смотреть-то! – промолвил Глеб, указывая рукою на круги, которые местами появлялись на гладкой поверхности Оки, расширялись, разбегались серебряными обручами и наконец исчезали, уступая место другим кругам, которые так же быстро уносило течением. – А это мне, что жалуюсь вот, одышка одолела да поясница болит, это нам нипочем; наша кость непареная, ненуженая; слушать ее – вовсе на печку лечь!.. Придет зима, лежать-то и то наскучит... Не то время, дядя, отдыхать да проклажаться: вишь, какое сотворил господь рожденье! Супротив такого времени и не запомню!.. Нечего, стало, тормозить руки. Устал! Упыхался!.. Знамо, упыхался!.. Даст бог, окончим благополучно промысел, пройдет осень, вздохну за все дни!.. Сам же говоришь: наш век недолог, лета наши сосчитаны; дней, так и тех, я чай, немного начтешь!.. Поэтому надо тормозиться, нече упускать время!.. Может статься, не дожить уж нам с тобою до такого рожденья, до такой осени; может статься, и до первой-то, до той осени не дотащимся... Так что уж тут жалеть себя!.. По крайности, хотя на последних-то натешусь, наловлю рыбки!.. А что, дядя Кондратий, без меня, как не буду, – я чай, соскучится рыбка-то? А? По-

читай, пятьдесят годков, без малого, вместе пожили... Верши, и те, я чай, востоскуют! Как есть сиротами тогда останутся... ась? – заключил Глеб, посмеиваясь, хотя в серых глазах его, поочередно переходивших от лодок к площадке, от площадки к Оке, не было заметно особенной веселости.

И, как бы испугавшись, что он долго заболтался с соседом, как бы опасаясь в самом деле не дожить до другого удачного лова, Глеб принимался еще деятельнее за промысел.

Старик не мог жаловаться на своего помощника: Гришка работал исправно. По крайней мере, он находился постоянно при Глебе, подсоблял ему во всех делах и, что всего замечательнее, не обнаруживал уже прежнего своего недовольствия. Он проводил, однако ж, теперь все свои ночи в Комареве. Зная Глеба, трудно предположить, чтобы он добровольно закрыл глаза на проделки своего питомца; кумовство Гришки с Захаром и последствия этого кумовства возбуждали, напротив того, сильнейшим образом подозрения старика; он смотрел за ним во все глаза. Но Гришка сделался уже, в свой черед, слишком ловок и опытен, чтобы попасться впросак, или в «кошель», – слово, заимствованное им у Захара. Глаза старика находили его всегда за работой; в продолжение целого дня молодой парень не давал хозяину своему повода быть недовольным. Этим способом – самым верным способом, каким только можно было подействовать на Глеба, – приемыш не замедлил освободиться от лишнего присмотра; он беспрестанно находил случай обманывать

прозорливость старого рыбака – прозорливость, которая, как мы уже имели случай заметить, и без того становилась с каждым днем менее опасною. Впрочем, все эти хитрости доказывали только, что молодой парень, несмотря на свою опытность, шибко все-таки боялся старика, хотя предосторожности были напрасны: он мог теперь безбоязненно, безгрозно исчезать по ночам. С наступлением ночи Глебу было уж не до приемыша: он радовался, что привел господь дотащиться до саней, служивших ему ложем, или до печки. Что ж касается до жены и до тетки Анны, Гришка принял также свои меры: он объявил жене, что, если ночные проделки его сделаются известными, он дня не останется в доме: возьмет жену, ребенка, отправится в Комарево и наймется на миткалевой фабрике. Дуня передала обо всем старушке. Сноха и теща, нимало не сомневаясь, что Гришка приведет в действие свое обещание, не только решились молчать, не только не показывали виду, но всячески даже старались, чтобы проделки его оставались тайною для старика. Обе действовали в этом случае весьма основательно. Под руководством Захара и еще других таких же негодяев из комаревских фабрик, которые один за другим пристали к Захару и вскоре составили одну компанию, Гришка так развертывался, что в самом деле мог потерять остаток страха и совести, в самом деле мог оставить дом и увести жену, в случае если б Глебу вздумалось поднять руку или голос. Не приводил он в исполнение своих угроз потому лишь, что не видел в этом пока надобности – жилось

так, как хотелось: в кабаке Герасима являлся он одним из первых, уходил чуть ли не последним; так не могли располагать собою многие фабричные ребята, у которых хозяева были поостроже. Одним словом, в ночное время Гришка был чуть ли еще не свободнее своих товарищей. С другой стороны, не видел он также никакой надобности бросать до поры до времени работу; он привык к рыбацкому ремеслу, оно казалось ему легче фабричного, к которому надо было приучаться да приловчаться. К тому же надо было как-нибудь пробавляться; Захар и другие товарищи также ведь работали – не сидели же сложа руки! Соображая все это, приемыш начал понемногу примиряться с настоящим своим положением. Опыт показал ему, что фабричная жизнь имела также свои невыгоды, житье у Глеба, при существующих обстоятельствах, было чуть ли не лучше. Мрачное, озлобленное настроение молодого парня исчезало с каждым днем: расположение его духа заметно улучшалось. Гришка, как мы видели, охотно даже подсоблял старику.

Со всем тем работа подвигалась все-таки не так успешно, как бы хотелось Глебу. Мудреного нет: количество рыбы, попавшейся в невод и верши, разжигало старика; тут нужны были не четыре руки, а десять по крайней мере. Вместо четырех тоней, с которыми старый рыбак и Гришка едва-едва успевали справиться в продолжение дня, можно было бы тогда управиться с целой дюжиной. Глеб не переставал сокрушаться, что пропустил Петровки и не запаса своевременно

работниками. В досаде своей нередко обращался он с укором к дедушке Кондратию.

– Эх, дядя, дядя! Все ты причиною – ей-богу, так!.. Оставил меня как есть без рук! – говорил он всякий раз, когда старик являлся на площадке. – Что головой-то мотаешь?.. Вестимо, так; сам видишь: бьемся, бьемся с Гришуткой, а толку все мало: ничего не сделаешь!.. Аль подсобить пришел?

– Коли помощь моя нужна, изволь! – отвечал обыкновенно старик.

– Ой ли?

Дедушка Кондратий без малейших разговоров снимал лапти, полушубок и присоединялся к работающим. Помощь была, конечно, слабая; но как бы там ни было, в капитале рук и сил, необходимых для приведения в действие лишней тони, оказывалась все-таки маленькая прибыль. Это обстоятельство, видимо, поощряло усердие Глеба; он радовался точно так же, как радуется скупой, которому удалось поднять мелкую монету – безделица, а все лучше, чем ничего. Принимая в соображение воодушевление, с каким старый рыбак принимался за промысел, можно было думать, что пособие дедушки Кондратия превосходило даже его ожидания. «Ай да дядя! Спасибо! – не переставал восклицать он. – Нет, как погляжу, клев ноне стал молодой-то народ! Стары мы с тобою, а все толк есть; борозды не портим! Другому молодяку против нас того гляди не вытянуть – ей-богу, право! То-то вот: коли хороший жернов, так и стар, а все свое дело сде-

дает!» Стариковская похвала оправдывалась, впрочем, как нельзя лучше на самом деле: подобно старому воину, который в пылу жаркого рукопашного боя не замечает нанесенных ему ран, Глеб забывал тогда, казалось, и ломоту в ребрах, и боль в пояснице, забывал усталость, поперхоту и преклонные годы свои.

XXIII

Потеря

Но как бы там ни было, тяжкие трудовые дни, в продолжение которых старый Глеб, подстрекаемый присутствием дедушки Кондратия, надрывался и работал без устали, или, как сам он говорил: «Не берег себя, соблюдая промысел», — такие дни не проходили ему даром. Когда потухала вечерняя заря и старик возвращался домой, слабость и одышка овладевали им пуще прежнего; он с трудом взбирался на крылечко, едва-едва мог разогнуть спину. Нередко тетушка Анна и сноха ее принуждены были соединяться силами, чтобы подсобить ему подняться на печку. При всем том, оборони, помилуй бог, сказать ему, что причина всех его немощей происходит от излишнего труда и усилий: смерть не любил этого Глеб. Он с упорством, с досадою опровергал такие доводы; старик ни за что не хотел этому верить; он как будто старался даже обмануть самого себя.

— Что за напасть такая! Точно, право, крыша солгала —

на спину обвалилась – не разогнешь никак; инда дух захватило... С чего бы так-то? Кажись, не пуще чтобы отошал; в хлебе недостатка не вижу; ем, примерно, вволю... – говорил Глеб, побрякивая на своей печке, между тем как тетушка Анна подкладывала ему под голову свернутый полушубок.

– Батюшка, отец ты наш, послушай-ка, что я скажу тебе, – подхватывала старушка, отодвигаясь, однако ж, в сторону и опуская руку на закраину печи, чтобы в случае надобности успешнее скрыться с глаз мужа, – послушай нас... добро затрудил себя!.. Шуточное дело, с утра до вечера маешься; что мудреного... не я одна говорю...

– Вестимо, батюшка, – ласково подтверждала Дуня, отрываясь от люльки и подходя к печке, – отдохни день-другой; мы и то – я да матушка – хотели намедни сеть поднять сухую-то, и то с места не сдвинули; а ты, видела я нонче, один с нею управлялся...

– Врете вы обе! Послушай поди, что мелют-то! Сеть, вишь, всему причиной!.. Эх ты, глупая, глупая! Мне нешто с ней, с сетью-то, впервой возиться?.. Слава те господи, пятьдесят лет таскаю – лиха не чаял; и тут бы вот потащил ноне, да с ног смотался!

– Ну, не от сети, от другого чего, – смиренно возражала жена. – Ты бы, батюшка, – вот нонче печь истопили, – ты бы попарился: все бы отлегло маленько.

– Ничаво; полежу, проваляюсь ночь-то: авось к утру и так пройдет...

– Хорошо, кабы так-то...

– Надо полагать, все это пуще оттого, кровь добре привалила, – продолжал Глеб, морщась и охая, – кровяца-то во мне во всем ходит, добре в жилах запечаталась... оттого, выходит, надо было мне по весне метнуть; а то три года, почитай, не пуцал кровь-то...

– Вот то-то, отец родной, говорила я тебе об этом... все: нет да нет... Что ждуть-то, право-ну!.. Сходи-кась завтра в Сосновку, отвори кровь-то; право слово, отпустит... А то ждешь, ждешь; нонче нет, завтра нет... ну, что хорошего? Вестимо, нет тебе от нее покою... Полно, кормилец... право-ну, сходи!..

– Нет, теперь недосуг, – отвечал Глеб, с трудом приподнимаясь на локоть и переваливаясь на другой бок, – схожу опосля: работу порешить надо. И не то чтобы уж очень прихватило... авось и так сойдет. Встану завтра, промнусь, легче будет...

Проминание Глеба заключалось в том, что он проводил часа три-четыре в воде по пояс, прогуливаясь с неводом по мелководным местам Оки, дно которой было ему так же хорошо известно, как его собственная ладонь. Раз, однако ж, после такого «проминанья» он вернулся домой задолго перед закатом солнца: никогда прежде с ним этого не случилось.

Несмотря на заманчивое плесканье рыбы, которая с приближением вечера начинала играть, покрывая зеркальную

поверхность Оки разбегающимися кругами, старый рыбак ни разу не обернулся поглядеть на реку. Молча приплелся он в избу, молча лег на печку. В ответ на замечание тетушки Анны, которая присоветовала было ему подкрепить себя лапшю, Глеб произнес нетерпеливо:

– Проваливай! – и перевалился на другой бок.

Всю ночь сон старика был тревожен. Дуня и тетушка Анна несколько раз были пробуждены тихими охами и стонами. Со всем тем на следующее утро Глеб встал еще раньше обыкновенного. День был серый, ненастный, – настоящий осенний день: мелкий дождь, перемешанный с крупю, косвенно ниспадал с неба, затканного от края до края хребтами сизых туч. Северный ветер покрывал чешуйчатую рябью Оку, которая мрачно синела в почерневших, мокрых берегах своих. Любо было бы пролежать такой день на печке в теплой избе. Особенно следовало бы поступить таким образом старому Глебу, у которого благодаря, вероятно, наступившей сырости всю ночь ломило кости; но Глеб рассудил иначе. Он, не медля ни минуты, отправился к лодкам. Он, очевидно, однако ж, пересиливал свою немочь; шаг его и движения отличались в это утро какую-то медленностью; он часто останавливался, потягивал руки, усиленно выгибал спину; каждое из этих движений сопровождалось глухим стоном и нетерпеливым, досадливым потряхиванием головы. Видно было, что он сильно негодовал на свою немощь. Он добрался, однако ж, до конца площадки и начал собирать невод. Косвенное

направление дождя и крепкий восточный ветер плохо способствовали удачной ловле; но Глеб забрал в голову ехать на промысел, и уже ничто в мире не в силах было заставить его изменить такому намерению. «Отчаливай!» – сурово крикнул он Гришке, который, сидя на носу с веслами, не переставал следить лукавыми глазами своими за движениями старика. Лодка выехала в реку. Забросили невод. Сверх всякого ожидания, в неводе оказалось довольно много рыбы. При всем том седые брови Глеба оставались по-прежнему нахмуренными. Мало этого: он прекратил ловлю и молча принялся убирать в лодку невод. Кой-как справились, однако ж, и Глеб приказал грести к берегу. Во все продолжение переезда он сидел, склонив голову на грудь, и задумчиво глядел на воду. «Что, взял? Небось и тебя проняло?» – подумал приемыш, искоса поглядывая на старика. Одежда Глеба была мокра до последней ниточки: дождь лил теперь как из ведра. Но Глеб, как бы в опровержение догадкам приемыша, долго еще оставался на площадке после того, как сошел на берег. Он и в самом деле чувствовал нестерпимый озноб во всех членах – чувствовал, что холод прохватил его до самого мозга. Руки его тряслись, ноги онемели; но он все еще крепился. Нахмуренное выражение его лица, досадливые движения ясно показывали, что он с трудом решался признать себя побежденным старостью и погодю. Он упрямылся и крепился до последней минуты, наконец покинул берег: ему уже невмочь было стоять на ногах, – но и тут-таки, раз или два, пересилил

себя и вернулся к лодкам; его точно притягивало к реке и лодкам какою-то непонятною силой. Он точно предчувствовал, что последний раз видится с Окою и лодками. Мрачно, грустно, задумчиво было лицо старика, когда, взглянув в последний раз на реку, стал он подыматься по площадке; он точно нес на плечах своих гроб ближайшего родственника, которого много любил при жизни. Войдя в избу, Глеб, против обыкновения своего, не подошел даже к люльке, даром что ребенок кричал и протягивал к нему свои розовые голенькие ручонки. Ничто уже, по-видимому, не радовало теперь старика – не радовал даже запах горячих щей, которые дымились на столе; он отказался от обеда и молча улегся на печку. Тетушка Анна и Дуня заключили из всего этого, что лучше уж не приступать к нему нынче.

Вечером в тот же день приплелся дедушка Кондратий.

– Вот, дядя, говорил ты мне в те поры, как звал тебя в дом к себе, говорил: «Ты передо мной что дуб стогодовалый!» – молвил ты, стало быть, не в добрый час. Вот тебе и дуб стогодовалый! Всего разломило, руки не смогу поднять... Ты десятью годами меня старше... никак больше... а переживешь этот дуб-ат!.. – проговорил Глеб с какою-то грустью и горечью, как будто упрекал в чем-нибудь дедушку Кондратия.

– Полно, сосед... что ты загадываешь! Один создатель ведает, что будет впереди... Бог милостив!.. Авось еще поживешь с нами...

– Нет, уж я не встану! – отрывисто сказал Глеб.

– Чем так-то говорить, помолись-ка лучше богу: попроси у него облегчения, продлил бы дни твои! Теплые наши молитвы, по милосердию божию, дойдут до господа...

– Болезнь во всем во мне ходит: где уж тут встать! – проговорил Глеб тем же отрывистым тоном. – Надо просить бога грехи отпустить!.. Нет, уж мне не встать! Подрубленного дерева к корню не приставишь. Коли раз подрубил, свалилось, тут, стало, и лежать ему – сохнуть... Весь разнемогся. Как есть, всего меня разломило.

– Усталому-то последняя верста тяжелее пяти первых кажется... Вздохнешь маленько, бог даст, поправишься...

– Пятьдесят лет уставал каждый день, лиха не чаял... не от того совсем! – перебил Глеб.

– Мало ли что, Глеб Савиныч! Года твои не те были. Много на них понадеялся... Я говорил тебе не одна: полно, говорил, утруждать себя, вздохни; ты не слушал тогда...

– Слушать-то нечего! – нетерпеливо перебил Глеб. – Потвоему, брось работу, сам на печку ложись!

– Оборони, помилуй бог! Не говорил я этого; говоришь: всяк должен трудиться, какие бы ни были года его. Только надо делать дело с рассудком... потому время неровно... вот хоть бы теперь: время студеное, ненастное... самая что ни на есть кислота теперь... а ты все в воде мочишься... знамо, долго ли до греха, долго ли застудиться...

– Наша вода мягкая: с нее ничего не сделается... не от того совсем! – упрямо заключил Глеб и повернулся спиной к

собеседнику, как бы желая показать ему, что не стоит продолжать разговора.

С этого дня он не вставал уже с печки. Трудно определить, в чем именно состояла болезнь Глеба. Отвергая с таким упрямством догадки домашних, которые единодушно утверждали, будто немощь его происходила от простуды, он был, может статься, более прав, чем казалось. И в самом деле, если б пребывание в студеной воде могло сокрушить Глеба, – если б ненастье, лютый ветер, мокрая одежда, просыхавшая не иначе, как на теле, в состоянии были производить на него какое-нибудь действие, Глебу давным-давно следовало умереть. Его не стало бы с двадцатилетнего возраста. Тогда еще начал он заниматься промыслом. Каждый год после этого, в глухую осень, когда Ока начинала стынуть и покрывалась тонкой корой ледяных игл, он проводил целые дни в воде по пояс, и все-таки ничего ему не делалось. Оттого, и дожив до семидесяти лет, он не хотел верить простуде. Самый лед мог уже казаться ему «мягкою водою». Вообще говоря, в простонародье так же редко умирают от простуды в зрелых годах, как часто умирают от той же причины в молодости. Оно понятно: выдержав все то, что выдерживают крестьянские работники, человек смело считает себя невредимым, как бы застрахованным от влияния всевозможных непогод и невзгод. Слова: «здоровяк, крепыш, усилок», которыми величают в простонародье крепкого человека, по-моему, еще слабо выразительны. Это просто богатыри со сталью вместо

кожи, каменными мышцами и железными костями. Простолюдин зрелых лет делается по большей части жертвою удара, ушиба, порванных жил, старости и, наконец, истощения физических сил – необходимое следствие того неумеренного, принужденно-усиленного труда, о котором говорили мы в предшествовавшей главе. По всей вероятности, это последнее обстоятельство свалило Глеба. Он уже не чувствовал теперь никакой боли – чувствовал только, как силы оставляли его и как постоянно слабли его члены. Послушался бы Глеб дедушку Кондратия, поберег бы силы свои, их стало бы, может статься, надолго. Силы Глеба были исчерпаны до последней капельки. Едва-едва доставало на то, чтобы поднять руку для крестного знамения. При всем том Глеб слышать не хотел о сосновских ворожеях и знахарях, которых предлагала ему жена. Такое же невнимание встречала тетушка Анна, когда, теряясь в скорбных догадках, советовала ему «порубить» спину, попариться в печи и пустить кровь. Он с упрямством отказывался от всякого пособия. «Так уж, знать, господом богом положено. Коли жить написано, так проживу и без этого; коли помереть суждено, так уж тут нечего хлопотать. Человек над смертью не властен!» Это был единственный ответ Глеба на все советы и замечания домашних. В критическую минуту, слепо отдаваясь на волю провидения, Глеб не унывал духом. Вера подкрепляла его. Он не терял надежды и, по-видимому, ждал выздоровления. А между тем жизнь заметно оставляла старого Глеба. Тело его уже толь-

ко поддерживалось душою, которая до последней минуты сохраняла всю свою энергию. Казалось даже, деятельность, оживлявшая когда-то старика, перешла теперь вся в его душу. Он не переставал говорить о промысле, не переставал заботиться о хозяйственных делах своих, входил в мельчайшие подробности касательно домашнего управления, не переставал сокрушаться о том, какие произойдут упущения. Тело Глеба безжизненно почти лежало на печке, но душа его присутствовала всюду. Двадцать раз на дню призывал он жену или Дуню, посылал их в такое-то место двора и приказывал исправить такой-то предмет. Иногда все дело состояло в том, что надо было переложить верши из одного угла в другой или вынуть такой-то шест и поставить на его место другой. Гришка не выходил у него из головы. Он поминутно посылал за ним, заставлял его рассказывать о том, как идет промысел, входил во все мелочи, давал ему наставления. Первый вопрос, с каким он обращался к дедушке Кондратию, когда тот приходил навестить его, был всегда следующий: «Ну, что, дядя, как ловится рыбка?» Нередко дух Глеба проникался тревогою и сомнением. Ему казалось, что домашние исполняют наперекор все его приказания, что все идет не так, как бы следовало, что дом и все хозяйство гибнут от их нерадения. Слова старика показывали, что память не изменила ему. Он помнил мельчайшие подробности из жизни своих домашних, но выбирал те именно случаи, которые могли подтвердить его подозрения. Он осыпал их упреками,

грозил лишить их благословения. Голос старика, прерывавшийся почти на каждом слове, звучал тогда негодованием. Страшно было смотреть на Глеба. Одно только появление дедушки Кондратия в силах было унять его. Душеспасительные слова кроткого, набожного старика мгновенно возвращали спокойствие встревоженной душе Глеба. Дедушка начал ходить каждый день и просиживал в избе рыбака с утра до вечера.

Раз Глеб не встретил уже его обычным вопросом своим о том, как ловится рыбка.

Глаза старого рыбака были закрыты; он не спал, однако ж, морщинки, которые то набегали, то сглаживались на высоком лбу его, движение губ и бровей, ускоренное дыхание ясно свидетельствовали присутствие мысли; в душе его должна была происходить сильная борьба. Мало-помалу лицо его успокоилось; дыхание сделалось ровнее; он точно заснул. По прошествии некоторого времени с печки снова послышался его голос. Глеб подозвал жену и сказал, чтобы его перенесли на лавку к окну.

Тетушка Анна, Дуня, дедушка Кондратий и приемыш поспешили исполнить его волю.

Пять минут спустя Глеб лежал на лавке, устланной соломой.

Голова Глеба, приподнятая свернутыми полушубками, была обращена по его просьбе к окну.

Взглянув на исхудалое, изнеможенное лицо своего мужа,

на его руки – когда-то мощные и крепкие руки, похожие на ветвь старого вяза, но высохшие, как щепки, и безжизненно сложенные на груди, тетушка Анна вдруг зарыдала.

Старушка не могла дать себе отчета в своих чувствах: она не объяснила бы, почему рыдание вырвалось у нее теперь, а не прежде; тут только поняла она почему-то, что уже не оставалось малейшей надежды; тут только, в виду смерти, осмыслила она всю силу пятидесятилетней привязанности своей, всю важность потери.

– Полно, старуха, – сказал Глеб, находившийся, вероятно, под влиянием одних мыслей с женою, – перестань убиваться; надо же когда-нибудь умереть... все мы смертны! Пожили пятьдесят годков вместе... Ну, пора и расставаться. Все мы здесь проходимцы!.. Расстаемся ненадолго... Скоро все свидимся... Полно!..

Голос Глеба был спокоен и вполне отвечал спокойному выражению лица его. Последняя искра надежды на выздоровление погасла уже в душе его: он сознавал теперь близкую свою кончину. В последних два дня старик помышлял только о спасении души своей; он приготавливался к смерти; в эти два дня ни одно житейское помышление не входило в состав его мыслей; вместе с этим какая-то отрадная, неведомая до того тишина воцарялась постепенно в душе его: он говорил теперь о смерти так же спокойно, как о верном и вечном выздоровлении.

– Полно вам убиваться!.. Что обо мне плакать-то! Мое

дело решенное. Лучше о себе подумайте, – продолжал Глеб (жена его, Дуня, приемыш и дедушка Кондратий окружили лавку), – о себе, говорю, подумайте: оставляю вам немного... Ты, жена, не больно изъясняйся на мои похороны: мертвому немного надо; похорони, как хоронили, примерно, свата Акима, так и меня похорони... Положи только тело мое в Сосновку: хочу лежать подле покойных малых деток своих и сродственников... Там меня положи. Образ отпусти со мной тот, в серебряной ризочке, что Ваню-то благословляли... Это последняя моя воля... Окромя этого образа все вам оставляю. Живите, как при мне жили; жил я, как жили отцы мои и деды, и вы тому следуйте... Не оставил меня господь, и вас тогда не оставит!.. Проживете с мое, и вас сподобит умереть спокойно. В одном только отказал мне творец милосердый, – подхватил со вздохом старик, – не привел... не дал в последний раз наглядеться... на... Ваню... Не забывай его, смотри, жена!.. Не забывайте и все его!.. Мил был он моему сердцу, любил я его... Супротив всех других любил... Приведет вам господь увидеть его... Передайте ему мое родительское благословение, навеки нерушимое. Умирал старик, скажите, – умирал, его, милого детища, поминаючи... Так и скажите ему!..

Тут голос Глеба, до той минуты ровный и спокойный, как словно оборвался; он закрыл глаза и замолк.

Тетка Анна и Дуня плакали навзрыд. Дедушка Кондратий давно уже не плакал: все слезы давно уже были выплаканы;

но тоска, изображавшаяся на кротком лице его, достаточно свидетельствовала о скорбных его чувствах. Один приемыш казался спокойным. Он стоял, склонив голову; ни одна черта его не дрогнула во все продолжение предшествовавшей речи.

– Гриша, – сказал неожиданно Глеб, – ты, Гриша, заступишь теперь мое место, будешь жить все одно, как сын родной в дому... Исполни последнюю мою родительскую волю: не оставляй старуху, береги ее, все одно что мать родную... Мы берегли тебя смолоду, растили, поили, кормили, как родного детища, – должен это помнить. Коли оставишь ты ее, не будет тебе моего благословения!.. Не будет также моего благословения, коли не станешь соблюдать жену свою, не станешь почитать тестя... Как меня слушал, так и его слушайся; почитай его, все одно как отца родного... А это, что вот приятели смущать будут, этого ты не слушай!.. Это, значит, враг путает! Приятели на один час, родные – на всю жизнь... их почитай и слушай!.. Ты уж не малолетний: сам должен видеть, что хорошо, что худо. Не послушаешь меня, отыму благословение!.. Востоскует душа моя, что оставил злодея в семье своей. Господь от тебя откажется, и не будет тебе тогда никакой радости в жизни!.. Смотри же, Гриша, веди себя крепко, живи по закону... Смотри же, не обмани меня! Ты вся моя надежда теперь... Окромя тебя и Вани, нет у меня... окромя вас, нет других детей! – заключил Глеб, причем на лице его изобразилась вдруг тоска.

Он, очевидно, хотел еще что-то прибавить, но дедушка Кондратий, догадавшись, вероятно, о чем пойдет речь, поспешил предупредить его.

– Полно, Глеб Савиныч, – сказал он, – полно, слободи ты свою душу... Христос велел прощать лютым врагам своим... Уйми свое сердце!.. Вспомяни и других детей своих... Вспомяни и благослови Петра и Василия.

Лицо Глеба мгновенно приняло строгое выражение, лоб покрылся морщинками, седые брови нахмурились.

– Помилуй их, Глеб Савиныч, – продолжал дедушка Кондратий.

– Батюшка, помилуй! – рыдая, воскликнула Анна.

– Глеб Савиныч! – подхватил отец Дуни. – Един бог властен в нашей жизни! Сегодня живы – завтра нет нас... наш путь к земле близок; скоро, может, покинешь ты нас... ослободи душу свою от тяжкого помышления! Наказал ты их довольно при жизни... Спаситель прощал в смертный час врагам своим... благослови ты их!..

– Прощаю всем врагам моим, какие у меня были... им прощаю... прощаю наравне с другими, – сказал Глеб.

– Этого мало, Глеб Савиныч! Они дети твои: должен благословить их!..

– Нет, они мне не дети! Никогда ими не были! – надорванным голосом возразил Глеб. – На что им мое благословение? Сами они от него отказались. Век жили они послушниками! Отреклись – была на то добрая воля – отреклись от отца род-

ного, от матери, убежали из дома моего... посрамили мою голову, посрамили всю семью мою, весь дом мой... оторвались они от моего родительского сердца!..

– Все же они дети твои, – убедительно произнес дедушка Кондратий, – какая их жизнь будет без твоего благословения? И теперь, может статься, изныла вся душа их... не смеют предстать на глаза твои... Не дай им умереть без родительского твоего благословения... Ты видел их согрешающих – не видишь кающихся... Глеб Савиныч!..

Строгость, изображавшаяся в чертах Глеба, постепенно смягчалась; но он не произнес, однако ж, слова.

Грустно было выражение лица его. Жена, Дуня, приемыш, Кондратий не были его родные дети; родные дети не окружали его изголовья. Он думал умереть на руках детей своих – умирал почти круглым, бездетным сиротою. Он долго, почти все утро, оставался погруженным в молчаливое, тягостное раздумье; глаза его были закрыты; время от времени из широкой, но впалой груди вырывался тяжелый, продолжительный вздох.

Около полудня он снова раскрыл глаза.

– Подымите меня... – сказал он ослабевшим голосом.

Дуня и тетушка Анна посадили старика на лавку; обе держали его под руки.

Глаза Глеба медленно обратились тогда к окну, из которого виднелись: часть площадки, лодки, опрокинутые на берегу, и Ока.

Дальний берег и луга застигались мелким, частым дождем. Был серый, ненастный день; ветер уныло гудел вокруг дома; капли дождя обливали и без того уже тусклые стекла маленького окошка. Мрачно синела Ока, мрачно глядел темный берег и почерневшие, вымоченные лодки. Печальный вид осеннего дня соответствовал, впрочем, как нельзя лучше тому, что происходило в самой избе.

– Прощай, матушка Ока!.. – сказал Глеб, бессильно опуская на грудь голову, но не отнимая тусклых глаз своих от окна. – Прощай, кормилица... Пятьдесят лет кормила ты меня и семью мою... Благословенна вода твоя! Благословенны берега твои!.. Нам уж больше не видаться с тобой!.. Прощай и вы!.. – проговорил он, обращаясь к присутствующим. – Прощай, жена!..

Старушка зарыдала так сильно, что дедушка Кондратий поспешил занять ее место и взял под руку Глеба.

– Полно печалиться, – продолжал Глеб, – немолода ты: скоро свидимся!.. Смотри же, поминай меня... не красна была твоя жизнь... Ну, что делать!.. А ты все добром помяни меня!.. Смотри же, Гриша, береги ее: недолго ей пожить с вами... не красна ее была жизнь! Береги ее. И ты, сноха, не оставляй старуху, почитай ее, как мать родную... И тебя под старость не оставят дети твои... Дядя!..

Дедушка Кондратий наклонил белую свою голову.

– Прощай, дядя!.. Продли господи дни твои! Утешал ты меня добрыми словами своими... утешай и их... не оставляй

советом. Худому не научишь... Господь вразумил тебя.

Глеб долго еще прощался с домашними; он хотел видеть каждого перед глазами своими, поочередно поцеловал их и перекрестил слабою, едва движущеюся рукою. Наконец он потребовал священника.

Гришка тотчас же отправился в Сосновку.

Вплоть до самого вечера Глеб находился в каком-то беспокойстве: он метался на лавке и поминутно спрашивал: «Скоро ли придет священник?», душа его боролась уже со смертью; он чувствовал уже прикосновение ее и боялся умереть без покаяния. Жизнь действительно заметно оставляла его; он угасал, как угасает лампада, когда масло, оживлявшее ее, убегает в невидимое отверстие.

Поздно вечером приехал священник. Дедушка Кондратий и старуха встретили его в воротах и замолвили ему о старших сыновьях – Петре и Василии.

Дуня, ее отец, свекровь и муж оставались на крыльчке.

По прошествии некоторого времени духовник уехал, объявив наперед, что старик исполнил их желание и велел им передать Петру и Василию родительское свое благословение.

Когда они вернулись в избу, Глеб лежал без языка.

Трепетный блеск свечи под образами освещал безжизненное лицо его с черными впадинами вместо глаз, с заостренною, холодною профилею, которая резко отделялась на совершенно почти темной стене. Он казался мертвым, и только легкое, едва приметное движение рубашки на груди показы-

вало, что дух его не покинул еще земли. Тетка Анна и за ней поочередно все присутствующие прикладывали поминутно уши свои к губам его, в надежде услышать последнее слово, последнюю волю умирающего. В простонародье последнее слово покойника свято сохраняется домашними: оно переживает другие воспоминания, часто упоминается в семейных беседах, часто даже переходит к внукам.

Но Глеб ничего уже не сказал.

Дедушка Кондратий, который всю ночь не покидал его изголовья, принял на заре последний вздох Глеба и закрыл ему глаза.

– Полно, – сказал он, обратясь к старухе, которая рыдала и причитала, обнимая ноги покойника, – не печалься о том, кто от греха свободен!.. Не тревожь его своими слезами... Душа его еще между нами... Дай ей отлететь с миром, без печали... Была, знать, на то воля господня... Богу хорошие люди угодны...

В то время как обмывали покойника, дедушка Кондратий съездил на озеро за псалтырем. И вскоре в избе, посреди глухих, затаенных стонов, послышалось мерное, колеблющееся чтение при свете желтой восковой свечки, которая освещала почтенную, убеленную честными сединами голову дедушки Кондратия.

Дня через три, в воскресенье, у ворот рыбакова дома и на самом дворе снова стояли подводы; снова раздавались в избе говор и восклицания. Можно было подумать, что тут снова

происходило какое-нибудь веселье.

Но желтая гробовая крышка, прислоненная к воротам, красноречиво опровергала неуместное предположение; длинные шесты, перевязанные веревками, ясно уже показывали, к чему съехались на этот раз сосновские родственники и родственницы.

Немного погодя со двора послышалось протяжное пение, и минуту спустя серый осенний день осветил погребальное шествие.

Позади гроба перед толпою шли дедушка Кондратий и Дуня, немного поодаль виднелся Гришка. За толпою ехала тележка, в которой лежала рыдавшая, осиротевшая теперь старушка.

Шествие обогнуло избу и медленно стало подниматься в гору. Вскоре все исчезло; один только гроб долго еще виднелся под темною линиею высокого берегового хребта и, мерно покачиваясь на плечах родственников, как словно посылал прощальные поклоны Оке и площадке...

XXIV

Первою мыслию Гришки после похорон Глеба было отправиться как можно скорее в Комарево. Болезнь старого рыбака – если считать с того дня, когда он в последний раз занимался промыслом, до той минуты, когда испустил последний вздох, – продолжалась три недели. Во все это вре-

мя Гришка редко, украдкой, виделся с Захаром и другими комаревскими товарищами. Не мешает заметить, он терпеливо сносил, однако ж, свое положение, он не показывал даже особенного неудовольствия, когда старик в припадке тревожной подозрительности заставлял его вставать по ночам и посылал посмотреть, все ли обстоит благополучно на дворе и подле лодок.

По всей вероятности, Гришка обнадеживал уже себя тем, что недолго остается терпеть таким образом, что скоро, может статься, заживет он по своей воле и что, следовательно, не стоит заводить шума. Быть может, и это всего вероятнее, остаток совести – чувство, которое благодаря молодым летам не успело совсем еще погаснуть в сердце приемыша, – держало его в повиновении у изголовья умирающего благодетеля.

В последние пять дней Гришке ни разу не удалось урвать-ся в Комарево; на него пали все хлопоты и распоряжения касательно похорон; чуть ли не по два раза в день принужден он был бегать в Сосновку. Он не мог располагать свободной минутой. Захар и товарищи ничего, следовательно, не знали еще о кончине Глеба. Известие это имело, впрочем, значение для одного Захара. После смерти рыбака он должен был бросить миткальную фабрику и перебраться на жительство к приемышу, который делался полным хозяином в доме усопшего. Приятели заранее в этом условились; условие было даже скреплено в свое время штофом вина.

При всем том в настоящую минуту Гришка мало помышлял о Захаре. Он спешил в Комарево, имея в виду одну цель: показаться товарищам в новом свете, хвастнуть перед ними завидной своей долей. Он не знал еще хорошенько, какое сделает употребление из сегодняшнего дня, не знал также, к какому способу прибегнет, чтобы вернее удивить товарищей. Новое положение, о котором он мечтал столько времени, наконец осуществилось. При этой мысли голова его шла кругом, в ушах шумело, сердце прыгало от нетерпения. Он чувствовал непобедимую, непреклонную потребность расходиться, разгуляться, закрутиться суток на пять по крайней мере.

К сожалению, Гришка не мог поспеть в Комарево раньше вечера; помешали сосновские родственники, которые, по заведенному обычаю, приехали прямо с погоста поминать покойника. Поминки, начавшиеся далеко за полдень, продолжались вплоть до заката. Волей-неволей надо было ждать.

Было уже совершенно темно, когда Гришка очутился у комаревской околицы.

В такую позднюю пору, особенно осенью, пахотные деревушки давным-давно уже спят. Земледелец, обнадеженный скирдою ржи, которой наградил его господь за труды, ложится теперь рано. В сумерки вы не увидите огонька, не услышите звука в пахотной деревушке. Но Комарево, подобно всем промышленным фабричным селам, не утихало раньше полуночи. По вечерам благодаря окрестной тишине и темно-

те ночи, которая позволяла любоваться сотнями ярко освещенных окон, деятельность Комарева становилась еще заметнее. Длинные багровые полосы, пересекавшие главную улицу – центр фабрик и деятельности, огни, повторявшиеся в лужах, дикие взвизгивания и песни, глухо раздававшиеся внутри домов, страшная трескотня, производимая тысячу миткалевых станков на всем ходу, – все это придавало Комареву какой-то фантастический вид, вовсе не свойственный обыкновенным деревням. На главной улице не было окна, в котором бы не горели огни и не двигались человеческие фигуры, сгорбленные в три погибели и качавшиеся взад и вперед как маятники. В эту пору в Комареве спали одни только тучные, расплывшиеся жены хозяев фабрик и не менее тучные дети их. Остальное народонаселение, начиная с семилетних мальчиков и девочек и кончая шестидесятилетними стариками, неутомимо работало: сидело, перегнувшись над станком, или разматывало шпули. Расчет и нужда управляли здесь большим и малым. Самое время имело здесь свое особенное расчисление. Трудовой день не обуславливался восходом и закатом солнца, как в пахотной деревне; он определялся числом аршин сотканного миткаля. Часы меряли аршинами: час приносил работнику семь копеек; размотанная шпуля приносила копейку. Барыш или убыток каждого ткача, каждого размотчика зависели от них самих. Все бились из-за барышей и работали, следовательно, без усталости.

По этому самому комаревские улицы были совершенно

почти пусты. Во все время, как Гришка пробирался к фабрике, где работал Захар, он не встретил души. Изредка до слуха его доходили торопливое шлепанье по лужам, затаенный возглас или шушуканье. Раз, впрочем, наткнулся он и сшиб с ног мальчишку, перелетавшего стрелою улицу и посланного с пустым штофом к Герасиму.

Отвесив мальчику подзатыльник за оплошность, приемыш молодцевато поправил шапку и направился к двухэтажному зданию, стены и кровля которого сливались с мраком, между тем как верхний и нижний ряд окон горели, как отдушины огромной плавильной печи. Он не вошел, однако ж, на крыльцо: проникнуть во внутренность фабрики, переговорить с Захаром при свидетелях и вызвать его на улицу – значило накликать со стороны хозяина или приказчика град упреков и брань на голову товарища. Для избежания всего этого фабричными ребятами придуман был следующий порядок: постороннее лицо, нуждавшееся в ком-нибудь из них, должно было прежде всего обойти весь нижний ряд окон, высмотреть какое-нибудь знакомое лицо, ближайшее к окну, и затем слегка постучать пальцем в стекло. Знакомое лицо делало вид, как будто ничего не замечает, но минуту спустя оставляло работу, ловко шмыгало в дверь и выбегало на улицу. Ему-то поручали вызвать такого-то или такую-то и за хлопоты приглашали обыкновенно после окончания работы в «Расставанье» или к «Ивану Елкину» – названия, под которыми равно известно было заведение флегматического Ге-

расима. В последние два месяца Гришка ознакомился уже в совершенстве с обычаями фабрик. Он поспешно обогнул крыльцо и подошел к первому окну.

Тут сидел один из ближайших приятелей Захара. Лишнее говорить, что он пользовался точно так же дружбою приемыша. То был рыжий и косо́й парень, но лихой и разбитной гуляка, по прозванию Семион, или Севка-Глазун. Этот Семион, или Севка, держался обычая пропивать в воскресенье все то, что зарабатывал в продолжение недели, если только не успевал заблаговременно проигрывать заработки в три листка. В компании, где Захар играл роль коновода, Севка был чем-то вроде есаула.

Но прежде чем подать условный знак Севке, необходимо было убедиться, точно ли сидит он на своем месте. С этою целью Гришка приложил лицо свое к стеклу. В первую минуту он ничего не мог разглядеть: свет ослепил его совершенно.

Мало-помалу перед ним открылась нескончаемая перспектива брусьев, балок, столбов и жердей, скрещенных на все возможные лады, точно деревянная паутина. Весь нижний этаж, состоявший из четырех сквозных срубов, был занят фабрикой. Во всех промежутках этой деревянной паутины виднелись быстро вращавшиеся колеса, которыми управляли мальчики и девочки, покрытые струями пота. Они должны были задыхаться. Мудреного нет: самый дюжий работник, проживший год в этой духоте, начинал хилеть и сох-

нуть. Дерево сохло и трескалось; потолок и стены потели и лоснились, как в бане. Пламя сальных свечей горело неподвижно, окруженное желтыми, тусклыми кругами; оно с трудом проникало сгущенную атмосферу. Со всем тем в нижнем этаже фабрики никогда не находилось свободного уголка. Опустевшее место тотчас же замещалось. Народ теснился, как огурцы в бочке; решительно не было возможности ткнуть пальцем без того, чтобы не встретить бруса, протянутой основы или человеческого затылка. Головы баб, девок и ткачей всех возможных возрастов высывались отовсюду: красные и синие платки, черные, рыжие затылки и бороды, бледные лица, розовые и белые рубашки пестрели в глазах, как стекла kaleйдоскопа, который стали бы вертеть против свечки. Все это двигалось при свете нескольких десятков сальных огарков, вставленных в жестяные подсвечники; подсвечники держались на воздухе помощью проволок, перпендикулярно висевших с потолка. Оглушительная трескотня челноков, удары ботанов, шипение колес, говор, хохот, песни наполняли все здание. В настоящую минуту, за неимением другого, более точного сравнения, этот нижний этаж мог казаться чем-то вроде исполинского желудка, в котором происходило сильное воспаление.

Севка сидел на обычном своем месте. Приеммыш постучал в окно. Минуту спустя на темном крыльце застучали босые ноги.

– Кто? – произнес сиплый голос, весьма похожий на звук

тупой пилы в мягком, гнилом дереве.

– Я, Гришка... с того берега...

– А, Жук! – воскликнул Севка, поспешно сбегая ступеньки крылечка.

Между комаревскими гуляками заведен был обычай давать друг другу прозвища: так, Севку благодаря, вероятно, огромным глазам навывкате величали Глазуном; черные как смоль волосы приемыша, смуглый цвет лица, нахмуренный вид заслужили ему название Жука.

– Где ты пропал? Неделю не видали... – спросил Севка.

– Нельзя, брат: хлопотали... Ведь у меня старик-ат помер...

– Что ты?..

– Да так...

– Стало, ты теперь хозяин! – воскликнул Севка, имевший свои причины радоваться перемене в судьбе своего товарища. – Что ж, Жук, а? – промолвил он полушутовским-полусерьезным тоном. – Ведь, я чай, спрыснуть надо... как же так-то!.. Ей-богу, надо спрыснуть!

– Приходи опосля, как фабрику запрут, и других наших ребят зови.

– Вот так-так! Ладно, будем!

– Зови к Герасиму, – подтвердил приемыш, – дойди только теперь к Захару, скажи: Гришка, мол, дожидает, очень, скажи, беспременно надо видеть.

– Эвна, да рази ты не знаешь?

– А что?

– Стало, он у тебя вечер не был?

– Нет.

– Третий уж день не живет у нас.

– Полно...

– Право; расчелся.

– Где ж он? Стало, у Герасима?

– Знамо, там; где ж больше и быть! Ступай туда: найдешь.

– Ладно; так приходите же, – вымолвил Гришка, поспешно удаляясь.

– Духом будем! – отозвался Севка, исчезая в непроницаемой темноте фабричных сеней.

Кабак находился, как уже известно, у околицы. Гришке пришлось, следовательно, повторить свое путешествие по Комареву. Конец был порядочный, и прогулка сама по себе не представляла большого удовольствия, особенно в ночное время. Грязь и лужи покрывали улицы. Хворост, брошенный так только, для проформы, в глубокие ямы, наполненные грязной жижей, обманывал ногу. Нужно было иметь кошачьи глаза и кошачью легкость, чтобы выйти невредимым из этой топи.

Несмотря, однако ж, на все неудобства дороги, Гришка подвигался вперед быстро и весело. Свист его был даже причиной пробуждения нескольких собак, которые до того времени спокойно спали под телегами и воротами. Он находился в счастливейшем расположении духа и был похож на ле-

нивого школяра, которого только что выпроводили из школы и которому сказали: «Ступай на все четыре стороны!»

По мере того как приемыш приближался к цели своего путешествия, освещенные окна становились реже. Шум внутри фабрик отдалялся с каждой минутой. Мало-помалу он пропал совершенно. В ушах приемыша раздавался только хляск, производимый его ногами, и шуршуканье ветра, который время от времени пробегал по соломенным кровлям.

Теперь уже тянулись по большей части маленькие лачужки и полуобвалившиеся плетни, принадлежавшие бедным обывателям. Густой, непроницаемый мрак потоплял эту часть Комарева. Кровли, плетни и здания сливались в какие-то черные массы, мало чем отличавшиеся от темного неба и еще более темной улицы. Тут уже не встречалось ни одного освещенного окна. Здесь жили одни старики, старухи и больные. Остальные все, от мала до велика, работали на фабриках.

Хриплый, удушливый лай и звяканье железной цепи возвестили наконец близость «Расставанья». Без этих признаков трудно было догадаться, что подходишь к обитаемому жилищу. Кабак казался еще мрачнее, еще темнее лачужек, потому, вероятно, что занимал больше пространства в темном небе. Отделенный от домов огородами, он оканчивал собою жильё с этой стороны Комарева. Большая часть навесов заведения и задние ворота выходили уже в луга – обстоятельство большой важности, если принять в соображе-

ние торговые операции Герасима, которые были такого рода, что должны были производиться по возможности тихо-молком. Мертвое молчание окружало здание, одиноко возвышавшееся посреди пустыря. Лаяли только собаки, да шумел ветер, гулявший теперь на просторе. Но тюремная наружность «Расставанья» не произвела, однако ж, на Гришку неприятного действия. Напротив того, он ускорил шаг, как человек, достигнувший наконец своей цели после долгого странствования. Он проворно вбежал на крыльцо и смело, уверенною рукою отворил дверь, обвешанную лохмотьями рогожи.

Герасим только что лег на скамью, скрывавшуюся за прилавков, когда Гришка вошел в кабак. Сальный огарок, воткнутый в железный искалеченный подсвечник, слабо освещал избу. Желтое пламя, придавленное шапкою нагара, выставляло напоказ дюжины две мелких, но неуклюже толстенных стаканов с зеленым и фиолетовым отливом, которые теснились на сосновой доске прилавка, такой же жирной, как огарок, и черной, как пол. Свет с трудом уже досягал за пределы прилавка. Кой-где, впрочем, мелькали края полок, штофы и склянки, украшавшие заднюю стену. Бочка, стоявшая в дальнем углу, едва-едва обозначалась красноватым кругом. Медный кран бочки и жестяные воронки, прицепленные к ее боку и тронутые кой-где блеском свечи, казались висящими в воздухе. Бревчатый потолок и стены передней части избы, предназначавшейся для посетителей, оставались в совер-

шенной темноте (прилавок разделял избу пополам). Справа только не доходил он до стены, открывая посетителям сообщение с задней дверью.

Кроме сверчка, который жалобно трещал под каким-то косяком, тут не было, казалось, живой души. Но едва только успел Гришка перекинуть ногу за порог, над краем прилавка показалось продолговатое мертвенное лицо целовальника. Казалось, под полом кабака скрывался механизм, имевший непосредственное сообщение между петлями дверей и туловищем Герасима. Дверь отворялась – туловище приподымалось с лавки; дверь запиралась – туловище опускалось. Замечательнее всего, что туловище находилось в совершенном повиновении у двери и подымалось быстро или медленно смотря по тому, быстро ли или медленно отворяли дверь.

– Здорово, дядюшка Герасим! – молодежато воскликнул приемыш, приподымая шапку и подходя к прилавку.

Целовальник лениво протер красные больные глаза свои и еще ленивее подперся локтем. Увидев молодого парня, лицо и денежные обстоятельства которого были ему довольно знакомы, он не удостоил даже опустить наземь длинных ног своих.

– Косушку, что ли? – произнес он сонливым, неохотливым голосом.

– Возьмем и четверть! Мало четверти, все ведро возьмем – дай срок! – сказал приемыш, очевидно старавшийся произвести выгодное впечатление на целовальника, перед кото-

рым играл до сих пор самую ничтожную роль. – Сами теперь хозяева, дядюшка Герасим!.. – подхватил он, подбоченясь и потряхивая волосами. – Живем как хотим!.. Слышь, дядюшка Герасим!.. Сами стали хозяева!

– Твое счастье, – промямлил целовальник, зевая и потягиваясь.

Он ничего не знал еще о смерти Глеба. В противном случае Герасим обошелся бы с парнем ласковее и словоохотливее. Ему не раз уже приводилось иметь дело с молодыми наследниками. Он знал, как сговорчивы они на первых порах, умел пользоваться случаем и обдирал их обыкновенно дочиста. Денег он никогда не спрашивал, пока в руках наследника находился хоть какой-нибудь ценный предмет из крестьянского хозяйства. Этим способом он наверняка приобретал каждую вещь за половину цены. О деньгах заботиться было нечего: деньги наследника, само собою разумеется, не минуют перейти в его руки. Но целовальник находился в неизвестности о кончине зажиточного рыбака и не видел пока надобности терять лишние слова с приемышем. Приписывая удаль и веселость парня какому-нибудь полтиннику, случайно попавшему в карман, Герасим нетерпеливо спросил, что ему надо.

– погоди, дай срок: будет время покуражиться; теперь до Захара есть надобность, – торопливо отвечал Гришка.

– Так бы и сказал... Ступай в харчевню, – проворчал Герасим и снова повалился на лавку.

Гришка между тем прошел между стеною и прилавком и направлялся к задней двери.

Дверь открывалась в сени, служившие целовальнику складочным местом. Чего только не было в этих стенах! Каждый мог вдоволь любоваться кадками, корчагами, горшками и котлами, которые громоздились в свободных углах и даже, за неимением места, валялись на полу. Когда дверь, выходящая на двор, была затворена, в сенях царствовал полумрак даже среди белого дня. Потолка не было, и свет проходил сквозь щели соломенной кровли; но ночью, и особенно теперь, когда небо заслонялось тучами, тут легко было сломить себе шею. При всем том Гришке достаточно было несколько секунд, чтобы выбраться из этого лабиринта и нащупать рукоятку внутренней двери. Он не замедлил очутиться под длинным дощатым навесом – род крытой галереи, которая лепилась вдоль стены кабака и выходила открытой своей стороной на двор, окруженный сплошною стеною сараев и навесов. Кроме кабака и харчевни, Герасим содержал также постоянный двор. Две дороги: одна – из Зарайска, другая – из внутренней части уезда, в Коломну, проходили подле Комарева. Герасим не мог, следовательно, терпеть убытка. В базарные дни, осенью и зимою, в обозное время в посетителях не было недостатка. Лошади и подводы наполняли двор. Часто даже за теснотою приходилось помещаться у ворот. Галерея примыкала правым концом своим к большой избе, где жили целовальник и жена его, где ужинали и спали обозни-

ки и прохожие. Левый конец ее упирался в другую избу, составлявшую с задней стеною кабака прямой вогнутый угол. Постройки «Расставанья» представляли, следовательно, со стороны двора подобие изломанной буквы П. В этой последней избе находилась собственно харчевня. Окна смотрели на двор или навесы, так что с галереи не было возможности рассмотреть, что происходило в харчевне; но на этот раз огонь, отражавшийся в луже, достаточно показывал присутствие гостей. Гришка легко даже мог бы расслышать голос и песню Захара, если б не помешали звуки железной цепи и лай собаки, которая, заслышав шаги на галерее, металась и лаяла сильнее прежнего.

XXV

Отворив дверь харчевни, приемыш вступил в крошечную темную каморку, стены которой, живьем сколоченные из досок, не доходили до потолка. На полу шипел самовар, распространявший вокруг себя огненную вычурную звезду. Труба самовара, наполненная пылающими угольями, освещала раздутое лицо батрака Герасима.

Гришка не обратил на него ни малейшего внимания и поспешно вошел в просторную избу, уставленную множеством столов и лавок.

Два-три стола заняты были посетителями, принадлежавшими по большей части к сословию комаревских фабрич-

ных; между ними виднелись и женщины.

Неподалеку, за особым столом, восседал Захар. Перед ним возвышался штоф, зеленел стакан и красовалась гармония, неизменная его спутница.

– Гришка! Он самый! – воскликнул Захар, как только приемыш показался в дверях. – Ах ты, шут ты этакой! А я только тебя вспоминал! – подхватил он, стремительно подымаясь и подходя к товарищу. – Ну, садись, брат, присосеживайся, вот тебе стаканчик «жизни»... Качай! – заключил Захар, наливая вино.

Гришка оглянул присутствующих, молодцевато тряхнул волосами, выпил вино и стукнул даже стаканом об стол.

Приемыш, как вообще все молодые люди, начинающие разгульное поприще, стремился покуда к тому только, чтобы прослыть в кругу товарищей лихим, удалым малым. Самый верный способ сделаться лихим и выиграть во мнении таких товарищей заключается в том, чтобы выпивать с ними одинаковое число стаканов. Новичок, перепивший самого отчаянного пьяницу своей компании, занимает уже видное место. Гришке ни разу еще не удавалось перепить Севку, хотя он мало уже в чем уступал другим комаревским гулякам; но самолюбие его не удовлетворялось таким успехом. Многого еще доставало ему, чтобы сравняться с товарищами. Так, например, Гришка, шумевший и кричавший громче всех на попойках, терял всю свою лихость в присутствии прекрасного пола. Им овладевала тогда страшная неловкость: у него

отымался язык. Несмотря на стаканы вина, которые выпивал он залпом, чтобы сделаться заметным, никто не обращал на него внимания. В этом отношении последний мальчишка в Комареве был ловчее его. Быть может, сознание своей зависимости, безденежье, не перестававшее грызть ему сердце, сильнее еще возбуждали в нем робость: и рад бы показать себя перед людьми, да нечем! Наконец, ему попросту недоставало привычки к женскому обществу. При жизни Глеба он имел случай исчезать не иначе как ночью, а в эту пору комаревские красавицы редко решались посещать «Расставанье». Одним словом, Гришка не знал «приличного обращения», как говорил Захар.

Но теперь обстоятельства переменились. Гришка мог отправляться в Комарево, когда заблагорассудится, пребывать там, сколько душе угодно, пожалуй, хоть вовсе туда переселиться. Можно, следовательно, надеяться, что он употребит с пользой свою свободу. Под руководством такого наставника, как Захар, он, без сомнения, пойдет быстрыми шагами к просвещению и не замедлит постигнуть тайну «приличного обращения».

– Где ж ты пропадал? – начал Захар.

– Чего, братец, рази ты не слыхал?

– А что?

– Да ведь у меня... старик-ат... ведь помер!

– Как? Может ли быть? – воскликнул Захар, откидываясь назад и выказывая на мгновенно вспыхнувшем лице своем

все признаки удивленья, но вместе с тем и полнейшего восторга.

– Право, – отвечал Гришка, внимание которого с самого начала беседы исключительно почти принадлежало посторонним лицам, находившимся в харчевне, – помер, третьего дня помер.

– Скажи ты на милость! А? С чего ж так? Хворал, что ли? Да нет, когда было хворать! Должно быть, сила, силища задавила его! Я и в те поры говорил, оченно был силен, беспременно, как есть, задавит его сила! – убеждал Захар, окончательно уже захмелевший от радости. – То есть вот как, поверите ли, братцы, – подхватил он, оборачиваясь к сидевшим за другими столами и с живостью размахивая руками, – то есть отродясь не видал такого старика: плечи – вот!.. Рост... то есть четверых, выходит, молодцов заткнет за пояс... страшилище был... то есть ни вообразить нельзя никаким манером! Я и тогда говорил: тем и помрет – сила его задавит.

– Нонче утром хоронили, – перебил Гришка, который, очевидно, тяготился долгим молчанием.

– Скажи на милость! А? Вот она жисть-то, подумаешь! – произнес Захар тоном меланхолии, между тем как ястребиные глаза его так и прыгали. – Вот те и Глеб Савиныч! Жил, жил, да и фю... фю...

Тут Захар приподнял брови, сжал губы и, наклонив голову, издал протяжный, дребезжащий свист, но это продолжалось всего одну секунду. Он быстро обратился к приемышу

и произнес отрывисто:

– Стало, ты, Гриша, хозяин теперича?

– Как же... все мне предоставил! – отвечал приемыш. – «Тебе, говорит, предоставляю весь дом, все мое добро, говорит; сыновьям, говорит, Петру и Василию, ничего не давай, все твое, говорит...»

– Ах, Глеб Савиныч, милый ты человек! – воскликнул Захар с неподдельным, но потому-то самому комически-отвратительным умилением. – То-то вот, напрасно мы тогда на него пеняли! И то и се – а он вон какую добродетель сделал... Уж подлинно наградил, можно сказать! Отец родной, все единственно! Скажи на милость! Таким манером, выходит, стал ты, Гриша, богачом теперича? Вот и знайте вы его, каков он есть! Все единственно первый наш фабрикант; а может, тот еще семь верст не доехал до его капитала! – подхватил Захар. – Да, так вот каков он есть такой человек теперича, – старик-ат жил в аккурате, лучше быть нельзя: может статься, двадцать лет копил, руб на руб складывал! Таким манером оставил по себе не одну сотню... Может статься, выкинем, как есть, и всю тысячку! Теперича парни наши – все это, выходит, шишь-голь перед ним – вот что! Ай да Григорий Акимыч! Знай теперь наших! Да нет, я его довольно знаю: не зазнается – парень бравый, – говорил Захар, дружески хлопая по плечу приемыша, который старался принять значительный вид и бодрился. – Слушай, Гриша, – заключил Захар, переменяя вдруг интонацию, – не о себе, брат, гово-

рю: что мне! Ничего мне от тебя не надо! А только, воля твоя, надо бы на радостях-то повеселить товарищей, ей-богу! Так уж, брат, водится. Да вот и себя не мешает маленечко того, знаешь, этак, покуражить: ведь это, как есть, братец ты мой, по правилу следует... а?

– Только бы шли; за нами дело не станет, – самодовольно вымолвил Гришка, – я и то заходил на фабрику.

– Когда?

– Да вот перед тем, как сюда идтить; видел Глазуна, велел ему всех звать, как порешат за работой... От него и проведал, что ты здесь... Сказывал, тебя хозяин расчел...

Захар толкнул его ногою и прищурил левый глаз, давая этим знать, чтобы он молчал. Ему не хотелось, видно, чтобы причина размолвки с фабрикантом сделалась известна посторонним лицам; а может быть, знаки эти имели целью показать Гришке доверие и дружбу Захара.

– Да, как же! Держи карман! Нет, брат, не он меня расчел – сам отошел, – ловко подхватил он. – Станем, как же, угождать всякой шушере, то не так, это не так... Ах ты, в стекляночной те разбей! Чуфара ты этакая купеческая, самоварная! Разжился – поди ты, какой форс взял... не угодишь никак! Ну, значит, и отваливай!

Но по мере того, однако ж, как вино в штофе исчезало, наглая наружность Захара заметно теряла свою веселость. Он не умолкал, впрочем, ни на минуту, рассказывал потешные анекдоты, играл на гармонии и даже пел песни; но во

всем этом проглядывало какое-то принуждение. Видно было, что Захар о чем-то заботился; он не переставал потирать лоб, хмурил брови, чесал переносицу своего орлиного носа – словом, был, как говорится, не в своей тарелке. Наконец он встал из-за стола, вышел из избы, выслал зачем-то батрака Герасима, который спал на полу подле самовара, приложил глаза к скважине перегородки и крикнул приемамша.

– Гриша, – сказал он озабоченным голосом, – подь-ка, брат, сюды... на два слова.

Секунду спустя Гришка очутился подле товарища.

– Слушай, есть у те деньги? – торопливо шепнул Захар.

– Нет, нету.

– Эх, плохо дело! – произнес Захар. – Как же это, братец мой, а? – подхватил он, досадливо трянув головою.

– Потому больше, думал, у тебя найдутся...

– Было точно целковых два, как расчелся с хозяином; все вышли: то да се. Слушай, Гриша, ты знаешь, каков я есть такой! – подхватил вдруг Захар решительным тоном. – Уж со-служу службу – одно говорю, слышь, заслужу! Теперь возьми ты: звал ребят, придут – угостить надо: как же без денег-то? Никаким манером нельзя. Ведь Герасим в долг не поверит – право, жид, не поверит; надо как-нибудь перевернуться, а уж насчет себя одно скажу: заслужу тебе!

– С тем и шел – думал, у тебя будут...

– То-то и есть, нету. Тогда бы и разговору не было: бери, да и все тут; что мое, то твое: это все единственно... Воля твоя,

Гриша, надо добыть: придут ребята – как же? Не годится, брат, осмеют, осрамишься... Да что тебе! Не искать стать! Взял, да и баста! Свое берешь, не чужое! Сам говоришь, тебе все предоставил: таким манером это все единственно.

– Да где взять-то? Поди ж ты, в голову не пришло, как был дома! – произнес Гришка, проклиная свою опрометчивость. – Кабы наперед знал... Куда за ними идти! Время позднее... ночь...

– Вот, три-то версты! – живо подхватил Захар.

– Знамо, недалече, да, я чай, дома-то спят все; придем – всех только переполошим.

– Тихо можно обделать, никто даже ни... ни... не ворохнется. И то сказать, рази воры какие пришли? Чего им полошиться-то?.. Пришел, взял, да и баста; свое добро взял, не чужое... Ты не воровать пришел... Смотри, брат, тебя бы не обворовали.

– Небось.

– А где деньги-то?

– В сундучке, в каморе; куда хоронил старик, там и лежат...

– Эх ты, Фалалей! Ах! – воскликнул Захар чуть не во все горло. – Что ж это ты наделал? Сыми мою голову, не будь я Захар, коли найдем теперь хоша одну копейку! Рублем прост буду, коли старуха, тем временем как сюда шел, не забрала деньги!

– Небось не возьмет! – с уверенностью возразил Гришка. –

Ведь ключ-то от каморы – я его взял... перед тем как идти, взял...

– Ой ли?

– Вот он.

– Так о чем же мы толкуем? Что ж мы стоим? Пойдем! – восторженно прошептал Захар, схватывая руку товарища. – Чего ждать-то? Толком говорят: рази мы воровать идем? Твое добро, тебе предоставлено: значит, все единственно, властен взять, когда хочешь. Теперь даже взять податнее через ту, выходит, причину: возьмешь днем – все увидят, содом подымут, шум, крик, упрекать станут; теперь никто не увидит – взял, да и баста! Дело выйдет в закрыв, самое любезное: подумают еще, ничего после себя не оставил; тем и обойдется... Пойдем, Гришуха: того и смотри, придут ребята.

Приятель вернулись за перегородку, взяли шапки, раскланялись с пирующими и вышли из харчевни.

– Вот что, дружище, – сказал Захар, когда они очутились в крытой галерее, – ты меня обожди минутку на улице. Признаться, малость задолжал нонче вечером Гараське: думал, Севка выручит. Надо слова два перемолвить с Герасимом; без того, жид, не выпустит... Духом выйду к тебе...

Гришка утвердительно кивнул головой, вступил в сени, потом в кабак. Голова целовальника тотчас же показалась над прилавком; но Гришка не обратил на него внимания и, оставив в кабаке Захара, вышел на улицу.

Приемыш недолго дожидался. Минуту спустя Захар явился к нему, но уже без полушубка и шапки. Оба эти предмета остались на время «в ученье» у Герасима, – так выразился по крайней мере Захар.

Несмотря на грязь и лужи, которые замедляли шаг, приятели скоро миновали луга и не замедлили очутиться в кустах ивняка, где скрывался челнок приемаша. Немного погодя они переехали Оку и вышли на площадку.

Тьма крошечная окутывала избушки. Не было никакой возможности различить их очертание посреди темного углубления высокого берегового хребта, который подымался черною, мрачною стеною. Жалобное журчание ручья да изредка шум ветра, который качал воротами, возмущали тишину площадки.

Шагах в двадцати от дому Гришка неожиданно остановился и поспешно удержал рукою Захара.

– Шт... никак... как словно кто-то на завалинке? – прошептал он изменившимся голосом.

В самом деле, сквозь темноту можно было различить на завалинке что-то белевшееся: казалось, сидел кто-то. Смолкнувший на минуту ветер позволил даже расслышать тяжкий вздох и затаенное рыдание.

– Должно быть, старуха все убивается, – шепнул Захар, – придется идти к огороду.

Оба затаили дыхание, припали к земле и бережно стали огибать избы. За углом они снова поднялись на ноги и по-

спешили войти в проулок, куда отворялись задние ворота.

– Все одно, и здесь услышат; ворота добре пуще скрипят, как раз услышат, – произнес нерешительно приемыш, потерявший вдруг почему-то всю свою смелость.

– Не годится, когда так... потому услышат... Может статья, там еще тесть твой? – шепнул Захар, торопливо оглядываясь назад.

– Не знаю... может, и там.

– Как же быть-то? Придется ведь лезть через крышу, когда так... потому хуже, если услышат... не драться же с ними. Все дело спортим. Надо как-нибудь так, чтобы не догадались... Подумают, не оставил старик денег – да и все тут. Ну, пойдем: начали – кончать, значит, надо! – проговорил Захар, ободря товарища.

Они миновали проулок и выбрались к ручью.

С этой стороны тянулся сплошной навес, соединявшийся с избою посредством небольшой бревенчатой постройки. Одна стена постройки выходила в сени избы, другая примыкала к навесу: это была камора; соломенная кровля ее шла в уровень с кровлей избы, но значительно возвышалась над кровлей навеса, так что, взобравшись на навес, легко было проникнуть на чердак; с чердака вела лестница в сени, куда выходили дверь каморы, дверь избы и дверь на крылечко.

– Ну, что думать-то? Полезай! – шепнул Захар. – Сыми наперед сапоги-то – лучше: неравно застучат.

Он должен был, однако ж, два раза повторить совет при-

емышу. В ушах Гришки шумело; сердце его сильно билось в эту минуту, несмотря на то что он всячески ободрял себя мыслями, что берет свое добро, что может взять его, когда заблагорассудится. При всем том страх невольно прохватывал его до самого сердца; он чувствовал, что дрожали его колени и пересыхало в горле. Он, может быть, отказался бы даже от предприятия, если б не боялся прослыть трусом в глазах Захара, если б не боялся насмешек товарищей, которым, без сомнения, обо всем расскажет Захар... Последнее соображение мгновенно возвратило ему бодрость; он снял сапоги, поставил ногу в ладонь Захара, махнул на кровлю и через минуту исчез в отверстии, которое оставалось между кровлями каморы и навеса.

Несколько минут тягостного ожидания прошли для Захара; по-видимому, он также не владел всею своею смелостию. Прижавшись к стене, Захар не переставал оглядываться то в одну сторону, то в другую.

Наконец доска, закрывавшая изнутри маленькое окошко каморы, тихо отошла в сторону, и лицо Гришки выглянуло наружу.

– Все спят... Ступай, – проговорил он едва слышно.

Захар проворно ухватился руками за верхний венец, нащупал правой ногой место в какой-то щели и с помощью локтей живо вскарабкался на кровлю. Попасть на чердак не стоило ни малейшего труда, стоило только лечь грудью на край навеса, спустить ноги в отверстие кровли – и делу ко-

нец: несравненно труднее было найти в темноте ход в сени. Но Захару слишком хорошо было известно жилище Глеба, чтобы мог он сбиться с пути или оступиться; он благополучно добрался до лестницы и еще благополучнее сошел вниз. Прислушавшись минуту и убедясь хорошенько, что точно никто не пробуждался, он вступил в камору, бережно заперев за собою дверь.

– Ну, брат, зевать нечего... живо! Где сундук? – произнес Захар, ощупывая в потемках товарища.

– Под нарой... завсегда там был, – отвечал Гришка, опускаясь наземь.

– Должон, значит, быть и теперича... Тащи... смотри только, не загреми... Что ж ты? – промолвил Захар после минутного напрасного ожидания.

– Что глотку-то дерешь! Дай прежде сыскать; не найду никак, – прошептал Гришка, ползая под нарою.

– Погоди... у меня, никак, вот тут спички были, – торопливо промолвил Захар, роясь в кармане шаровар, – так и есть, тут.

Захар пригнулся к полу; секунду спустя синий огонек сверкнул между его пальцами, разгорелся и осветил узенькие бревенчатые стены, кой-где завешанные одеждой, прицепленной к деревянным гвоздям; кой-где сверкнули хозяйственные орудия, пила, рубанок, топор, державшиеся на стене также помощью деревянных колышков; во всю длину стены, где прорублено было окошко, лепились дощатые нары,

намощенные на козла, – осеннее ложе покойного Глеба; из-под нар выглядывали голые ноги приемыша.

– Смотри в оба, не зевай, – вымолвил Захар, просовывая руку с огнем под нару.

– Вижу... здесь, вот он! – шепнул Гриша.

– Шт... тащи... Эх, погасла, варварка! Ну, да ништо: и без огня теперича справимся.

Хриплый шорох по земляному полу возвестил, что сундук тронулся с места.

– Как же быть-то? Ведь у сундука замок, а ключа-то нет, – сказал Гришка, окончательно выдвигая сундук из-под нары.

– Ничего: был бы топор... Заднюю доску у сундука отыдем: это все единственно, как есть все на виду окажется; оно и лучше... Ключ, верно, у старухи... Заложим опосля доску-то, на место поставим – она и не догадается. Кажись, тут был где-то топор.

– У двери на гвозде... нашел?

– Тута; на, бери его, а я пока засвечу спичку, – сказал Захар, подавая Гришке топор.

Спичка вспыхнула, и Гришка принялся за дело. Старый, изветшалый задок сундука отошел без больших усилий, но в ту самую минуту, как приемыш наклонил голову к отверстию сундука, Захар, успевший уже разглядеть кое-что на дне, уронил спичку.

– Эх, изменила, окаянная! – прошептал Захар, поспешно прислоняясь плечом к плечу товарища и стараясь показать,

что шарит у себя в кармане.

В этом положении Захар мог чувствовать малейшее движение своего приятеля; суетливые движения Захара, который продолжал делать вид, как будто отыскивает спичку, не могли возбудить подозрений Гришки.

– Шут их знает! Не найдешь, да и полно! – повторил Захар, обшаривая между тем свободною рукою сундук. – Должно быть, все... Нет, погоди, – подхватил он, торопливо вынимая два целковых и запрятывая их с необычайным проворством один в карман шаровар, другой за пазуху, из предосторожности, вероятно, чтобы они не звякнули.

Захар, без сомнения, повторил бы свою проделку; но движение Гришки дало знать, что рука его также протягивалась к сундуку.

Спичка мгновенно отыскалась.

– Кошель! – сказал Гришка.

Соколиные глаза Захара жадно устремились на руки товарища, и горящая спичка задрожала между его пальцами при виде раскрытого кожаного кошелья, в котором находилось мелочью и целковыми рублей сто ассигнациями.

– Должно быть, еще есть, – глухо прошептал Захар, сдавливая пальцем огонь.

Но на этот раз хитрость ни к чему не послужила: рука приемыша была уже в сундуке, прежде чем Захар успел протянуть свою собственную.

– Тряпица с деньгами! – вымолвил Гришка голосом, за-

дышающим от волнения.

В тряпице, завязанной в несколько узлов, нашлись, к сожалению, одни только заржавленные, старые скобки, задвижки, пуговицы, петли и гвозди, перемешанные, впрочем, с несколькими пятакими. Несмотря на тщательный розыск, в сундуке не нашлось больше ни одного гроша; все сокровища Глеба заключались в кожаном кошелье; то был капитал, скопленный трудолюбивым стариком в продолжение целого десятка лет!

– Ну, ничего! – сказал Захар. – Маленько обманул нас старик, а все хошь недаром сходили: будет, чем покуражиться!.. Пойдем: пора; я чай, ребята ждут, – заключил он и без дальних разговоров быстро вышел в сени.

– погоди; дай управиться; куда ты? Вместе пойдем, – торопливо шептал Гришка.

– Один не уйду... Уж и струхнул... Эх ты! – грубо отозвался Захар.

Скрип лестницы возвестил, однако ж, Гришке, что товарищ его спешил пробраться на чердак каморы.

Торопливость окончательно овладела тогда Гришкой. Забыв все предосторожности, он кой-как приложил оторванную доску к сундуку, пихнул его под нару, оставил топор на полу и, не захлопнув даже подвижной доски, которой запиралось окошко, выбежал в сени. Он сообразил, однако ж, всю необходимость запереть дверь каморы; сундук, топор, окно – все это можно было привести в порядок завтра, но во что

бы то ни стало надо запереть камору; а ключ и замок никак между тем не отыскивались. Шаги Захара совсем умолкли. Гришка был один в сенях: ну что, если жена, старуха или дедушка Кондратий, пробужденные шумом, выбегут вдруг из избы?.. Ему послышалось даже, как словно кто-то ходил по избе. Гришка бросился со всех ног на лестницу, ведущую на чердак. Но едва только закинул он ногу на последнюю ступеньку, дверь в самом деле отворилась.

– Дунюшка? Ты, родная? Ась? – проговорила тетушка Анна.

Затаив дыхание, Гришка висел неподвижно на верхней ступеньке лестницы.

К счастью, ветер, зашумевший в эту минуту передними воротами, привлек внимание старушки: она прошла сени, загремела засовом, который замыкал дверь крыльца, и спустилась на двор.

Миновав чердак и выбравшись затем на кровлю навеса, Гришкадохнул свободнее. Скатываясь наземь, он чуть не сел на шею Захара, который ожидал его, притаясь за плетнем.

– Что ж ты меня оставил? – досадливо сказал приемыш. – Я чуть было не влопался: старуха из избы выходила...

– Кто ж на завалинке-то сидел? – отрывисто возразил Захар. – Стало, жена... Смотри, Жук, она за тобой присматривает.

Но Гришка думал о том только, что дверь каморы настезь отворена. Он готов был в эту минуту отдать половину своих

денег, чтобы дверь эта была наглухо забита, заколочена, чтобы вовсе даже не существовала она в сенях.

– Захар, – сказал он, – ведь камора-то не заперта... как быть?.. А?.. Ведь ключ-то я обронил...

– Так что ж?.. Уж ты, брат, и оробел?.. Ах ты, соломенная твоя душа!.. Так что ж, что отворена? Пущай узнают! Рази ты воровать ходил? Твое добро, тебе предоставлено, и не может тебе запретить в этом никто; захотел – взял, вот те все!.. Эх ты, Фалалей, пра, Фалалей!.. Ну, качай! Чего стал!..

Ободренный таким доводом, Гришка надел сапоги и пустился догонять Захара. Он часто останавливался, однако ж, припадал к земле и шикал Захару, который почему-то выступал теперь, не принимая никаких предосторожностей, раз или два принимался даже посвистывать.

Шагах в тридцати от дома Гришка оглянулся назад.

Он явственно слышал голос жены и старухи; но сколько ни напрягал слух, думая услышать крики, звавшие на помощь, ничего не мог разобрать. Ветер дул с Оки и относил слова двух женщин.

Смелость возвратилась к Гришке не прежде, как когда он очутился в челноке вместе с Захаром. Он начал даже храбриться. На луговом берегу Гришка перестал уже думать о растворенной двери каморы. Приближаясь к комаревской околице, он думал о том только, как бы получше выказать себя перед товарищами.

И действительно, не было возможности выказать себя

лучше того, как сделал это Гришка. Даже Севка-Глазун и сам Захар наотрез объявили, что не ждали такой удали от Гришки-Жука, давно даже не видали такого разливанного моря. Мудреного нет: пирушка обошлась чуть ли не в пятьдесят рублей. Гришка «решил» в одну ночь половину тех денег, которые находились в кошеле и которые стоили Глебу десяти лет неусыпных, тяжких трудов!

XXVI

Весточка

Само собою разумеется, что Гришка, истратив большую половину своего наследства на угощение приятелей, щедро, чересчур даже щедро отблагодарил их за редкие стаканы вина, которыми угощали они его от времени до времени.

Но приятели – в том числе, конечно, Захар и Севка – были другого мнения. Убедить приемыша ничего не стоило: он тотчас же поддался. Видное место, которое занимал он между ними в качестве главного распорядителя и виновника празднества, чрезвычайно льстило его самолюбию.

Роль амфитриона, особенно когда играешь ее в первый раз, способна увлечь и не таких легкомысленных малых, каким был приемыш; скряги, и те в подобных случаях забывают часто расчет. Самолюбие, как известно, отуманивает голову крепче всякого хмеля. Все это доставило приемышу такое удовольствие, было так ново для него, что он готов был

на всевозможные жертвы, только бы продлить свое торжество.

С того самого вечера, как началась пирушка, Гришка не показывался уже дома. Дуня и тетушка Анна имели, однако ж, возможность видеть его каждый день. Вот как это было, избы покойного Глеба находились, если только помнит читатель, на значительной высоте над поверхностью воды. С завалинки легко было обозреть Оку на несколько верст в обе стороны. Дуня и старушка могли, следовательно, видеть, как Гришка и удалая его компания катались по реке в большой лодке. Дикае, разгульные песни, крики и хохот пьяной толпы явственно доносились по ветру до избышек; иной раз лодка подъезжала так близко, что старушка и сноха ее ясно различали без труда лица гуляк; Гришка сидел обыкновенно рядышком, рука в руку, или обнявшись с Захаром; остальные члены веселой компании работали вкривь и вкось веслами, пели песни, раскачивали лодку или распивали вино. Раз даже, в ненастный, дождливый день, они причалили к площадке; лодка была до того полна народу, что погружалась в воду до борта; немало также воды находилось в самой лодке. Те из присутствующих, которые были не так хмельны, вышли на берег и бросились к челнокам, смиренно лежавшим на песке. Во все время, как спускали челноки в воду, Гришка ни разу не обернулся, не взглянул на дом; ему не до того было: поддерживая рукой штоф, он распевал во все горло несладкую песню, между тем как голова его бессильно свешивалась

то на одно плечо, то на другое...

Дуня и старушка наблюдали всю эту сцену из окошка. У них никогда не доставало духу оставаться на завалинке, и стоило показаться на Оке большой лодке, как обе спешили уйти в избу. На другой же день после похорон Глеба узнали они проделку с сундуком. Первый предмет, остановивший внимание тетки Анны, когда, встав на заре, вышла она в сени, была отворенная дверь каморы. В продолжение целых сорока лет глаза старушки привыкли видеть эту дверь на запоре. Отсутствие огромного железного замка, служившего единственным ее украшением, ошеломило старушку. Ноги ее подкосились, грудь наполнилась тяжким предчувствием. С ужасным криком бросилась она в избу и позвала Дуню.

Отпечатки грязных ног явственно обозначались на полу сеней и каморы. Комки мокрой грязи висели еще на перекладинах лестницы, ведшей на чердак. Спинка сундука, кой-как прислоненная, обвалилась сама собою во время ночи. Подле лежали топор и замок. Окно было отворено!.. Но кто ж были воры? Старушка и Дуня долго не решались произнести окончательного приговора. Отсутствие Гришки, прогулки в лодке, бражничество, возобновленная дружба с Захаром обличили приемыша. Надо было достать откуда-нибудь денег.

– Словно сердце мое чуяло! – сказала тетушка Анна, тоскливо качая головою (это были почти первые слова ее после смерти мужа). – Тому ли учил его старик-ат... Давно ли, касатка... о-ох!.. Я и тогда говорила: на погибель на свою свя-

зался он с этим Захаром!.. Добре вот кого жаль, – заключила она, устремляя тусклые, распухшие глаза свои на ребенка, который лежал на руках Дуни.

Дуня не плакала, не отчаивалась; но сердце ее замирало от страха и дрожали колени при мысли, что не сегодня-завтра придется встретиться с мужем. Ей страшно стало почему-то оставаться с ним теперь с глазу на глаз. Она не чувствовала к нему ненависти, не желая ему зла, но вместе с тем не желала его возвращения. Надежда окончательно угасла в душе ее; она знала, что, кроме зла и горя, ничего нельзя было ожидать от Гришки.

То, чего она так боялась, произошло скорее, чем можно было ожидать. На пятые сутки Гришка пришел домой в сопровождении Захара. Оба были шибко навеселе.

Увидев приемыша, тетка Анна забыла на минуту свое горе. Сердце ее задрожало от негодования.

– Разбойник! – вскричала она, всплеснув руками. – То ли сулил ты покойнику, а? Где ж твоя совесть, потерянная душа твоя? Где?

– Полно орать-то... – проговорил Гришка, с трудом ворочая язык.

– Разбойник! Вор! – подхватила старушка, все более и более разгораясь.

– Тише, тетенька, слышим, не оглохли! – промолвил Захар, нагло посматривая на Дуню, которая стояла в дальнем углу бледнее полотна.

– Ты, окаянный, зачем здесь? Ты зачем пришел? Твое это все дело! Ты погубитель наш! Ты подучил его воровать! – отчаянно кричала старушка.

– Да что ты в самом деле, тетка, размахалась? – проговорил наконец Захар, мало до сих пор обращавший на нее внимания. – Кто здесь кого обокрал? Смотри, не ты ли?.. Ему красть нечего... Хоша бы точно, заподлинно взял он деньги, выходит, красть ему нечего... Свое взял – да и шабаш!.. Пойдем, Гришка... что ее слушать, загуменную каргу...

– Знамо... свое... все мое... все мне пре... доставлено!.. – несвязно проговорил приемыш, следуя за Захаром и напутствуемый бранью тетушки Анны.

Причина появления двух приятелей обнаружилась вскоре после их ухода. На дворе, под навесом, недалеко от задних ворот, находилась клеть, или «летник». В этой клетке сохранялись обыкновенно до первого снега полушубки и вообще вся зимняя одежда. Заглянув туда случайно, тетушка Анна не нашла ни одного полушубка, даже своего собственного: клеть была пустехонька.

Во весь этот день Дуня не сказала единого слова. Она как словно избегала даже встречи с Анной. Горе делает недоверчивым: она боялась упреков рассерженной старухи. Но как только старушка заснула и мрачная ночь окутала избы и площадку, Дуня взяла на руки сына, украдкой вышла из избы, пробралась в огород и там уже дала полную волю своему отчаянию. В эту ночь на голову и лицо младенца, который спо-

койно почивал на руках ее, упала не одна горькая слеза...

Слезам этим суждено было не пересыхать многие и многие дни и ночи. С того самого дня горе, как червь, основалось в сердце молодой женщины.

Одно из самых тяжких испытаний ее было разорение старика отца. Это произошло почти в то же время, как Гришка кутил в Комареве. Дедушке Кондратию нетрудно было разориться: стоило только напасть «плевку» на пескарей и колюшек, на всю эту мелкоту, которую так глубоко презирал покойный Глеб; так и случилось. Волей-неволей дедушка Кондратий должен был покинуть маленькое озеро и искать нового средства к пропитанию. Тяжко было семидесятивосьмилетнему старику добывать насущный хлеб другим, более трудным промыслом. Он перенес, однако ж, переворот судьбы с тою кротостию и смирением, какие отличали его во всех случаях жизни. Старик казался так же спокоен, как когда, бывало, удил рыбу на берегу своего озера. Он всячески старался уговорить и успокоить дочь, которая не переставала убиваться о том, что не может подать ему руки помощи. И в самом деле, при существующих обстоятельствах она ровно ничем не могла пособить преклонному родителю. Сама она со своим младенцем и тетушка Анна ждали уже минуты, когда останутся без куска хлеба. Обе, однако ж, приступили к старику и стали просить его перебраться в дом, хотя на первое время; но дедушка Кондратий напрямик отказался.

– Ничего из этого не будет, только обременю вас, – ска-

зал он, – надо самому хлопотать как-нибудь. Пока глаза мои видят, пока терпит господь грехам – сил не отымают, буду трудиться. Старее меня есть на свете, и те трудятся, достают себе хлебец. Должон и я сам собою пробавляться... Может статься, приведет господь, люди добрые не оставят, вам еще пригожусь на что-нибудь... Полно, дочка, сокрушаться обо мне, старике: самую что ни на есть мелкую пташку не оставляет господь без призрения – и меня не оставит!..

И точно, господь не оставил дедушку Кондратия. Около этого времени в Сосновке оказалась надобность в пастухе. Прежний пастух по обстоятельствам своим принужден был оставить стадо. Дедушка Кондратий тотчас же занял его место и нанялся достеречь стадо до первого снегу. Он, может статься, не принял бы на себя такой хлопотливой тяжелой обязанности, приискал бы другое место, более сродное его привычкам: нанялся бы плести сети, вязать верши или ковырять лаптишки; но дело в том, что денег, вырученных за челнок и лачужку, проданные на дрова комаревскому фабриканту, едва-едва достало на уплату за наем озера. Срок платежа подоспел, как назло, к этому самому времени. И то еще: в Комареве (маленькое озеро, равно как другие озера лугового берега, принадлежали Комареву), и то многие в Комареве положительно утверждали, что дедушка Кондратий дешево отделался!

После того как старика не стало на озере, дни потянулись еще печальнее, еще грустнее для его дочери.

Дни сами уже по себе не были веселы: мрачная, суровая осень стояла на дворе. Редко проглядывал бледный луч солнца. Чаше небо заслонялось хребтами сизых, зловещих туч; лились дожди, и дули свирепые ветры. Дни эти служили как бы продолжением тому печальному пасмурному вечеру, когда Глеб расстался с жизнью. Они соответствовали, впрочем, как нельзя лучше душевному состоянию двух женщин, единственных обитательниц площадки. И Дуня, и тетюшка Анна имели одинаковые причины скорбеть душою. Горе в час времени изглаживает из памяти целые годы счастья! Обе они жили несколько суток одним горем; горе сделало их ровнями. Старуха, казалось, была только слабее духом. Она не переставала жаловаться и сетовать на горькую судьбу свою. Имя покойного не сходило с языка ее; утешение, которое могла она встретить в Дуне и ее ребенке, отравлялось или воспоминаниями, или огорчениями, которые доставил ей приемыш – этот второй сын, как говорила она когда-то.

– Он погубитель, лютый злодей наш! Того и норовит, как загубить нас... Наказал нас господь! Прогневали, знать, творца, – повторяла она.

Остановить Гришку не было никакой возможности. Попросить об этом сосновских родственников – не поможет. Пожалуй, хуже еще: назло задурит, как проведает! Прибегнуть к сосновским властям, к сотскому, например... Но у сотского и без того много своего дела. Впрочем, мысль о сот-

ском не приходила даже в слабую голову старушки.

В один из тех сумрачных, ненастных дней, когда душа тоскует без печали и когда Дуня и тетушка Анна, подавленные горестию, переставали уже верить в возможность земных радостей, судьба нежданно-негаданно послала им утешение. Один из самых дальних сосновских родственников привез старушке письмо от Вани. То была первая о нем весточка. Ваня позаботился, однако ж, послать письмо более полугода назад; но оно лежало на почте и, без сомнения, долго бы еще не достигло своего назначения, если б не помог случай, этот бессменный, но не всегда верный почтальон простонародья; отцу родственника встретилась надобность съездить на почту для отправки паспорта. Письмо Вани, адресованное в Сосновку, случайно подвернулось под руку почтмейстеру. Податель паспорта был из Сосновки. Письмо поступило к нему за пазуху; но это ничего еще не значило: письмо могло бы пролежать целые годы в Сосновке, если бы сыну родственника не встретилась необходимость побывать в Комареве и если б дом Анны не был на пути.

Не берусь передать движение, с каким старушка ухватилась за весточку от возлюбленного сына. Лицо ее приняло выражение, как будто стояла она у ворот и глядела на Ваню, который подымался по площадке после двухлетней разлуки. Но первая мысль ее, когда она пришла в себя, первое воспоминание все-таки принадлежало мужу.

– Маленечко только и не застал-то! Всего одну недельку!

Все бы порадовался, хоть бы в руках-то подержал, касатик! – проговорила она, глядя на письмо и обливаясь слезами. – Ваня! Сынок ты мой любезный... утеха ты моя... Ванюшка! – с горячностью подхватила она, прижимая грамотку к тощей, ввалившейся груди своей.

– Полно, матушка! Вишь, какую радость послал тебе господь! Чем плакать-то, ступай-ка лучше скорее к батюшке в Сосновку: он грамотку-то тебе прочитает... Ступай; я пособию одеться, – говорила Дуня, следуя за старушкой, которая суетилась как угорелая и отыскивала платок, между тем как платок находился на голове ее.

Дуня проводила старушку до самой вершины берегового хребта и вернулась домой не прежде, как когда тетушка Анна исчезла из виду.

В обыкновенное время, если считать отдыхи, старухе потребовалось бы без малого час времени, чтобы дойти до Сосновки; но на этот раз она не думала даже отдыхать, а между тем пришла вдвое скорее. Ноги ее помолодели и двигались сами собою. Она не успела, кажется, покинуть берег, как уже очутилась на версте от Сосновки и увидела стадо, лежавшее подле темной, безлиственной опушки рощи.

Минуту спустя старуха и дедушка Кондратий, который поспешил опустить наземь кочедык и лапти, сидели рядышком.

– То-то вот горе-то наше: глазами нонче уже плох стал, матушка, – произнес старик, развертывая письмо с заметным

удовольствием. – Святцы, ништо, пока еще разбираю, вижу, а вот уж писаную-то грамотку и не знаю как... разберу ли. Э-э! Да, никак, сам грамотку-то писал! – подхватил он, потряхивая головою – почтенною головою, окруженною прядями белых как снег и мягких как лен волос. – Точно, его, его рука! Уж мне ли не знать! Сам ведь, матушка, учил его! Вишь ты, и пригодилось теперь. То-то вот, доброе никогда не пропадает: рано ли, поздно ли, завсегда окажется... Ну-тка! Ну-тка! – заключил он, прищуривая глаза и прикладывая к ним в виде зонтика дрожащую ладонь свою.

Письмо начиналось, как начинаются обыкновенно все письма такого рода, – изъявлением сыновней любви и покорности и нижайшею просьбою передать заочный поклон всем родственникам, «а именно, во-первых» (тут с точностию обозначены были имена и отчества дражайшей родительницы-матушки, дедушки Кондратия, Дуни, братьев, приемыша, всех сосновских теток, двоюродных братьев с их детками и сожительницами, упомянут даже был какой-то Софрон Дронов, крестник тетушки Анны).

– И никого-то он не забыл, соколик мой, Ванюшка, и все-то он, батюшка, помнит! Уж на что вот Софрона-крестника, и о нем помянул, золотой! – проговорила старушка, всхлипывая.

– Что говорить! Добрая, ласковая душа его: все оттого, матушка! Памятен оттого ему всяк человек, всяк уголок родного места... Да, добрый у тебя сынок; наградил тебя господь

милосердый: послал на старости лет утешение!.. Полно, матушка Анна Савельевна, о чем тужить... послушай-ка лучше... вот он тут еще пишет:

«Что же касается до меня (писал дальше Ваня), то я, по милости ко мне всемогущего создателя, хранимый всеблагим его провидением, и по настоящее время нахожусь жив и здоров, весьма благополучен, чего стократно и вам, батюшка и матушка, желаю, как то: мирных, благодетельных и счастливых дней, хороших успехов во всех ваших хозяйственных делах и намерениях. Продолжая дальше сие письмо, прошу вас, батюшка, вскоре по получении оногo уведомить меня, живы ли вы и в каком положении находитесь...»

На этом месте всхлипывание старушки превратилось вдруг в громкое рыдание, и дедушка Кондратий прервал чтение, потому что глаза его вдруг плохо что-то, совсем плохо стали разбирать последние строки; почерк оставался, однако ж, все так же четок и крупен. Но «затмение» дедушки Кондратия, как называл он временное свое ослепление, продолжалось недолго. Старик протер ладонью глаза свои и снова стал читать:

– "...В каком положении находитесь... да, – и хотя я не могу никакой помощи на деле вам оказать, но усугублю хоть свои усердные ко господу богу молитвы, которые я не перестаю ему воссылать утром и вечером о вашем здравии и благоденствии; усугублю и удвою свои молитвы, да сделает вас долголетно счастливыми, а мне сподобит, что я в счастли-

вейшие времена поживу с вами еще сколько-нибудь на земле, побеседую с престарелым моим родителем и похороню во время благоприятное старые ваши косточки...»

– Перестань, матушка Анна Савельевна! Послушай-ка лучше, что я скажу тебе, – произнес старичок, перевертывая последнюю страничку письма, на которой находились только подпись да название полка и губернии, куда следовало адресовать ответ. – Мы пока, слышь, ничего не скажем ему... об нашем об горе... Христос с ним! Ему, сердечному, и без того скучно жить в одиночестве. Проведает, и того, матушка, тошнее будет, востоскует оттого добрая душа его, ослабнет духом... в служебном действии человеку это не годится! Пушай до поры до времени ничего не ведает: легче будет от того на сердце и легче жизнь ему покажется... А написать – напишем. Надо порадовать его весточкой о сродственниках... все как следует... Полно, матушка Анна Савельевна! Божья на то была воля... Бог ровняет, матушка, наши скорби и радости... Вишь, какую сотворил тебе милость: какого дал сынка в утеху твоей печали и старости... Даст господь, доживешь до радостного дня, увидишься: какие еще твои года! Доживешь, сынка встренешь... Призрит он тебя, успокоит... вместе поживете...

– Где уж дожить, отец! Где дожить! – произнесла старушка, зажмуривая глаза и покачивая головой. – Какая наша жисть-то, поглядел бы ты! Горе одно, горе горькое только, батюшка, и видишь! Не токма что мне, кормилец: Дуня по-

моложе меня, и той сотвори, господь, пережить жисть-то нашу!.. О-ох, Ванюшка, Ванюшка! Батюшка ты мой! Ох, нет, не видать уж мне, соколик, светлых глаз твоих! Может статья, и пожили бы, касатик, – подхватила она, утирая слезы и принимаясь махать руками, – и пожили, может статья, кабы не он, злодей-то наш! Поглядел бы ты теперь... И ее-то все, дочь-то твою, без солнца злодей высушил!

– Слышал, матушка, знаю, – тягостно проговорил старик.

Но тетушка Анна не могла уже остановиться. Стоило только ей произнести имена Гришки и Захара, она мгновенно забывала свое горе и вся превращалась в негодование. В эту минуту она забыла даже письмо Вани. Слезы высохли на глазах ее, и только мокрые следы на впалых, сморщенных щеках показывали, что она за секунду перед тем разливалась-плакала. Каждое движение доброй старушки преисполнилось необычайною живостью. Произнося имя Гришки, она размахивала руками и сжимала даже костлявые, бескровные кулаки свои. Задумчивое молчание собеседника как словно сильнее еще поощряло старушку, которая, может быть, во всю жизнь не имела еще такого удобного случая и вместе с тем таких побудительных причин изливать все свои несчастья и жаловаться – слабость, свойственная вообще всем старухам, жизнь которых была стеснена долгое время.

Но нет никакой возможности передать всех жалоб тетушки Анны; еще труднее было бы следить за прихотливыми из-

гибами ее крайне непоследовательной речи. Речь ее можно только сравнить с ручьем, который бежит по неровной местности: то журчит между камнями и делится на бесчисленное множество тоненьких струек, то вдруг разливается по лужайке, то низвергается с высоты и неожиданно пропадает, чтобы немного дальше снова зашуметь между прутьями лозняка... Голос старушки, выражение всей фигуры изменялись с непостижимою быстротою; все существо ее мгновенно отдавалось под влияние слов и воспоминаний, которые возникали вереницами в слабой голове ее: они переходили от украденных полушубков к Дуне, от Дуни к замку у двери каморы, от замка к покойному мужу, от мужа к внучке, от внучки к Захару, от Захара к дедушке Кондратию, которого всеслезно просила она вступить за сирот и сократить словами беспутного, потерянного парня, – от Кондратия переходили они к Ване и только что полученному письму, и вместе с этими скачками голос ее слабел или повышался, слезы лились обильными потоками или вдруг пересыхали, лицо изображало отчаяние или уныние, руки бессильно опускались или делали угрожающие жесты.

Наружность дедушки Кондратия представляла между тем во все это время самую резкую противоположность с наружностью собеседницы. По мере того как она оживлялась, лицо его склонялось на грудь; время от времени он глубоко вздыхал, подымал шапку и крестился. Несмотря на глубокую грусть, изобразившуюся в чертах старика с самого на-

чала этого объяснения, он не произнес ни одной жалобы, ни одного укорительного слова. Слушая рассказ о действиях зятя и горькой судьбе, которая, без сомнения, ожидала дочь и внука, он скорее молился за них, чем негодовал на виновника их несчастья.

– То-то же вот и есть, сам суди, кормилец, какая жизнь-то наша: где уж тут дожить, родной! День-деньской ходишь вот так-то – ходишь убиваешься, слез-то одних выплачешь больше теперь, чем во всю жисть-то, – заключила старушка, неожиданно прекращая свою живую мимику и снова принимаясь всхлипывать. – Ее-то добре жаль, дочку-то твою, да и ребенка-то жаль пуще всего... Без солнца злодей высушил. Тоскует-убивается, касатка, как горька кукушечка... Утопил ее злодей в слезах горьких. Что и будет с нею, не ведаю... Хошь бы ты, право, батюшка, вступился за них; хошь бы разочек поговорил ему... А уж нам-то – и не знаем, как и быть-то! Знамо, бабье дело. Инда страх напал, родной! Сокрушил, злодей, совсем!.. Понаведайся, родной, поговори ему: авось он тебя послушает, посовестится...

– Где уж тут, матушка!.. Я и тогда говорил тебе: слова мои не помогут, только греха примешь! – произнес наконец старик тихим, но глубоко огорченным голосом. – Уж когда твоего старика не послушал – он ли его не усовещевал, он ли не говорил ему! – меня не послушает!.. Что уж тут!.. Я, признаться, и прежде не видел в нем степенства; только и надежда была вся на покойника! Им только все держалось... Надо

бога просить, матушка, – так и дочке скажи: бога просить надобно. Един он властен над каменным сердцем!..

Этими словами окончилась беседа, потому что наступило время, когда старик должен был возвратиться со своим стадом в Сосновку. Тетушка Анна, бережно уложив за пазуху письмо Вани, пошла провожать его до околицы. Но вид деревни, в которой старушка родилась и провела свою молодость вплоть до замужества, соблазнил ее: она вошла на улицу. Первый человек, попавшийся ей навстречу, был какой-то родственник; мудреного нет: все почти сосновские жители приводились сродни тетушке Анне. Нельзя же было не подойти и не поздороваться; к тому же она вспомнила, что имя родственника находилось в письме Вани. Но Ваня крепко наказывал передать поклон всем сосновским родственникам и родственницам. Совесть взяла старушку: передать поклон одному и ничего не сказать другим значило нанести последним горькую, вовсе не заслуженную обиду. Основываясь на этом, тетушка Анна поспешила завернуть в первую избу. От поклонов перешло к тому, другому, третьему, десятому и наконец к настоящему житью-бытью старушки. Предмет этот, как уже известно, производил на нее действие раскаленных угольев, подложенных под кастрюлю с нагретою уже водою: она вскипела мгновенно; то же самое повторилось во всех почти сосновских избах, не исключая избы крестника Софрона Дронова. Одним словом, тетушка Анна, как говорится, закалякалась и хватилась, что пора домой, тогда уже, ко-

гда на дворе было темнее, чем в погребке. Делать нечего: пришлось позаночевать у крестника.

На другое утро она поднялась, однако ж, прежде чем дедушка Кондратий выгнал свое стадо, и, несмотря на убеждения родственников, приглашавших ее погостить еще денек в Сосновке, суетливо поплелась домой.

Тетушка Анна приближалась уже к краю углубления берегового хребта, где начиналась тропинка, ведущая к избам, когда, взглянув на Оку, увидела челнок, который быстро удалялся от площадки. В челноке, сколько могла рассмотреть она, сидели две фигуры: нетрудно догадаться, что то были Захар и Гришка. Ей показалось даже, что в ту минуту, как она стала спускаться к избам, один из них начал махать шапкой, как словно прощался с нею или здоровался. Старушка плюнула и поспешила домой: предчувствие чего-то недоброго мгновенно овладело ее душой. Она застала Дуню в страшных слезах и отчаянии. Из слов молодой женщины оказалось, что Захар и Гришка забрали невод и сети и отправились продавать их в Комарево. Чувство радости, пробужденное в сердце старушки весточкою любимого сына, мгновенно исчезло. Так глухою, позднею осенью бледный луч солнца, прорвавшись неожиданно сквозь мрачно нависнувшие тучи, оживляет на минуту безлиственную чашу маленькой рощи, которая давным-давно между тем ждет отдыха под мягким покровом снега.

Но Гришка был уже на слишком скользкой дороге, что-

бы остановиться. Вскоре поразил он тетушку Анну чуть ли не в самую чувствительную часть ее сердца. В один прекрасный день он явился домой и завладел с помощью неизменно-го друга своего Захара всеми горшками, кочергами, самыми любимыми лагунчиками старушки, – словом, унес всю посуду. В ответ на отчаянные крики и вопли старушки приятели уверили, что с наступлением весны, когда начнется промысел, возвратят ей все горшки и купят еще много новых, нарочно съездят за ними в Коломну, а не то и в самую Москву.

В ожидании этого благополучного времени они постепенно уносили из дому все, что ни попадалось под руку. За горшками последовал остаток муки, купленной Глебом в дешевую пору, за мукою кадки, в которых солили рыбу, и наконец не стало уже видно на берегу площадки большой лодки и вершей.

Все эти предметы перешли, как и следовало ожидать, под широкие, поместительные навесы Герасима или в известные уже сени «Расставанья».

Тетушка Анна бегала неоднократно к дедушке Кондратию, но без малейшего успеха. И что, в самом деле, мог сделать дедушка Кондратий?

Так в самое непродолжительное время, всего в месяц какой-нибудь, разорился и опустел дом, полный когда-то как чаша и возбуждавший зависть самых зажиточных, хозяйственных мужиков околотка! Так пошло прахом и рассеялось хозяйство, сооруженное в продолжение многих десят-

ков лет неусыпными трудами заботливого, честного рыбака Глеба Савинова!

Наконец, когда во всем доме не нашлось вещи, которую можно было бы променять на стакан вина, Захар и Гришка окончательно основались на площадке.

В первые дни пребывания их не ознаменовалось ничем особенно замечательным. Не произнося ни с кем ни слова, лежали они на лавке или бродили врозь по двору или окрестностям площадки. Оба, казалось, избегали даже разговора между собою и мрачно, недоверчиво поглядывали друг на друга. Взглянув на них, посторонний человек, не знающий прошлого Захара и Гришки, легко мог подумать, что то были два человека, которые только что совершили какое-нибудь недоброе дело, совестились глядеть друг другу в глаза и каялись в своем проступке, особенно тот, который был помоложе. Но Дуня и тетушка Анна думали иначе. Руководимые женским инстинктом, который в иных случаях открывает истину вернее, чем могли бы сделать это опыт и рассудок, они думали, что мрачное спокойствие, временно овладевшее Захаром и Гришкой, не поведет к добру. Душа их невольно наполнилась страхом и предчувствием.

Тишина в жизни буйного, необузданного человека не предвещает ничего доброго. То же самое бывает, говорят, на море.

Читатель узнает из следующей главы, насколько верно оправдались предчувствия Дуни и старушки.

XXVII

Ночь на Оке

Страшная буря свирепствовала на Оке, в Комареве, в Сосновке и, вероятно, далеко-далеко во всей окрестности. Она началась с рассветом. Уже с самого утра юго-западный ветер переменил вдруг направление – превратился в «низовой», то есть начал дуть прямо против течения. Поверхность Оки, на которой во всю ночь отражался, словно в зеркале, полный месяц и небо с бегаящими по нем облаками, покрылась на заре мелкой, чешуйчатой рябью; каждая из этих маленьких волн, бежавших в упор ветру, почти видимо вырастала. Вскоре река, смятая назад волнами и ветром, задержанная в своем течении, начала вздуться и заливать низменные берега. Тучи, собиравшиеся несколько суток на горизонте, заволновались заодно с рекой. Разорванные в нескольких местах порывами ветра, они точно обрушились, но остановленные посреди падения, мигом превратились в груды фантастических развалин, которые продолжали двигаться, меняя с каждой секундой свой цвет, величину и очертание: то падали они друг на дружку, смешивались, растягивались тяжелыми закругленными массами и принимали вид исполинских темно-синих чудовищ, плавающих по разъяренному морю; то росли, вздымались, как горные хребты, и медленно потом расходились, открывая глубокие долины и пропасти, на

дне которых проносились клочки других облаков; то снова все это смешивалось в один неопределенный хаос, полный страшного движения...

Ветер крепчал с каждым часом.

К полудню по широкому раздолью Оки, которая сделалась уже какого-то желтовато-бурого цвета, шумно гулял «белоголовец». За версту теперь слышался глухой гул, производимый плеском разъяренных волн о камни и края берега. Голос бури заглушал человеческий голос. Стоя на берегу, рыбаки кричали и надрывались без всякой пользы. Те, к кому обращались они, слышали только смешанный рев воды, или «хлоповень» – слово, которое употребляют рыболовы, когда хотят выразить шум валов.

«Хлоповень пошла!» – говорят они.

Часам к двум пополудни сверкнула молния и прокатился гром. Почти в ту же секунду ударил ливень. Каждое облако, каждая тучка превратились, казалось, в источники огромных рек и водопадов. Все это произошло так неожиданно, что рыбаки, стоявшие на берегу, не успели сделать крестного знамения, как уже потоки мутной, желтой воды, увлекавшие в быстрине своей пучки поблеклых трав, корни и булыжник, с ревом покатались по уступистым скатам нагорного берега. Земля замесилась и не держала ноги. Буря страшно грохотала по окрестности...

Рыболовам невольно пришли тогда в голову бедные путешественники, одиноко шествующие посреди безлюдной, пу-

стынной дороги; они вспомнили также своего брата рыбака и помянули морехода, застигнутого на море. Море было далеко – верст за восемьсот, или даже за целую тысячу отстояло море, – но буря ревела с такой силой, что не было никакой возможности представить себе, чтобы находилось на земле хотя одно место, где бы светило солнце и раскидывалось голубое, ясное небо. К тому же простолюдин, и особенно коренной рыбак, который живет по большей части отделенный от общества и остается по тому самому при застарелых своих понятиях, твердо уверен, что если дождь обмывает его челнок, то все челноки, существующие на земле, терпят ту же участь; что, если буря свирепствует над его домом, буря свирепствует с одинаковой яростью по всей «земле-планиде». Но это, в сущности, ничего не значит: застарелые понятия не мешают рыбаку молиться в такое время и просить бога послать утешение и помощь мореходам, плавающим в море, и пешеходам-странникам, идущим по дорогам.

Ливень и мрачное небо ускорили сумерки; в октябре и без того уже скоро окутывают они землю. Наступила ночь. Буря ожесточалась между тем с каждым часом и выла все яростнее и грознее. Так утверждали по крайней мере жители сел и деревень, лежащих на откосе берегового хребта, почти над самую Окою. Впрочем, ночью все кажется как-то страшнее. Самая тишина пробуждает уже страх. Буря ночью во сто раз ужаснее бури днем. Каждый звук, причину которого легко объяснить себе при дневном свете, приводит тогда в содро-

гание. Сердце невольно стесняется и бьется ускоренным тактом. Рассудок, не успокоенный, не поддержанный зрением, мгновенно наполняется ужасом, блуждает в смущении и потемках, как нищий-слепец, брошенный на дороге вожаком своим.

Октябрь был в половине. Полный месяц ярко светил теперь в звездном небе. А между тем над поверхностью земли висели слои тяжелых, зловещих туч, шел ливень, грохотала буря и немолчно раздавались удары грома, повторявшиеся в ущельях и долинах высокого берега.

Изредка посреди страшного смещения крутившихся туч появлялись как словно бледно-молочные пятна; изредка хребты туч, разорванные ветром, пропускали край серебрившегося облака, и вслед за тем в неизмеримой глубине воздушных пропастей показывался месяц, глядевший испуганными какими-то глазами. Порыв ветра мгновенно задувал его, но минуту спустя серебряный луч снова продирался в другом месте и неожиданно озарял нагорный берег, который попеременно то выставлялся во всем диком величии своем, то вдруг пропадал посреди ночи. Ока также освещалась этими переходящими лучами и выказывала на мгновение свои пенистые буруны, разбивающиеся вдребезги; новый порыв ветра, и снова все застилалось мраком. Слух наполнялся дико ревущими голосами, шумом ливня, раскатами грома, который долго еще после того, как потухала молния, рокотал в отдаленных лощинах; слышалось завывание ветра, свистав-

шего в кустах и оврагах, и тысячи других неопределенных звуков, в которых суеверие находит всегда такую обильную пищу для того душевного волнения и ужаса, которых так боится, но которые, однако ж, любит.

При всем том подлежит сильному сомнению, чтобы кто-нибудь из окрестных рыбаков, начиная от Серпухова и кончая Коломной, оставался на берегу. Привыкшие к бурям и невздам всякого рода, они, верно, предпочитали теперь отдых на лавках или сидели вместе с женами, детьми и батраками вокруг стола, перед чашкой с горячей ущицей. Нужны были самые крайние побудительные причины: лодка, оторванная от причала и унесенная в реку, верши, сброшенные в воду ветром, чтобы заставить кого-нибудь выйти из дому.

Надо полагать, что такие причины встретились у Захара и Гришки, потому что часов около восьми вечера, в то время как буря была во всей своей силе, оба они вышли на площадку. Им нечего было, однако ж, беспокоиться о большой лодке, она, сколько известно, давным-давно красовалась на заднем дворе «Расставанья»; верши также спокойно лежали в защите от непогоды под всевмещающими навесами комаревского целовальника. При всем том Захар и Гришка спешили к реке.

Захар, опережавший несколькими шагами приемыша, часто останавливался, выжидал товарища и принимался делать живые пояснительные знаки, причем правая рука его каждый раз протягивалась к луговому берегу. Сквозь частую

сетку ливня и темноту в той стороне мелькал время от времени огонь; пламя, заливаемое попеременно дождем или поджигляемое сучьями, то потухало совершенно, то вспыхивало. В последнем случае легко было заметить, что костер располагался неподалеку от Оки. Причина, побудившая Гришку и Захара выйти из дому, очевидно, имела прямое, непосредственное отношение к этому огню. Глаза двух приятелей, не отрывавшиеся от костра, достаточно подтверждали такое предположение; оба, как видно, дома еще переговорили о своем предприятии. Во всю дорогу Захар ограничивался одними жестами.

Достигнув берега, они тотчас же спустили на воду челнок, лежавший опрокинутым на песке.

Принимая в соображение нетерпеливые движения Захара и не совсем ласковые наименования, какими снабжал он Гришку, легко было догадаться, что расторопность последнего не удовлетворяла требованиям первого или не исполнял он, как следовало, условий, в которых оба согласились заблаговременно. Гришка, точно, неохотно как будто бы решался подвергать дождю и ветру свою голову и спину, едва прикрытую лохмотьями рубашки. Не обращая ни малейшего внимания на брань товарища, он вяло взвалил на плечи багор и весла и медленно, словно по принуждению, вошел в челнок. Одной секунды достаточно было Захару, чтобы прыгнуть на корму, ударить рулевой лопатой в берег и отпихнуть челнок, который, подобно шелухе, тотчас же за-

прыгал по разъяренным бурунам.

Благодаря силе, сноровке молодцов, а также хорошему устройству посудинки им не предстояло большой опасности; но все-таки не мешало держать ухо востро. Брызги воды и пены ослепляли их поминутно и часто мешали действовать веслами. Но, несмотря на темноту, несмотря на суровые порывы ветра, которые кидали челнок из стороны в сторону, они не могли сбиться с пути. Костер служил им надежным маяком. Захар, сидевший на руле и управлявший посудиною, не отрывал глаз от огня, который заметно уже приближался.

– Клади весла – берег близко! – крикнул во всю мочь Захар, принимаясь сильнее грести рулевой лопатой и силясь повернуть нос челнока против ветра и гребня волн. – Багор, живо багор!.. Вечор гнали плоты... за погодой, должно быть, остановились... Они тут где-нибудь!.. Наткнемся как раз... щупай багром!..

Опасность мгновенно возвратила Гришке его проворство. Он бросил весла и, повернувшись лицом к носу челнока, вооружился багром. Минуту спустя раздался сухой удар – конец багра вонзился в дерево, и челнок ударился о край довольно большой лодки, свободно прыгавшей по волнам, но привязанной к берегу длинной веревкой. Захар не ошибся: плоты, которые прогонялись накануне, действительно были в нескольких шагах, и не будь багра в руках Гришки, челнок непременно бы налетел на них; лодка принадлежала прогонщикам леса. Привязав челнок к лодке, Захар и Гришка лов-

ко перебрались в нее; из лодки перешли они на плоты и стали пробираться к берегу, придерживаясь руками за бревна и связи, чтобы не скатиться в воду, которая с диким ревом набегала на плоты, страшно сшибала их друг с другом и накренивала их так сильно, что часто одна половина бревен подымалась на значительную высоту, тогда как другая глубоко уходила в волны.

Грохот бури, казалось, усиливался еще оглушительнее по мере приближения к луговому берегу. Ветер завывал и рвался как бешеный в кустах ивняка, которые преграждали ему дорогу. К этому примешивался плеск волн, которые разбивались о плоты и берег, забегали в кусты, быстро скатывались назад, подтачивая древесные корни, увлекая за собой глыбы земли, дерну и целые ветлы; в заливах и углублениях, защищенных от ветра, вода, вспененная прибоем или наволоком, обломками камыша, прутьев, древесной коры, присоединяла ропот к яростному плесканию волн. Здесь вода и воздух рвались и метались, смешиваясь в один общий грохот, далеко слышимый по всей луговой окрестности.

Наши молодцы продолжали карабкаться на четвереньках, переходя с одного плота на другой. Достигнув наконец берега с большими усилиями, чем употреблено было, чтобы переехать Оку, они остановились и перевели дух.

Месяц, украдкой глянувший в эту минуту, осветил бледное лицо приемыша. В чертах его обозначались явные следы внутренней тревоги и беспокойства. Не в первый раз, од-

нако ж, приводилось Гришке переезжать Оку в такую бурю; он давно уже успел свыкнуться с опасностями жизни рыбака. Надо полагать, что смущение, овладевшее им, происходило совершенно от других причин. Захар догадывался, вероятно, в чем дело. Взглянув еще раз по направлению к костру, который заслонился кустами, как только ступили они на берег, он поспешно обратился к приемышу и, как бы желая ободрить его, весело воскликнул:

– Чего тут?.. Вишь, половину уж дела отмахнули!.. Рази нам впервака: говорю, как жил этта я в Серпухове, у Григорья Лукьянова – бывало, это у нас вчастую так-то пошаливали... Одно слово: обделаем – лучше быть нельзя!.. Смотри, только ты не зевай, делай, как, примерно, я говорил; а уж насчет, то есть, меня не сумневайся: одно слово – Захар! Смотри же, жди где сказано: духом буду... Ну что ж на дожде-то стоять?.. Качай! – заключил Захар, управляя мокрые волосы, которые хлестали его по лицу.

Отклонив руками ветви ивняка, он снова пустился в путь. Гришка молча последовал за товарищем. Несколько времени пробирались они кустами; миновав их, они снова остановились. Захар повторил Гришке свои наставления, и оба опять расстались. Гришка пошел вправо, Захар прямехонько направился к костру, который показался, как только приятели выбрались на опушку ивняка.

Немного погодя ноги Захара ступали уже в тени, которую бросали головы и спины двух человек, сидевших против ог-

ня. Огромное стадо волов окружало костер со всех сторон на далекое расстояние. Захар явственно различал при свете огня, раздуваемого ветром, рогатые, склоненные к земле головы животных, которые то ярко выставлялись из мрака, то совсем как будто пропадали. Со всех сторон раздавалось глухое чавканье и фыркание, которых не мог заглушить шум ливня и ветра. Тряхнув мокрыми волосами, Захар подошел уверенной поступью к костру.

Заслышав шаги, гуртовщики проворно обернулись.

– Степка, ты? – спросил один из них.

– Нет, братцы, я... Здравствуйте, братцы! Бог помочь!..

Увидел огонек – завернул погреться... – скороговоркой возразил Захар, приводя в действие слова свои.

Гуртовщики оглядывали его с головы до ног.

Захар, потирая руки перед огнем, делал также свои наблюдения; но свет и тень перебегали с такою быстротою на лицах гуртовщиков, что не было решительно возможности составить себе верного понятия о их наружности.

Захар приступил тотчас же к объяснениям.

– Ну уж, братцы, погодка! – сказал он, побрякивая и топая ногами.

– Нешто! – равнодушно отвечали гуртовщики, снова усаживаясь на корточки перед костром.

Дождь яростно, однако ж, хлестал их по спине; но они мало об этом заботились, утешаясь, вероятно, тем, что грудь, руки и ноги оставались в тепле. Мокрая их одежда, подогре-

ваемая спереди огнем, испускала от себя пар, подобный тому, какой подымается вечером над водою.

– Одолжите, братцы, местечко: смерть прозяб... Сесть некуда: вишь, кака мокреть!.. А что, можно, примерно, согнать вола? – спросил Захар.

– Згони, пожалуй, – флегматически сказал один из гуртовщиков.

– Эй, ты, цоп! цоп! ге! – крикнул Захар, толкая ногою ближайшего быка, который лениво поднялся на передние ноги, потом на задние и неохотно отошел в сторону.

Намерение занять место, где лежало прежде животное, показывало, что Захар действительно уже не в первый раз имел дело с гуртовщиками, как говорил он об этом Гришке. Гуртовщики, приготавливающие к ночлегу посреди пустыря, устраивают себе ложе следующим образом: они дадут сначала быку належаться на избранном месте, потом отгоняют его прочь и поспешно занимают его место; ложе оказывается всегда сухим и теплым и сохраняет свои качества на всю ночь. Захар уселся так, однако ж, что спина его была обращена к Оке, а лицо – к Комареву. Ему следовало во что бы ни стало отвлечь на время внимание собеседников от той части стада, которая располагалась к стороне Комарева.

– Отколь вы, братцы? – словоохотливо начал Захар.

– З Воронежа.

– Те-е-к, понимаю: сдалече, стало быть. Сам бывать не бывал, а слышать слышал... А я так вот из Серпухова иду в эту

сторону... Не знаете ли, братцы, какое здесь такое есть Комарево-село? Перевозил меня рыбак с той стороны, говорил: «Пройдешь, говорит, луга, тут тебе и будет». А ще его искать-то? Леший его найдет теперь!.. Забежишь, пожалуй, в такое место, где сам сатана редьки не строгал: потому, выходит, зги не видать; ночь, все единственно; и ветер к тому пуще силен: собаки не услышишь... Вот даже шапку сорвал, как реку переезжали, что ты станешь делать!.. Вы, я чай, проходили через село-то, потому знать должны. Иду туда насчет, то есть, примерно, портняжеского дела: мы этим занимаемся... Комарево, слышь, Комарево? Должно быть, недалече?..

– Ко-марево? Эй, Лександр! Слышь, Комарево? – проговорил один из гуртовщиков, вопросительно взглядывая на другого.

– Комарево? Нет, не знаем, брат... Ге! Микитка!

– А?

– Не туда ли пошли Степка и другие товарищи? Комарево... Кажись, слышал такое.

– А рази вы здесь не одни, братцы? Товарищи есть? – спросил Захар.

– Нас пять чиловик.

«Эх, плохо дело! – подумал Захар. – Того и смотри в кабаке теперь... Кабы только фалалей Гришка на них не наткнулся».

– Что ж они вас оставили? – громко промолвил Захар, озираясь на стороны и напрягая слух, не слышно ли чего со сто-

роны села.

Шум ветра и ливня один раздавался в лугах; раскаты грома становились, однако ж, реже; буря как словно стала утихать.

– Так как же это они ушли, а вас оставили? – повторил Захар.

– Придут! – равнодушно отвечали гуртовщики.

– Надобность есть, стало, какая в Комареве?

– В шинок пошли.

– Ге-ге! – начал было Захар.

– Го-го! – подхватили гуртовщики в один голос.

– Вот как! Стало, они до винца-то охотники?

– Дюже пьют.

– Ну, а вы-то как же, братцы?

– Все любят горилку.

– Небось принести посулили?

– Завтра об утро придут – принесут!

– Ночуют, стало, в Комареве?

– Ночуют.

Полагая, что пустопорожнее каляканье его с гуртовщиками продолжалось довольно долго, что Гришка, верно, успел уже в это время спроворить дело и ждал его в условном месте, Захар медленно поднялся на ноги.

– Нет, братцы, как здесь ни тепло, в избе, надо полагать, теплее, – сказал он без всякой торопливости, зевнул даже несколько раз и потянулся, – ей-богу, право, о-о. Пойду-ка

и я тяпну чарочку: вернее будет – скорее согреешься... К тому и пора: надо к селу подбираться... О-хе-хе. Авось найду как-нибудь село-то – не соломинка. Скажите только, в какую сторону пошли ваши ребята?

– Туда все шли, – отвечали гуртовщики, неопределенно кивая головою в луга.

– Должно быть, недалече. Найду как-нибудь! Прощайте, братцы! Спасибо за хлеб-соль, за угощенье!.. Эх, шапки-то нет: поклониться нечем! – подхватил Захар, посмеиваясь. – Не взыщите, ребята: человек дорожный; прощайте и так.

– З богом! – флегматически отвечали гуртовщики.

По мере удаления от костра Захар прибавлял шагу; отделившись от него на значительное расстояние, он пустился в бежки. Время от времени он останавливался, столько же, чтобы перевести дух, столько же, чтобы прислушаться, и снова продолжал путь, стараясь по возможности держаться направления Комарева. Ветер дул с Оки, подталкивая Захара в спину, и облегчал ему ходьбу. Сообразив, вероятно, что жилье уже недалеко, Захар остановился, оглянулся направо и налево и, приложив сложенные пальцы к губам, пронзительно свистнул.

Минуту спустя где-то в отдалении ему отвечали таким же свистом.

Захар поспешно пошел в ту сторону и немного погодя сквозь темноту и частую сетку дождя, сменившего ливень, различил навесы. Тут он убавил шагу, подобрался к плетню

и снова свистнул, но уже несравненно тише прежнего.

– Здесь! – сказал кто-то нетерпеливым голосом.

– Ай да Гриня! – произнес Захар, быстро подходя к приемышу. – Ну, что? Где товар?

– Тут, – глухо отозвался приемыш.

– Ой ли! Вот люблю! – восторженно воскликнул Захар, приближаясь к быку, который, стоя под навесом, в защите от дождя и ветра, спокойно помахивал хвостом. – Молодца; ей-богу, молодца! Ай да Жук!.. А уж я, братец ты мой, послушал бы только, какие туры разводил этим дурням... то-то потеха!.. Ну вот, брат, вишь, и сладили! Чего кобенился! Говорю: нам не впервые, обработаем важнеющим манером. Наши теперь деньги, все единственно; гуляем теперича, только держись!..

Захар не счел нужным сообщить Гришке о том, что товарищи гуртовщиков находились, быть может, шагах в двадцати: дрожащий голос ясно обличал, что приемыш и без того уже струхнул порядком. Не обращая внимания на неприятные слова приемыша и делая вид, как будто не замечает его робости, Захар подхватил дружеским, но торопливо-озабоченным голосом:

– Ну, дружище, теперича подожди меня здесь: требуется наперед перемолвить с Герасимом. Выходит, дело по-настоящему в дороге покедова... Без него нельзя: поговорить требуется... то да се... Товар смотри только не выпусти; это все-му делу голова – заглавие!..

И Захар, не дожидаясь ответа, мигом исчез за углом навеса.

Гришка пробормотал глухим голосом проклятие и яростно топнул ногою. Секунду спустя он снова вернулся на прежнее свое место и, затаив дыхание, снова припал к плетню. Незачем было, однако ж, принимать излишних предосторожностей; один страх разве внушал их. Гришка мог петь, кричать, свистать сколько было душе угодно, не опасаясь привлечь на себя внимание: буря утихала, но рев ее все еще заглушал человеческий голос. Благодаря темноте в трех шагах не было даже возможности различить быка, который, как бы сговорившись заодно с Гришкой, смиренно, не трогая ни одним членом, изредка лишь помахивая хвостом, стоял подле навеса.

XXVIII

Отсутствие Захара продолжалось долее, чем он предполагал. Так по крайней мере показалось Гришке, который дрожал столько же от страха, сколько от стужи. В каждом звуке: в шорохе соломы, приподымаемой порывами ветра, в шуме воды, которая, скатываясь с кровель, падала в ближайшие лужи, поминутно слышались ему погоня и крики, звавшие на помощь. Он скорчивался тогда в три погибели, плотнее припадал к плетню и мысленно проклинал Захара, – проклинал час, в который вышел из дома. Несколько раз намеревал-

ся он пуститься в бегство; но каждый раз чувство ложного стыда и ложной совестливости удерживало его на месте. К этому примешивалось также другое чувство: он боялся этим поступком вооружить против себя Захара. Разрыв с Захаром казался ему теперь страшнее всего на свете. Он столько же боялся последствий такого разрыва, сколько одиночества.

Голос Захара, раздавшийся где-то неподалеку, мгновенно возвратил приемышу часть его смелости. Он выбрался из-под плетня и стал на ноги. Шаги приближались в его сторону; секунду спустя тихо скользнул деревянный засов, запиравший изнутри задние ворота «Расставанья», подле которого находился приемыш.

– Что тут много разговаривать! Надо сперва поглядеть, – послышался сонливый, гнусливый голос, по которому Гришка тотчас же узнал Герасима.

– Экой ты, братец мой, чудной какой, право! Чего глядеть-то? Веди, говорю, на двор: там, пожалуй, хошь с фонарем смотри. Как есть, говорю, первый сорт: Глеб Савиных худого не любил, у него чтоб было самое настоящее. И то сказать, много ли здесь увидишь, веди на двор! – пересыпал Захар, точно выбивал дробь языком.

– Что вести-то! Может, еще не по цене, – проямлил целовальник и, не обращая внимания на дальнейшие замечания Захара, подошел к Гришке.

– Твоя животино? – спросил он, принимаясь ощупывать бока вола, который очень охотно поддался такому осмотру.

– Он хозяин, – живо подхватил Захар, – я так, примерно, для компанства.

– Какая же цена твоя? – спросил Герасим, обращаясь к приемышу.

– Да какая... я что... – начал было Гришка.

Но Захар тотчас же перебил его.

– Десять целковых, одно слово, – сказал он решительным тоном.

– Нет, что тут! Пожалуй, с вами еще беду наживешь, – флегматически произнес Герасим.

– Какую такую беду?

– Никак Глеб не держал скотины. Кто вас знает, где вы ее взяли! – добавил целовальник, отворачиваясь и делая вид, будто хочет уйти.

– Ну, вот, поди ж ты, толкуй поди с ним! Эх, дядя, дядя! – воскликнул Захар, удерживая его. – Ведь я ж говорю тебе – слышишь, я говорю, перед тем как помереть ему, купил в Сосновке у родственника: хотел бить на солонину.

Тут Захар украдкой толкнул Гришку в спину.

– Точно... на солонину... это точно... – повторил Гришка, которым овладела вдруг, ни с того ни с сего, поперхота.

– Все одно, цена несходная, – флегматически возразил Герасим.

– Сколько ж, по-твоему?

– Пять целковых.

– Нет, милушка, тридцать лет поживешь, такой цены не

найдешь! Когда так, мы лучше погодим до ярмарки: в том же Комареве двадцать целковых дадут.

– Ваше счастье. Ступайте.

– Мы насчет, то есть, примерно, тебе хотели сделать в уважение.

– Мне не надо.

– Да ты скажи настоящую цену?

– Не надо, – проговорил целовальник, снова поворачиваясь к воротам.

– Погоди, постой!

Захар подбежал к Герасиму, пригнулся к его уху и шепнул скороговоркою:

– Ну, чего ты ломаешься? Ведь деньги-то опять к тебе придут!

– Ты-то из чего хлопчешь? – громко возразил целовальник. – Сбыть скорей с рук хочется. Видно, взаправду замороженная какая скотина-то.

– Ах! Э! Поди вот толкуй с ним! Эх ты! – воскликнул Захар, отчаянно ударяя ладонями по полам рубахи, с которой вода текла как из желоба.

– Вот тут у меня гуртовщики стоят: их, что ли, порасспросить, – сказал Герасим, умышленно растягивая каждое слово. – Я в этом товаре толку не знаю. Их нешто привести – поглядеть.

– Нет, нет, не надо! – подхватил Гришка, поспешно подходя к Герасиму. – Пожалуй, бери за пять целковых... бери...

– Что ты станешь делать! Э! Была не была! – снова воскликнул Захар. – Хозяин поддался, стало, мне тут нечего: веди на двор!.. Гришка, гони быка на двор! – заключил он, бросаясь отворять ворота.

Минуту спустя животное стояло под навесами в одном из задних углов, неподалеку от большой лодки.

– Ну, давай деньги! – сказал Захар, как только Герасим запер ворота.

– Экой пряткий! А подписку-то? – флегматически заметил целовальник.

– Какую тебе еще подписку?

– Без того не возьму; подписку надо от хозяина: может, бык-ат у вас краденый... я почем знаю...

– Экой... ах, братец ты мой, чудной какой, право! Говорят, купил в Сосновке, на солонину... Чего ж тебе еще?

– Я этого не знаю.

– Фу ты!.. Эх!.. Гришка, никак, ты грамоте обучался; развяжись, братец мой, подпиши поди.

– Знал, да забыл... как есть забыл... – торопливо отозвался приемыш, который все это время находился позади Захара и целовальника.

– Можно и без него, – лениво промолвил Герасим, – никак, в кабаке сидел Ермил-конторщик: пожалуй, он подпишет... Без того не возьму... ведите куда хотите.

– Так, стало, пять целковых? По рукам, что ли? Пять целковых и магарычи!

– Не мое дело: кто продавал, с того и магарычи, – как словно нехотя проговорил Герасим, подымаясь на крылечко, служившее сообщением между двором и известною уже галереей.

Тут целовальник сказал, чтобы спутники его шли в харчевню, а сам, повернувшись лицом к избе, противоположной этому зданию, закричал протяжным голосом:

– Матрена-а... Матрена-а-а!

Немного погодя босые ноги хозяйки Герасима торопливо застучали по деревянному помосту галереи, и она вся впопыхах остановилась перед мужем.

– Сбегай в кабак, Ермила-конторщика позови; скажи, хозяин, мол, требует; в харчевне, скажи... да принеси бумажки лоскуток, чернильницу захвати... ступай!..

И, как бы утомленный такой длинной речью, Герасим медленно, едва передвигая ноги, подошел к двери харчевни. Он провел тут несколько минут, но, сколько ни напрягал свой слух, ничего не мог расслышать из разговора приятелей, кроме того разве, что Захар называл товарища соломенной душой, фалалеем, смеялся и хлопал его по плечу, между тем как Гришка ругал его на все корки.

Герасим, шмыгнув раза два по полу котами, вошел в харчевню.

Почти вслед за ним явилась жена со свечой, клочком бумаги и пузырьком с чернилами, из которого выглядывал облодок пера; за нею вошел Ермил-конторщик. То был ни-

зенький оборванный человек в синеватом сюртуке, пережившем несколько владельцев, с таким крутым и высоким воротником, что лысая голова Ермила выглядывала из него, как из кузова кибитки; крупный рдеющий нос определял пьянчужку с первого взгляда.

Герасим передал ему в коротких словах сущность дела.

– Что ж, можно, с нашим великим удовольствием, только бы вот молодцы-то, – промолвил Ермил, прищуривая стеклянные глаза на Гришку и Захара, – было бы, значит, из чего хлопотать... Станете «обмывать копыта»³⁶, меня позовите...

– Ладно, катый! – сказал Захар.

– Извольте, извольте, с нашим удовольствием, – шутливо вымолвил Ермил.

Затем немедленно он сел за стол и, вынув из пузырька обглодок пера и пригнув лысину к левому плечу, принялся выводить каракули.

Присутствующие пододвинулись, кроме Гришки, который стоял на прежнем своем месте и время от времени поглядывал с явным беспокойством на дверь.

По мере того как слова являлись на бумаге, Ермил произносил их во всеуслышание.

– «Я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, – читал Ермил, владевший, по-видимому, большим навыком в тако-

³⁶ Всевозможные торговые сделки скрепляются в простонародье вином или чаем, – чаще, однако ж, вином. Когда дело идет о продаже скота, слово «магарыч» заменяется выражением: «обмывать копыта». (Прим. автора.)

го рода делах, – свидетельствую, что продал комаревскому целовальнику Герасиму Павлову быка; бык же сей получил я по наследию от покойного родителя моего, рыбака Глеба Савинова...»

– Купил, слышь, на солонину, – неожиданно перебил Захар.

– Это не наше дело, – вымолвил целовальник.

– Это он точно, – заметил Ермил, – это здесь несоответственно. «Деньги же с него, целовальника Герасима Павлова...» Сколько денег-то?

– Пять целковых, – сказал Герасим.

– «Деньги сполна полу...»

– Нет, погоди, стой! – закричал Захар. – Давай наперед деньги.

– Чего ты орешь-то! Отдам, – промолвил Герасим.

– Ну, и отдавай, когда так: нам не верил, и мы те не верим! – промолвил Захар.

Целовальник медленно повернулся и вышел из харчевни. Захар остановил его на пороге и велел захватить в счет два штофа.

Минут пять спустя вернулся целовальник в сопровождении жены, которая держала два штофа и стаканы. Захар поспешно завладел деньгами: сосчитав их на ладони, он кивнул головою Герасиму и подмигнул Гришке, который не обратил на него внимания; глаза и слух приемыша казались прикованными к выходной двери харчевни.

– Теперь пиши сколько хошь! – сказал Захар, обращаясь к Ермилу и запрятывая в карман деньги.

Ермил снова помакнул перо и продолжал:

– «Деньги же пять рублей серебром сполна получил, в чем и подписуюсь. За незнанием грамоты руку приложил отставной приказный Ермил Акишев».

– Погоди, – сказал целовальник, – подпиши уж ты и за свидетеля.

– А как, примерно, насчет, то есть, водочка будет, Герасим Павлыч? – спросил Акишев, лукаво прищуривая левый глаз.

– Будет.

– Самое, выходит, любезное дело, когда так, – подхватил Ермил.

И тотчас же подмахнул:

– «При сей продаже свидетелем был отставной приказный Ермил Акишев, в чем и руку приложил...»

– Ну, давайте, братцы, обмывать копыта, я свое дело исполнил, за вами дело, – проговорил Ермил, придвигаясь к штофам, которые привлекательно искрились перед огарком. – Что это товарищ твой невесел? Парень молодой – с чего бы так? – присовокупил он, посматривая на Гришку, между тем как Захар наливал стаканы.

– Скучает все по покойнике, братец ты мой; известно, жаль! – подхватил Захар.

Он подошел к Гришке и торопливо шепнул ему что-то на ухо; тот потряхнул волосами, приблизился к столу, взял стакан,

залпом выпил вино, сел на лавку и положил голову в ладонь.

– Ну... ну, бывайте здоровы! – произнес Ермил, принимая стакан из рук Захара и медленно, как бы боясь пролить каплю, поднес вино к синим губам своим.

– Полно, Гришуха! Не воротишь, одно слово – не воротишь! У меня вот отца и матери нет; кабы не величали Сила-ичем, не знал бы, как и отца-то звали: сирота круглый, значит, все единственно, – а вишь, не тужу! – заговорил Захар, успевший уже опорожнить шкальчик и пододвигая Гришке штоф. – Ну-кась, тяпнем-ка по чарочке, с горя! Тяпнем за все хвосты!.. Ну, а вы-то что ж... Дядя Герасим! Хоша ты подвел нас, обмишулил, надул, все единственно – нам это наплевать! Мы зла не помним, Ермил, пейте же, чего стали!.. Эх, нет у меня гармонии! – подхватил Захар, воодушевляясь и ударяя кулаком по столу. – То-то бы повеселил честную компанию... эхма!..

Захар закинул при этом назад голову, кашлянул и затянул тоненьким, пронзительным дискантом своим:

Попила-то моя головушка,
Попила-то, погуляла-а-а!..
И, эх, хотят-то меня, добра молодца,
Поймати у прилуки, у моей сударышки,
У милушки у Аннушки... и! и!..

– Что ж вы, ребята, подтягивай!

– Ты потише, брат, – равнодушно сказал Герасим, гото-

вившийся уже выйти из харчевни.

– А что?

– Да то же, что тише; приходи завтра – нонче нельзя, – возразил Герасим, которым снова овладели вялость и сонливость, как только окончилась сделка.

– Это еще по какому случаю? – спросил удивленный Захар.

– Нельзя, да и только, вот те и все тут; ступайте вон! – вымолвил целовальник, направляясь к двери.

Захар разразился было бранью, но Ермил Акишев поспешил удержать его.

– Малый, удалая голова, не шуми! – сказал он. – Не годится – по той причине не годится, слышь: с утра суд ждут; того и смотри, наедет. Михайла Иваныч давно здесь.

– Какой Михайло Иваныч?

– А становой!

При этом известии Гришка поднял голову, и лицо его побледнело как полотно.

Захар опустил стакан.

– Суд... зачем? – спросил он, значительно понижая голос, но стараясь сохранить спокойный вид.

– Покража случилась: фабриканта Никанора обокрали, – отвечал Ермил, приподымаясь с места.

Захар не расспрашивал дальше: на этот раз смущение овладело им столько же, сколько и самим Гришкой. Он торопливо забрал штофы и последовал за Ермилом, приемы-

шем и целовальником, которые выходили из харчевни.

Задние ворота «Расставанья» открывались только в экстренных случаях. Гришке и Захару предстояло выйти из заведения не иначе, как через кабак.

В кабаке было немного народу, но тем не менее шел довольно живой разговор. Обкраденный фабрикант служил предметом беседы.

– Так как же, Кузьма Демьяныч, как, по-твоему, что с нами теперь будет? – спрашивал один из присутствующих, обращаясь к старику, занимавшему середину кружка.

– А что будет – известно что: за некошное дело будет поученьице тошное... знамо, спасибо не скажут.

– И будь без хвоста, не кажись кургуз, умей концы хоронить! – произнес кто-то.

– Вот так уж сказал! Ты думаешь, концы схоронил, так и прав вышел? Нет, брат, нонече не так: ночью сплутовал – день скажет; на дне морском, и там не утаишь концов-то. В неправде-то сам бог запинаят... везде сыщут.

– И слава те господи!

– Ненаказанный не уйдет!

– Поделом: не воруй! – сказал высокий черноволосый человек в синей мещанской чуйке.

– Что больно сердит?

– Видно, самого обокрали: он и серчает.

– Было всего, – начал высокий человек, – гнал это я – вот все одно, как теперь, – гнал гурты: мы больше по этой части;

сами из Москвы, скупаем товар в Воронеже. Так вот раз увели у меня вола.

– Как так?

– Да так, взяли и увели: дело было ночью.

– Эки мошенники!

– Ну, так что ж?

– Вестимо, не сидел скламши руки. Стоял это я подле села, под Рязанью: я к становому. Ну, спасибо ему, заступился; сейчас же кинулись это в кабак – тут и взяли.

– Ну, то-то вот и есть! Как не найти! Везде найдут. На дне окияна-моря, и там сыщут.

Мороз пробежал по всем суставчикам приемыша, и хмель, начинавший уже шуметь в голове его, мгновенно пропал. Он круто повернул к двери и шмыгнул на улицу. Захар, больше владевший собою, подошел к Герасиму, успевшему уже сменить батрака за прилавком, потом прошелся раза два по кабаку, как бы ни в чем не бывало, и, подобрав штофы под мышки, тихо отворил дверь кабака. Очутившись на крыльце, он пустился со всех ног догонять товарища.

Буря как словно приутихла. Дождь по крайней мере лил уже не с такою силою, и громовых ударов не было слышно. Один только ветер все еще не унимался. Унылый рев его, смешиваясь с отдаленным гулом волнующейся реки, не заглушаемый теперь раскатами грома и шумом ливня, наполнял окрестность.

Гришка дохнул вольнее не прежде, как когда вышел из

Комарева и очутился в лугах. Он не убавлял, однако ж, шагу; забыв, казалось, о существовании Захара, он продолжал подвигаться к реке, то бегом, то медленно, то снова пускаясь бежать. В голове его была одна только мысль: он думал, как бы поскорее добраться домой. Время от времени в смущенной душе его как будто просветлялось, и тогда он внутренне давал себе крепкую клятву – никогда, до скончания века, не бывать в Комареве, не выходить даже за пределы площадки, жить тихо-тихо, так, чтоб о нем и не вспоминал никто. Но как быть с Захаром? Куда деть его? Он все дело погубит!.. При этом Гришка мысленно возвращался к Комареву, «Расставанью», прежней беспорядочной жизни и, наконец, к происшествию настоящей ночи. Встревоженное воображение приемыша рисовало те же полные ужаса картины, которые преследуют людей, имеющих причины бояться правосудия. Холод проникал его насквозь. Ноющая тоска, тяжкое предчувствие, овладевшее им в то время еще, как он выходил из избы, давили ему грудь и стесняли дыхание: точно камень привешивался к сердцу и задерживал его движение. Он не был в состоянии разъяснить себе своих мыслей. Смутно, бессознательно проносилось тогда в душе его что-то похожее на раскаянье; но раскаянье, внушенное в минуты страха, ненадежно. В душе парня снова делалось темно, как ночью после зарницы. Услышав за собою голос Захара, он остановился, столько же из опасения, чтобы кто-нибудь не услышал товарища и не пустился следить за ним, столько

же и потому, что чувство одиночества казалось невыносимым. Он обрадовался бы теперь обществу маленького ребенка. При всем том во все продолжение пути он слова не сказал Захару. Он ограничился тем только, что шел подле. Обогнув на значительное расстояние костер, который все еще пылал у опушки, они достигли наконец кустов ивняка.

Встревоженные чувства приемыша заметно успокоились, когда он продрался вместе с Захаром в кусты. Кусты эти могли служить даже среди белого дня надежным убежищем от преследований. Забравшись в самую середину чащи, приятели остановились, как бы по условному знаку. Захар предложил выпить для смелости. Гришка молча взял штоф и поспешил привести в действие совет; в горле его и груди было сухо: после первых глотков он почувствовал уже облегчение – даже душа его как будто окрепла. Захар пил между тем из другого штофа, и таким образом оба значительно поубавили вина.

Переезд через Оку совершился благополучно: и люди и штофы вышли на берег невредимы. Подымаясь по площадке, Захар насвистывал уже песню. Гришка между тем, опередивший своего товарища, стучал кулаками в ворота.

– Что без толку шумишь-то? Ай кулаки-то наемные? – сказал Захар, на которого хмель действовал, по привычке вероятно, не так сильно, как на приемыша.

Он приблизился к воротам, нащупал веревочку, перекинутую через перекладину, потянул ее книзу и припер плечом

ворота, которые тотчас же отворились.

– Вот тут стучи, пожалуй, коли есть охота: заперлись изнутри! – промолвил Захар, когда он и Гришка поднялись на крылечко. – Эх их заспались как! Все с горя, должно быть!.. Гей! Гей! Отворяй!..

Но Захар ошибся, потому что с первыми словами его в сенях раздались торопливые шаги и дверь отворилась.

– А-а-а! Авдотья Кондратьевна! Маленько как будто потревожили вас... Прости, милая! Как быть! С делами не справились! – воскликнул Захар.

– Что те не докличешься?.. Лучину! – сурово сказал Гришка, входя в сени.

– О-о-о! – густым басом подхватил Захар, передразнивая приемыша. – Сейчас видно, хозяин пришел. Эх ты! Жен-ка-милушка встречает, дверь отворяет – чем бы приласкать: спасибо, мол, любушка-женушка, а он... Эх, ты, лапотник!.. Ну, пойдем, пойдем, – смеясь, примолвил он, пробираясь с Гришкой в избу.

– Кто там? – раздался голос с печки, как только переступили они порог.

– Хозяин пришел, касатушка-бабушка! – шутливо отозвался Захар.

– Мать наша, пречистая пресвятая богородица, спаси и помилуй нас, грешных! – простонала со вздохом старушка.

– Ну, скоро, што ль? Огня давай! – нетерпеливо крикнул Гришка, топнув ногою.

– Полно тебе! Ну, что ты вправду: о! да о! Что орешь-то! Дай срок. Авдотья Кондратьевна, може статься, не найдет... спросонья-то... Постой, милая, я подсоблю, – заключил Захар, ощупывая стены и пробираясь к Дуне.

Но в ту же минуту подле печки сверкнул синий огонек. Бледное, исхудалое лицо Дуни показалось из мрака и вслед за тем выставилась вся ее фигура, освещенная трепетным блеском разгоревшейся лучины, которая дрожала в руке ее. Защемив лучину в светец и придвинув его на середину избы, она тихо отошла к люльке, висевшей на шесте в дальнем углу.

Не обратив на нее внимания, а также и на тетушку Анну, которая слезала с печи, Гришка подошел к столу, сел на скамье подле окна и, уперев на стол локти, опустил голову в ладони.

– Э-эх! – воскликнул с притворным вздохом и жестом Захар, который не переставал до сих пор щурить соколиные глаза свои на Дуню.

Он приблизился к столу, поставил штофы, подсел к приемышу и дружески ударил его по спине.

Увидев штофы, тетка Анна сделала несколько шагов вперед, всплеснула руками и мгновенно разразилась градом упреков и жалоб.

В ответ на это Захар оглянул старушку с головы до ног и залился тоненьким смехом.

Выходка эта окончательно взорвала старуху. Но Захар и

Гришка продолжали делать вид, как будто не замечают ее. Каждый попивал из своего штофа, но с тою разницею, однако ж, что приемыш, по мере того как исчезало вино, делался более и более сумрачным, тогда как Захар веселел с каждой минутой. Под конец он вступил даже в объяснения с тетушкой Анной. Отвечая на каждое ее слово скоморошной какой-нибудь выходкой, он нередко в то же время обращался к Дуне, которая изредка выглядывала из-за люльки и подымала кроткий, дрожащий голос, стараясь уговорить старушку.

– Слышь, тетка, Авдотья Кондратьевна настоящее тебе говорят: полно надсажаться... Эх, пустая какая!.. Ну, за что ты ругаешься? За что? Ой ли? Да рази мы пьянствуем! Так ли пьянствуют-то? Охота горло драть... к тому и года твои старые, слышь: покой требуется... – говорил, посмеиваясь, захмелевший уже Захар, между тем как старуха надрывалась, осыпая его бранью и всевозможными проклятиями. – Ой, перестань, право-ну, перестань! Лучше бы вот к нам подседа: знамо, горлышко промочить; оно же у тебя звонкое такое!.. Авдотья Кондратьевна! Эх, памятна ты, милая! Полно сердчать-то. Ну, что! Садись, право, садись... А уж какую бы я вам песенку спел! И-их! Одно слово: распотешу!.. – заключил Захар.

И, уперши кулаками в бока, потрянув молодцевато волосами, Захар запел, подмигивая Дуне:

Что ты, Дуня, приуны-ы-ла?

Воздохнула тяжело?
Раздушенька вспомянула
Любезного своего...

Дуня вынула из люльки спавшего ребенка, подошла к старухе и, взяв ее за руку, принялась увещевать ее.

– Уйдем, матушка, перестань... оставь их... пойдем лучше посидим где-нибудь... что кричать-то... брось... они лучше без нас уймутся... – шептала она, силясь увести старушку, которая хотя и поддавалась, но с каждым шагом, приближавшим ее к двери, оборачивалась назад, подымала бескровные кулаки свои и посылала новые проклятия на головы двух приятелей.

– Куда вы? – крикнул было Захар, неожиданно прерывая свою песню.

Но Дуня захлопнула дверь за собою и старухой.

– А ну вас, когда так! – подхватил Захар, махнув рукою и опуская ее потом на плечо Гришки, который казался совершенно бесчувственным ко всему, что происходило вокруг. – Пей, душа! Али боишься, нечем будет завтра опохмелиться?.. Небось деньги еще есть! Не горюй!.. Что было, то давно сплыло! Думай не думай – не воротишь... Да и думать-то не о чем... стало, все единственно... веселись, значит!.. Пей!.. Ну!.. – заключил Захар, придвигая штоф к приятелю.

Но речь Захара не произвела никакого действия на товарища. Он сидел по-прежнему, подпершись локтем и опустив

голову. Он не заметил даже, по-видимому, отсутствия жены и старухи.

Захар веселел с каждым новым глотком. Прошел какой-нибудь получас с тех пор, как ушли женщины, но времени этого было достаточно ему, чтобы спеть несколько дюжин самых разнообразнейших песен. Песни эти, правда, редко кончались и становились нескладнее; но зато голос певца раздавался все звончее и размашистее. Изредка прерывался он, когда нужно было вставить в светец новую лучину. Он совсем уже как будто запомнил происшествие ночи; самые приятные картины рисовались в его воображении...

Приемыш не принимал ни малейшего участия в веселье товарища. Раскинув теперь руки по столу и положив на них голову свою с рассыпавшимися в беспорядке черными кудрями, он казался погруженным в глубокий сон. Раз, однако ж, неизвестно отчего, ветер ли сильнее застучал воротами, или в памяти его, отягченной сном и хмелем, неожиданно возник один из тех страшных образов, которые преследовали его дорогой, только он поднял вдруг голову и вскочил на ноги.

– Где они? Где? – проговорил он, оглядывая избу шальными, блуждающими глазами.

– Ушли, брат! – смеясь, отвечал Захар. – Ну их совсем! Ломаются – не таковские!

– Куда? Где? Куда ушли? – крикнул Гришка, сурово отталкивая Захара и выходя из-за стола.

Хмель совсем уже успел омрачить рассудок приемыша. Происшествие ночи живо еще представлялось его памяти. Мысль, что жена и тетка Анна побежали в Сосновку, смутно промелькнула в разгоряченной голове его. Ступая нетвердою ногою по полу, он подошел к двери и отворил ее одним ударом. Он хотел уже броситься в сени, но голос старухи остановил его на пороге и рассеял подозрения. Тем не менее он топнул ногой и закричал во все горло:

– Сюда ступайте! Сюда!

– Не ходи, родная, не ходи, ни за что не ходи! – воскликнула старушка, удерживая, вероятно, Дуню.

– Сюда ступай, коли хочешь быть цела! Сюда, говорю! – бешено закричал Гришка.

– Не ходи, Дунюшка! Не бойся, родная: он ничего не посмеет тебе сделать... останься со мной... он те не тронет... чего дрожишь! Полно, касатка... плюнь ты на него, – раздавался голос старушки уже в сенях.

Но так как увещевания эти ни к чему, видно, не служили, тетушка Анна бросилась вслед за Дуней, опередила ее, и не успела та войти в двери, как уже старуха влетела в избу и остановилась перед Гришкой.

– Чего тебе, разбойник, от нее надуть? – воскликнула она, заслоня Дуню, которая тщетно старалась войти в двери. – Зачем она тебе? Погибели ее хочешь, что ли, злодей ты такой!

– Молчи! – сурово произнес Гришка, отталкивая ее руку.

Голос старухи вдруг оборвался, и она зарыдала; но это продолжалось одну секунду. Она снова заслонила Дуню, стоявшую в дверях со спавшим на груди ее младенцем, и подхватила с возраставшим негодованием:

– На кого руку-то поднял, вспомни! Вспомни, кому грозишь-то! Злодей ты, злодей этакой! Ведь я тебя, злодея, на руках на своих выносила! Вспомни ты это! Думаешь, боюсь я тебя? Не дам я ее, не дам тебе! Чего тебе от нее надо? Чего? Аль мало тебе, утопил нас в слезах горьких; погибели нашей хочешь, злодей ты этакой! Постойте, я найду еще суд на вас обоих, нехристей окаянных. Свет не без добрых людей! – подхватила она, отчаянно махая руками и обращаясь то к приемышу, то к Захару, который покачивался подле печки. – Вы думаете, я ничего про вас не ведаю? Погодите, вас спросят еще, где вы вино-то взяли: ведь денег-то у вас давно нету... Сама доведаюсь, сама спрошу пойду, душегубцы вы, нехристи! Завтра же схожу в Комарево... У всех стану спрашивать...

При этом Гришка, сделавший уже несколько шагов к столу, бросился со всех ног к старухе и бешено замахнулся.

В ту же самую минуту на дворе раздались голоса.

– Здесь! Не зевай, ребята, здесь! – закричал кто-то в сенях.

Гришка не успел прийти в себя, как уже в дверях показалось несколько человек. Первое движение Захара было броситься к лучине и затушить огонь. Гришка рванулся к окну,

вышиб раму и выскочил на площадку. Захар пустился вслед за ним, но едва просунул он голову, как почувствовал, что в ноги ему вцепилось несколько дюжих рук.

– Гришка! – крикнул он отчаянно.

Но ответа не было.

– Ребята! – кричал один из молодцов, державших Захара. – Один дал тягу, в окно выскочил, беги за ним! Живей, ребята! Другого уж сцапали... Тащи его, ребята!

Два человека стремглав пустились из избы. Остальные вцепились еще крепче в Захара и, несмотря на то что он бился, как белуга, попавшаяся в невод, втащили его в избу.

– Батюшки! Караул! Разбойники! – вопила тетушка Анна.

– Засвети огня, огня! – подхватило несколько голосов.

– Слышь, огня давай! Добрым словом говорят! – произнес кто-то над самым ухом старухи. – Каких тут нашла разбойников? Не разбойники – пришли за разбойниками – вот что! Ну, живо поворачивайся... Огня, говорят!

– Да кто ж вы, батюшка... О-ох! Какие такие? Ох! С нами крестная сила! Дайте хоть ребенка-то положить, – заговорила Анна, перебегая от люльки к печке.

– Ну, живо! Живо! Вздущь огня, сама увидишь, какие такие... Крепче держи его, ребята: извернется – уйдет; давай кушак... вяжи его.

Послышалась свалка, сопровождаемая ударами и бранью. Но сила Захара ничего не могла значить перед силой пятерых дюжих молодцов. Когда старушка подошла с лучиной,

он стоял уже окруженный по рукам.

– Так вот вы зачем! Вяжите его, отцы! Вяжите его, разбойника: он самый и есть злодей! – завопила Анна, после того как один из присутствующих взял из рук ее лучину и защемил ее в светец. – Всех нас погубил, отцы вы мои! Слава те господи! Давно бы надуть! Всему он причиной; и парня-то погубил...

Старушка ударилась в слезы.

– Не верьте ей, братцы, не верьте! Она так... запужалась... врет... ей-богу, врет! Его ловите... обознались... – бессвязно кричал между тем Захар, обращая попеременно то к тому, то к другому лицо свое, обезображенное страхом. – Врет, не верьте... Кабы не я... парень-то, что она говорит... давно бы в остроге сидел... Я... он всему голова... Бог тебя покарает, Анна Савельевна, за... за напраслину!

– Отцы вы мои! Отсохни у меня руки, пушай умру без покаяния, коли не он погубил парня-то! – отчаянно перебила старушка. – Спросите, отцы родные, всяк знает его, какой он злодей такой! Покойник мой со двора согнал его, к порогу не велел подступаться – знамо, за недобрые дела!.. Как помер, он, разбойник, того и ждал – опять к нам в дом вступил.

– Что же это в самом деле, братцы! Ведь это разбой, все единственно! – кричал Захар, ободряясь. – За что связали? Должны наперед спросить... Федот Кузьмич! Вступишь! – подхватил он ласковее. – Вступишь, знакомый человек! Ты меня знаешь... встречались... помнишь? Федот Кузьмич!

– Ладно, брат, там разберут; вишь, нашел какого знакомого? Федот Кузьмич! Слышь! – смеясь, отвечал Федот Кузьмич. – Крепче держи его, ребята! Там рассказывай, как придем; там вас разберут, что куда принадлежит.

– Отцы вы мои... Ох! Да что ж такое они наделали? Что прилучилось-то? – спросила тетушка Анна, неожиданно прерывая рыдания.

– Быка увели, обокрали вот этого молодца, – возразил Федот Кузьмич, указывая головой на высокого, плечистого мужика в синей чуйке, державшего Захара за ворот.

– Царица небесная! То-то вот! Я как вино-то увидела... ох, словно сердце мое чуяло... не добром достали вино-то!.. Да как же это, родной?.. Ох, батюшки!

– А так же, что этот вот мошенник калякал с работниками на лугу, а тот быка уводил: «Я, говорит, портной; портной, говорит, иду из Серпухова!» – смеясь, отвечал Федот Кузьмич. – И то портной; должно быть, из тех, что ходят вот по ночам с деревянными иглами да людей грабят.

– Отсохни руки и ноги, коли не по наговору! Меня там вовсе и не было; спроси хоть в Комареве, – быстро заговорил Захар.

– Ладно, там скажешь...

– Ну, пойдёмте, братцы! – перебил гуртовщик.

– Нет, погоди, надо другого дожидаться; далеко не убежит: парни ловкие – догонят!.. Слышь, еще и расписку целовальнику дали! – подхватил словоохотливый Федот Кузьмич. –

«Так и так, говорят, бык достался, вишь, по наследию от отца-покойника...»

– Батюшка! Да у нас и в заводе скотины-то не было! Отродясь и не держали! – воскликнула Анна.

– Мы их и в кабаке-то нонче видели.

– Когда ты меня видел? В кое время? Меня там и не было! – произнес Захар.

Не обращая на него внимания, словоохотливый Федот Кузьмич рассказал старухе, как гуртовщик, отправляясь с другими работниками на ночлег в избу целовальника, услышал под навесом рев быка, как, движимый подозрением, спустился на двор с работниками, отыскал животное, убедился, что бык точно принадлежал ему, и как затем побежал к становому, который, к счастью, находился в Комареве по случаю покражи у фабриканта. Далее Федот Кузьмич сообщил о том, как становой, собрав понятых, вошел в кабак, допросил целовальника и как целовальник тотчас же выдал воров, показал расписку, пояснил, откуда были воры, и рассказал даже, где найти их.

– Добро еще лодка попалась у берега; спасибо прогонщикам, припасли! А то бы пришлось, пожалуй, бежать на паром в Болотово, – заключил рассказчик.

Во все время этого объяснения Захар не давал отдыха языку своему. Он опровергал с неописанною наглостью все обвинения, требовал очной ставки с Герасимом, называл его мошенником, призывал в доказательство своей невинности

расписку, в которой не был даже поименован, складывал всю вину на Гришку, говорил, что приемыш всему делу голова-заглавие, поминутно обращался к дружбе Федота Кузьмича и проч. Но Федот Кузьмич только подтрунивал, а гуртовщик, державший Захара за ворот рубахи, не переставал его потряхивать.

– А вот, никак, и другого ведут! – произнес один из понятых, прислушиваясь к шагам, раздавшимся на дворе.

При этом Дуня сделала движение, как будто хотела броситься к двери; но в дверях показались только два человека, и она опустилась на лавку.

– Убежал! – сказали в один голос вошедшие.

Не было, однако ж, сомнения, что они употребили всевозможные старания, чтобы поймать беглеца: ноги их до колен были покрыты грязью, оба дышали, как опоенные клячи, проскакавшие десять верст без отдыха.

– Нет, не поймали! – подхватил один из них, с трудом переводя дыхание. – Совсем было схватили... да в реку кинулся... не подоспели...

– Ладно, далеко не убежит! – сказал Федот Кузьмич. – Паппорта не успел захватить. Искать надо в Комареве либо в Болотове: дальше не пойдет, а может статься, и весь в реке Оке остался... Завтра все объявится, на виду будет!.. Добро хошь этого-то молодца скрутили: придем не с пустыми руками... Веди его, ребята!

И понятые потащили из избы Захара, который не переста-

вал уверять, что идет своею охотой, что будет жаловаться за бесчестие, что становой ему человек знакомый, что все Комарево за него вступится, потому всякий знает, какой он есть такой человек, уверял, что он не лапотник какой-нибудь, а мещанский сын, что вязать мещанина – это все единственно, что вязать купца, – никто не смеет, что Гришка всему делу голова-заглавие, что обвинять его, Захара, в покраже быка – значит, все единственно, обвинять в этом деле Федота Кузьмича, и проч. Но его не слушали и продолжали тащить по двору, причем раздосадованный гуртовщик, не выпускавший из железной пятерни своей ворота рубахи, не переставал долбить кулаком другой руки мещанскую шею Захара.

XXIX

Наследники

Буря утихла, хотя тяжеловесные, свинцовые тучи все еще бродили по небу, но они не посылали уже дождя. Ветер упал, переменял направление. Тучи быстро неслись теперь к западу, укладывались темно-сизыми слоями и медленно потом опускались к горизонту, который замыкался косыми полосами ливней. Там все еще сверкали молнии и время от времени грохотал гром; но удары удалялись и постепенно ослабевали. Часто после молнии их вовсе не было слышно. На востоке светлело между тем с каждым часом. Местами начинало уже открываться прозрачное, зелено-бледное дно осеннего

неба. Но лучи солнца, продирающиеся сквозь редяющие облака, не веселили окрестности: при солнечном блеске резче еще выказывалось опустошительное действие бури и позднего времени года. Повсюду, куда ни обращался взор, растлались черные, безжизненные поля, изрезанные бороздами, наполненными водою. Нагие деревья с ветвями, изломанными бурей, печально высились на окраине дороги. Самые лужи, засоренные мелкими ветками и желтыми листьями, тускло отражали лучи солнца. Темными полосами тянулись в отдалении пустынные леса. Ни один звук не веселил слуха. Вся природа ждала, казалось, отдыха под мягким покровом снега. Недолго дожидаться: октябрь на половине. Не сегодня-завтра, того и смотри, посыпятся пушистые хлопья снегу и покроют собою продрогнувшую землю...

Этого ждал также, заодно с природой, и дедушка Кондратий. Он давно уже с ног смотался, следуя за своим стадом по топким полям и обнаженным рощам, которые не защищали его от дождя и ветра. С первым снегом оканчивалась тяжелая пастуховская должность. Старик позаботился уже приискать к тому времени новое место: он нанялся плести сети у одного богатого сосновского мужика, торговавшего рыболовными снастями. Кроме того, что занятие это соответствовало летам и склонностям дедушки Кондратия, оно обеспечивало его верным куском хлеба на всю зиму. Этим способом не будет он никому в тягость. Быть может, даже, даст бог, пригодится еще дочери и внучку.

Занятый такими мыслями, старик торопливо следовал за стадом, которое, не находя корма, бродило ускоренным шагом по полям и оглашало их унылым ревом. Переходя с одной нивы на другую, дедушка Кондратий незаметно дотянул до полудня. Пора было подумать об обеде и отдыхе. Старик направился в небольшую лощину, лежавшую верстах в двух от Сосновки и служившую с незапамятных времен всем пастухам местом отдохновения. Осенью бока лощины, покрытые частым орешником, защищали пастуха и животных от ветра; в жаркие летние дни они служили надежным убежищем от зноя. Лощина представляла еще то удобство, что на дне ее, местами заросшем кустами лозняка и сочной травой, местами усеянном плитняком, бежал ручей. Стаду привольно было лежать на отдыхе подле берега.

В ожидании обеда, который приносили пастуху из Сосновки, дедушка Кондратий расположился на камнях подле ручья. Но дельный старик никогда не сидел без дела. Отцепив от кушака связку лык, положив на колени колодку и взяв в руки кочедык, он принялся оканчивать начатый лапоть.

Надо полагать, что старик обознался временем и было уже больше полудня. Едва успел он раза два ковырнуть кочедыком, как на дне лощины показался сын мужика, у которого дедушка Кондратий нанимал угол. Парень нес обед.

То был малый лет шестнадцати, с широким румяным добродушным лицом и толстыми губами. Нельзя было не заметить, однако ж, что губы его на этот раз изменяли своему

назначению: они не смеялись. И вообще во всей наружности парня проглядывало выражение какой-то озабоченности, во все ему не свойственной; он не отрывал глаз от старика, как словно ждал от него чего-то особенного.

– Дедушка Кондратий, слышь! А дедушка Кондратий! – крикнул он шагов еще за тридцать. – Слышь! Что ты ве-
чор-то говорил! Слышь, все по-твоему вышло!

– Что я говорил? Не помню, родной... о чем бишь? – про-
молвил старик, прерывая работу.

– А как же, помнишь, говорил, дома-то у вас, где дочка-то
живет... слышь! Все как есть по-твоему вышло: ведь стар-
шие-то сыновья Глеба Савиныча пришли!

– Так ли? Ты, паренек, толком говори – так ли? Прав-
да ли? – произнес старик, задумчивое лицо которого вдруг
оживилось.

В последнее время он только и помышлял о возвращении
Петра и Василия: они, без сомнения, не замедлят оставить
«рыбацкие слободы» и вернуться домой, как только прове-
дают о смерти отца. На них основывались все надежды де-
душки Кондратия: присутствие Петра и Василия должно бы-
ло положить конец беспутству Гришки, должно было возвра-
тить дому прежний порядок и спасти дочь, внучка и старуху
от верной гибели. Старик не знал еще, до какой степени рас-
стройства и разорения доведен был в последнее время дом
Глеба Савиныча.

– Взаправду пришли, дедушка, – подхватил парень, – при-

шли ноне утром.

– Да кто ж тебе сказал? Небось Анна Савельевна у вас в Сосновке?.. Она сказала?

– Нет, вишь ты, пришли это они с нашими ребятами... те остались дома, а эти в Сосновку пришли; они все рассказали...

– Ну, слава те господи! – вымолвил, перекрестившись, старик. – Пришли-таки в дом свой! Все пойдет, стало, порядком! Люди немалые, степенные... слава те господи!

– Да ты, дедушка, послушай, дело-то какое! – живо подхватил парень. – Они, наши, сосновские-то ребята, сказывали, твой зять-то... Григорьем, что ли, звать?.. Слышь, убежал, сказывают, нонче ночью... Убежал и не знать куда!.. Все, говорят, понятия из Комарева искали его – не нашли... А того, слышь, приятеля-то, работника, Захара, так того захватили, сказывают. Нонче, вишь, ночью обокрали это они гуртовщика какого-то, вот что волы-то прогоняют... А в Комареве суд, говорят, понаехал – сейчас и доследились...

При этом дедушка Кондратий снова перекрестился, но уже голова его была опущена и дрожала вместе с рукою, творившею крестное знамение.

– Ты, дедушка, не пуще тужи: може статья, уйдет еще твой-то – не поймают! – добродушно подхватил парень. – А уж как, говорят, старший-то сын Глеба Савиновича на его, на Гришку-то, сердчает... то-то бы ты послушал, как наши ребята сказывали: как увидал, говорят, как разорено в до-

ме-то – сказывают, все, вишь, пустехонько, – так, говорят, и взлютовался! «Попадись, говорит, он мне в руки, живым не оставлю!» Так взлютовался, слышь, инда на жену его, на дочь твою, накинулся. Оба, и старший и младший, хотят, вишь, в суд жаловаться, и ей, слышь, дочери-то твоей, грозят... Уж как же, говорят, она, дочь-то твоя, убивается...

Во все это время старик не переставал крестить впалую грудь свою, которая тяжело подымалась.

– Яша, батюшка, голубчик, не оставь старика: послужи ты мне! – воскликнул он наконец, приподымаясь на ноги с быстротою, которой нельзя было ожидать от его лет. – послужи мне! Поколь господь продлит мне век мой, не забуду тебя!.. А я... я было на них понадеялся! – заключил он, обращая тоскливо-беспокойное лицо свое к стороне Оки и проводя ладонью по глазам, в которых показались две тощие, едва приметные слезинки.

– Что ж, дедушка, я, пожалуй, туда сбегая: погляжу, что у них; пожалуй, и дочке твоей скажу, коли что велишь.

– Нет, батюшка, не о том прошу: где уж тут! Самому идти надобность... Кабы ты, родной, на то время приглядел за стадом, я... что хошь тебе за это...

– Вот! Да я и безо всего останусь! Только бы... батюшка, смотри, только забранится!.. И то велел скорей домой идти. Сбегать разве попросить?

– Сбегай, родимый, сбегай!.. Сотвори тебе господь многие радости!.. Сбегай, батюшка, скажи отцу: Кондратий, мол,

просит. Надобность, скажи, великая, беспременная... Он, верно, не откажет... Сбегай, родной, я здесь погожу...

– Ладно, дедушка, ладно! Только бы отпустил, духом вернусь! – сказал Яша.

И, поставив котомку с обедом наземь, пустился он из лощины, сопровождаемый благословениями старика.

Лишнее говорить, что дедушка Кондратий не прикасался к обеду, даром что давно прошел полдень: он забыл о голоде.

Как только молодой парень исчез за откосом лощины, старик снял шапку, опустился с помощью дрожащих рук своих на колени и, склонив на грудь белую свою голову, весь отдался молитве.

Остатки последних облаков заслонили солнце. Синяя тень потопляла дно и скаты лощины. Стадо окружало старика молчаливыми, неподвижными группами. Благоговейная тишина, едва-едва прерываемая журчаньем ручья, наполняла окрестность...

Молодому парню достаточно было одного получаса, чтобы сбежать в Сосновку и снова вернуться к старику. Он застал его уже сидящего на прежнем месте; старик казался теперь спокойнее. Увидев Яшу, он поднялся на ноги и поспешно, однако ж, пошел к нему навстречу.

– Ступай, дедушка! Ступай! – весело кричал парень. – Батюшка говорит – можно!.. Отпустил меня... старик, говорит, хороший; можно, говорит, уважить... так и сказал... Ступай, дедушка!

– Спасибо ему!.. И тебе, родной, спасибо! Пока господь век продлит, буду молить за вас господа! – проговорил Кондратий, между тем как Яша оглядывал его с прежним добродушным любопытством.

– Так ты, родной, посиди за меня... я скоро вернусь...

– Ты, дедушка, не пуще тормозишься. Я вот и полушубок захватил: посижу, пожалуй, хошь до вечера; а коли не вернешься, стало, не управился, так я, пожалуй что, и стадо домой пригоню...

– Господь наградит тебя! – произнес умиленно старик. – Вот находит это сумление: думаешь, вывелись добрые люди! Бога только гневим такими помыслами... Есть добрые люди! Благослови тебя творец, благослови и весь род твой!

Старик надел обеими руками шапку, взял посох и, протившись с Яшей, торопливо вышел из лощины.

Семь верст, отделявшие Сосновку от площадки, пройдены были стариком с невероятной для его лет скоростью. В этот промежуток времени он передумал более, однако ж, чем в последние годы своей жизни. Знамение креста, которым поминутно осенял себя старик, тяжкие вздохи и поспешность, с какой старался он достигнуть своей цели, ясно показывали, как сильно взволнованы были его чувства и какое направление сохраняли его мысли.

Ока освещалась уже косыми лучами солнца, когда дедушка Кондратий достигнул тропинки, которая, изгибаясь по скату берегового углубления, вела к огородам и избам по-

койного Глеба. С этой минуты глаза его ни разу не отрывались от кровли избушек. До слуха его не доходило ни одного звука, как будто там не было живого существа. Старик не замедлил спуститься к огороду, перешел ручей и обогнул угол, за которым когда-то дядя Аким увидел тетку Анну, бросающую на воздух печенье из хлеба жаворонки.

Но другого рода картина предстала глазам дедушки Кондратия; он остановился как вкопанный; в глазах его как словно помутилось. Он слышал только рыдания дочери, которая сидела на завалинке и ломала себе руки, слышал жалобный плач ребенка, который лежал на коленях матери, слышал охи и увещательные слова Анны, сидевшей тут же.

– Мать пресвятая богородица! – воскликнула она, увидев Кондратия. – Сам господь тебя посылает!.. Дунюшка, глянь-кась, глянь: отец пришел.

Дуня откинула волосы, в беспорядке рассыпавшиеся по лицу ее, быстрым движением передала старухе ребенка и, зарыдав еще громче, упала отцу в ноги.

– Батюшка! Батюшка! – говорила она, хватаясь с каким-то отчаянием за одежду старика и целуя ее. – Батюшка, отыми ты жизнь мою! Отыми ее!.. Не знала б я ее, горемычная!.. Не знала б лучше, не ведала!..

– Дунюшка, опомнись! Христос с тобой... Не гневи господя... Един он властен в жизни... Полно! Я тебя не оставлю... пока жить буду, не оставлю... – повторял отец, попеременно прикладывая ладонь то к глазам своим, то к груди,

то ласково опуская ее на голову дочери.

– Батюшка, отец ты наш! Да ведь дело-то какое, кабы знали ты! – всхлипывая, говорила тетушка Анна. – Ведь парень-то, муж-то ее, убежал! Убежал, отец! Нонче ночью убежал, касатик!.. Что затеяли-то лиходеи!.. Что затеяли, кабы знали ты!.. О-ох!.. Добро, батюшки, хоть того-то злодея схватили!.. Ох, как не плакать-ста, кормилец!.. А им, Петру и Василью, немало уж я говорила: ни в чем-то, говорю, она не виновница, за что, говорю, вы ее обижаете?.. Ох, родной! Нет, не вижу в них себе утечи! Не того ждала я от них, горькая!.. А тот так и убежал, злодей: не поймали! Покинул ее, сироту горькую, оставил с малым дитятком... Вася побежал, не проведает ли чего на той стороне: может, захватили... Что затеяли-то! Стояли это гурты, кормилец, – гурты стояли; а они...

– Знаю, матушка, знаю... – не слушая ее, проговорил старик, стараясь приподнять дочь, которая продолжала обнимать его ноги и рыдала, произнося несвязные причитанья.

Тетушка Анна мгновенно оставила свои объяснения, посадила внука на завалинку, проворно утерла слезы и бросилась пособлять старику. Оба приподняли Дуню и повели ее к завалинке; но едва успели они усадить ее, в воротах показался Петр.

Если б дедушка Кондратий не был предуведомлен, что Петр и Василий точно возвратились домой, он, конечно, не узнал бы в вошедшем старшего сына покойного Глеба. Петр состарился целыми десятью годами, хотя всего-навсе четы-

ре года, как покинул кров родительский; в кудрявых волосах его, когда-то черных как крыло ворона, серебрилась седина; нахмуренные брови, сходящиеся дугою над орлиным его носом, свешивались на глаза, которые глядели также исподлобья, но значительно углубились и казались теперь потухшими. Цыганское лицо его, дышавшее когда-то энергией и напоминавшее лицо отца в минуты гнева, теперь осунулось, опустилось; впалые щеки, покрытые морщинками, и синеватые губы почти пропадали в кудрявой, вскосмаченной бороде; высокий стан его сгорбился; могучая шея походила на древесную кору. Но не время и заботы состарили Петра.

Увидев Кондратия, Петр подошел к нему так быстро и так близко, что тетка Анна поспешила стать между ними.

– Петруша, касатик... выслушай меня! – воскликнула она, между тем как старик стоял подле дочери с поникшею головою и старался прийти в себя. – Я уж сказывала тебе – слышь, я сказывала, мать родная, – не кто другой. Неужто злодейка я вам досталась! – подхватила Анна. – Поклепали тебе на него, родной, злые люди поклепали: он, батюшка, ни в чем не причастен, и дочка его.

– Ни к чему не причастен! Это мы видим!.. – возразил Петр. – Свел свою дочь беспутную с отцовым приемышем, таким же мошенником, подольстились к отцу, примазались к нашему дому, а после покойника обокрали нас.

– Батюшка! – закричала Дуня, которая до того времени слушала Петра, вздрагивая всем телом. – Батюшка! – под-

хватила она, снова бросаясь отцу в ноги. – Помилуй меня! Не отступись... До какого горя довела я тебя... Посрамила я тебя, родной мой!.. Всему я одна виновница... Сокрушила я твою старость...

– Дитяtko... Дунюшка... встань, дитяtko, не убивай себя по-пустому, – говорил старик разбитым, надорванным голосом. – В чем же вина твоя? В чем?.. Очнись ты, утеха моя, мое дитяtko! Оставь его, не слушай... Господь видит дела наши... Полно, не круши меня слезами своими... встань, Дунюшка!..

– Петруша, полно! Господь тебя покарает за напраслину! – твердила Анна, между тем как сын ее мрачно глядел в другую сторону. – Полно, не осуждай их! Не прикасались они – волоском не прикасались к нашему добру. Помереть мне без покаяния, коли терпели мы от них лихость какую; окромя доброго слова да совета, ничего не видали... Вы одни, ты да Вася, виновники всему горю нашему; кабы отца тогда послушали, остались бы дома, при вас, знамо, не то бы и было. Не посмел бы он, Гришка-то, волоска тронуть. Не то бы и было, кабы отца-то послушали!.. А его, старика, не осуждай, батюшка; отец твой почитал его, Петя: грех будет на душе твоей... Кабы не он, не было бы тебе родительского благословения: он вымолил вам у отца благословение!..

– Дай бог давать, не давай бог просить, матушка Анна Савельевна! Оставь его! – сказал дедушка Кондратий, обращаясь к старухе, которая заплакала. – Пускай его! Об чем ты

его просишь?.. Господь с ним! Я на него не серчаю! И нет на него сердца моего... За что только вот, за что он ее обидел! – заключил он, снова наклоняя голову, снова принимаясь увещевать и уговаривать дочь, которая рыдала на груди его.

Лицо Петра оставалось по-прежнему бесчувственным.

– Меня не разжалобишь! Видали мы это! – промолвил он. – Только бы вот Васька поймал этого разбойника; там рассудят, спросят, кто велел ему чужие дома обирать, спросят, под чьим был началом, и все такое... Добро сам пришел, не надо бегать в Сосновку, там рассудят, на ком вина... Да вот, никак, и он! – присовокупил Петр, кивая головою к Оке, на поверхности которой показался челнок.

Дуня вырвалась из объятий отца, отерла слезы и устремила глаза в ту сторону; дыханье сперлось в груди ее, когда увидела она в приближающемся челноке одного Василия. Она не посмела, однако ж, последовать за Петром, который пошел навстречу брату. Старик и Анна остались подле нее, хотя глаза их следили с заметным беспокойством за челноком.

Василий пристал наконец к площадке. С того места, где находились Дуня, ее отец и Анна, нельзя было расслышать, что говорили братья. Надо думать, однако ж, что в некоторых случаях мимика выразительна не меньше слов: с первым же движением Василия Дуня испустила раздирающий крик и как помешанная бросилась к тому месту, где стояли братья. Старик и Анна, у которых при этом сердце стеснилось тягостным предчувствием, поспешили за ней. На этот раз ста-

риковские ноги изменили; не успели сделать они и двадцати шагов, как уже Дуня была подле братьев. Страшный крик снова огласил площадку; он надрезал как ножом сердце старика. Дедушка Кондратий не остановился, однако ж, хотя колени его подгибались и дрожали заодно с сердцем. Что-то похожее на младенческое, но неизобразимо горькое вырвалось из груди его, когда увидел он, как Дуня отчаянно заломила руки и ударилась оземь. Силы изменили ему, но он все бежал, все бежал, всхлипывая и не переставая креститься. Тетка Анна следовала за ним и также крестилась и шептала молитву.

Подбежав к тому месту, где лежала дочь, старик опустил-ся на колени и, приложив лицо свое к ее бледно-мертвенному лицу, стал призывать ее по имени.

– Нехристи! Что вы наделали! Бога в вас нет!.. Ведь вы бабу-то убили! – отчаянно вскричала Анна.

– Ничаво: очнется! – отрывисто возразил Петр, отходя в сторону и мрачно оглядываясь кругом.

– Полно, матушка! Брат настоящее говорит: не о чем ей убиваться! – сказал Василий, представлявший все тот же образец веселого, но пустого, взбалмошного мужика. – Взаправду, не о чем ей убиваться, сама же ты говорила, топил он ее в слезах, теперь уж не станет.

– Как... разве?..

– Да, потонул, вот и все тут, мокрою бедою погиб: выходит, рыбак был...

Старуха ухватилась руками за голову, села наземь и завопила, как воют обыкновенно о покойнике.

– Полно тебе серчать, Петруха! Что уж тут! – говорил между тем Василий. – Покойника худым словом не поминают. На том свете его лучше нас осудят.

Тут Василий тряхнул волосами с самым беспечным видом, подошел к матери и начал увещевать ее.

– О-ох, – произнесла она наконец, отымая руки от лица. – Как же, батюшка... о-ох! Где ж ты проведал о нем? Али где видел?

– Сам не видал, а сказывают, бо́лотовские рыбаки вытащили его нонче на заре. Весь суд, сказывают, туда поехал: следствие, что ли, какое, вишь, требуется...

Тетка Анна снова опустилась было наземь, но глаза ее случайно встретили Дуню и дедушку Кондратия. Причитание, готовое уже вырваться из груди ее, мгновенно замерло; она как словно забыла вдруг свое собственное горе, поспешно отерла слезы и бросилась подсоблять старику, который, по видимому, не терял надежды возвратить дочь к жизни. Анна побежала к реке, зачерпнула в ладонь воды и принялась кропить ею лицо Дуни. Глаза старика не отрывались от лица дочери. Надежда мало-помалу возвращалась к нему: лицо Дуни покрывалось по-прежнему мертвенною бледностью, глаза были закрыты, губы сжаты, но грудь начинала подыматься, и ноздри дрожали.

Старик прошептал молитву, трижды перекрестился и сно-

ва устремил неподвижный, пристальный взор на дочь.

Немного погодя она открыла глаза и, как бы очнувшись после долгого сна, стала оглядывать присутствующих; руки и ноги ее дрожали. Наконец она остановила мутный взор на каком-то предмете, который находился совершенно в другой стороне против той, где стояли люди, ее окружавшие.

– Должно быть, ребенка ищет, сердечная, – вполголоса сказала Анна.

Дуня сделала движение, как будто хотела приподняться и кинуться в ту сторону, куда глядели глаза ее.

– Не сокрушайся о нем, родная, – ласково подхватила старушка, – я уложила его на завалинке, перед тем как пошли мы за тобою. Спит, болезная; не крушись...

– Полно взаправду убиваться, молодка!.. Э! Мало ль приняла ты из-за него горя-то! – сказал Василий, которому, в свою очередь, хотелось утешить молодую женщину. – Стало, так уж богу было угодно!.. Кабы не это, может статься, еще бы хуже было – знамо, так!.. Ведь вот товарища его – слышал я ноне: в Комареве говорили – в Сибирь, сказывают, ушлют... Там у них в Комареве какого-то, вишь, фабриканта обокрали, так всю вину на этого слагают; он, сказывают, подучил, а тот во всем ссылается на твоего на мужа: он, говорит, всему голова – затейщик... То-то же и есть! Лучше было помереть ему – право, так.

Обняв руками шею старика, приложив лицо к груди его, Дуня рыдала как безумная.

– Дуня, дитяtko, полно! Не гневи господа; его святая воля! – говорил старик, поддерживая ее. – Тебе создатель милосердый оставил дитяtko, береги себя в подпору ему... Вот и я, я стану оберегать тебя... Дунюшка, дитяtko мое!.. Пока глаза мои смотрят, пока руки владеют, не покину тебя, стану беречь тебя и ходить за тобою, стану просить господа... Он нас не оставит... Полно!..

И долго еще говорил дедушка Кондратий, выбиваясь из сил и призывая остаток ослабевающего духа своего, чтобы утешить дочь.

Наконец, когда рыдания ее утихли, он передал ее на руки Анны, поднялся на ноги и, отозвав поодаль Василия, расспросил его обстоятельно о том, как отыскиали Григория и где находилось теперь его тело. Старик думал отправиться туда немедленно и отдать покойнику последний христианский долг.

Во время объяснения его с Василием тетушка Анна подсобила Дуне стать на ноги; поддерживая ее под руку, старушка повела ее к дому. Петр последовал за ними. Он оставил, однако ж, обеих женщин у завалинки и, не сказав им ни слова, вошел в ворота.

Получив от Василия кой-какие сведения касательно покойного зятя, дедушка Кондратий поднялся по площадке и подошел к дочери и старухе. Тут старик, призвав на помощь все свое благоразумие и опыт, начал бережно уговаривать дочь последовать за собою в Болотово. Речь его, проникну-

тая благочестием, укрепила упавший дух молодой женщины, и хотя слезы ее лились теперь сильнее, может быть, прежнего, но она не произносила уже бессвязных слов, не предавалась безумному отчаянию. Тетушка Анна вызвалась на время их отсутствия смотреть за ребенком.

– И то, касатушка, я-то... горе, горе, подумаешь... о-охо-хо; а раздумаешь: будь воля божия!.. – заключила старушка, которая так же скоро утешалась, как скоро приходила в отчаяние.

Один Глеб постоянно только жил в ее памяти – Глеб да еще Ваня.

Василий взялся перевезти Дуню и дедушку Кондратия на другую сторону.

– А я, я на вас не серчаю, ей-богу, не серчаю! – сказал он, когда все трое очутились в челноке. – Брат серчает, а мне что? Я и то говорил ему, да поди, не столкуешь никак! Уперся, на одном стал!.. Вы ни в каких эвтих худых делах его, покойника-то, непричастны: за что серчать-то?.. Коли отец – дай бог ему царствие небесное – коли отец почитал тебя – человек также был с рассудком, худых делов также не любил – стало, обсудил тебя, каков ты есть человек такой, – ну, нам, стало, и не приходится осуждать тебя: отец знал лучше... Я на тебя не серчаю!..

– Спасибо тебе за ласковое, доброе твое слово. Пошли тебе создатель благословение в детках твоих! – промолвил дедушка Кондратий, подымая глаза на Василия, но тотчас же

переводя их на дочь, которая сидела, прислонясь локтями в борт челнока, и, склонив лицо к воде, старалась подавить рыдания.

Рыдания изменяли ей, однако ж, во все продолжение пути.

Дорога в село Болотово проходила через Комарево; последнее отстояло от первого верстах в четырех. Но дедушка Кондратий пошел лугами. Этим способом избежал он встреч с знакомыми и избавился от расспросов, которыми, конечно, не замедлили бы осадить его, если б только направился он через Комарево.

Когда они пришли в Болотово, начинало уже смеркаться. Но сумерки замедлялись огненною багровою зарею, которая медленно потухала на западе. Надо было ждать холодной ясной ночи. Небо очистилось уже от облаков: кое-где начинали мигать звезды. На востоке, в туманном горизонте, чуть-чуть разгоралось другое зарево: то был месяц, светлый лик которого не суждено уже было видеть Григорию... Но месяц еще не показывался.

У дедушки Кондратия находился в Болотове один давнишний знакомый – также рыбак по ремеслу. Нельзя было миновать расспросить его о том, где находилось тело Григория, потому что Василий ничего не сказал об этом предмете; он знал только, что тело утопленника найдено рыбаками и находится в Болотове. С этой целью старик направился к знакомому рыбаку. Расспросив его обо всем, Кондратий вер-

нулся к дочери и вышел с нею из Болотова, но уже в другую околицу.

Пройдя около четверти версты, они почувствовали под ногами песок и увидели светлую полосу Оки, которая описывала огромную дугу. Место было уединенное и глядело совершенным пустырем. Шум шагов пропадал в сыпучем песке, кой-где покрытом широкими листьями лопуха. Кой-где чернели головастые стволы ветел. У самого берега одиноко подымалась лачужка рыбака, отыскавшего утопленника. Свет мелькал в окне. Полный месяц, подымавшийся над горизонтом, бросал длинные черные тени. При свете его старик и его дочь различили неподалеку от лачуги, подле самого края берега, две человеческие фигуры, которые стояли, подпершись палками. То были караульщики, приставленные к телу утопленника; производилось еще следствие, и труп не велено было трогать. Дедушка Кондратий и Дуня подошли ближе.

Григорий лежал в том положении, в каком вытащили его из воды: руки его были закинута за голову, лицо обращено к лугу; но мокрые пряди черных кудрявых волос совсем почти заслоняли черты его.

Кондратия и Дуню не подпустили близко. Они опустились поодаль на колени и стали молиться.

Из всех скорбных сцен, которые когда-либо совершались в этом диком пустыре, это была, конечно, самая печальная и трогательная; из всех рыданий, которые когда-либо вырыва-

лись из груди молодой женщины, оплакивающей своего мужа, рыдания Дуни были самые отчаянные и искренние. Ни один еще тесть не прощал так охотно зла своему зятю и не молился так усердно за упокой его души, как молился старик Кондратий.

Ему вновь потребовалось призвать на помощь весь остаток ослабевающего духа, чтоб оторвать дочь от рокового места и возвратить ее к знакомому рыбаку. Старик думал оставить у него на время дочь; сам он положил воспользоваться ночью и сходить в Сосновку. Ему хотелось отдать последний долг покойнику и предать как можно скорее тело его земле. Для этого ему необходимо было повидаться с отцом Яши, взять у него денег и уговориться с кем-нибудь занять место пастуха во время его отсутствия. Сообщив дочери свои намерения, старик, не медля ни минуты, расстался с нею и пошел к парому, который содержало болотовское общество.

На другой стороне он встретил несколько подвод, которые направлялись к Сосновке; мужики охотно согласились посадить старика. На заре он прибыл в Сосновку. Все устроилось согласно его желанию. Добродушный Яша вызвался стеречь стадо, отец его ссудил Кондратия деньгами и даже подвез его к тому месту Оки, против которого располагалось Болотово.

Дедушка Кондратий не нашел, однако ж, Дуни у рыбака. Он узнал, что следствие кончилось и тело велено было немедленно предать погребению. Старик отправился на погост, нимало не сомневаясь, что там найдет свою дочку. Он

действительно нашел ее распростертой над свежим бугорком, который возносился немного поодаль от других могил.

Вечером того же дня, отслужив панихиду, они покинули Болотово. Возвращались они тем же путем, каким ехал ночью старик. Очутившись против Комарева, которое с высокого берега виднелось как на ладони, отец и дочь свернули влево. Им следовало зайти к тетушке Анне и взять ребенка, после чего Дуня должна была уйти с отцом в Сосновку и поселиться у его хозяина.

Издали еще увидели они старуху, сидевшую с внучком на завалинке. Петра и Василия не было дома: из слов Анны оказалось, что они отправились – один в Озеро, другой – в Горы; оба пошли попытать счастья, не найдут ли рыбака, который откупил бы их место и взял за себя избы. Далее сообщала она, что Петр и Василий после продажи дома и сдачи места отправятся на жительство в «рыбацкие слободы», к которым оба уже привыкли и где, по словам их, жизнь привольнее здешней. Старушка следовала за ними.

– Эх, матушка Анна Савельевна, – сказал Кондратий, – уж лучше пожила бы ты с нами! Не те уж годы твои, чтобы слоняться по свету по белому, привыкать к новым, чужим местам... Остайся с нами. Много ли нам надеть? Хлебца ломоть да кашки ребенку – вот и все; пожили бы еще вместе: немного годков нам с тобою жить остается.

– О-ох, касатик, болезный ты мой! – твердила старушка, понутив голову и прикладывая сморщенные ладони к тощей

груди своей. – Мне и то думалось, думалось так-то, отец; да вот с ними-то жаль, касатик, расстаться... с Васей-то; да и Петрушу жаль, отец!.. Как увидала их, родной, так вот теперь и расстаться-то тошнехонько... И внучат поглядеть хочца; давно уж не видала... Сказывают, меня переросли!.. Нет, родной, уж я пойду, пойду, батюшка! – подхватила она вдруг с необыкновенной живостью. – Авось еще, приведет бог, приду, вас проведу: всего-то, сказывают, двести верст оттолева – доплетусь как-нибудь... Пойду на богомолье в Коломну – к вам зайду: поживем, может статься, вместе.

Старуха передала ребенка Дуне, обещала прийти в Сосновку проститься, и они расстались, потому что было довольно уже поздно, а к свету дедушке Кондратию следовало возвратиться домой.

Старику и его дочери привелось прощаться с Анной скорей, чем они предполагали. Не прошло трех дней, как старушка явилась в Сосновку. Избы были проданы. Петр, Василий и Анна отправлялись на следующее утро в «рыбацкие слободы». Вечером Кондратий, Дуня и еще несколько родственников проводили старушку за околицу.

Прошло несколько месяцев.

Тетушка Анна, всегда точная, верная своему слову, не сдержала, однако ж, своего обещания. Не было о ней ни слуху ни духу. Уже дедушка Кондратий выплел все свои сети и давно бродил вместе с сосновским стадом по полям, кото-

рые теперь зеленели; уже Дуня начинала меньше тосковать и часто даже с улыбкой поглядывала на своего сынишку, который теперь бегал; но тетушка Анна все еще не выполняла своего обещания и не приходила навестить их.

Наконец Софрон, крестник старушки – тот самый Софрон Дронов, у которого раз как-то заболталась она и осталась ночевать, – привез известие, что тетушка Анна приказала долго жить...

В маленьком хозяйстве Дуни и отца ее было в ту пору очень мало денег; но деньги эти, до последней копейки, пошли, однако ж, на панихиду за упокой души рабы божией Анны, – и каждый год потом, в тот самый день, сосновские прихожане могли видеть, как дедушка Кондратий и его дочка ставили перед образом тонкую восковую свечу, крестились и произносили молитву, в которой часто поминалось имя доброй тетушки Анны.

XXX

Заключение

Я был на Волге в первые годы моего детства. В памяти моей успели изгладиться живописные холмы, леса и села, которые на протяжении многих и многих сотен верст смотрятся в светлые, благодатные волжские воды. Судьба забросила меня в другую сторону, перенесла на другую реку; с тех пор я не разлучался с Окою. Не знаю, обделила меня судьба

или наградила, знаю только, что, прожив двадцать пять лет сряду на Оке, я ни разу не жаловался. Я скоро сроднился с нею и теперь люблю ее, как вторую отчизну. Не вините же меня в пристрастии – в некоторых случаях пристрастие извинительно, – не вините же, если берега Оки, ее окрестности и маленькие речки, в нее впадающие, кажутся мне краше и живописнее других берегов, местностей и речек России. Не стану распространяться о преимуществах одной реки перед другой, не скажу, например, что Ока пространнее Волги и тому подобное... Тут же сознаюсь, что необъятное, обаяющее раздолье, жизнь и кипучая, одушевленная деятельность принадлежит Волге. Ока уже, молчаливее, мельче и безрыбнее, по крайней мере в наших местах. Она вполне оживляется только в половодье. В остальное время года, и особенно летом, редко увидите вы на ней нескончаемые караваны расшив; не промелькнут перед очами вашими вереницы громадных судов и барок, нагруженных богатством целого края; редко услышите вы те звонкие клики и удалые, веселящие сердце песни бурлаков, которые немолчно, говорят, раздаются на Волге. Не тревожат также Оку колеса пароходов: невозмутимо гладкою скатертью стелются ее мирные воды. Барка целиком повторяется на ее ровной поверхности – повторяется вместе с высоким бородатым рулевым в круглой бараньей шапке, повторяется с соломенным шалашом, служащим работникам защитой от дождя и зноя, с белою костлявою бичевою клячей, которая, смиренно стоя на носу и переже-

ывая тощее сено, терпеливо ждет своей участи. Огонек, зажженный ночью в барке, отражается в воде, как в зеркале. В знойную летнюю пору Ока оживляется по большей части одними белыми чайками или рыболовами, снующими как угорелые по всем возможным направлениям. На песчаных отмелях, выдающихся иногда из середины реки, отмелях, усеянных мелкими, белыми как сахар раковинами, покрытых кое-где широкими пахучими листьями лопуха, трещат целые полчища коростелей, чибезов, куликов; кое-где над ними, стоя на одной ноге и живописно изогнув шею, высится серая цапля. К вечеру воцаряется совершеннейшая тишина; как словно приостанавливается даже тогда самое течение; поверхность реки не дрогнет. С такой отчетливостью повторяется в воде высокий хребет нагорного берега, что нет никакой возможности определить границы между водою и землею; берег кажется продолжением реки. В этом, часто темном, отражении начинают сверкать, как искры, играющие рыбки, появляются круги и долго потом дрожат серебряные разбегающиеся нити. Тихо, без шума, без погрома, отрываются тогда от берега легкие челноки рыбаков, которые спешат забросить свои верши.

Не знаю, как вам, мой читатель, но что до меня касается, люблю я эту торжественную тишину посреди широкого простора вод, замкнутого высоким, величественно живописным берегом! В виду природы на душу впечатлительную нисходят иногда минуты невообразимо благодатные и светлые.

Душа превращается как будто тогда в глубокое, невозмутимо тихое, прозрачное озеро, отчетливо отражающее в себе голубое небо, над ним раскинувшееся, и весь мир, его окружающий. Достаточно уже ничтожного звука, чтобы докучливо потревожить сладкую задумчивость. Малейший шум в эти созерцательные минуты возмущает душу так же точно, как возмущается заснувшая поверхность озера от слабого прикосновения: все давным-давно уже смолкло, а между тем водяной круг все еще дрожит на его ровном зеркале... К тому же тишина никогда не бывает безмолвна. Чуткий, счастливый слух всегда сумеет передать душе таинственно робкие, но гармонические напевы...

Итак, тишина, в которую большую часть года погружены берега Оки, придает им в глазах моих еще новую прелесть. Особенно приятно любоваться высоким берегом, спускаясь в лодке вниз по течению от Серпухова до Коломны.

То покрытый плотной, кудрявою чащей орешника или молодого дубняка, то спускаясь к воде ярко-зелеными, закругленными, как купол, холмами, то исполосованный пашнями наподобие шахматной доски, берег этот перерезывается иногда пропастями, глубина которых дает еще сильнее чувствовать подъем хребта над поверхностью реки. Виды изменяются непрерывно; точно стоите вы на месте и развертывают перед вами громадную панораму. Кое-где по зеленым косогорам, то плавным, то крутым, лепятся села, выются тропинки, кажущиеся издали нежными полосками, нари-

сованными тонкою, прихотливою кистью. Там и сям белеют монастыри и скромные деревенские церкви с зеленеющими кровлями и блистающими на солнце крестами. Нередко между кремнистыми отвесными обрывами открываются, как бы для контраста, светлые, улыбающиеся долины. Резвые ручьи и маленькие речки вроде Смедвы, местами заслоненные ветлами, живописно извиваются посреди ярко-зеленых лощин, покрытых мелким березняком. Иногда весь берег представляет одну сплошную синеватую стену соснового бора, который не прерывается целые версты. На песчаных прибрежных отмелях мелькают кое-где лачужки рыбаков с прислоненными к ним баграми и саками, с раскинутым бреднем, лежащими неподалеку вершами и черными, опрокинутыми кверху, насквозь просмоленными челноками. Местами берег, подмытый водою, осыпался весь сверху донизу и отвесною стеною стоит над водою, показывая свои меловые, глиняные и песчаные слои, пробуравленные норками стрижей, водяных ласточек. В таких местах этих птичек появляется обыкновенно несметное множество. Над ними в неизмеримой вышине неба вы уж непременно увидите беркута, род орла: распластав дымчатые крылья свои, зазубренные по краям, распушив хвост и издавая слабый крик, похожий на писк младенца, он стоит неподвижно в воздухе или водит плавные круги, постепенно понижаясь к добыче. Местами берег удаляется, расходится амфитеатром и дает место значным лугам, оживленным одинокими столетними дубами, под

тенью которых отдыхает стадо ближней деревни. Но всего не опишешь! Одним словом – великолепная, непрерывная, блестящая панорама, которая ждет еще своего поэта и живописца. Но поэты и живописцы... впрочем, нам нет до этого дела.

Не думайте, однако ж, чтобы луговой берег не имел также своей прелести. Есть время в году, когда он кажется еще красивее, еще разнообразнее нагорного берега. Время это – Петровки. Не мешает вам сказать мимоходом, что луга эти в общей сложности могут составить добрый десяток маленьких германских герцогств; они проходят непрерывной лентой через несколько губерний – одним словом, длина их равняется длине Оки. В ширину простираются они средним числом верст на восемь и оканчиваются там, где начинаются леса и села. Ближе не селятся к реке за водопольем. К июлю пространство это представляет сплошное море трав, в которых крестьянские ребятишки могут свободно прятаться, как в лесу. Мириады душистых цветов и растений разливаются в вечернем воздухе свое благоухание. В знойный полдень пестрое цветное море как словно зыблется и переливается из края в край, хотя ветер не трогает ни одним стебельком. Сюда-то в Петровки стекается народ окрестных деревень и толпы косарей, которых заблаговременно нанимают к этому времени жители Комарева, Гор, Болотова, Озер и других. В нашем простонародье покос считается праздником. Все являются сюда в полной воскресной пестроте своей. Если бы

собрать весь кумач, все платки, понявы, пестрые рубашки и позумент, которые пестреют здесь во время покоса, можно бы, кажется, покрыть ими пространство в пятьдесят верст в окружности. Народ располагается кучками, артелями или даже целыми вотчинами, каждая семья подле своей подводы, подле котелка. Три недели сряду проживают здесь несколько тысяч человек. Подымитесь на нагорный берег, подымитесь ночью и взгляните тогда на луга: костры замелькают перед вами как звезды, им конца нет в обе стороны, они пропадают за горизонтом... С восходом солнца весь этот луговой берег представляет картину самого полного, веселого оживления. Косари выстраиваются в одну линию и, дружно звеня косами, начинают подвигаться к реке, укладывая направо и налево тучные ряды травы, перемешанной с клевером, душистой голкой, кашкой, медуницей и сотнями других цветов. Так подвигаются они, однако ж, целые две недели, между тем как бабы и девки, следуя за ними с граблями, ворочают сено или навевают его островерхими стогами. Вот тогда-то полюбуйтесь этими лугами, полюбуйтесь в праздник, когда по всему их протяжению несется один общий говор тысячи голосов и одна общая песня: точно весь русский люд собрался сюда на какое-то семейное празднество! Давно уже наступила ночь, давно зажглись костры. Уже заря брезжит на востоке, уже серебряный серп месяца клонится к горизонту и бледнеет, а песня между тем все еще не умолкает... и нет, кажется, конца этой песне, как нет конца этим раздольным лугам.

Песню эту затянули еще, быть может, в далекой губернии, и вот понеслась она – понеслась дружным, неумолкаемым хором и постепенно разливаясь мягкими волнами все дальше и дальше, до самой Нижегородской губернии, а там, подхваченная волжскими косарями, пойдет до самой Астрахани, до самого Каспийского моря!.. И если песня эта, если вид этих лугов не порадуют тогда вашего сердца, если душа ваша не дрогнет, но останется равнодушною, советую вам пощупать тогда вашу душу, не каменная ли она... а если не каменная, то, уж верно, способна только оживляться за преферансом, волноваться при словах: «пас», «ремиз», «куплю» и прочей дряни...

Но простите мне, мой читатель, если я так далеко отвлек вас от главного предмета. Мне следует еще досказать вам мою простонародную повесть. К общему нашему удовольствию, я на этот раз не займу вас слишком долго.

Лет десять после происшествий, описанных мною в последней главе, около Петровок и, кажется, даже в самый Петров день, на дороге из Сосновки к площадке, служившей сценой нашему рассказу, можно было встретить одинокого пешехода. С первого взгляда делалось очевидным, что пешеход был бессрочный солдат, возвращавшийся на родину. Легко было также догадаться, что родина его была Ока, потому что, не обращая внимания на знойное солнце, обливавшее его потом, он быстро подвигался вперед, взбегал на все возвышенности и поминутно шурил глаза по направлению к Оке, ко-

торая заслонялась еще холмами.

Пешеход этот был Ваня, младший сын покойного рыбака Глеба Савинова. Солдатская шинель и пятнадцать лет, проведенные вне дома, конечно, много изменили его наружность; но при всем том трудно было обознаться: возмужалое, загоревшее лицо его отражало, как и прежде, простоту души, прямизну нрава и какое-то внутреннее достоинство – словом, он представлял все тот же благородный, откровенный, чистый тип славянского племени, который, как мы уже сказали, так часто встречается в нашем простонародье. Светлые, умные, хотя несколько задумчивые глаза Вани смотрели по-прежнему откровенно и приветливо.

Ваня пришел накануне в Сосновку. О смерти отца, матери и приемыша знал он уже давно. Ему известно также было о продаже родных изб и разъединении старших братьев, которые после ссоры неизвестно где проживали. Ему оставалось только проведать о том, живы ли Дуня и дедушка Кондратий. После отца и матери они были для него самыми близкими по сердцу людьми. Дедушка Кондратий все еще жив. Мало того: несмотря на свои восемьдесят девять лет, старик все еще не хотел даром есть хлеб, все еще трудился. Он нанялся в это лето караулить комаревский сад заодно с дочкой. Ваня спешил, следовательно, в Комарево.

По мере приближения к цели сердце его все сильнее и сильнее сдавливалось тем невыразимо тягостным волнением, какое приводится испытывать каждому в минуты, пред-

шествующие свиданию после долгой разлуки. В поспешности человека, который бежит на свидание самое радостное, заключается, кажется, столько же желания скорее освободиться от этого тягостного волнения, сколько нетерпения обнять близких сердцу.

Вскоре перед ним сверкнуло маленькое озеро, окаймленное, как бахромою, купами ольхи, орешника и ветел. Еще минута, и показалась Ока во всем своем величии; еще шаг, и он очутился на тропинке у берегового углубления, увидел площадку – эту площадку, заменявшую ему целую родину. Каждый предмет, попадавший на глаза, вызывал в душе его дорогие воспоминания. Ваня перешел ручей – свидетель детских игр...

Ручей, вырываясь по-прежнему из-под камней и узловатых корней ветел, огибал светлую журчащую струю огорода, избы и, прошумев между булыжником, вливался в Оку подле того места, где когда-то тетушка Анна постукивала вальском. Время не оставило на нем ни малейшего следа, не изменило его на волос, между тем как все изменилось вокруг. Отец покойного Глеба плескался еще в том ручье в ребяческом возрасте; Глеб родился на этом ручье; Глеб умер седым стариком, умерла жена его – ручей все еще бежит тою же светлую, говорливую струю; и нет сомнения, долго еще переживет он детей тех маленьких ребятишек, звонкие голоса которых раздавались теперь на площадке...

Миновав огород, миновав проулок, Ваня повернул за

угол. Он недолго оставался перед избами. Каждая лишняя минута, проведенная на площадке, отравляла радостное чувство, с каким он спешил на родину. Мы уже объяснили в другом месте нашего рассказа, почему родина дороже простолюдину, чем людям, принадлежащим высшим сословиям.

Отерев мокрые пальцы свои о засученные полы серой шинели, Ваня прошел мимо детей, которые перестали играть и оглядывали его удивленными глазами. Ребятишки проводили его до самого берега. Два рыбака, стоя по колени в воде, укладывали невод в лодку. То были, вероятно, сыновья седого сгорбленного старика, которого увидел Ваня в отдалении с сакон на плече.

Ваня подошел к рыбакам и попросил, чтобы который-нибудь из них перевез его на ту сторону.

Переехав реку, Ваня пробирался между кустами ивняка, шел тою же самой песчаной дорожкой, усеянной мелкими раковинами, на которой, бегая когда-то с приемышем, встретил в первый раз Дуню. Немного погодя очутился он у опушки, и чуть ли не на том месте, где сидел тогда дедушка Кондратий.

Ваня прибавил шаг. Спустя несколько времени увидел он Комарево.

Ваня совсем почти не был знаком с Комаревым и потому, вступив в околицу, не обратил решительно никакого внимания на то, что на крыльце «Расставанья» вместо Герасима стоял жирный, коренастый мужик в красной рубахе, плисо-

вых шароварах и высоких сапогах. После уже узнал он, что прежний целовальник Герасим попался в каком-то темном деле и отправлен был на поселение.

Как мы уже сказали, был Петров день. Благодаря этому обстоятельству комаревские улицы были полны народа; отовсюду слышались песни и пискливые звуки гармонии. Но Ваня ни на минуту не остановился, чтобы поглазеть на румяных, разряженных в пух и прах девок, которые ласково провожали его глазами.

Он продолжал так же ходко подвигаться к двум церквям, которые занимали середину села. К задней части церкви примыкало кладбище; за кладбищем начинался сад. Там, где оканчивалось кладбище, плетень сада делал крутой поворот влево, образуя с задворками соседней улицы узенький извилистый переулочек. С одной стороны тянулся непрерывный ряд навесов, с другой – плетень, обросший ежевичником и крапивой; над плетнем круглились сплошной темно-зеленой массой фруктовые деревья, покрытые созревающим плодом. Ветви старых рябин, клена и черемухи, посаженных кое-где за плетнем, досягали иногда до кровель навесов и местами бросали в переулочек синюю тень, испещренную мелкими солнечными пятнами. В переулочке было так же тихо, как было шумно на улице.

Сделав несколько шагов по этому переулочку, Ваня услышал как словно знакомый голос. Он поспешно приложил глаза к щелям плетня; но в этом месте зелень совершенно за-

слонила внутренность сада. Он прошел еще несколько шагов – и вдруг остановился. Сердце его сильно забилося, краска заиграла на загоревших щеках его.

Неподалеку, под густою тенью развесистой яблони, увидел он соломенный шалаш, у входа в который сидел дряхлый, сгорбленный, беловатый старик. Несмотря на подслеповатость и сильное дрожание в руках, дедушка Кондратий все еще работал; на коленях его лежали длинные тесьмы лык и начатый лапотъ, в который, однако ж, не всегда удачно попадал он кочадыком своим. На траве подле него сидела его дочь; против нее возвышался кленовый гребень с тучным пучком льну, из которого тянула она левою рукою тонкую, дрожащую нитку, между тем как в правой руке ее гудело и подпрыгивало веретено.

Жаркий луч солнца, скользнув между листьями яблони и захватив на пути своем верхушку шалаша, падал на руки Дуни, разливая прозрачный, желтоватый полусвет на свежее, еще прекрасное лицо ее. В двух шагах от Дуни и дедушки Кондратия резвился мальчик лет одиннадцати с белокурыми выющимися волосами, свежими глазами и лицом таким же кругленьким и румяным, как яблоки, которые над ними висели.

Наружность ребенка, его движения и голос так живо напомнили мать, что Ване представилось, будто он снова видит перед собою Дуню, собирающую валежник в кустах ивняка; картина счастливого, беззаботного детства промельк-

нула перед ним, и сердце его забилося еще сильнее, краска еще ярче заиграла на загорелых щеках.

Он бросился к калитке сада и побежал к шалашу...

Не стану утруждать читателя описанием этой сцены. И без того уже, увидите вы, найдется много людей, которые обвинят меня в излишней сентиментальности, излишних, ни к чему не ведущих «излияниях», обвинят в неестественности и стремлении к идеалам, из которых всегда «невесть что такое выходит»... и проч., и проч. А критики? Но у «критиков», как вы знаете, не по хорошему мил бываешь, а по милу хорош; нельзя же быть другом всех критиков!

Впрочем, их в сторону.

Доскажу вам в нескольких словах историю моих сермяжных героев.

Сосновское общество отрезало бессрочному узаконенный участок земли. Но Ваня не захотел оставаться в Сосновке. Вид Оки пробудил в нем желание возвратиться к прежнему, отцовскому промыслу. Землю свою отдал он под пашню соседу, а сам снял внаймы маленькое озеро, на гладкой поверхности которого с последним половодьем не переставала играть рыба. Он обстроился и тотчас же перевел к себе в дом дедушку Кондратия, его дочь и внука.

И снова сквозь темную листву орешника, ольхи и ветел стала просвечивать соломенная, облитая солнцем кровля; снова между бледными ветвями ивы показалась раскрытая дверь. Под вечер на пороге усаживался дедушка Кондратий,

строгавший дряхлою рукою удочку, между тем как дочка сидела подле с веретеном, внук резвился, а Ваня возвращался домой с вершами под мышкой или неся на плече длинный сак, наполненный рыбой, которая блистала на солнце, медленно опускавшемся к посиневшему уже хребту высокого нагорного берега.

Так проходила их жизнь. Ваня ходил за стариком как родной сын, берег его внука, ласково, как брат, обходился с Дуней и никогда ни единым словом не поминал ей о прежних, прожитых горестях...

Гуттаперчевый мальчик

I

"...Когда я родился – я заплакал; впоследствии каждый прожитой день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился..."

Метель! Метель!.. И как это вдруг. Как неожиданно!!.. А до того времени стояла прекрасная погода. В полдень слегка морозило; солнце, ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех щуриться, прибавляло к веселости и пестроте уличного петербургского населения, праздновавшего пятый день Масленицы. Так продолжалось почти до трех часов, до начала сумерек, и вдруг налетела туча, поднялся ветер, и снег повалил с такою густотою, что в первые минуты ничего нельзя было разобрать на улице.

Суета и давка особенно чувствовалась на площади против цирка. Публика, выходявшая после утреннего представления, едва могла пробираться в толпе, валившей с Царицы на Луга, где были балаганы. Люди, лошади, сани, кареты – все смешалось. Посреди шума раздавались со всех концов нетерпеливые возгласы, слышались недовольные, ворчливые замечания лиц, застигнутых врасплох метелью. Нашлись да-

же такие, которые тут же не на шутку рассердились и хорошенько ее выбрали.

К числу последних следует прежде всего причислить распорядителей цирка. И в самом деле, если принять в расчет предстоящее вечернее представление и ожидаемую на него публику, – метель легко могла повредить делу. Масленица бесспорно владеет таинственной силой пробуждать в душе человека чувство долга к употреблению блинов, услаждению себя увеселениями и зрелищами всякого рода; но, с другой стороны, известно также из опыта, что чувство долга может иногда пасовать и слабнуть от причин, несравненно менее достойных, чем перемена погоды. Как бы там ни было, метель колебала успех вечернего представления; рождались даже некоторые опасения, что если погода к восьми часам не улучшится, – касса цирка существенно пострадает.

Так или почти так рассуждал режиссер цирка, провожая глазами публику, теснившуюся у выхода. Когда двери на площадь были заперты, он направился через залу к конюшням.

В зале цирка успели уже потушить газ. Проходя между барьером и первым рядом кресел, режиссер мог различить сквозь мрак только арену цирка, обозначавшуюся круглым мутно-желтоватым пятном; остальное все: опустевшие ряды кресел, амфитеатр, верхние галереи – уходило в темноту, местами неопределенно чернея, местами пропадая в туманной мгле, крепко пропитанной кисло-сладким запахом конюш-

ни, аммиака, сырого песку и опилок. Под куполом воздух так уже сгущался, что трудно было различать очертание верхних окон; затемненные снаружи пасмурным небом, залепленные наполовину снегом, они проглядывали вовнутрь, как сквозь кисель, сообщая настолько свету, чтобы нижней части цирка придать еще больше сумрака. Во всем этом обширном темном пространстве свет резко проходил только золотистой продольной полоской между половинками драпировки, ниспадавшей под оркестром; он лучом врезывался в тучный воздух, пропадал и снова появлялся на противоположном конце у выхода, играя на позолоте и малиновом бархате средней ложи.

За драпировкой, пропускавшей свет, раздавались голоса, слышался лошадиный топот; к ним время от времени присоединялся нетерпеливый лай ученых собак, которых запирали, как только оканчивалось представление. Там теперь сосредоточивалась жизнь шумного персонала, одушевлявшего полчаса тому назад арену цирка во время утреннего представления. Там только горел теперь газ, освещающая кирпичные стены, наскоро забеленные известью. У основания их, вдоль закругленных коридоров, громоздились сложенные декорации, расписные барьеры и табуреты, лестницы, носилки с тюфяками и коврами, свертки цветных флагов; при свете газа четко обрисовывались висевшие на стенах обручи, перевитые яркими бумажными цветами или заклеенные тонкой китайской бумагой; подле сверкал длинный золоченый шест

и выделялась голубая, шитая блестками, занавеска, украшавшая подпорку во время танцевания на канате. Словом, тут находились все те предметы и приспособления, которые мгновенно переносят воображение к людям, перелетающим в пространстве, женщинам, усиленно прыгающим в обруч, с тем чтобы снова попасть ногами на спину скачущей лошади, детям, кувыркающимся в воздухе или висящим на одних носках под куполом.

Несмотря, однако ж, что все здесь напоминало частые и страшные случаи ушибов, перелома ребер и ног, падений, сопряженных со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела здесь на волоске и с нею играли, как с мячиком, – в этом светлом коридоре и расположенных в нем уборных встречались больше лица веселые, слышались по преимуществу шутки, хохот и посвистыванье.

Так и теперь было.

В главном проходе, соединявшем внутренний коридор с конюшнями, можно было видеть почти всех лиц труппы. Одни успели уже переменить костюм и стояли в мантильях, модных шляпках, пальто и пиджаках; другим удалось только смыть румяна и белила и наскоро набросить пальто, из-под которого выглядывали ноги, обтянутые в цветное трико и обутые в башмаки, шитые блестками; третьи не торопились и красовались в полном костюме, как были во время представления.

Между последними особенное внимание обращал на себя

небольшого роста человек, обтянутый от груди до ног в полосатое трико с двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спине. По лицу его, густо замазанному белилами, с бровями, перпендикулярно выведенными поперек лба, и красными кружками на щеках, невозможно было бы сказать, сколько ему лет, если бы он не снял с себя парика, как только окончилось представление, и не обнаружил этим широкой лысины, проходившей через всю голову.

Он заметно обходил товарищей, не вмешивался в их разговоры. Он не замечал, как многие из них подталкивали друг друга локтем и шутливо подмигивали, когда он проходил мимо.

При виде вошедшего режиссера он попятился, быстро отвернулся и сделал несколько шагов к уборным; но режиссер поспешил остановить его.

– Эдвардс, погодите минутку; успеете еще раздеться! – сказал режиссер, внимательно поглядывая на клоуна, который остановился, но, по-видимому, неохотно это сделал. – Подождите, прошу вас; мне надо только переговорить с фрау Браун... Где мадам Браун? Позовите ее сюда... А, фрау Браун! – воскликнул режиссер, обратясь к маленькой хромой, уже немолодой женщине, в салопе, также немолодых лет, и шляпке, еще старше салопы.

Фрау Браун подошла не одна: ее сопровождала девочка лет пятнадцати, худенькая, с тонкими чертами лица и прекрасными выразительными глазами.

Она также была бедно одета.

– Фрау Браун, – торопливо заговорил режиссер, бросая снова испытующий взгляд на клоуна Эдвардса, – господин директор недоволен сегодня вами – или, все равно, вашей дочерью; – очень недоволен!.. Ваша дочь сегодня три раза упала и третий раз так неловко, что перепугала публику!

– Я сама испугалась, – тихим голосом произнесла фрау Браун, – мне показалось, Мальхен упала на бок...

– А, па-па-ли-па! Надо больше репетировать, вот что! Дело в том, что так невозможно; получая за вашу дочь сто двадцать рублей в месяц жалованья...

– Но, господин режиссер, бог свидетель, во всем виновата лошадь; она постоянно сбивается с такта; когда Мальхен прыгнула в обруч, – лошадь опять переменяла ногу и Мальхен упала... вот все видели, все то же скажут...

Все видели – это правда; но все молчали. Молчала также виновница этого объяснения; она ловила случай, когда режиссер не смотрел на нее, и робко на него поглядывала.

– Дело известное, всегда в таких случаях лошадь виновата, – сказал режиссер. – Ваша дочь будет, однако ж, на ней ездить сегодня вечером.

– Но она вечером не работает...

– Будет работать, сударыня! Должна работать!.. – раздраженно проговорил режиссер. – Вас нет в расписании – это правда, – подхватил он, указывая на писанный лист бумаги, привешенный к стене над доскою, усыпанной мелом и слу-

жащей артистам для обтирания подошв перед выходом на арену, – но это все равно; жонглер Линд внезапно захворал, ваша дочь займет его номер.

– Я думала дать ей отдохнуть сегодня вечером, – проговорила фрау Браун, окончательно понижая голос, – теперь Масленица: играют по два раза в день; девочка очень устала...

– На это есть первая неделя поста, сударыня; и, наконец, в контракте ясно, кажется, сказано: «артисты обязаны играть ежедневно и заменять друг друга в случае болезни»... Кажется, ясно; и, наконец, фрау Браун, получая за вашу дочь ежемесячно сто двадцать рублей, стыдно, кажется, говорить об этом, – именно стыдно!..

Отрезав таким образом, режиссер повернулся к ней спиной. Но прежде чем подойти к Эдвардсу, он снова обвел его испытующим взглядом.

Притупленный вид и вообще вся фигура клоуна, с его бабочками на спине и на груди, не предвещали на опытный глаз ничего хорошего; они ясно указывали режиссеру, что Эдвардс вступил в период тоски, после чего он вдруг начал пить мертвую; и тогда уже прощай все расчеты на клоуна – расчеты самые основательные, если принять во внимание, что Эдвардс был в труппе первым сюжетом, первым любимцем публики, первым потешником, изобретавшим чуть ли не каждое представление что-нибудь новое, заставлявшее зрителей смеяться до упаду и хлопать до неистовства. Сло-

вом, он был душою цирка, главным его украшением, главной приманкой.

Боже мой, что мог бы сказать Эдвардс в ответ товарищам, часто хваставшим перед ним тем, что их знала публика и что они бывали в столицах Европы! Не было цирка в любом большом городе от Парижа до Константинополя, от Копенгагена до Палермо, где бы не хлопали Эдвардсу, где бы не печатали на афишах его изображение в костюме с бабочками! Он один мог заменять целую труппу: был отличным наездником, эквилибристом, гимнастом, жонглером, мастером дрессировать ученых лошадей, собак, обезьян, голубей, – а как клоун, как потешник – не знал себе соперника. Но припадки тоски в связи с запоем преследовали его повсюду.

Все тогда пропадало. Он всегда предчувствовал приближение болезни; тоска, овладевавшая им, была ничего больше, как внутреннее сознание бесполезности борьбы; он делался угрюмым, несообщительным. Гибкий, как сталь, человек превращался в тряпку, чему втайне радовались его завистники и что пробуждало сострадание между теми из главных артистов, которые признавали его авторитет и любили его; последних, надо сказать, было немного. Самолюбие большинства было всегда более или менее задето обращением Эдвардса, никогда не соблюдавшего степеней и отличий: первый ли сюжет, являвшийся в труппу с известным именем, простой ли смертный темного происхождения, – для него было безразлично. Он явно даже предпочитал последних.

Когда он был здоров, его постоянно можно было видеть с каким-нибудь ребенком из труппы; за неимением такого, он возился с собакой, обезьяной, птицей и т. д.; привязанность его рождалась всегда как-то вдруг, но чрезвычайно сильно. Он всегда отдавался ей тем упорнее, чем делался молчаливее с товарищами, начинал избегать с ними встреч и становился все более и более сумрачным.

В этот первый период болезни управление цирка могло еще на него рассчитывать. Представления не успевали еще утрачивать над ним своего действия. Выходя из уборной в трико с бабочками, в рыжем парике, набеленный и нарумяненный, с перпендикулярно наведенными бровями, он, видимо, еще бодрился, присоединяясь к товарищам и приготавливаясь к выходу на арену.

Прислушиваясь к первым взрывам аплодисментов, крикам «браво!», звукам оркестра, – он постепенно как бы оживал, воодушевлялся, и стоило режиссеру крикнуть: «Клоуны, вперед!..» – он стремительно вылетал на арену, опережая товарищей; и уже с этой минуты, посреди взрывов хохота и восторженных «браво!» неумолкаемо раздавались его плаксивые возгласы, и быстро, до ослепления, кувыркалось его тело, сливаясь при свете газа в одно круговое непрерывное сверкание...

Но кончалось представление, тушили газ – и все как рукой сымало! Без костюма, без белил и румян Эдвардс представлялся только скучающим человеком, старательно избегав-

шим разговоров и столкновений. Так продолжалось несколько дней, после чего наступала самая болезнь; тогда ничего уже не помогало: он все тогда забывал; забывал свои привязанности, забывал самый цирк, который, с его освещенной ареной и хлопающей публикой, заключал в себе все интересы его жизни. Он исчезал даже совсем из цирка; все пропивалось, пропивалось накопленное жалованье, пропивалось не только трико с бабочками, но даже парик и башмаки, шитые блестками.

Понятно теперь, отчего режиссер, следивший еще с начала Масленицы за возрастающим унынием клоуна, поглядывал на него с таким беспокойством. Подойдя к нему и бережно взяв его под руку, он отвел его в сторону.

– Эдвардс, – произнес он, понижая голос и совершенно дружественным тоном, – сегодня у нас пятница; остались суббота и воскресенье – всего два дня! Что стоит переждать, а?.. Прошу вас об этом; директор также просит... Подумайте, наконец, о публике! Вы знаете, как она вас любит!! Два дня всего! – прибавил он, схватывая его руку и принимаясь раскачивать ее из стороны в сторону. – Кстати, вы что-то хотели сказать мне о гуттаперчевом мальчике, – подхватил он, очевидно, более с целью развлечь Эдвардса, так как ему было известно, что клоун в последнее время выражал особенную заботливость к мальчику, что служило также знаком приближавшейся болезни, – вы говорили, он стал как будто слабее работать. Мудреного нет: мальчик в руках такого

болвана, такого олуха, который может только его испортить! Что же с ним?

Эдвардс, не говоря ни слова, тронул себя ладонью по крестцу, потом похлопал по груди.

– И там и здесь нехорошо у мальчика, – сказал он, отводя глаза в сторону.

– Нам невозможно, однако ж, от него теперь отказаться; он на афишке; нечем заменить до воскресенья; два дня пускай еще поработает; там может отдохнуть, – сказал режиссер.

– Может также не выдержать, – глухо возразил клоун.

– Вы бы только выдержали, Эдвардс! Вы бы только нас не оставили! – живо и даже с нежностью в голосе подхватил режиссер, принимаясь снова раскачивать руку Эдвардса.

Но клоун ответил сухим пожатием, отвернулся и медленно пошел раздеваться.

Он остановился, однако ж, проходя мимо уборной гуттаперчевого мальчика, или, вернее, уборной акробата Беккера, так как мальчик был только его воспитанником. Отворив дверь, Эдвардс вошел к крошечную низкую комнату, расположенную под первой галереей для зрителей; нестерпимо было в ней от духоты и жары; к конюшенному воздуху, разогретому газом, присоединялся запах табачного дыма, помады и пива; с одной стороны красовалось зеркальце в деревянной раме, обсыпанной пудрой; подле, на стене, оклеенной обоями, лопнувшими по всем щелям, висело трико,

имевшее вид содранной человеческой кожи; дальше, на деревянном гвозде, торчала остроконечная войлоковая шапка с павлиньим пером на боку; несколько цветных камзолов, шитых блестками, и часть мужской обыденной одежды громоздились в углу на столе. Мебель дополнялась еще столом и двумя деревянными стульями. На одном сидел Беккер – совершенное подобие Голиафа. Физическая сила сказывалась в каждом его мускуле, толстой перевязке костей, коротенькой шее с надутыми венами, маленькой круглой голове, завитой вкрутую и густо намаженной. Он казался не столько отлитым в форму, сколько вырубленным из грубого материала и притом грубым инструментом; хотя ему было на вид лет под сорок, – он казался тяжеловесным и неповоротливым, – обстоятельство, несколько не мешавшее ему считать себя первым красавцем в труппе и думать, что при появлении его на арене в трико телесного цвета он приводит в сокрушение женские сердца. Беккер снял уже костюм, но был еще в рубашке и, сидя на стуле, прохлаждал себя кружкой пива.

На другом стуле помещался тоже завитой, но совершенно голый белокурый и худощавый мальчик лет восьми. Он не успел еще остыть после представления; на тоненьких его членах и впадине посреди груди местами виднелся еще лоск от испарины; голубая ленточка, перевязывавшая ему лоб и державшая его волосы, была совершенно мокрая; большие влажные пятна пота покрывали трико, лежавшее у него на

коленях. Мальчик сидел неподвижно, робко, точно наказанный или ожидающий наказания.

Он поднял глаза тогда только, как Эдвардс вошел в уборную.

– Чего надо? – неприветливо произнес Беккер, поглядывая не то сердито, не то насмешливо на клоуна.

– Полно, Карл, – возразил Эдвардс задабривающим голосом, и видно было, что требовалось на это с его стороны некоторое усилие, – ты лучше вот что: дай-ка мне до семи часов мальчика; я бы погулял с ним до представления... Повел бы его на площадь поглядеть на балаганы...

Лицо мальчика заметно оживилось, но он не смел этого явно выказать.

– Не надо, – сказал Беккер, – не пуцу; он сегодня худо работал.

В глазах мальчика блеснули слезы, взглянув украдкой на Беккера, он поспешил раскрыть их, употребляя все свои силы, чтобы тот ничего не приметил.

– Он вечером лучше будет работать, – продолжал задобривать Эдвардс. – Послушай-ка, вот что я скажу: пока мальчик будет простывать и одеваться, я велю принести из буфета пива...

– И без того есть! – грубо перебил Беккер.

– Ну, как хочешь; а только мальчику было бы веселее; при нашей работе скучать не годится; сам знаешь: веселость придает силу и бодрость...

– Это уж мое дело! – отрезал Беккер, очевидно, бывший не в духе.

Эдвардс больше не возражал. Он взглянул еще раз на мальчика, продолжавшего делать усилия, чтобы не заплакать, покачал головою и вышел из уборной.

Карл Беккер допил остаток пива и приказал мальчику одеваться. Когда оба были готовы, акробат взял со стола хлыст, свистнул им по воздуху, крикнул: «Марш!» и, пропустив вперед воспитанника, зашагал по коридору.

Глядя, как они выходили на улицу, воображению невольно представлялся тщедушный, неоперившийся цыпленок, сопровождаемый огромным откормленным боровом...

Минуту спустя цирк совсем опустел; оставались только конюхи, начинавшие чистить лошадей для вечернего представления.

II

Воспитанник акробата Беккера назывался «гуттаперчевым мальчиком» только в афишках; настоящее имя его было Петя; всего вернее, впрочем, было бы назвать его несчастным мальчиком.

История его очень коротка; да и где ж ей быть длинной и сложной, когда ему минул всего восьмой год!

Лишившись матери на пятом году возраста, он хорошо, однако ж, ее помнил. Как теперь видел бы перед собою тощую женщину со светлыми, жиденькими и всегда растрепанными волосами, которая то ласкала его, наполняя ему рот всем, что подвертывалось под руку: луком, куском пирога, селедкой, хлебом, – то вдруг, ни с того ни с сего, накидывалась, начинала кричать и в то же время принималась шлепать его чем ни попало и куда ни попало. Петя тем не менее часто вспоминал мать.

Он, конечно, не знал подробностей домашней обстановки. Не знал он, что мама его была ни больше ни меньше, как крайне взбалмошная, хотя и добрая чухонка, переходившая из дома в дом в качестве кухарки и отовсюду гонимая, отчасти за излишнюю слабость сердца и постоянные романтические приключения, отчасти за неряшливое обращение с посудой, бившейся у нее в руках как бы по собственному капризу.

Раз как-то удалось ей попасть на хорошее место: она и тут не выдержала. Не прошло двух недель, она неожиданно объявила, что выходит замуж за временно-отпускного солдата. Никакие увещания не могли поколебать ее решимости. Чухонцы, говорят, вообще упрямы. Но не меньшим упрямством отличался, должно быть, также и жених, – даром что был из русских. Побуждения с его стороны были, впрочем, гораздо основательнее. Состоя швейцаром при большом доме, он мог уже считать себя некоторым образом человеком оседлым, определенным. Помещение под лестницей не отличалось, правда, большим удобством: потолок срезывался углом, так что под возвышенной его частью с трудом мог выпрямиться человек рослый; но люди живут и не в такой тесноте; наконец, квартира даровая, нельзя быть взыскательным.

Размышляя таким образом, швейцар все еще как бы не решался, пока не удалось ему случайно купить за очень дешевую цену самовар на Апраксином дворе. Колебания его при этом начали устанавливаться на более твердую почву. Возиться с самоваром действительно было как-то не мужским делом; машина, очевидно, требовала другого двигателя: хозяйка как бы сама собою напрашивалась.

Анна (так звали кухарку) имела в глазах швейцара то особенное преимущество, что, во-первых, была ему уже несколько знакома; во-вторых, живя по соседству, через дом, – она в значительной степени облегчала переговоры и

сокращала, следовательно, время, дорогое каждому служащему.

Предложение было сделано, радостно принято, свадьба сыграна, и Анна переселилась к мужу под лестницу.

Первых два месяца жилось припеваючи. Самовар кипел с утра до вечера, и пар, проходя под косяком двери, клубами валил к потолку. Потом стало как-то ни то ни се; наконец дело совсем испортилось, когда наступило время родов и затем – хочешь не хочешь – пришлось справлять крестины. Швейцару как бы в первый раз пришла мысль, что он поторопился несколько, связав себя брачными узами. Быв человеком откровенным, он прямо высказывал свои чувства. Пошли попреки, брань, завязались ссоры. Кончилось тем, что швейцару отказали от места, ссылаясь на постоянный шум под лестницей и крики новорожденного, беспокоившие жильцов.

Последнее, без сомнения, было несправедливо. Новорожденный явился на свет таким тщедушным, таким изнуренным, что мало даже подавал надежд прожить до следующего дня: если б не соотечественница Анны, прачка Варвара, которая, как только родился ребенок, поспешила поднять его на руки и трясла его до тех пор, пока он не крикнул и не заплакал, – новорожденный действительно мог бы оправдать предсказанье. К этому надо прибавить, что воздух под лестницей не имел в самом деле настолько целебных свойств, чтобы в один день восстановить силы ребенка и развить его легкие до такой уже степени, что крик его мог кого-нибудь

обеспокоить. Вернее всего, дело заключалось в желании удалить беспокойных родителей.

Месяц спустя швейцара потребовали в казармы; в тот же вечер всем стало известно, что его вместе с полком отправляют в поход.

Перед разлукой супруги снова сблизились; на проводах много было пролито слез и еще больше пива.

Но ушел муж, – и снова начались мытарства по отысканию места. Теперь только труднее было: с ребенком Анну никто почти не хотел брать. Так с горем пополам протянулся год.

Анну вызвали однажды в казармы, объявили, что муж убит, и выдали ей вдовый паспорт.

Обстоятельства ее, как каждый легко себе представит, несколько от этого не улучшились. Выпадали дни, когда не на что было купить селедки и куска хлеба для себя и для мальчика; если б не добрые люди, совавшие иногда ломоть или картошку, мальчик наверное бы зачах и преждевременно умер от истощения. Судьба наконец сжалилась над Анной. Благодаря участию соотечественницы Варвары она поступила прачкой к хозяевам пробочной фабрики, помещавшейся на Черной речке.

Здесь действительно можно было вздохнуть свободнее. Здесь мальчик никому не мешал; он мог всюду следовать за матерью и цепляться за ее подол, сколько было душе угодно.

Особенно хорошо было летом, когда под вечер деятельность фабрики останавливалась, шум умолкал, рабочий люд

расходился, оставались только женщины, служившие у хозяев. Утомленные работой и дневным жаром, женщины спускались на плот, усаживались по скамейкам, и начиналась на досуге нескончаемая болтовня, приправляемая прибаутками и смехом.

В увлечении беседы редкая из присутствующих замечала, как прибрежные ветлы постепенно окутывались тенью и в то же время все ярче и ярче разгорался закат; как неожиданно вырывался из-за угла соседней дачи косой луч солнца; как внезапно охваченные им макушки ветел и края заборов отражались вместе с облаком в уснувшей воде и как, одновременно с этим, над водою и в теплом воздухе появлялись беспокойно движущиеся сверху вниз полчища комаров, обещавшие такую же хорошую погоду и на завтрашний день.

Время это было, бесспорно, лучшим в жизни мальчика – тогда еще не гуттаперчевого, но обыкновенного, какими бывают все мальчики. Сколько раз потом рассказывал он об Черной речке клоуну Эдвардсу. Но Петя говорил скоро и с увлечением; Эдвардс едва понимал по-русски; отсюда выходил всегда целый ряд недоразумений. Думая, что мальчик рассказывает ему о каком-то волшебном сне, и не зная, что отвечать ему, – Эдвардс ограничивался тем обыкновенно, что ласково проводил ему ладонью по волосам снизу вверх и добродушно посмеивался.

Итак, Анне жилось изрядно; но прошел год, другой, и вдруг, совершенно опять неожиданно, объявила она, что вы-

ходит замуж. «Как? Что? За кого?..» – послышалось с разных сторон. На этот раз жених оказался подмастерьем из портных. Каким образом, где сделано было знакомство, – никто не знал. Все окончательно только ахнули, увидев жениха – человека ростом с наперсток, съезженного, с лицом желтым, как испеченная луковица, притом еще прихрамывающего на левую ногу, – ну, словом, как говорится, совершенного михрютку.

Никто решительно ничего не понимал. Всех меньше, конечно, мог понять Петя. Он горько плакал, когда его уводили с Черной речки, и еще громче зарыдал на свадьбе матери, когда в конце пирушки один из гостей ухватил вотчима за галстук и начал душить его, между тем как мать с криком бросилась разнимать их.

Не прошло нескольких дней, и наступила уже очередь Анны пожалеть о торопливости связать себя брачными узами. Но дело было сделано; каяться было поздно. Портной проводил день в мастерской; к вечеру только возвращался он в свою каморку, сопровождаемый всегда приятелями, в числе которых лучшим другом был тот, который собирался задушить его на свадьбе. Каждый приносил поочередно водки, и начиналась попойка, оканчивавшаяся обыкновенно свалкой. Тут доставалось всегда Анне, попадало также мимоходом на долю мальчика. Сущая была каторга! Худшим для Анны было то, что муж почему-то невзлюбил Петю; он косил на него с первого дня; при каждом случае он изловчался зацепить

его и, как только напивался, грозил утопить его в проруби.

Так как портной пропал по нескольку дней сряду, деньги все пропивались и не на что было купить хлеба, Анна, для прокормления себя и ребенка, ходила на поденную работу. На это время поручала она мальчика старушке, жившей в одном с нею доме; летом старуха продавала яблоки, зимою торговала на Сенной вареным картофелем, тщательно прикрывая чугунный горшок тряпкой и усаживаясь на нем с большим удобством, когда на дворе было слишком холодно. Она всюду таскала Петю, который полюбил ее и называл бабушкой.

По прошествии нескольких месяцев муж Анны совсем пропал; одни говорили – видели его в Кронштадте; другие уверяли, что он тайно обменял паспорт и переселился на жительство в Шлиссельбург, или «Шлюшино», как чаще выражались.

Вместо того, чтобы свободнее вздохнуть, Анна окончательно тогда замоталась. Она сделалась какою-то шальной, лицо ее осунулось, в глазах явилось беспокойство, грудь впадала, сама она страшно исхудала; к жалкому ее виду надо еще то прибавить, что вся она обносилась; нечего было ни надевать, ни закладывать; ее покрывали одни лохмотья. Наконец, однажды и она вдруг исчезла. Случайно дознались, что полиция подняла ее на улице в обессиленном от голода состоянии. Ее свезли в больницу. Соотечественница ее, прачка Варвара, навестив ее раз, сообщила знакомым, что Анна пе-

рестала узнавать знакомых и не сегодня завтра отдаст богу душу.

Так и случилось.

В числе воспоминаний Пети остался также день похорон матери. В последнее время он мало с ней виделся и потому отвык несколько: он жалел ее, однако ж, и плакал, — хотя, надо сказать, больше плакал от холода. Было суровое январское утро; с низменного пасмурного неба сыпался мелкий сухой снег; подгоняемый порывами ветра, он колотил лицо, как иголками, и волнами убегал по мерзлой дороге.

Петя, следуя за гробом между бабушкой и прачкой Варварой, чувствовал, как нестерпимо щемят пальцы на руках и на ногах; ему, между прочим, и без того было трудно поспевать за спутницами; одежда на нем случайно была подобрана: случайны были сапоги, в которых ноги его болтались свободно, как в лодках; случайным был кафтанишко, которого нельзя было бы надеть, если б не подняли ему фалды и не приткнули их за пояс, случайной была шапка, выпрошенная у дворника; она поминутно сползала на глаза и мешала Пете видеть дорогу. Ознакомясь потом близко с усталостью ног и спины, он все-таки помнил, как уходился тогда, провозжая покойницу.

На обратном пути с кладбища бабушка и Варвара долго толковали о том, куда теперь деть мальчика. Он, конечно, солдатский сын, и надо сделать ему определение по закону, куда следует; но как это сделать? К кому надо обратиться?

Кто, наконец, станет бегать и хлопотать? На это могли утвердительно ответить только досужие и притом практические люди. Мальчик продолжал жить, треплясь по разным углам и старухам. И неизвестно, чем бы разрешилась судьба мальчика, если б снова не вступилась прачка Варвара.

III

Заглядывая к «бабушке» и встречая у нее мальчика, Варвара брала его иногда на несколько дней к себе.

Жила она на Моховой улице в подвальном этаже, на втором дворе большого дома. На том же дворе, только выше, помещалось несколько человек из труппы соседнего цирка; они занимали ряд комнат, соединявшихся темным боковым коридором. Варвара знала всех очень хорошо, так как постоянно стирала у них белье. Поднимаясь к ним, она часто таскала с собою Петю. Всем была известна его история; все знали, что он круглый сирота, без роду и племени. В разговорах Варвара не раз выражала мысль, что вот бы хорошо было, кабы кто-нибудь из господ сжалился и взял сироту в обучение. Никто, однако, не решался; всем, по-видимому, довольно было своих забот. Одно только лицо не говорило ни да ни нет. По временам лицо это пристально даже посматривало на мальчика. Это был акробат Беккер.

Надо полагать, между ним и Варварой велись одновременно какие-нибудь тайные и более ясные переговоры по этому предмету, потому что однажды, подкараулив, когда все господа ушли на репетицию и в квартире оставался только Беккер, Варвара спешно повела Петю наверх и прямо вошла с ним в комнату акробата.

Беккер точно поджидал кого-то. Он сидел на стуле, поку-

ривая из фарфоровой трубки с выгнутым чубуком, увешанным кисточками; на голове его красовалась плоская, шитая бисером шапочка, сдвинутая набок; на столе перед ним стояли три бутылки пива – две пустые, одна только что начатая.

Раздутое лицо акробата и его шея, толстая, как у быка, были красны; самоуверенный вид и осанка не оставляли сомнения, что Беккер даже здесь, у себя дома, был весь исполнен сознанием своей красоты. Товарищи, очевидно, трунили над ним только из зависти!

По привычке охорашиваться перед публикой, он принял позу даже при виде прачки.

– Ну вот, Карл Богданович... вот мальчик!.. – проговорила Варвара, выдвигая вперед Петю.

Надо заметить, весь разговор происходил на странном каком-то языке. Варвара коверкала слова, произнося их на чухонский лад; Беккер скорее мычал, чем говорил, отыскивая русские слова, выходявшие у него не то немецкими, не то совершенно неизвестного происхождения.

Тем не менее они понимали друг друга.

– Хорошо, – произнес акробат, – но я так не можно; надо раздевать малшик...

Петя до сих пор стоял неподвижно, робко поглядывая на Беккера; с последним словом он откинулся назад и крепко ухватился за юбку прачки. Но когда Беккер повторил свое требование и Варвара, повернув мальчика к себе лицом, принялась раздевать его, Петя судорожно ухватился за нее

руками, начал кричать и биться, как цыпленок под ножом повара.

– Чего ты? Экой, право, глупенькой! Чего испугался?.. Раздешься, батюшка, раздешься... Ничего... Смотри ты, глупый какой! – повторяла прачка, стараясь раскрыть пальцы мальчика и в то же время спешно расстегивая пуговицы на его панталонах.

Но мальчик решительно не давался: объятый почему-то страхом, он вертелся, как выюн, корчился, тянулся к полу, наполняя всю квартиру криками.

Карл Богданович потерял терпенье. Положив на стол трубку, он подошел к мальчику и, не обращая внимания на то, что тот стал еще сильнее барахтаться, быстро обхватил его руками. Петя не успел очнуться, как уже почувствовал себя крепко сжатым между толстыми коленами акробата. Последний в один миг снял с него рубашку и панталоны; после этого он поднял его, как соломинку, и, уложив голого поперек колен, принялся ощупывать ему грудь и бока, нажимая большим пальцем на те места, которые казались ему не сразу удовлетворительными, и посылая шлепок всякий раз, как мальчик корчился, мешая ему продолжать операцию.

Прачке было жаль Пети; Карл Богданович очень уж что-то сильно нажимал и тискал; но, с другой стороны, она боялась вступить, так как сама привела мальчика и акробат обещал взять его на воспитанье в случае, когда он окажется пригодным. Стоя перед мальчиком, она торопливо утирала

ему слезы, уговаривая не бояться, убеждая, что Карл Богданович ничего худого не сделает, – только посмотрит!..

Но когда акробат неожиданно поставил мальчика на колена, повернул его к себе спиной и начал выгибать ему назад плечи, снова надавливая пальцами между лопатками, когда голая худенькая грудь ребенка вдруг выпучилась ребром вперед, голова его опрокинулась назад и весь он как бы замер от боли и ужаса, – Варвара не могла уже выдержать; она бросилась отнимать его. Прежде, однако ж, чем успела она это сделать, Беккер передал ей Петю, который тотчас же очнулся и только продолжал дрожать, захлебываясь от слез.

– Полно, батюшка, полно! Видишь, ничего с тобою не сделали!.. Карл Богданович хотел только поглядеть тебя... – повторяла прачка, стараясь всячески обласкать ребенка.

Она взглянула украдкой на Беккера; тот кивнул головою и налил новый стакан пива.

Два дня спустя прачке надо уже было пустить в дело хитрость, когда пришлось окончательно передавать мальчика Беккеру. Тут не подействовали ни новые ситцевые рубашки, купленные Варварой на собственные деньги, ни мятлые пряники, не убеждения, ни ласки. Петя боялся кричать, так как передача происходила в знакомой нам комнате; он крепко припадал заплаканным лицом к подолу прачки и отчаянно, как потерянный, цеплялся за ее руки каждый раз, когда она делала шаг к дверям, с тем чтобы оставить его одного с Карлом Богдановичем.

Наконец все это надоело акробату. Он ухватил мальчика за ворот, оторвал его от юбки Варвары и, как только дверь за нею захлопнулась, поставил его перед собою и велел ему смотреть себе прямо в глаза.

Петя продолжал трястись, как в лихорадке; черты его худенького, болезненного лица как-то съеживались; в них проступало что-то жалобное, хилое, как у старичка.

Беккер взял его за подбородок, повернул к себе лицом и повторил приказание.

– Ну, малшик, слуш, – сказал он, грозя указательным пальцем перед носом Пети, – когда ты хочу там... (он указал на дверь), – то будет тут!! (он указал несколько ниже спины), – und fest! und fest!!.³⁷ – добавил он, выпуская его из рук и допивая оставшееся пиво.

В то же утро он повел его в цирк. Там все суетилось и торопливо укладывалось.

На другой день труппа со всем своим багажом, людьми и лошадьми перекочевывала на летний сезон в Ригу.

В первую минуту новость и разнообразие впечатлений скорее пугали Петю, чем пробуждали в нем любопытство. Он забился в угол и, как дикий зверек, глядел оттуда, как мимо него бегали, перетаскивая неведомые ему предметы. Кое-кому бросилась в глаза белокурая головка незнакомого мальчика, но до того ли было! И все проходили мимо.

Последнее это обстоятельство несколько ободрило Петю;

³⁷ И крепко! и крепко!! (нем.).

наметив глазами тот или другой угол, он уловлял минуту, когда подле никого не было, и скоро-скоро перебежал к намеченному месту.

Так постепенно достиг он конюшен. Батюшки, сколько было там лошадей. Спины их, лоснясь при свете газа, вытягивались рядами, терявшимися в сгущенной мгле, наполнявшей глубину конюшенных сводов; Петю особенно поразил вид нескольких лошадок, таких же почти маленьких, как он сам.

Все эти впечатления были так сильны, что ночью он несколько раз вскрикивал и просыпался: но, не слыша подле себя ничего, кроме густого храпенья своего хозяина, — он снова засыпал.

В течение десяти дней, как труппа переезжала в Ригу, Петя был предоставлен самому себе. В вагоне его окружали теперь не совсем уже чужие люди; ко многим из них он успел присмотреться; многие были веселы, шутили, пели песни и не внушали ему страха. Нашлись даже такие, как клоун Эдвардс, который мимоходом всегда трепал его по щеке; раз даже одна из женщин дала ему ломтик апельсина. Словом, он начал понемногу привыкать, и было бы ему даже хорошо, если б взял его к себе кто-нибудь другой, только не Карл Богданович. К нему никак он не мог привыкнуть; при нем Петя мгновенно умолкал, весь как-то съеживался и думал о том только, как бы не заплакать...

Особенно тяжело стало ему, когда началось ученье. После

первых опытов Беккер убедился, что не ошибся в мальчике; Петя был легок как пух и гибок в суставах; недоставало, конечно, силы в мускулах, чтобы управлять этими природными качествами; но беды в этом еще не было. Беккер не сомневался, что сила приобретется от упражнений. Он мог отчасти даже теперь убедиться в этом на питомце. Месяц спустя после того, как он каждое утро и вечер, посадив мальчика на пол, заставлял его пригибаться головою к ногам, Петя мог исполнять такой маневр уже сам по себе, без помощи наставника. Несравненно труднее было ему перегибаться назад и касаться пятками затылка: мало-помалу он, однако ж, и к этому стал привыкать. Он ловко также начинал прыгать с разбегу через стул; но только, когда после прыжка Беккер требовал, чтобы воспитанник, перескочив на другую сторону стула, падал не на ноги, а на руки, оставляя ноги в воздухе, последнее редко удавалось; Петя летел кувырком, падал на лицо или на голову, рискуя свихнуть себе шею.

Неудача или ушиб составляли, впрочем, половину горя; другая половина, более веская, заключалась в тузах, которыми всякий раз наделял его Беккер, забывавший, что упражнениями такого рода он скорее мог содействовать к развитию собственных мускулов, которые и без того были у него в надежном порядке.

Мускулы мальчика оставались по-прежнему тощими. Они, очевидно, требовали усиленного подкрепления.

В комнату, занимаемую Беккером, принесена была двой-

ная раздвижная лестница; поперек ее перекладин, на некоторой высоте от пола, укладывалась горизонтально палка. По команде Беккера Петя должен был с разбегу ухватиться руками за палку и затем оставаться таким образом на весу, сначала пять минут, потом десять, – и так каждый день по несколько приемов. Разнообразие состояло в том, что иногда приходилось просто держать себя на весу, а иногда, придерживаясь руками к палке, следовало опрокидываться назад всем туловищем и пропускать ноги между палкой и головою. Цель упражнения состояла в том, чтобы прицепиться концами носков к палке, неожиданно выпустить руки и оставаться висящим на одних носках. Трудность главным образом заключалась в том, чтобы в то время, как ноги были наверху, а голова внизу, лицо должно было сохранять самое приятное, смеющееся выражение; последнее делалось в видах хорошего впечатления на публику, которая ни под каким видом не должна была подозревать трудности при напряжении мускулов, боли в суставах плеч и судорожного сжимания в груди.

Достижение таких результатов сопровождалось часто таким раздражающим детским визгом, такими криками, что товарищи Беккера врываются в его комнату и отнимают из рук его мальчика.

Начиналась брань и ссора, после чего Пете приходилось иногда еще хуже. Иногда, впрочем, такое постороннее вмешательство оканчивалось более миролюбивым образом.

Так было, когда приходил клоун Эдвардс. Он обыкновен-

но улаживал дело закуской и пивом. В следовавшей затем товарищеской беседе Эдвардс старался всякий раз доказать, что метод обучения Беккера никуда не годится, что страхом и побоями ничего не возьмешь не только с детьми, но даже при обучении собак и обезьян; что страх внушает, несомненно, робость, а робость – первый враг гимнаста, потому что отымает у него уверенность и удаль; без них можно только вытянуть себе сухие жилы, сломать шею или перебить позвонки на спине.

В пример приводился часто акробат Ризлей, который так напугал собственных детей перед представлением, что, когда пришлось подбросить их ногами на воздух, – дети раза два перекувырнулись в пространстве, да тут же прямехонько и шлепнулись на пол.

– Бросились подымать, – подхватывал Эдвардс, делая выразительные жесты, – подняли, глядь: оба fertig! Готовы! у обоих дух вон! Дурак Ризлей потом застрелился с горя, – да что ж из этого? Детей своих все-таки не воскресил: fertig! fertig!..

И странное дело: каждый раз как Эдвардс, разгоряченный беседой и пивом, принимался тут же показывать, как надо делать ту или другую штуку, Петя исполнял упражнение с большей ловкостью и охотой.

В труппе все уже знали воспитанника Беккера. В последнее время он добыл ему из гардероба костюм клоуна и, набеливая ему лицо, нашлепывая румянами два клякса на ще-

ках, выводил его во время представления на арену; иногда, для пробы, Беккер неожиданно подымал ему ноги, заставляя его пробежать на руках по песку. Петя напрягал тогда все свои силы; но часто они изменяли ему; пробежав на руках некоторое пространство, он вдруг ослабевал в плечах и тыкался головою в песок, – чем пробуждал всегда веселый смех в зрителях.

Под руководством Эдвардса он сделал бы, без сомнения, больше успехов; в руках Беккера дальнейшее развитие очевидно замедлялось. Петя продолжал бояться своего наставника, как в первый день. К этому начинало примешиваться другое чувство, которого не мог он истолковать, но которое постепенно росло в нем, стесняло ему мысли и чувства, заставляя горько плакать по ночам, когда, лежа на тюфячке, прислушивался он к храпению акробата.

И ничего, ничего Беккер не делал, чтобы сколько-нибудь привязать к себе мальчика. Даже в тех случаях, когда мальчику удавалась какая-нибудь штука, Беккер никогда не обращался к нему с ласковым словом; он ограничивался тем, что снисходительно поглядывал на него с высоты своего громадного туловища.

Прожив с Петей несколько месяцев, он точно взял его накануне. Завиваясь тщательно каждый день у парикмахера цирка, Беккеру, по-видимому, все равно было, что из двух рубашек, подаренных мальчику прачкой Варварой, – оставались лохмотья, что белье на теле мальчика носилось иногда

без перемены по две недели, что шея его и уши были не вымыты, а сапожишки просили каши и черпали уличную грязь и воду. Товарищи акробата, и более других Эдвардс, часто укоряли его в том; в ответ Беккер нетерпеливо посвистывал и щелкал хлыстиком по панталонам.

Он не переставал учить Петю, продолжая наказывать каждый раз, как выходило что-нибудь неладно. Он хуже этого делал.

Раз, по возвращении труппы уже в Петербург, Эдвардс подарил Пете щенка. Мальчик был в восторге; он носился с подарком по конюшне и коридорам, всем его показывал и то и дело учащенно целовал его в мокрую розовую мордочку.

Беккер, раздосадованный во время представленья тем, что его публика не вызвала, возвращался во внутренний коридор; увидев щенка в руках Пети, он вырвал его и носком башмака бросил в сторону; щенок ударился головкой в соседнюю стену и тут же упал, вытянув лапки.

Петя зарыдал и бросился к Эдвардсу, выходявшему в эту минуту из уборной.

Беккер, раздраженный окончательно тем, что вокруг слышалась брань, одним движением оттолкнул Петю от Эдвардса и дал ему с размаху пощечину.

– Schwein! Швынья!.. Тьфу!.. – сказал Эдвардс, отплевываясь с негодованием.

Но что уж дальше рассказывать!

Несмотря на легкость и гибкость, Петя был, как мы ска-

зали выше, не столько гуттаперчевым, сколько несчастным мальчиком.

IV

Детские комнаты в доме графа Листомирова располагались на южную сторону и выходили в сад. Чудное было помещение! Каждый раз, как солнце было на небе, лучи его с утра до заката проходили в окна; в нижней только части окна завешивались голубыми тафтяными занавесками для предохранения детского зрения от излишнего света. С тою же целью по всем комнатам разостлан был ковер также голубого цвета и стены оклеены были не слишком светлыми обоями.

В одной из комнат вся нижняя часть стен была буквально заставлена игрушками; они группировались тем разнообразнее и живописнее, что у каждого из детей было свое особое отделение.

Пестрые английские раскрашенные тетрадки и книжки, кровати с куклами, картинки, комоды, маленькие кухни, фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушках обозначали владения девочек; столы с оловянными солдатами, картонная тройка серых коней, с глазами страшно выпученными, увешанная бубенчиками и запряженная в коляску, большой белый козел, казак верхом, барабан и медная труба, звуки которой приводили всегда в отчаяние англичанку мисс Бликс, – обозначали владения мужского пола. Комната эта так и называлась «игральной».

Рядом была учебная; дальше спальня, окна которой всегда

были закрыты занавесами, приподнимавшимися там только, где вертелась вентиляционная звезда, очищавшая воздух. Из нее, не подвергая себя резкой перемене воздуха, можно было прямо пройти в уборную, выстланную также ковром, но обшитую в нижней ее части клеенкой: с одной стороны находился большой умывальный мраморный стол, уставленный крупным английским фаянсом; дальше блистали белизной две ванны с медными кранами, изображавшими лебединые головки; подле возвышалась голландская печь с изразцовым шкапом, постоянно наполненным согревающимися полотенцами. Ближе, по клеенчатой стене, висел на тесемках целый ряд маленьких и крупных губок, которыми мисс Бликс каждое утро и вечер обмывала с головы до ног детей, наводя красноту на их нежное тело.

В среду, на Масленице, в игровой комнате было особенно весело. Ее наполняли восторженные детские крики. Мудреного нет; вот что было здесь между прочим сказано: «Детки, вы с самого начала Масленицы были послушны и милы; сегодня у нас среда, если вы будете так продолжать, вас в пятницу вечером возьмут в цирк!»

Слова эти были произнесены тетей Соней – сестрой графини Листомировой, девушкой лет тридцати пяти, сильной брюнеткой, с пробивающимися усиками, но прекрасными восточными глазами, необыкновенной доброты и мягкости; она постоянно носила черное платье, думая этим хоть сколько-нибудь скрыть полноту, начинавшую ей надоедать. Тетя

Соня жила у сестры и посвятила жизнь ее детям, которых любила всем запасом чувств, не имевших случая израсходо-ваться и накопившихся с избытком в ее сердце.

Не успела она проговорить свое обещанье, как дети, слушавшие сначала очень внимательно, бросились со всех ног осаждать ее; кто цеплялся за ее платье, кто усиливался влезть на ее колена, кто успел обхватить ее шею и осыпал лицо поцелуями; осада сопровождалась такими шумными ова-циями, такими криками радости, что мисс Бликс вошла в одну дверь, в другую вбежала молодая швейцарка, пригла-шенная в дом как учительница музыки для старшей дочери; за ними показалась кормилица, державшая новорожденного, укутанного в одеяло с ниспадавшими до полу кружевными обшивками.

– W-hat is going on here?..³⁸ – удивленно осведомилась мисс Бликс.

Она представляла из себя чопорную высокую даму с непо-мерно выдающеюся грудью, красными щеками, как бы зака-панными сургучом, и красною шейей свекловичного оттенка.

Тетя Соня объяснила вошедшим причину радости.

Раздались опять возгласы, опять крики, сопровождае-мые прыжками, пируэтами и другими более или менее вы-разительными изъявлениями радости. В этом порыве дет-ской веселости всех больше удивил Паф – пятилетний маль-чик, единственная мужская отрасль фамилии Листомиро-

³⁸ Что здесь происходит?.. (анг.).

вых; мальчик был всегда таким тяжелым и апатическим, но тут, под впечатлением рассказов и того, что его ожидало в цирке, – он вдруг бросился на четвереньки, поднял левую ногу и, страшно закручивая язык на щеку, поглядывая на присутствующих своими киргизскими глазками, принялся изображать клоуна.

– Мисс Бликс! – подымите его, подымите скорее, – ему кровь бросится в голову! – проговорила тетя Соня.

Новые крики, новое скаканье вокруг Пафа, который ни за что не хотел вставать и упорно подымал то одну ногу, то другую.

– Дети, дети... довольно! Вы, кажется, не хотите больше быть умными... Не хотите слушать, – говорила тетя Соня, досадовавшая главным образом за то, что не умела сердиться. Ну, не могла она этого сделать, – не могла решительно!

Она обожала «своих детей», как сама выражалась. Действительно, надо сказать, дети были очень милы.

Старшей девочке, Верочке, было уже восемь лет; за нею шла шестилетняя Зина, мальчику было, как сказано, пять. Его окрестили Павлом; но мальчик получал одно за другим различные прозвища: Бёби, Пузырь, Бутуз, Булка и, наконец, Паф – имя, которое так и осталось. Мальчик был пухлый, коротенький, с рыхлым белым телом, как сметана, крайне флегматического, невозмутимого нрава, с шарообразною головою и круглым лицом, на котором единственную заметную чертою были маленькие киргизские глазки, раскрывав-

шиеся вполне, когда подавалось кушанье или говорилось о еде. Глазки, смотревшие вообще сонливо, проявляли также оживление и беспокойство по утрам и вечером, когда мисс Бликс брала Пафа за руку, уводила его в уборную, раздевала его донага и, поставив на клеенку, принималась энергичски его мыть огромной губкой, обильно напитанной водою; когда мисс Бликс при окончании такой операции, возлагала губку на голову мальчика и, крепко нажав губку, пускала струи воды по телу, превращавшемуся тотчас же из белого в розовое, – глазки Пафа не только суживались, но пропускали потоки слез и вместе с тем раздавался из груди его тоненький-тоненький писк, не имевший ничего раздраженного, но походивший скорее на писк кукол, которых заставляют кричать, нажимая им живот. Этим невинным писком, впрочем, все и оканчивалось. С исчезновением губки Паф умолкал мгновенно, и уже потом мисс Бликс могла обтирать его сколько угодно согретым шершавым полотенцем, могла завертывать ему голову, могла мять и тереть его, – Паф выказывал так же мало сопротивления, как кусок сдобного теста в руках пекаря. Он часто даже засыпал между теплыми шершавыми полотенцами, прежде чем мисс Бликс успевала уложить его в постель, обтянутую вокруг сеткой и завешенную кисейным пологом с голубым бантом на маковке.

Нельзя сказать, чтобы мальчик этот был особенно интересен; но нельзя было не остановиться на нем, так как он представлял теперь единственную мужскую отрасль фами-

лии графов Листомировых и, как справедливо иногда замечал его отец, задумчиво глядя вдаль и меланхолически свешивая голову набок: «Мог, – кто знает? – мог играть в будущем видную роль в отечестве?!»

Предрешать будущее вообще трудно, но, как бы там ни было, с той минуты, как обещано было представленье в цирке, старшая дочь, Верочка, вся превратилась во внимание и зорко следила за поведением сестры и брата.

Едва-едва начинался между ними признак разлада, она быстро к ним подбегала, оглядываясь в то же время на величавую мисс Бликс, принималась скоро-скоро шептать что-то Зизи и Пафу и, поочередно целуя то того, то другую, успевала всегда водворить между ними мир и согласие.

Эта Верочка была во всех отношениях прелестная девочка; тоненькая, нежная и вместе с тем свежая, как только что снесенное яичко, с голубыми жилками на висках и шее, с легким румянцем на щеках и большими серо-голубыми глазами, смотревшими из-под длинных ресниц как-то всегда прямо, не по летам внимательно; но лучшим украшением Верочки были ее волосы пепельного цвета, мягкие, как тончайший шелк, и такие густые, что мисс Бликс долго билась по утрам, прежде чем могла привести их в должный порядок. Паф мог, конечно, быть любимцем отца и матери, как будущий единственный представитель именитого рода, – но Верочка, можно сказать, была любимицей всех родных, знакомых и даже прислуги; помимо ее миловидности, ее люби-

ли за необыкновенную кротость нрава, редкое отсутствие капризов, приветливость, доброту и какую-то особенную чуткость и понятливость. Еще четырех лет она с самым серьезным видом входила в гостиную и, сколько бы ни было посторонних лиц, прямо и весело шла к каждому, давала руку и подставляла щеку. К ней даже особенно как-то относились, чем к другим детям. Вопреки давно принятому обычаю в семье графов Листомировых давать различные сокращенные и более или менее фантастические прозвища детям, Верочку иначе не называли, как ее настоящим именем. Верочка была – Верочкой и осталась.

Что говорить, у нее, как у всякого смертного, были свои слабости, вернее, была одна слабость; но и она как бы скорее служила гармоническим дополнением ее характеру и наружности. Слабость Верочки, заключающаяся в сочинении басен и сказок, проявилась первый раз, как ей минул шестой год. Войдя однажды в гостиную, она при всех неожиданно объявила, что сочинила маленькую басню и тут же, нимало не смущаясь, с самым убежденным видом принялась рассказывать историю про волка и мальчика, делая очевидные усилия, чтобы некоторые слова выходили в рифму. С тех пор одна басня сменяла другую и, несмотря на запрещение графа и графини возбуждать рассказами сказок воображение и без того уже впечатлительной и нервной девочки, – Верочка продолжала делать свои импровизации. Мисс Бликс не раз должна была ночью приподыматься с постели, слышав ка-

кой-то странный шепот, исходивший из-под кисейного полога над постелью Верочки. Убедившись, что девочка, вместо того чтоб спать, произносит какие-то непонятные слова, англичанка делала ей строгий выговор, приказывая заснуть немедленно, – приказание, которое Верочка тотчас же исполняла со свойственной ей кротостью.

Словом, это была та самая Верочка, которая, вбежав как-то в гостиную и застав там сидевшего с матерью известного нашего поэта Тютчева, ни за что не хотела согласиться, что седой этот старичок мог сочинять стихи; напрасно уверяли мать и сам Тютчев, – Верочка стояла на своем; поглядывая недоверчиво на старика своими большими голубыми глазами, она повторяла:

– Нет, мама, это не может быть!..

Заметив наконец, что мать начинает сердиться, Верочка взглянула ей робко в лицо и проговорила сквозь слезы:

– Я думала, мама, что стихи сочиняют только ангелы!..

С самой середины, когда обещано было представление в цирке, до четверга, – благодаря нежной заботливости Верочки, ее уменью развлекать сестру и брата, оба вели себя самым примерным образом. Особенно трудно было справиться с Зизи, – девочкой болезненной, заморенной лекарствами, в числе которых тресковый жир играл видную роль и служил всегда поводом к истерическим рыданиям и капризам.

В четверг, на Масленице, тетя Соня вошла в игральную комнату. Она объявила, что, так как дети были умны, она,

проездом в город, желает купить им игрушек.

Радостные восклицания и звонкие поцелуи опять наполнили комнату. Паф также оживился и заморгал своими киргизскими глазками.

– Ну, хорошо, хорошо, – сказала тетя Соня, – все будет по-вашему: тебе, Верочка, рабочий ящик, – ты знаешь, папа и мама не позволяют тебе читать книг; – тебе, Зизи, куклу...

– Которая бы кричала! – воскликнула Зизи.

– Которая бы кричала! – повторила тетя Соня. – Ну, а тебе, Паф, тебе что? Что ты хочешь?..

Паф задумался.

– Ну, говори же, что тебе купить?..

– Купи... купи собачку – только без блох!.. – добавил неожиданно Паф.

Единодушный хохот был ответом на такое желание. Смеялась тетя Соня, смеялась кормилица, смеялась даже чопорная мисс Бликс, обратившаяся, впрочем, тотчас же к Зизи и Верочке, которые начали прыгать вокруг брата и, заливаясь смехом, принялись тормошить будущего представителя фамилии.

После этого все снова повисли на шее доброй тети и покрасна зацеловали ее шею и щеки.

– Ну, довольно, довольно, – с ласковой улыбкой произнесла тетя, – хорошо; я знаю, что вы меня любите; и я люблю вас очень... очень... очень!.. Итак, Паф, я куплю тебе собачку: будь только умен и послушен; она будет без блох!..

V

Наступила наконец так нетерпеливо ожидаемая пятница.

За четверть часа до завтрака тетя Соня вошла в «маленькую» столовую, так называемую для отличия ее от большой, где давались иногда званые обеды. Ей сказали, что граф и графиня уже прошли туда из своих уборных.

Графиня сидела в больших креслах, придвинутых к столу, заставленному на одном конце серебряным чайным сервизом с шипевшим самоваром. Старый буфетчик, важный, как разжиревший банкир, но с кошачьими приемами утонченного дипломата, тихо похаживал вокруг стола, поглядывая, все ли на нем в порядке. Два других лакея, похожих на членов английского парламента, вносили блюда, прикрытые серебряными крышками.

Граф задумчиво прогуливался в отдалении подле окон.

– Хорошо ли мы, однако, делаем, что посылаем детей в цирк? – произнесла графиня, обращаясь после первых приветствий к тете Соне и в то же время украдкой поглядывая на мужа.

– Отчего же? – весело возразила тетя, усаживаясь подле самовара, – я смотрела афишку: сегодня не будет выстрелов, ничего такого, что бы могло испугать детей, – наши детки были, право, так милы... Нельзя же их не побаловать! К тому же удовольствие это было им обещано.

– Все это так, – заметила графиня, снова поглядывая на мужа, который подошел в эту минуту к столу и занял обычное свое место, – но я всегда боюсь этих зрелищ... Наши дети особенно так нервны, так впечатлительны...

Последнее замечание сопровождалось новым взглядом, направленным на графа. Графине, очевидно, хотелось знать мнение мужа, чтобы потом не вышло привычного заключения, что все в доме творится без его совета и ведома.

Но граф и тут ничего не сказал.

Он вообще не любил терять праздных слов. Он принадлежал скорее к числу лиц думающих, мыслящих, – хотя, надо сказать, трудно было сделать заключение о точном характере его мыслей, так как он больше ограничивался намеками на различные идеи, чем на их развитие. При малейшем противоречии граф чаще всего останавливался даже на полумысли и как бы говорил самому себе: «Не сто́ит!» Он обыкновенно отходил в сторону, нервно пощипывая жиденькие усы и погружаясь в грустную задумчивость.

Задумчивое настроение графа согласовалось, впрочем, как нельзя больше с его внешним видом, замечательно длинным-длинным, как бы всегда расслабленным и чем-то недовольным. Он нарочно носил всегда панталоны из самого толстого трико, чтобы хоть сколько-нибудь скрыть худобу ног, – и напрасно это делал; по справедливости ему следовало бы даже гордиться худобой ног, так как она составляла одно из самых характерных, типических родовых отличий всех гра-

фов Листомировых.

Наружность графа дополнялась чертами его худощавого бледного лица, с носом, несколько сдвинутым на сторону, и большими дугообразными бровями, усиленно как-то подымавшимися на лбу, странно уходившем между сплюснутыми боками головы, большею частью склоненной набок.

Совершенно несправедливо говорили, будто граф тоскует от бездействия, от недостатка случая выказать свои способности. Случаи эти представлялись чуть ли еще не в то время, когда ему минуло девятнадцать лет и дядя-посланник открыл перед ним дипломатическую карьеру. В жизни графа случаи блестящей карьеры искусно были расставлены, как версты по шоссе на дороге; – ничего только из этого не вышло.

На первых порах граф принимался как бы действовать и даже много говорил; но тут же неожиданно умолкал и удалялся, очевидно чем-то неудовлетворенный. Мысли ли его были не поняты как следует или действия не оценены по справедливости, – только он переходил от одного счастливого случая к другому, не сделав себе в конце концов, что называется, карьеры, – если не считать, конечно, нескольких звезд на груди и видного придворного чина.

Несправедливо было также мнение, что граф, всегда тоскующий и молчаливый в свете, был дома крайне взыскательный и даже деспот.

Граф был только аккуратен. Прирожденное это свойство

доходило, правда, до педантизма, но, в сущности, было самого невинного характера. Граф требовал, чтобы каждая вещь в доме оставалась неприкосновенною на том месте, где была однажды положена; каждый мельчайший предмет имел свой определенный пункт. Если, например, мундштучок для пахитос, уложенный на столе параллельно с карандашом, отодвигался в сторону, граф тотчас же замечал это, и начинались расспросы: кто переставил? Зачем? Почему? и т. д.

Целый день ходил он по дому, задумчиво убирая то один предмет, то другой; время от времени прикасался он к электрическому звонку и, подозвав камердинера, молча указывал ему на те места, где, казалось ему, встречался беспорядок. Деспотом граф также не мог быть по той простой причине, что дома молчал столько же, сколько в свете. Даже в деловых семейных разговорах с женою он чаще всего ограничивался тремя словами: «*Tu penses? Tu crois? Quelle idée!..*»³⁹ – и только.

С высоты своих длинных ног и тощего длинного туловища граф постоянно смотрел тусклыми глазами в какой-то далекий туманный горизонт и время от времени вздыхал, усиленно подымая на лбу то одну бровь, то другую, Меланхолия не покидала графа даже в тех случаях, когда главный управляющий над конторой вручал ему в конце каждого месяца значительные денежные суммы. Граф внимательно сосчитывал деньги, нетерпеливо всегда переворачивал бумаж-

³⁹ «Ты думаешь? Ты полагаешь? Что за мысль!..» (франц.)

ку, когда номер был кверху или книзу и не подходил с другими, запирал пачку в ящик, прятал ключ в карман и, приблизившись к окну, пощипывая усики, произносил всегда с грустью: «Охо-хо-хо-хо!!.» – после чего начинал снова расхаживать по дому, задумчиво убирая все, что казалось ему лежащим неправильно.

Граф редко высказывался даже в тех случаях, когда дело касалось важных принципов и убеждений, всосанных, так сказать, с молоком. Не допуская, например, возможности быть за обедом иначе, как во фраке и белом галстуке, даже когда оставался вдвоем с женою, – и находя это необходимым потому, что это... это всегда поддерживает – именно поддерживает... – но что поддерживает, – это граф никогда не досказывал.

«Tu crois? Tu penses? Quelle idue!..» Этими словами, произносимыми не то вопросительно, не то с пренебрежением, оканчивались обыкновенно все объяснения с женою и тетей Соней. После этого он отходил к окну, глядел в туманную даль и выпускал из груди несколько вздохов, – из чего жена и тетя Соня, с огорченным чувством, заключали всегда, что граф не был согласен с их мнением.

Тогда обыкновенно наступала очередь тети Сони утешать сестру – когда-то весьма красивую, веселую женщину, но теперь убитую горем после потери четверых детей и страшно истощенную частыми родами, как вообще бывает с женами меланхоликов.

На больших булевских часах столовой пробило двенадцать.

С последним ударом граф придвинулся к столу, хотел как будто что-то сказать, но остановился, вздохнул и тоскливо приподнял сначала одну бровь, потом другую.

– Отчего же детей нет? – торопливо спросила графиня, поглядывая на мужа, потом на тетю Соню. – Мисс Бликс знает, что граф любит, чтобы дети всегда завтракали ровно в двенадцать часов; скажите мисс Бликс, что завтрак давно готов! – обратилась она к буфетчику.

Но в эту самую минуту один из лакеев растворил настежь двери, и дети, сопровождаемые англичанкой и швейцаркой, вошли в столовую.

Завтрак прошел, по обыкновению, очень чинно.

Расслабленные нервы графини не выносили шума. Граф вообще не любил, чтобы дети бросались на шею, громко играли и говорили; сильные изъявления каких бы то ни было чувств пробуждали в нем всегда неприятное ощущение внутреннего стеснения и неловкости.

На этот раз по крайней мере граф мог быть довольным. Зизи и Паф, предупрежденные Верочкой, – не произнесли слова; Верочка не спускала глаз с сестры и брата; она заботливо предупреждала каждое их движение.

С окончанием завтрака мисс Бликс сочла своею обязанностью заявить графине, что никогда еще не видала она, чтобы дети вели себя так примерно, как в эти последние дни. Гра-

финя возразила, что она уже слышала об этом от сестры и потому распорядилась, приказав взять к вечеру ложу в цирке.

При этом известии Верочка, так долго крепившаяся, не могла больше владеть собою. Соскочив со стула, она принялась обнимать графиню с такою силой, что на секунду совершенно заслонила ее лицо своими пушистыми волосами; таким же порядком подбежала она к отцу, который тотчас же выпрямился и из предосторожности поспешил отвести левую руку, державшую мундштук с пахитоской. От отца Верочка перебежала к тете Соне, и тут уже пошли поцелуи без разбору, и в глаза, в щеки, в подбородок, в нос – словом, всюду, где только губы девочки могли встретиться с лицом тети. Зизи и Паф буквально проделали тот же маневр, но только, надо сказать, – далеко не с таким воодушевлением.

Верочка между тем подошла к роялю, на котором лежали афишки; положив руку на одну из них, она обратила к матери голубые глаза свои и, вся замирая от нетерпения, проговорила нежно вопрошающим голосом:

– Мама... можно?.. Можно взять эту афишку?..

– Можно.

– Зизи! Паф! – восторженно крикнула Верочка, потрясая афишкой. – Пойдемте скорее!.. Я расскажу вам все, что мы сегодня увидим в цирке; все расскажу вам!.. Пойдемте в наши комнаты!..

– Верочка!.. Верочка!.. – слабо, с укором, проговорила

графиня.

Но Верочка уже не слышала; она неслась, преследуемая сестрою и братом, за которыми, пыхтя и отдуваясь, едва поспевала мисс Бликс.

В игровой комнате, освещенной полным солнцем, стало еще оживленнее.

На низеньком столе, освобожденном от игрушек, разложена была афишка.

Верочка настоятельно потребовала, чтобы все присутствующие: и тетя Соня, и мисс Бликс, и учительница музыки, и кормилица, вошедшая с младенцем, – все решительно уселись вокруг стола. Несравненно труднее было усадить Зизи и Пафа, которые, толкая друг друга, нетерпеливо осаждали Верочку то с одного боку, то с другого, взбирались на табуреты, ложились на стол и влезали локтями чуть не на середину афишки. Наконец с помощью тети и это уладилось.

Откинув назад пепельные свои волосы, вытянув шею и положив ладони на края афишки, Верочка торжественно приступила к чтению.

– Милая моя, – тихо произнесла тетя Соня, – зачем же ты читаешь нам, в каком цирке, в какой день, какого числа; все это мы уже знаем; читай лучше дальше: в чем будет заключаться представление...

– Нет уж, душечка тетя; нет уж, ты только не мешай мне, – убедительно и с необыкновенною живостью перебила Верочка, – ангельчик тетя, не мешай!.. Уж я все прочту... все,

все... что тут напечатано... Ну, слушайте:

«*Парфорсное упражнение на неоседланной лошади. Исполнит девица...*» Тетя, что такое парфорсное?

– Это... это... Вероятно, что-нибудь очень интересное... Сегодня сами увидите! – сказала тетя, стараясь выйти из затруднения.

– Ну, хорошо, хорошо... Теперь все слушайте; дальше вот что: «*Эквилибристические упражнения на воздушной трапеции...*» Это, тетя, что же такое: трапеция?.. Как это будет? – спросила Верочка, отрываясь от афишки.

– Как будет? – нетерпеливо подхватила Зизи.

– Как? – произнес в свою очередь Паф, поглядывая на тетю киргизскими глазками.

– Зачем же я буду все это вам рассказывать! Не лучше ли будет, когда сами вы увидите...

Затруднение тети возрастало; она даже несколько покраснела.

Верочка снова откинула назад волосы, наклонилась к афишке и прочла с особенным жаром: «*Гуттаперчевый мальчик. Воздушные упражнения на конце шеста вышиною в шесть аршин!..*» Нет, душечка тетя, это уж ты нам расскажешь!.. Это уж расскажешь!.. Какой же это мальчик? Он настоящий? живой?.. Что такое: гуттаперчевый?

– Вероятно, его так называют потому, что он очень гибкий... наконец, вы это увидите...

– Нет, нет, расскажи теперь, расскажи, как это он будет

делать на воздухе и на шесте?.. Как это он будет делать?..

– Как будет он делать? – подхватила Зизи.

– Делать? – коротко осведомился Паф, открывая рот.

– Деточки, вы у меня спрашиваете слишком уж много...

Я, право, ничего не могу вам объяснить. Сегодня вечером все это будет перед вашими глазами. Верочка, ты бы продолжала; ну, что ж дальше?..

Но дальнейшее чтение не сопровождалось уже такую живостью; интерес заметно ослаб; он весь сосредоточивался теперь на гуттаперчевом мальчике; гуттаперчевый мальчик сделался предметом разговоров, различных предположений и даже спора.

Зизи и Паф не хотели даже слушать продолжение того, что было дальше на афишке; они оставили свои табуреты и принялись шумно играть, представляя, как будет действовать гуттаперчевый мальчик. Паф снова становился на четвереньки, подымал, как клоун, левую ногу и, усиленно пригибая язык к щеке, посматривал на всех своими киргизскими глазками, что всякий раз вызывало восклицание у тети Сони, боявшейся, чтоб кровь не бросилась ему в голову.

Торопливо дочитав афишку, Верочка присоединилась к сестре и брату.

Никогда еще не было так весело в игровой комнате.

Солнце, склоняясь к крышам соседних флигелей за садом, освещало группу играющих детей, освещало их радостные, веселые, раскрасневшиеся лица, играло на разбросан-

ных повсюду пестрых игрушках, скользило по мягкому ковру, наполняло всю комнату мягким, теплым светом. Все, казалось, здесь радовалось и ликовало.

Тетя Соня долго не могла оторваться от своего места. Склонив голову на ладонь, она молча, не делая уже никаких замечаний, смотрела на детей, и кроткая, хотя задумчивая улыбка не покидала ее доброго лица. Давно уже оставила она мечты о себе самой: давно примирилась с неудачами жизни. И прежние мечты свои, и ум, и сердце – все это отдала она детям, так весело играющим в этой комнате, и счастлива она была их безмятежным счастьем...

Вдруг показалось ей, как будто в комнате стемнело. Обернувшись к окну, она увидела, что небо заслонило большой серой тучей и мимо окон полетели пушистые снежные хлопья. Не прошло минуты, из-за снега ничего уже нельзя было видеть; метель ходила по всему саду, скрывая ближайшие деревья.

Первое чувство тети Сони – было опасение, чтобы погода не помешала исполнить обещания, данного детям. Такое же чувство, вероятно, овладело и Верочкой, потому что она мгновенно подбежала к тете и, пристально поглядывая ей в глаза, спросила:

– Это ничего, тетя?.. Мы в цирк поедем?..

– Ну, конечно... конечно! – поспешила успокоить тетя, целуя Верочку в голову и обращая глаза к Зизи и Пафу, которые вдруг перестали играть.

Но уже с этой минуты в милостивых чертах Верочки явно стало проступать больше внутреннего беспокойства, чем беззаботной веселости. Она поминутно заглядывала в окно, переходила из комнаты в другую, расспрашивая у каждого входившего о том, долго ли может продолжаться такая метель и может ли быть, чтобы она не утихла во весь вечер. Каждый раз, как тетя Соня выходила из детских комнат и спустя несколько времени возвращалась назад, она всегда встречалась с голубыми глазами племянницы; глаза эти пылливо, беспокойно допрашивали и как бы говорили ей: «Ты, тетя, ты ничего, я знаю; а вот что там будет, что папа и мама говорят...»

Худенькая Зизи и неповоротливый Паф были гораздо доверчивее: они также высказывали беспокойство, но оно было совсем другого рода. Перебегая от одних часов к другим и часто влезая на стулья, чтобы лучше видеть, они поминутно приставали к тете и мисс Бликс, упрашивая их показать им, сколько времени на их собственных часах. Каждый входивший встречался был тем же вопросом:

- Который час?
- Пятый в начале.
- А скоро будет семь?
- Скоро: подождите немножко.

Детский обед прошел в расспросах о том, какая погода и который час.

Тетя Соня напрасно употребляла все усилия, чтобы дать

мыслям детей другое направление и внести сколько-нибудь спокойствия. Зизи и Паф хотя и волновались, но еще верили; что ж касается Верочки, – известие о том, что метель все еще продолжается, заметно усиливало ее беспокойство. По голосу тетки, по выражению ее лица она ясно видела, что было что-то такое, чего тетя не хотела высказывать.

Все эти тревожные сомнения мигом, однако ж, рассеялись, когда тетя, исчезнувшая снова на четверть часа, возвратилась на детскую половину; с сияющим лицом объявила она, что граф и графиня велели одевать детей и везти их в цирк.

Вихрем все поднялось и завозилось в знакомой нам комнате, освещенной теперь лампами. Пришлось страшать, что оставят дома тех, кто не будет слушаться и не даст себя как следует закутать.

– Пойдемте теперь; надо проститься с папа и мама, – проговорила тетя, взяв за руку Верочку и пропуская вперед Зизи и Пафа.

Мисс Бликс и учительница музыки закрывали шествие.

Церемония прощанья не была продолжительна.

Вскоре детей вывели на парадную лестницу, снова внимательно осмотрели и прикутали и, наконец, выпустили на подъезд, перед которым стояла четырехместная карета, полузанесенная снегом. Лакей величественного вида, с галунами на шляпе и на ливрее, с бакенами а l'anglaise⁴⁰, побелев-

⁴⁰ на английский манер (франц.).

шими от снега, поспешил отворить дверцы. Но главная роль в данном случае предоставлена была, впрочем, старому, седому швейцару; он должен был брать детей на руки и передавать их сидевшим в карете трем дамам; и надо сказать, он исполнил такую обязанность не только с замечательной осторожностью, но даже выразил при этом трогательное чувство умиленного благоговения.

Дверцы кареты захлопнулись, лакей вскочил на козлы, карета тронулась и тут же почти исчезла посреди метели.

VI

Представление в цирке еще не начиналось. Но на Масленице любят веселиться, и потому цирк, особенно в верхних ярусах, был набит посетителями. Изящная публика, по обыкновению, запаздывала. Чаще и чаще, однако, у главного входа показывались господа в пальто и шубах, офицеры и целые семейства с детьми, родственниками и гувернантками. Все эти лица, при входе с улицы в ярко освещенную залу, начинали в первую минуту мигать и прищуриваться; потом оправлялись, проходили – кто направо, кто налево вдоль барьера, и занимали свои места в бенуарах и креслах.

Оркестр гремел в то же время всеми своими трубами. Многие, бравшие билеты у кассы, суетились, думая уже, что началось представление. Но круглая арена, залитая светом с боков и сверху, гладко выглаженная граблями, была еще пуста.

Вскоре бенуары, над ковровым обводом барьера, представили почти сплошную пеструю массу разнообразной публики. Яркие туалеты местами били в глаза. Но главную часть зрителей на первом плане составляли дети. Точно цветник рассыпался вокруг барьера.

Между ними всех милее была все-таки Верочка!

Голубая атласная стеганая шляпка, обшитая лебяжьим пухом, необыкновенно шла к ее нежно-розовому лицу с

ямочками на щеках и пепельным волосам, ниспадавшим до плеч, прикрытых такою же стеганой голубой мантильей. Стараюсь сидеть перед публикой спокойно, как большая, она не могла, однако ж, утерпеть, чтобы не наклоняться и не нашептывать что-то Зизи и Пафу и не поглядывать веселыми глазами на тетю Соню, сидевшую позади, рядом с величественной мисс Бликс и швейцаркой.

Зизи была одета точь-в-точь как сестра, но подле нее она как-то пропадала и делалась менее заметной; к тому же, при входе в цирк, ей вдруг представилось, что будут стрелять, и, несмотря на увещания тети, она сохраняла на лице что-то кислое и вытянутое.

Один Паф, можно сказать, был невозмутим; он оглядывал цирк своими киргизскими глазками и раздувал губы. Недалеко какой-то шутник, указывая на него соседям, назвал его тамбовским помещиком.

Неожиданно оркестр заиграл учащенным темпом. Занавес у входа в конюшню раздвинулся и пропустил человек двадцать, одетых в красные ливреи, обшитые галуном; все они были в ботфортах, волосы на их головах были круто завиты и лоснились от помады.

Сверху донизу цирка прошел одобрительный говор. Представление началось.

Ливрейный персонал цирка не успел вытянуться, по обыкновению, в два ряда, как уже со стороны конюшен послышался пронзительный писк и хохот, и целая ватага клоунов,

кувыркаясь, падая на руки и взлетая на воздух, выбежала на арену.

Впереди всех был клоун с большими, бабочками на груди и на спине камзола. Зрители узнали в нем тотчас же любимца Эдвардса.

– Bravo, Эдвардс! Bravo! Bravo! – раздалось со всех сторон.

Но Эдвардс на этот раз обманул ожидания. Он не сделал никакой особенной шутки: кувыркнувшись раз-другой через голову и пройдясь вокруг арены, балансируя павлиньим пером на носу, он быстро скрылся. Сколько потом ему ни хлопали и ни вызывали его, он не являлся.

На смену ему поспешно была выведена толстая белая лошадь и выбежала, грациозно приседая во все стороны, пятнадцатилетняя девица Амалия, которая чуть не убилась утром во время представления.

На этот раз все прошло, однако ж, благополучно.

Девицу Амалию сменил жонглер; за жонглером вышел клоун с учеными собаками; после них танцевали на проволоке; выводили лошадь высшей школы, скакали на одной лошади без седла, на двух лошадях с седлами, – словом, представление шло своим чередом до наступления антракта.

– Душечка тетя, теперь будет гуттаперчевый мальчик, да? – спросила Верочка.

– Да; в афише сказано: он во втором отделении... Ну что, как? Весело ли вам, деточки?..

– Ах, очень, очень весело!.. О-че-нь! – восторженно воскликнула Верочка, но тут же остановилась, встретив взгляд мисс Бликс, которая укоризненно покачала головой и принялась поправлять ей мантилью.

– Ну, а тебе, Зизи?.. Тебе, Паф, – весело ли?..

– А стрелять будут? – спросила Зизи.

– Нет, успокойся; сказано – не будут!

От Пафа ничего нельзя было добиться; с первых минут антракта все внимание его было поглощено лотком с лакомствами и яблоками, появившимся на руках разносчика.

Оркестр снова заиграл, снова выступили в два ряда красные ливреи. Началось второе отделение.

– Когда же будет гуттаперчевый мальчик? – не переставали спрашивать дети каждый раз, как один выход сменял другой. – Когда же он будет?..

– А вот, сейчас...

И действительно. Под звуки веселого вальса портьера раздвинулась и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика.

Оба были обтянуты в трико телесного цвета, обсыпанное блестками. За ними два прислужника вынесли длинный золоченый шест, с железным перехватом на одном конце. За барьером, который тотчас же захлопнулся со стороны входа, сгруппировались, по обыкновению, красные ливреи и часть циркового персонала. В числе последнего мелькало набеленное лицо клоуна с красными пятнами на щеках и большой

бабочкою на груди.

Выйдя на середину арены, Беккер и мальчик раскланялись на все стороны, после чего Беккер приставил правую руку к спине мальчика и перекувырнул его три раза в воздухе. Но это было, так сказать, только вступление.

Раскланявшись вторично, Беккер поднял шест, поставил его перпендикулярно, укрепил толстый его конец к золотому поясу, обхватывавшему живот, и начал приводить в равновесие другой конец с железным перехватом, едва мелькавшим под куполом цирка.

Приведя таким образом шест в должное равновесие, акробат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест тонкими руками и ногами и стал постепенно подниматься кверху.

Каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая с одной ноги на другую.

Громкое «браво!» раздалось в зале, когда мальчик достиг наконец верхушки шеста и послал оттуда поцелуй.

Снова все смолкло, кроме оркестра, продолжавшего играть вальс.

Мальчик между тем, придерживаясь к железной перекладине, вытянулся на руках и тихо-тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головою и перекладиной; на минуту можно было видеть только его свесившиеся назад белокурые волосы и усиленно сложенную грудь, усы-

панную блестками.

Шест колебался из стороны в сторону, и видно было, каких трудов стоило Беккеру продолжать держать его в равновесии.

– Bravo!.. Bravo!!.. – раздалось снова в зале.

– Довольно!.. довольно!!.. – послышалось в двух-трех местах.

Но крики и аплодисменты наполнили весь цирк, когда мальчик снова показался сидящим на перекладине и послал оттуда поцелуй.

Беккер, не спускавший глаз с мальчика, шепнул снова что-то. Мальчик немедленно перешел к другому упражнению. Придерживаясь на руках, он начал осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука: следовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладине таким образом, чтобы привести ноги в равновесие с головою и потом вдруг неожиданно сползти на спине назад и повиснуть в воздухе, придерживаясь только на подколенках.

Все шло, однако ж, благополучно. Шест, правда, сильно колебался, но гуттаперчевый мальчик был уже на половине дороги; он заметно перегибался все ниже и ниже и начинал скользить на спине.

– Довольно! Довольно! Не надо! – настойчиво прокричало несколько голосов.

Мальчик продолжал скользить на спине и тихо-тихо спускался вниз головою...

Внезапно что-то сверкнуло и завертелось, сверкая в воздухе; в ту же секунду послышался глухой звук чего-то упавшего на арену.

В один миг все заволновалось в зале. Часть публики поднялась с мест и зашумела; раздались крики и женский визг, слышались голоса, раздраженно призывавшие доктора. На арене также происходила сумятица; прислуга и клоуны стремительно перескакивали через барьер и тесно обступали Беккера, который вдруг скрылся между ними. Несколько человек подхватили что-то и, пригибаясь, спешно стали выносить к портьеру, закрывавшей вход в конюшню.

На арене остался только длинный золоченый шест с железной перекладиной на одном конце.

Оркестр, замолкнувший на минуту, снова вдруг заиграл по данному знаку; на арену выбежало, взвизгивая и кувыркаясь, несколько клоунов; но на них уже не обращали внимания. Публика отовсюду теснилась к выходу.

Несмотря на всеобщую суету, многим бросилась в глаза хорошенькая белокурая девочка в голубой шляпке и мантилье; обвивая руками шею дамы в черном платье и истерически рыдая, она не переставала кричать во весь голос: «Ай, мальчик! Мальчик!!»

Положение тети Сони было очень затруднительно. С одной стороны, сама она была крайне взволнована; с другой – надо было успокаивать истерически рыдавшую девочку, с третьей – надо было торопить мисс Бликс и швейцарку, ко-

павшихся с Зизи и Пафом, наконец, самой надо было одеться и отыскать лакея.

Все это, однако ж, уладилось, и все благополучно достигли кареты.

Расчеты тети Сони на действие свежего воздуха, на перемещение в карету несколько не оправдались; затруднения только возросли. Верочка, лежа на ее коленях, продолжала, правда, рыдать, по-прежнему вскрикивая поминутно: «Ай, мальчик! Мальчик!!» – но Зизи стала жаловаться на судорогу в ноге, а Паф плакал, не закрывая рта, валился на всех и говорил, что ему спать хочется... Первым делом тети, как только приехали домой, было раздеть скорее детей и уложить их в постель. Но этим испытания ее не кончились.

Выходя из детской, она встретила с сестрой и графом.

– Ну что? Как? Как дети? – спросили граф и графиня.

В эту самую минуту из спальни послышалось рыдание, и голос Верочки снова прокричал: «Ай, мальчик! Мальчик!..»

– Что такое? – тревожно спросил граф.

Тетя Соня должна была рассказать обо всем случившемся.

– Ah, mon Dieu!⁴¹ – воскликнула графиня, мгновенно ослабевающая и опускаясь в ближайшее кресло.

Граф выпрямился и начал ходить по комнате.

– Я это знал!.. Вы всегда так! Всегда!! – проговорил он, передвигая бровями не то с видом раздражения, не то тоск-

⁴¹ Боже мой! (*франц.*).

ливо. – Всегда так! Всегда выдумают какие-то... цирк; гм!! очень нужно! *Quelle idue!!*. Какой-то там негодяй сорвался... (граф, видимо, был взволнован, потому что никогда, по принципу, не употреблял резких, вульгарных выражений), – сорвался какой-то негодяй и упал... какое зрелище для детей!! Гм!!.. наши дети особенно так нервны; Верочка так впечатлительна... Она теперь целую ночь спать не будет.

– Не послать ли за доктором? – робко спросила графиня.

– *Tu crois? Tu penses? Quelle idue!..* – подхватил граф, пожимая плечами и продолжая отмеривать пол длинными своими ногами.

Не без труда успокоив сестру и графа, тетя Соня вернулась в детскую.

Там уже наступила тишина.

Часа два спустя, однако ж, когда в доме все огни были погашены и все окончательно утомилось, тетя Соня накинула на плечи кофту, зажгла свечку и снова прошла в детскую. Едва переводя дух, бережно ступая на цыпочках, приблизилась она к кровати Верочки и подняла кисейный полог.

Разбросав по подушке пепельные свои волосы, подложив ладонь под покрасневшую щечку, Верочка спала; но сон ее не был покоен. Грудь подымалась неровно под тонкой рубашкой, полуоткрытые губки судорожно шевелились, а на щеке, лоснившейся от недавних слез, одна слезинка еще оставалась и тихо скользила в углу рта.

Тетя Соня умиленно перекрестила ее; сама потом пере-

крестилась под кофтой, закрыла полог и тихими, неслышными шагами вышла из детской...

VII

Ну... А там? Там, в конце Караванной... Там, где ночью здание цирка чернеет всей своей массой и теперь едва виднеется из-за падающего снега, – там что?..

Там также все темно и тихо.

Во внутреннем коридоре только слабым светом горит ночник, прицепленный к стене под обручами, обтянутыми бумажными цветами. Он освещает на полу тюфяк, который расстилается для акробатов, когда они прыгают с высоты: на тюфяке лежит ребенок с переломленными ребрами и разбитою грудью.

Ночник освещает его с головы до ног; он весь обвязан и забинтован; на голове его также повязка; из-под нее смотрят белки полузакрытых, потухающих глаз.

Вокруг, направо, налево, под потолком, все окутано непроницаемою темнотою и все тихо.

Изредка раздается звук копыт из конюшни или доходит из отдаленного чулана беспокойное взвизгивание одной из ученых собак, которой утром, во время представления, придавили ногу.

Время от времени слышатся также человеческие шаги... Они приближаются... Из мрака выступает человек с лысой головою, с лицом, выбеленным мелом, бровями, перпендикулярно выведенными на лбу, и красными кружками на ще-

ках; накинутое на плечи пальто позволяет рассмотреть большую бабочку с блестками, нашитую на груди камзола; он подходит к мальчику, нагибается к его лицу, прислушивается, всматривается...

Но клоун Эдвардс, очевидно, не в нормальном состоянии. Он не в силах выдержать до воскресенья обещания, данного режиссеру, не в силах бороться против тоски, им овладевшей, его настойчиво опять тянет в уборную, к столу, где едва виднеется почти опорожненный графин водки. Он выпрямляется, потряхивает головою и отходит от мальчика нетвердыми шагами. Облик его постепенно затушевывается окружающей темнотою, пропадает, наконец, вовсе – и снова все вокруг охватывается мраком и тишиною...

На следующее утро афишка цирка не возвещала упражнений «гуттаперчевого мальчика». Имя его и потом не упоминалось; да и нельзя было: гуттаперчевого мальчика уже не было на свете.